А·ФАДЕЕВ

2

А·ФАДЕЕВ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

А · ФАДЕЕВ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В СЕМИ ТОМАХ



Под общей редакцией

Е. Ф. КНИПОВИЧ, В. М. ОЗЕРОВА, Б. Н. ПОЛЕВОГО, С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1970

А·ФАДЕЕВ



СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ



ТОМ
ВТОРОЙ



ПОСЛЕДНИЙ ИЗ УДЭГЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1970

Р 2
Ф 15

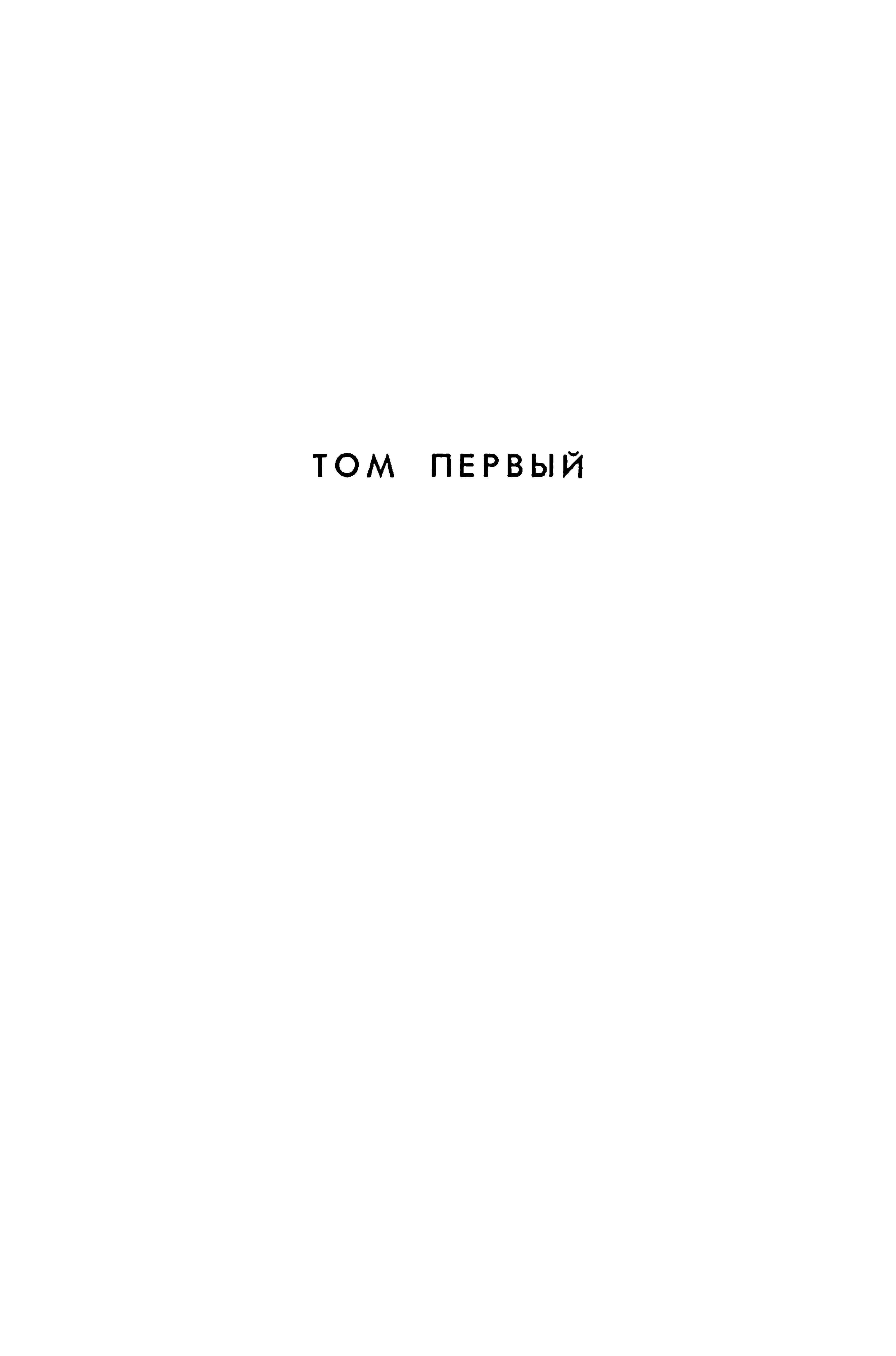
Примечания *В. М. Озерова*

7-3-2

Подп. изд.

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ УДЭГЕ

Роман



ТОМ ПЕРВЫЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Весной 1919 года, в самый разгар партизанского движения на Дальнем Востоке, Филипп Мартемьянов, забойщик Сучанских угольных копей, и Сережа Костенецкий, сын врача из села Скобеевки, пошли по деревням и по стойбищам проводить выборы на областной повстанческий съезд.

Больше месяца бродили они по синеющим тропам, по немым таежным проселкам. 22 мая утром они проснулись на чердаке крестьянской избы в лесной деревушке Ивановке, верстах в тридцати от приморского уездного города Ольги. В отверстие меж потолком и крышей глянули на них облитая солнцем осиновая роща и очень яркий клочок голубого неба.

Мартемьянов вспомнил, что в этот день, двадцать пять лет назад, он на глазах целой толпы убил в запальчивости человека, которого следовало бы убить и в более спокойном состоянии. Сережа вспомнил, что в этот день, год назад, за несколько недель до белого переворота, он был исключен из шестого класса гимназии за организацию ученической забастовки. Мартемьянов был человек уже пожилой, виски у него были совсем седые, Сережа — большерукий подросток с черными глазами. События эти были самыми значительными в их жизни.

Они не нашли нужным поделиться друг с другом своими воспоминаниями и, наскоро одевшись, спустились в избу.

Крестьянина, принявшего их на постой, звали Иосиф Шпак. На местном путаном наречии, смешавшем все российские говоры, фамилия эта значила не то скворец, не то воробей. Но фамилия эта не шла к нему: крестьянин был костляв, высок, лицо имел худощавое, длинное, в мужественных продольных морщинах, в длинной бороде, такой запущенной и грязной, что казалась она слепленной из отдельных клочков, глаза голубые, покорные, с одним вывороченным бескровным веком на правом. Лет ему было уже далеко за сорок, и говорил он и двигался не торопясь, точно познал тщету даже самых поразительных и бескорыстных человеческих усилий.

В деревне звали его больше Бояриным, прозвищем, данным ему в насмешку за то, что в молодости он частенько брался за крупные неосуществимые дела, по нескольку дел зараз: вроде бондарного ремесла, выделки кож или мази для колес, каких-нибудь лыжных заготовок («лыжи сю зиму дорого должны пойти», — говорил он), но ничего у него не выходило, и был он при большой семье самым маломощным хозяином в этой и вообще-то нищей деревушке. Сереже и Мартемьянову обидно и жалко было смотреть, как, жадничая над их салом, оставляя на нем следы своих грязных пальцев, Боярин мелко-мелко крошил его на сковороду тем самым ножом, которым только что чинил лапти.

Боярина, как человека бывалого и ничем не рискующего, да вдобавок еще отца двух партизан, избрали в этот день делегатом на съезд. И он же вызвался провести своих постояльцев до Ольгинского перевала.

Вышли они на рассвете, когда допевали уже третьи петухи и видны стали свернувшиеся в лопухах росистые оловянные капли.

Всю дорогу до перевала Мартемьянов был молчалив, рассеян, все забегал вперед, по-стариковски налегая на пятки; рассматривал тропу, деревья, — его широкое, в редких рябинах лицо, заросшее жесткой рыжеватой щетиной, было чем-то озабочено. Сережа заметил его беспокойство уже под самым перевалом: Мартемьянов стоял возле серого кривого дуба и, в волнении обламывая кусты вокруг, ковырял пальцем какую-то старинную ржавую за-

сечку; через минуту его солдатская шапка и порыжевшая от солнца спина мелькали где-то далеко от тропы.

— Интересуется, — равнодушно сказал Боярин.

Пождав Мартемьянова и не дождавшись, они вдвоем взошли на перевал, на солнечный счастливый юр, и море раскрылось перед ними, оранжево дымясь.

Горный отрог распадался тут на множество мелких отрожков, несших к морю зубчатые стены лиловых хвойных чащ. И до самого моря, все расширяясь и расцветая, стлались промеж них душистые пади, распадки, полные яркой зелени — дубовой глянцевой плотной листвы, красноватых кленов, тисов, орешников; внизу, вдоль реки, вилась кудрявая верба, исходящая пушистым розовым семенем; цвела черемуха; березовые девственные рощи, волнуясь и блистая корой, толпились по опушкам солнечных лугов, по лугам неслышно бродили облачные тени.

На ближней стороне залива в виде удлиненной подковы Сережа с трудом различил какие-то едва проступающие сквозь кусты строеньица: игрушечную колокольню, пакгаузы.

— Пост святой Ольги, как называли ранее, — пояснил Боярин. — С семнадцатого году город считается. Только какой уж там город: там и домов-то — раз, два, и обчелся...

«Так вот она какая Ольга!..» — подумал Сережа: он был столько наслышан об этом военном поселении, о том, что за обладание им велись ожесточенные бои, и вдруг — незначительная деревушка, примечательная только своей колокольней да цинковыми пакгаузами...

Но так прекрасны были солнечные долины, веером распростершиеся перед ним, точно перья гигантского павлиньего хвоста, радужные концы которых спускались в голубую воду, и так приятно было ощущение усталости, влажного ветра на щеках, тяжести винчестера — настоящего охотничьего винчестера — за плечами, а главное, так еще свежо, так ново было все, что он пережил за последние недели, — весь их страннический путь через леса, перевалы, болота; таинственные ночи у костров, полные безликих шорохов, трепета совиных крыл, далекого звучания падающей воды или осыпающегося щебня; ночи на заброшенных хуторах, на туземных стойбищах, пахнущих дымом и невыделанной кожей; золотисто-розовый туман по утрам, за которым внезапно открывались

зеленеющие пашни, поднятые с весны поскотины, шумные села, кипящие вооруженным народом, бурные крестьянские сходы, вереницы подвод, беспрерывная смена лиц и событий, в которой особенно весело было ловить на себе быстрые любопытные взгляды из-под какого-нибудь ситцевого платочка, — так молодо и волнующе необычно было все это, что мимолетное разочарование тут же покинуло Сережу, и смешанное чувство восторга, беспредметной жалости, любви ко всему овладело им.

— У нас через эту Ольгу в аккурат переселение было, — говорил Боярин медлительным глуховатым голосом, не замечая, что Сережа не слушает его. — Привезли нас тоже вот на пароходе, да в аккурат, где те сараи с цинка, и выгрузили. Ну, да сараев тогда этих, например, не было, церкви тоже; одне только деревянные бараки да десятка два хатенок. Было-то это давненько, годов уже не менее осьмнадцати, а то и более... Якорь спустили вон там, подале, услали лодку, а нам сперва не дают: обождите, мол, начальство пачпорта проглядит. Что ж, проглядит — проглядит, ладно... Молодым-то ребятам и горя мало, вроде как даже интересно, а старики, уж они видют: горы да лес — и боле нет ничего... «Вот тебе, думают, и Зеленый Клин!» С нами на пароходе хохлы ехали, семьи четыре, — мы-то сами воронежские, а то хохлы, — так они всю дорогу гундели: «О це ж Зелений Клин, да коли ж Зелений Клин! Да там трава с чоловика, да там с винограду аж деревья гнутся, да там земля чорна на сажень!..» Ай, дураки-и... Ха!.. Тьфу!.. — И Боярин вдруг крепко выругался, махнул костлявой рукой, похожей на конскую берцу, и даже топнул.

Сережа с удивлением посмотрел на него.

— Ну, хорошо-о... А уже, как сказать, холода были, — ежели бы дома, самое бы молотить. Одежонка у нас плохонькая, а мы все на борте стоим, за перильца держимся, все на берег смотрим... Когда — глядим, плывет наша шлюпчонка, везет двоих. Один такой вроде маленький, седенький, весь в пуговицах, а другого что-то не упомню, только, видать, помоложе. Взойшли они на трапу, побалакали с капитаном: то, се — да к нам. Тут бабы наши вперед: просить. И, правда, уж замучились все. У других ребята грудные — в аккурат на пароходе родились: какникак, а более двух месяцев всеё дороженьки — тоже надо подумать!.. Ну, баб маленько пооттерли. «Хто вас

плепровождает?» — спрашивают. Мы со страху и не разобрались, — а шут его знает, чего им там! — стоим, молчим. «Старшина-то у вас есть?» У нас, правда, был один вроде за старшину, его еще в Одессе выбрали, — мужик тоже из нашей деревни. Теперь-то уж он помер. Пуня — фамилия ему была, а звать пе то Астафей, не то Ефсифей — чудное такое прозвание... Вот он и выходит: «Здесь, говорит, старшина». — «А пачпорта, говорят, в порядке?» И... пошла канитель!

Бояриn вздохнул, почесал под рубахой, вспоминая все новые и новые подробности своего переселения... Нет, все это было совсем не то, о чем ему нужно было говорить.

Не мог он рассказать о том, как безземельные воронежские мужики, обремененные семьями да вшами, совершили этот гигантский рейс вокруг Аравии и Индии в поисках новой родины — «садить села на сыром кореню», как в летописной древности. Какими райскими красками были расписаны им эти новые земли с саженными назьмами, безграничными покосами, тучнеющие под тяжестью своих плодов... И как велико было разочарование.

Лучшие земли были уже заняты сибирскими староверами, поднявшими по ста десятин и более. Вместо жирного российского чернозема — тонкие пласты перегноя, выпахавшегося в первые же годы, родившего только сорные травы. Вместо баснословных покосов — мокрый кочкарник, покрытый резучкой и кислыми злаками... А вода — каждый год сносившая в море плоды нечеловеческих трудов, а гнус — доводивший до бешенства людей и животных, а зверь — ревевший по ночам у самых землянок, — нет, это были совсем, совсем не райские земли!.. И тайга в ее буйном великолепном цветении, так глубоко поражавшая Сережу своим великолепием, — как хищный враг, как вор, противостояла людям.

— А где же тут Гиммеровские рудники? — спросил Сережа, глядя с невольной брезгливой жалостью на то, как развешивает Боярин на солнце вонючие ветошки, разминает пальцами свои потные, белые, грязные ступни.

— Какие там рудники! — безнадежно отозвался Боярин. — Железные, что ли? Да, доставали тут руду, копали ямы... отседа не видать их. Это — вон за тем хребтиком и туда подале, к святому Владимиру... Тут у нас святые

все, — вставил он с хитроватой усмешкой, и лицо его сразу было поумнело, но обычное выражение покорности и ленивого всезнайства тотчас же вернулось к нему. — У него все больше китайцы работали, русские мало. А как восстание пошло, и китайцы сбегли: должно, *в хунхузы* подались. Теперь все народное будет, — закончил он не совсем искренне, желая угодить слушателю.

«Что, если бы он узнал, что Гиммер — мой дядя?» — подумал Сережа.

— А хунхузов тут много?..

— Какие там хунхузы!.. — с сомнением ответил Боярин, хотя дальше ему нужно было говорить о том, что хунхузов в этом году стало больше, чем во все прошлые годы. — Оно хотя, и вправду, се лето...

Но ему не удалось докончить: кусты с шумом раздвинулись, и Мартемьянов в теплой солдатской шапке, весь обливаясь потом, тяжело ступая своими чуть кривоватыми, вывернутыми ногами, вышел на дорогу.

— Э, вот она, благодать-то, где! — широко улыбнувшись, возгласил он приятным урчащим голосом, в котором слышались уже стариковские нотки, и подмигнул Сереже.

Сбросив ружье и котомку, он долго смотрел по сторонам, прикрывая рукой глаза и бормоча что-то себе под нос. И на его широком добродушном лице Сережа поймал выражение какой-то внутренней неловкости: беспокойного внимания, удивленной грусти. Мартемьянов точно искал или силился узнать что-то — и не мог, или узнавал — и поражался. Потом он опустил руку, но все продолжал стоять, задумчиво уставившись в пространство, и это новое выражение особенно не вязалось с ним: обычно он всегда находился в ладном неторопливом движении — всегда говорил или делал что-нибудь. Вдруг глаза его повлажнели. Он склонил голову и стал свертывать цигарку, руки у него дрожали.

«Да что это с ним сегодня»? — недоумевал Сережа.

— Вот ты насчет хунхузов спрашивал, — заговорил Боярин, вытянув босые ноги и лениво разглядывая их. — Се лето столько их нашло, что не только там *гольду* или *тазу*, а и русскому проходу не стало. И откуда они только взялись?.. Старики бают, мол, восстание пошло, так инороды тоже взбунтовались промеж себя, вроде как бы и мы, и не хотят *байту* хунхузам платить, а хунхузы вроде

бы пришли на усмирение. С этих инородов — и русских до нитки обдерут... Почему это со штабу с вашего приказу никакого нет? Насчет инородов этих?.. Выселить бы их, что ли?.. Тут и самим-то земли не хватает...

— Болтают дураки, а ты за ними — как попугай, а своей головы, видно, и нет!.. — вдруг со страшным волнением сказал Мартемьянов. — «Выселить»!.. Понятие иметь надо... — добавил он, едва сдерживая себя и густо багровея. — Наш брат всегда вот так, — через некоторое время заговорил он, уже успокаиваясь.— Работать сами не умеем, да еще норовим на своего же брата верхом сесть: вали, брат Савка, у тебя и язык другой, и глаза косые, и пар заместо души!.. А ежели по-настоящему разобраться, народ этот куда лучше нашего — простой, работящий, друг дружке помогают, не воруют...

— Уж и не воруют? — усомнился Боярин.

— Ну, конечно! Наш брат разве поверит, чтоб на свете люди были, что и не воруют!.. А я вот тебе скажу...

Как все не очень далекие, но крепко убежденные в чем-нибудь главном люди, Мартемьянов любил поучать. Но он так верил сам в то, что говорит, и такой наивной важностью светились в это время его добрые синеватые глаза с простодушной пестринкой, что никто на него не обижался. Не обиделся и Боярин.

— Что ж, может, и зря болтают, — сказал он уклончиво. — Домой мне собираться пора, — солнце-то, вон оно где... — И, недоверчиво скользнув глазами по Мартемьянову и по Сереже, он потянулся за портянкой. — Обратно-то мне трактом придется: к обеду тут такой туман застелит — не вылезешь...

— Туман? — удивился Сережа.

— А вона. — И Боярин кивнул к морю, где вставала на горизонте мутно-серая пелена.

На этом перевале они и простились.

— Увидимся на съезде, — дружелюбно сказал Мартемьянов.

— Прощайте, товарищ Шпак, на съезде увидимся, — с чувством сказал Сережа и покраснел от жалости.

Боярин, плохо переобувшийся, так, что клоки его портянок торчали во все стороны, с готовностью совал им руку, выставляя бороду и вывороченное веко и смущенно потряхивая котомкой, которую он держал почему-то

в той же руке, отчего выглядел еще бедней и нескладней. И когда Сережа в последний раз взглянул на его прямую костлявую фигуру, медленно спускавшуюся с перевала, махавшую руками и приседавшую на тощий, отвислый зад, — сердце у Сережи тягостно сжалось.

II

Перевал далеко уже остался за их спиной, когда Мартемьянов свернул вправо по широкой торной тропинке.

— Куда вы? — спросил Сережа.

— Ничего, здесь ближе, — не оборачиваясь, ответил Мартемьянов.

Сережа прибавил шагу и догнал его. Сбоку выскочили вдруг телеграфные столбы. Белые чашечки изоляторов то исчезали в листве, то снова сверкали на солнце.

Тропа круто свернула еще правее. Маленький человек, показавшийся из-за поворота, едва не наскочил на них. Он, как кошка, отпрыгнул в сторону, хотя нес на спине высокий тяжелый куль, какие носят *женьшеньщики*, и, прижавшись к кустам, недоверчиво посмотрел на встречных своими длинными косыми глазами. На нем была круглая шапочка с нитяной пуговицей на макушке, широкие шаровары из синей китайской *дабы*, а ноги были обуты в китайские *улы*, с ремнями до колена. Сережа принял его за китайца. Мартемьянов вдруг побледнел и всплеснул руками.

— Сарл!.. — крикнул он лающим голосом.

Через мгновение он и незнакомец, бросивший свой куль, стояли, обнявшись, похлопывая друг друга по спине и издавая какие-то ласкающие рычащие звуки.

— Вот не ждал! — кричал Мартемьянов. — Тьфу, черт! Да как же это ты?.. Вот ты, господи!..

А незнакомец по-детски улыбался и все повторял:

— Ай-э, Филипп... У-у... Филипп... Айя-хе-е...

Сережа, вначале испугавшийся немного, так и застыл на месте, держась рукой за винчестер.

Незнакомец, которого Мартемьянов назвал Сарлом, был уже в годах, но еще далеко не стар, — с крепкими скулами, искрящимися темно-зелеными глазами, резкими, как осока, с тонкими подвижными губами, то складывавшимися в детскую улыбку, мгновенно освещавшую его

скуластое бронзовое лицо, то принимавшими прежнее твердое и самолюбивое выражение.

— А ведь мы собирались к вам, — возбужденно говорил Мартемьянов, — дня через четыре должны были быть... четыре *солнца* — понимаешь? Сначала в Ольгу, потом к вам...

— О-о, четыре солнца? — недовольно переспросил Сарл, и по тому, как свободно произнес он «р», в то же время протяжно выпевая гласные, Сережа понял, что это не китаец. — Зачем четыре солнца, Филипп?.. Рапе надо ходить — три солнца, однако, самое много. Как раз праздник нам...

— Праздник?..

— Ай-э, большой праздник: сынка мой — одна зима, как раз... У-у, здоровый сынка, все равно медведь. — И мужественное лицо Сарла снова осветилось детской ослепительной улыбкой.

— Сынка?! У тебя! — воскликнул Мартемьянов. — Ну и Сарл! Да как же это ты? Да ты расскажи, что там у вас...

— Нет, тебе первый кажи, — как можно? Тебе старшинка...

— Вот еще новости...

— Нет, нет, тебе первый, — смеясь, настаивал Сарл.

— Скажи, какой ранжир наводит! — сказал Мартемьянов, обернувшись к Сереже и не скрывая удовольствия, которое доставила ему уважительность Сарла.

И, сразу поважнев, — как всегда, когда дело касалось таких вещей, которые сопряжены были с его должностью зампредревкома, — он стал пространно рассказывать о предстоящем съезде. Сарл ни разу не перебил его. Несмотря на живость, даже нервозность, которая угадывалась в нем по тому, как он теребил пальцами шнурки своей рубахи, и по тому, как нервно подергивалась изредка его щека, — он был, видно, сдержан и осторожен. Только когда Мартемьянов сказал, что на съезде будут участвовать все народности, Сарл приподнял брови и удовлетворенно чмокнул губами.

— Ай, хорошо, — сказал он, когда Мартемьянов кончил. — Его где буду — Ольга или Скобеевка?

— Нет, в Скобеевке: в Ольге еще опасно все-таки...

— А удэге тоже могу посылай?

— Еще бы!

«Удэге?! — в изумлении чуть не воскликнул Сережа. Сердце его забилось. — Так это удэге? Древний воинственный народ? В этой круглой шапочке, какие носят все китайские лавочники?.. Нет, этого не может быть!..»

— Хунхуза?.. О-о, хунхуза много, — говорил Сарл в ответ на вопрос Мартемьянова о хунхузах. — Нам в Инза-лаза-гóу много людей ходи: корейца ходи, гольда ходи, все проси помогай хунхуза дерись. Наша помогай. Наша хунхуза не боится.

— И правильно! — воодушевился Мартемьянов. — И байту не надо платить... Мы этот вопрос и на съезде постановим...

— Ай-э, разве наша плати? Тебе знай, удэге никогда не плати!

— А ты почему все китайское надел?

— Я в Шимынь ходи, *панты* продавай, на праздник чего-чего справил... — Он кивнул на свою ношу и, вдруг заметив на себе пристальный взгляд Сережи, недоверчиво покосился на него.

— Ты его не стесняйся, — сказал Мартемьянов. — Это знаешь кто? Его батька людей лечит...

— Хо-о, людей лечи? — обрадовался Сарл. — Какой хороший люди!.. Ну, тогда я все расскажи... Я разведка ходи, — сказал он таинственно и ткнул пальцем по направлению к Ольге. — Ольга тогда еще белый сиди, а в Шимынь — красный. А я из дому выходи, думай — Шимынь тоже белый. Я думай, белый увидит: «А-а, удэге?» — Он сделал свирепые глаза и, издав почти непередаваемый звук «х-хлик», чиркнул пальцем по горлу. — Ну, я — хитрый: портки китайский надевай, рубашка китайский, шапка все равно китайский, я знай, китайский люди много ходи, белый не тронет. Тебе понимай: китайское лицо, удэгейский лицо совсем разный. Китайский глаза — все равно земля, удэгейский — все равно трава. А белый ничего не знает. Его смотри: глаза косой, шапка китайский, — значит, китайский люди. А ряшка его не разбирает. Когда собака бежит, ряшка никто не разбирает... правда? А белый смотри — косой глаза у люди — это все равно собака...

В этом месте Сарл, довольно сносно говоривший по-русски, сопровождавший свою речь энергичными жестами и неуловимой, почти калейдоскопической мимикой, внезапно остановился, дернул щекой, и прежняя самолю-

бивая складка — только еще опасней и тверже — обозначилась в углах его губ.

— Ну, ладно, — со вздохом продолжал он. — Я приходи в Шимынь, смотри — там красный. Тебе Гладких помнишь?

— Он там? — с живостью спросил Мартемьянов.

— Ай-э, какой смелый люди! Его меня разведка посылай, я ходи... Потом много-много партизанка ходи, пушка стреляй, белый — на парохода: домой подался. Сейчас, однако, печка сиди, лапти суши, — пошутил Сарл. — Маленько я задержись, ну, ничего: праздник попадем... Ай-э, ходи нам праздник, Филипп! Я буду радый, Янсели, жена моя, радый, сынка мой радый. Масенда радый — все радый буду...

— Масенда?.. — воскликнул Мартемьянов. — Как он, все не стареет?..

— У-у!.. Масенда — все равно кедр: долго-долго живи. Сейчас, однако, охота пошел...

— Ну, вот что, — решительно сказал Мартемьянов, — стоять тут нам некогда, всего не переговоришь. Ежели управимся, придем к вам на праздник. А ежели в крайности не управимся, зайдем все равно насчет съезда. Жди. А пока... — И Мартемьянов широким радушным жестом протянул ему свою круглую ладонь.

Сарл схватил ее обеими руками и крепко, несколько церемонно потряс ее. Потом, улыбнувшись и весело подмигнув Сереже, он быстрым сильным движением, неожиданным в его маленьком гибком теле, подхватил свою кладь и крякнул.

— Прощай, старшинка! — крикнул он, обернувшись. — Я тебя ожидай в Инза-лаза-гóу... — И скрылся за поворотом.

— Вот они, дела-то какие... — сказал Мартемьянов, возбужденно глянув на Сережу, все еще смотревшего вслед Сарлу с счастливой улыбкой, и грустно вздохнул. — Пойдем, брат...

III

Под самой Ольгой, возле лиственного шалаша, еще не успевшего высохнуть, их грубо остановил патруль. Мартемьянов, отвыкший от такого обращения, важно назвал свою фамилию, но этим только вконец разобидел

караульного начальника. Пока он искал свое удостоверение, караульный начальник, чопорный, глупый старикашка, весь перетянутый желтыми ремешками и сильно гордившийся этим, успел так много надерзить ему, что, когда выяснилась высокая должность Мартемьянова, отступать уж было некуда. И караульный начальник вынужден был сердито прокричать, что ольгинский штаб помещается в бывшей гиммеровской конторе, на Набережной улице.

— Бывают же люди, — добродушно усмехнулся Мартемьянов и покрутил головой.

Когда они выходили на набережную, сзади кто-то крикнул:

— Э-э... обождите!..

Они оглянулись. Вслед им, сильно прихрамывая, бежал худой, но складный, несмотря даже на хромоту, партизан в матросских рыжих сапогах, рваной, застегнутой на один крюк шинели внакидку и смятой шапке-футрованке, из-под которой вился его русый кудрявый, как у Кузьмы Крючкова, чуб.

— Вы, никак, с Сучана? — спросил он, подходя уже шагом, сильно запыхавшись. — А в Ивановке, случаем, не были?

— Были и в Ивановке, — дружелюбно сказал Мартемьянов.

— И обратно тудою пойдете?

— Нет, это уж навряд...

— Э, вот незадача... — огорчился партизан, прикусив чистый аржаной ус, резко выделявшийся на его кирпичном лице.

— А что тебе?

— Да я, видишь, сам ивановский, да вот перехожу к Гладкому в отряд, а завтра нам выступать, и гостинца ребятам передать не с кем, — он кивнул на сверточек, который держал в руках. — У меня там двое: мальчик и девочка, да еще третьего жду... Думал, может, передадите, да, видно, не с руки...

— Ваша фамилия Шпак, — вдруг утвердительно сказал Сережа, глядя в упор на его чистые соломенные усы.

— А ты отколь знаешь? — поразился партизан.

— По лицу узнал, — обрадованно пояснил Сережа, хотя и не смог бы на этом моложавом обветренном лице, осмысленного выражения которого не портил даже бутафорский чуб, указать хотя бы одну определенную чер-

ту, сходную с чертами Боярина. — Отец ваш провожал нас до самого перевала.

— А до Ольги, видать, полепился? — улыбнулся партизан. — Как они там без меня?

— Его на съезд выбрали, — быстро сказал Сережа, чувствуя к этому партизану особенную симпатию за то, что он сын Боярина и что у него такие чудесные светлые усы.

— Да что ты говоришь? — изумился партизан. — А я думал — его не сдвинешь нопе никак...

— Вас, кажись, двое сыновей-то? — спросил Мартемьянов. — Ты младший, что ли?

— Ну, нет. Младший в Беневской, в тыловой охране... Какой я младший! Уж я чего только в жизни не превзошел! — наивно добавил партизан.

— Темный у тебя отец, — вдруг строго сказал Мартемьянов, — совсем, совсем темный.

— А с чего бы ему светлому быть?

— Учить надо...

— Научишь его! Ему в одно ухо кажи, а в другое выходит... Да и какая там наука в лесу, — серьезно сказал партизан, — только пни ворочать... Дед наш, батькин отец, даже помешался на этом деле: до самой смерти все на печи сидел да пальцем печь ковырял, будто землю. А раз не доглядели, так он из избы вышел да всю как есть завалину лопатой изрыл, — избу хотел выморочить...

— А к Гладкому ты зачем? — перебил его Мартемьянов, не заинтересовавшись его рассказом.

— Боевой командир — это одно. И опять же воевать я привык, а тут, в Ольге, видать, не скоро что будет... Так, значит, не с руки? Ну, прощайте тогда...

И, пожав руки Сереже и Мартемьянову и запахнув шинель, он заковылял обратно.

IV

Над грузным кирпичным зданием, с квадратными окнами, с массивным, из серого камня, крыльцом, по которому беспрерывно сновали люди, колыхался новый кумачный флаг: это был ольгинский штаб.

С залива, подступившего чуть ли не к самому зданию, дул влажный холодный ветер. Белые скучные гребешки с ровным шумом набегали на берег, клочья тумана

стлались над водой, мутно серевшей в огромном пространстве моря и неба.

Мартемьянов и Сережа вошли в большую низкую комнату с когда-то беленными, теперь замызганными стенами, увешанными чертежами и картами. Комната была разделена деревянным барьером на две части: здесь помещалась раньше гиммеровская канцелярия.

Людям, захватившим контору, этот деревянный барьер напоминал о тех временах, когда приходилось долгие унизительные часы выстаивать за ним, ожидая жалованья. Теперь дверца барьера была оторвана, люди свободно толкались в обеих половинах, ругались, курили, плевали, садились и на самый барьер, и на конторские столы, мешая работать двум измученным писарям, олицетворявшим аппарат новой власти. Серый табачный дым, пыль, говор, запахи псины и пота столбом стояли в комнате.

— Где здесь будет начальник штаба? — спросил Мартемьянов у одного из писарей, сочувственно покосившись на его каракули.

Тот посмотрел на него белесыми, широко раскрытыми и ничего не понимающими глазами, потом дернул себя за вихор и ткнул пальцем в соседнюю дверь направо.

Полный, рыхлый человек с белой шевелюрой, падавшей ему на лоб, один, выпятив круглое плечо, сидел за столом в глубине комнаты. Не глядя на вошедших, он подписал какую-то бумагу, вновь просмотрел ее, шаря большой, толстой, поросшей белыми волосками рукой по столу, наконец, ухватив пресс-папье и промокнув написанное, поднял выпуклые, усталые и добрые светло-голубые глаза.

— Что надо? — спросил он грубоватым баском, приняв со лба волосы неожиданно мягким и осторожным движением большой кисти.

Мартемьянов подал мандат.

— А-а, так вы и есть Мартемьянов? — с радушной улыбкой сказал начальник штаба. — Это хорошо... Я Крынкин... наверное, слыхали? — Он протянул руку (Сережа было тоже сделал движение, но Крынкин не заметил). — А мы вас еще вчера ждали. Вам тут телеграмма...

— Телеграф, значит, справили? — спросил Мартемьянов.

— Как же... Да где же она? — Крынкин беспорядочно зашвырял бумагами. — Вон она куда завалилась...

Сережа, глянув через плечо Мартемьянова, прочел:

«Дальше возможности не задерживайтесь непредвиденные осложнения Сурков».

— Что это у них там еще? — спросил Сережа, нахмурившись и таким тоном, который должен был показать Крынкину, что тот, конечно, может и дальше не обращать на него никакого внимания, но все-таки эта телеграмма имеет к нему, к Сереже, самое непосредственное отношение.

Но Крынкин, оказалось, ничего и не имел против этого.

— Видно, по военной линии не все у них ладно, так надо думать, — ответил он, доброжелательно повернув свои выпуклые глаза на Сережу. — Писем, правда, нет еще, но я по тому сужу, что у нас тут другие телеграммы есть — требуют отряды в Скобеевку. Завтра тетюхинцы выступают... Я было насчет съезда забеспокоился. Ответили: ничего, выбирайте, съезд будет...

— Ишь оно как... — протянул Мартемьянов. — Неладно, говоришь?.. А ну, покажи телеграммы...

Лицо Мартемьянова, по мере того как он просматривал телеграммы, становилось все более и более сердитым.

Их было шесть, телеграмм, на протяжении трех недель, и ясно было, что ни на одну из них Крынкин не дал в свое время удовлетворительного ответа: все телеграммы говорили об одном и том же; и каждая последующая была тревожней и резче предыдущей:

«Поздравляем взятием Ольги свободные силы немедленно перебрасывайте Сучан Сурков».

«Срочно формируйте отряды шлите Сучан точка промедление наносит непоправимый вред движению Сурков».

«Мобилизуйте тетюхинцев точка снимайте тыловые охраны по селам высылайте Сучан точка дальнейшее промедление преступно Сурков».

Последняя телеграмма возлагала личную ответственность на Крынкина за задержку в переброске отрядов и грозила ему революционным трибуналом.

— Почему ж ты не перебрасываешь? — густо багровея, спросил Мартемьянов.

— Как же не перебрасываю? Все силы мобилизовал. Да какие у нас силы? Работаю один, ничего не налажено. Беневские, например, отказались идти: «А сжели, го-

ворят, японцы у нас десант высадят?» Тетюхинцев тоже сразу нельзя было послать: у меня на них одна опора была. Теперь вот сколотили кое-что, тетюхинцев посылаю. Через недельку пошлю еще человек триста...

— Знаешь, дорогой мой, — сдерживая себя, заговорил Мартемьянов, — в таком деле нужно быстрей оборачиваться... Как так — «отказались»? Не мыслю я, чтоб люди так-таки и отказались! А вы бы пояснили им, что ежели, мол, други мои, Сучан разгромят, вам тоже против японца не устоять...

— Да разве мы не говорили? — оправдываясь, пробасил Крынкин. — Думаешь, мы ничего не делали? Помаленьку выпрямляемся. Задержка, правда, была, да ведь я один работаю... А тут еще всякие гражданские дела навалились. Мужики идут за тем, за другим, ведь не откажешь?

— Мужикам отказывать нельзя, на мужике стоим, — важно сказал Мартемьянов, — а на людей недостачу грех тебе жаловаться, право, грех... Да ежели б я такие телеграммы получил, я б в лепешку разбился, а выслал отряды!.. Тетюхинцы когда выступают — утром? Командир у них Гладких, кажись?

— Гладких... Да, вот еще что: можно ведь Суркова к прямому проводу вызвать, тут ведь прямой провод... Синельников! — позвал Крынкин, обернувшись к двери. — Как же, докричишься тут!.. — Он виновато улыбнулся и полез из-за стола.

У него был большой живот, поддерживаемый ремнем с бляхой, на ногах домашние туфли, широкие полотняные штаны, — он чем-то напоминал учителя начальной школы. Сережа подобрел к нему.

— Часам к восьми вызовем, — говорил Крынкин, — а вы пока отдохните. Я, кстати, и сам еще не обедал...

Он открыл дверь и басисто закричал:

— Синельников! Да тише вы там!.. Синельников, распорядись, чтобы вызвали по прямому... Кто требует? А, черт бы их взял! Ну, я сейчас. — Он вышел, хлопнув дверью.

Мартемьянов вздохнул и опустился в кресло.

— Работничек, нечего сказать... Садись, — сказал он Сереже и, вытащив платок, стал обтирать им свою круглую, с шишковатым затылком голову. — Мы с тобой к Гладкому пойдем. Он, брат, нас лучше накормит...

— А как же теперь к удэгейцам?

— Там поглядим... Что вот Сурков скажет...

— Прямо отбою нет... — сказал Крынкин, задыхаясь, шумно входя в комнату, — баба его бузуем назвала, так он к начальнику штаба... Ну я распорядился, часам к восьми вызовут, вы пока...

— Нет, мы до Гладкого подадимся, — сказал Мартемьянов, вставая. — Это мой друг старый... Они где стоят-то?

В это мгновение снова открылась дверь, и в комнату сунулся полный, круглолицый мальчишка лет двенадцати, босой, в коротких, выше колен, штанишках — такой нежный и рыжый, что даже белые пухлые лицо и руки его были все в веснушках.

— Папа! — сказал он очень противным голосом. — Мама велела передать, что она не может сто раз на день обед разогревать и чтобы ты немедленно шел обедать....

Заметив Сережу, он с балованным любопытством, несколько даже нагловато, уставился на него своими понимающими, выпуклыми, как у отца, глазами. В них было примерно следующее выражение: «А, у тебя ружье? А ведь ты тоже еще мальчик?.. Да ты брось представляться, ведь я понимаю все, что ты о себе думаешь и кем хочешь казаться, я мог бы рассказать о тебе немало стыдного...»

— Иду, иду, — сказал Крынкин, ужасно покраснев. — Сколько раз тебе говорено, чтобы ты не ходил босиком, когда туманно... Ступай, ступай!.. У меня ведь семья тут, — виновато сказал он. — Сколько я намаялся из-за них, когда в сопках был!

— Да, с ребятами теперь тяжело, — неопределенно сказал Мартемьянов.

Они вышли на набережную.

Ветер уже стихал, — серые тени шаланд чуть качались над водой. Пузатая лодка ползла к ним, скрипя уключинами. Туман заметно густел, но крыши домов были еще видны, и горы, казавшиеся отсюда угрюмей и выше, неясно проступали вдали. «Где-то мы были там на перевале, где-то там еще шагает Боярин», — подумал Сережа, ежась от сырости и от сохранившегося где-то неприятного воспоминания о рыжем мальчике.

— Вот, прямо пойдете, — сказал Крынкин, указав пальцем вдоль улицы, уходящей от моря; он был без шапки, рубаха на нем отсырела, и выступили полные,

гладкие мышцы его груди. — Они как раз под той ближней сопкой, на пасеке старовера Пóносова... Сам-то он сбежал с белыми... А телеграф тоже на этой улице, вон железная крыша. Я буду ждать вас...

V

— Нет, это уж, дорогой мой, непорядок, — говорил Мартемьянов, с сожалением оглядывая весь тот разор, который царил на пасеке старовера Пóносова, — такое хозяйство рушить!.. Ай-я-яй...

И он восхищенным, жалеющим взглядом снова окинул пасеку, окружавшие ее сады, темную, расплывавшуюся в тумане громаду хутора.

Многие ульи были перевернуты, задымлены; из них недавно выкуривали пчел. Из ближнего сада и сейчас тянуло дымком, слышались беспечные крики, хохот.

— Хозяйство мы не рушим, — спокойно сказал Гладких, — хозяйство все цело. А пчел жалеть нечего — новых выведут. — Он сидел, облокотившись о стол, опустив мощные пальцы на края кружки с медом: играя, вертел ее. — Да и как не побаловать ребят? Заслужили... Правда, малец? — Он ладонью захлопнул кружку.

Он обо всем говорил со скрытой иронией, насмешкой, но редко улыбался, — трудно было понять, над чем он смеется.

Сережа почувствовал на себе орлиный блеск его глаз, и, хотя считал более правым Мартемьянова, ему захотелось не только согласиться с этими глазами, но целиком отдать себя в их распоряжение.

Когда они шли к хутору, Мартемьянов сказал Сереже, что Гладких — сын прославленного вай-фудинского охотника, по прозвищу «Тигриная смерть», убившего в своей жизни более восьмидесяти тигров. Правда, по словам Мартемьянова, Гладких-отец был скромный сивый мужичонка, которого бивали и староста, и собственная жена. Но сын якобы унаследовал от отца охотничьи способности, а от матери — могучую внешность и непокорный нрав.

Воображение Сережи еще больше разыгралось, когда Мартемьянов уклонился от ответа на вопрос, откуда он их всех знает. Сережа невольно связал это со странным поведением Мартемьянова за перевалом и при встрече с удэгейцем.

А когда он увидел наконец исполинскую фигуру Гладких, его звериные унты, бомбы у пояса, его смуглое обветренное лицо с крылатыми черными, сросшимися на переносье бровями, орлиным носом, вороными, до сини, усами, — даже излюбленные героические образы померкли перед ним.

С каким восхищением следил Сережа за каждым движением его круглых мышц, слушал ровные сдержанные перекаты его голоса!.. Да, это был человек!

Они сидели за чисто выскобленным, вбитым в землю столом, подле омшаника, превращенного на лето в сторожку. Пасечный сторож, угрюмый старовер с палевой бородой и злыми глазами, собирал им поесть. Он немного побаивался их, но не мог скрыть своего негодования — швырял на стол миски, загонял в омшаник свою белоногую дочь, все время порывающуюся помочь ему. Однако, как только он отворачивался, она выходила на порог и нет-нет да и совала на стол какую-нибудь деревянную солонку, бросая на Сережу быстрые взгляды.

— Вы какой же дорогой пойдете? — спросил Мартемьянов.

— Без дороги пойдем, па Мала́зу, — Гладких неопределенно махнул рукой, — самый ближний путь...

— На Мала-зу? — удивленно протянул Мартемьянов и отложил ложку. — На Малазу... — Он несколько секунд смотрел мимо Гладких. — Речка такая? В Сучан идет? — Он вдруг заволновался, стал усиленно тереть свой щетинистый подбородок, глаза его блестели. — Выходит, нам с вами по дороге, — быстро заговорил он, — мы, знаешь, Сарла встрели тут под перевалом, он нас к себе звал, да нам бы и нужно. Мы бы там у Горячего ключа отвернули — там недалечко, а вы бы своей дорогой...

— За чем же дело стало? Я тебе как начальству и лошадь могу дать... А вот и мой комиссар! — вдруг воскликнул Гладких, указав рукой на выходившего из сада невысокого, сухощавого и сутулого человека, с наганом у пояса, в унтах, неловко шагавшего к омшанику. — Комиссара ко мне приставили рудничники мои, — пояснил Гладких насмешливо: он намекал на то, что сам он охотник, а командует отрядом, в котором больше половины тетюхинских рудокопов.

— Ты чего же без шапки до ветру ходишь, чахотка? — зычно закричал он «комиссару». — Знакомьтесь:

Кудрявый Сеня, председатель нашего отрядного совету... А это почти что наш самый главный: Мартемьянов Филипп Андреев, коли не запамятовал...

— А, Мартемьянов! — хрипло и грустно сказал Кудрявый, протягивая тонкую руку. — Когда-то на съездах встречались.

— Как же!.. — улыбнулся Мартемьянов.

— Только я его за главного не признаю... — насмешливо говорил Гладких... — И ревкомов никаких не признаю: какие там ревкомы?! А это вот — малец. Сергеем звать. Это настоящий парень будет!..

Сережа на мгновение увидел прямо перед собой впалое лицо Кудрявого с большими чахоточными глазами. Голова у него действительно была кудрявой, только кольца на ней были редки и казались мокрыми.

— Видал, какой командир-то у нас? — тихо сказал Кудрявый, улыбнувшись Сереже, и его запавшие глаза так умно и весело сверкнули, что Сережа понял, что этот человек, вопреки первому впечатлению, вовсе не был грустным и обиженным. — Ну, мы справились там, — Кудрявый обернулся к Гладких, — вьюки готовы, ребята винтовки чистят... Ты, я слышал, насчет рудничников все, а зря: рудничники все по местам, а вот твоих вай-фудинцев что-то не видать. Твои-то по медовой части больше...

И он с лукавой усмешкой кивнул в ту сторону, откуда доносились дикие, все возрастающие крики.

— Положим, там и твоих тетюхинцев немало... Накась вот шапку надень, а то бродишь по сыру, еще сдохнешь! — с грубой нежностью сказал Гладких, нахлобучивая на него свою барсучью папаху. — Да что они на самом деле? — насторожился он.

В саду послышался новый взрыв хохота, потом из общего гама вырвался чей-то писклявый голос: «Подымай!.. Подымай-ай!» — и вдруг могучая нестройная песня, как будто подымали что-то тяжелое, потрясла окрестности.

Она все возрастала и наливалась, прерываемая радостным визгом, потом из сада появилась темная кишащая колонна людей, — они что-то несли вдоль по главной широкой пасечной аллее.

Дочь старовера, не обращая больше внимания на отца, выбежала к самому столу, но отец поймал ее за руку и снова впихнул в омшаник. Колонна все приближалась, —

теперь видно было, что несут человека. Впереди, гримасничая и юродствуя, выплясывал какой-то ловкий и верткий белоголовый парень в заломленной набекрень военной американской шапочке пирожком.

— Да это ж Казанок! — сказал Мартемьянов. — Как он до вас попал?

— Пакет от Суркова привозил... О, он тут отличался, как Ольгу брали. До чего парень бедовый — в огонь и в воду, и пуля его не берет!.. Эй, что за базар? — зычно крикнул Гладких, выпрямляясь и расправляя усы.

«Ишь как кривляется», — подумал Сережа, наблюдая с неприязнью и завистью за ловкими коленцами Казанка, резкими движениями его тонких, девичьих рук.

Колонна подвалила к омшанику. Несли большеголового неуклюжего человека с толстыми ногами, свисавшими, как окорока, с плеч несших его людей. Он был в ватных шароварах, распахнутом на груди овчинном полушубке, шапке с раскинутыми ушами, — она сползла ему на затылок, виден был сальный низкий лоб человека, темный волос его головы.

Он держал обеими руками громадный радужный ломоть сотового меда и жадно кусал его, он жевал и глотал его вместе с воском, все его мясистое лицо, сплошь поросшее темным редким, недлинным волосом, было в меду. Сладчайший мед был на ресницах его маленьких, бессмысленно-хитрых глазок, мед, как смола, катился по его грязным огрубелым пальцам, мед — пахучие, дымящиеся хлопья меда! — капал на шерсть его полушубка, на головы несших его людей. И весь он — со своей неуклюжей округлой ухваткой, бессмысленно-хитрым, счастливым выражением своего заросшего темным волосом лица — походил на опьяневшего от меда, пресыщенного медвежонка, на счастливого и глупого медвежьего пестуна.

Его со всех сторон облепили люди в ичигах, армяках, мятых футрованках, солдатских фуфайках, гимнастерках, опоясанных патронташами, — они хватали его за полы полушубка, толкали в зад, бросали вверх шапки, некоторые забегали вперед и с лицемерным раболепием кланялись ему, сопровождая поклоны неприличными жестами.

— Федор Евсеич!.. Бусыря!.. Что будет угодно вашей милости?.. Вы-ста да мы-ста, Федор Евсеич!.. — кричали они и скалили зубы, и дружный рев сопутствовал каждому их движению.

Они откровенно издевались над ним, но он, как видно, не понимал этого, важно и глупо улыбался, иногда у него появлялись потуги даже на некоторую лихость: он делал рукой привольно-неуклюжий жест и, истекая медом, хрипло мычал:

— О-о, знай наших!.. О-о, здорово!..

Дочь старовера, выбежавшая все-таки из омшаника, прыскала в угол платочка; Мартемьянов, дрожа всем телом, мелко смеялся и кашлял, отирая слезы; Кудрявый, в нахлобученной на уши барсучьей папахе, грустно улыбался; Гладких спокойно выжидал, — его орлиные глаза мужественно и весело блестели; Сережа не смеялся только потому, что озабочен был присутствием Казанка.

— Ну, будет, — спокойно сказал Гладких. — Будет, будет! — повторил он насмешливо и грозно.

Он шагнул к Бусыре, с силой выбил у него мед из рук ударом тыльной стороны ладони и, схватив его за отвороты полушубка, стащил на землю. Люди, несшие Бусырю, попадали вслед за ним.

— Куча мала! — взвизгнул знакомый уже, истошный, пискливый голос; груда здоровых, жарких, пахнущих потом тел закопошилась на земле.

— Таких правов теперь нету — драться... — обиженно сказал Бусыря, потирая зашибленную руку.

— Я тебе покажу права!.. — Гладких свирепо замахнулся на него.

— Брось, зачем ты это? — недовольно вмешался Кудрявый, взяв его за плечо.

Гладких опустил руку.

— Я же нарочно, вот чахотка!

«Все-таки он слушается его», — мельком подумал Сережа.

В это время Казанок, с криком тянувший Бусырю за полу, узнал Сережу и, сделав ему знак рукой, пошел прямо к нему своей мелкой небрежной походочкой вразвалку.

— Здравсьтвуй, баринок! — сказал он, неуловимо, по-детски смягчая слова. — Ты как сюда попаль?

— Будет, будет! По местам, живо! — кричал Гладких.

— Лазаешь тут... халява! — шипел старовер, видно, на дочь; дверь омшаника сердито захлопнулась.

— Выборы по деревням проводили на съезд, — сухо ответил Сережа. — А ты?

— Что ж я?.. Я человек маленький, — Казанок дерзко сощурился, — куда пошлют, туда и еду, плякать обо мне некому... За мной только бабы скупяють, — добавил он, насмешливо скривив тонкие губы. — «Семка, вези пакет» — везу... Гладких к себе в отряд зовет — пойду... А что мне — цыплят высизивать? Папы-мамы у меня нету, а тут народ боевой — оторви да брось...

Он говорил, ни на секунду не задумываясь над своими словами и не только не заботясь о том, как они будут приняты, но, видно, не сомневаясь в том, что все, что он скажет, будет именно то, что нужно. В то же время он с удовольствием и неприязнью разглядывал грубые Сережины сапоги, его узенький, с короткими рукавами френчик, его смуглое и тонкое лицо с большими черными глазами в жестких ресницах. Он обратил внимание даже на то, что Сережа без фуражки, и, поискав глазами (фуражка лежала на скамье), с особенным удовольствием задержался на этой фуражке с острыми полями и следами гимназического герба.

— Ты что ж — ученье совсем бросиль? — спросил он, якобы между прочим: он знал, что Сереже будет неприятно теперь напоминание об его ученье.

— Ну, пустяки какие, — ответил Сережа, махнув рукой.

— Выходит, в мужики приписался?

— Понимай, как хочешь... А как твой отец поживает? — вдруг спросил Сережа, быстро взглянув на Казанка. — Вы ведь теперь только мясом торгуете, — лошадьми, говорят, запретили?

«Скушай-ка вот это!» — подумал он с тихим злорадством.

Но Казанок сделал вид, что не расслышал его.

— Ребята, куда вы?.. Меня обоздите!.. Прощай, баринок, — небрежно сказал он Сереже.

И, склонив набок свою белую, тонко выточенную мальчишескую головку в американской шапочке, не торопясь пошел вслед за партизанами.

«Не понравилось небось», — подумал Сережа, косясь на дочь старовера. Она, до половины высунувшись из омшаника, смотрела вслед Казанку с веселым и кокетливым любопытством.

— Филипп Андреич, нам на телеграф пора, — сердито сказал Сережа.

— Да-да, сейчас пойдем... — Мартемьянов взялся за шапку. — Оно и главное, что интервенты, — говорил он Кудрявому, забрасывая на спину вещевой мешок. — И не так американцы, как японцы... Главное дело, тут рядом — пригонят крейсера, высадят десант...

— Да ты манатки здесь оставь, — вмешался Гладких. — Завтра вместе ведь выступаем?..

«Завтра я буду с ним в одном отряде, — думал Сережа, угрюмо шагая за Мартемьяновым вниз по туманной, темнеющей улице. — И как его не раскусят до сих пор?»

Семка Казанок был приемным сыном известного на весь уезд скобеевского барышника и мясоторговца, жившего через два дома от больницы, где работал Сережин отец. Барышничество, впрочем, было запрещено теперь особым постановлением ревкома.

Неприязнь Сережи к Казанку восходила к тем временам, когда Сережа, возвращаясь из города домой на летние каникулы, совлекал с себя ненавистную гимназическую форму, на все лето забрасывал под кровать ботинки со шнурками и, — как жеребенок, выпущенный после долгой зимы из темной конюшни, жадно и весело кидается на свежую весеннюю травку, — набрасывался на первобытные, плотские деревенские радости... Какие набеги совершал он тогда с мальчишками на гудливые шершневые гнезда, какие глазастые караси водились под ветлами на Парашкином пруду, как загорала у Сережи его поросшая золотистым пухом шея с выпуклым, еще детским позвонком на загривке, как отрастали и бурели за лето его черно-карие, курчавившиеся за ушами волосы!..

В то время он начинал уже отвыкать от своих сверстников, — его тянуло к взрослым парням: они привлекали его своей грубой, независимой, веселой жизнью, работой до ночи, плясками до утра, полуночными вылазками к девкам. Он чувствовал, что они тоже всегда рады его видеть, любят его за простоту, веселье, за то, что он умеет «складно и чудно́» рассказывать. Дорого бы дал он в то время за дружбу с Казанком!.. Этот стройный, белоголовый парень особенно и безотчетно нравился ему своими дерзкими пустыми глазами, своей манерой говорить, по-детски смягчая слова, а главное — тем, что он единственный на селе пользовался неписаным, но всеми признанным правом презирать людей, презирать все то, что люди считают дорогим и важным.

Сережа не задумывался над тем, откуда Казанок, сам не приученный ни к какому делу, получил это право презирать людей, весь недолгий век которых зиждился на тяжелом, могущественном и нищенском труде,— это даже противоречило тому отношению к людям, в духе которого Сережа был воспитан с детства, — но он видел, что Казанок был первым из первых в гульбе, любви, поножовщине, — и это притягивало его к Казанку.

Но дружбы у них не вышло... Для Сережи она мыслима была только на началах равенства. А Казанок не только не хотел признавать Сережу, он явно отрицал его, он отрицал его больше даже, чем других, — его наивность, молодость, длинные большеватые руки и гимназическую фуражку; он признавал и любил только себя. «Если ты хочешь, чтобы я обращал на тебя внимание и слушал твои глупые, скучные сказки, ты должен признавать меня таким единственным, неповторимым, каким я сам признаю себя... Да, да, ты должен унижаться передо мной», — говорили его светлые дерзкие глаза. И вся гордость Сережи вставала на дыбы. И чем сильнее влекло его к Казанку, тем дальше отталкивался он от него, платя ему за непризнание деланным пренебрежением и гордостью, и так из лета в лето тянулась их вражда, непонятная им самим и скрытая от других.

Она вновь проснулась в Сереже.

«Воображает тоже, — думал он, угрюмо шагая за Мартемьяновым. — А она смотрела ему вслед... Ну, и черт с ней!»

VI

Единственный в Ольге телеграфист, из расстриженных дьяконов, сонный, аляповатого письма мужчина с мускулистыми лопатками, выстукивал Скобеевку. Скобеевка не отвечала.

Сережа, уставший от ходьбы и обилия впечатлений, сидел на скамье, откинувшись к стенке, подложив кисти рук под колена, — ему хотелось спать. Он чувствовал толчки крови в кистях, слышал однообразный стук аппарата, перед ним проплывали лица Казанка, Боярина, белые ноги дочери старовера. Иногда в этот призрачный мир врывались голоса Крынкина и Мартемьянова. Они

спорили о чем-то важном, даже не спорили, а вместе, не слушая друг друга, ругали кого-то третьего. Сережа смутно понимал, что речь идет о подпольном областном комитете, взявшем какую-то *неправильную линию* в партизанском движении: об этом много говорил еще Сурков в Скобеевке.

— Какие глупости! — басил Крынкин. — Как это можно развертывать движение, не организуя гражданской власти?..

— Я говорю: вопрос с деньгами возьмите, — сердито урчал Мартемьянов. — Какие мужику деньги брать — сибирки или керенки? Нужен мужику закон или нет, я спрашиваю?..

Сережа мучительно размыкал веки и вдруг замечал дрожащую желтую руку телеграфиста, круглую тень от лампы, бродящую по полу. «Так... так-так... так...» — однообразно выстукивал аппарат.

— Конечно, они не связывают это... — басил Крынкин, не слушая Мартемьянова.

«Не связывают? — думал Сережа, задремывая и путая склоняющиеся к нему лица Казанка и Боярина. — Но разве можно их связать... Да, связать их?..»

Аппарат в это время примолк. Сережа снова открыл глаза: телеграфист, приняв с аппарата руку, безразлично смотрел вверх. И вдруг новый, чужой, короткий металлический стук прозвучал в комнате.

— Есть Скобеевка, — равнодушно сказал телеграфист.

— Ага!.. Ну, пущай Суркова позовут. — Мартемьянов слез с подоконника.

Аппарат продолжал стучать. Белая лента, извиваясь, поползла по столу.

— Предревкома Сурков у аппарата, — не глядя на ленту, произнес телеграфист: он ловил на слух.

— Ну, ну, — заволновался Мартемьянов. — Скажи ему: Мартемьянов, мол, замревкома, слушает... Пущай выкладывает свои новости, или что там у них.

Телеграфист стал передавать.

— «С месяц как приехал Чуркин... из областкома, — тягуче заговорил он через минуту. — Настаивает проведении... старых директив...»

Мартемьянов и Крынкин переглянулись.

— «На Сучанском руднике... Сосредоточение японских войск...»

— Я так и думал, — хмуро сказал Крынкин.

— «Под рудником... новые стычки... Осложнение хунхузами... Собирается корейский съезд... Под Шкотовом бои с американскими, японскими войсками... Подробнее нельзя по аппарату... Срочно возвращайтесь...»

Сережа, закрыв глаза, слушал медлительный голос телеграфиста, и мысль его бежала по проводам над дикими, стынущими в ночи хребтами, над темными безднами долин с вкрапленными в них кое-где мигающими огнями деревень, над всей огромной мятежной, бодрствующей страной, где бродит теперь поднявшийся с логова зверь и чадные костры кочевников льют в небо оранжево-сизые дымы. Где-то, за триста с лишним верст, в такой же комнатке так же склонился над аппаратом телеграфист, и Сурков, сунув в карманы руки, покачиваясь слегка своим квадратным туловищем, диктует эти слова.

Сережа видел темные скобеевские улицы с бодрствующими часовыми на перекрестках, деревянные корпуса больницы со светящимися окнами. Высокий и все еще стройный отец, в белом халате, со свернутой набок черной бородкой, стоит над раненым и щупает пульс. А рядом склонилась сиделка и смотрит соболезнующим взглядом то на отца, то на раненого. «Какая это сиделка? Может быть, Фрося?» — думал Сережа, вызывая в памяти ее большое, статное, подвижное тело, и ласковое чувственное тепло разливалось по его жилам. За время похода он почти забыл о ней, а между тем в последние недели он так часто переглядывался с ней, и ее тонкие и знающие вдовьи губы так беспокоили его, что он перестал спать по ночам.

— «...Передай Сереже, — говорил телеграфист равнодушным голосом, — приехала его сестра...»

— Что?.. — Сережа вскочил.

— Сестра твоя приехала, — обернувшись, сказал Мартемьянов.

Крынкин тоже внимательно посмотрел на Сережу.

— Сестра? Лена! Когда приехала?..

— А ну спроси, правда, — сказал Мартемьянов.

Телеграфист, недовольно подобрав губы, затрещал ручкой аппарата: он не одобрял частных разговоров по прямому проводу. Несколько секунд было тихо. Потом снова чуждо, бесстрастно затрещал аппарат.

— «Вместе с Чуркиным приехала», — отчетливо сказал телеграфист.

— Значит, она уже месяц в Скобеевке?!

Сережа быстро зашагал по комнате. Сонное состояние сразу покинуло его.

«Лена? — думал он взволнованно. — Как это могло случиться?..» Он все еще не мог поверить в это. Сестра была точно неотделима от гиммеровской гостиной, в которой он видел ее в последний раз год назад, перед отъездом в деревню.

Она стояла перед ним, опустив вдоль платья голые тонкие руки, и молча, и грустно, и, как всегда, немного удивленно смотрела на него большими темными влажными глазами; сквозившая из-за гардины пыльная золотая полоса била ей в висок, и темно-русые ее прямые волосы, казалось, шевелились.

Сережу всегда смущала обстановка гиммеровского дома: мохнатые и пыльные ковры, положенные как бы для того, чтобы спотыкаться о них, уродливые золоченые кресла, круглые столики, шифоньерки, заставленные разнообразной — помесь Кавказа и Японии — экзотической дрянью, которую от неловкости хотелось с грохотом ронять на пол. А в это утро еще стоял рядом с сестрой, учтиво отвернувшись к этажерке, чужой и неприятный Сереже молодой человек — Всеволод Ланговой. Ланговой был в белом костюме; на согнутой руке он держал шляпу: он ожидал Лену, чтобы вместе идти на утренний концерт, даваемый проездом в Японию какой-то столичной знаменитостью. И, не сказав сестре на прощание хороших, настоящих слов, Сережа с стесненным сердцем вышел из гостиной.

Лена нагнала его в передней и, крепко обвив руками шею, стала целовать его в губы, глаза, щеки, — в глазах ее стояли слезы, — он не успевал ей отвечать.

— Ты меня все-таки не забывай, Сережа... Сереженька!..

Но он уже шагал по тротуару, боясь оглянуться, держа в руке выцветшую гимназическую фуражку, унося с собой грустную и злую память о солнечной пыльной полоске, бередившей его своей лживой красотой, прозрачностью и жалобностью.

«Неужели она теперь в Скобеевке? Бродит по комнатам? — думал Сережа, шагая по скрипящим полови-

цам. — Но ведь там стоят теперь кровати Суркова и Мартемьянова?.. И что ж она — в этом своем белом платье с короткими рукавами?.. На улице все бабы будут оглядываться на нее!..»

Но тут он представил ее себе такой, какой она была уже когда-то в скобеевском доме, и сразу все стало на свое место... Да, да, ей всего девять лет, а ему шесть. Два дня тому назад похоронили мать. В комнатах стоит еще та тишина после покойника, в которой каждый звук страшен. Люди говорят вполголоса. Слышно, как Софья Михайловна — сестра матери и жена Гиммера — распоряжается укладкой вещей. Завтра она возвращается в город и забирает с собой Лену. Но Сережа не придает этому никакого значения.

Они сидят на корточках — Лена и он — в темной передней и с любопытством наблюдают за тем, как умирает маленький русый зайчишка. В сенях неуютно, холодно, пахнет полынью, — они только что нарвали ее в огороде. Зайчишка чуть дышит потненькими боками.

— Он есть хочет, — басом говорит Сережа.

— Не-ет... — Лена задумчиво смотрит на Сережу. — Слушай, — говорит она вдруг жестоким, искусительным шепотом, — тебе кого больше жалко...

Она не договаривает, но Сережа видит, как тихо вздрагивают ее большие изогнутые ресницы.

«Бедная мама! — растроганно думал он, шагая из угла в угол. — Бедная мама!.. Зачем она завещала отдать ее? Но разве она знала, что ей будет там плохо?..»

Маленькая Лена, образ которой так живо возник перед ним, совсем не походила на ту, которая приехала теперь в Скобеевку, и сам Сережа, казалось, был теперь совсем другой. Но детские воспоминания вызывали в нем столько родных непререкаемых ощущений, что ему нестерпимо захотелось домой. Он влез с ногами на подоконник, обхватил руками колени и сразу точно перенесся в другой, бестрепетный мир — тишайший мир родительских комнат. Он не слушал, о чем еще говорили по аппарату Мартемьянов с Сурковым, как Мартемьянов давал наставления Крынкину, чтобы выборы на съезд среди *орочей* уже провели без них, а главное — чтобы скорей высылали отряды и «чтоб все было аккуратно», — очнулся только тогда, когда Мартемьянов встряхнул его за плечо и нужно было уже уходить.

На улице они распрощались с Крынкиным. Густой беловатый туман окутывал город, — огни мутнели и расплывались в тумане. Влажный, неслышный, как дыхание, шорох реял над холодеющей землей. Но город еще не спал. Сережа разобрал слова дальней песни:

Трансваль, Трансваль, страна моя,
Ты вся горишь в огне...

Дальний хор подхватывал:

Под деревцем развесистым
Задумчив бур сидел...

Сереже почудились вдруг слабые огни на той стороне залива.

— Что там горит? — спросил он.

— Где? — Мартемьянов обернулся. — А, так это и есть Шимынь, — сказал он возбужденно, — поселок китайский... Помнишь, что удэгей называл?..

«Удэге?» — с удивлением подумал Сережа.

— А мы зайдем к ним? — спросил он, чувствуя, что едва не совершил сейчас измены, которой никогда бы не простил себе.

— К кому? К удэгеям?..

Несколько секунд слышны были только их тяжелые шаги в тумане.

— На денек забежим, пожалуй, — глухо сказал Мартемьянов.

VII

Лена приехала в Скобеевку через неделю после того, как Мартемьянов и Сережа отправились в свой поход по области.

С чувством робости, грусти, смутной надежды и обреченности переступила она порог отчего дома. В доме жили чужие люди. Положив у ног саквояж с кое-каким бельем, двумя платьями и парой туфель без каблуков — весь ее багаж, — Лена, в коричневом мятом сарафане, с запыленными после дороги ресницами, сидела на кухне на сундуке, потная и несчастная.

— Вот ты какая стала. Бедная ты моя, бедная...

Аксинья Наумовна — старая прислуга Костенецких, приехавшая с ними еще из России и жившая в доме на

правах члена семьи, — подперев щеку, с жалостью смотрела на Лену.

— И запылилась-то вся! да уж я тебя вымою, кралечку нашу, — и вымою, и почищу, и накормлю, — говорила она, смахивая мизинцем слезу.

— А папа тоже в отъезде?

— В больнице папа... Не знаю, куда уж и пристроить тебя...

В комнатах стояли чужие запахи. Большой портрет матери по-прежнему висел в столовой. И как же все стронулось в Лене, когда она встретила милый усталый взгляд! Мама!.. Десять лет прошло, целая жизнь...

Тот же старинный громоздкий буфет у стены, с посудой на верхних полках и комплектами «Нивы» и «Русского богатства» на нижних; буфет точно приземистей стал, одряхлел. В детской — две чужие кровати; грубые одеяла, полотенца; солдатское ружье в углу.

Аксинья Наумовна ходила следом.

— Да ты умойся, поешь, — говорила она, — сейчас я велю баньку... баньку тебе...

Она поднесла к глазам передник.

Лена, отказавшись от еды и так и не умывшись, пошла в больницу к отцу.

Был какой-то праздник; весь больничный двор был заставлен подводами с больными из соседних деревень. Низкорослые разномастные лошади уныло жевали соломку у коновязей. Мужики в чистых рубахах и бабы в белых платочках и выцветших повойниках, — некоторые с ребятами, — ожидая приема, группами сидели на лужайке, на крыльце или спали на возах.

Полно народу было и в приемной. Лену обдал больничный запах, так хорошо знакомый ей: последние полгода она работала сестрой в колчаковском госпитале. В амбулатории, где больных принимал старший фельдшер, Лене сказали, что доктор занят на операции, но скоро освободится. Не назвав себя, Лена вернулась в приемную и робко села рядом с толстой старухой в валенках на белую засиженную скамью, откуда только что поднялся вызванный на прием парень с пустым рукавом.

Из полуоткрытых дверей в больничный коридор доносилось шарканье туфель, бренчанье тазов, и в то же время там чувствовалась та особенная тревожная тишина, какая бывает во время операции. И эта тишина, все

эти больничные звуки и запахи, напоминавшие о людских страданиях, отдавались в Лене одной тоненькой, мучительно звенящей нотой.

Люди в приемной тоже чувствовали эту тревожную тишину и разговаривали вполголоса. Изредка открывалась дверь в амбулаторию, и красивая черноглазая сиделка в белой косынке громко выкликала больных, путая фамилии, и всякий раз с несознаваемо враждебным любопытством оглядывала Лену.

С вопросительным жалобным выражением, точно ища что-то могущее заглушить звенящую в ней ноту, Лена блуждала глазами по лицам.

На скамье прямо против нее, выложив на колени большие красные руки, сидела девушка в клетчатой юбке, босая. Вся голова ее была забинтована так, что виден был только один глаз, скорбно взиравший на мир. Рядом с девушкой — плечистый, рослый парень в белой, надетой на одно плечо рубахе; другое плечо и безжизненно опущенная рука оголены: багрово-синий кровоподтек захватывал почти все плечо, часть груди и руку до локтя.

Рано постаревшая от труда, когда-то миловидная женщина сидела, откинув к стене голову с выбившимися из-под платка темными волосами. Уголки губ на ее тропутом морщинами лице были опущены, глаза смотрели куда-то поверх людей.

Крестьянин лет сорока, со светлой курчавой бородой, поджав под живот руки, качался всем туловищем, однообразно, как маятник, то прижимаясь к коленям, то вновь откидываясь назад. Временами он издавал жалобный шмелиный звук — то громче и тоньше, то тише и басистей.

— И до чего ж мучается, господи! — не выдержала сидящая рядом с Леной старуха в валенках и сделала движение рукой не то помочь ему, не то перекреститься.

Мужик, перестав на мгновение качаться, взглянул на безобразно распухшее — должно быть, от водянки — лицо старухи, и в глазах его мелькнуло выражение вроде: «Да уж ты и сама-то хороша, матушка».

В углу, на соломе, положив голову на колени горбатой женщине, лежал на спине высохший до последней возможности человечек в полотняной рубахе, — в сущности, уже не человечек: так он был близок к смерти со своими босыми ножками и личиком в кулачок.

Всюду, куда ни попадал глаз, выступали наружу людская калечь, уродство, язвы, ушибы; люди несли их с выражением страдания или покорности на лицах.

«Вот живут, трудятся, рожают детей, надеются на что-то, — думала Лена, прислушиваясь к неумолкающему тоненькому звучанию внутри себя, — а жизнь... вот она, жизнь..!»

Невыразимая печаль сжала ей сердце.

В то же время она замечала, что у крестьянина, мучившегося животом, были ясные, почти детские синие глаза, а у девушки с забинтованной головой — стройные смуглые ноги, — бедра ее, обозначившиеся под клетчатой юбкой, полны были женственной мощи, а у парня с громадным кровоподтеком на плече — могучая шея, атласное мускулистое тело, а глаза рано постаревшей женщины, смотревшие поверх людей, светились умным, подлинно человеческим выражением.

Во всех этих людях, каждый из которых страдал, отмеченный болезнью или уродством, были как бы заключены разрозненные части и стороны цельного образа, полного красоты и силы, — нужно было, казалось, только усилие, чтобы он воссоединился, сбросил с себя все и пошел.

Ощущение это было так реально, что Лена невольно внутренне напряглась вся, и в то же мгновение тонкий, пронзительный детский крик, совпавший с ее внутренней, мучительно звенящей нотой, пронесся по коридору.

Мужик, страдавший животом, перестал качаться. Женщина, сидевшая с откинутой к стене головой, с диким воплем кинулась к дверям и исчезла в коридоре.

Через минуту двое служителей под руки выволокли ее в приемную. Она билась у них в руках и кричала в голос:

— Зарезали!.. Зарезали доченьку мою!.. Боже ж мой! Боже ж мой!..

Черноглазая сиделка со стаканом в руке выскочила из амбулатории; ласково обняв женщине голову, она пыталась влить ей в рот холодной воды.

— Зарезали тебя, доченьку мою, голубыньку... — по-детски булькая водой, плакала женщина.

— Да ничего не будет дочке твоей, не кричи ты, бога ради. Вот дура-то, прости господи! — уговаривал ее один из служителей.

Женщина немного успокоилась; некоторое время слышны были только ее жалобные всхлипывания. Потом по коридору прожужжала санитарная тележка, послышались оживленные голоса, и доктор Владимир Григорьевич Костенецкий в сопровождении сестер и санитаров вышел в приемную.

VIII

Больные, кто мог, повставали, поснимали шапки. Лена с окаменевшим лицом тоже поднялась со скамьи.

Отец был в халате сурового полотна, с засученными рукавами, обнажившими до локтей его костлявые безволосые руки. Он почти не изменился, только чуть согнулся, и седина пробрызнула в черной, свернутой набок бородке. Лицо его светилось радостным возбуждением.

— Садитесь, садитесь... Ну, где здесь мать? — спросил он, по-совиному оглядывая всех и никого не узнавая.

— Во сидит, — с улыбкой сказала черноглазая сиделка.

— Так это ты здесь тарараму наделала? — Владимир Григорьевич двумя неловкими движениями погладил женщину по голове. — И зря, и зря... Теперь она скоро поправится, а то бы она умерла. Я, видишь ли, ее усыпил немного, а она возьми да и проснись, когда я ей еще животик не зашил, — объяснял он женщине, которая от таких подробностей снова начала плакать. — А этот чего здесь лежит? — заметил он человека на соломе. — Сейчас же переодеть да на койку, — чего ему здесь лежать... Ты что, Борисов? — обратился он к крестьянину, страдающему животом.

— Замучился весь! — ответил тот, просияв своими синими глазами.

— Ну, скушал что-нибудь нехорошее. Пойди к Константину Сергеичу, он тебе касторки даст. Ты теперь десятский, на общественной должности, а раз на общественной должности, можешь без очереди, так-то...

Он, не замечая Лены, переходил от больного к больному. Лена, стесняясь при других окликнуть его *папой*, опустив руки, стояла возле скамьи.

— Эк тебя саданули, — говорил Владимир Григорьевич, ощупывая плечо у парня. — Перелома нет... Кто это тебя?

— Древо упало... — застенчиво пробасил парень.

— Древо упало... Наверно, оглоблей? Должно, по чужим бабам ходишь?

В приемной засмеялись. Лена невольно улыбнулась: все, о чем она только что с таким напряжением думала, превратилось с появлением отца в обыденно-житейское и нестрашное.

— На свет, на свет!..

Владимир Григорьевич повернул лицом к окну беловолосого парнишку с лишаем на темени — и увидел Лену. Растерянность, смущение изобразились на его лице.

— Я приехала, папа, — спокойным, протяжным голосом сказала Лена. — Ты скоро освободишься?

Они стояли друг против друга: Лена — с опущенными руками, слегка склонив голову набок, отец — все еще держа одну руку на плече у парнишки, а другой быстро-быстро захватывая в кулак бороду.

— Да... Ну вот... — Он заглотнул воздух. — Рад, очень рад... А у нас тут, видишь — что? — Он указал рукой на приемную, и на лице его появилось так знакомое Лене в его обращении с ней и с покойной матерью виноватое выражение. — Что ж, надо устроить тебя. Фросенька, голубчик, принеси мой пиджак,— сказал он черноглазой сиделке и трясущимися пальцами стал развязывать халат.

Они вышли во двор.

— Да, очень неожиданно, очень... Надолго?

— Папа, я приехала совсем.

— Ну что ж, ну что ж...

Он крепко стиснул ей руку повыше кисти.

И Лену точно прорвало.

— Обожди, дай хоть поглядеть на тебя, я так рада тебя видеть!.. — быстро заговорила она, держа отца за руку, впервые в жизни испытывая нежность к нему.

Они остановились, глядя друг на друга.

— Я так переволновалась за вас обоих, — говорила Лена. — Вы не получали моих писем?

— Со времени белого переворота мы не получали никакой корреспонденции. Должно быть, она застревала в контрразведке, — конфузливо мигая, отвечал Владимир Григорьевич.

— Вы скрывались?

— Да нельзя сказать, чтобы особенно и скрывались. Я, как тебе, может быть, неизвестно, работал в совете на Сучанском руднике. Поехал сюда повидать Сережу, который только что тогда приехал, тут нас и захватил переворот. Ну, думаю, буду лечить больных, пока не сменят или арестуют, — никто не сменяет, никто не арестовывает. Видно, не до нас было, а здешняя милиция — вся знакомая, относилась даже с уважением. Потом прибился к нам некий Мартемьянов, бывший председатель совета, где я работал; мы его спрятали тут неподалеку в зимовье, подкармливали. Под конец я даже обнаглел и послал петицию в управление, — дескать, платите жалованье. Ответа, конечно, никакого... Ну, а уж когда все тут закрутилось, мы и вовсе стали недосягаемы: карательные экспедиции до нашего села не дошли, а если бы и дошли, тоже беда невелика, — спрятаться нам весьма легко, ибо, как говорится, omnia mea... и так далее... дорожить нечем...

Владимир Григорьевич быстро сыпал словами и все мигал, и Лена с грустью чувствовала, что отец старается засыпать словами свою отчужденность от нее.

— А про тебя писали, что ты казенные суммы похитил! — с грустной усмешкой сказала она.

— Ну, бо́ знать что! — рассердился Владимир Григорьевич. — Это ж белогвардейские газеты писали.

— Да я — несерьезно...

— Пойдем, однако, — хмуро сказал он, увлекая ее за собой.

Лена, смотревшая поверх возов, вдруг удивленно подняла брови: навстречу им, лавируя между возами, шли двое — маленький короткошеий человечек, вместе с которым она ехала на подводе от деревни Хмельницкой, а другой...

Лена вспыхнула.

Другой — был Сурков, тот самый Сурков, которого она видела еще учеником-подростком в передней у Гиммеров, а потом — на примерке у китайца-портного, а потом — с балкона, когда Всеволод Ланговой и чешский офицер везли его на автомобиле,— Сурков сидел между ними со связанными руками. Этот Сурков шел теперь между подводами, в серой казачьей папахе, раскачивая на ходу квадратными плечами и чуть заметно прихрамывая.

— Мы — за вами, — сказал он, подходя к Владимиру Григорьевичу, и мельком взглянул на Лену из-под бугристых бровей. — Пришлось экстренно ревком созвать... Это — Чуркин, из областкома. Привез директивы, которые кажутся ему очень важными, а мне — нет...

Он нехорошо усмехнулся.

— А... Я сейчас, — заволновался Владимир Григорьевич. — Вот дочка приехала, прошу любить и жаловать...

— Мы-то уж знакомы! — Чуркин весело улыбнулся Лене. — Как вы себя?

— Ничего... Спасибо, — протяжно сказала Лена, чувствуя на себе взгляд Суркова.

Но, конечно, он не мог узнать ее: ведь она была тогда маленькой нарядной девочкой среди других, таких же нарядных девочек, а на балконе, среди множества людей, смотревших на него в бинокли, он и вовсе не мог ее видеть.

— Придется на время разлучить вас. Очень жалею.

Сурков встретился с Леной глазами, и улыбка чуть тронула его полные, плотно сжатые губы.

— Ну что ж, ну что ж... — засуетился Владимир Григорьевич. — Вот только устрою ее и приду... Пойдем, Леночка...

«Сурков?.. Ну, пусть Сурков...» — подумала Лена, идя вслед за отцом.

IX

Лене отвели отцовский кабинет, пахнувший табаком и книгами. Ночью, свернувшись клубочком, по привычке, оставшейся у нее с детства, когда она мечтала уместиться в орешке, — свернувшись клубочком на дряхлом, с выпирающими пружинами отцовском диване, прижав к груди руки с подвернутыми ладошками и неподвижно глядя на освещенный месяцем угол стола, она долго беззвучно плакала: от усталости, от воспоминаний детства, оттого, что жизнь ее выглядела бессмысленной и жалкой, оттого, что она не застала Сережи, и ей казалось, что она совершенно одна на свете.

Со смертью матери порвалась последняя нить, связывавшая Лену с родным домом и с ее детством.

Мать Лены была маленькая, полная, молчаливая женщина, с седеющими волосами, с тихими движениями, со спокойным, усталым и недоверчивым взглядом из-под

широких темных бровей, придававших ее лицу вид гордый и недоступный. На самом деле она была беспомощна и робка во всем, что не касалось ее детей. Она обладала многими действительными знаниями, а еще больше того передумала и перечувствовала на своем веку, но жизнь ее с отцом Лены изобиловала в прошлом столькими лишениями, приведшими к смерти старших детей, и так была она одинока в этой жизни, что весь ее практический мир невольно свелся к заботам о детях; она приучилась к бережливости, кропотливости, недоверию к людям. Все ее знания, чувства, мысли существовали только в ней самой и для нее, в лучшем случае она могла передать их детям.

Лена помнила ее сидящей в кресле с накинутым на плечи белым вязаным платком, — мать шила или читала что-нибудь, или думала о своем, устало прислонив к спинке кресла седеющую голову; помнила ее бесшумно переходящей комнату в мягких, отороченных белым мехом туфлях, с каким-нибудь тазиком с молоком для котенка в руках; или склонившейся над ее, Лениной, постелью и жадно целующей ее в лоб и нежные щеки, мягкость которых Лена чувствовала и сама, когда ее целовали.

Мать и дочь любили, закутавшись вместе в вязаный платок, сидеть по вечерам на крыльце, выходящем в сад, и молча смотреть на затухающую рдяную полоску над дальними, медленно темнеющими горами; любили собирать цветы — пышные белые пионы, влажные ирисы, желтые и красные лилии, немного пугавшие их своими крупными размерами и яркими красками; любили, пристроившись где-нибудь на диване, читать друг другу вслух или разговаривать о людях — одинаково о взрослых и детях.

Это был свой интимный мир понимающих друг друга взглядов, нежных касаний, тихих разговоров, мир ощущений и созерцания, бездейственный и незащищенный, но правдивый.

Мир отца — мир действенный, многолюдный и шумный (настолько шумный, что казалось иногда, будто отец старается своим громким голосом запорошить какую-то пустоту в себе) — этот мир был чужд и непонятен им.

Отец бросался от одного дела к другому, ни одного не доводя до конца. Он все делал с пафосом, с воздеванием рук, с восклицаниями и многословием, мешая в кучу французские междометия, латынь, народные обороты.

— О! Cela!.. Пришли семена от Рамма! — вздымая

длинный указательный палец, поблескивая сумасшедшенькими глазками, кричал он по весне в период своего увлечения огородничеством.

— Sic transit!.. Черт бы его побрал, этого Козлова! — жаловался он осенью на огородника. — Не арбузы у него получились, а бо́ знать что!..

— Экий мы, мать моя, клин сегодня выкосили! — восторгался он, прибегая вечером с покоса, возбужденный, со свернутой набок черной бородкой, в грубых, пахнущих болотом сапогах. — Ну и кочки! Ну и водища! Таточку бы туда!..

Он намекал на старшего сына Гиммеров, Виталия, — толстого белотелого юношу, прозванного в своей семье Таточкой (отец не любил и презирал Гиммеров, особенно самого старика, за то, что тот в молодости принял православие; отец называл это «гнусным приспособлением к темным силам»).

Нашумев и наследив в комнате, он убегал на кухню, откуда доносились веселые «с устатка» голоса косарей, а потом незаметно проскальзывал в спальню, стараясь не дышать: от него пахло водкой.

Он гордился своей близостью к народу и думал, что ненавидит господ; с начальством был резок и вспыльчив. О, он не боялся пострадать! — он постоянно ссорился с приставами из-за мужиков и, не смущаясь тем, что был административно-высланным, однажды побил пристава палкой.

Когда кончалось его увлечение собственным хозяйством, он начинал создавать какие-нибудь кредитные товарищества или потребилки, воюя с богатыми мужиками и не замечая, что в своей деятельности зависит от них.

А после таких подъемов на него нападала хандра. Он целыми вечерами валялся на кровати, накрыв голову подушкой, посасывая леденцы,— они всегда лежали в жестяной коробочке возле, на стуле. В такие времена он бывал раздражителен и сердился на детей («Шуметь? Что?!» — кричал он из-под подушки так громко и в нос, что получалось — «штан?!»), ссорился с женой, а потом с виноватым видом подглядывал за ней в замочную скважину.

Он был искренен и в своих взлетах, и в падениях. Но он не только был лишен дара понимания людей (в том числе и себя) помимо того, а иногда даже вопреки тому, что люди говорят и думают о себе, — он даже не подо-

зревал, что такой дар существует у кого-либо. И поэтому для жены, только так и воспринимавшей людей, а через нее и для дочери, он сам был непонятным и чужим человеком.

Мать умерла внезапно, от разрыва сердца.

Она, как обычно, сидела в кресле, прислонившись виском к обитой плюшем спинке; книга, которую она читала, валялась на полу. Дети несколько раз проходили мимо, прикладывая к губам палец, думая, что мать спит.

В шкатулке ее нашли письмо. Мать распоряжалась в нем некоторыми вещами и бумагами и завещала Лену на воспитание к Гиммерам, о чем она давно уже договорилась с сестрой Софьей Михайловной. Любовь к сестре, сохранившаяся у нее с дней юности, помешала ей до конца понять эту женщину: мать была искренне убеждена в ее доброте, в ее любви ко всей их семье и думала, что Лене будет лучше с ней, чем с отцом.

X

В день своего отъезда Лена встала чуть свет; тихо, чтобы не разбудить Сережи и тети Сони, спавшей с ними в детской, оделась и, ступая на цыпочках по холодным половицам, пробралась в отцовский кабинет, выходивший окнами на улицу.

Она была влюблена в скобеевского пастушка, который каждые утро и вечер прогонял стадо мимо их окон и играл на жалейке. Она любила его за то, что он был простоголов, грязно одет, не боялся коров и людей и, казалось, не хотел быть никем другим, кроме как тем, кем он был. Она ни разу не решилась поговорить с ним и даже близко подойти к нему, — она любила его из окна, — но любовь эта занимала большое место в ее жизни.

Усевшись на подоконнике, калачиком поджав ноги и прислонившись к косяку окна своей немного крупной по телу, темно-русой головкой, она долго смотрела на пустынную улицу, на серый ряд изб по той стороне ее, на согнутую бабью спину во дворе напротив, — баба доила корову, — на чуть шевелившиеся от утреннего ветерка макушки деревьев за избами, на дальние, еще темноватые сопки, поверх которых чуть алело. Она сидела без движения, изредка поводя бровями, — брови у нее были широкие

и темные, как у матери, и немного приподнятые; она всегда точно удивлялась чему-то.

Из некоторых дворов бабы уже выгнали коров на улицу, слышно было пенье петухов, потом издалека донесся слабый звук жалейки, но Лена не шелохнулась. Звук жалейки становился все слышнее и слышнее, его перебивали бабьи возгласы, мычание коров, хлопанье бича; вот появились в окне степенно и крупно ступающий буро-белый бугай и поспешающие за ним головные коровы, и потекло мимо окна рябое, красное, белое, черное, пегое, сверкающее рогами на только что брызнувшем из-за сопок солнце, мычащее и поматывающее головами стадо. За ним шел пастух в высокой шапке и маленький простоголовый пастушонок с грязной шеей, в плотно обутых лаптишках. Пастушонок шел, закинув голову, и играл на жалейке. Ресницы у Лены дрогнули, она зябко шевельнула плечиками и снова замерла.

Стадо прошло; скрылся из глаз пастушонок; из противоположного двора вышел бородатый крестьянин с застрявшей в волосах соломой и, зевая, посмотрел на небо. Звук жалейки все удалялся и удалялся, пока не смолк вовсе, а Лена все еще сидела на подоконнике, не меняя положения, глядя перед собой невидящими, затуманенными глазами.

И вот ожил весь дом. Уже отсидели завтрак, почти не притронувшись к нему; уже несколько раз Лена обошла все комнаты, подолгу задерживаясь у портрета матери, смотревшей на нее со стены усталым, грустным и спокойным взглядом; уже все вещи сложены на подводу, вокруг которой толпятся провожающие; уже сказаны последние слова, — чьи-то чужие сильные руки сажают Лену рядом с Софьей Михайловной на трогающуюся подводу, и Лена долго-долго смотрит на удаляющийся дом с высоким резным крылечком, на маленького Сережу, смотрящего ей вслед отважными черными глазенками, на отца, потряхивающего головой и то и дело хватающегося рукой за бороду...

XI

Теплым беззвездным вечером начала сентября маленькая Лена, в сопровождении Софьи Михайловны и выехавшего встречать их на вокзал старого Гиммера, подъезжала

в коляске, запряженной парой белых, известных всему городу гиммеровских лошадей, к подъезду четырехэтажного дома Гиммеров.

Слева от подъезда зиял черный, под домом, проезд во двор; кто-то, гремя ключами и гулко, как в бочку, кашляя, отворял железные ворота.

Прямо простиралась широкая, с двумя рядами фонарей, лоснящаяся асфальтом улица; по ней сновали извозчичьи пролетки, мчались, названивая, велосипедисты, по тротуарам текли пешеходы, гуляющие пары, слышен был пестрый, смутный гомон, шелест шагов. С правой стороны улицы, спускаясь до самой бухты, отсвечивающей огнями судов и пристаней, темнел обширный сад; в саду играл духовой оркестр, где-то за садом все время кряхтело, сопело и скрежетало что-то.

— А ну, посмотрим, как тебя дома кормили!..

Старый Гиммер, неумело подхватив под мышки Лену, растерявшуюся от городского шума и обилия людей и огней, вытащил ее из коляски.

— Вот тебе моя рука, Сонечка... Завтра к десяти, Андрей, точно, — сказал он кучеру.

И, сердито косясь на старичка-чиновника и группу молодых людей и барышень, скучившихся у подъезда, чтобы посмотреть на богача Гиммера, — отфыркиваясь, он вслед за Софьей Михайловной, взявшей Лену за руку, грузно прошел в подъезд.

Сунув мелочь в руку швейцара, почтительно поздравившего их с приездом, Гиммер вдруг остановился, точно вспомнил что-то, и, нагнув голову, искоса посмотрел на швейцара. Веселая искорка пробежала в его глазах, но, видно, о том, что он вспомнил, он не хотел говорить при швейцаре, и он молча поднялся до первой площадки.

— Да, забыл предупредить тебя, Сонечка, — сказал он с игривостью в голосе, — Дюдю, любимца твоего, сегодня в училище избили.

— Ах, что ты говоришь! — выпустив руку Лены, воскликнула Софья Михайловна и остановилась, сделав испуганные глаза.

— Ничего особенного, просто синяков наставили. Обычная мальчишеская драка. Я просто хотел тебя предупредить, чтобы ты не испугалась, увидев его с примочками.

— И как ты можешь так говорить, Симон! — (Православное имя Гиммера было Семен, но имя это не нрави-

лось Софье Михайловне, и она всегда звала мужа — Симон.) — И как ты можешь так говорить! Ну, бедный Дюденька!.. А кто его?..

— Один из воспитанников твоих, не помню фамилии...

Гиммер насмешливо сощурился: Софья Михайловна была председательницей Благотворительного общества помощи учащимся из народа, и под ее воспитанниками Гиммер подразумевал учащихся-стипендиатов этого общества.

— Кто именно, не помнишь?

— Ну, тот самый, дядя которого швейцаром в училище.

— Он наказан, надеюсь, этот мальчик?

— К сожалению, наказан: его из училища исключили.

— И как ты можешь так говорить, Симон!

Софья Михайловна, подхватив длинный, по тогдашней моде, хвост платья, быстро пошла вверх по лестнице.

— Весь день ему Эдита Адольфовна эти примочки прикладывала, — с трудом поспешая за ней, весело говорил Гиммер, — а перед тем как ехать вас встречать, я захожу проведать сынка и вижу: Ульяна ему постель поправляет, а он ее — за юбку, а она отбивается...

И старый Гиммер, лукаво сощурившись, вдруг начал издавать такие звуки, как будто в горло к нему попала рыбья кость. Это была его манера смеяться.

Софья Михайловна, строго поджав губы, кивнула в сторону Лены.

— А как он покраснел! Покраснел как! — давясь рыбьей костью, говорил Гиммер.

— Симон!

Софья Михайловна поспешила нажать кнопку звонка.

Две похожих на старого Гиммера и друг на друга рыженьких горбоносых девочки, одна — ровесница Лене, другая — чуть постарше, с криком: «Мама приехала! Мама приехала!» — вбежали в переднюю. Увидев Лену, они запнулись на мгновение, потом, узнав ее, но не сообразив, что им нужно теперь делать, снова кинулись к матери, хватая ее за руки и танцуя возле нее.

— Что — Дюдя? — спрашивала Софья Михайловна. — Бедный мальчик! Я сейчас же, сейчас же пойду к нему... Лиза, Адочка! Вы займитесь пока с Леночкой, я вам потом все расскажу...

И, волоча по половику длинный хвост платья, она быстро прошла в комнаты.

*

— Это — Леночка, дети. Вы узнали ее? — говорил старый Гиммер, по очереди выпроваживая детей в столовую. — Вы помните, она гостила у нас с тетей Аней? Тетя Аня теперь умерла, и она совсем будет жить у нас. Вы, конечно, подружитесь, — говорил он, нагнув голову, с шутливой серьезностью глядя на детей, посапывая.

Лиза и Адочка, взявшись за руки и жеманно поводя плечиками и рыженькими головками, украшенными одинаковыми голубенькими бантами, с любопытством рассматривали чужую большеголовую и большеглазую девочку, которая, расставив ноги в черных чулочках, опустив вдоль платьица тонкие руки, растерянно стояла у дверей большой, залитой светом комнаты. Комната эта была хорошо знакома Лене, но, как и два года назад, ее поразили неизвестно зачем расставленные по углам высокие синие вазы и неизвестно зачем развешанные по стенам тарелки, расписанные цветастыми и хвостатыми китайскими драконами.

— Конечно, это Сурков, — сказала Софья Михайловна, входя в столовую. — И какой синяк под глазом! Это не мальчик, а просто зверь какой-то...

— Ничего нет необыкновенного в том, что мальчики дерутся, — сухо сказал старый Гиммер, повернувшись всем туловищем к Софье Михайловне. — И печально не то, что синяк, а то, что растет здоровый и капризный балбес, который думает, что раз он сын Гиммера, то ему все позволено, а даже постоять за себя не умеет. Вот это печально!..

Он сердито фыркнул и, тяжело ступая широкими, медвежьими ступнями, прошел в свой кабинет.

Глаза и губы Софьи Михайловны приняли обиженное выражение. Некоторое время она молча стояла посреди комнаты.

— Барыня, детей спать вести? — спросила показавшаяся в дверях девушка в белом переднике.

— А вы как думаете, милая, детей можно укладывать без ужина? — неожиданно озлобляясь и краснея, заговорила Софья Михайловна. — Или вы думаете, что ребенок после дороги может лечь спать без ванны? Вы, милая, если вы пришли служить и если вы за это получаете, извольте служить как следует!.. Скажите Даше, чтобы подавала ужинать, и идите приготовьте ванну!..

XII

По деревенской привычке Лена проснулась очень рано, когда весь дом еще спал. Из-за занавесей на окнах слабо пробивался рассвет, в детской было полутемно. Лиза и Адочка спали на своих кроватках. Полоса света чуть освещала игрушки в углу: детскую плиту, громадную куклу и громадную — больше, чем бывает в жизни, — кошку на колесиках, с желтыми глазами.

Лена высматривала, не принесли ли платьице, в котором она ехала из деревни, — она оставила его вчера в ванной, — но платьица нигде не было. На стуле возле кровати, аккуратно сложенное, лежало кружевное бельецо и белое платье на спинке — такое же, в каких Лиза и Адочка выбежали вчера. Белые туфельки стояли возле стула.

Лена, покосившись на спящих Лизу и Адочку, присела на кровати и потрогала бельецо руками. Оно было чистое, хорошо проглажено и хорошо пахло; платье тоже понравилось Лене. Но все же она не могла забыть, что старое ее платьице сшито мамиными руками, и она, вздохнув, откинулась на подушки. Так лежала она долго, то вспоминая или раздумывая о чем-то, шепча что-то про себя, то вновь принимаясь рассматривать комнату, игрушки в углу... Нет, кошка ей не нравилась, но кукла была хороша — и, конечно, интересно иметь такую плиту.

Потом она слышала чьи-то шаги в соседних комнатах, звуки осторожно открываемых и прикрываемых дверей. Снова покосившись на спящих Адочку и Лизу, она надела новое бельецо и белое платье, обула туфельки; позверушечьи снуя руками, повязала ленточку в свою крупную русую голову и юркнула из детской.

Пройдя ряд полутемных комнат, заставленных разнообразной мебелью и увешанных картинами, она приоткрыла дверь в столовую и зажмурила глаза: столовая залита была утренним солнцем, весело игравшим на синих вазах и тарелках с драконами.

Из передней, дверь в которую была открыта, доносился приглушенный говор: там виднелись люди. Лена узнала стоящую спиной к двери горничную Ульяшу — ту самую девушку, на которую накричала вчера Софья Михайловна. Ульяша говорила с какой-то толстой женщиной; возле них темнела фигура подростка. Женщина,

как видно, просила о чем-то Ульяшу, а Ульяша ей отказывала.

— Ну, уж посидите здесь, в передней, коли так, — наконец сказала Ульяша, — барин скоро выйдут. Только сидите тихонько.

Она, прикрыв за собой дверь, вернулась в столовую и, увидев Лену, весело улыбнулась ей.

— Как вы рано встали, барышня! — сказала она шепотом. — Соскучитесь, так рано встамши. У нас так рано только один барин встают...

— Кто это там? — указав пальцем на дверь в переднюю, шепотом спросила Лена.

— Сурковы это, мать с сыном, — пояснила Ульяша. — Мамаша пришла за сынка просить, чтобы обратно в школу приняли... А сынок здоровый! — Ульяша хихикнула. — Как он вчера нашего молодого барина расписал! Такого парня бы на выгрузку, а не в школу, — смеясь, говорила она.

— А за что он его? — допытывалась Лена, серьезно глядя на нее.

— А кто ж его знает. Обыкновенно... Разве знает кто, за что мальчики дерутся?

Пока просыпался, одевался, мылся, чистился, убирался весь дом, Лена то и дело возвращалась в столовую и, чуть приоткрыв дверь в переднюю, поглядывала в щелку — сидят ли еще мать и сын Сурковы.

Они сидели рядом: мать, толстая, в новом цветастом платье и белых нитяных чулках, — с робким и чего-то стыдящимся выражением лица, покорно сложив руки на животе; сын, подросток лет тринадцати — четырнадцати, широкоплечий и угловатый, — упершись локтями в колени и уткнув в большие красные ладони угрюмое и злое лицо. Он был в поношенном, из «чертовой кожи», форменном костюме ученика коммерческого училища; громадные, подпиравшие шею меркурии на воротнике вонзились в большие пальцы его рук.

Потом пришли Лиза и Адочка в темно-зеленых, с белыми воротничками гимназических платьицах и тоже стали подглядывать. Лена не заметила, как это подглядывание превратилось в игру. Всем троим вдруг стало очень весело. Они громко перешептывались и смеялись, зажимая рот ладошками. Один раз Адочка так прильнула

к щелке, что дверь отворилась, и Адочка чуть не упала, — все трое так и прыснули!..

Сурков продолжал сидеть, уткнув лицо в ладони, а мать его испуганно обернулась к дверям, шевельнула руками и виновато и жалко улыбнулась.

Лена, перестав смеяться, — она стояла теперь одна в открытых дверях, — несколько секунд, широко открыв глаза, смотрела в лицо матери Суркова. В это время открылась другая дверь в переднюю, и оттуда показалась Ульяша.

— Пожалуйте, — весело сказала она.

Мать Суркова засуетилась, с неуклюжей торопливостью стала оправлять платье и волосы. Сын, не взглянув на Лену, прихрамывая, первым прошел в кабинет Гиммера.

Некоторое время Лена стояла еще в дверях. И вдруг краска стыда бросилась ей в лицо, уши, шею. Высоко подняв голову, с одеревеневшими губами, Лена прошла мимо Лизы и Адочки, удивленно проводивших ее глазами.

За завтраком Лена узнала, что старый Гиммер, бывший членом попечительного совета коммерческого училища, удовлетворил просьбу Сурковых и дал им письмо к директору, где он писал, что Петр Сурков достаточно наказан за свой проступок и может быть восстановлен в правах учащегося.

XIII

После завтрака Лиза и Адочка ушли в гимназию. К десяти часам уехал в контору старый Гиммер.

Лена все ожидала, что, раз ее привезли сюда, кто-нибудь займется ею или укажет, что она должна делать, но никто ей ничего не указывал, и она, скучая, болталась в столовой.

Часам к одиннадцати вышел к завтраку Таточка в длинном мохнатом халате и в туфлях. Таточка сильно разросся и потолстел, он начинал лысеть. Заметив Лену, он несколько мгновений задержал на ней свой невнимательный взгляд.

— Это что за экземпляр? — сказал он, неизвестно к кому обращаясь, и тут же забыл о ее присутствии.

Лена с удивлением посмотрела на него и, не поняв, что он сказал и к чему это, не обиделась на него.

Но Таточка окончательно удивил ее, когда, разложив перед собой газеты и журналы и искоса заглядывая в них, он разрезал вдоль французскую булку, намазал маслом, переложил икрой и съел всю булку и выпил два стакана кофе, а потом разрезал так же вторую булку, переложил сыром и выпил еще два стакана кофе.

Таточка два года назад окончил гимназию. Еще в гимназии он начал заниматься живописью и по окончании хотел поступить в художественную академию. Однако в академию его не приняли, сказав, что у него нет никаких способностей к живописи. Таточка не обиделся на академию, ибо что можно было и ожидать от этих законсервированных представителей старого художественного направления?

Вернувшись к отцу, он занялся тем, что стал изучать новейшую философию, выбирая такую, что помрачнее, и писать масляными красками какие-то длинные лица и деревья.

Однажды он издал даже книгу стихов, которую он в предисловии сам охарактеризовал как «полубред, полудействительность, полубодрствование, полусон, жар избытого томления и хмель зарождающейся жизни, кипение и нежность, силу и слабость — непостижимую, но действительную, странную, но несомненную, крутящую мысли и сжимающую сердце мистику зачатия...».

«Какая необыкновенная тишина, — писал он о собственных стихах, — какая чуткая сонь, важно-цветистая, торжественно полыхающая пламенем голубизны!..»

Книжка Таточки была издана на средства отца, в роскошном переплете, в двенадцати пронумерованных и поименованных экземплярах, — она была роздана только *понимающим*. Вокруг Таточки образовался кружок, с величайшим презрением относившийся ко всякого рода человеческой деятельности, кроме той, какой он сам занимался.

Таточка вставал не ранее двенадцати часов дня, обильно завтракал. После того два-три часа он занимался живописью или чтением, или писал стихи. К началу занятий уже стояли возле на столике два раскупоренных ящичка с японскими апельсинами и мандаринами. Во время работы Таточка рассеянно запускал свою белую полную руку в ящики, — к концу занятий обычно оба ящика бывали опорожнены.

Если приходил кто-либо из кружка, Таточка обедал отдельно от остальных членов семьи. После обеда он спал. Потом он гулял немного, а вечером с кем-либо из кружка шел в театр, или на концерт, или на диспут, или на литературный суд, которые устраивались особенно часто в женской гимназии. Возвращался он поздно.

В течение дня Таточка три-четыре раза переодевался. Содержание Таточки обходилось старому Гиммеру дороже содержания всех остальных детей, вместе взятых. Но вокруг Таточки в семье царила атмосфера угождения, уважения и гордости: «Тише, Таточка спит», «Ах, тише, Таточка работает», «Таточке нужны деньги», «К Таточке нельзя — у него портной».

По мере того как Таточка взрослел, он все больше лысел и полнел, все меньше читал и занимался живописью. Если он не был на концерте или в театре, он попросту сидел в кресле посреди комнаты. В руках его не было ни книги, ни палитры, в глазах и на лбу его не отпечатлевалось никакой мыслительной работы, даже пищеварительные процессы не отражались на его лице, но он и не спал, — он просто *помещался* в комнате, как предмет.

Но к тому времени, когда Лена приехала из деревни, Таточка был еще в полном расцвете своей деятельности.

Он еще не кончил завтракать, когда в столовую ввалилась компания молодых людей в белых брюках, в сопровождении худощавой остроносой девицы в длинном черном платье и черных перчатках до локтей.

— Виталий, конечно, еще только встал! — воскликнул один из молодых людей.

— Почему вы не были вчера у Солодовниковых? — спросила девица в черных перчатках. — Я вас ждала. Было ужасно весело. Мы так сумасшествовали, — говорила она деревянным голосом.

Они развязно болтали о своих делах. Потом разговор перешел на тему о новой картине Таточки, для которой он уже *заготовил полотно,* и все перешли в комнату Таточки.

В первом часу вышла к столу Софья Михайловна. На ней было синее, вышитое шелком японское кимоно. Она жаловалась на плохой сон и на мигрень.

Лена в новом, стеснявшем ее белом платьице, не зная, что ей делать, неподвижно сидела на стуле, свесив ноги с ввернутыми внутрь по-детски ступнями. Со все более

возникавшим в ней чувством отчуждения она наблюдала за тем, как маленькая и полная Софья Михайловна, с обернутыми вокруг головы толстыми искусственными косами, вытягивая губы трубочкой, пила кофе из маленькой чашечки, которую она держала двумя пальцами, отставив мизинец.

Во время завтрака Софьи Михайловны в двери из передней постучали, и в столовую, свистя платьем, стремительно вошла длинная, сухая женщина с желтым, морщинистым лицом, в сильно поношенной шляпке.

— Ах, милая Софья Михайловна, наконец-то вы приехали. Мы все здесь так вас ждали! — заговорила она грудным клохчущим голосом, стремительно бросаясь к Софье Михайловне и целуя ее в щеку. — Боже, как вы похудели!..

Она бережно коснулась плеч Софьи Михайловны и поцеловала ее в другую щеку.

— Да, мы приехали вчера. Очень мило, что вы пришли, Эдита Адольфовна, — отвечала Софья Михайловна таким тоном, который говорил, что она очень рада приходу и могла бы еще больше выразить радости, если бы все, что она застала здесь, не было бы так печально. — Вы знаете, я так устала, — говорила она, — всю ночь такая мигрень, и потом эта история с Дюдей... Даша, принесите кофе Эдите Адольфовне!

— Да, ужасная история... — Эдита Адольфовна сменила восторженное выражение на грустное и соболезнующее. — Я тоже так была взволнована, когда услыхала об этом. У меня должен был быть немецкий в их же классе, но я, как услыхала об этом, я сказала, что никому не могу доверить бедного мальчика, и сама доставила его на извозчике... Семен Яковлевич всегда так занят, — добавила она, сделав еще более грустное, соболезнующее лицо, как бы желая сказать этим, что она, конечно, никогда не допустит себя до вмешательства в семейные дела Гиммеров, но она все, все понимает. — А как он сейчас?

— Самочувствие хорошее и аппетит. Но синяк ужасный, я все-таки велела лежать ему в постели.

— Нет, я обязательно посмотрю сама, — решительно сказала Эдита Адольфовна, — вы извините меня, но иначе я не могу быть спокойной...

И она, свистя платьем и стуча своими стоптанными, как заметила Лена, каблуками, стремительно вышла из столовой.

Когда Эдита Адольфовна ходила или сидела, верхняя часть ее длинного корпуса подавалась вперед, а нижняя отставала немного, точно она всегда стремилась к чему-то духом, но отставала телом.

— Да, синяк ужасный, — сказала она, возвращаясь. — Это все Сурков... Грубый мальчик, неблагодарный, отец у него неисправимый пьяница, — я была у них там, в их слободке, помните, когда мы обследовали условия жизни стипендиатов... У нас столько дел! Я их не могла разрешить без вас... — Она энергичным движением раскрыла черную сумочку, достала носовой платок и записную книжку. — Вы простите, что я так сразу начинаю о делах нашего общества, но через час у меня французский в женской гимназии.

— Что вы, Эдита Адольфовна! Вы знаете, как я всегда волнуюсь *этим* и не жалею времени для *этого*... Выпейте кофе, у вас очень усталый вид.

— Да, там у нас одни неприятности. Вы знаете, мы еще не приобрели материи для наших мальчиков, а сезон уже наступил. Нет денег, — перебила она вопросительный жест Софьи Михайловны, — к Солодовниковым неудобно было обращаться за деньгами, когда у них такое горе после смерти их бедной старушки, а к Пачульским я обращалась, — Эдита Адольфовна, понизив голос, склонилась к Софье Михайловне, — и, конечно, как всегда, Тереза Вацлавна дала понять, что они уже много вносили и что в данный момент у них нет свободных денег... Это — когда весь город говорит об этой их операции с мукой!..

— Печально, очень печально... — На лице Софьи Михайловны изобразилась печаль. — Но что же делать, — не нам осуждать людей, пусть их бог судит...

— Нет, простите, Софья Михайловна, я знаю, вы с вашей добротой всегда всех прощаете. Но когда знаешь, сколько вы кладете в это дело и сил и средств, и когда даже я со своим скудным жалованьем, — но я не хочу говорить о себе, а уж Терезе Вацлавне, тем более с *ее прошлым*...

Эдита Адольфовна вдруг запнулась и посмотрела на Лену.

— Да, мы сейчас перейдем ко мне и обо всем поговорим, — сказала Софья Михайловна. — Леночка, пойди сюда... Познакомься с тетей Эдитой Адольфовной.

Лена лопаточкой протянула руку.

— Никогда не подавай руки старшим, а делай книксен, вот так... — Софья Михайловна, захватив пухлыми ручками полы кимоно, показала, как делают книксен. — Когда будешь большой, будешь первая подавать руку мужчинам...

Она с улыбкой взглянула на Эдиту Адольфовну.

— Премиленькая девочка, — сказала та, обнажив длинные черные зубы.

— Так пройдемте ко мне и поговорим обо всем... Леночка! Ты пойди в детскую, поиграй или почитай что-нибудь. Не скучай и будь умницей...

И, погладив Лену по головке и запахнув кимоно, Софья Михайловна вместе с Эдитой Адольфовной пошла на свою половину.

XIV

Оставшись одна, Лена долго бродила по комнатам в чаще мебели, ковров, занавесей. Комнаты были большие, но какие-то неустроенные, и неизвестно, зачем их было так много, если в них никто не жил. Только кабинет Гиммера, лишенный всяких украшений, понравился Лене своей массивностью, простотой и строгостью.

Случайно она открыла дверь в комнату к Дюде. Дюдя с неестественно красным лицом испуганно выдернул руку из-под одеяла.

— Кто там?.. Пошла вон! — закричал он неистовым голосом.

Лена в страхе убежала в детскую и долго сидела на кровати, с надутыми губами и остановившимся взглядом.

Потом она вспомнила, что можно еще сходить на кухню.

Еще в коридорчике она услыхала звон посуды, веселые женские голоса и мужской — стариковский. Она отворила дверь и очутилась в большой полутемной кухне. Пахло супом и каким-то жареньем. Горничная Даша — та, которая подавала вчера ужинать, а сегодня завтракать, — и еще какая-то пожилая женщина перетирали

посуду. У большой плиты, держа суповую ложку, стоял повар — бритый старик в очках, в белой шапочке, со сходящимися носом и подбородком. Все трое удивленно посмотрели на Лену.

— Вам что, барышня? — спросила Даша.

— Мне скучно... — откровенно созналась Лена. — Какая у вас большая кухня!..

— Вот так барышня, на кухню к нам пришла, а? — не то удивленно, не то насмешливо сказала пожилая женщина.

— Помогать, значица, пришла? — взглянув на Лену поверх очков, сказал повар.

Все трое засмеялись.

— Почему вы смеетесь? — серьезно спросила Лена.

— Вы лучше пойдите поиграйте, — сказала Даша, — а не то барыня застанут вас на кухне и заругаются.

— А эта дверь куда?

— А это во двор.

Лена с решимостью отчаяния прошла через кухню и через небольшие сенцы вышла на площадку наружной железной лестницы, уходившей вверх и двумя коленами спускавшейся во двор.

Двор, залитый асфальтом, походил на большой каменный колодец, охваченный с трех сторон желтыми стенами дома Гиммеров, обнесенными железными балюстрадами, а с четвертой — задней — кирпичной стеной соседнего дома.

Ступеньки лестницы были засорены какой-то шелухой, обрывками бумажек, угольной мелочью. На перилах балюстрад и на веревках внизу двора сушилось белье, матрацы. Над стенами домов синел кусок неба, и часть кирпичной трубы над стеной соседнего дома была освещена солнцем. Но солнце не проникало во двор; оттуда тянуло холодом, сыростью и запахом отбросов.

Двор был пустынен, только в левом дальнем углу его в мусорной яме копался мальчик лет семи, казавшийся с высоты совсем маленьким, в голубенькой, разодранной на спине рубашонке, босой, с вихрастой грязно-желтой головкой. Он доставал из мусорной ямы жестянки, кости, осколки бутылок, раскладывал их, — был, видно, сильно занят своим делом.

Он был совершенно одинок, этот босой мальчик, на дне темного, сдавленного каменными стенами колодца,

и хотя голоса мальчика не было слышно, но по всем его озабоченным, самоуглубленным движениям Лена знала, что он поет про себя какую-то свою одинокую мальчишескую песню, состоящую из случайного набора слов и лишенную мотива.

И ощущение полного одиночества и безвыходности ее собственного положения в громадном, набитом мебелью и коврами доме, среди чужих, ненужных и враждебных ей людей, полного одиночества ее в мире, где не было ни одного человека, которому бы она верила и могла вылить свое горе, — ощущение это с такой силой и мукой сжало сердце Лены, что ей захотелось броситься с площадки в уходящий вниз каменный колодец двора.

«Мама... Где ты, моя мама?» — подумала она, вцепившись ручонками в железные перила лестницы и не спуская глаз с одинокого вихрастого, с грязно-желтой головой мальчика, который все перебирал свои жестянки и стеклышки и неслышно пел свою лишенную мотива песню.

«Где ты, моя мама?» — повторяла Лена, терзая и мучая себя, но в то же время находя в этом какое-то наслаждение и потому желая еще как-то усилить это терзание и мучение себя.

Вдруг она вспомнила, как года четыре назад, еще в Саратове, когда мать уехала хлопотать за арестованного отца и Лена одна осталась у знакомых, она, скучая по маме, написала ей каракулями письмо. Письмо это так и не дошло до мамы, потому что Лена бросила его тогда в печную отдушину. Но ей захотелось теперь написать такое же письмо, как если бы мама была жива.

Она быстро прошла через кухню, не слыша, как Даша спросила ее о чем-то, прошла в кабинет Гиммера и, вырвав из лежащего на письменном столе блокнота листок и обмакнув перо, начала писать, стараясь писать так, как она писала четыре года назад, как если бы ей было пять лет, а не девять.

«Мама мне очень скучно, — писала она. — Мама приезжай скорей. Мама меня никто не любит. Мама мы приехали вчера а потом я мылась в ванне а потом легла спать и долго не спала думала где ты. А потом я встала надела белое платье а моего платья нет что ты шила. А потом мы завтракали а Дюдя меня прогнал. А потом

я видела мальчика во дворе он был совсем один весь грязный он пел. Мама мама моя у меня нет никого на свете», — писала она, все больше и больше растравляя себя, и слезы капали на ее письмо.

XV

К тому времени, когда Лена была привезена к Гиммерам, Семен Яковлевич Гиммер был очень богатым человеком, одним из самых богатых людей в городе. Он владел железными рудниками в районе города Ольги, угольной копью под станцией Угольной, мукомольными предприятиями на Второй речке.

Основную цель и смысл своей жизни Гиммер видел в том, чтобы заниматься *делом*. Под *делом* Гиммер подразумевал всякое занятие, которое приносит в конечном счете большее количество денег, чем то, которое вложено в него. А деньги эти нужны были Гиммеру главным образом для того, чтобы вкладывать их в новое дело, которое должно было принести еще больше денег.

К этому своему положению Гиммер пришел не сразу. Он выбился «в люди» из семьи мелкого лавочника, и путь его вверх, даже в понимании чести самим Гиммером, не всегда был честным путем. Особенно сильно разбогател он на поставках в русско-японскую войну. Но совесть не мучила старого Гиммера, потому что он знал, что, если бы он не делал этого, другие, более ловкие люди, забили и растоптали бы его, Гиммера, и он никогда не выбился бы «в люди» и не достиг того положения, в котором сейчас находился.

В деле Гиммера работали на него тысячи людей, со своими жизнями и интересами, лишенные всего того, что имел Гиммер. Но то, что люди, лишенные всего, работают на него, имеющего все, не только не беспокоило старого Гиммера, но служило предметом его гордости, потому что он считал, что выгоднее и почетнее, чтобы люди работали на него, чем если бы он сам работал на кого-нибудь другого.

Порядок жизни, который сложил Гиммера, состоял в том, что одни люди, лишенные всего, работали на других, имеющих все; иного порядка жизни Гиммер не знал и не задумывался над тем, что он может быть. А если бы сло-

жился другой порядок, Гиммер не мог бы существовать в нем, как не может существовать рыба, вынутая из воды.

В те времена, когда Гиммер еще не был так богат, он непосредственно сталкивался с жизнями людей, которые работали на него, он еще воспринимал их как живые, реальные жизни, мог сочувствовать им и даже входить иногда в их интересы — настолько, однако, чтобы от этого не страдали интересы *дела*. Но к тому времени, когда Лена приехала к Гиммерам, дело Гиммера настолько разрослось, что он уже не мог сам непосредственно соприкасаться с жизнями людей, работающих на него, а этим занимались другие люди — управляющие, инженеры, подрядчики, бухгалтеры, — люди, подчиненные Гиммеру и исполнявшие его волю. Сам Гиммер сталкивался теперь только с цифровыми выражениями людских жизней — цифрами рабочих рук, пудов и рублей.

Если цифры складывались неблагоприятно для *дела* Гиммера, он намечал мероприятия, способные изменить положение в нужную для дела сторону. И управляющие, инженеры, бухгалтеры и подрядчики направляли соединенные усилия на то, чтобы привести цифры в более выгодное соотношение.

Иногда люди, работавшие на Гиммера, отказывались подчиниться этим мероприятиям и колебали все дело. Тогда Гиммер надевал кожаную кепку и желтые краги и ехал на места, чтобы проверить работу управляющих, инженеров и подрядчиков и сменить плохих и неспособных управляющих и инженеров на хороших и способных.

Если сопротивление людей, работавших на него, было слишком велико и управляющие и инженеры не могли сломить их волю, Гиммер заменял русских рабочих китайскими или обращался к власти, чтобы она помогла сохранить его дело. И власть — организация людей, подобных Гиммеру, то есть людей, владевших такими же или подобными делами, — подымала на помощь Гиммеру войска, полицию, газеты, тюрьму, церковь, чувствуя в том, что угрожает делу Гиммера, угрозу и своим делам.

Дело Гиммера поглощало почти все его время, не говоря уже о том, что он был членом многих комитетов, правлений, клубов, обществ, деятельность которых он, обладая трезвым, практическим умом человека, вышедшего из низов, в тайне души считал бесполезной, но в которых не мог не состоять, так как все люди его положе-

ния состояли в них, — и учреждения эти тоже поглощали много времени. Гиммер был занят все дни с самого раннего утра до поздней ночи и редко отдыхал. И все-таки он всегда был полон жажды деятельности и искал все новых и новых дел.

Повсюду, где только пахло *делом,* можно было обнаружить его руку с короткими, литыми пальцами, тяжелую руку, никогда не выпускавшую того, за что ей удалось ухватиться, — повсюду сияла его багровая мощная лысина и звучал смех, похожий на то, как будто Гиммер давится рыбьей костью.

Для личных своих удобств и развлечений Гиммер требовал очень малого, — он остался почти таким же неприхотливым, каким был в молодости: не пил, не играл в карты, не знал женщин, кроме своей жены, просто одевался, ничего не читал, кроме деловых бумаг и торгово-промышленных газет, никогда не болел и не нуждался во врачах. Но так как он был богатым человеком и имел семью, которая должна была жить так, как живут все семьи богатых людей, — Гиммер помогал своей семье делать все то и обзаводиться всем тем, что полагается делать и чем полагается обзаводиться всем богатым людям.

Богатые люди строили себе большие каменные дома; загромождали эти дома мебелью; заводили породистых лошадей и собак; для обслуживания себя, своих жилищ и своих лошадей и собак содержали лакеев, швейцаров, поваров, горничных, конюхов, докторов, истопников, полотеров, учителей музыки и пения; скупали на выставках картины, художественная ценность которых определялась деньгами, уплаченными за рамы для этих картин; выписывали для своих библиотек роскошно переплетенные книги, которых не читали; ездили лечиться на дорогие курорты Японии, Кавказа и Крыма; создавали благотворительные общества; устраивали званые обеды и ужины, детские спектакли, спиритические сеансы, аукционы, лотереи и праздники.

И все это делала, и всем этим обзаводилась, и во всем этом участвовала и семья Гиммеров.

Гиммер знал, что тысячи людей, работающих на него, не любят, ненавидят его; что все богатые люди, которых он принимает в доме, завидуют ему как удачливому конкуренту и презирают его как выскочку и выкреста; что сам он, необразованный еврей, чужд всей своей русской

и образованной семье; что никто из его потомства не интересуется его делом и не способен продолжать дело после его смерти; что жена его — ханжа и лицемерка; что старший сын его — толстый высокопарный бездельник; что средний сын его, учившийся в другом городе в кадетском корпусе, стыдится еврейского происхождения отца и выдает себя за немца; что младший сын его — выродженец; что дочери его некрасивы и не способны в ученье; что он сам уже стар и близок к могиле. Гиммер знал все это, и все-таки он всеми силами поддерживал тот строй и порядок жизни, в котором жил, и вступил бы в борьбу со всяким, кто попытался бы изменить этот порядок.

XVI

Молодое растение, несущее в себе возможность развиться в стройное кудрявое деревцо с сочной листвою, будучи пересажено на чужую почву, где к тому же укоренились другие породы, загородившие доступ к свету своими кривыми, уродливыми сучьями, — первое время приостанавливается в росте; блекнут и желтеют его листочки. Но в тоненьких жилках, в веточках и корешках не прекращается незримая работа жизни: вот появляются среди чужих корней слабенькие щупальца, отыскивающие, за что бы уцепиться, вот прорезаются новые веточки, набухают листья, вот уже, изгибаясь стеблем и ветвями среди чужих пород, оно начинает тянуться вверх и вкось, и вот уже растет, растет кривое, и случайный путник уже не различает его в общей чаще.

Первое время пребывания у Гиммеров Лена сильно скучала, мало ела, почти не разговаривала, ночами плакала; в ее отношениях с другими детьми чувствовалось взаимное отчуждение. Она долго не могла отучиться от деревенских манер, стеснялась своих нарядных платьиц, боялась шума детских праздников, не могла понять интереса игры в лото, была наивна и нетактично правдива в семье, где все дети и взрослые, включая даже лежащего в передней ленивого сенбернара, лгали друг другу, часто не замечая сами, что лгут.

Когда же она пыталась выявлять те задатки и потребности любви, доверия и простоты, которые были зало-

жены в ней матерью, оказывалось, что они расходятся с представлениями окружающих, — она натыкалась на невнимание, насмешки, обиды и снова замыкалась — наблюдала, проверяла себя, приноравливалась, сама того не сознавая, к окружающему, чтобы жить.

И постепенно она усвоила общие для всей семьи манеры обращения, привыкла ко всему распорядку жизни в доме Гиммеров и внешне стала похожа на всякую другую девочку из богатой семьи.

Она училась ни хорошо, ни плохо, как большинство. Ей не стоило уже большого труда в не интересующем ее разговоре восклицать с безразличным лицом: «Да что вы говорите?», «Не может быть!», «Да, это необыкновенно интересно...» Как все девочки зажиточных семей, она ежедневно, под руководством учителя музыки, играла на рояле свои экзерсисы, посещала танцклассы, завела альбом для стихов, участвовала в детских спектаклях и лотерейках, танцевала на гимназических вечерах, мучаясь и ревнуя, если намеченный ею партнер выбирал другую. Заметив на себе взгляды мальчиков и взрослых мужчин, стала ухаживать за своей наружностью — пудриться, завертывать на ночь бумажки в волосы, чтобы волосы вились. Была влюблена сначала в кучера Гиммера, потом в кадета Лангового, приезжавшего каждый год на рождественские и летние каникулы с Вениамином, средним сыном Гиммера, потом — в оперного тенора.

Но подобно тому, как деревцо, искривившееся на чужой почве среди чужих пород, непрестанно стремится выявить заложенные в нем возможности, так и Лена во все, что бы она ни делала, привносила свои, странные для окружающих, особенности.

Ее альбом для стихов так и остался не тронутым, потому что ни с кем из своих сверстниц и сверстников она не вступала в отношения любовной дружбы.

Музыка, даже самая простая, волновала ее. Часто, окончив урок, Лена целыми часами с окаменевшим лицом сидела у рояля, опустив руки, неподвижно глядя в одну точку большими темными глазами. А иногда во время танцев на вечере в гимназии или дома ею овладевала вдруг подлинная радость движения, глаза разгорались от ей самой непонятного счастья, тихо звучал ее горловой смех, и она оделяла первых попавшихся людей словами

нежности и благодарности. А когда кто-либо, обнадеженный ее ласковостью, приходил на другой день, он встречал удивленный холодно-недопускающий в себя взгляд.

В детских любовных увлечениях ее не было ничего показного — ни внешних выражений тоски и страданий, заимствованных у взрослых, ни излияний подругам. Ночами она мысленно составляла страстные письма и с пересохшими губами кусала подушку.

В разговоре с детьми и взрослыми она редко говорила о себе, а всегда что-нибудь выспрашивала (о себе она охотнее говорила с людьми, которых, заранее знала, никогда больше не встретит).

Иногда в середине разговора в ее заблестевших глазах появлялось выражение зверушечьего любопытства, и она задавала неожиданные, не относящиеся к делу вопросы:

— Скажите, вы любите вкусно есть?

— А мама тебя никогда не била?

— А нищие — они очень несчастные?

Собеседник удивленно поднимал брови:

— Какая странная девочка!

Но иногда вопросы эти попадали в какую-то сокровенную точку, и собеседник или смущался, или с заметным оживлением начинал говорить о себе.

Свои наблюдения Лена проверяла потом на других. Сама того не замечая, она вела себя, как маленький соглядатай: лучше всех детей в доме была осведомлена о внутренней стороне жизни знакомых семей, раньше своих подруг стала догадываться о сущности отношений взрослых мужчин и женщин.

Двоюродные сестры ее — Адочка и Лиза, сформировавшиеся в очень похожих друг на друга длинноногих, веснушчатых, горбоносеньких, с шершавой кожицей на руках девочек-подростков, долгое время находились под ее влиянием. Лена не любила их, в ее отношении к ним всегда таилась не замечаемая ими бесстрастная жестокость экспериментатора. Она по желанию могла смешить их до истерического хохота, или расстраивать до слез, или возбуждать в них чувственное любопытство, или запугивать их страшными историями. Девочки не спали ночами, ходили с синевой под глазами, — это было замечено даже взрослыми.

XVII

В доме, тут же, протекал иной мир — мир прислуги. Прислуга находилась в состоянии непрерывного труда. Но в результате труда прислуги не возникало никаких новых вещей, это был нелепый, заколдованный круг.

Заготовлялись горы провизии, ее варили, тушили, жарили, подавали на стол, она уничтожалась господами. Потом мылись тарелки, кастрюли, выносились помойные ведра, и снова заготовлялись горы провизии, и снова мылись тарелки и кастрюли. Полы натирали, чтобы их снова зашаркали; шторы подымали утром, чтобы опустить вечером; чистая вода напускалась в ванну, чтобы выпустить ее грязной; за кошками убирали, чтобы они снова гадили; чесали сенбернара, а он линял снова. И так изо дня в день.

Прислуга была разная, работала по-разному, к господам относилась по-разному. Старый Гиммеров лакей, которого Таточка в шутку называл Достоевским, был наиболее предан господам, жил замкнуто, всегда молчал; остальная прислуга не любила и боялась его. Повар был наиболее уважаем господами, звался по имени-отчеству, имел отдельную комнату, он был уважаем также и прислугой. Горничная Даша, замужняя, была строга, богомольна, исполнительна. В Ульяше, девушке из местных слобожан, было что-то веселое и бесноватое, — она норовила словчить, погулять, выпивала, над господами подсмеивалась.

Кухня тайно посещалась матросами, солдатами, мастеровыми. Иногда заходил истопник — рыжий, волосатый, с руками до колен, вдовец, — один или с вихрастым, с грязно-желтой головой мальчиком, которого Лена видела во дворе в первый день приезда; мальчик всегда молчал.

Этот другой мир в доме Гиммеров необыкновенно притягивал к себе Лену; в свободные минуты она всегда старалась незаметно проскользнуть на кухню. К ней скоро привыкли. Лена любила слушать разговоры о ворах, убийцах, покойниках.

Пожилая судомойка, происходившая из деревни Скобеевской волости, помнила отца Лены, а когда услышала, что Лена любит вспоминать о матери, придумала также, что знала и ее мать. Муж судомойки погиб в русско-

японской войне — в той самой войне, на которой разбогател Гиммер. Лена сочувственно слушала ее рассказы о дочери, которая «ходит по чужим», о сыне-подпаске, «бедном сиротинушке», — он представлялся Лене вроде скобеевского пастушка, хотя, по рассказам судомойки, у сына ее был перебит нос: объездчик поймал в саду и перебил ему нос кнутовищем.

На кухне же Лена впервые познакомилась с дурными словами, значение которых не вполне понимала, и обучила им Лизу и Адочку. Когда Дюдя, любивший вертеться возле девчонок, нечаянно подслушал, Лена так и не созналась, где услышала эти слова. Софья Михайловна в наказание целую неделю не разговаривала с ней, но в течение этой недели Лена часто ловила на себе за столом лукавый взгляд старого Гиммера.

Выходом в иной мир были и общения Лены с некоторыми из подруг по классу.

Лена облюбовала самую бедную и тихую — дочь портнихи со смешной фамилией — Хлопушкина (в классе ее называли Хлóпушкина, с ударением на «о»). Она была очень некрасива, с белыми ресничками, в застиранном форменном платьице и невыносимо робка. Она даже училась плохо от робости. Она была так робка, что Лена долгое время не могла отделаться от впечатления, будто она хромая.

Первое время она робела и перед Леной, но потом привыкла к тому, что сидящая в соседнем ряду большеглазая девочка из богатой семьи внимательно и ласково поглядывает на нее.

Лена добилась того, что их посадили на одну парту.

Все, о чем говорила Хлопушкина, не было интересно Лене. Но девочка нравилась Лене своей тихостью и покорностью и тем чувством жалости и желания добра, которое она вызывала в Лене. Общение их кончалось у гимназического подъезда в тот момент, когда Лена и девочки Гиммер усаживались в просторную, запряженную парой белых лошадей коляску с кудрявым кучером, а маленькая Хлопушкина со своими ресничками отправлялась пешком к себе, в Голубиную падь.

Но однажды Лена пошла провожать ее.

Слобода Голубиная падь лежала за Орлиным гнездом, большой лысой горой, возвышавшейся над городом. Хлопушкина жила в сером дощатом домике с маленькими

окнами — таком же, как все домики в этой пади, меж двух изрезанных оврагами гор, на склонах которых паслись коровы и свиньи. В вершине пади стояло квадратное деревянное строение голубиной почты, похожее на китайскую пагоду. Стаи голубей носились вокруг него.

— Вот ты где живешь... — задумчиво сказала Лена, с любопытством разглядывая выщербленные заборы, кривую улочку с размытыми дождем и теперь засохшими колеями; несколько ребятишек в одних рубашонках, выставив голые заднюшки, подклеивали раскосого китайского змея. — Можно зайти к тебе?

На лице Хлопушкиной появилось выражение испуга, и она так покраснела, что белые реснички ее стали еще белее.

— Ну, что ты, разве тебе интересно? Да у нас, боюсь, еще не прибрано... Нет, тебе не понравится у нас, — сказала она, еще больше смущаясь: выходило так, что она негостеприимна.

— Глупости! — серьезно сказала Лена. — Ведь я жила в деревне и бывала в избах... — Она вдруг запнулась и тоже покраснела: она хотела сказать — «бывала в избах еще беднее».

— Подожди, я сбегаю, посмотрю, как там...

Хлопушкина исчезла в калитке. В оконце показалось женское лицо и снова спряталось; кто-то суетливо забегал по комнате. Потом снова вышла Хлопушкина и с тем же выражением смущения пригласила Лену в дом.

Женщина в сером платье, с лицом нездоровой пухлости, похожая на сильно постаревшую и обрюзгшую Хлопушкину, встретила Лену на пороге. Смущение было написано на ее лице и еще выражение заискивания, как бы желания задобрить, а глаза смотрели утомленно-неласково.

Первое, что бросилось в глаза Лене, был сидящий на кровати, в накинутом на плечи коричневом одеяле, сильно высохший, с длинной жилистой шеей и трясущейся головой пожилой мужчина с двумя короткими деревянными обрубками вместо ног.

— П-пожаловали к-к нам? — сказал он без улыбки, заикаясь и тряся головой, глядя на Лену пустыми глазами. — Имею ч-честь... Х-хлопушкин, Яков Др-р... Др-р... — Он так и не докончил отчества.

— Отец мой... Он под поезд попал, — сказала Хлопушкина, мигая своими белыми ресничками, точно извиняясь за обрубки отца.

Лена едва не вздрогнула, коснувшись его руки.

— П-принял в-восемнадцать д-депеш... Вышел, п-простите, по нужде и п-попал... Теперь об-буза семье... — говорил он, тряся головой и, как бы в доказательство своих слов, пошевеливая обрубками.

Лена, маленькая Хлопушкина и мать ее стояли посреди комнаты, не зная, о чем говорить. Разбросанные по полу обрезки желтых, красных, голубых, пестрых материй рябили в глазах; со швейной машины ниспадало шитье.

— Обедать с нами...

— Нет, я только проводить...

С окаменевшим лицом Лена одна спускалась по тропинке туда, где в оранжевой пыли улиц, в серо-зеленом дыме судов на рейде клубился город. Нужно было что-то сделать сейчас же, немедленно.

«Я буду приглашать ее к себе... Я...» Лена не знала, что она будет делать.

Через несколько дней ей удалось зазвать Хлопушкину к себе.

Если бы она знала, чем это кончится!..

Как только они вошли в детскую, Лиза и Адочка сделали удивленные глаза, потом переглянулись, потом подняли головы и покинули детскую. Дюдя несколько раз всовывал голову в дверь, делал ужасное лицо и с силой захлопывал дверь. Хлопушкина сидела вся красная и мигала белыми ресничками. Говорить было решительно не о чем.

Вдобавок ко всему, Лене запретили пригласить ее к столу. Лене удалось тайком выпросить кое-что у повара и принести в детскую. Но Хлопушкина, брызнув слезами в тарелку, убежала, забыв свои книжки.

Лена получила выговор за то, что привела в дом чужую девочку неизвестных родителей.

— Ты можешь от нее бог знает чего набраться! — говорила Софья Михайловна. — В конце концов откуда ты знаешь, что она ничего не украдет?

А Дюдя предлагал все в детской перетряхнуть, потому что Хлопушкина будто бы напустила вшей в кровати.

XVIII

Выходом в иной мир были также нечастые встречи с «воспитанниками» Софьи Михайловны.

Софья Михайловна Гиммер, считавшая, что вся ее жизнь отдана делу милосердия и любви, старалась дать такое же воспитание и детям. С этой целью она считала полезным знакомить детей с наглядными примерами деятельности ее общества.

В первый же год жизни у Гиммеров Лена с двоюродными сестрами, в сопровождении Эдиты Адольфовны, посетила портняжную мастерскую, где в это время происходила примерка новых костюмов мальчикам-стипендиатам, ученикам коммерческого училища.

На вывеске, изображавшей черноусого мужчину в железном, негнущемся костюме и даму в платье с таким длинным хвостом, что хотелось наступить или плюнуть на него, было написано: *«Сян Я-юй, мужской и дамский портной»*. Но на самом деле владелец мастерской Сян Я-юй давно уже портным не был: сам ничего не шил и не кроил, а это делали за него десятки мастеров и подмастерьев. Девочки в одинаковых беленьких шубках, разрумянившиеся и заиневшие от мороза, были введены в приемную, где за небольшой конторкой сидел китаец в круглой черной шапочке и принимал заказы.

Усадив девочек, Эдита Адольфовна стремительно прошла в помещение мастерской, чтобы предупредить о приходе и не захватить кого-либо из мальчиков в неприличном виде.

Через некоторое время она вернулась в сопровождении китайца, одетого в шелковый черный халат, с лоснящимся лицом и черной маслянистой косой, похожего на тучную крысу. Низко кланяясь, выказывая в улыбке белые крысиные зубки, он попросил девочек следовать за ним.

Немного смущаясь и подталкивая друг друга, девочки вошли в просторное низкое помещение, уставленное длинными столами, на которых среди всевозможного шитья и выкроек сидели, поджав под себя ноги, китайцы-портные и работали иглами вручную. В другом ряду стояли швейные машины, — за ними, ногами приводя машины в движение, тоже сидели китайцы-портные, с потными лбами и согнутыми спинами.

В мастерской стоял шум от швейных машин, стоял запах материи, похожий на запах формалина, и в полосах света из окон мерцала пыль.

Мастера-китайцы примеряли новые костюмы мальчикам, отмечая размеры и вырезы голубым мелом. Мальчиков было более десятка: одни, смущенные приходом девочек, стояли с растопыренными руками и красными лицами, другие сразу же стали выказываться перед девочками — принимать небрежные позы или озорничать с мастерами. Стоявший поближе мальчик с веснушчатым вздернутым носиком и смешливыми глазами украдкой щипал мастера за косу, потом оборачивался к мальчику — своему соседу, делал выпученные глаза и говорил что-нибудь бессмысленное, вроде: «Омайяды и раскол!..» Или: «Бой в Санта-Фэ!..» Оба прыскали и искоса поглядывали на девочек.

Среди мальчиков Лена сразу узнала Суркова. Он был крупнее всех и стоял почти первым, расставив свои немного коротковатые ноги в старых, залатанных на коленях штанах, бахромящихся внизу. Мастер примерял ему форменную с металлическим отливом куртку, еще без рукавов, намечая голубым мелом вырезы под мышками. Лицо Суркова было кирпичного оттенка и в крупных порах, выражение лица злое и чуть презрительное, губы плотно сжаты. Он смотрел прямо перед собой из-под бугристых бровей твердыми светло-серыми глазами, никого не видя.

Мастер то и дело просил его повернуться или поднять руку, и Сурков поворачивался и подымал руку. А если мастер в озабоченности пытался своими руками придать ему нужное положение, Сурков, не глядя на мастера, отстранял его руки и сам принимал нужное положение.

Эдита Адольфовна переходила от одного мальчика к другому, расспрашивала о здоровье родителей, об успехах в ученье и не жмет ли где. По тому, как мальчики отвечали ей, Лена поняла, что они не любят, не боятся и не уважают Эдиту Адольфовну. Еще Лена заметила, что Эдита Адольфовна ни о чем не спросила у Суркова, а когда подошла к мальчику с веснушчатым носом и насмешливыми глазами, мальчик сделал бессмысленное лицо и сказал: «Лабрадор!..»

Потом Эдита Адольфовна долго говорила с хозяином мастерской, просила о том, чтобы костюмы шились на

рост, так как мальчики быстро растут, а «чертова кожа» сильно садится; потом торговалась о ценах, справлялась, есть ли излишек материала. Хозяин, похожий на тучную черную крысу, вежливо кланялся, показывая белые зубы; обещал шить на рост, отрицал наличие излишков материала и не уступал в ценах.

Все это время Лиза и Адочка, прикрывая лица беленькими муфтами, переглядывались с мальчиками и перешептывались между собой, стараясь сдержать смех; а Лена, прижав муфту с засунутыми в нее руками к животу, неподвижно и пристально смотрела на Суркова. Он внушал ей страх и любопытство, и ей все время хотелось, чтобы он взглянул на нее. Но Сурков так ни разу и не взглянул ни на нее, ни на девочек, ни на Эдиту Адольфовну.

После того Лена долго уже не встречалась с Сурковым и только через год однажды еще услышала о нем. Дюдя, вернувшись из училища, сообщил о том, что с отцом Суркова, работавшим в военном порту, произошло несчастье на работе и что сын вызван с уроков домой.

На другой день из рассказов Дюди и из подслушанных разговоров взрослых Лена узнала, что отец Суркова в нетрезвом виде свалился в котел, в который только что выпущена была расплавленная сталь, и сгорел дотла, что инженеры хотели продолжать литье, но рабочие воспротивились и что мальчик Сурков вынужден бросить ученье, чтобы работать и содержать семью.

XIX

Осенью одиннадцатого года, вернувшись с прогулки, Лена застала в гостиной отца. Отец в висевшей на нем, как на вешалке, серой пиджачной тройке с необыкновенно ярким галстуком сидел на краешке бархатного кресла и разговаривал с Софьей Михайловной, покоившейся в кресле против него с вышиванием в руках и выражением вежливой скуки на лице.

Возле отца, застенчиво прижавшись к нему, стоял мальчик лет восьми, загорелый, с побуревшими от солнца, жесткими темно-карими, курчавившимися возле ушей волосами, в длинных штанах деревенского шитья. Он покосился на Лену большими черными, диковатыми глазами и вдруг весь рассиял в улыбке, — это был Сережа.

— О! Вот и пришла... Ну, как выросла!.. — закричал отец, подняв длинный указательный палец и по-совиному глядя на Лену. — А ну, пойди, пойди сюда...

Лена, постояв в раздумье, подняла согнутые в локтях и кистях беспомощные руки и, неся их перед собой, подошла к отцу и поцеловала его в щеку, почувствовав одновременно его пахнущие табаком усы и бороду на своей щеке и его костлявые пальцы на своих лопатках.

— Фу ты, какая нарядная!.. — кричал отец, в то время как она, опустив руки, не зная, что еще нужно делать, стояла перед Сережей, серьезно глядя в его сияющее загорелое лицо.

— А вы поцелуйтесь, — не подымая лица от вышивания, сказала Софья Михайловна.

Они ткнулись друг в друга и вновь разнялись: Сережа — смущенный, радостно вспотевший, Лена — удивленная и подобревшая. Она почувствовала, что Сережа помнит ее и ощущает как сестру, и он тоже понравился ей.

Они просидели около часа. Отец, все более яростно теребя бороду, разговаривал с Софьей Михайловной на темы, которые были скучны обоим, или вдруг оборачивался к Лене и кричал ненатуральным голосом:

— А ученье как? Учителя не обижают?.. Где твои *кузины?*

Потом, отказавшись остаться на обед и подчеркнув, что обедать они будут у знакомого переселенческого фельдшера, отец ушел вместе с Сережей, немного как будто обиженный.

Владимир Григорьевич обиделся на то, что Софья Михайловна не сделала предложения оставить Сережу у себя на все время ученья. А предложение это нужно было Владимиру Григорьевичу для того, чтобы резкой и, как он думал, унижающей достоинство Гиммеров фразой, приготовленной в течение дороги, отказаться от этого предложения. Но Софья Михайловна не сделала такого предложения, и фраза не была высказана, и Владимир Григорьевич ушел от Гиммеров еще более сердитым и обиженным и полным презрения к ним, чем всегда.

Он пробыл в городе двое суток, занятых беготней по делам Сережи, и только за час до отхода поезда забежал к Лене проститься. Он застал ее одну.

Он держал себя беспокойно, и с лица его не сходило знакомое Лене в его обращении с матерью выражение виноватости.

— Учишься хорошо? Учителя не обижают? — все время спрашивал он.

Прощаясь, он судорожно схватил Лену за голову своими костлявыми руками и несколько раз быстро прижал ее к груди, потом поцеловал куда-то в переносицу, — что-то клокнуло у него в горле, и он, дернув себя за бороду и мигая, нахлобучил шляпу и вышел, ни разу не оглянувшись на Лену.

Сережа поступил в гимназию. Он жил у переселенческого фельдшера на Эгершельде, за тридцать рублей в месяц на полном пансионе.

Изредка он навещал Лену; и еще более редко, почти украдкой, она заходила к нему: в семье Гиммеров неодобрительно относились к тому, что она посещает квартиру переселенческого фельдшера.

Приходя к Гиммерам, Сережа сильно дичился и всегда старался вытащить Лену на улицу. Обедать он оставался только в том случае, если была возможность пообедать вдвоем, и ел так много, точно на всю жизнь. О семье Гиммеров отзывался с холодным презрением — чужими, взрослыми словами.

У себя же дома и на улице Сережа был обыкновенным смешливым, озорным мальчишкой. Бездетные фельдшер с женой баловали его, как родного.

Несмотря на разницу в годах, Лена сдружилась с Сережей и скучала, когда он уезжал в деревню на рождественские и летние каникулы.

Сережа приносил с собой свежий ветер мальчишеских драк, походов на пристань, где он со своими сверстниками ловил крабов или воровал мандарины и кокосовые орехи. Лена убеждалась, что ворованные мандарины и орехи всегда вкуснее купленных. Он частенько ходил в синяках, с продранными локтями и коленками. Карманы его всегда были наполнены любопытнейшей дрянью, из-под рубашки свисала дутая резинка от рогатки: он без промаха попадал в электрические лампочки и охотился с рогаткой на птиц на кладбище или в рощах за Орлиным гнездом.

— Разве тебе не жалко птичек? — спрашивала Лена.

Сереже бывало, конечно, жалко птичек, но он никогда бы не сознался в этом Лене, и он отвечал словами, какими ему самому ответил его уличный сверстник, типографский ученик:

— А чего их жалеть? Людей не жалеют, а мы будем птичек жалеть.

Иногда ему удавалось увлечь Лену с собой на Орлиное гнездо.

С горы открывался вид на корпуса и трубы военного порта, на залив Петра Великого, на дымную бухту, заставленную судами, на зеленый лесистый Чуркин мыс. За мысом простиралось Японское бирюзовое море, видны были скалистые, поросшие лесом голубые острова.

По эту сторону бухты теснились расцвеченные солнцем дома: они, лепясь, лезли на гору; видна была извивающаяся, кишащая людьми лента главной улицы и вливающиеся в нее боковые пересеченные улочки. Влево и вправо по горам и падям в дымке от фанерных заводов и мельниц тянулись слободки — Рабочая, Нахальная, Матросская, Корейская, Голубиная падь, Куперовская падь, Эгершельд, Гнилой угол. У заднего подножия Орлиного гнезда начинались зеленые рощи, за рощами — длинные холерные бараки, за бараками — одинокое, тяжелое, темно-красного кирпича здание тюрьмы. Огромное небо покрывало все.

И, подпирая небо, как синие величавые мамонты, стояли вдали отроги Сихотэ-Алиньского хребта.

Орлиное гнездо во время русско-японской войны было изрыто окопами и блиндажами; теперь они превратились в пещеры. Страшно было лазить по ним. Вылезши на божий свет, Лена и Сережа гонялись друг за другом, барахтались, визжа, как щенки, кубарем катились с горы, пугая голубей, пока не опустошались вконец.

Иногда Сережа брал с собой Лену на пристань. Это было опасное предприятие: няньки пугали детей хулиганами с пристани; хождение на пристань каралось училищным начальством.

На пристани пахло рыбой, мазутом, апельсинами, водорослями, опием. Бухта была забита торговыми, военными, парусными, паровыми судами. Меж ними сновали шлюпки, китайские шампуньки, шаланды. Суда приходили со всех стран света, украшенные пестрыми разноцветными флагами.

Сережа и Лена бродили меж цинковых пакгаузов, тюков и ящиков с товарами, портовых кабаков и парикмахерских, оглушаемые грохотом лебедок, ревом сирен, пьяными песнями, руганью матросов и грузчиков, сновавших с тяжелыми кладями по подгибающимся сходням, — разноязыким говором — китайцев, японцев, американцев, французов, корейцев, малайцев, индусов, кишевших на пристани в своих разноплеменных одеждах — синих робах, матросках, круглых, похожих на поварские, белых и синих шапочках, китайских ватных шароварах, корейских халатах, японских кимоно, индусских и малайских белых, желтых чалмах.

Лена испуганно жалась к Сереже, с любопытством маленького зверька оглядываясь вокруг, а Сережа, блестя глазами, возбужденно объяснял Лене все, что попадалось им, и тащил ее все дальше и дальше.

Иногда мальчишки в рваной одежде приставали к Сереже:

— Эй, гимназист!.. Иди, я тебе краску достану!..

— Ладно, ладно! — неожиданно солидным и басистым голосом отвечал Сережа. — Иди, *фрайера коли,* не на таковского напал!..

Лена с удивлением смотрела на него.

Если парнишка сильно приставал, глаза Сережи разгорались, одна бровь воинственно приподымалась, он начинал засучивать рукава и тоже обещал пустить краску, своротить скулы, выдернуть руки и ноги, а сам убыстрял шаг, оттирая Лену куда-либо за тюки, чтобы скрыться.

— И как это ты не боишься? — с лукавым огоньком в глазах спрашивала Лена.

— А чего их бояться? — отвечал он, не глядя.

Но ее трудно было обмануть.

— Нет, ты хвастаешь, я ведь знаю, что ты хвастаешь... Но это правильно: я тоже, когда боюсь, никогда не показываю...

Если встречные парни отпускали циничные замечания по адресу Лены, Сережа насупливался и, стыдясь за Лену, делал вид, что ничего не слышал, но Лена запоминала циничные слова и потом допытывалась, что они значат.

После таких похождений Лена возвращалась домой в грязной обуви и изодранном платье. Она заходила с черного хода и переодевалась в комнате женской прислуги: прислуга во всем потворствовала ей.

За эти развлечения Лена платила Сереже смешными или страшными историями или даже разыгрывала перед ним целые представления. У нее было особенное чутье на все смешное, противное, уродливое и жалкое.

Она показывала, как ходят молодые люди «с намеком на зарождающуюся близость» и как ходят «обжившиеся» мужья и жены; изображала хромоту «вызывающую» и хромоту «убогую»; играла в женщину-вампира, в даму, принимающую гостей на даче, в бедную девочку, которую не приняли играть богатые дети, в девочку, которая думает, что ее все любят, а ее никто не любит.

Сережа с удивлением и восхищением смотрел на нее, но иногда ему вдруг становилось нехорошо, и он умолял перестать, а один раз он, сам не зная почему, разревелся и потом несколько недель не заходил к Лене.

XX

Годам к тринадцати — четырнадцати Лена уже хорошо знала тот мир, в котором жила, знала цену всему, что она может получить в нем, и не ждала от него ничего необыкновенного.

И только в одной области человеческих отношений она ждала еще для себя много приятного и неизведанного — в области отношений между мужчиной и женщиной.

Все воспитание девочек в семье Гиммеров внушало им мысль о том, что самое важное в жизни, особенно для женщины, — это семья. Но, прислушиваясь к разговорам взрослых, Лена убеждалась, что о семье говорят всегда неохотно, как о чем-то необходимом, но скучном, а о любви говорят охотно и часто и с особенным выражением.

Наблюдая за молодыми людьми, вертевшимися в кружке Таточки, Лена замечала, что их манера оригинально одеваться, декламирование стихов о «прекрасной даме» и о «неверном обете», вызывание духов в темной комнате порождают и облегчают отношения любви между ними. Нередко молодые люди кончали тем, что женились или выходили замуж, начинали одеваться, как все люди, и переставали «жаждать чуда» и посещать кружок.

На летние каникулы четырнадцатого года со средним сыном Гиммера Вениамином снова приехал его товарищ. Оба они только что были произведены в офицеры.

Лето этого года семья Гиммеров проводила на даче на берегу залива, верстах в двадцати от города. К Лизе и Адочке почти ежедневно приезжали молодые люди; у Таточки тоже постоянно гостило по нескольку человек из кружка. На даче царила атмосфера ночных гуляний, тайных объятий, слез и визга.

Молодого офицера, товарища Вениамина, звали Всеволод Ланговой.

Несмотря на то, что Ланговой был одинок и беден, Гиммеры поощряли дружбу Вениамина с ним, потому что Ланговой был хорошей, а главное, знаменитой в крае фамилии.

По семейным преданиям, древний российский предок Лангового — боцман адмиральского корабля графа Орлова-Чесменского — был за исключительные заслуги перед родиной пожалован Великой Екатериной во дворянство. С той поры каждый старший из Ланговых-сыновей шел в военно-морское училище или в гардемаринские классы, а младшие — в кадетские корпуса и юнкерские училища. Дед Всеволода Лангового был одним из сподвижников Невельского, открывшего морской путь в устье Амура через Татарский пролив. Отец, капитан первого ранга, и старший брат, мичман, погибли в русско-японской войне, а мать, узнав о смерти мужа и сына, покончила с собой.

Всеволод Ланговой гордился тем, что его ближайшие предки были достойными продолжателями того великого дела колонизации края, которое начато было еще казацкими старшинами — Стодухиным, Дежневым, Василием Поярковым, Ерофеем Хабаровым. И Гиммеры гордились этим вместе с ним.

Лене нравились его длинные серые ресницы и то, что он лучше всех прыгал через забор и плавал, и то, что он читал мужественные стихи и был сдержан и независим среди людей, и то, что он сам отмечал ее среди других, хотя был много старше ее.

Когда он читал:

...Победа, слава, подвиг — бледные
Слова, затерянные ныне,
Звучат в душе, как громы медные,
Как голос господа в пустыне... —

Лена знала, что это он читает о себе... И слова:

...Но нет, я не герой трагический,
Я ироничнее и суше,
Я злюсь, как идол металлический
Среди фарфоровых игрушек... —

несомненно, очень подходили к нему.

Когда он, сидя перед ней в лодке, греб своими сильными загорелыми руками, Лене хотелось обхватить его шею и прижаться к нему. И когда он целовал ей глаза и щеки, она позволяла ему это, хотя и не отвечала ему тем же.

— Леночка, вы пошли бы за меня замуж? — спрашивал Ланговой.

— Да, я пошла бы, пожалуй, — спокойным, протяжным голосом говорила Лена.

— Тогда я буду ждать вас.

Он подарил Лене печатку с мечом и берцовыми костями. Лена так запрятала ее, что потом не могла найти.

Но в это лето произошло и еще более значительное событие.

Горничная Ульяша в течение нескольких дней злилась на всех и била посуду, а потом пришла пьяная и плакала. Приехал старый Гиммер и долго кричал в саду на Дюдю, как на мальчишку, а у Дюди уже начали расти редкие котиные усы. В конце концов Дюдя уехал на некоторое время на дачу к знакомым, а горничная Ульяша была уволена.

И Лена, и Лиза, и Адочка догадывались о том, что произошло между Дюдей и Ульяшей, но Лена от пожилой судомойки первая узнала все, со всеми подробностями.

И в тех же прямых выражениях, в каких сама услышала это от судомойки, Лена рассказала всю историю девочкам, затаившим дыхание и переставшим стаскивать свои чулки и панталоны.

— Это не раз было между ними. И когда на берегу, помнишь, Лиза, он не захотел пойти с нами.

— Да, мама говорила, что она очень испорченная девушка, — сказала Лиза, которая была наиболее рассудительна.

— А как это делают? — спросила простоватая Адочка. И, вдруг юркнув под одеяло, зафыркала в подушку.

Лена вспомнила, что, когда она спросила об этом, судомойка отвернулась в улыбке:

— Вам, Леночка, еще нельзя про это... Да уж какая там ни на есть сласть, а выходит одна мука.

Но Лена не сказала об этом девочкам.

XXI

В эти дни в саду имени капитана Невельского предполагался большой аукцион с лотереей в пользу Благотворительного общества.

Лиза, Адочка и Лена, которые должны были участвовать в аукционе в качестве продавщиц, — приодевшись в специально сшитые к этому дню шелковые платья, стилизованные под платья продавщиц, подвившись и напудрившись, оживленные от предстоящей праздничной суеты и встреч на аукционе, в котором предполагалось участие всех богатых семей города, прибыли с утренним дачным поездом в город. Смеясь и болтая, они взбежали по лестнице гиммеровского дома, и Адочка позвонила. Но они тотчас же смолкли: дверь открыл совершенно незнакомый человек с широкоскулым землистым лицом, с провалённой верхней губой и с жилистыми руками, и из распахнутой двери вырвался шум страстно спорящих грубых мужских голосов.

Человек, очевидно, открыл дверь совершенно машинально, просто потому, что стоял ближе всех: он даже не взглянул на тех, кому открыл дверь, а сразу же присоединился к спорящим.

У двери в кабинет Гиммера, загораживая ее, стоял похожий на Достоевского старый лакей Гиммера, а на него, сильно жестикулируя и крича, наполняя переднюю чуждыми запахами, наступало трое мужчин в грубых одеждах. Никто из спорящих, даже лакей, не обратил внимания на вошедших барышень.

— Вчера весь день добивались — не мог принять, — говорил чахоточного вида паренек с большими темно-серыми глазами и редкими кольцами волос, — весь день в конторе протолкались. Что за растакое?

— Я же вам сказал, господа хорошие, — не велено принимать, — отвечал лакей.

— Как же можно так, братец ты мой, ведь мы из самой Ольги киселя хлебали, — укоризненно говорил паренек.

— Да что ты с ним цацкаешься, Кудрявый! — злобно шепелявя, кричал человек с проваленной верхней губой. — Мы все одно не уйдем!.. Так и скажи барину: сядем здесь и не уйдем!..

— Обожди, Кирпичев, ты не кричи, надо ладком, — успокаивал его третий. — Ты разберись, ваше степенство: уйти мы не можем, — ну, что мы товарищам скажем? — обратился он к лакею. — Тебе, товарищ дорогой, русским языком объяснено, что посланные мы, не можем мы уйти без ответу...

— Не велено принимать, — отвечал лакей.

Девушки, напуганные, с вытянувшимися лицами, прошли в столовую и захлопнули за собой дверь.

— Что это? — с побледневшим лицом спросила Адочка. — Где папа?.. Я боюсь, — вдруг сказала она, скривив лицо, готовая заплакать, и опустилась на стул.

Лена и Лиза, не отвечая ей, стояли, приложив ухо к дверям.

Из передней доносился шум спора, отдельные фразы.

— Люди без куска хлеба сидят... Сам за кусок хлеба работаешь, где у тебя совесть?

И в разноголосый гомон все время вплетался строго-просительный старческий голос лакея:

— Уходите, господа хорошие, честью прошу, не велено принимать...

Голоса все возрастали, потом все покрыл сиплый, злобный голос шепелявого:

— А ну его к черту, барского холуя! Садись, ребята, будем здесь дожидаться.

Этот голос прозвучал уже на какой-то самой высокой точке напряжения. На короткое мгновение водворилась тишина. Потом послышался звук резко распахнутой двери, и вдруг на весь дом загремел голос старого Гиммера:

— Вон!..

— Папа! — вскрикнула Лиза и распахнула дверь.

Трое незнакомых людей стояли, отпрянув к выходным дверям, словно ощетинившись. Лакей с раскрытым ртом держал руки так, точно хотел поддержать какой-то падающий предмет. А на том месте, где раньше стоял лакей, стоял сам старый Гиммер в одной жилетке, чуть при-

сев на своих медвежьих ногах, с багровым лицом и лысиной, указывая рукой на дверь.

Лена почувствовала, как сердце у нее на мгновение перестало биться. Она не понимала слов, которые кричал Гиммер, только слышала рев его голоса и видела, что Гиммер ужасен.

— В полицию!.. Проучу!.. — ревел Гиммер.

В это время раздался сильный стук во входную дверь — лакей бросился отворять; в переднюю ввалился дворник с бляхой, несколько городовых и околоточный надзиратель в белых перчатках.

Лиза, вскрикнув, захлопнула дверь в столовую. Адочка заплакала; но Лена, повинуясь сама не зная чему, вновь распахнула дверь и с окаменевшим лицом остановилась на пороге.

Она видела, как дворник и городовые крутили руки незнакомым людям, вырывавшимся и что-то злобно кричавшим, видела, как околоточный рукой в белой перчатке ударил паренька с редкими кольцами волос по его большим серым глазам, слышала продолжающийся рев старого Гиммера и тяжелое дыхание борющихся людей.

Незнакомые люди были вытолкнуты на лестницу городовыми и дворником; ушел и околоточный, почтительно козырнув старому Гиммеру. Гиммер, постояв немного, повернул к Лене свое все еще багровое лицо и, не узнав ее, прошел к себе, хлопая всеми дверьми.

В передней остались только Лена и старый лакей Гиммера.

— Ведь говоришь людям человечьим языком, — словно извиняясь в чем-то, сказал лакей, — просил же их: уходите, господа хорошие, а оно — вон оно...

Он махнул рукой и, склонив голову, вышел вслед за Гиммером.

XXII

С объявлением войны Вениамин, средний сын Гиммеров, уехал на фронт. Уехал на фронт и Всеволод Ланговой. Вскоре и Дюдя, который сидел по два года в каждом классе и все не мог кончить училище, поступил добровольно в школу прапорщиков и тоже уехал на фронт.

На фронт должен был попасть и Таточка, но стараниями и деньгами отца он был пристроен в ка-

ком-то военном учреждении, тут же, в городе; в этом учреждении Таточка ничего не делал, а только носил военную форму.

Многие молодые люди из других богатых семей города также либо ушли на фронт, либо пристроились в тыловых учреждениях.

К обычным разговорам на званых обедах и ужинах присоединились теперь разговоры об успехах русских армий, о немецких зверствах, о здоровье сыновей, о ранениях и наградах. Изредка читались письма с фронта.

По письмам было известно, что Вениамин, служивший в каком-то штабе, повышается в чинах, а Всеволод Ланговой, командовавший в том же корпусе пехотной частью, ранен, награжден крестом и тоже произведен в следующий чин. Оба отказались использовать предоставленный им отпуск, и в городе о них говорили как о героях.

В пятнадцатом году приехал в отпуск Дюдя, который не был ранен, не был ничем награжден и никуда не произведен, но которого в городе тоже чествовали как героя. Почти все время своего пребывания в отпуску Дюдя был мертвецки пьян, истратил много отцовских денег, и через месяц после его отъезда была уволена другая горничная, нанятая вместо Ульяши.

Война плохо отразилась на делах Гиммера. Не хватало забойщиков, зарубщиков, бурильщиков, механиков, и цифры пудов и рублей складывались все более неблагоприятно для *дела*.

В конце концов лакей, похожий на Достоевского, уложил в чемодан Гиммера необыкновенно блестящий черный фрак и черные ботинки с острыми носами, и Гиммер выехал в Петроград. Предприятия Гиммера были признаны в Петрограде работающими на оборону, и по возвращении Гиммера его добродушное лицо украсило собой все газеты города.

Война породила соблазн более легкой наживы. Гиммер крепился дольше всех, но однажды, крякнув и обтерев лысину, — как спущенный с цепи медведь, ринулся черт знает в какие операции, давя всех своими медвежьими ступнями.

В кабинет Гиммера, в контору и на квартиру зашмыгали бойкие толстенькие люди с портфелями, в коротких клетчатых брючках, со стремительной речью, — раньше их не пускали и на порог.

На званых обедах и ужинах Гиммера появились китайские купцы в шелковых халатах, похожих на сутаны ксендзов. Посещения их доставляли невероятные мучения Софье Михайловне. Это были чистые, вежливые, упитанные люди, но Софья Михайловна не переносила китайцев, и после их ухода комнаты тщательно проветривались и опрыскивались из пульверизаторов.

Новые дела требовали новой траты сил. Кроме того, к числу обществ и комитетов, в которых состоял Гиммер, прибавились общества и комитеты, связанные с войной. Гиммер обрюзг от недосыпания; он даже доходил до того, что выходил к столу небритым. Но в глазах его всегда стояло чертовское пронзительное сияние, и он чаще, чем обычно, шутил и давился рыбьей костью на разные лады.

К шестнадцати годам Лена была уже стройной, с большой темно-русой косой и большими темно-серыми глазами, красивой и знающей, что она красива, девушкой. Печать детскости, которую придавали ей тонкие руки, удивленно приподнятые брови, неожиданно зверушечьи жесты или взгляды, только прибавляла ей прелести. Она уже привыкла к тому, что в театре и на улице мужчины смотрят на нее, оценивают каждое ее движение, линии ног и тела. И, робея от этих взглядов и принимая от робости все более неприступный вид, она в то же время не могла уже обходиться без таких взглядов и сама ждала и вызывала их.

В сущности, она была уже вполне сформировавшейся взрослой девушкой. За два года она сделала такой скачок, что ей самой странно было, как это она еще два года назад была такая маленькая и ничего не знала. Правда, она и теперь плохо помнила таблицу умножения. Но зато она знала, например, о том, что сын купца Шура Солодовников, которого прочили Лизе в женихи, крал у отца деньги и играл на бегах и однажды был уличен в подделке векселя, и, чтобы замять это дело, старику Солодовникову пришлось изрядно потратиться; что Тереза Вацлавна Пачульская, о прошлом которой намекала как-то Эдита Адольфовна, была шантанной певицей, а теперь тратила десятки тысяч на наряды, и била по лицу свою горничную, и имела, несмотря на свои сорок семь лет, несколько любовников, в том числе одного черного-пречерного студента Восточного института, деятельного участника кружка Таточки. Лена знала теперь, что частенько, после

театра или литературного суда в женской гимназии над Норой Ибсена, Таточка с компанией едет в ресторан или в публичный дом и потому так поздно возвращается и поздно встает; что лучший друг Таточки, Борис Сычев, мечтавший о «прекрасной даме» и «жаждавший чуда», заразил нехорошей болезнью свою невесту, мечтавшую о «юноше бледном» и тоже «жаждавшую чуда»; что в семье ювелира Грибакина дети родятся от промышленника Герца, а в семье промышленника Герца — от ювелира Грибакина, и что весь город знает об этом, кроме самих детей; что богатство полуграмотного золотопромышленника Тимофея Ивановича Скутарева началось с того, что он убил сонными четырех своих товарищей — старателей, — и что ему за это ничего не было; что владелец конного завода Станислав Бамбулевич до смерти засек мальчишку-пастуха за порчу породистой лошади и что ему за это ничего не было; что рыбопромышленник Карл Паспарне и К° так хорошо застраховал свои суда, что приложил все усилия к тому, чтобы их потопить, в результате чего утонули шестьдесят четыре рыбака, и ему за это ничего не было; что на глухих рудниках акционерного общества «Серебро — свинец», значительная доля паев которого принадлежит вице-губернатору и епископу сахалинскому и камчатскому, работают под охраной полиции арестанты и каторжники; что купец Вайнштейн содержит в китайском квартале опиекурильню, которую любой может видеть на Пекинской улице, но всеми подразумевается, что опиекурильни не существует.

И Лена начинала смутно догадываться теперь, что все, о чем говорили за столом, в гостиной и кружках эти люди и люди, лепящиеся вокруг них и пресмыкающиеся перед ними, — о родине, о человечестве, о красоте, о любви, о милосердии, о доброте, о боге, о счастье, — все это они плохо знают и во все это плохо верят, а хорошо знают и верят они в то, что они должны вкусно и сладко есть, пить много хорошего вина, нарядно и тепло одеваться, наслаждаться красивыми и хорошо одетыми женщинами, не затрачивая никакого труда на то, чтобы все это у них было.

Лена стала взрослой и знала теперь, что книги пишутся вовсе не о любви, а для того, чтобы показать, как люди мучаются. И они мучались перед глазами Лены — от нищеты и тяжелого труда, от неудовлетворенной любви и от пресыщения в любви, от измены и вероломства дру-

зей, от рождения детей и от смерти близких, от оскорбленного самолюбия, от ревности, от зависти, от разлада со средой, от подчинения среде, от краха карьеры, от имущественного разорения, от неверия в бога, от веры в бога, от столкновения убеждений, от физического безобразия, от старости, от скупости, от свища в мочевом пузыре и от сотен и тысяч других болезней. И по книгам выходило так, что никто в этом не виноват и что выхода из этого никакого нет.

Да, Лена стала совсем взрослой, и ей скучно стало жить. На нее все чаще находили припадки тоски; от звуков музыки ей хотелось плакать; опостылели вечера, встречи и разговоры с людьми. Она страдала от бессонницы. И когда ей давали порошки веронала, она сама не зная почему, складывала их в коробочку, чтобы их скопилось побольше.

XXIII

В канун пасхи в женской гимназии была назначена торжественная литургия. Ученицы младших классов по нескольку раз в день заглядывали в рекреационный зал, где те самые столяры, плотники и декораторы, которые обычно сооружали сцену и украшали зал под спектакли и вечера, возводили теперь алтарь и развешивали иконы к предстоящему богослужению.

В то время как в семье Гиммеров шли спешные приготовления к участию в торжественной литургии, примеривались новые платья, и Адочка, перепробовавшая уже несколько пар чулок, капризничая, отталкивала горничную голой ногой в грудь и заставляла примерять все новую и новую пару, — на половине прислуги тоже шли приготовления к заутрене и к свячению пасох и куличей в кладбищенской церкви, что в Куперовской пади. В эту церковь всегда ходила прислуга Гиммеров, потому что это была церковь для простого народа и там сестра горничной Даши пела в хоре.

Лена, находившаяся в одном из своих обычных теперь состояний беспокойства и раздражения, тоже было начала примерять новое платье, но вдруг расстроилась, сказалась больной и осталась мрачно лежать на кровати, когда вся женская половина семьи Гиммеров отбыла в гимназию.

Когда смолк шум голосов в передней, Лена в лихорадочном возбуждении надела одно из своих самых простых платьев, шубку и неожиданно появилась на половине прислуги в тот самый момент, как горничные, судомойки, истопник, повар и подповар и их жены, одетые во все лучшее, что у них было, с завязанными в платки куличами и пасхами в руках, готовились отправиться к заутрене.

— Вы разве не ушли, барышня? — удивленно спросила Даша.

— Нет, я с вами пойду, — сказала Лена, покраснев.

— С нами? Вот так Леночка!.. — протянула пожилая судомойка.

— Мы с ней на хоры пойдем, — одобрительно сказал старик-повар. — Я буду басом петь, а она дискантом...

— А барыня заругаются, — все еще не соглашалась Даша.

— А она не узнает. А если узнает, скажу, что вы не брали, а я пошла, — настаивала Лена.

Шла самая скучная часть богослужения — чтение Деяний апостолов.

Толпы валили в церковь и выкатывались обратно; паперть, церковный двор и примыкавшая к нему опушка кладбища пестрели народом. От самых ворот до паперти двумя рядами сидели калеки и нищие, просившие милостыню на разные лады; за ними и вперемежку с ними белели женские платки, узелки с пасхами и куличами. Парни и девушки с вербами в руках гонялись в темноте друг за другом, прыгая через могилы, хватаясь за кресты и памятники; в гомоне выделялся веселый визг девчат; мелькали светлые платья, огни от папирос.

С темного огромного кладбища веяло мощным запахом оттаявшей земли, вербы и весенних почек. И надо всем этим оживлением раскинулось темное и теплое небо.

Лена, держась за повара, с трудом протискалась в притвор, в котором двигалось два потока входящих и выходящих людей. Поток входящих увлек с собой и прислугу Гиммеров, а повар, Даша и Лена по лестничке поднялись на хоры.

Запах множества скучившихся и потеющих людей, запахи ладана, тающего воска и коптящих фитилей здесь, на хорах, были особенно невыносимы.

Кто-то длинный, как жердь, в очках, блестя конусообразной лысиной, быстро и монотонно читал Деяния

апостолов за столиком перед плащаницей, вынесенной на середину церкви; во влажном тумане мерцали оклады и ризы икон. В толпе, кишевшей внизу, молились только старики и старухи, большинство же или стояло молча, переступая с ноги на ногу, отирая потные лбы, или перешептывалось. Под самыми же хорами, ближе к выходу, происходило непрестанное круговращение людей, сталкивавшихся друг с другом, сердившихся друг на друга за толчки и наступание на ноги.

На хорах тоже не было никакого молитвенного настроения. Певчие переговаривались между собой или, подавшись в темную глубину хоров, курили папиросы. Тут же в темноте парни тискали девушек, слышно было заглушенное прысканье в ладони, и иногда до Лены доносились даже дурные слова. Лена испуганно жалась к повару, который неодобрительно косился на всех поверх очков.

За столиком перед плащаницей беспрерывно менялись люди, читавшие Деяния апостолов. Лене стало скучно от их разнообразно-монотонных голосов и дурно от духоты и запахов; настроение радостного оживления и ожидания чего-то покинуло ее; она уже начинала жалеть, что пришла сюда, но не могла уйти — боялась одна возвращаться домой по глухой окраине.

Наконец чтение кончилось. Хор выдвинулся к перилам. Вышел похожий на черного лохматого пса священнослужитель и прогудел что-то, и хор начал петь. Но это был любительский хор, и у него не больно-то ладилось. Маленький, с испитым лицом и испуганными глазками регент в сердцах драл себя за волосишки и стучал камертоном.

— Тише, звери... — чуть не плача, шипел он на басов.

Старик-повар, только и пришедший сюда из-за пения, ворчал и отплевывался.

— Чего из полунощницы исделали! — говорил он, обращаясь за сочувствием к Лене.

Лена, от все возраставшей духоты едва не валившаяся с ног, шепнула Даше, чтобы та искала ее у церковных ворот, спустилась по лестнице и протискалась во двор. Тут ее снова обдало весенними запахами и говором людей. Вспомнив, что она захватила с собой в сумочке медяков, Лена пошла по ряду оделять нищих.

С тем особенным любопытством, которое было у нее ко всему болезненному и уродливому, она всматривалась в выставленные напоказ обнаженные язвы, культяпки, обрубки, вслушивалась в гнусавые, хриплые голоса.

«Вот они — убоги и нищи, — думала она, — и им уже ничего, ничего не нужно, кроме этих медяков!..»

Ей все время хотелось заговорить с кем-нибудь из них, но она не знала, с чего начать, и стеснялась людей, стоявших возле.

У самых ворот, прислонившись к каменной ограде, опершись на палку, склонив большую голову, с лицом, спрятавшимся, как в гнезде, в шапке седых волос и в седой бороде, стоял нищий в лаптях, с котомкой за плечами. Он стоял молча, не подымая головы. Людей возле него не было.

Лена дала ему серебряный гривенник.

— Спаси тебя господи на долгие лета, — тихо сказал старик и, не крестясь, спрятал гривенник за пазуху.

— Вы откуда, дедушка? — робко спросила Лена.

Он ответил не сразу, а точно подумав немного:

— Мы-то откуда?.. Мы-то в боге живем... А бог, он повсюду, он повезде... — И он взглянул на Лену глубоко спрятанными, маленькими блестящими глазками.

У Лены занялось дыхание.

— Давно вы так... — Лена не знала: «живете? ходите?» — ходите?..

Нищий снова подумал:

— А как себя помню, так и хожу...

Лена помолчала, не зная, о чем еще спросить.

— Где же вы ночевать... — «предполагаете? собираетесь?»... — будете? Здесь?..

— Не-ет, здесь не будем... — со вздохом сказал старик. — Здесь сторожа не допустют, а то, бывает, деньги отберут... Ночевать — за Семеновским базаром, там будем ночевать...

Лена слышала уже, что нищие живут где-то за Семеновским базаром.

— Там вас не обижают?

— За Семеновским-то?.. — Нищий подумал, опершись на клюку. — Не-ет, там не обидют, кому ж там обидеть? Хоть я там и не был, да кому ж обидеть там-то?

— Ну да, там все... — «нищие? бедные?» — ...бездомные... Они не станут обижать, — убежденно сказала Лена.

— Не станут? — переспросил старик. — Вот и я говорю... А здесь что ж, здесь, бывает, деньги отберут. Летось вот... Округ церкви пошли, — перебил он себя.

Из церкви повалила толпа, послышались звуки нарастающего пения, и на паперти в блестящих, отливающих при свете факелов облачениях показались попы и дьяконы, несшие в руках какие-то тяжелые и мерцающие предметы. Потом попов не стало видно из-за нахлынувшей на них людской черноты, а тяжелые и мерцающие предметы в волнах пения поплыли вокруг церкви. Через некоторое время они выплыли с другой стороны, снова видны стали на паперти попы в сверкающих облачениях, они еще попели и потолкались в притворе, и снова толпа повалила в церковь.

Некоторое время стояла удивительная тишина, или, может быть, так казалось. Нищий, опершись на палку, не возобновлял начатого рассказа, и Лена больше не спрашивала его. Она чувствовала себя как во сне и не могла определить, сколько времени длится ее сон.

Очнулась она тогда, когда раздался медный тяжелый удар, не в лад бренькнули тонкие колокола, снова наплыл еще более густой и тяжелый гул, залились, застонали, заакали медные, будто стеклянные горла, и звон, пахучий, теплый и торжественный, поплыл волнами над пестрой кишащей толпой, над кладбищем, над слободкой.

— Христос воскрес... — спокойно сказал нищий, замигав глазами, не крестясь.

— Воистину воскрес, — быстро прошептала Лена, удивленно и испуганно глядя на нищего.

Веселая, оживленная толпа гуще заполнила двор, но большинство еще оставалось в церкви: служба еще продолжалась.

— Христос воскресе, Леночка!..

Даша, выбившись из толпы, запыхавшись, поцеловала Лену в губы своими сочными, пахнущими молоком губами.

— Где он там, черт леший?.. — оглядывалась она на повара. — Иди ты, ради Христа, без тебя посвятят!.. Не дай бог, барыня вернутся...

Когда Лена с горы оглянулась на церковь, исходящую колокольным звоном, в темноте по всем направлениям двигались, как светлячки, желтые, красные, синие огоньки. Людей, несших огоньки, не было видно, по Лене

казалось, что она видит их желтые, красные, синие ладони.

Она была сильно возбуждена; какое-то смутное решение вызревало в ней.

XXIV

— Даша, у тебя не найдется какого-нибудь старенького-старенького платья, совсем уже заношенного?

— Зачем вам, барышня?

— Да тут у знакомых одних будет спектакль, и мне нужно нищенку играть.

— Найдется... Хороших-то нету, а старенькое можно найти.

— Только, понимаешь, совсем уж негодное, чтобы совсем как у нищей. И ботинки — рваные-рваные... Только ты никому не говори. А то Лизу и Аду не принимают играть — они узнают, обидятся...

Кончились весенние экзамены, и семья Гиммеров только что перебралась на дачу. Совпало так, что Сережа как раз должен был ехать домой на каникулы. Лена под предлогом его проводов поехала в город, предупредив, что останется ночевать на городской квартире: поезд на Сучан отходил вечером. Дашину старенькую одежду Лена захватила с собой в саквояжике.

Она проявила исключительную предусмотрительность. Выйти из дома нужно было утром как можно раньше, чтобы не встретить на улице знакомых. Через парадный ход нельзя: швейцар узнает ее. Выйти можно черным ходом и быстро проскользнуть через двор. Она узнала, что калитка отворяется в пять часов, когда приходят молочницы.

Лена не спала всю ночь — от волнения и боясь проспать. Задремала перед рассветом, но тотчас же проснулась. Начало пятого. Так тепло и уютно в постели, что Лена подумала, уж не бросить ли эту страшную затею, выспаться и свежей приехать на дачу. Но какая-то внутренняя повелительная сила заставила ее подняться.

Она повернула выключатель и долго перед зеркалом примеряла Дашину одежду. Юбка, и кофта, и ватная телогрейка, большая на нее, с торчащими грязными клоками ваты, были достаточно рваные, засаленные и вымазанные углем — совсем как у нищенки. Ботинки со свернутыми

каблуками, полопавшимся верхом и висящими пуговицами тоже вполне подходили; неплох был и платок. Но чулки, хотя и простые, были стираные и совсем целые, а главное — весь этот костюм не только не скрадывал, а подчеркивал ее совершенно не нищенское, нежное лицо с темными бровями и ресницами, и так странно выглядывали из грязных рукавов телогрейки маленькие, продолговатые ладошки.

Лена зажгла спиртовку, на которой подогревались обычно завивальные щипцы, нашла в буфете пробку — вынула из бутылки с вином — и жженой пробкой стала разрисовывать себе лицо и руки. В этом было что-то нарочито театральное. Лену охватило злобное отчаяние. Некоторое время она сидела перед зеркалом, опустив руки, страшно размалеванная и противная сама себе. Но снова внутренняя повелительная сила заставила ее взять пробку.

Постепенно ею овладел азарт художника, и она так увлеклась, что, когда спохватилась, было уже почти половина шестого. Тут обнаружилось, что она забыла на даче торбу. Лена постояла с минуту, раздумывая, — сердце ее сильно билось. Наконец она решилась.

Она повязала платок так, чтобы видно было как можно меньше лица; подумав мгновение, сунула за пазуху кошелек, на цыпочках прошла через кухню и повернула ключ, заскрипевший в дверях, казалось, на весь дом... С падающим сердцем она сбежала по железным ступенькам, двор промелькал под ее ногами, — она очутилась на главной улице, той улице, которую она видела чаще с коляски или с балкона.

Было уже совсем светло, но солнце еще не выглянуло из-за Чуркина мыса. Дворники подметали улицу, шли редкие пешеходы, доносились какие-то стуки, свистки и грохот цепей с пристани, где-то далеко гудел катер.

Лена пошла почти бегом и свернула в ближайший переулок.

Вначале ей казалось, что каждый встречный подозрительно смотрит на нее, но, приглядевшись, она поняла, что никому нет дела до нее, и это придало ей бодрости.

Когда она пересекла Суйфунскую улицу, взошло солнце, стало тепло, и Леной овладело чувство, похожее на чувство освобождения. На время она даже забыла о конечной цели своего путешествия. Она шла по тем же улицам, по которым ей приходилось и раньше ездить, а

изредка и ходить пешком, но теперь она словно спустилась с верхних этажей на нижние.

Интересные, например, люди были ломовые извозчики. Громадные и белозубые, они тарахтели на своих телегах, ели лук с хлебом, заигрывали с идущими на рынок кухарками и дворничихами, подметающими тротуары. А когда попалась навстречу японка с тяжелым узлом белья, звонко стучавшая деревянными сандалиями, они такое отпустили на ее счет!.. Пожалуй, они побаивались только полицейских, и это сближало их с Леной.

За окнами подвальных помещений тоже жили и работали люди.

Сапожник в синих очках, сдвинутых на лоб, взмахивал молоточком, но стука не было слышно; женщина с серебряными волосами крутила швейную машинку; из выпущенной в оконце трубы вырывался пар и пахло китайской прачечной; булочник в грязном колпаке грязными руками месил грязное тесто; чумазый ребенок ползал по столу возле обкусанной ковриги черного хлеба; две девочки, похожие на белых мышек, клеили гильзы; босой мальчишка, с цыпками на ногах, выскочил из ворот и покатил по тротуару железный обруч, ловко направляя его палочкой.

Молочница, погромыхивая бидоном, наливала молоко в радужную эмалевую миску, которую держала руками, похожими на камбалы, стоящая в раскрытых дверях кухарка, — несколько розовых капель упало на ступеньки. Группа корейских женщин в веревочных туфлях перешла дорогу с мешками, полными сверкающих щепок.

Лена пересекла Пекинскую улицу, на которой была опиекурильня Вайнштейна.

Лена очутилась в китайском квартале. Здесь улочки были теснее. Квартал еще только просыпался. Пахло чесноком, копченой рыбой, древесным углем. Лавочники снимали щиты с окон. У ворот висели бумажные фонарики, похожие на разноцветные цилиндрические гармоники. За стенами кустарных мастерских бренчали жестянщики, медники. Китайские нищие спали, свернувшись у крылечек: их никто не трогал, и они никого не трогали.

На здании китайского театра свисали из-под узорных балконов два узких полотнища с жирными черными надписями: над входом колыхался бумажный отсыревший дракон с выпученными глазами.

Лену обогнало несколько гремящих эхом подвод с ломовиками-китайцами; из-под рогож торчали круглые мослы с красным и синим мясом.

Мир, окружавший Лену, был велик и разнообразен и до краев наполнен человеческой деятельностью.

Только когда показались ряды Семеновского базара, Лена вспомнила, куда идет, и почувствовала, точно кто-то схватил ее за низ живота и тянет, тянет.

XXV

Базар уже был открыт и начинал гудеть. Лена обошла его стороной. Минут десять она петляла по кривым и грязным улочкам. Каменные бани, как хмурый дворец, возвышались над окружающим убожеством. Лена свернула за каменную ограду и вдруг пошатнулась и застыла.

По некрутому, освещенному утренним солнцем косогорчику вдоль стены, тесно прижавшись друг к другу, переплетшись руками и ногами, соткнувшись лицами, выставив голые локти, ступни, коленки, костыли, в невыносимых рубищах лежало в ряд не менее тридцати — сорока существ: стариков, старух, ребятишек, женщин с грудными детьми. Все они спали, но Лена с ужасом видела, что многие из них спят с открытыми белыми глазами покойников; у некоторых были слезящиеся, гноящиеся щелки вместо глаз. Лена поняла, что все это — слепые. В теплом вонючем месиве вперемежку с людьми спали худые, изъеденные паршами псы.

Под косогорчиком внизу раскинулась небольшая площадь, повышавшаяся вправо к роще, пыльной и объеденной, кишащей каким-то отребьем, и понижавшейся влево, — там стоял скривившийся двухэтажный, с выбитыми стеклами, деревянный дом с наваленными возле него поломанными бочками, ящиками, путаницей из железного и деревянного лома; дальше выступали крыши и трубы полуразрушенных, залатанных строений. Сзади площадь ограничивал ряд серых одноэтажных домиков, окна их начинались от самой земли, с той стороны вливалась в площадь узкая косая улочка.

Сама площадь представляла собой как бы разрушенный подвальный низ стоявшего здесь ранее кирпичного здания: груды поломанного кирпича, остатки каменного

фундамента, норы в земляных осыпях, хижины из досок и бочек. И необыкновенно густо и смрадно кишело в норах и возле них человеческое отребье.

С расширившимися зрачками, как зачарованная, Лена спустилась на площадь и вмешалась в людское месиво. Она не знала, куда идти, с кем заговорить, где примоститься. Медленно, как сомнамбула, она шла в потрясающем смраде, мимо ползающих по земле, как слепые щенки, полуголых ребятишек, дышащих тонкими ребрами, мимо ищущих вшей старух с вислыми, покрытыми коростой грудями, мимо спящих великанов, безногих, выставивших свои костыли и культяпки.

Это был людской гнойник, сброс человечества.

Казалось, все эти гнойные глаза, деревянные обрубки, огрызки рук и ног разом устремятся на Лену и завопят: «Вот она, смотрите!.. Она не нищая, она переодетая, она *самозванка!..»*

Лена ощущала все это в ужасном целом, но не глядела ни на кого в особенности и не замечала, что люди равнодушно оглядывают ее.

Возле остатков каменного фундамента она опустилась прямо на землю, чтобы стать как можно меньше, и долго сидела, прислонившись спиной к камням, прижав коленки к груди, не решаясь поднять глаз. Тянущая боль внизу живота все не прекращалась, и Лене все время казалось, что кто-то смотрит на нее. Наконец она решилась поднять веки.

Перед сооруженьицем из ящичных досок сидели две пожилых женщины — одна босая, другая в опорках, обе без платков, с грязными растрепанными волосами. Та, что в опорках, вынимала что-то из торбы и раскладывала на земле на две кучи, другая молча следила за движениями ее руки. Неподалеку от них спал огненно-рыжий парень, разметав ноги, подложив руки под голову, — Лене было видно его опухшее, лишенное растительности лицо.

Из-за бочки выглядывали босые жилистые ступни. Возле кучи кирпичей сидел кто-то вполуоборот к Лене. На косогорчике, под каменной стеной, по-прежнему спали слепые, освещенные солнцем.

Когда Лена вновь опустила веки, она уже ясно знала, что кто-то смотрит на нее; сердце, совсем замершее, снова начало биться сильными, отдающими в горло толчками. Лена быстро подняла голову и совсем было поймала

эти сверлящие ее глаза, маленькие, зеленоватые и пытливые, но опять она не могла узнать, кому они принадлежат. И вдруг она встретилась с ними на одно мгновение... Они принадлежали человеку, сидящему возле кирпичей вполуоборот к Лене. Ни в одежде, ни в лице человека не было ничего, что отличало бы его от других, но Лена вдруг с необычайной остротой почувствовала в этих глазах то же боязливое, скользкое выражение *ненастоящности*, самозванства, какое, она знала, было и у нее в глазах, а главное — и его, и ее глаза в одно мгновение догадались об этом.

Только теперь Лена почувствовала подлинный, насквозь пронзивший ее страх. Ее пребывание здесь предстало в свете ее обычной, так называемой нормальной жизни.

По рассказам прислуги Лена знала, что в таких местах ходят переодетые сыщики. Что, если это сыщик?.. Если она сознается, что она племянница Гиммера, об этом узнает весь город... Она никому не в состоянии будет объяснить, чтó ее толкнуло сюда, она будет всеми отринута, ее исключат из гимназии... А если не сознается?.. Если не сознается, ее наградят желтым билетом и отправят в публичный дом, — да, ее, как сотни и тысячи других женщин, лишенных имени и крова, отправят в *публичный дом,* как *проститутку!..*

Она боялась пошевельнуться: только она попробует встать — человек подымется и схватит ее. А человек этот, необыкновенно широкий и костистый, но совершенно плоский, со светлыми усиками и маленькими зеленоватыми глазками, все более пристально и уже бесстрашно поглядывал на нее.

Усилием воли Лена заставила себя, не вставая, передвинуться на другую сторону камней. Она решила дождаться, пока человек уйдет. Но он не уходил. Не оглядываясь, она чувствовала, как его взгляд прожигает ей затылок.

Теперь прямо перед ней, выше уровня ее головы, виднелась роща. Из нор, из бочек, из щелей вылезали все новые и новые обитатели; одни бесцельно слонялись, другие, с палочками и торбами, деловито уходили куда-то — наверное, побираться. Несколько нор было в горе, под рощей, — одна покрупнее остальных, с деревянным навесом и входной дверью; дверь была открыта, зияла темная

дыра. У входа сидела страшно высохшая старуха; лицо ее состояло из одних глаз, тоже похожих на черные дыры. Лена заметила, что к старухе иногда подходили заспанные мужчины и женщины, переговаривались и исчезали в дыре. Через некоторое время одни вылезали обратно, другие оставались там.

Проснулся огненно-рыжий парень с опухшими веками, громко зевнул, потянулся, потом увидел Лену; глаза его заслезились. Он сел, обхватил колени руками, положил на колени подбородок и стал глядеть на Лену. Появился другой — высокий, однорукий и одноглазый, в пепельных волосах. Одна штанина у него была разодрана от самого низа до пояса, выглядывала мускулистая нога в таких же пепельных волосах. Однорукий что-то спросил, рыжий указал глазами на Лену. Тогда однорукий развалился рядом с ним, и оба стали глядеть на нее.

Все это длилось невероятно долго — Лена уже не могла вспомнить, когда началось все это. Она совсем съежилась, ноги ее затекли.

Ее потряс громкий визг; от неожиданности она сама чуть не закричала. Женщины, делившие торбу, дрались, вцепившись друг другу в волосы. Они дрались неистово, осыпая друг друга площадной бранью, кусаясь, царапаясь и заголяясь. Парни подзуживали их. Тот, что с разорванной штаниной, лежа на спине, старался подпихнуть дерущихся ногой, — штанина осталась на земле, а грязная мускулистая нога в пепельных волосах болталась в воздухе.

Подошло несколько человек, они внимательно и серьезно стали глядеть на дерущихся; один украдкой хватал летящие во все стороны куски из торбы и пихал в карман. Старуха с черными, как дыры, глазами тоже снялась со своей норы и не спеша подошла смотреть драку.

Проходя, она изучающе посмотрела на Лену.

Женщины изодрались в кровь; та, что вынимала из торбы, забила другую. Побежденная успела похватать какие-то куски и, уходя, показала голый зад. Победительница, ругаясь и всхлипывая, ползала на коленях и собирала разбросанные куски в торбу.

Старуха с черными, как дыры, глазами опустилась на корточки против парней. Парни, склонив к ней головы, уговаривали ее в чем-то, изредка поглядывая на Лену. Старуха тоже один раз оглянулась на нее.

Потом они заспорили.

Через некоторое время старуха подошла к Лене и опустилась против нее на корточки. С минуту она смотрела на Лену своими большими черными глазами.

— Заморилась? Не спала? — хрипло спросила старуха.

Лена молчала.

— Ко мне пойдем... У меня есть где спать...

Лена молчала.

— Нюхнуть есть... Водка есть, — шепотом сказала старуха.

Вдруг Лена подумала, что, если она подымется и пойдет сейчас со старухой, плоский с зеленоватыми глазками навряд ли схватит ее: она сможет дойти до рощи, а потом убежать.

Она молча встала и пошла со старухой. Внутренний толчок заставил ее оглянуться: рыжий парень и однорукий с разодранной штаниной, враскачку и как будто облизываясь, идут следом, а плоский с зеленоватыми глазками поднялся на ноги и смотрит.

Возле черной дыры с навесом Лена остановилась.

— Пойдем, кисынька, — сказала старуха и вдруг цепко схватила ее за руку цыплячьими, холодными пальцами.

— Я не пойду, — едва слышно сказала Лена, пытаясь освободить руку.

— Пойдем, пойдем, кисынька, — свистящим шепотом повторяла старуха и тянула ее за собой.

Лена вырвала руку, но в это время парни уже подошли вплотную. Рыжий, заложив руки в карманы, остановился вполуоборот к Лене, оглядываясь на площадь, насвистывая, а однорукий с рваной штаниной надвинулся на Лену и грудью подтолкнул ее к дыре.

Не помня себя, Лена изо всех сил страшным, пронзительным голосом закричала на всю площадь. Парень, отшатнувшись, оглянулся, — головы людей на площади повернулись в их сторону. Лена успела заметить, что плоский, сунув руку в карман, идет сюда; но Лена, уже не чувствуя ни себя, ни окружающего, что было сил бежала по откосу к стене. Инстинктивно она побежала не в старом направлении, откуда пришла, а свернула вдоль стены в обратную сторону. Стена оборвалась, открылась какая-то улочка с другой стороны бань; Лена бросилась в улочку, потом в другую, потом опять свернула

куда-то и вдруг очутилась возле базарных рядов, гудящих и кишащих народом.

Она заставила себя пойти шагом, оглянулась, — никто не гнался за ней. Вмешавшись в базарную толпу, она еще попетляла по рядам и вышла с другой стороны базара...

Извозчик на углу кормил лошадей из ведерка.

— На Светланскую, дом Гиммеров... — запыхавшись, сказала Лена.

— А кого везти?..

Извозчик недоверчиво смотрел на нее.

— Я сама поеду... Скорее, я вас прошу...

Она достала кошелек.

XXVI

Шторы в комнате опущены. Неизвестно, который час. Лена лежала, съежившись под одеялом, прижав к груди руки с подвернутыми ладошками и неподвижно глядя перед собой. Нищенская одежда валялась на коврике, — Лена даже не убрала ее.

Дверь ей открыла кухарка, оставшаяся в городе, чтобы готовить старому Гиммеру. Лена не помнила, что́ отвечала на расспросы. Потом кухарка пришла звать ее обедать, но Лена отказалась. Кухарка, постояв, ушла. Никто больше не приходил.

В висках у Лены стучало. Она еще ощущала на руке прикосновение цыплячьих пальцев старухи; потный запах однорукого присутствовал в комнате. Лицо человека с зеленоватыми глазками, ползающие дети, слепые, лотки и шум базара, опущенные шторы перед глазами, полутемное зеркало, лицо Сережи, плывущее в освещенном окне вагона, разорванные образы детства — пробегали перед ее сознанием. Мелькала мысль, что надо бы принять ванну, но не было сил подняться.

Какое-то ноющее чувство, все нарастая и ища выхода, физически мучило ее. Надо бы заплакать, но нет слез, — озноб... Лена дрожала все сильнее и сильнее, и вдруг страшная сила начала ломать и скручивать Лену. До крови кусая руки и плача беззвучными слезами, Лена извивалась на кровати, разметав одеяло. Абсолютная тишина стояла в доме, а Лена со все большей силой муки

и отчаяния молча извивалась на постели, с искусанными до крови руками.

Вдруг она села и, опершись на руку, долго смотрела на полутемное зеркало остановившимся взглядом... Она соскочила на пол и быстро-быстро зашарила в ночном столике возле изголовья. Коробочка здесь...

Лена налила воды из графина и один за другим высыпала порошки в стакан. Некоторое время она постояла, раздумывая и дрожа, — порошки распускались в воде. Потом она выпила и снова легла под одеяло. Единственно, что беспокоило ее, это то, что она не знала, всякая ли смерть сопровождается болью. Но боли никакой не было, а только сильно клонило ко сну.

«Так это смерть?» — подумала она.

Когда Софья Михайловна и Лиза, обеспокоенные ее отсутствием, приехали в город, они застали Лену вытянувшейся на кровати; возле валялись нищенская одежда, бумажки из-под порошков и тетрадка, на которой нетвердым почерком было написано:

«Не бойтесь, это все равно как засыпать...»

Очнулась Лена уже на другой день. Открыв глаза, она увидела заплаканное лицо Софьи Михайловны. Знакомый доктор с бульдожьими сизыми щеками держал Лену за руку; у Лены было такое ощущение, точно она вышла из ничего, из пустоты; в ушах стоял звон.

По лицу Софьи Михайловны побежали слезы. Доктор улыбнулся и зашевелил губами.

«Он получит за это деньги...» — подумала Лена, опуская веки.

Через несколько дней ее увезли лечиться, — на год, — в Японию.

XXVII

Прибежал Сережа, возбужденно размахивая газетной листовкой.

— Царя свергнули! — сказал он. — Очень интересно...

Пальцы и щека его были в типографской краске: листовку он получил первый в городе, прямо из-под машины — от своего товарища, типографского ученика.

Известие было встречено Гиммерами с осторожностью. А на другой день все члены семьи украсились красными бантами и лентами, и по разговорам получалось

так, что Гиммеры всю жизнь только и мечтали об этом и даже где-то что-то говорили и делали.

Огромные толпы со знаменами и пением вывалили на улицы.

Каждый день возникали новые учреждения, общества, комитеты. Все Гиммеры, вплоть до Адочки, состояли в каких-нибудь комитетах. Старого Гиммера избрали товарищем председателя городской думы, и его теперь почти не видели дома. Таточка, по-прежнему решительно ничего не делавший, занял видный пост в Комитете общественной безопасности и ходил с красной повязкой на рукаве. Сережа почти перестал ходить к Гиммерам. С удивлением Лена узнавала от других, что он тоже состоит в каких-то комитетах, где-то выступает и командует чуть ли не половиной гимназии.

Новое почувствовалось и в прислуге. Она по-прежнему слушалась и побаивалась господ, но в кухне теперь только и говорили о царе, о войне, о земле. Кроме старого лакея, похожего на Достоевского, все украдкой бегали на митинги, манифестации. Неожиданно наиболее усердной в таких делах оказалась Даша. В разговоре она употребляла незнакомые иностранные слова, в манерах и голосе ее появилась солидность. Кончилось это тем, что она бросила мужа и ушла к мастеровому из военного порта, — мастеровой этот последнее время частенько заглядывал на кухню. Гиммеры уволили Дашу.

Лена не состояла ни в обществах, ни в комитетах, на собрания и манифестации глядела со стороны, и в глазах у нее все время стояло такое выражение, точно она на глухом полустанке провожает поезд с незнакомыми людьми.

Из Японии Лена вывезла увлечение японской живописью.

Ее пленили старые мастера, одни из которых как бы нарочно существовали для того, чтобы уводить людей от живой жизни, другие же — для того, чтобы подчеркнуть и выпятить жизненное уродство.

Лена часами могла смотреть на сказочных, с пышными хвостами павлинов Ямагисава Рикиё среди цветущих, величиной с павлинов, пеоний, на его крохотных отшельничков, повисших среди огромного и бесплотного, как небо, горного пейзажа, на выгравированных на дереве криворотых проституток школы Укийо-е, на извращенных

демонов Хокусая и уличных уродцев Ватанебе Квадзана или обращалась к глубокой древности и внушала себе, что ей нравится «Лунная ночь во дворце» Такайоси, где в рассеянном лунном свете, среди косых линий тихо сидели, склонив головы и закрыв глаза, одутловатые люди во вздувшихся, словно наполненных воздухом, одеждах и слушали такого же одутловатого, во вздувшейся одежде человечка, игравшего на флейте.

Теперь, когда вокруг закипели людские толпы и страсти, Лена ясно видела, что ее занятия живописью — взбалмошный вздор. Недоконченные эскизы вместе с мольбертом и палитрой полетели за шкаф и лежали там, пока прислуга не вынесла их в чулан.

Осенью снова зашел Сережа, недавно вернувшийся из деревни. Он сильно вырос и похорошел, руки у него стали большие, как у матроса. Сережа был в смятении, мял и теребил все, что попадалось под руку.

— Я был только что на митинге большевиков, — рассказывал он.

Лена молчала.

— И ты знаешь, папа на крестьянском съезде в Никольске поддержал большевиков... Он голосовал, чтобы их список был выставлен в Учредительное собрание...

Лена уже слышала как-то за столом о *нетактичном* поведении ее отца на съезде по отношению к *коллегам-врачам.*

— Мы с ним много разговаривали, и я, правда, не могу сказать, что во всем разобрался, скорее даже еще больше запутался, — Сережа невесело улыбнулся, — но я думаю, наш папа действительно много боролся и страдал и ему можно верить... Прочти, что он написал мне вдогонку...

Сережа сунул Лене заношенное в кармане бисерное письмо отца.

Лена пробежала глазами по латинским поговоркам и французским междометиям, при помощи которых отец выдавал себя за веселого и беспечного философа, хотя в действительности им не был, — и вернула письмо.

— Ты согласна? Согласна?.. — пытливо спрашивал Сережа.

— Да... пожалуй... — безответственно-протяжно сказала Лена.

— А на митинг меня затащил Гриша, — помнишь, я тебе рассказывал про него? Он в типографии работает, —

повеселев, говорил Сережа, — отец у него тоже наборщик, в тюрьме сидел...

— Интересно было на митинге? — равнодушно спросила Лена: ей не хотелось, чтобы Сережа уходил.

— Очень... Там один Чуркин выступал. Замечательно!.. И еще один, Сурков, — он только с фронта вернулся...

— Сурков?..

Лена смутно вспомнила коротконогого, с бугристым лбом подростка в мастерской китайца-портного и повела плечами, словно от озноба, вспомнив, что отец этого подростка сгорел на какой-то раскаленной сковороде.

— Расскажи, какой он...

— Как — какой?

— Как выглядит, что говорил...

Сережа с увлечением стал рассказывать. Из рассказа его было ясно, что Сурков одет в солдатскую шинель, а говорил на митинге то самое, что говорят все большевики и что, возможно, было неправдой.

Интерес Лены к Суркову остыл.

XXVIII

В городе долго существовало две власти — городская дума и совет рабочих депутатов. В начале зимы на заседании городской думы появился очень юный черненький комиссар в пенсне и с ним волосатый грузчик в шинели с расстегнутым хлястиком, державший в руке ржавую берданку без затвора, и городская дума была распущена.

На другой день все газеты города вышли с жирными подзаголовками и восклицательными знаками. Дума сообщала, что она вынуждена подчиниться грубой вооруженной силе и очень протестует. Газета «Дальний Восток», издававшаяся на средства Гиммера и Солодовникова, глухо намекала, что черненький комиссар, разогнавший думу, — еврей.

Теперь в доме Гиммеров уже открыто поругивали отца Лены и называли его сумасшедшим за то, что он пошел работать в Сучанский совет.

— От него всего можно было ждать, — с грустью говорила Софья Михайловна. — Что делала бы бедная Аня, если бы дожила до таких времен!..

Фамилия Суркова склонялась во всех направлениях. Сурков был военным комиссаром крепости, одним из многочисленных теперь комиссаров, но именно ему не могли простить того, что это тот самый Сурков, который пользовался благодеяниями *общества*, который избил Дюдю, которому было это прощено и который платит теперь за все черной неблагодарностью.

Начались просто страшные вещи. Однажды ночью группа людей в шинелях и кожанках нагрянула в дом Гиммеров. Все были подняты на ноги. Полуодетые девушки дрожали в гостиной, пока перерывались их столики и кровати.

Старого Гиммера арестовали, но вскоре выпустили. Вернулся он, заросший щетиной, и долго мылся в ванне, урча и фыркая на весь дом.

К обеду у него собрались самые именитые люди города. Было съедено много хорошей еды и еще больше выпито хорошего вина. Гиммер призывал именитых людей города не давать новой власти «ни гроша, ни зерна», и старик Скутарев, золотопромышленник, первый раз бывший у Гиммеров, под общий восторженный рев и рукоплескания расцеловался со старым Гиммером.

В этот же вечер Гиммер вызвал главного управляющего мукомольными предприятиями и просидел с ним в кабинете до глубокой ночи. Старый Гиммер был так озлоблен против новой власти, что забыл сообщить именитым людям города о том, что, сидя под арестом, он договорился с новой властью о хлебных поставках. В конце концов *дело* было превыше всего.

К весне в город стали прибывать чешские эшелоны; говорили, что они сосредоточиваются для отправки на родину. По улицам, которые теперь совсем заполонила простая публика, маршировали дисциплинированные, хорошо подтянутые и подобранные чешские солдаты, похожие на старых русских солдат.

На рейде загремел якорными цепями японский крейсер. С балкона Гиммеров он походил на игрушечный: чистенький, аккуратный, он весело дымил всеми тремя своими трубами. Маленькие тяжелые японские солдаты в зеленых обмотках, совсем не похожие на тех бесплотных и созерцательных человечков, которые изображались на гравюрах и картинах, задефилировали по улицам.

Старый Гиммер, совсем было утративший способность давиться рыбьей костью, стал чуть ли не ежедневно давать балы на весь город. С невероятной помпой отпраздновали свадьбу Шуры Солодовникова и Лизы Гиммер. В ночь, когда праздновалась свадьба у Солодовниковых, приехали домой Вениамин, Дюдя и Всеволод Ланговой. Они были в штатском и вошли в квартиру с черного хода.

Лена встретилась с ними за завтраком. Молодые люди ели яйца всмятку, оживленно разговаривали и смеялись. Адочка кинулась целовать братьев.

Ланговой похудел и еще больше отвердел и возмужал. Когда вошла Лена, он вскинул свои длинные серые ресницы, и глаза его на мгновение восхищенно блеснули. Он встал и учтиво поцеловал Лене руку. Лена увидела его ровный пробор и волосы, серые, как у волка.

Во все время завтрака Лена ни разу не взглянула на Лангового, хотя чувствовала, что он смотрит на нее.

Через два дня Вениамин и Дюдя, не выходившие из дому, уехали неизвестно куда, а Ланговой остался у Гиммеров, и Лене и Аде было сообщено, что они должны всем говорить, что Ланговой — племянник Гиммера, томский студент, приехавший на каникулы.

XXIX

Ланговой часто исчезал, домой возвращался поздно.

Каждый день к нему заходили новые и новые молодые люди, иногда знакомые Лене гимназисты, но она никогда не замечала, чтобы кто-либо из тех, кто раз заходил, появлялся вновь.

Где бы Лена ни была, она все время чувствовала и помнила, что Ланговой живет в их доме: должно быть, она чувствовала его в себе. Но именно поэтому она избегала встречаться с ним с глазу на глаз, хотя видела, что он ищет этого и что все окружающие тоже ждут этого.

Они встретились через несколько дней в гостиной.

Они остановились друг против друга. Ланговой, в шедших к его стройной фигуре лаковых сапогах и в шелковой косоворотке, подпоясанной шнурком с кистями, был серьезен и грустен. Лена видела перед собой его длинные ресницы. Между ними произошел следующий разговор:

— Лена, почему вы избегаете меня?

— Вы много берете на себя, если думаете, что я избегаю вас...

— Вы говорите неправду. Зачем?.. Вы забыли меня?.. Да, вы перестали писать мне, вы не выполнили своего обещания.

— Неужели вы можете говорить серьезно о таких вещах?

— Я могу говорить только серьезно о таких вещах. Я не забыл того, что́ обещал вам, и ждал вас, несмотря ни на что... Лена, вы так похорошели!..

Они помолчали.

— Может быть, оттого, что вы нашли меня похорошевшей, вам кажется, что вы все время помнили меня?

— Не думаю... Я не умею лгать в таких вещах.

— А в каких вещах вы умеете лгать?

— Лена, я узнаю вас, — все те же вопросы. Правильнее было бы сказать, что я не умею лгать перед самим собой. Но, разумеется, многие вещи неличного свойства требуют лжи.

— Какие, например?

— Об этом я не имею права сказать вам, но скоро вы узнаете об этом сами.

— Вы хотите прогнать большевиков, да?

— Лена, вы очень догадливы...

— А вы очень верите, что то, что́ вы делаете, правильно?

— Я никогда не делаю ничего, если не убежден в правильности того, что́ делаю.

— Никогда? Этого не может быть, таких людей нет. Люди всю жизнь делают много такого, правильность чего они не могут знать... Откуда вы можете знать, что их действительно нужно прогнать?

— Видите ли, Лена, если я буду говорить вам об обязанности перед моей и вашей родиной, вы скажете — это общие места, как уже говорили однажды. Но ведь я оставил свою кровь за это на полях Галиции!.. И я только потому не жалею, что не истек кровью до конца, что знаю — моя жизнь нужнее сейчас, чем когда бы то ни было. И еще потому, что я снова могу видеть вас и говорить с вами... Вы скажете — но чем вы можете проверить, что вы проливали свою кровь не зря? Я этого не могу проверить ничем, кроме как опытом, традициями поколений

моих отцов, кроме как своими желаниями и стремлениями. А если ошибались отцы и если мои стремления ложны, то — пусть... В этом и состоит жизнь, иначе бы она прекратилась...

— Да, вы убеждены... Вы... такой, я это знаю...

— Но вы сочувствуете мне?

— Я никогда и ни за что не проливала своей крови... Но я думаю, что я сочувствую всякому, кто искренне убежден в том, что он делает... если цели его не низменны. Только я мало встречала таких людей...

— Значит, у меня есть еще шансы?

— А что вы, собственно, хотите? Вам хочется меня целовать? Или что?

— Лена, вы очень смешная...

— Вы можете меня целовать иногда. Вас это удовлетворит?

— Зачем вы говорите так? А вас это удовлетворит?

— Мне все равно...

— Вам не может быть все равно — таких людей нет...

— Что же вы тогда хотите?

— Я хочу, чтобы вы любили меня. За это я могу дать вам всего себя, — это не так мало, уверяю вас...

— Но ведь вы проливали кровь на полях Галиции — и у вас есть долг!

— Любовь к вам не противоречит моему долгу, потому что это и ваш долг.

— Но откуда вы знаете, что вы способны на такую любовь? В чем это состоит, что вы испытываете?

— Боже мой, с вами трудно говорить... Но я еще больше люблю вас за это... Разве можно все объяснить словами? Если вы не чувствуете этого, значит, этого в вас нет, и это очень печально для меня...

— Нет, вы очень нравитесь мне, особенно когда я не вижу вас.

— Когда не видите меня?!

— Да... Очевидно, это потому, что я вижу тогда только то в вас, что нравится мне, и я испытываю тогда большое доверие к вам, и мне хочется сделать что-нибудь очень хорошее для вас... Да, это так...

— Лена, вы всегда точно тормозите свои чувства. Я думаю — вам от этого трудно жить.

— Это самозащита. Люди корыстны и злы, а я — слаба...

— Я не знаю, что бы я дал, чтобы вы поверили мне! Вам было бы легче со мной среди людей...

— Но ведь вам со мной было бы не легче, а тяжелее? Что же тогда движет вами?

— Нет, мне тоже стало бы легче, потому что я очень одинок, особенно сейчас... Как серый волк! Хотите, я завою?..

И Ланговой вдруг вскинул голову и, скосив на Лену смеющиеся глаза, завыл протяжным волчьим воем, раздувая тонкие ноздри и мерцая серыми ресницами. Лена почувствовала, что ей хочется прижаться к его по-волчьи вытянувшемуся стройному, сильному телу.

— Да, вы иногда похожи на волка... Вы помните у Толстого, когда собака дядюшки «Чистое дело марш!», когда его собака загнала волка и его связали и вставили палку в зубы и приторочили к седлу, люди очень горячились, а волк «дико и в то же время просто смотрел на людей...». Мне очень нравится это место...

— Будем надеяться, что меня не приторочат к седлу!..

— Да, я хотела бы, чтобы вы действительно могли быть совсем-совсем свободным волком... Но, к сожалению, я знаю, это невозможно...

— Лена, я поцелую вас!..

— Я поцелую вас.

Она обхватила его шею своими тонкими руками и крепко-крепко поцеловала его в губы.

XXX

Увязавшись за своим приятелем, типографским учеником, Сережа попал на ночное дежурство у исполкома советов. Всю ночь слушал он грохот сгружавшейся у вокзала чешской артиллерии. Утром, усталый и почерневший от бессонницы, он, торопясь в гимназию, обгонял цветные, окутанные желтой пылью колонны интервентных войск; грузный топот их шагов, крики мороженщиков, доносящиеся с бухты стенания сирен казались ему фантастическим продолжением ночи, которая никогда не кончится. Однако, распахнув пахнущую казенной краской классную дверь, он убедился, что здесь все обстояло по-старому. Ожидался урок начертательной геометрии.

С удивлением Сережа наблюдал за тем, как его белобрысый и аккуратный сосед по парте, выпятив пухлые

губы, прикалывал к доске лист белого бристоля. «Неужели я должен делать это?» — вяло думал Сережа. И он было взял кнопку, но его отвлекли внезапно появившиеся в окне зеленые марширующие ноги, — Сережа снова вспомнил отдаленный грохот сгружавшейся у вокзала чешской артиллерии и вспомнил тараканов на кухне исполкома, куда вместе со своим приятелем ходил ночью пить воду.

Но больше всего угнетал его протяжный, скрипучий голос преподавателя Редлиха. Сережа иногда, морщась, поглядывал на его сизую верхнюю губу. (Редлих неделю назад женился и, как говорили, по настоянию жены отращивал усы.) Редлих стоял перед гимназистом Еремеевым и, брезгливо, двумя пальцами, поворачивая его руки вверх ладонями, протяжно скрипел:

— Хе-е... Что, у вас дома мы-ла не-ет?..

Еремеев, большой, неопрятный парень с одутловатым лицом и вздыбленными волосами, — от него почему-то всегда пахло печным чугунком, — смущенно и жалко улыбался: он был самым безропотным учеником в классе.

Сережа вдруг вспомнил, что Еремеев — сын багажного весовщика и увлекается Ницше и что мыла у них дома действительно могло не быть. В то же мгновение Сережа встал и громко сказал на весь класс:

— Слушайте, господин Редлих, ведь это же издевательство!..

Все головы повернулись к Сереже.

— Как? — испугался Редлих.

— То есть еще раз повторить? — глупо спросил Сережа.

Редлих, вдруг весь побагровев, закричал:

— Как вы смеете?.. Распусти-ились, мерза-вцы!..

— Что?!

Бешеная кровь хлынула Сереже в голову, он сорвался с места и побежал к Редлиху. Сережа знал, что сейчас ударит Редлиха, но Редлих выбежал из класса, хлопнув дверью так, что посыпалась штукатурка.

Все повставали, поднялся невообразимый шум. Тут же состоялось летучее собрание, на котором постановили требовать от Редлиха извинения, а в случае отказа объявить забастовку. Пока шло собрание, сын корейского купца Пашка Ким, лучший в классе карикатурист, мелом

изобразил на доске манифестацию учащихся с плакатом: «Долой тиранию педагогов и варваров-родителей!»

Через полчаса Сережа во главе делегации стоял в кабинете директора. Грохот сгружавшейся ночью чешской артиллерии и здесь преследовал его. Сережа видел перед собой пористый нос директора, похожий на крупную клубничину, излагал директору требования учащихся, выслушивал его отказы и в то же время почти физически ощущал уютную теплоту своей постели и то, как он наконец уснет, накрывшись с головой одеялом. Одно мгновение он подумал: «А папа не осудит?» Но, вспомнив выпяченные пухлые губы соседа по парте и скрипучий голос Редлиха, решил, что «папа не осудит».

22 мая было назначено собрание учащихся старших классов всех учебных заведений. Сережа получил через совет рабочих депутатов зал общества «Спорт», сказав в забастовочном комитете, что договорился с правлением самого общества.

Кроме учащихся, на собрании присутствовали почти все преподаватели и родительский комитет. Неожиданно пришел комиссар по делам просвещения и стал поддерживать учеников против преподавателей, — это погубило все дело.

Комиссар был давно не брит, в пиджаке без галстука и в сапогах, говорил вместо «предмет» — «пре́дмет», букву «г» выговаривал по-украински, учащихся называл «товарищи гимназисты и гимназистки».

Постепенно выяснилось, что отец Сережи работает в Сучанском совете, — какой-то гимназист случайно видел, как Сережа с красногвардейцами шел на дежурство в совет, а представитель общества «Спорт» заявил, что помещение под собрание тоже заставил уступить совет.

Все собрание вместе с преподавателями и родительским комитетом повернулось против комиссара и Сережи, — с ними осталась группка не более шести-семи человек. Собрание почти единогласно проголосовало за прекращение забастовки и исключение Сережи из гимназии. Сережа видел, что за его исключение голосовал и Еремеев.

— Что — сынки, что — папаши!.. — раздувая ноздри, говорил комиссар, вместе с которым Сережа шел с собрания. — И — к лучшему: по крайности — ясность. Ишь как поделились! — говорил он как будто даже с восхищением.

Сережа, сунув руки в карманы, шагал рядом, полный бессильной злобы к товарищам, с которыми прожил и проучился около семи лет.

У здания совета они распрощались.

— А ты не унывай, товарищ молодой, — сказал комиссар, пожимая Сереже руку, — найдешь себе дружков покрепче, а это тебе будет вроде закалки.

— Их стрелять надо, — глухо сказал Сережа.

— Кой-кого следовало б и пострелять, — охотно согласился комиссар, — да всех не перестреляешь... Ты заходи к нам почаще. И тех ребяток, шесть человек, ты разыщи и тоже скажи, чтоб заходили. Ребятки, правда, не больно храбрые, да ведь можно сделать.

— А я их не запомнил, — растерянно сказал Сережа.

Комиссар некоторое время с удивлением смотрел на него:

— И зелен же ты!.. — сказал он с веселой укоризной.

И, к величайшему удивлению Сережи, комиссар достал из кармана пиджака блокнот и заставил Сережу переписать всех из своего блокнота, в котором были не только имена и фамилии этих товарищей, но и кто где учится.

Наконец пришло письмо от отца:

«Мой юный друг! Известие твое не явилось для меня неожиданностью. Конечно, дело здесь совсем не в Еремееве. Созревший плод падает с дерева не потому, что подул ветер, но сильный ветер срывает с дерева и незрелые плоды. Ты знаешь, что я никогда не фетишировал так называемого образования. Самое главное для меня, чтобы человек был честен. Но если уж говорить совершенно искренне, то я все-таки не думал, что это случится так скоро, и немножко взгрустнул: вот ты уже и большой, а я старый...»

Дальше отец подробно, как равному, писал ему о своей работе в Сучанском совете, чем очень польстил Сереже. Письмо кончалось просьбой приехать повидаться, так как «время теперь тревожное, и неизвестно, в какие стороны развеет нас судьба», и постскриптумом, на самом краешке почтового листа, — чтобы Сережа купил полфунта «барского» табаку, которого здесь, на Сучане, «нельзя достать ни за какие деньги».

Наутро Сережа сложил вещи и пошел к Гиммерам прощаться с сестрой.

Лена только что собралась с Ланговым на утренний концерт знаменитого виолончелиста, остановившегося в городе проездом в Японию.

— Я уезжаю в деревню, — сказал Сережа, — вот письмо от папы...

Лена почувствовала, как все в ней упало.

— Вот как... Значит, ты уезжаешь?..

Надо было сказать что-то очень важное, но Ланговой в белом костюме стоял возле, и Лена стеснялась его.

— Папе передать что-нибудь от тебя?

Сережа был в залатанных штатских брюках и френчике; в больших руках он мял гимназическую фуражку, уже без герба. И в том, как он стоял, смущенный и вспотевший, среди золоченых кресел и бархата, было что-то невыносимо жалкое.

— Да, как же... передай привет... поцелуй папу...

— Ну, до свидания...

Комок подкатил к горлу Лены, и она кинулась вслед за Сережей.

Когда она с Ланговым шла на концерт, у нее было такое ощущение, точно она лишилась самого дорогого на свете, и к Ланговому она испытывала неосознанную враждебность.

Неуловимая тревога была разлита по улицам. Прошла рота чешских солдат, потом взвод красногвардейцев, пестро одетых, — они шли вразброд, неся ружья как попало.

— Тоже — армия... — сквозь зубы процедил Ланговой. — Вы знаете, вчера прибыл американский крейсер, вон он стоит...

Он указал в сторону Русского острова... На рейде застыло несколько японских военных судов, а немного подальше, выделяясь на синем фоне острова, стоял американский крейсер, пылающий на солнце, как храм.

Музыка размягчила Лену, и враждебное чувство ее к Ланговому прошло.

После концерта они долго молча бродили по саду. Ланговой держал Лену под руку, и Лена прижималась к нему с чувством доверия и утраты.

Домой они вернулись с сумерками. Дома никого не было. Лена прошла в комнату Лангового и осталась там. Ланговой закрыл дверь на ключ.

От Лангового Лена узнала, что весь район Гродекова, возле маньчжурской границы, занят войсками казачьего

есаула Калмыкова, что Вениамин и Дюдя находятся уже там, а Ланговой работает по связи есаула с городом — переправляет туда пополнение и формирует дружины. К этому Лена отнеслась как к чему-то второстепенному.

XXXI

— Леночка, нам нужно расстаться на несколько дней...

Ланговой, весь подобранный и посерьезневший, крепко сжал руки Лены и потряс их.

— Вениамин и Евгений уже в городе, — шепотом сказал он, склонившись к Лене, — скоро это начнется... Миссия моя кончена, и я должен выполнять свой долг в рядах... Скажите мне что-нибудь...

Лена несколько мгновений смотрела на него потемневшими глазами.

— Вы останетесь живой, правда?

Несмотря на то, что произошло между ними, они по-прежнему были на «вы».

— Вот еще что... Вы хорошо продумали?..

Лена запнулась, но Ланговой понял ее.

— Я это продумал раньше, — с улыбкой сказал он, — сейчас уже поздно думать.

— Прощайте, Ланговой, желаю вам...

Ланговой обнял Лену, у нее занялось дыхание.

Она не пошла провожать его и долго еще слышала его удаляющиеся шаги по комнатам.

В ночь под 29 июля Лена проснулась от странных лопающихся звуков. Ада в полосе лунного света, пробивавшегося из-за шторы, с испуганным лицом сидела на кровати, опершись на руки.

— Слышишь?.. Что это?.. — спросила она.

Частые лопающиеся звуки и еще похожие на то, как будто раздирают коленкор, доносились с пристани за садом. Такие же, более отдаленные звуки слышались где-то возле военного порта и дальше — в Гнилом углу, и в противоположной стороне — возможно, возле вокзала.

«Ланговой...» — подумала Лена.

Вдруг что-то оглушительно ударило в стекла, качнулись шторы, стекла зазвенели, и с потолка посыпалась штукатурка.

Ада, взвизгнув, в одной рубашке выбежала из комнаты.

Лена, вздрагивая от лопающихся звуков, повернула выключатель, надела ночной халатик и туфли на босу ногу, поправила волосы у зеркала и тоже вышла из спальни.

В одной из комнат, не обращенных к улице, сидел Таточка в мохнатом халате, застегнутом не на те пуговицы, в одной туфле. Он весь ушел в кресло своим полным телом. После каждого удара, потрясавшего дом, глаза Таточки вращались как оловянные. Лена только теперь обратила внимание на то, что Таточка начисто облысел.

Ада, в ночной рубашке, с босыми ногами, дрожала на диванчике.

Прислуга с тазиками и пузырьками бегала в спальню Софьи Михайловны и обратно; в комнатах пахло валерьянкой. Горничная принесла Аде капот Софьи Михайловны и туфли.

Изредка, грузно ступая, заходил старый Гиммер с небритым, обрюзгшим лицом, в надетом прямо на нижнюю сорочку пиджаке с поднятым воротником. Он проходил в спальню к жене, оттуда доносился его брюзжащий голос; потом снова проходил в свой кабинет: в кабинете надрывались телефонные звонки.

Лена молча, с широко открытыми глазами, или сидела на кресле в полутемном углу, или бродила по комнатам.

На пристани, за садом, раздавались теперь только одинокие выстрелы, но в Гнилом углу и возле вокзала стрельба ожесточилась.

Ближе к рассвету прекратились тяжелые, потрясавшие дом удары; смолкло в Гнилом углу, а возле вокзала стрельба участилась и усилилась, точно там собрались люди со всего города и дерут коленкор.

Таточка похрапывал в кресле; Ада спала, свернувшись на диванчике, — кто-то подложил ей под голову подушку и накрыл одеялом.

Лена вернулась в спальню; не снимая халата, легла под одеяло и долго лежала на спине, глядя в потолок, прислушиваясь ко все более ожесточавшейся стрельбе у вокзала. Лена слышала удаляющиеся шаги Лангового по комнатам, — у нее ныло под ложечкой. Незаметно она уснула.

Когда она проснулась, из-за штор пробивался дневной свет; у вокзала все еще ожесточенно драли коленкор. Рыжая Ада, выставив из-под одеяла горбатый нос, спала на своей кровати. Дверь в спальню была открыта, и из

дальних комнат доносился оживленный голос Вениамина; старый Гиммер давился рыбьей костью.

Лена начала одеваться, но голоса направились сюда, и Лена снова юркнула под одеяло. Вошли Софья Михайловна, Вениамин и старый Гиммер.

— Напугались, бедные девочки?

Вениамин весело поглядывал то на Лену, то на проснувшуюся и ничего не понимавшую Аду.

— Света, света побольше!..

Вениамин быстро поднимал шторы. Лена увидела, что он в офицерской форме с погонами и аксельбантами, такой же чистенький и аккуратный, как всегда, только возле глаз — темные круги и в лице — воспаленность.

— Ого, до чего бесстрашный народ! — говорил он, глядя в окно. — Смотрите, сколько раскрепощенных граждан на улице!.. Они братаются с чешскими патрулями...

— Где Ланговой? — спросила Лена.

— Вот и попалась!..

Софья Михайловна, севшая на кровать к Аде и перебиравшая маленькой ручкой ее рыжие волосы, прищурившись, посмотрела на Лену.

Старый Гиммер тоже посмотрел на Лену с хитрой улыбкой.

— Жив твой мужественный Ланговой! — патетически воскликнул Вениамин. — Он осаждает штаб крепости... Там заперся *та-ва-рищ* Сурков со своим воинством, но у них, надо думать, скоро кончатся патроны, и твой мужественный Ланговой украсится лаврами и миртами!.. Так-то, красавица моя!..

Вениамин выделал пируэт по комнате, — куда девалась его обычная сдержанность!..

— Чертовски приятно сознавать, что кончилась вся эта белиберда и можно заняться настоящим делом, — сказал старый Гиммер.

— Но ты правду говоришь, Веня, что Дюде не угрожает никакая опасность? — спрашивала Софья Михайловна, выражая глазами и губами, что она сознает свою слабость, но слабость в ее положении извинительна.

— Я же тебе говорю, что он в закрытом помещении командует хорошенькими телефонистками и уже пьян...

— Все-таки уйдемте отсюда, ужасно неприятно, когда стреляют, — поеживаясь, сказала Софья Михайловна. — Да уйдите же, мужчины! Дайте девочкам одеться...

Вся семья завтракала, когда в передней послышались басистые, срывающиеся на визг рулады Дюдиного голоса.

— Штаб крепости пал! — закричал он во все горло, вбегая в столовую в сбившейся на затылок офицерской фуражке с кокардой. — Сурков захвачен в плен, с ним еще двести краснозадых... пардон, Леночка и Адочка!.. Сейчас их поведут, — все на балкон, если не хотите пропустить!..

Все бросили еду и бегом — даже старый Гиммер побежал — выкатились в гостиную. Дюдя распахнул дверь, сорвав замазку, — двери на балкон в этом сезоне еще не открывались.

Лена вышла на балкон вместе со всеми.

XXXII

На всем видном с балкона протяжении главной улицы стояли вдоль тротуаров две извивающиеся шпалеры чешских солдат с ружьями к ноге. Главная улица и вливающаяся в нее прямо перед домом Гиммеров улочка с пристани были щедро залиты солнцем и совершенно пустынны, только на тротуарах и за решетками сада Невельского, с шевелившейся листвой, толкалась чисто одетая публика.

После утренней ожесточенной стрельбы у вокзала поражали мертвая тишина, стоявшая на пристани и в военном порту, и отсутствие движения на подернутой рябью бухте. От стоявшего ближе на рейде японского крейсера, чуть дымившегося одной трубой, отделился катер, переполненный светло-зелеными солдатами; на солнце посверкивали штыки.

Все балконы домов, смежных с домом Гиммера, куда хватал глаз, были забиты мужчинами в пиджаках и галстуках, в панамах, в котелках и без котелков, военными в погонах, дамами и девушками в шляпах и без шляп, в накинутых на плечи шалях. И все новые и новые выходили на балконы; люди стояли битком, не будучи в состоянии повернуться; балконы точно выдавливали их из себя.

Странный, не осознанный в первое мгновение рев донесся со стороны военного порта; все головы повернулись туда. Лена видела, как сначала вырвался вверх белый, сверкающий на солнце опрокинутый конус пара, потом

послышался этот рев. Взвился другой белый сверкающий конус, и второй протяжный гудок слился с первым. Белые стремительные конусы вздымались один за другим на всем протяжении порта до Гнилого угла. Издалека — должно быть, из железнодорожных мастерских на Второй речке — тоже откликнулись низкие басистые гуды. Тонкие, сиплые, свистящие, пронзительные гудки возникали на горах за домом Гиммеров — гудки фанерных, канатных, конфетных фабрик, мельниц, — им отвечали другие в разных концах города, и вот они уже слились все и, не умолкая, мощно и слитно стояли над городом, и все выше вздымались сверкающие на солнце белые, стремительные, опрокинутые конусы пара.

По пристани забегали люди. Первые кучки показались на улочке, вливающейся в главную. Кучки возрастали, как катящиеся комья; вскоре вся улочка была заполнена бегущими людьми. Серые толпы катились по аллеям сада Невельского через клумбы и газоны и растекались по тротуарам главной улицы. Должно быть, с гор, со слободок тоже бежали люди: тротуар под балконом быстро заполнялся серыми, черными, белыми, синими блузами, кепками, ситцевыми платками, совсем вытеснившими чистую публику.

По шпалерам чешских солдат прошло волнение, послышались звуки команды. Шпалеры повернулись лицом к тротуарам, солдаты стали примыкать влево. Теперь они стояли плечом к плечу.

Но люди, все более густо заполнявшие тротуары, не проявляли никакой враждебности. Они были невооружены, виднелось много подростков, девушек, женщин с детьми на руках, не слышно было ни криков, ни возгласов, и хотя накатывались все новые и новые толпы, люди не напирали на солдат: те, что не размещались на тротуарах, заполняли сад Невельского, взбирались на решетки и деревья сада. Многие прибежали, только что бросив работу, — Лена видела мужчин и женщин с засученными рукавами, с руками, вымазанными углем, мазутом, иные обтирали на ходу руки грязными тряпками.

Гудки один за другим смолкли. Люди молча, с серьезными лицами стояли на тротуарах и, приподнимаясь на цыпочках, смотрели в сторону вокзала. Ветер, налетавший с бухты, загибал кепки и платки.

Лена заметила, что никто из Гиммеров никак не отозвался на появление этих толп, только на всех лицах обозначилось некоторое беспокойство.

Беспокойство это усилилось, когда со стороны вокзала послышались отдельные, все более сливающиеся крики. Они росли, катились сюда, и вдруг из-за поворота улицы показалось несколько русских и чешских офицеров, — за ними тянулась черно-серая колонна, окаймленная солдатами.

— А, ведут голубчиков!.. — неуверенно сказал старый Гиммер.

Десятки биноклей с балконов направились на черно-серую колонну.

Когда она вся вышла из-за поворота, видно стало, что за ней медленно ползет легковой автомобиль, — кто-то сидел в нем, — за автомобилем шел взвод юнкеров.

Колонна шла медленно, как на похоронах, движение ее сопровождалось нарастающими криками толпы, но здесь, ближе к балкону, еще не кричали, — толпа навалилась на сдерживающих ее чешских солдат и из-за них, вытягиваясь, смотрела на колонну.

Колонна еще не поравнялась с балконом, когда крики докатились сюда; теперь толпа, как прибой, бушевала под балконом Гиммеров. Лена с окаменевшим лицом оглянулась на стоящих с ней на балконе и увидела на всех лицах, от Адочки до Гиммера, одно выражение — любопытство и *страх.*

Когда голова колонны поравнялась с балконом, рев толпы уже покрывал собою все; в воздух полетели сотни шапок — одни падали, другие взвивались, — женщины срывали платки и махали ими.

Лица людей на тротуарах преобразились. Лена видела глаза, сверкавшие гневом, жалостью, ненавистью, видела растрепанные волосы, заплаканные, в суровых морщинах бородатые лица, бледные лица детей, состоящие из одних сверкающих глаз и раскрытых ртов.

Ветер с бухты разносил рев толпы, задирал полы пиджаков и платья женщин на балконах; мужчины в котелках и без котелков, военные в погонах, дамы с трепещущими кружевными панталонами, забыв все, в упор, в бинокли и без биноклей, смотрели на черно-серую колонну, ползущую мимо дома Гиммеров.

Люди в колонне едва волочили ноги, некоторые хромали, некоторые несли руки на грязных окровавленных перевязях. Лица всех людей были черны от порохового дыма. Иные шли, опустив головы, иные отвечали на приветствия толпы взмахами рук или шапок, иные шли, молча глядя перед собой.

И тут только Лена рассмотрела, кого везут в автомобиле за черно-серой колонной.

Автомобиль двигался медленно, тоже как на похоронах. Управлял им русский офицер. В заднем сиденье, со связанными за спиной руками, в солдатской шинели, без шапки сидел Петр Сурков. Его охраняли с боков — японский офицер со светлыми закрученными усами и Всеволод Ланговой, оба держали в руках револьверы.

Много лет отделяло того подростка, которого Лена видела на примерке у китайца-портного, от военного комиссара Суркова, которого везли сейчас со связанными руками на автомобиле, но Лена сразу узнала его.

Сурков отяжелел, шире раздались его квадратные плечи, но то же мальчишеское твердое и злое выражение было на его усталом, почерневшем от дыма лице, и так же, как тогда, он смотрел прямо перед собой из-под бугристых бровей, никого не видя, плотно сжав полные губы.

Теперь, увидев его, Лена различала в сплошном людском реве голоса:

— Сурков!.. Сурков!.. Сурков!.. Сурков!..

Военный комиссар рабочих был пленен и связан, и двести человек в черно-серой колонне шли, окованные сталью штыков, зачумленные пороховым дымом, едва волоча ноги. Юноши, пожилые, совсем уже старики — они шли, плененные грузчики, металлисты, каменщики, швейники, резчики по дереву. Их руками были сделаны мостовая, по которой они шли, дома с балконами, мимо которых они шли, ружья, крейсера и пушки, направленные на них, одежда, погоны и серьги на людях, смотревших на них в бинокли. Дыхание любви десятков тысяч таких же грузчиков, каменщиков, швейников — людей с золотыми руками, отцов и матерей, жен, детей, — их мощное теплое дыхание окутывало и согревало пленных и устилало им шаг.

Ланговой!..

Если бы на лице его было выражение жестокости, Лена могла бы хоть объяснить это, если не простить. Но

на лице Лангового отражались одновременно и внутреннее смятение перед мощным ревом толпы, и желание соблюсти позу перед людьми, смотревшими на него с балконов. Неестественная улыбка застыла на его холеном лице.

Колонна еще не миновала балкона, когда сквозь шпалеру чешских солдат прошмыгнула маленькая сухонькая старушка в черном с красными цветочками платке, с узелком в руках, и проскользнула в колонну. Колонна замешалась, но старушка уже вошла в ряд и засеменила возле красногвардейца с покатой спиной и большими седыми усами. Старушка припрыгивала боком и одной своей маленькой ручкой быстро-быстро гладила красногвардейца по руке, а другой совала ему узелок, который тот наконец взял. Унтер-офицер из конвоя вмешался в ряды и хотел было схватить старушку, но старушка с необыкновенной энергией начала колотить его сухонькими кулачками, седые волосы ее выбились из-под платка. Рослый парень с окровавленной повязкой на голове, шедший рядом с красногвардейцем с седыми усами, бережно подхватил старушку под локотки, поднял ее и вынес на мостовую, а сам вернулся в ряды.

Колонна и автомобиль с Сурковым уже прошли, а маленькая старушка в сбившемся платке одна стояла на мостовой и смотрела вслед, пока кто-то из юнкеров не прогнал ее прикладом.

Лена, впившись руками в перила, не замечала, что все лицо ее в слезах.

XXXIII

Некоторое время она просидела в спальне, потом надела жакет, шляпу, перчатки и вышла из дому.

Было уже около четырех пополудни. На улицах не осталось и следа от того, что было утром. Ходили трамваи, сновали автомобили и мотоциклы с военными и нарядно одетыми дамами. Оживленная, разряженная толпа, с вкрапленными в нее мундирами русских, японских, американских офицеров, катилась по тротуарам.

Лена прошла в сад Невельского. Садовники поправляли клумбы и газоны, примятые и разрушенные толпой; аллеи полны гуляющей публики, играл духовой оркестр. Впервые за этот сезон открылась «Чашка чая»; залитые

солнцем мраморные столики заняты веселыми дамами и офицерами, слышался разноязыкий говор и смех.

Лена опустилась на скамью на пригорке, перед теннисной площадкой внизу. Две пары — по мужчине и женщине с каждой стороны (судя по говору, мужчины — иностранцы, а дамы — русские) — перебрасывались мячами, смеясь и шаркая белыми туфлями по корту. Скамьи внизу заняты морскими офицерами-американцами.

«Что должна чувствовать сейчас его мать?» — думала Лена, вспоминая, как мальчик Сурков, с громадными, подпиравшими шею меркуриями на воротнике, сидел со своей матерью, одетой в цветастое платье и нитяные чулки, в передней у Гиммеров, уткнув лицо в ладони.

Ревущая, бросающая вверх шапки толпа, бледные лица детей со сверкающими глазами и раскрытыми ртами, медленно идущая черно-серая колонна, ползущий за ней, как на похоронах, автомобиль со связанным Сурковым и двулично улыбающимся Ланговым, старушка в сбившемся платке на мостовой — вновь и вновь вставали перед Леной, и снова спазмы сжимали ей горло.

Может быть, сегодня там, на Сучане, так же вели и ее отца. Лена видела его таким, каким он был последний раз в гостиной Гиммеров, — нескладный, беспокойный, в необыкновенно ярком галстуке. Он поцеловал ее тогда в переносицу и вышел, нахлобучив шляпу. Как давно она не отвечала на его письма!.. Может быть, так же вели и Сережу: ведь среди этих людей, обожженных порохом, едва волочивших ноги, были и подростки Сережиного возраста... И снова она видела автомобиль с Сурковым и улыбающимся Ланговым.

Невозможно было забыть это, невозможно простить тем, кто сделал это!.. Под чувством тоски и отчаяния в Лене все больше вызревали гнев и гордость за отца, за Сережу, за людей, которых вели по улице.

Совсем свечерело; на теннисной площадке сменилось много пар, солнце уже не достигало туда, зажглось электричество. Оркестр играл в саду; сад шуршал и гудел от праздничной толпы; из «Чашки чая» доносились взрывы хохота, выкрики русских и иностранных тостов.

Ежась от сырости, Лена сквозь праздничную толпу пробралась на улицу. Зажигались огни иллюминаций. За спиной Лены в саду Невельского стреляли ракеты, они

шипели и рвались в вышине. Ракеты взвивались и над садом Завойко, и над Жариковской площадкой.

Лена бесцельно бродила по улицам среди разряженной толпы. Все рестораны и кафе открыты, сияют огнями. Трамваи, хрипя и звеня, мчались по улице, воздух рвался от автомобильных гудков, взрывов ракет и меди оркестров.

На ночном столике в длинной вазе стоял букет цветов с одуряющим запахом, возле лежала записка от Ады.

«Куда ты пропала? Приходил Всеволод, жалел, что не застал. Вечером он занят. Я у Солодовниковых. Приходи, будет ужасно весело...»

Лена не спала всю ночь, слышала, как уже совсем поздно вернулась Ада и раздевалась, не зажигая света, распространяя запах острых духов; Лена притворилась спящей.

Она услышала, как горничная в соседней комнате шаркает щеткой и переставляет кресла.

— Маруся!.. Откройте балкон... Где наши?

— Молодые господа не ночевали, барин уехал рано, а барыня с барышней позавтракали и тоже уехали, будто в магазин Чурина, — рассказывала горничная, отдирая замазку.

Снопы света и свежий, пахнущий водорослями ветер ворвались с улицы.

Лена приняла ванну и позавтракала в комнате, не подымая штор на окнах, только балкон был открыт. Сначала она не обращала внимания на то, что на улице тихо, — изредка доносилось только цоканье копыт и шарканье ног, точно проходили воинские части, — но когда долетели издалека звуки пения, исполняемого громадным хором, Лена почувствовала эту тишину и, оставив еду, вышла на балкон.

Ее поразило то, что вновь стояли шпалерами чешские солдаты и скакали конные. Улицы и тротуары пусты, точно выметены. Двери на всех балконах закрыты, — Лена одна стояла на балконе.

Пение приближалось со стороны Гнилого угла, но за поворотом улицы никого не было видно: солдаты смотрели в ту сторону. Снова на пристани и в военном порту стояла мертвая тишина, но бухта, заставленная судами, оживилась: сновали катера, китайские шампуньки.

Пение настолько приблизилось, что можно было различить — сотни голосов поют похоронный марш. Из-за поворота показалось шествие с гробами. Те же люди, что толпились вчера на тротуарах, когда вели арестованных, несли теперь в два ряда гробы — десятки новых, блестящих свежим тесом гробов, украшенных цветами и венками из хвои. Головные уже приближались к балкону, а из-за поворота показывались все новые и новые гробы.

Лене показалось на мгновение, что это тех самых людей, которых проводили вчера вместе с Сурковым, убили и теперь хоронят. Сердце ее затрепетало. Но она сообразила, что трупы этих людей не могли бы попасть в руки рабочих; наверное, хоронили убитых в ночь переворота.

Передние гробы поравнялись с балконом; теперь Лена видела, что их несут не в два ряда, а в одном ряду несут открытые гробы, а в другом крышки. Людей, положенных в гробы, не успели обмыть и переодеть, они лежали в тех же одеждах слесарей, матросов, грузчиков, в каких застала их смерть. У многих лица и сложенные на груди руки в засохшей, запекшейся крови.

Гробы текли мимо балкона, а вслед за гробами — с мрачным торжественным пением — шли густые колонны рабочих без шапок, с колыхающимися знаменами.

Лена, вспомнив, что на столике у нее стоит букет цветов, быстро вбежала в комнату, вынула букет из вазы и, вернувшись на балкон, бросила букет на улицу. Букет, несколько раз перевернувшись, упал к ногам людей, несших гробы.

Человек в рубахе и штанах из грубого мешка, одной рукой поддерживая гроб, другой быстро хотел поднять букет, но, вдруг покосившись наверх и увидев, что букет бросили с балкона дома Гиммеров, изо всех сил отшвырнул его пыльным сапогом; букет отлетел к ногам стоящих шпалерой солдат. Гроб качнулся и чуть не упал, но другие поддержали его; человек в рубахе из мешка снова подставил плечо и зашагал, стараясь попасть в ногу.

«Так тебе и надо...» — с каменным лицом повторяла про себя Лена, впившись руками в перила, полная презрения и ненависти к самой себе.

Она знала, что то выражение злобы, которое было в лице и в жесте грузчика, отбросившего букет, относилось не к букету Лангового, о чем грузчик не знал, а к ней, Лене, нарядно одетой барышне, бросившей букет с бал-

кона дома Гиммеров на гроб человека, убитого сыновьями Гиммера. И, зная это, Лена хотела вынести унижение до конца и стояла на балконе все время, пока текли мимо гробы, потом колонны рабочих со знаменами.

Рабочие шли по своим союзам, и по одежде и надписям на знаменах можно было видеть, кто идет: булочники, чистильщики сапог, железнодорожники, швейники, мукомолы, деревообделочники, работники торгового флота — мужчины, женщины, подростки. Их было не меньше, чем вчера на тротуарах и в саду, но в колоннах, поющие, они производили еще более мощное впечатление. Отдельные мужчины и женщины, с траурными повязками на рукавах, шли по бокам и направляли движение колонн.

В одной из девушек с траурной повязкой, Лене показалось, она узнала Хлопушкину, но в этом было что-то невероятное, и Лена подумала, что ошиблась.

Гробы уже скрылись за поворотом в противоположном конце улицы, а поющие колонны, колыхая знаменами, все текли и текли мимо балкона.

Когда прошла последняя, некоторое время улица оставалась пустынной; потом показались пешеходы, медленно двигавшийся трамвай, набитый людьми, висевшими на подножках, коляски, извозчичьи пролетки. Солдаты строились по четыре и уходили вслед за рабочими колоннами.

Двое всадников подскакали к подъезду дома Гиммеров — Ланговой и казак в серой папахе, с желтыми лампасами. Ланговой соскочил с лошади; казак подхватил поводья. Ланговой исчез в подъезде.

«Сейчас он придет сюда...» Лена не тронулась. Но когда шаги Лангового зазвучали в комнате, Лена быстро повернулась и пошла навстречу — и остановилась, переступив порог.

Перед нею, в снопах света с балкона, сияя новыми погонами и мужественно улыбаясь, стоял Всеволод Ланговой.

— Смотрели этот маскарад? — сказал он. — Боже, я насилу вырвался к вам!.. Вы знаете, я назначен комендантом крепости...

— Вы... вас назначили... — начала было Лена.

И вдруг бешеная кровь старика Костенецкого заклокотала в ней, и изо всех сил, что были в ее слабом теле, она ударила Всеволода Лангового по лицу.

XXXIV

Рабочая демонстрация, пройдя с гробами по главным улицам города, подошла к зданию тюрьмы и потребовала разрешения арестованным комиссарам участвовать в похоронах.

Несколько часов под палящим солнцем десятки тысяч людей молча стояли в колоннах, оцепленных чешскими войсками, перед стенами тюрьмы, и ветер колыхал красные знамена над трупами.

Войска не решились пустить в ход оружие. Четырнадцать комиссаров под «честное слово» были выпущены из тюрьмы.

До самого кладбища их несли на руках под сенью знамен. Комиссары произносили речи и пели похоронный марш, когда гробы опускали в братскую могилу. Поздним вечером комиссары вернулись в тюрьму.

В течение трех дней город был скован всеобщей забастовкой. Перестали работать трамваи, электричество. Ни одна газета не выходила.

Тихо стало в доме Гиммеров. Вениамин и Дюдя уехали на уссурийский фронт. Фронт быстро продвигался на север. С юга красных теснили японские и добровольческие части, от маньчжурской границы, со стороны Гродекова, наступали войска есаула Калмыкова; со дня на день ожидалось падение города Никольск-Уссурийска.

Ланговой не показывался. Софья Михайловна почти не разговаривала с Леной. Разрыв с Ланговым противоречил семейным планам. Лена ловила на себе вопросительные взгляды Адочки. Один старый Гиммер не изменил своего любовно-насмешливого отношения к Лене.

Припадки тоски и уныния сменялись в Лене приступами бессильной злобы. Иногда Лене попадались на улицах приказы, подписанные Ланговым; она ловила себя на том, что думает о нем, и презирала себя. В последние дни она испытывала необыкновенную физическую слабость, — трудно было сомневаться в причинах этого.

И все же, как ни ужасным казалось Лене все, что произошло и должно было произойти, она впервые в жизни ощущала в себе силу сопротивления. С жадным интересом прислушивалась она к разговорам вокруг себя, сле-

дила за газетами, сопоставляя написанное и услышанное с тем, что видела и чувствовала.

В городе начала выходить газета центрального бюро профессиональных союзов. Лена доставала ее через прислугу. Из-за цензурных вымарок газета выходила вся в белых квадратах, иногда с чистыми полосами. Другие газеты в городе травили ее как тайный орган большевиков; газету закрывали, но она появлялась под новыми и новыми названиями.

Лена знала уже, что под ударами белочешских войск советы пали по всей Сибири; кое-где еще сохранились маленькие советские островки, но они быстро таяли. Власть в городе перешла к старой думе. Дума подчинялась «приморскому правительству» какого-то Тибера и какого-то Дербера. Фамилии эти так примелькались Лене, что иногда, часами глядя в окно на заставленную военными судами бухту, сдерживая приступы тошноты, она бессмысленно повторяла про себя: «Тибер — Дербер, Тибер — Дербер...»

Большинство в думе и в правительстве было у партий правых эсеров и меньшевиков; торгово-промышленные круги, к которым принадлежал Гиммер, находились в думе в меньшинстве. Лена замечала, что газеты, поддерживающие правительство и думу, в каждом номере превозносят благородных чехов, а газета Гиммера и Солодовникова «Дальний Восток» прославляет заслуги доблестного есаула Калмыкова и какого-то Хорвата и заигрывает с японцами.

В думе сохранилась еще кучка людей, обвинявшаяся в сочувствии большевикам и раздражавшая и правительство и Гиммера. Газета «Дальний Восток», в точности отражавшая все, что говорилось в доме Гиммеров, обвиняла правительство в попустительстве большевикам и требовала твердой власти.

— Почему их не арестуют? — спросила однажды Лена.

— Кого?

Старый Гиммер остановился посреди комнаты и удивленно посмотрел на Лену.

— А большевиков в думе, — спокойно сказала Лена.

В течение нескольких секунд Гиммер давился рыбьей костью, раскачиваясь и багровея лицом и лысиной.

— Вот и я спрашиваю — почему? — закричал он, весело отфыркиваясь, изучая Лену смеющимися карими

глазками. — А потому, видите ли, что предстоят выборы в новую думу и играют, видите ли, в демократизм, в депутатскую неприкосновенность, чтобы рабочих задобрить... Пошлый маскарад не ко времени, — вот почему не арестуют!.. Да ты уж не собираешься ли политикой заняться? Этого еще недоставало!

— Значит, рабочих победили, а боятся? — протяжно спросила Лена.

— Сами себя боятся... Ты скажи лучше, что у вас со Всеволодом произошло? Что-то он не заходит к нам. Я, конечно, не сватаю...

Гиммер лукаво сощурился.

— А выборы в думу это как, — это можно всем видеть?

— Не хочешь ли выдвинуть свою кандидатуру?

— Нет, я хочу знать, как это делается.

— А делается это очень скучно... Скучные партии выдвигают длинные скучные списки, город разбивают на участки, скучные молодые люди и девицы сидят возле ящиков за сургучными печатями, а скучающее население бросает в ящики записки, иногда не совсем приличного содержания... Очень неинтересное зрелище для красивой девушки из зажиточной семьи!.. Другое дело, когда перед тобой мужественный офицер, поэт, комендант крепости...

— А я не могла бы занять место скучающей девицы за ящиком?

Гиммер снова некоторое время с удивлением смотрел на Лену.

— Да ты что? Разве это тебе игрушки, в самом деле?

— Нет, я знаю, что это ваши игрушки, но я хотела бы знать, как вы играете в свои игрушки, — с усмешкой сказала Лена.

Брови старого Гиммера вылезли на лоб.

— Ты серьезно, что ли?

— Вполне серьезно...

— И что только делается в этом доме! — сказал старый Гиммер, растерянно потирая лысину. И вдруг заболтал руками и закричал: — Ничего не знаю, у тетки проси, у тетки проси!..

И, отмахиваясь обеими руками и фыркая, он быстро прошел в свой кабинет.

XXXV

Центральное бюро профессиональных союзов выдвинуло к выборам свой список. Первыми в списке шли сорок семь арестованных комиссаров. В числе их — на третьем месте — шел Сурков.

Избирательная комиссия, в которую не входил старый Гиммер, — он сам баллотировался в думу, — после двухдневных дебатов признала список законным.

— Они с ума сходят! — неистовствовал старый Гиммер. — Что они, хотят превратить думу в совет собачьих депутатов?..

Типографские рабочие размножили список и воззвание центрального бюро в таком количестве, что списком и воззванием был заклеен и засыпан весь город, от Гнилого угла до Второй речки. В одну ночь, должно быть из озорства, списком был оклеен фасад здания городской думы, и целая толпа смотрела, как усатые милиционеры отдирали список скребницами, похожими на те, какими чистят лошадей.

Накануне самого дня выборов Лена была в думе, — инструктировали уполномоченных. В длинном полутемном коридоре, где, ожидая, когда освободится член избирательной комиссии, уныло слонялись незнакомые друг другу и не изъявлявшие желания знакомиться уполномоченные, Лена неожиданно столкнулась с Хлопушкиной и узнала в ней девушку с траурной повязкой, руководившую колонной в день похорон.

— Ты как сюда попала?.. Я так рада!..

Лена рванулась к ней и, почему-то смутившись, не подала руки.

— Как все...— уклончиво ответила Хлопушкина, тоже не подавая руки.

За те два с лишним года, которые Лена не видела ее, Хлопушкина словно бы распрямилась вся и похорошела лицом, а в глазах ее с прежними белыми негустыми ресничками появилось новое, твердое, суховатое выражение.

Они помолчали...

— Я видела тебя, когда хоронили...

Лена запнулась, не зная, как назвать тех, кого хоронили.

— Вот что!.. — настороженно протянула Хлопушкина.

— Как ты жила это время? — тихо спросила Лена.

— Так, работала...

Хлопушкина отвела глаза в сторону.

Они снова помолчали. Хлопушкина, видимо, не интересовалась тем, как жила Лена и как попала сюда.

— Я очень рада, — серьезно сказала Лена. — Когда будут распределять по участкам, я хотела бы попасть с тобой, а то я, боюсь, все напутаю... — Лена виновато улыбнулась.

— Все равно...

Из кабинета вышел маленький, кривенький старичок в сбившемся галстучке и пригласил уполномоченных в комнату заседаний.

Отправляясь в думу, Лена наметила себе после инструктажа ехать отыскивать какого-нибудь незнакомого доктора, чтобы проверить то, что было уже ясно для нее. Мысль эта, от которой ей становилось страшно и от которой ее отвлекла было встреча с Хлопушкиной, снова стала преследовать Лену.

В раскрытое окно врывался шум с улицы.

Маленький кривенький старичок однообразно покачивался за кафедрой в полосе бившего в окно пыльного солнечного света, прижмуриваясь и закрываясь папкой с инструкциями.

— ...Но впускайте по очереди и ни в коем случае не больше одного избирателя... — выпевал он тоненьким голоском.

«Боже, как стыдно!.. — думала Лена. — Как я смогу объяснить все?..»

— ...Выслушав имя, отчество, фамилию и адрес избирателя и справившись со списком, вы даете возможность избирателю...

«Могу ли я выдать себя за замужнюю?.. А что, если все рассказать Хлопушкиной, спросить совета?.. Нет, это невозможно, невозможно, невозможно...» — повторяла Лена, чувствуя, как у нее стучит в висках.

— ...Если же окажется, что в списке нет данного гражданина, вы, предупредив его, что он не выполнил своего гражданского долга, то есть не справился с заблаговременно вывешенными списками избирателей, не допускаете его к баллотировке и регистрируете его по форме С... — выпевал кривенький старичок.

Лена, не слышавшая ничего из того, что говорил кривенький старичок, очнулась только, когда задвигали стульями: началось распределение по участкам.

— Так вместе? Пожалуйста...

Лена умоляюще посмотрела на Хлопушкину.

— Все равно...

Им достался район Второй речки.

— Это где-то далеко... Там, кажется, временные мастерские? — робко спросила Лена.

— Да... И мукомольные предприятия Гиммера, — сказала Хлопушкина, моргнув своими белыми ресничками, чтобы скрыть усмешку.

Купив в киоске газету, Лена с полквартала шла пешком, просматривая фамилии и адреса врачей: «Вейнберг С. И. — это глазник... Овсянников Г. Г. — венерические и мочеполовые... В. А. Сумшик — женские, Алеутская, 56... Иванов-Молоствов — женские, Косой п., 13...»

На углу, оглядевшись по сторонам, она взяла извозчика.

— Подымите верх, пожалуйста...

— А куда ехать?

— Куда?..

Некоторое время Лена серьезно смотрела в тронутый ячменем голубой глаз извозчика.

— Ну, куда же... Ну, хотя бы на Алеутскую, — упавшим голосом сказала она.

XXXVI

Утренний воскресный поезд, набитый дачниками, молочницами и зеленщиками, вез Лену мимо грязных строений, шлагбаумов, виадуков, нефтеналивных баков. Голубые пятна залива мелькали в простенках домов; плыли белые, чистые облака.

Затиснутая между господином в панаме, с тортом на коленях, и молочницей с пустыми бидонами, Лена чувствовала на себе любопытные, ощупывающие взгляды, и ей казалось, что все, все уже знают об ее унижении.

Она старалась думать о предстоящих выборах, но снова и снова возникало перед ней склоненное, налившееся кровью лицо доктора, и это унизительное кресло, и то, как она, путаясь в кружевах, торопливо надевала

панталоны. А завтра ей предстоит еще более унизительное и страшное, и ничем, ничем нельзя уже предотвратить этого.

«Как это, должно быть, больно...» — думала она. Ее мучили трудности, сопряженные с тем, как скрыть это от домашних. Сможет ли она сама добраться домой? Что, если она будет чувствовать себя настолько слабой, что не сможет встать с постели? Вызовут домашнего врача, и все обнаружится...

— Вторая речка!..

Лена вздрогнула и заторопилась к выходу.

Она стояла на перроне, растерянно держа в руках записку с адресом избирательного участка. Из заднего вагона поезда один за другим прыгали милиционеры при кобурах и шашках. Поезд тронулся; милиционеры построились и пошли по мостовой вдоль полотна по направлению к серым корпусам временных мастерских.

Лена машинально пошла за ними.

В мастерских было тихо, безлюдно, пахло железным ломом и шлаком; шаги милиционеров гулко отдавались от корпусных стен. Лена с безотчетным страхом и уважением смотрела на огромные безмолвные корпуса с задымленными окнами, на черные трубы, вздымавшиеся в высоту. В таком же вот корпусе в военном порту сгорел отец Суркова... Лене стало жутко.

Пройдя меж двух бесконечных корпусов, милиционеры свернули в улицу, ведущую в слободу.

Лену поразила та же, что и в мастерских, тишина и безлюдье в поселке. Не видно ни играющих ребят, ни женщин на скамейках возле серых домиков с закрытыми ставнями. Только на углах улиц возле корзин с семечками и бобовыми орехами сидели одинокие китайцы, провожавшие милиционеров любопытствующими взглядами. На каждом перекрестке милиционеры ставили посты. Лена начинала смутно догадываться, что и тишина в поселке, и появление милиционеров связаны с выборами. Из дальнего переулка выскакали два конных милиционера, огляделись по сторонам и во весь опор помчались навстречу колонне. Перегибаясь с лошадей и козыряя, они переговорили со старшим колонны и ускакали обратно. Колонна раздвоилась, половина свернула направо; Лена пошла за той половиной, которая двигалась в прежнем направлении.

На углу переулка, куда ускакали конные и куда свернула теперь остальная колонна, Лену задержал постовой:

— Вы куда идете?

— Разве здесь нельзя ходить?

— Куда идете, я спрашиваю? — грубо повторил постовой; он был весь в поту.

— Я иду выбирать в думу, — окаменев лицом, без запинки сказала Лена. — Вам известно, что сегодня выбирают в думу?

— Так разве нельзя стороной пройти?

— Стороной чего?..

Некоторое время милиционер с удивлением смотрел на нее, потом набрал воздуха, собираясь закричать, но не закричал и с шумом выдохнул воздух.

— Слушайте, гражданка, — сказал он усталым голосом, отирая рукавом пот, — вам нужно в ремесленное училище... Пройдите вон той улицей.

Стали попадаться отдельные кучки рабочих с женами и детьми, группировавшиеся возле скамей и по обочинам тротуаров. Лена, ловя на себе испытующие взгляды и думая, что, может быть, она недостаточно просто одета, шла не оглядываясь. Она прислушивалась — не говорят ли что о выборах. Но в одном месте говорили о голубях, в другом — о футбольном состязании, в третьем смотрели, как два дюжих парня тянутся на поясах.

— Вы только духу не пущайте! — посмеивался какой-то ядовитый старичок.

Ребятишки играли в паровоз посреди улицы.

— А ты как следоват пыхти! Паровоз эдак-то не пыхтит, — надрывался семилеток с ежастыми бровями.

— ...Как же, милая, пробовала и с горчицей — не отстирывается, — сетовал грудной женский голос.

Лена вошла в улицу, где кучки рабочих уже подряд сидели и стояли вдоль тротуаров.

Улица упиралась в площадь, сплошь забитую народом. Над людской чернотой выступали белые головы лошадей и зеленые рубахи и фуражки милиционеров.

Лена подошла к самой площади и, оробев, остановилась на углу. Перед Леной и вокруг нее колыхалась и гудела толпа — не менее двух тысяч. Стоял впервые ощущаемый Леной неистребимый запах опоки и металла. Босоногие мальчишки сновали в толпе, ныряя под ногами, хватаясь за юбки и пиджаки.

— Пятнашка, пятнашка!
— Кто пятнашка?
— Беги, беги-и!..

От площади отходило еще две улицы; одну нельзя было рассмотреть оттого, что у ее устья, отгороженного зелеными милицейскими околышами, особенно сгустилась толпа, — должно быть, там помещался избирательный участок, — другая же, полого подымавшаяся в гору, была вся видна — на ней чернели кучки рабочих.

Из-за горы выступали на фоне дальних синих отрогов облитые солнцем красные трубы мельниц. Веселые белые облака плыли над синими отрогами.

Лена, не разбирая лиц, смотрела на кишевшую перед ней толпу. «Неужели это те самые люди?..» — думала она, вспоминая медленно ползущую черно-серую колонну и толпу, ревущую под балконом Гиммеров.

— Успеют ли пропустить-то всех? Еще мукомолы не пришли.

— Да, раньше вечера не отделаемся...

— Ты что толкаешься? Вот стянем за ноги с лошади!..

— Как, Андреич, жинку-то уговорил?

— И жинку уговорил, и старшая дочка пришла, и младшая пришла бы, да годами не вышла...

— ...А потому не управляется, что ростом он мал, тиски ему по грудь: как напильником работать, руки устают...

— ...Спрашиваю сегодня у лавочника, что на углу Никольской: «Ну как? Пойдешь?..» — «А ну вас, говорит, с вашими выборами!..» А я ему говорю: «Это, говорю, ваши выборы, а не наши...»

— Он бы, брат, пошел, да боится, что морду набьем. И главное, не ошибся...

— Хорошо бы Скутарева или Гиммера сюда — побеседовали бы!..

— Им сюда ни к чему, у них участок свой... Подъедут это в колясочке, бросят квиточки за самих себя — и дело с концом...

— Им пешком нельзя: брюхо поотрóстили...

Присматриваясь к толпе, Лена замечала, как в том или ином месте вспыхивали летучие митинги, — доносился голос оратора, — но когда милиционер направлял туда свою лошадь, митинг быстро рассеивался, и нельзя было определить, кто говорил. Лена вспомнила пункт ин-

струкции, запрещающий предвыборную агитацию перед избирательным участком.

— Идут, идут!.. Мукомолы идут!.. — загудели в толпе.

Из-за гребня улицы на горе показалась голова колонны, ветер раздувал юбки и фартуки. Головы людей на площади повернулись в ту сторону. Колонна — человек в двести — перевалила через гребень и быстро спускалась к площади.

— Что-то маловато их...

— Разве их вытащишь, хлебоссев! У них каждый за себя, а один за всех...

— Кто там заправляет ими?

— Об этом, брат, вслух не говорят по нонешним временам...

Лена краем площади пробралась к улице, где маячили милицейские околыши.

— В очередь, в очередь, барышня!..

Лена предъявила удостоверение.

XXXVII

— Я, кажется, опоздала?

— Ничего...

Хлопушкина в серой вязаной кофточке, с гладко зачесанными светлыми негустыми волосами сидела за столиком перед урной. Лена прошла за невысокий, пахнущий смолою барьер и сняла жакетку. Окна выходили во двор; они были открыты; виднелся похожий на виселицу снаряд для гимнастических упражнений; с площади доносился гул толпы.

Баллотировка уже началась. Сутулый бритый старик в кепке и потертом пиджаке, из растопыренных карманов которого торчали клещи и еще какие-то инструменты, опустил записку и вышел, волоча ноги. На его месте стоял худощавый рабочий с кривой шеей, — одно плечо у него было выше другого.

— Отчество? — спрашивала Хлопушкина.

Лицо его мучительно искривилось.

— Анем...п...подистович, — сказал он, сильно заикаясь.

Лена вдруг вспомнила, что так же заикался безногий отец Хлопушкиной, и испуганно посмотрела на нее, но

аккуратное и миловидное лицо Хлопушкиной было сухо и строго.

— Пройдите к тому столу, там напишете...

— Давай, я буду проверять по спискам и отмечать, а ты опрашивать, — сказала Лена.

— Все равно...

Рабочего с кривой шеей сменила молодая работница, работницу — русый паренек в футбольных бутсах. Лена пытливо присматривалась к каждому голосующему, стараясь по лицам определить, за кого они могут голосовать. Но лица одних были сурово замкнуты, у других — несколько сконфуженные.

— Наболдин Иван Яковлев... Выемочная, восемнадцать...

Перед Хлопушкиной стоял широкоплечий, с лицом, заросшим угольными волосами, пожилой рабочий, выложив на перила громадные черные руки, зажав под мышкой фуражку.

Лена провела пальцем по списку.

— Странно... Все совпадает, а в адресе путаница... двадцать восемь, а не восемнадцать?

— Как же двадцать восемь, барышня, когда восемнадцать, — глухо, как из бочки, возразил рабочий.

— Почему же вы заблаговременно не справились со списком избирателей? — укоризненно сказала Хлопушкина.

— А когда же нам время на списки глядеть? Я в денной смене работаю, нам в списки ваши глядеть некогда... Да мы тут одни Наболдины на всю слободу, спросите, кого хотите. Кузнец Наболдин... Иван Яковлевич, — мрачно бубнил он.

— Хорошо, получите бланк... — По лицу Хлопушкиной чуть пробежала улыбка. — Проставлять только номер, вы знаете?

— Да уж не спутаю, будьте спокойны, барышня...

— Я не барышня, — покраснев, сказала Хлопушкина.

— Ну, гражданка...

Кузнец отошел к столу, внимательно осмотрел перо, почистил его о свои угольные волосы, снова осмотрел, потом, покосившись на Хлопушкину и Лену, отгородился от них могучей спиной и проставил цифру.

— Ну, дай бог на счастье... — Кузнец громадными черными пальцами старательно запихнул сложенную вче-

тверо записку в ящик и одним глазом заглянул в щелку. — Не видать, — сказал он с широкой улыбкой, надевая фуражку. — До свиданьица!..

— Интересно, какой он номер проставил, правда? — шепнула Лена.

— Да...

В двери показалась маленькая толстенькая старушка в стоптанных башмаках, в черном платке и ватной черной телогрейке.

— Здесь, что ли, выбирают-то? — спросила она с виноватой улыбкой, оглядываясь по сторонам.

— Здесь, здесь, бабушка, сюда подойдите... Вас как зовут?

— Наболдина Евдоксия.

— А по отчеству?

— А по отчеству — Сергевна.

— Это сын ваш был, что ли?

— Сын, сын... — обрадовалась старушка.

— Как же вы такого большого родили? — не выдержала Хлопушкина.

— Уж правда-что... уж больше его в слободе нет, — конфузливо засмеялась старушка, прикрывая рот уголком черного платка.

— У вас там адрес перепутан...

— Вот, вот, и он нам говорит... И до чего ж удивительно, когда мы тут, Наболдины, уж сорок лет живем в этой слободе, у кого ни спроси, все укажут. Просто удивительно... Тут ведь все пришлые, а мой-то покойник еще до мастерских в кузне тут работал, — словоохотливо поясняла старушка.

— Лена, ты отметила?.. Получите бланк. Вы грамотная?

— Какая там грамота! Уж я и отнекивалась, так он меня цельную неделю учил, как эти самые «четыре» проставить. «Ты, говорит, смотри, не спутай...» Просто смех!

— Этого вы не имеете права оглашать, голосование тайное, — сказала Хлопушкина, закусив губу, чтобы не рассмеяться. — Пройдите к тому столу и напишите...

Старушка долго копошилась у стола.

— Куды ее теперь? — спросила она, протягивая Хлопушкиной несложенную записку и перо.

— Ручку положите обратно, а записку сложите, и вот сюда в щелочку...

— А чернила-то не размажутся? — беспокойно спросила старушка.

— А вы промокните...

— Вот она и выдала всех!.. — засмеялась Лена, когда старушка вышла. (Под номером 4 шел список профессиональных союзов.) — Всю семью выдала! Ты знаешь, ведь их там еще семь Наболдиных!..

Хлопушкина, сдерживая улыбку, отвернулась.

Они пропустили жену Наболдина, потом пошло все младшее поколение Наболдиных.

Красивый чернявый паренек в начищенных до блеска сапогах, в заломленной фуражке с красной гвоздикой размашисто подошел к урне.

— Наболдин Иван Иванович, — развязно сказал он, косясь на Лену играющими черными глазами. — Выемочная, восемнадать, только адрес наш у вас напутан... Пожалуйте бланок...

— Наболдин Федор Иванович... За адрес уже все известно... Бросать сюда, что ли?..

И второй Наболдин-сын, такой же чернявый, только постарше, так же покосившись на Лену, выполнил свой «гражданский долг».

— Тут моя жинка сейчас придет, — сказал он со смущенной улыбкой, задержавшись у дверей, — вы уж ей разъясните, что и как, а то она у меня беда какая пужливая...

Но, видно, с жинками Наболдиных произошла путаница, потому что в комнату, как ветер, внеслась ярко-рыжая костлявая работница с зелеными злыми глазами.

— Здесь, что ли, бланок получить?.. Мильтонов понаставили, насилу пробьешься к вам!.. Наболдина Катерина... Вы только поскорей, пожалуйста, а то у меня опара уйдет, — заговорила она резким, крикливым голосом. — Тоже — выборы называются: муки, сахару не достанешь, а выборы устраивают!.. Мильтонов понаставили...

Сердито запихнув записку в ящик, она вышла так же стремительно, как и вошла, распустив по комнате вихрь своих, по крайней мере, четырех юбок.

— Наболдин Н. И., слесарь... или это неважно? Покорно благодарим-с, — сказал третий Наболдин-сын, принимая бланк. — Обязательно чернилами или можно собственным химическим карандашом?..

— Наболдина Фекла... Да, Андревна...

Толстушка тяжело дышала, обливалась пóтом, комкала в руках носовичок.

— Вы уж поясните, а то я просто так волнуюсь, ну, так просто волнуюсь!..

Семью Наболдиных завершила худенькая черноглазая девушка с большими руками, в сбившемся на затылок платочке.

— Наболдина Аня... то есть Анна Иванна, — поправилась она тоненьким голоском, заливаясь краской.

После семьи Наболдиных приходили и еще семьи, но таких больших уже не было. Как видно, те, что прошли первыми, осведомляли последующих о порядке выборов: баллотировка пошла живее. Лена втянулась в работу и перестала следить за лицами.

Однажды внимание ее отвлек пьяный. Ему долго приходилось изображать трезвого, чтобы попасть сюда; по инерции он, твердо ступая и сохраняя достоинство, прошагал к урне. В высоких, с раструбами сапогах, в просаленной и продымленной войлочной шляпе, смахивавшей на каску, со своими пышными прямыми рыжими усами и могучей эспаньолкой он походил на солдата из «Лагеря Валленштейна». Увидев двух девушек, он изумленно огляделся по сторонам и, не обнаружив милиционеров, очень рассердился.

— Так, — сказал он, багровея, — так!.. — И ударил кулаком по перилам. — Они думают, мы свово слова не скажем?.. Не-ет, господа хорошие, не-ет... — Он погрозил пальцем. — Мы с вас еще спу-устим шкурку... Мы! — выкрикнул он и ударил себя кулаком в грудь. — Литейщики!..

— Он совершенно пьян, — шепнула Лена. — Стоит ли его?..

— Уверена, что он не ошибется в списке, — сухо сказала Хлопушкина. — Гражданин, если вы не хотите подвести своих товарищей, — голос Хлопушкиной слегка дрогнул, — перестаньте кричать и назовите свою фамилию и адрес... Вы поняли меня?

— Понял я вас, вполне я вас понял... Товарищей, правильно... — он одобрительно покачал головой, — это оччень правильно. Мы их с тюрьмы ослобоним...

Он назвал себя и, получив бланк, некоторое время рассматривал его.

— Извиняюсь... Здесь? — смущенно сказал он, тыча в середину бланка.

— Совершенно верно.

Проставив цифру и затолкнув листок в ящик, он снял свою каску, молча поклонился Хлопушкиной до земли и, нахлобучив каску, вышел, твердо стуча сапогами.

«Не очень-то она соблюдает инструкцию», — подумала Лена.

Иногда Лена замечала, что среди голосующих попадаются и лично знающие Хлопушкину. Они весело или почтительно здоровались с ней, а опуская записку, улыбались или подмигивали Хлопушкиной: «Смотри, дескать, как идет дело!» Молодой рабочий в гимнастерке, со шрамом через всю щеку, попытался заговорить с ней, но она сделала строгое лицо и предупреждающе подняла руку.

— Очень нужно, Соня, — сказал он, покосившись на Лену.

Хлопушкина, тоже покосившись на Лену, отошла с ним в сторонку, и они пошептались.

— ...Проходы все удалось заложить, хотя милиция и разгоняет... — доносилось до Лены. — ...Хуже всего у вас, на Голубинке...

— Да ведь там сплошной обыватель, — отвечала Хлопушкина. — Как на железной дороге?

— Замечательно... Там Чуркин твой все дело организовал...

Хлопушкина покраснела.

— А ты не красней, он парень хороший...

— Так до завтра...

— До завтра...

«Какие проходы?..» Лена чувствовала, что вокруг нее совершается много такого, чего она не знает и не понимает. Зачем, например, все рабочие с утра собрались вокруг избирательного участка, когда они могли бы спокойно дожидаться своей очереди дома? Она вдруг вспомнила услышанный ею на площади разговор рабочих о лавочнике.

Уже давно прошел час обеда, избирательные списки были уже наполовину испещрены крестами и замусолены пальцами Лены, а с площади все еще доносился гул толпы, избиратели все проходили и проходили перед урной.

— Соня, ты замечаешь, что в числе избирателей не было еще ни одного лавочника или конторщика, все рабочие и рабочие? — спросила Лена.

Хлопушкина быстро повернула к ней лицо и несколько мгновений пытливо смотрела на нее.

— Нет, я не замечала, — сказала она, моргнув своими белыми ресничками, и отвернулась. — Да и не наше это дело, — добавила она сухо.

«Уж ты-то, наверно, знаешь об этом больше других...» Лена с оскорбленным чувством отметила, что Хлопушкина не доверяет ей.

«Что она пережила и что познала, что так изменило ее и придало ей эту твердость? — думала Лена. — Да, была беззащитна и унижена, и вот — нашла себя, хотя все в мире противостояло ей, а я...» Лена вспомнила все, что предстояло ей, и от ощущения собственного несчастья ею овладело чувство зависти к Хлопушкиной.

XXXVIII

Около пяти часов участок посетили два члена избирательной комиссии. Они приехали на автомобиле и долго гудели рожком, пока пробирались сквозь толпу.

— Черт знает, что тут делается у вас! Митинговщина какая-то! — кричал один из них, в то время как другой проверял пломбы, печати и списки. — Вы даете повод для кассации! Вы знаете это?

— Вам должно быть известно, что милицейские обязанности не входят в круг наших обязанностей, — отвечала Хлопушкина, дрожащей рукой приглаживая свои светлые волосы. — И вообще я не считаю возможным разговаривать с вами в таком тоне...

— В каком тоне? Боже мой, при чем тут тон, какой может быть тон!..

На лбу члена избирательной комиссии собрались мучительные складки; он снял котелок и носовым платком стал обтирать потную лысину.

— Вас кто рекомендовал?

Хлопушкина смешалась.

— Меня рекомендовал *Гиммер*, — неожиданно сказала она.

— Вот как!

Член избирательной комиссии перестал обтирать лысину.

— А это кто с вами? — осторожно спросил он, платком указывая на Лену.

— Это Елена *Гиммер*, — отчетливо сказала Хлопушкина, опуская свои белые реснички.

— Вот как! Дочка Семена Яковлевича?..

Член избирательной комиссии переглянулся с другим членом избирательной комиссии, и на лицах обоих членов избирательной комиссии изобразилась улыбка, полная уважительного умиления.

— Очень рад познакомиться с дочерью уважаемого Семена Яковлевича, — весь расплываясь в улыбке, сказал первый член избирательной комиссии и перенес свой пыльный котелок на изгиб локтя. — Тем более приятно видеть ее при исполнении гражданских обязанностей... Весьма лестно... Хе-хе...

Лена молча, не кланяясь, смотрела на него.

— Хе-хе... Ну, чудесно... Вы кончили, Сергей Сергеич?

— Все в образцовом порядке, Сергей Петрович!

— В этом можно было не сомневаться... Чудесно, чудесно. Еще раз свидетельствую... Очень, очень рад...

И оба члена избирательной комиссии, улыбаясь, кланяясь и пятясь задом, покинули участок.

Лена не смотрела на Хлопушкину, ожидая, пока она сама объяснит все, но Хлопушкина с тем же суховатым, строгим выражением продолжала опрашивать избирателей и, видно, не собиралась ничего объяснять Лене.

От долгого сидения у Лены затекли ноги, болела поясница, руки стали совсем грязными; она чувствовала, что у нее растрепались волосы, но стеснялась посмотреться в зеркальце. А избиратели-рабочие все шли и шли, и в окно, в которое уже потянуло вечерней свежестью, попрежнему доносился глухой, неутихающий гул толпы.

«Да, ей нет никакого дела до меня, я не нужна ей», — думала Лена.

Все люди, которые проходили перед урной, были точно соединены непонятной Лене суровой, теплой связью, и Хлопушкина была тоже включена в эту связь, и только Лена не могла проникнуть в эту связь и не видела никаких путей, чтобы хоть когда-нибудь проникнуть в нее.

— А, Игнатьевна!.. — Лицо Хлопушкиной озарилось детской улыбкой. — Я уж думала, ты заболела.

— Насилу очереди дождалась...

Ширококостая толстая женщина лет сорока пяти, ступая, как тумбами, опухшими расставленными ногами, подошла к урне. В отечном, чуть тронутом морщинами лице женщины и во всей ее грузной фигуре было что-то неуловимо знакомое Лене.

— Я тебе покушать принесла, — сказала она низким, хриплым голосом, протягивая Хлопушкиной узелок... — Хотела с кем раньше передать, да никак пробиться не могла...

— Спасибо, Игнатьевна, — Хлопушкина, с нежной улыбкой взглянув на женщину, взяла узелок. — Вот тебе бланк... Лена, отметь Суркову Марию Игнатьевну...

Лена низко склонила голову над списками. Краска стыда, как в детстве, залила ей все лицо и шею. Лена чувствовала, что мать Суркова смотрит на нее.

— Ваш адрес? — чуть слышно спросила Лена.

— Приовражная, сорок... Нашего адреса уж кто только не знает, — со вздохом сказала Суркова. — Это кто с тобой дежурит-то? — спросила она Хлопушкину.

Лена склонилась еще ниже, вобрав голову в плечи.

— Лена Костенецкая, — вместе в гимназии учились, — спокойно сказала Хлопушкина.

Лена слышала, как Суркова тяжело отошла к столу, повозилась там и вернулась к урне.

— У меня новость, — хрипло сказала она, вталкивая записку в ящик, — прихожу утром на мельницу, — у нас там сбор был, — вижу, вывесили список на увольнение, человек пятнадцать. На первом месте — я...

— Это ведь мельница Гиммера? — резким голосом спросила Хлопушкина.

— Его...

— Как же ты теперь?

— Не пропаду... стирать буду. Прощай пока. Заходи...

Суркова, тяжело ступая опухшими ногами, ушла.

— Лена, держи свою порцию...

Хлопушкина протянула Лене два бутерброда.

— Ваша фамилия?

— Мюрисеп Иван Эрнестович, — отвечал кто-то с сильным эстонским акцентом...

Лена, краснея от унижения, с трудом прожевывая жилистую колбасу, склонилась над списком и возле Ивана Эрнестовича Мюрисепа поставила крестик.

XXXIX

Поздним вечером за урной приехал член избирательной комиссии. Закрытый «локомобиль», провожаемый ребятишками и собаками, вез урну по темным кривым слободским улицам. Рабочие с пением расходились с площади. У ворот и на углах улиц чернели группы людей, вспыхивали огоньки папирос.

Член избирательной комиссии дремал, уткнувшись в воротник. Хлопушкина сидела, прямая и строгая, положив руки на колени. Впереди моталась голова милиционера. Лену мучили усталость, тошнота, голод, одиночество.

Желтые огни хатенок лепились по горам, рассеивались по падям, низвергались в овраги и исчезали в их темных глубинах. Вершины и гребни гор, фабричные трубы, крыши строений выступали на темно-синем небе. Брезжил последний слабый отсвет заката. Неяркая звезда подрожала в автомобильном окне и скрылась за черным силуэтом здания.

Лена вдруг вспомнила Лангового — такого, каким он стоял когда-то перед ней в гостиной, серьезный и грустный, в шелковой косоворотке, полный мужественной силы и любви к Лене. Ей хотелось удержать его в себе таким и думать и плакать о нем, но она знала, что это — слабость и ложь. Снова она видела его двулично улыбающееся лицо в автомобиле рядом с Сурковым, слышала его пошлую фразу, когда он вошел к ней. Она содрогнулась от злобы и унижения, представив себе, какими, должно быть, собачьими, преданными глазами она смотрела на него, когда отдавалась ему.

Чувство невыразимой грусти, грусти по какому-то возможному и несбывшемуся счастью овладело Леной. Измученными глазами и руками она ловила это последнее теплое дуновение счастья, а счастье, как вечерняя неяркая звезда в окне, все уходило и уходило от нее, — должно быть, это тоже было слабость и ложь.

Перед иллюминованным зданием городской думы кишела оживленная толпа, ожидавшая результата выборов. Вагон трамвая в голубоватом свете иллюминации, беспрерывно звеня, медленно двигался сквозь толпу.

У освещенного вестибюля стояли машины, коляски, извозчичьи пролетки с дремлющими или рассматриваю-

щими публику шоферами и кучерами. Лена узнала стоящий у самого подъезда новый «паккард» Гиммера. Две шеренги милиционеров охраняли свободный от толпы проход с улицы в вестибюль.

В залитых электричеством комнатах и коридорах думы тоже стояло необычное оживление. Группы мужчин в пиджаках и галстуках курили, жужжали и жестикулировали на площадках лестницы и в коридорах. В раскрытые двери зала заседаний виднелись ряды белых воротничков, проборов и лысин. Сутулый человек в чиновничьем мундире с перхотью на бархатном воротничке, держа под мышкой портфель, а в другой руке счеты, быстро прошел по коридору, обогнав Лену и Хлопушкину.

— Позвольте, позвольте, господа! — повторял он, лавируя между людьми.

Лена рассеянно отвечала на вежливые улыбки и поклоны знакомых членов думы, которых она привыкла видеть за сервированными столами или в гостиных.

В приемной избирательной комиссии было шумно и зелено от табачного дыма. Возбужденные, усталые уполномоченные, репортеры газет с записными книжками в руках сидели на столах, на сдвинутых в беспорядке креслах, стояли у стен или просто толкались по приемной, наполняя ее говором и клубами табачного дыма. У входа в кабинет председателя стоял покрытый черным фотографический аппарат, возле него в кресле дремал фотограф в белой панаме.

Лена и Хлопушкина сели у выхода в коридор на стулья, которые уступили им двое молодых людей. Из коридора в приемную то и дело входили люди и вновь уходили, хлопая дверьми. Лену качало от усталости, — стул, казалось, уплывал под ней.

— ...Нет, вы послушайте, что творилось у военного порта! — доносилось до Лены. — Были забиты все улицы и переулки, в одном месте дошло до свалки. Говорят, ранили милиционера, и есть жертвы среди избирателей...

— Уж и избиратели, нечего сказать! Это повод для кассации!..

— ...Я участвовал в выборах еще в семнадцатом году — никакого сравнения: активность необычайная...

— У нас, в Рабочей слободке, не меньше девяноста процентов. И все говорят, у них не меньше...

— На Второй речке только что кончилось. Вы видели, как принесли урну? Хотя бы одним глазком заглянуть!..

— ...Нет, вы — счастливец... Подумать только: центр Светланской, вся знать!..

— ...О, с этими неграмотными много комических эпизодов. Например, у нас на Матросской: «Пиши, — говорит: — за трудовой народ, за большевическую партию и за Советскую Россию...» Хохот ужасный!..

— Неужто так и сказал? Ха-ха-ха!.. Так прямо и сказал?.. Ха-ха-ха!..

Изредка открывалась дверь в кабинет председателя, вырывались стрекот машинок, бряканье счетов, и кто-нибудь выходил оттуда; фотограф в белой панаме испуганно подымал голову и вновь задремывал. Вышедшего окружали уполномоченные и репортеры, но он сердито или шутливо отмахивался:

— Ничего не знаю, не знаю, господа!..

Или:

— Ничего еще не известно, господа!..

Однажды в дверь высунулось сердитое лоснящееся лицо в пенсне:

— Уполномоченных с Алеутской просят пожаловать в комиссию!..

Лена вздрогнула: на Алеутской живет доктор, у которого она была вчера и к которому должна идти завтра...

Странно было думать, что этот доктор — тоже избиратель.

Лена прикрыла глаза рукой и тотчас же отняла руку и замученно и жалко посмотрела на Хлопушкину. Хлопушкина сидела, неподвижно глядя перед собой, точно выжидая чего-то. «Завтра... завтра... Боже мой!» — подумала Лена.

Через некоторое время уполномоченные по Алеутской — молодой человек семинарского вида и девушка в черной шляпке — вернулись из кабинета; их тотчас же окружили:

— Что случилось?.. Вы узнали что-нибудь?.. Что? Что?..

— Нелепость какая-то... Говорят, количество записок превышает число фактических избирателей! Что, я их сам писал, что ли? — возмущенно говорил молодой чело-

век, дрожащей рукой поправляя длинные семинарские волосы.

— И намного превышает? — спрашивал репортер, быстро записывая что-то в книжечку.

— Всего на две записки...

— Может быть, вы от усталости забыли отметить кого-либо в списках? — догадывался кто-то.

— Господи!.. Я отмечала самым внимательным образом! — взволнованно поясняла девушка в черной шляпке.

— Какая неприятность, дело подсудное!..

— Господи, неужели подсудное?

Девушка в черной шляпке заплакала и полезла в сумочку за платком.

— Повод для кассации...

В третий раз уже слышала Лена эти слова: «Повод для кассации», — точно выборы нужны были для того, чтобы обнаружить повод для их кассации.

Дверь из кабинета распахнулась, и показался председатель избирательной комиссии, за ним — кривенький старичок с синей папкой в руке, за ним виднелись еще какие-то вытянувшиеся и растерянные лица. Фотограф в белой панаме кинулся к председателю.

— Где прикажете?.. — начал было он.

Но вокруг заклубились репортеры и уполномоченные, оттолкнули фотографа, и спутанный клубок людей, неся с собой председателя и рассерженно отбивающегося кривенького старичка с синей папкой, выкатился в коридор. Фотограф, подняв над головой аппарат, ринулся вслед, потерял панаму, подхватил ее на лету и исчез в коридоре.

Из кабинета один за другим молча выходили люди с угрюмыми и сконфуженными лицами. Человек в потрепанном клетчатом пиджаке и черных брюках гармоникой, увидев Хлопушкину, радостно просиял ей крупными глазами и зубами.

— Ну что? Как? — спросила она, замигав своими белыми ресничками, вставая навстречу ему.

— Полная победа, Сонечка! Но, конечно, кассируют, — сказал он вполголоса, склонившись к ней. — Пошли, пошли!..

И он, схватив ее за руку, увлек в коридор.

Лена поднялась, не зная, идти ли за ними или еще подождать здесь, но в это время из кабинета показался

грузный старый Гиммер с налившимися кровью глазами, за ним еще более грузный и старый Солодовников и еще кто-то. Гиммер был в пальто, с котелком в руке.

— Доигрались!.. — говорил Гиммер, злобно фыркая. Он увидел Лену:

— А, ты здесь? Поедем домой...

Он взял Лену под руку и, сопя, повлек ее по коридору, не отвечая на поклоны расступавшихся перед ним уполномоченных.

Машина, подрагивая и ревя, выбралась из толпы и рванулась по лоснящемуся асфальту; теплый ветер дунул Лене в лицо.

— Доигрались... — снова сказал старый Гиммер, надвигая котелок и подымая воротник.

— А что? Рабочий список получил больше других? — протяжно спросила Лена.

— Больше других?.. — Гиммер фыркнул и в упор посмотрел на Лену. — Он получил абсолютное большинство в думе, вот что он получил!..

И Гиммер грузно откинулся на сиденье.

Лена вдруг вспомнила фотографа в белой панаме, и на губах ее заиграла веселая и злая усмешка.

— И что же будет теперь?

— Что же будет?.. Придется всем этим пошлякам, говорунам, чистоплюям отереть плевок, который они получили прямо в рожу, и, придравшись к какому-нибудь пустяку, кассировать выборы. Вот что будет!.. Хотя люди ума и дела предупреждали их, что выборы сейчас — это глупость, маниловщина, преступление! Они, видите ли, кривлялись, что говорят от имени народа, а народ, который признает только силу, дал им коленкой под зад, харкнул им прямо в р-рожу, прямо в р-рожу!..

Гиммер почти кричал.

Лена брезгливо смотрела на него.

XL

— Вы хорошо отдохнули? Извозчик уже здесь, но если вы чувствуете себя слабой, можете еще полежать, он подождет.

— Благодарю вас... Я поеду.

Сиделка помогла Лене одеться.

— Странно, что ваш муж или... простите... не приехал за вами... Уж эти мужчины! Даже самые любящие из них не представляют, насколько это тяжело.

— Он — военный, не мог освободиться...

— Не оправдывайте его, все они таковы!.. Когда это впервые случилось со мной, — мне казалось, я его на глаза не допущу, а не прошло и трех месяцев, как случилось то же самое. Мы, женщины, за ласку все готовы отдать, а мужчины — безжалостные. Позвольте, я вас проведу...

Лена, поддерживаемая под руку сиделкой, вышла на сверкающую солнцем улицу.

— Вам куда ехать? — с тайным любопытством спросила сиделка, подсаживая Лену в пролетку.

— Мне — к Светланской,— неопределенно сказала Лена, — благодарю вас.

— Желаю вам не так скоро снова попасть к нам. Счастливого пути!..

Лене казалось, она осязает каждый раскаленный булыжник мостовой. Отвратительное ощущение присутствия в теле чего-то постороннего, разворачивающего тело изнутри, не покидало ее, и чувство униженной злобы и боли мешалось в ней со щемящим до слез чувством утраты.

Она ехала мимо разросшихся яркой и темной листвой садов, в которых она играла еще маленькой девочкой, когда какой-нибудь яркий листочек, веточка, песчаная тропинка, солнечное пятно в аллее полны были теплого биения жизни и обещали ей что-то. Теперь там играли другие дети, — она слышала их звонкие крики и мягкий топот ног по аллее, — а она, взрослая, умная, полная зрелых сил и возможностей, глотая пыль и морщась от боли, тряслась мимо на грязной извозчичьей пролетке — одинокая, униженная и окровавленная, как сука.

XLI

Весь этот период, с момента разрыва Лены с Ланговым и до ее отъезда в деревню к отцу, навсегда запечатлелся в памяти Лены как самый тяжелый и страшный период ее жизни — по силе осознания ею бессмысленности ее существования, по мучительным поискам выхода

и полной безвыходности, по предельному беспощадному одиночеству ее в мире.

Окончательный разрыв не только с Ланговым, но и со всей окружавшей ее средой ощущался Леной не только внутренне: и внешне она оказалась выключенной теперь из той повседневной праздной суеты, которая раньше создавала видимость жизни.

Вся семья перебралась на дачу, Лена оставалась в городе. Ее никуда не приглашали, никто ее не посещал. Софья Михайловна чувствовала себя оскорбленной в лучших надеждах и чувствах и, когда приезжала в город, держалась так, словно в лице Лены господь послал ей тяжелый крест, который она готова нести до конца. Ада собиралась выйти замуж и просто забыла о существовании Лены. Старый Гиммер, который из-за вечной занятости и чувства самосохранения старался не видеть и не понимать того, что происходит в семье, изредка шутил и заговаривал с Леной, но его обрюзгшее, опустившееся лицо внушало ей отвращение, и она избегала его. Книги валились из рук. Лена боялась подходить к роялю, чувствуя, что, если дотронется до клавишей, в ней прорвется такой поток страданий, что она не в состоянии будет осилить его. Иногда она замечала, что неделями не произносит ни слова.

Участие в выборах показало ей полную невозможность для нее проникнуть в тот мир, к которому принадлежали Сурков, Хлопушкина и, как она предполагала, отец и Сережа.

Выборы правительство кассировало под предлогом того, что к баллотировке был допущен список кандидатов, стоящих вне закона, и того, что большевистские элементы думы развили во время выборов преступную деятельность. Как пример преступной деятельности газеты приводили злосчастный эпизод с лишними записками в избирательном участке на Алеутской. Лена даже усмехнулась, вспомнив молодого человека с длинными семинарскими волосами и девушку в черной шляпке, говорившую: «Господи, господи!» Перевыборы были отложены на неопределенный срок, а большевистские элементы думы, олицетворявшиеся теперь для Лены в виде человека в брюках гармоникой, вышедшего к Хлопушкиной после подсчета голосов, были арестованы.

Каждые две недели Лена посылала письма Сереже, отцу, ответа не было и не было.

Иногда она внезапно просыпалась ночью и мучилась сознанием того, что она не проявила достаточной решительности, чтобы пробить стену между собой и Хлопушкиной. Надо было объяснить все, рассказать об отце и Сереже, добиться доверия, просить помощи! Она решила во что бы то ни стало отыскать Хлопушкину, но никак не могла вспомнить улицу и дом, где они жили. В адресном столе был известен только один Хлопушкин — присяжный поверенный. И все-таки Лена пошла в Голубиную падь и разыскала домик, в котором была когда-то в детстве. Ей отворил дверь незнакомый старичок со спущенными подтяжками.

— Хлопушкина?!

На лице старичка изобразился испуг, немедленно перешедший в гнев.

— Какая Хлопушкина!.. Они давно здесь не живут... У нас с ними никакой связи нет и быть не может! — распалился старичок, краснея луковичным носом с прожилками.

Каждое утро Лена со смутной надеждой разворачивала испещренный белыми квадратами листок профессиональных союзов, но там не было ничего, что могло бы практически указать ей выход. Однажды она дошла до такого отчаяния, что решила явиться прямо в центральное бюро, рассказать все и предложить свою — пусть слабую — помощь. Она разыскала по газетке адрес, лихорадочно оделась и пошла пешком через весь город; центральное бюро помещалось в подвале на одной из окраинных улиц. Но чем дальше она шла, тем яснее вырисовывалась ей наивность и необдуманность ее поступка. Если она не нашла в себе сил и слов, чтобы получить доверие Хлопушкиной, то что сможет объяснить она этим суровым, со всех сторон окруженным врагами людям? Кто поверит ей — чужой, хорошо одетой девушке, племяннице Гиммера?

Долго ходила она мимо темных и пыльных, выглядывающих из-под земли окон, за которыми проступала суровая и недоступная ей жизнь, — чувствуя на себе шильца подозрительных взглядов каких-то субъектов в демисезонах, — и медленно побрела домой.

Потом настал день, когда она уже не могла добыть и листок профессиональных союзов. Она прождала несколько дней, думая, что он, как обычно, выйдет под новым названием, но листок больше не появлялся. А когда она с бьющимся сердцем снова подошла к зданию, где помещалось центральное бюро, темные, выглядывающие из-под земли окна были уже чисто вымыты, и над пахнущей свежей масляной краской дверкой в подвал висела вывеска: «Магазин подержанной мебели».

Мир, к которому она так стремилась и который не впускал ее в себя, был уже окончательно непоправимо отрезан от нее.

И все же Лена еще раз почувствовала его, когда — уже зимой — проходили новые выборы в думу.

Всего несколько месяцев отделяло их от первых выборов, но как изменилось все вокруг!

Давно уже пал последний оплот Советской власти в крае. Давно уже рухнуло правительство Тибера — Дербера, монотонную болтовню которого, похожую на болтовню зеленого попугая или тихопомешанного, последнее время никто не слушал. Рухнуло и сибирское временное правительство, уступив свое место «верховному правителю России», адмиралу Колчаку. Газеты трубили об успехах сибирских армий на Волге и за Уралом, о полном разгроме красных частей, предсказывали скорое падение Москвы. Власть в крае сосредоточилась сначала в руках Хорвата, пышная скобелевская борода которого была распечатана во всех газетах, потом — в руках еще какого-то генерала с надутым лицом и сивыми усами. В Хабаровске укрепился есаул Калмыков, произведенный Колчаком в генерал-лейтенанты и посаженный атаманом уссурийского казачьего войска. Залитый огнями бронепоезд атамана, как бешеный, носился по уссурийской ветке, искореняя последние остатки крамолы.

В бронепоезде атамана служил Дюдя. Изредка он навещал семью, с визгом врывался в квартиру — в сверкающем мундире с вензелем «К» на рукаве, всегда пьяный, с опухшими веками и выражением жестокой пустоты в глазах. Вениамин представительствовал интересы атамана при «верховном правителе» в Омске. Днем и ночью по улицам мчались, ревя, автомобили и мотоциклы с военными, шли, хрустя сапогами, бряцая оружием, гремя барабанами, стеная валторнами, волынками, кларнетами,

разноцветные густые колонны интервентных войск — японцев, американцев, французов, англичан, канадцев, китайцев, сипаев, итальянцев, малайцев, шотландских стрелков. На рейде, отливая синей сталью, стыли их плавучие крепости с заиневшими трубами и реями. Площади и улицы ломились от парадов, от криков разноплеменных команд и меди оркестров. У воинских присутствий толпились оцепленные войсками сумрачные группы уссурийских рекрутов.

Газеты печатали петитом извещения о расстреле большевистских комиссаров при «попытке к побегу» или по военно-полевому суду и крупно — фамилии и портреты Гиммера, Герца, Скутарева, Солодовникова, с шумом жертвовавших гроши на сибирскую армию.

На горах, в Гнилом углу и на Чуркином мысу днем и ночью горели костры, оттаивавшие землю, — отстраивались новые дома, бараки и казармы для войск, госпиталей и пленных. Днем и ночью ледоколы, скрежеща, ломали лед на бухте, облака черного, оранжевого, розового дыма и пара стояли над бухтой. Пристани и вокзалы грохотали от сгружаемого и нагружаемого военного снаряжения. Мощные иностранные суда отчаливали, заваленные сибирской рудой, лесом, рыбой, и сухой, пронзительный морозный ветер из Верхоянска слал им вслед ржавые тучи песка и щебня с гор.

В такой обстановке проходили новые выборы в думу. И если первые выборы были сорваны поголовным участием в них рабочих, то вторые — грозным и нерушимым бойкотом. Дума шиберов и спекулянтов собралась, избранная едва тридцатью процентами населения.

В город все чаще стали прибывать эшелоны раненых, обмороженных, больных «испанкой» и тифом.

Чтобы делать хоть что-нибудь, Лена поступила на курсы сестер милосердия и пошла работать в солдатский госпиталь на Эгершельде.

Теперь она ходила в белой косынке и фартуке с красным крестом на груди, стройная и беспомощная, с детскими плечами и материнскими бедрами, с большими темными глазами, горящими сухим отраженным огнем страданий. Разбитая и измученная возвращалась она вечером или ранним утром домой, унося с собой в памяти воспаленные глаза и лица, гноящиеся раны, отнятые руки и ноги, кровавые шматки человечьего мяса, отвисающие,

как конские губы. Она уставала от приставаний врачей, офицеров, фельдшеров и постоянной необходимости притворяться перед собой и ими. Ведь она была теперь просто одной из многочисленных сестер в белой косынке с красным крестом на груди, и в лице ее и в походке появилось новое выражение, которое уже не могло говорить о ее недоступности. Ее мучило ощущение боязливой вражды или лицемерного заискивания со стороны раненых солдат перед ней как одной из представительниц того мира врачей, сестер, офицеров, «господ», который распоряжался их миром, миром солдат, «простого народа». Из случайно оброненных фраз, взглядов, бредовых разговоров в ночи она могла видеть, что люди подставляли свои тела под снаряды и шашки не по своей охоте, не за свое дело.

Все, что она видела в госпитале, только подчеркивало жестокость и бессмысленность жизни и полную ее, Лены, беззащитность перед этими беспощадными слепыми силами.

XLII

Первые вести о восстаниях в области, задолго до того, как о них стали писать газеты, Лена услышала за обеденным столом от Гиммера. Гиммер сетовал на то, что восстание лишило его железных рудников в районе города Ольги и что многим промышленникам грозит та же участь: восстали Тетюхинские рудники, крестьяне в районе Спасск-Приморска и в районе Сучанских угольных копей. Он хотел добавить еще что-то, но, посмотрев на Лену, запнулся и потом на расспросы домашних отводил разговор в сторону.

Итак, местность, в которой жил ее отец, в которой умерла ее мать, в которой Лена рвала пионы и лилии и была влюблена в простоголового пастушка, охвачена восстанием... Лена начинала догадываться теперь, почему нет ответа на ее письма.

Вскоре тревожный слушок о восстании загулял по всему городу. Появились люди, выехавшие ранее из тех мест и уже не могшие вернуться туда, пассажиры поездов, подвергшихся обстрелу. Говорили о разгроме богатых имений, заимок и конских заводов на побережье Уссурийского залива. Был расклеен приказ коменданта

города о том, что лица, желающие ехать дальше станции Угольной по Сучанской ветке и дальше города Никольска по Уссурийской ветке, должны запасаться пропусками от коменданта. Приказ не объяснял причин этого мероприятия.

К весне первые официальные сведения о партизанах стали проскальзывать и в газетах. Составлены они были по одному трафарету: «В районе такого-то села (или посада) появилась банда красных в столько-то штыков (обычно не больше тридцати — сорока). Банда рассеяна (или уничтожена) милицией (или правительственными войсками), руководитель убит (или захвачен в плен)».

Однажды Лена прочла, что «банда красных», оперировавшая в районе города Ольги, разгромлена, «руководитель банды» Гладких убит, а его сподвижник Кудрявый захвачен в плен. А со слов Гиммера Лена знала, что «банда» эта не только не разгромлена, а захватила почти все северо-восточное побережье и угрожает городу Ольге.

Наезжавший изредка Дюдя, захлебываясь и хвастая, рассказывал о перестрелках бронепоезда с красными и о вылазках, в которых участвовал. В рассказах Дюди неизменно фигурировал какой-то неуловимый партизан Бредюк, появлявшийся почти одновременно возле Шкотова по Сучанской ветке и возле Спасск-Приморска по Уссурийской. Партизан этот поклялся, что рано или поздно взорвет бронепоезд атамана, но бронепоезд был неуловим. Дюдя с такой легкостью рассказывал о взорванных партизанами мостах и водокачках, о спущенных под откос эшелонах, что видно было, что сам он участвует хотя и в более тихих и скрытных, но более страшных вещах: о подвигах атамана ходили такие слухи, что даже в среде Гиммеров к ним относились с опаской и неодобрением.

Уезжая, Дюдя подмигнул Лене, и на лице его появилась пустая и жестокая улыбка:

— А папаша твой тоже... отличается на Сучане!..

У Лены потемнело в глазах.

Наконец в середине марта она прочла в газете, что в Сучанской долине оперирует банда красных, руководимая бывшим председателем Сучанского совета Мартемьяновым, человеком с темным прошлым, и доктором Костенецким, продавшимся большевикам, а ранее служившим

в отделе здравоохранения Сучанского совета и похитившим во время бегства казенные суммы.

Несмотря на восстания в области, город жил все той же буднично-праздничной жизнью: до утра работали переполненные, сияющие огнями рестораны, по улицам без конца катились разряженные толпы, пестрящие мундирами солдат и офицеров тринадцати наций, и такая вековая мощь была в грохоте этих тринадцати языков, в звоне оружия, в тяжести крейсеров и пушек, в смраде костров, вокзалов, тюрем, пристаней, госпиталей, в безумном круговращении товаров и денег, что казалось, нет и не будет такой силы, которая может своротить эту давящую людей адскую плиту из металла и крови.

XLIII

Они встретились в средних числах апреля вечером в той же гостиной, где когда-то состоялось их объяснение, и разговаривали, стоя друг против друга, как тогда.

Лангового еще посушел и отвердел, лицо его посмуглело, но не от солнца, а внутренней нездоровой смуглотой, и на впалых щеках резче обозначились две продольных морщины. Он был в защитном полковничьем мундире, в руке держал фуражку, которую от рассеянности или волнения не оставил в передней, когда пришел.

Лена, только что вернувшаяся из госпиталя и еще не успевшая снять белой косынки, с грустным удивлением рассматривала его фуражку, погоны, длинные ресницы. Ее удивляло не то, что Ланговой спустя девять месяцев после их разрыва снова стоял перед ней, и не то, что при виде его где-то в самой глубине ее души еще стронулось что-то, а то, насколько чужим и ненужным он был теперь для нее.

— Возможно, вам неприятно видеть меня, и я никогда бы не потревожил вашего покоя и чести, — говорил Ланговой с сухим горячим блеском в глазах, — но я уезжаю завтра, и так как я не надеюсь больше когда-либо встретиться с вами, я пришел проститься...

Лена молчала.

— Я посчитал себя обязанным, — продолжал Ланговой, — сообщить вам, что я получил назначение в экспедиционный корпус, действующий против повстанцев,

среди которых, как мне известно, находится ваш отец. Я еду на Сучанские рудники... Я посчитал себя обязанным сказать вам это не для того, чтобы после всего, что было, отплатить вам жестокостью этой непредвиденной ситуации... Надеюсь, вы не настолько изменились, чтобы подозревать меня в этом. Но, к сожалению, и не для того, чтобы обнадежить вас возможностью помочь вашему отцу ради вас, хотя это было бы и очень романтично, а вы, как мне пришлось убедиться, еще очень романтичны в душе...

— Вы имеете в виду пощечину? — сказала Лена.

— Нет, я имею в виду не это, а мотивы этого вашего поступка, который я, насколько это в моих силах, постарался забыть... Да, уж если говорить об этом, вы поступили так, потому что вам было жалко этих людей, вы были потрясены их видом и судьбой, но еще больше вы были потрясены тем, что я был виновником этой их судьбы, и не абстрактным виновником, — тогда бы вы не почувствовали этого, — а делал это собственными руками на ваших глазах... Да, вы были наивного романтического представления обо мне! Я же никогда не уважал людей, которые, трубя о своей преданности долгу, выполняют его чужими руками, прячась за чужие спины, избегая ответственности... Конечно, это уже теперь все равно для вас. Но все-таки я считаю себя обязанным сказать вам, что при новом назначении я впервые в жизни приложил все силы к тому, чтобы не принять его, а получив его, буду выполнять свой долг так же, как всегда выполнял.

— Я уже имела возможность убедиться в этом, — ледяным голосом сказала Лена, — вы тогда очень удачно позировали...

— Позировал? Что ж, я имел право на это, если это так!

— Возможно. Но вам надо научиться еще лучше скрывать страх и отчасти голос совести. Право, вы оказались не так храбры и жестоки, как я надеялась!

— Что вы хотите сказать этим?

— Что вы действительно выполните это сомнительной чести дело, которое вы с таким пафосом называете своим долгом. Но нельзя одновременно выдавать векселя и на благородство и на подлость: какие-нибудь останутся неоплаченными.

— Да, очевидно, вы все-таки переменились, — помолчав, сказал Ланговой, — когда-то вы говорили, что вы

сочувствуете всякому, кто искренне убежден в том, что он делает. Или вы уже не верите в мою искренность?

— Я никогда не говорила, что я сочувствую человеку, который искренне делает подлости, — с внезапной злобой сказала Лена. — И я думаю также, что подлые дела нельзя делать искренне, без внутренней фальши. Если же можно, то стопроцентные подлецы действительно более приемлемы для меня, чем подлецы, рядящиеся в благородство. К сожалению, вы даже не стопроцентный, а с оглядкой... Это очень смешно и... противно...

— Я жалею, что вы чувствуете себя вынужденной оскорблять меня. Бог с вами, Лена!.. Я должен только сказать вам, что мои чувства и внутренние обязательства перед вами остались неизменны, и во всем, что касается вас лично, вы всегда можете рассчитывать на меня, если захотите. Я искренне желаю вам счастья, Лена... Прощайте!..

Он низко поклонился ей.

— Обождите... — тихо сказала Лена. — Вы едете на Сучанские рудники?

— Да.

— Вы едете завтра?

— Да.

— Возьмите меня с собой...

Изумление, недоверие, тайная надежда одновременно изобразились на его лице.

— Вы неправильно поняли меня, — быстро сказала Лена, — но это единственный и последний случай, когда я действительно вынуждена рассчитывать на вас, и только на вас... Возьмите меня с собой и помогите мне пробраться к отцу.

— Это безумие, Лена!..

— Вы уже начинаете не платить по своим векселям, хотя вам нужно сделать очень малое: достать мне пропуск и никому не говорить, что я еду туда... Дальнейшее я уже беру на себя.

— Боже мой, Лена, вы не знаете, о чем просите меня. Вы не знаете этих людей, вы идеализируете их... Вы на первом же шагу попадете в звериное логово — хуже, чем в звериное! Страшно подумать, что они сделают с вами!

— Нет более страшного звериного логова, чем то, в котором я нахожусь теперь,— устало сказала Лена.— И я уверена, что они ничего не сделают плохого дочери «по-

хитившего казенные суммы» доктора Костенецкого, — нотка гордости прозвучала в ее голосе. — Пожалуй, я еще могу вам сказать, что *прошу* вас помочь мне. Если вы откажете, я уже больше ничего не скажу вам.

Ланговой некоторое время молчал. Резкая складка обозначилась на его лбу. Потом на лице его появилось выражение твердости и сухости.

— Хорошо, я сделаю это, — сказал он. — Но я оставлю за собой право сопровождать вас до тех пор, пока вы сочтете это нужным, и отговорить вас...

— Этого так называемого права я не могу отнять от вас, хотя и *считаю себя обязанной,* — подчеркнула она напыщенно, копируя Лангового, — предупредить вас, что это безнадежно.

— Все равно. Прикажете заехать за вами?

— Я приду на вокзал. Поезд идет вечером?

— В девять утра: вечерние поезда отменены.

Последнее замечание впервые реально представило Лене тот риск, которому она подвергает себя, и, должно быть, это отразилось на ее лице, потому что Ланговой поспешно спросил:

— Может быть, вы все-таки раздумаете?

— Нет, нет, — торопливо сказала Лена.

XLIV

К поезду было прицеплено несколько вагонов с солдатами. Лена наблюдала в окно, как солдаты бегали на станциях с чайниками за кипятком. На каждой остановке приходил денщик, и Ланговой посылал его за конфетами, печеньем или цветами.

Лена смотрела в окно на только что освободившуюся от льда холодную гладь залива, на рыбачьи артели с сетями на гальке, на весенние караваны гусей и уток. Целый этап жизни остался позади. Мир двоился в глазах Лены.

В раскрытом окне домика возле станции, прямо против вагонного окна, Лена видела простую белокурую женщину в белой ситцевой блузке; женщина сидела в профиль и шила, напевая что-то; у нее была нежная золотистая кожа на лице и руках и белая тонкая шея, под узлом волос на затылке курчавился золотистый пушок.

Душевным покоем, ласковым материнством веяло от этой женщины, — счастливой казалась ее жизнь из окна вагона! Но, возможно, это был и обман, — может быть, у этой женщины умирали дети, а муж был пьяница и бил ее, а мир ее был ограничен и убог.

Лена видела громадных чумазых китайцев-ломовиков, привезших уголь на станцию; у них были белые сверкающие зубы, лбы, лоснящиеся от солнца и пота; ломовики боролись на поясах, упершись в землю каменными ногами, смеясь, как гунны, как дети, и мулы шарахались от них, дико кося глазами. Весенняя могучая кровь струилась в жилах этих людей, великой силой жизни, первозданной красотой мужества веяло от них. Но, должно быть, они жили в вонючих вшивых бараках, и подрядчики крали хлеб у их детей, и косная темнота неведения окутывала их мозг...

Иногда Лена со злорадством вспоминала, что уехала, не предупредив никого дома и в госпитале, — это было пока единственное, чем она могла отомстить всем этим людям.

Кроме Лены и Лангового, в купе ехали еще: полная дама — жена владельца лесопильного завода, сорокалетняя железнодорожная дама с пледами, холодными котлетами и дорожными разговорами, и горный инженер — маленький короткошеий человечек лет тридцати двух, в серой штатской тройке и форменной фуражке с молотками. Фуражку инженер снимал, только когда ложился отдыхать; перед тем как лечь, он спрашивал разрешения у дам. У него были круглая подвижная голова с темно-русым ежиком, живые умные глазки, и весь он смахивал бы на ежа, если бы не широкий, с вывернутыми ноздрями нос его. Это был типичный низовой инженер — не из тех, что управляют и проектируют, а из тех, что работают в шахтах, — в манерах его было что-то грубоватое, в разговоре он часто употреблял простонародные выражения. Но инженер, видно, любил свое дело, — всю дорогу он штудировал изрядно потрепанный курс горного искусства в двух томах, черкал красным и синим карандашом, ставил на полях вопросительные и восклицательные знаки. Впрочем, инженера интересовали и многие другие явления природы и жизни, — так, например, на станции Угольной инженер купил в буфете десяток слоеных мясных пирожков. Он принес их в засаленной газетной бумаге.

— Откушайте, — сказал он неожиданно тоненьким голоском, простовато вывернув ладошку, — чудные пирожки. Угольная всегда ими славилась. Я тут всегда их покупаю. Очень чудные пирожки... Ну, правда, теперь уже вкус в них не тот, что в царское время, при царском, так сказать, режиме, теперь уж и мясо не то, и тесто не то, и масло не то, а все же хороши, — ласково говорил он.

От пирожков все вежливо отказались; инженер сокрушенно покачал головой, выложил пирожки на столик и углубился в курс горного искусства.

Присутствие этих людей мешало Ланговому говорить с Леной, но Лена все время чувствовала на себе его горячий, вопросительный взгляд и, чтобы избежать разговора с ним, не выходила на станциях. Стоило ей выйти в коридор, Ланговой следовал за ней как тень.

— Неужели вы не послушаете меня, не поверите мне? Как мне убедить вас? — говорил он со страстью.

Однажды Лена грубо сказала ему, что он мешает ей пройти в уборную.

На станции Угольной поезд долго стоял, потом пришел кондуктор и попросил закрыть окно.

— Зачем? — наивно спросил инженер.

— Бывает, обстреливают... — с угрюмой застенчивостью сказал кондуктор.

— Какой ужас!..— воскликнула дама.— Неужели каждый поезд?

— Почти каждый, особливо, если с войсками...

— Какой ужас! Когда я уезжала от мужа, ничего этого не было. Подумать только, какой ужасной стала жизнь!.. Я гостила у сестры в Посьете, на корейской границе, и там тоже неспокойно. Говорят, корейцы восстали против японцев. Русские корейцы прячут беглых из-за границы, ночами то и дело выстрелы, грабежи, — просто ужас! — говорила она, кутаясь в плед. — Когда вы только избавите нас от всего этого!..

Она кокетливо косилась на Лангового.

Ланговой холодно смотрел на нее. Инженер весело жмурился, — дама эта почему-то всю дорогу очень забавляла инженера, он охотно вступал с ней в разговор и делал при этом какие-то мелкие жесты рукой, точно трогал даму лапкой, как котенок игрушку.

На ближайшей станции после Угольной группа военных проверила пропуска. Поезд тронулся. В купе стало

напряженно тихо. Такая же напряженная тишина чувствовалась во всем вагоне и, должно быть, во всем поезде, — ни разговоров, ни хлопанья дверей, — только размеренно стучали колеса, да где-то в диване тоненько позванивала пружина. Инженер, лежа, читал свое горное искусство, дама тяжело вздыхала, — слышно было, как у нее урчит в животе. Ланговой брезгливо и зло смотрел в одну точку. Лена, не чувствуя опасности, сидела, глядя в окно, облокотившись о столик.

Поезд шел по глухим местам — синие хребты, холмы с черными и зелеными квадратами полей, голые скалы, леса с еще не распустившимися почками, озера в сухих прошлогодних камышах, редкие хутора, заимки, белые палатки военных пикетов.

Иногда поезд с грохотом врывался в ущелье, — Лена замечала собственное унылое лицо в окне и машинально припудривалась.

Поезд пересек долину, — возле моста через речку валялись под откосом сломанные теплушки, колеса; поезд, все замедляя ход, пошел на подъем по холмистой местности в кустарниках и перелесках.

Лена впоследствии так и не могла вспомнить, с какого момента началось это, — так все вышло неожиданно и неправдоподобно после этой белокурой женщины с золотистым пушком на затылке и детским шитьем в руках. Кажется, Лена увидела кучки людей с ружьями, перебегавшие с одного холма на другой, потом показались белые дымки в кустах, послышались какие-то трескучие звуки, сливавшиеся со стуком колес, и сразу вслед за этим часто и сильно затрещало в хвосте поезда. Перед Леной со звоном рассыпалось стекло, едва не поранив ее. Дама испустила вопль и, как мешок, упала на бок.

— Уйдите от окна!.. — не своим голосом закричал Ланговой и с силой отдернул Лену за руку.

На мгновение она увидела его сузившиеся колючие глаза, каким-то образом он очутился на ее месте, закрывая ее своим телом, — он держал в руке револьвер и смотрел в разбитое окно, в которое явственно доносился теперь треск из кустов и из хвоста поезда. Поезд, скрипя и лязгая буферами, двигался резкими толчками, пытаясь убыстрить ход, но точно прыгал на месте.

Инженер, медленно отложив томик горного искусства, сел и внимательно посмотрел на даму лежавшую на боку.

Убедившись, что она просто лишилась чувств от испуга, он посидел некоторое время, держась руками за диванчик, скосив голову, глядя одним глазом в пол, как петух, рассматривающий зерно перед тем, как клюнуть. Потом подмостил повыше подушку, лег и снова взял томик горного искусства. Впрочем, он тотчас же отложил его и посмотрел на Лангового.

— Вы не вздумайте стрелять,— спокойно сказал он,— дам напугаете... Ишь как пары дает, — любовно сказал он про паровоз и, покосившись на Лену, подмигнул ей.

Поезд перевалил гору и, убыстряя ход, помчался под уклон. Некоторое время слышны были еще выстрелы в хвосте поезда, где ехали солдаты Лангового, потом все смолкло. В вагоне захлопали дверьми, послышались голоса и топот ног в коридоре.

— Все живы? — спросил кто-то, отворяя дверь в купе.

— Достаньте нашатырного спирта — здесь одна дама в обмороке, — сказала Лена.

Все так быстро произошло, что Лена не успела испугаться, только в глазах ее появилось удивленное выражение. Некоторое время спустя она подумала, что среди людей, обстреливавших поезд, могли быть отец и Сережа, и мысль эта взволновала ее.

Даму привели в чувство.

— Я умираю... — говорила дама, обливаясь слезами.

Краска и пудра растекались по ее увядшему лицу.

На ближайшей станции Ланговой пошел проверить, нет ли жертв среди солдат. За ним выбежал и горный инженер.

Инженер вскоре вернулся.

— Трое убито и человек с десяток ранено, двое тяжело, — с удовольствием рассказывал он, поблескивая своими живыми глазками, — а из пассажиров никто не пострадал. Только, говорят, в одном вагоне свалилась с третьей полки корзина с яйцами и контузила в голову священнослужителя...

Через некоторое время поезд прибыл в Шкотово. Инженер достал из-под изголовья бумажный сверток, накинул пальто.

— Мне тут одному знакомому на станции посылочку передать, — словоохотливо пояснил он, — вы уж присмотрите, пожалуйста, за моими вещичками...

Но, очевидно, инженер заговорился со своим знакомым: поезд простоял в Шкотово более двух часов, а инженер все не появлялся. Наконец поезд тронулся, а инженера все не было.

А когда контролер, кондуктор и проводник раскрыли оставшийся после инженера потертый чемодан, весь заклеенный багажными квитанциями и гостиничными ярлыками, обнаружилось, что чемодан набит опилками, прикрытыми сверху газетной бумагой.

XLV

От станции Шкотово поезд прошел около десяти верст и остановился посреди леса. Уже вечерело. Оказалось, что впереди разобран путь. Поезд задним ходом пошел обратно в Шкотово. Там он простоял всю ночь.

Ночью Лена часто просыпалась, вся в поту, с бьющимся сердцем. Однажды она проснулась оттого, что на станцию прибыл японский эшелон. Японские солдаты, пыхая сигаретами и поблескивая штыками, прыгали из вагонов. Люди с фонарями бегали вдоль эшелона, стучали по колесам. У одного из вагонов синим пламенем горела букса, и там тоже возились и стучали темные группы людей с фонарями. Потом эшелон отбыл в сторону станции Кангауз.

Весь следующий день поезд так медленно продвигался от станции к станции и так подолгу стоял, ожидая, пока починят мосток впереди, или пропуская вперед поезда с воинскими грузами, что Лена вовсе отчаялась — доедет ли она когда-нибудь.

На станцию Кангауз прибыли, когда уже совсем стемнело. Владелец лесопильного завода встретил свою жену. Последние пассажиры покинули поезд. Солдаты из задних вагонов строились на перроне.

Лена и Ланговой одни стояли на станционном крыльце. Денщик караулил вещи внизу. Сумрачные горы, заслоняя небо, обступали станцийку со всех сторон. Внизу, в котловине, мигали огни поселка, горели багровые костры, вырывавшие из темноты полотнища военных палаток.

— Нет, Лена, вы не можете остаться здесь одна, — глухо говорил Ланговой. — Право, пойдемте с нами. За

перевалом начинается узкоколейка, и там нас ожидает специальный поезд...

— Я буду ночевать здесь, — тихо повторила Лена.

— Но где же? Вы никого не знаете, гостиницы здесь нет...

— На станции. Ночуют же другие...

— Слушайте, Лена, это просто неразумно. В конце концов, если вы не хотите ехать со мной на рудник и отказываетесь вернуться, то ведь вы же сами говорили, что вам нужно до Сицы... По крайней мере, мы проводим вас до Сицы, вам не страшно будет одной переходить перевалы, вам не придется часами ожидать поездов...

— Не хитрите, Ланговой...

— Зачем вы обижаете меня в последнюю минуту? Я никогда не хитрил с вами. Не думаете же вы, что я потащу вас силой, если вы пожелаете остаться на Сице?

— Не хитрите перед самим собой...

— Лена, сейчас не до психологии, это просто смешно. Ну, почему бы вам, действительно, не поехать с нами до Сицы?

— Вы хотите знать?.. — Лена прямо посмотрела на Лангового. — Я думаю, мне *невыгодно* дальше двигаться с вами, вы можете скомпрометировать меня...

— Скомпрометировать?! Перед кем?..

— Перед партизанами.

— Вот как!..

Ланговой замолчал.

— Прикажите дать мне мой саквояж, — сказал Лена.

Ланговой молча смотрел на нее.

— Лена, — сказал он, — остались последние мгновения, когда я еще могу видеть вас и говорить с вами...

— Как вы любите драматические положения!

— Мне хочется сказать вам, что я всегда любил и люблю больше своей жизни только вас одну и что я глубоко и непоправимо несчастлив... Я прошу вас только об одном: положите себе руку на сердце и с последней силой правды скажите, не можете ли вы пересмотреть наново все то, что было, и вернуть то чувство любви и доверия ко мне, которое у вас было... вернуть хотя когда-нибудь?.. Не отвечайте сразу. Я вас прошу... Подумайте над этим...

— Дайте мой саквояж, — протяжно сказала Лена.

— Значит, кончено?..

Лена молчала.

— Тимофей! Дай саквояж Елены Владимировны...

Приняв саквояж, Ланговой некоторое время подержал его в руке, — это было последнее, что еще связывало их, потом протянул Лене.

— Прощайте, Лена...

— Прощайте, Ланговой...

Лена взялась за ручку двери и на мгновенье остановилась. Она слышала шаги Лангового по ступенькам. Шаги смолкли.

— Лена!.. — позвал Ланговой.

Лена распахнула дверь и вошла в станционное помещение.

XLVI

Перекинув через руку пальто, а в другой держа саквояж, Лена стояла на перевале. Было не более шести утра. Клочья тумана ползли по склонам гор, а в долинах и распадках туман лежал еще густыми полосами. Мутное солнце только поднялось над дальним гребнем; на перевале, где стояла Лена, набухшие за ночь, готовые распуститься почки золотились в росе. Возле трех палаток под деревьями стоял американский солдат с ружьем; другой, с намыленным лицом, брился, сидя неподалеку на складном стуле, пристроив на ветке зеркальце.

Мимо Лены по узким поблескивающим колеям ползли через перевал на стальных тросах вагонетки без людей: груженные углем — в сторону Кангауза, пустые — вниз, куда смотрела Лена. Вагонетки, уголь, тросы были мокры от росы. Внизу выступали в тумане строения какой-то станцийки, будка электрического подъемника, штабеля дров и леса. Маленький паровоз «кукушка», посвистывая, сновал по путям, и дым его смешивался с туманом. Это была станция узкоколейки.

В одной из пустых вагонеток, движущихся со станции Кангауз, лежало двое рабочих с задранными кверху ногами. Увидев Лену, они быстро убрали ноги.

— Садись, — подвезем! — крикнул один, откидывая стенку.

Лена бросила им саквояж и пальто и сама вскочила на вагонетку.

— Далеко едешь, товарищ? — спросил рабочий, пригласивший ее.

— На рудник... — запнувшись, сказала Лена.

— Учителька, что ли?

— Да, учительница...

Вагонетка круто ползла книзу; золотящиеся почки и палатки американцев, казалось, повисли над головой.

...Меня маманя упреждала,
Я мамани не жалел... —

тоненько и сипло запел второй рабочий.

— Скажите, поезд на рудник скоро будет? — спросила Лена.

— Да тут ведь расписаниев нету... Однако скоро должен быть, что-нибудь уж повезут... Ну-ка, Ваня, готовься, а то под бункер уйдем... Прыгай, товарищ учителька! — сказал первый рабочий, откидывая стенку.

Лена выпрыгнула, рабочие подали ей пальто и саквояж и выпрыгнули сами, — вагонетка погрузилась в какую-то темную пасть.

Лена, не спавшая всю ночь, прикорнула на солнышке возле станции, где уже сидели группы ожидающих поезда рабочих и работниц. Проснулась она оттого, что кто-то толкнул ее в плечо.

— Вставай, девка, поезд проспишь, — говорила пожилая женщина в рваном переднике.

Женщина подхватила корзинку с проросшим картофелем и кинулась к составу из трех вагончиков, в которые, смеясь и толкаясь, лезли люди с мешками, корзинками и инструментами. Лена, не решаясь принять участие в этой давке, растерянно прошла вдоль состава со своим саквояжиком.

— Ваня! А учительку-то нашу забыли!.. — раздался знакомый голос, и с площадки заднего вагона, сплошь забитой людьми, протянулись к Лене две жилистых руки. — Давай сюда свои причиндалы... Ваня, держи!..

— Да тут местов нету! — роптал кто-то.

— Ну, как нету, — гляди, кака она тоненька, учителька-то...

— А саквояж куда, на голову?

— А саквояж к тормозу привяжем, — лениво говорил Ваня.

— А ежели тормозить?

— А ежели тормозить — отвяжем, — лениво отвечал Ваня в то время, пока первый рабочий подсаживал Лену.

Облитые солнцем хвойные леса, искрящиеся водопады, овраги с остатками почерневшего снега, нежные перья облаков, вербовый пух мчались мимо Лены; в лицо бил вольный, пахнувший смолой ветер, на сарафане оседала пыль. Сильная жилистая рука придерживала Лену, обняв ее ниже груди, но Лена не только не испытывала неловкости, но чувствовала необыкновенную благодарность и доверие к этой руке.

Ее радовало то, что никто не обращал на нее внимания и не заговаривал с ней, и то, что люди, забившие площадку позади нее, свободно, весело и безбоязненно ругали власть, хвалили партизан и хвастали их успехами, как своими, изрядно, должно быть, привирая.

— Заходит он на вокзал, прямо в буфет первого классу, кругом дамы, офицерья, — мурлыкал чей-то самодовольный голос, — ну, ведь он тоже оделся по форме, честь честью, принимают его за своего. Подходит это он к стойке, стакан водки выпил, селедочкой закусил и — прямо на телеграф. Сразу дверь на ключ, достает револьвер. «Вызови мне, — говорит телеграфисту, — по прямому самого атамана Калмыкова!..» — «А вы, извиняюсь, кто такой будете?» — «А я — партизан Бредюк, хоть это, говорит, впрочем, не ваше дело...» Телеграфист, понятно, полны штаны напустил, давай вызывать...

— Вот это — да! — засмеялись вокруг.

— Достукался он до самого атамана. Тот передает. «Я — атаман Калмыков. Кто требует?..» — «Партизан Бредюк требует». — «Что тебе надо, бандит?» — «Надо мне, ваше превосходительство, послать вас к такой матери, а поезд твой я все одно взорву и тебя, гада, белопогонника, в пролубь спущу. Точка и амба!..»

— Тю-тю! Во, проздравил атамана!..

— А как же он обратно вышел?

— Так и вышел. Телеграфиста припугнул: «Ежели ты, говорит, гнида, шум подымешь, я тебя под землей найду». Дверь с обратной стороны закрыл, на лошадь и — айда...

— Смело!

— Этот Бредюк начудит!

— Что — Бредюк! Вот под Ольгой, говорят, командир Гладких, так это командир...

— Да и уж наш Мартемьяныч, думаю, не подгадит: слыхать, скоро на рудник пойдут...

— И то пора, а то ни жратвы, ни денег, детишки с голоду пухнут...

— Детишки — что: им не впервой пухнуть. Главное дело, беляки силу набирают. Ночью опять эшелон прошел. Говорят, новый начальник гарнизона...

— Этот подвернет гайку еще чище...

На противоположном конце площадки двое внезапно и неизвестно из-за чего подрались. Их быстро уняли, но они еще долго матерились, попрекая друг друга.

С этой группой рабочих, часам к трем пополудни, пройдя еще один перевал с ползущими через него, как бурые черви, вагонетками, Лена добралась до станции Сицы. Чтобы избежать расспросов, почему она остается здесь, ей пришлось выждать за станционным сараем, пока отойдет поезд. Потом она расспросила дорогу в деревню Хмельницкую и храбро двинулась в путь.

Обливаясь пóтом, она перекладывала пальто и саквояж из одной руки в другую; наконец ей стало ясно, что она не в состоянии донести обе вещи. Тогда с небрежностью человека, которому вещи достаются без труда, Лена выбросила пальто в кусты.

Дорога шла тайгой через горы, лес стоял безмолвен; никто не обгонял Лену, никто не встречался ей; слышен был шорох каждого сухого листа. Лена перевалила одну гору, за ней виднелась другая. Дорогу обступали чудовищные нагромождения бурелома: вывороченные с пластами земли корни упавших дерев стояли, как пирамиды.

Жуть овладевала Леной. Что, если она не успеет дойти до деревни и ей придется ночевать одной в этом бору? Она убыстряла шаг, бежала, спотыкалась, падала, подбирала саквояж и снова шла, прерывисто дыша, держась рукой за сердце.

Весенний мутный поток с выступающими из него склизкими валунами с ревом перегораживал дорогу. Лена походила возле, отыскивая кладку или упавшую лесину; потом, как была, в красных сапожках вступила в ледяную воду. Вода била выше колен. Приподняв в дрожащей от напряжения руке саквояж, Лена все же выбралась на другой берег и побежала, даже не вылив из сапожков воды.

И вдруг за поворотом дороги оборвался лес, и перед Леной раскинулся просторный, залитый вечерним солнцем луг в яркой мураве, подснежниках и фиалках. В дальнем конце его виднелась поскотина в молодых кустах, за кустами выступали тесовые и соломенные крыши изб и колодезные журавли. И Лена едва удержалась от слез, когда над одной из крыш увидела поникший красный флаг.

Из кустов вышел пожилой крестьянин в войлочной шляпе — в сопровождении мальчика-подростка лет тринадцати. Крестьянин был опоясан патронташем и в руке, как палку, держал ружье.

— Стойте! Кто такая будете? — спокойно спросил он, пощипывая пальцами козлиную серую бородку.

Лена растерялась, не зная, как назвать себя.

— Я иду из города... Мне нужен штаб или комитет партизан... Там должен быть мой отец...

— Отец? — недоверчиво переспросил крестьянин. — Кто он будет, ваш отец?..

— Доктор Костенецкий...

— Владимир Григорьевич?

— Да, да... — радостно сказала Лена.

— Ловко!.. — Лицо крестьянина распустилось в улыбке. — А я и не знал, что у него дочка есть. Вы, видать, в городу жили? Учились, что ли?

— Вот-вот...

— Ловко!.. А и вымочились же вы! Вода еще больно студена, как раз заклечетеешь. Гриня! Проводи девку до избы, скажи... Да нет, видать, самому придется. Держи-ка амуницию...

Он передал мальчику ружье и патронташ.

— Значит, ты близко не подпущай, а сдалека кричи: «Стой! Кто идет?» Ты не гляди, что я вот ее до себя допустил, потому я уж видел: идет девка одна... Ежели скажет: «Свой», — расспроси и к председателю сведи, а ежели видишь — беляки, стреляй три раза и беги в кусты, чтоб не поймали... Пойдем, девка!..

— У нас тут караул подворно, — пояснял он, шагая с Леной в деревню, — ну, старшой у меня в отряде в Перятине, а этот еще мал, а бабы к этому делу не способны — приходится самому... Так вы, значит, дочка Владимира Григорьевича? Ловко!.. Да ведь я его хорошо знаю. И то сказать, кто его не знает... Он ведь все в Скобеевке

живет. И в штабу работает, и больных лечит... Степан! — окликнул он парня, ладившего борону во дворе. — Беги к председателю, скажи, чтобы в карауле меня заменил, — у меня гости: дочка скобеевского доктора приехала. А то парнишка мой, боюсь, по коровам палить начнет...

Парень, отложив борону, побежал впереди них по улице, по которой уже ложились вечерние тени.

— Вот он, дворец мой, — сказал крестьянин, останавливаясь возле одной избы. — Не побрезгуйте...

Женщина в повойнике возилась возле печи; из темного угла глянули хмурые лики образов. Женщина вопросительно подняла голову, задержав в печи ухват.

— Вот привел тебе дочку Владимира Григорьевича, что лечил тебя, не забыла?.. Ты эти дела бросай, беги к соседке за самогоном, надо девке ноги растереть... Яйца-то у нас еще остались. Яишенку бы не грех. Садись, девушка, давай свою хурду...

— Скажите, я подводу здесь достану? — спросила Лена, садясь на скамью.

Крестьянин, став на одно колено, стащил с нее сапожки, мокрые чулки.

— Подводу как не достать... Добрые сапожки, а пропасть могут. Ну, мы в них овса насыпем, а к утру смажем, и ловко будет...

Он выспрашивал городские новости — «много ли силы этой, японцев, идет», и «можно ли купить что», и «что это за новые деньги Колчак выпустил», и «что про Советскую Россию слыхать». Лена, напрягая память, выкладывала все, что́ читала и слышала, и ей было стыдно, что она ничего не может толком рассказать ему.

Дверь в другую половину избы, с закрытыми ставнями, была приотворена; женщина в темноте однообразно качала люльку и тоненько-тоненько напевала что-то нерусское.

— Вот он, самогон! Теперь у нас дело ловко пойдет... — сказал крестьянин, принимая от жены бутыль. — Да нет, сама налей...

Он подставил свои, в коричневых мозолях, ладони.

Спускались сумерки; в печи шипела яичница; Лене покалывало ноги, жар поднимался выше колен, по всему телу разливалась истома, смыкались веки. Крестьянин, склонившись перед Леной на коленях, все растирал и

растирал ей ноги шершавыми бережными ладонями, и Лена уже сквозь дрему слышала, как позвякивает кольцо от люльки и тоненько-тоненько поет женщина:

Трансваль, Трансваль, страна моя,
Горишь ты вся в огне...

XLVII

При свете ночника и лампады они ужинали — крестьянин, его жена, сноха, дочь, вернувшаяся с огорода, сынишка, снятый с караула, и Лена. Они сидели вокруг стола и ели из общей миски деревянными ложками, подставляя куски хлеба, чтобы не капало на стол, — это походило на игру. Лена сидела с обернутыми в тулуп ногами. Брякнула щеколда, и маленький человечек переступил порог.

— Здесь, что ли, дочка Костенецкого остановилась? — выступая на свет, спросил он знакомым Лене веселым и тонким голоском.

— Здесь, здесь, милости просим! — сказал крестьянин.

Лена так и застыла с ложкой.

Перед Леной, изумленный не менее ее, стоял маленький горный инженер. Он был теперь в черной сатиновой гимнастерке и пыльных сапогах, но в той же инженерской фуражке, только уже без молотков.

— Ну, знаете ли, бывают номера!.. — сказал он тоненько и покрутил ежовой своей головой. — Так вы, стало быть, и есть дочка Костенецкого?

Вся семья, оставив еду, с любопытством смотрела на них.

— Я и есть... Я вас тоже не ожидала здесь встретить, — удивленно приподняв брови, сказала Лена. — Вы так загадочно исчезли...

— Ага, стало быть, раньше видались, а теперь невзначай встрелись, — удовлетворенно сказал крестьянин, снова принимаясь за еду. — Ловко!.. Кушать с нами...

— Да я уж откушал... Действительно, ловко! Сижу я у председателя, прибегает парень — что-то насчет караула. Говорит: приехала дочка скобеевского доктора. «Костенецкого?» — говорю. «Костенецкого». А о Костенецком я слыхал, да и о вас кое-что Хлопушкина мне рассказывала...

— Вы знаете Хлопушкину?! — с радостным изумлением воскликнула Лена и покраснела.

— Немного знаю: это, видите ли, жена моя... Правду сказать, по ее обрисовке не выходило, что вы должны бы к партизанам приехать, да ведь чего на свете не бывает... Но что вы окажетесь той самой барышней, с которой я в поезде ехал, — этого уж я никак не ожидал!.. Ну, будем знакомы наново... Алексей Чуркин, — сказал он, протягивая руку.

— Но вы все-таки инженер или не инженер? — улыбнулась Лена.

— Такой же инженер, как вы, извиняюсь, паровозный машинист, — весело поблескивая глазками, отвечал Чуркин.

— Вот оно что!.. Вы, стало быть, инженером переодеты были? — радуясь своей догадливости, спросил крестьянин.

Это показалось ему настолько смешным, что он бросил ложку и залился хохотом, падая грудью на стол.

— Вот так инженер!.. Хо-хо-хо!.. — заливался он. — Ну, инженер!.. Хо-хо-хо!..

— Тю — на тебя! — сказала жена.

— Как же вы пропуск достали? — наивно спросила Лена.

— Ну, это дело нехитрое: пропуска мы сами делаем... А даму-то помните? — Чуркин подмигнул Лене. — Очень чу́дная дама. Помните, что с ней стало, когда стрелять начали? — Он тоненько засмеялся. — А офицерик-то!.. Это что за офицерик? — спросил он как бы невзначай.

— Один из знакомых Гиммера, — спокойно сказала Лена.

— Так... — Чуркин постоял в раздумье. — Этот, знаете ли, будет стрелять и вешать...

— О, он будет! — убежденно сказала Лена. — Вам, значит, Хлопушкина рассказывала про меня? — спросила она с грустью. — Если бы она знала, как мне хотелось поговорить с ней тогда, на выборах! Ведь я обо всем догадывалась... Я ее так искала потом — и в адресном столе, и дома — и не могла найти...

— Найти ее сейчас хитро, — согласился Чуркин. — А коли б было не хитро, она бы уж давно в тюрьме сидела... Ну что ж, значит — все прекрасно, — сказал он, как бы сделав какой-то внутренний вывод. — Завтра,

стало быть, вместе поедем. Здесь, кстати, есть одна скобеевская подвода, — говорят, какой-то мужик возвращается с Кангауза. Я с ним пойду сговорюсь, а вы ложитесь, спите, — подыму я вас раненько. До свидания пока... Прощайте, хозяева!

И, помахав своей плотной, похожей на карасика ручкой, он вышел, оставив Лену удивленной и внутренне растревоженной.

XLVIII

Чуркин, или Алеша Маленький, как его чаще звали (в подпольном комитете был еще Алеша Большой), отыскал избу, в которой, ему сказали, остановился возвращавшийся с Кангауза скобеевский крестьянин. Это была изба зажиточного крестьянина — рубленная глаголем, с резным крыльцом и коньками. Высоко в небе стояла половинка месяца, и изба и улица лежали в серебре.

Перед самым носом Алеши распахнулись тесовые ворота, и хозяин выпустил лошадей в ночное. На передней ехал парнишка в белой рубахе. Жеребенок, подбрыкивая и звеня колокольчиком, боком-боком прошел мимо Алеши, заржал, сзади откликнулась матка. Алеша пропустил лошадей и зашел в просторный, обнесенный строениями двор.

— Скобеевский у вас ночует? — спросил он хозяина, запиравшего ворота.

— У нас...

— Мне бы сговориться с ним.

— Вон он сидит...

Хозяин кивнул в глубину двора.

Рослый, широкой кости черноголовый мужик сидел на краю телеги, свесив ноги, приподняв могучие плечи, освещенные месяцем.

— Здравствуйте, — сказал Алеша.

— Здравствуй... — медленно ответил мужик, сверкнув белками; жесткая, как проволока, черная борода обкладывала лицо мужика.

— В Скобеевку завтра едешь?

— Завтра...

— Двоих с собой можешь захватить?

Мужик каменно смотрел мимо Алеши.

— Я заплачу́, — чуть улыбнулся Алеша.

— Чего ж платить... Приходите на рассвете...

— Нам в ревком надо, — сказал Алеша, как бы извиняясь.

Мужик молчал. Дремучая, каменная сила была в этом мужике.

— Ты на Кангаузе был? — полюбопытствовал Алеша.

— Да... Китайского купца отвозил.

— Не боязно было?

— Чего ж мне бояться?..

— А если бы белые захватили?

— Я в самый поселок не въезжал.

— А хунхузы могли купца ограбить, — прикидывался наивным Алеша.

— Что ж... Они б его грабили, а я б стоял возле да смеялся, — диковато усмехнулся мужик.

Некоторое время Алеша с интересом рассматривал облитое месяцем мощное тело мужика.

— Твоя фамилия-то как? — неожиданно спросил Алеша.

Мужик помолчал, потом поднял на Алешу глаза, полные дикой печали.

— Моя фамилия — Казанок... — медленно и спокойно сказал он.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

В то время, когда Мартемьянов и Сережа сидели в Ольге на телеграфе, провожавший их до перевала крестьянин Иосиф Шпак, по прозвищу Боярин, только подходил к своей деревушке Ивановке. Вопреки его предположениям, понудившим его избрать более длинный обратный путь трактом, туман в этот день захватил только побережье. По сю сторону отрогов вечер наступил холодный, прозрачный: месяц светил так ярко, что звезды едва проступали, трава на болоте казалась покрытой инеем и блестела.

Всю дорогу Боярин мастерил шестилетнему внуку свистульки на разные голоса и так досадовал на свою опрометчивость в выборе дороги, что завалил свистульками чуть ли не полкошелки.

Занимало его, впрочем, другое дело, от которого он было увильнул, сам назвавшись в проводники, а теперь и жалел об этом, и боялся, что ему все-таки придется вернуться к этому делу. Дело это состояло в том: продавать или не продавать хуторскому молдавану, Митрию Лозе, единственную лошадь.

Ее привел в восемнадцатом году, после разгрома уссурийского фронта, старший сын Федор, служивший в ту пору в Красной гвардии в артиллерийском обозе. Первое время в семье ругались от страха, что вот придут белые,

заберут-де и Федора и лошадь. Боярин даже просыпался по ночам и, удивляясь беспечности сына, выходил во двор, прислушивался. Но, видно, никому не было дела до красногвардейской лошади! Она спокойно и значительно жевала траву в слаженной для нее наспех вербовой пуньке, — и к этому привыкли. Зимой Боярин даже подработал на ней, нанявшись с соседом на возку дров для волостной больницы, — сосед дал сани и человека. А этой весной лошадь уже ходила в запашке, хотя пахать Боярину было почти нечего. Теперь трудно было представить себе жизнь без лошади. Мало того: лошадь сулила возможность иной, более богатой и счастливой жизни.

И все-таки выходило так, что лошадь нужно продать.

Дочь Боярина, по бедности засидевшаяся в девках, засидевшаяся до того, что на деревне ее из жалости начинали звать уже не Дуней, а Дуняшей, нашла наконец жениха. Жених был, правда, неказистый, маленький и после контузии на германском фронте плохо слышал, но все же не хотел брать жену без приданого: при большом выборе на девок в волости он мог найти бесприданницу помоложе и не рябую.

Боярин знал, что, если ему упустить случай, дочь так и засохнет в девках. Вдобавок ко всему она так бесстыдно набивалась к жениху, так обижала братниных детей и ревела по ночам и столько об этом было разговоров в деревне, что Боярин по-настоящему жалел ее и боялся греха. Однако достатков у него не было: справить приданое он мог, только продав лошадь.

Будь он один, он, пожалуй, решился бы на это. Но старуха, а особенно сноха были против, а сыновья ходили теперь в партизанах, и их нельзя было спросить, хотя он догадывался, что младший, холостой, сын тоже был бы против.

— Ежели бы Ванька да Федор дома были, разве бы я пожалел? — говорил он дочери с той щедростью в голосе, которая показывала, что на скорое возвращение сыновей нельзя и рассчитывать.

«А чего ей? Успеет еще... Двадцать пять лет ждала, и еще подождет, — бормотал он теперь, шагая через колдобины и ожесточенно строгая свистульки. — Да и то мало радости за глухим: лучше уж век в девках...» Но через минуту ему представлялись вздрагивающие худые

плечи дочери и то, как она кричит на всех и роняет горшки, и получалось так, что лошади нельзя не продать.

«Что ж — лошадь? — думал он, обиженно поглядывая по сторонам на сирые кусты, на блестящие от месяца калужины. — Жили без лошади... А она в своем праве. Тоже и старуха: сама небось как бы взвыла, коли довелось бы так в молоды-то лета!.. Да оно и легче: травы не косить, хлеб убрать пособят, — сыновья небось не за одного меня бьются, — а там, глядишь, на что лучшее выйдет... А, продам! — решал он, принимаясь снова за свистульки. — Лишь бы только молдавана захватить...»

Решив так, он начинал рядиться: если уж продавать — так продавать умно, чтобы и самому осталось, и жениха не обидеть. Но деньги падают в цене, «сибирок» в деревнях не принимают, — мужики говорят, что их печатают на бумаге, которой корейцы оклеивают окна, — «керенки» тоже неизвестно, удержатся или нет. «Ежели бы *романовки?* А то мукой взять?.. А где я ее обменяю, муку?..» Это было так сложно, что приходилось начинать сначала. И когда он подходил к деревне, он все еще не решил вопроса, мучившего его всю дорогу.

Стояла уже та спокойная, усталая тишина, которая наступает после вечерней суеты; огни давно зажжены; ребята больше не перекликаются на улице, загоняя скот; мужики, вернувшиеся с поля и давно разувшиеся, кончают ужинать; бабы моют посуду, застилают постели, укладывают ребят; опустошенные коровы лижут влажных телят или задумчиво пережевывают жвачку, вперив фиолетовые очи во тьму; усталые лошади переступают в конюшнях, — слышно, как на болоте округло квакают лягушки, тоненько поют комары; пахнет конским пометом, сыростью, смолой, дымом, оседающей пылью.

Эти привычные мирные звуки и запахи вызвали в Боярине чувство неопределенной тоски и зависти. Ему захотелось видеть людей и длинно рассказывать этим довольным, счастливым, ничего не подозревающим людям о лошади, о молдаване, о дочери, о том, как сам он, Боярин, обидно и несправедливо несчастлив. Он свернул к ближнему двору. Там горел костер, бросая на дорогу пляшущую тень от загорожи, — круглые головы ребятишек маячили перед огнем.

Это был двор Никиты Голохвоста, солдата германской службы, ходившего эту весну в председателях и

сильно пострадавшего от белых за отказ сдать новобранцев и казенное оружие. Когда в деревню пришла «карательная», Голохвост едва успел скрыться от расправы. Но в то время уже вся волость стояла под ружьем. Никита ночью нагрянул в деревню с отрядом. Сонные юнкера разбежались в нижнем белье, а командира взвода и двух отделенных Никита захватил в собственном амбаре с женой. Отделенных тут же застрелили, а командира взвода схватили живьем, связали руки и поволокли по деревне, — толпа валила за ним и била его чем попало.

Боярин помнил, как жена Голохвоста, простоволосая, в разодранной юбке, за которую цеплялась плачущая девчонка, бежала сбоку и, тоже плача, крича и ругаясь самыми оскорбительными для себя словами, плевала офицеру в глаза или вдруг впивалась пальцами в обезумевшее, окровавленное лицо. Боярин тоже бежал со всеми, также кричал и бил офицера и даже ухитрился пнуть его лаптем, когда офицер упал на землю и все бросились его топтать.

Никита с женой возили теперь лес на новый сруб (другая «карательная» спалила у них избу) и, как видно, припозднились: жена только еще доила корову. Никита стоял возле, держа одной рукой тянувшегося к вымени телка на веревке, другой он хватал его за мордочку. Корова тихо мычала и билась, поворачивая голову к телку, — жена Голохвоста уговаривала ее.

— Маятно небось с телком, — сказал Боярин, ощутив за Никиту мягкие и теплые прикосновения телячьих ноздрей в ладони. — Здравствуйте!..

— А, Осип... Здорово! — сипло отозвался Голохвост.— Ну, как? Провел?

— А чего им сделается! — Боярин пренебрежительно махнул рукой.

Но Голохвост, как видно, думал по-другому.

— Старик уж больно хороший, — сказал он с улыбкой, — правильно разъясняет... Чего там нового слыхать? Да стой ты, дьявол! Васька, иди, телка подержишь... Правду говорят, будто отряд Гладкого на Сучан уходит? Видать, здорово там заварилось!..

— Да я в Ольге не был, — нехотя сказал Боярин.

— Не был?.. Нонче Николка, Федотов сын, воротился с волости, говорит...

— Вот горе мне с ней — не дает! — со слезами сказала жена Голохвоста. — Подпускай, что ли-ча...

Голохвост отстранил подбежавшего к нему парнишку и сам подпустил телка.

— Да, воротился с волости, говорит, будто заняли наши Сучанский рудник, будто подбираются к Кангаузу...

— Очень просто, — согласился Боярин, не поверив ни одному слову. — Ишь как дорвался, — мрачно кивнул он на телка, нетерпеливо выбрасывавшего задние ножонки, как котенок, ступивший в мокрое.

— Говорит, будто мериканцы на Кангаузе за нас, только не может того быть: много их, союзников, на нашу шею!..

Боярин глядел на жилистую, откинувшуюся назад и освещенную со спины фигуру Голохвоста, на его напряженные руки, на белую хустку его жены, — баба, съежившись, сидела на корточках, оберегая ведро, чтобы телок не опрокинул его, — Боярин вспомнил вдруг, что Никита никак не может простить жене того, что было с офицерами, и мучает ее по ночам, а днем она едва скрывает синяки. «Так вот, может, и с моей дурой, — тоскливо подумал он о дочери, — радуется тоже: нашла-а жениха...»

— Прощайте покуда, — сказал он обиженным голосом и медленно пошел от ворот, вывертывая большие ступни и приседая.

Он мог бы еще обратиться со своим делом к старшему брату, но после раздела отцовского имущества, когда брату досталась лучшая доля, у них установились самые враждебные отношения. И, проходя мимо его избы, — а особенно поймав в окне кормящую грудью красивую братнину сноху, — Боярин только ускорил шаг.

Он знал, что в его несчастье ему не поможет, даже не подумает о том, что ему хорошо бы помочь, никто из людей — ни Голохвост, ни брат, ни, уж конечно, лесной подрядчик Анкудинов, братнин сосед, в доме которого — единственном богатом, с железной крышей доме в Ивановке — уже закрывали ставни: кто-то гремел болтами. А в бога Боярин так глубоко и прочно не верил, что когда увидел через освещенное, не закрытое еще окно, как старик Анкудинов в чистой белой рубахе, сам длинный и вязкий, как червь, на коленях отбивает поклоны, вознося персты, выставив кривые пятки, — ему захотелось матерно выругаться.

«Хоть бы уж молдаван-то ушел, — тогда один конец», — подумал он, проникаясь совершенно непереносимой жалостью к себе.

Подходя к своей неогороженной, стоящей на отлете избушке, он увидел в окне худое, унылое лицо дочери, — она сидела, охватив ладонями щеки, и, как видно, не узнала его. И последняя надежда на то, что все, может, обошлось благополучно, покинула Боярина.

Старуха в черном, выцветшем повойнике ожесточенно стирала со стола, сердито шаркая по столу опухшими руками; сноха собиралась по воду — гремела у двери ведрами. Когда Боярин вошел, она быстро взглянула на него и, выпятив брюхо (она была беременна), не поздоровавшись, вышла из избы. «Ругались, видать...» — с опаской подумал Боярин.

— Ушел молдаван-то? — спросил он, покосившись на ребятишек, сонно разметавшихся на тряпье у печи.

— Тебя дожидаться будет!..

— И брешешь, вот и брешешь! — злобно закричала дочь. — И не ушел он никуда, — сидит у Лиманихи...

— А ты... ладно... И не встревай, и думку ты эту оставь! Не будет ничего этого!.. — горячилась старуха.

Боярин опустился на лавку тут же у двери. Ему сильно хотелось есть, но он не решался попросить, а старуха и не собиралась кормить его, и он с глухим раздражением наблюдал за тем, как она, ссыпав в помои картофельную шелуху, яростно размешивает ее.

«Должно, еще свинью не кормили, ну, дела-а...»

Старуха, боком распахнув дверь, с силой захлопнула ее. «Чух-чух-чу-ух...» — послышался уже за дверью ее резкий, неприятный Боярину голос...

— Батя... — вдруг тихим, дрожащим и плачущим голосом сказала дочь. — Батя!.. — повторила она, подняв к нему свое рябое, длинное, осунувшееся лицо. — Ах, батя, батя!.. — Она упала лицом на лавку и тоненько заплакала. — Батя, батя... — повторяла она, и все ее худое, острое и жалкое тело сотрясалось от рыданий.

Боярин несколько секунд молча глядел на нее, хотел было сказать ей что-то утешительное, но вместо этого из горла его вырвался щенячий сдавленный звук, — он решительным движением сорвал с гвоздя шапку и, не оглянувшись на дочь, вышел из избы.

— Куда ты? — накинулась на него старуха. — И не думай, и не будет ничего этого! — закричала она, поняв, что он идет к Лиманихе. — И не дам я! Я лучше из дому уйду. Я лучше побираться пойду!..

Но Боярин, стараясь не слышать ее слов, уже шагал по деревне.

Злоба на всех людей теснилась в его груди, — он шевелил губами, борода его вздрагивала, он боялся, чтобы кто-нибудь чужой не встретился ему на пути.

II

Хуторянин Митрий Лоза, из обрусевших молдаван, усатенький говорливый мужичок с живыми, хитрыми глазками, весело и жизнерадостно выглядывавшими из-под темно-рыжих кудрей, спадавших ему на самые брови, действительно сидел у Лиманихи. Он гадал ей на картах и, как видно, говорил только что всякие неприличности, так как Лиманиха, еще не очень старая, рыхлая, белотелая женщина, лучшая в селении гадальщица и повитуха, сидела вся красная и, колыхаясь от смеха, отмахивалась от молдавана.

— А-а, пришел? — весело закричал Лоза, увидев Боярина. — А я тебя цельный день ожидаю. Утром зашел, да, говорят, ушел, а я говорю: придет. Да вот все сижу у Лиманихи, си-ижу себе у Лиманихи, га-даю себе на пупе... Нет, нет, нет! — замахал он руками, когда Боярин хотел что-то сказать ему. — Бутылочку — тогда поговорим!.. Тащи бутылочку, мамонька... Ну, как, проводил начальство? Аль ты ноне сам из тех же квасов — делегат чи депутат?

Он вдруг искренне обрадовался этим новым чужим словам, — весь залился смехом, обнажив малиновые десны. Все его щуплое тело как бы само в себе, внутренне, двигалось под рубахой, он щелкал пальцами, шевелил усиками и был так явно весел, хитер и доволен жизнью, что у Боярина сразу отлегло от сердца. «И правда — один конец, а то туда да сюда», — подумал он, оживляясь. А когда Лиманиха принесла самогон и расставила на столе чашечки с невинными незабудками и когда выпили по одной, все дело показалось уже не таким сложным.

— Что ж — лошадь? Жили без лошади, — размышлял он вслух, быстро хмелея и выставляя вывороченное порозовевшее веко. — Только и деньги сейчас, например, какие? Сам знаешь, какие, например, сейчас деньги...

— Навоз, на-воз! — соглашался Лоза, от каждой выпитой чашки становившийся все веселей и подвижней. — Не деньги — навоз, не говори, Гордеевна!.. Да ведь-с, как сказать, не в деньгах счастье!..

Выходило так, что молдаван и не надеялся купить лошадь за деньги.

После долгих подходов они столковались на том, что вначале нужно оценить лошадь в старых довоенных рублях. Они торговались еще не меньше часа и, хотя добрый артиллерийский конь стоил верных полтораста, с трудом сошлись на шестидесяти, и то при условии, что молдаван сегодня же уведет лошадь, на чем он, незаметно для Бояринa, особенно настаивал.

Предстояла самая тяжелая часть дела — определить, в чем должно заключаться приданое, которое они тоже решили исчислить в довоенных рублях и которое молдаван сам обязан был выправить и тайно от жениха доставить в избу Боярина.

Боярин не мог решить этот вопрос без старухи и самой дочери. Но он очень захмелел, и ему казалось, что все так хорошо сладилось, что теперь не только старуха, но любой человек должен ему сочувствовать. Раскрасневшийся Лоза с готовностью прихватил бутылочку, и они вместе отправились к Боярину на дом.

Там уже загасили огонь. Боярин было смутился, но в это время от избы отделилась белая фигура дочери, — она схватила отца за руку.

— Брешут, не спят они, — сказала она прерывистым шепотом. — Ты уж гляди, батя...

Он, храбрясь и сразу поюродивев, отворил дверь.

— Э, вы, тетери-етери, принимай гостей! — с фальшивой развязностью сказал он, стараясь подражать бойкому молдавану.

Сначала никто не отозвался, потом старуха, сердито бормоча, слезла с печи. Дуняша дрожащими пальцами зажгла коптилку. Внучок Федька приподнялся на тряпье, помигал сонными глазенками и, так и не проснувшись, притулился опять к беловолосой девчонке, сладко посапывавшей у печи. Сноха, одетая, лежала на

кровати, отвернувшись к стене, — она притворялась спящей.

— Сюда, сюда. — Боярин угловато засуетился. — Дарьюшка, нам бы огурчиков...

— Нет у меня никаких огурчиков, — отрезала старуха.

— Я вот скажу Федору, как ты с конем его управляисси! — завизжала сноха, внезапно срываясь с кровати. — Не твой конь-то, нет такого права!..

— Те-те-те... — залился молдаван. — Ай, молодая!.. Ну и молодая же! — кричал он восхищенно и радостно, забавляясь тем, что все так необычно и ловко получается. — Да я б с такой сто коней нажил!.. — Он хотел ущипнуть ее за бок, — она взвизгнула и ударила его по руке, но он, нисколько не обидевшись, залился еще пуще: — Ай, горяча, ай, горяча!.. Не горюй, рюмочка, сама небось замуж выходила...

— А мы ж до чего ж ладно... сладились... — смущенно сияя, лепетал Боярин.

Дуняша, больше всего боявшаяся, что дело расстроится, и готовая до конца драться за свое счастье, спешно накрывала на стол. Молдаван вдруг сам бросился ей помогать.

— Выпей, мамонька!.. Откушай, красавица!.. — кричал он через минуту, поднося самогон то старухе, то снохе.

Сколько они ни ругались и ни упрямились, торг все-таки начался.

Дуняша называла вещи: рубахи, полотенца, полную постельную справу (она стала вдруг жадной и расчетливой — ей уже мало было одного стеганого одеяла, она требовала и другого, уже лоскутного, заикнулась даже насчет пикейного), — молдаван отмахивался, доказывал, что ничего нельзя достать, потом соглашался на то, что подешевле, но и это оценивал втридорога.

Сноха, бывшая до того главной противницей продажи лошади, незаметно для себя тоже влезла в спор.

— И не бери ты ситцева, Дунька, нехай сатиново... — вставляла она. — Дунька, а новины забыла?..

Боярин в счастливом опьянении только повторял:

— Нет, ты гляди же ж... чтоб ладно было, Митрий Степаныч...

Когда они кончили торговаться, стояла уже черная глухая ночь; в избе было вонько и жарко; все, не исклю-

чая беременной снохи, были порядком пьяны; молдаван до того вспотел, что на лбу у него развились кудри. Он вытащил из кармана засаленную книжечку и огрызок карандаша и стал писать расписку, перечисляя все барахло: приданое определилось в сорок два рубля и тридцать копеек, — остальное Лоза обязался додать мукой.

— Вот я тебе тут выписал химичецким, — сказал он с усталой улыбкой, протянув расписку Боярину.

— Эвона сколь... написано!.. — восхитился тот, повернув расписку вверх подписью: приданое казалось ему царским. — А ну, как тебе столь и... поднять-то не под силу?

— Тю-у, — свистнул Лоза. — У Казанка небось всего хватит.

— О-о!.. То ж Казанок!.. — Боярин восторженно поднял палец.

Но старуха, меньше всех выпившая, услыхав эту знаменитую в уезде фамилию, подозрительно уставилась на молдавана.

— А Казанок тебе... чего?

Лоза, сообразив, что сказал лишнее, хотел было замять это обычной веселой суетой, но вдруг почувствовал, что сильно устал, что все ему надоело и что ему уже совсем не весело.

— Пошли, пошли, давай коняку свою! — почти грубо сказал он Боярину и подтолкнул его в спину.

Боярин, заплетаясь и мигая, чувствуя, что получается как-то нехорошо, вывел из пуньки лошадь. Гривастый белолобый конь с мохнатыми надкопытьями лениво косился светящимся звериным зраком. Боярин держал его за гриву, все не решаясь отпустить, — земля плыла под ногами. Но молдаван, дернув за узду и чмокнув, сразу пустил коня тяжелой рысью.

— Недели через полторы все завезу, не бойся!.. — крикнул он уже из темноты.

Боярин, пошатываясь, вошел в хату. Смятенные лица баб надвинулись на него.

— Дожились, вот и дожились, — плача, говорила старуха: — «У Казанка всего, говорит, хватит»... а тебе и невдомек... ай, горе, горе!..

Боярин в страхе глядел на нее, — он только теперь понял, что Лоза работал, должно быть, от Казанка, что это связано как-то с недавно зачитанным на сходе

приказом ревкома, запрещавшим барышничество, а главное, что дело, с которым он так долго мучился, теперь решено бесповоротно и невыгодно. Он схватил со стола расписку и бросился из избы, сронив у двери лавку с кошелкой, — веселые детские свистульки со звоном рассыпались по полу.

— Лоза-а!.. Обожди!.. — закричал Боярин и побежал по улице, нелепо размахивая распиской. — Обожди-и!.. Не надо мне бумаги твоей!..

Волосы его развевались, перед ним качались избы, деревья, сопки, вздыбленные огороды с окаймлявшими их чудовищными нагромождениями выкорчеванных пней. Деревня давно осталась позади, а он все бежал и кричал до того, что звенело в ушах:

— Обожди-и!.. Не надо мне бумаги твоей!.. Не надо мне...

Вдруг он споткнулся и упал, крепко зажав в руке расписку. И, только лежа на земле, понял, что находится уже в лесу, под сопкой. Он сел и, выпучив глаза, удивленно и испуганно посмотрел вокруг. Было удивительно тихо. Одинокий комарик несчастно и загнанно брунжал в ухе. Мохнатые ветви деревьев и черная непроходимая и страшная громада сопок двигались на Боярина, тьма разливалась вокруг, только над головой сиял торжественный купол неба, и оттуда глядели на землю холодные блистающие миры...

— ...бумаги твоей... — с тихим ужасом пролепетал Боярин.

III

Молдаван, свернув на бесколейную, совсем почти заросшую дорогу к хутору, проехал рысью версты четыре, потом дорога взяла в гору, и лошадь пошла шагом. Край заходящего месяца, выглядывавший из-за шафранных макушек дерев, освещал последние возделанные людьми прогалины. Чтобы не лазили дикие свиньи, прогалины обнесены были жестоким буреломом, карчами, принимавшими во тьме формы гигантских крабов, осьминогов, своими уродливыми страшными щупальцами напоминавших о труде, вложенном в это дело людьми. И горек был плод!

Но для молдавана зрелище это было самым привычным, обыденным,— он ехал нахохлившись и думал только

о том, что он сильно запоздал и что ему придется, захватив на хуторе монгольскую кобылку, купленную неделю тому назад у китайца-арендатора, этой же ночью двинуться в верховья реки Малазы.

Угнетало его не то, что лошади эти, как большинство лошадей, сплавляемых в последнее время молдаваном, попадут в колчаковскую армию и будут направлены против тех людей, с которыми он жизненно был связан, — об этом, из боязни перед самим собой, молдаван старался не думать, — а угнетало его то, что, как бы он теперь ни торопился, Казанок, любивший спорость и чистоту в работе, все равно уже будет ругать его. Лоза представлял его себе в уютной горнице за самоваром, сильно побагровевшего, с кирпичной, потно-волосатой, обнаженной грудью, ожесточенно хлебающего с блюдца, уставившись в одну точку печальными и дикими глазами, — и то, что Казанок может пить чай в то время, когда он, Митрий Лоза, пропадает в тайге с лошадьми, это больше всего злило молдавана: «Сам бы вот погонял... А-а, брат! То-то, брат, и оно-то!..» — думал он, сердито пошевеливая усиками.

Было уже около двух часов ночи, когда к нему донесся наконец особенный, свойственный людскому жилью в тайге запах осевшей по дереву копоти, и два громадных белых пса с рычанием выкатились к нему, как мохнатые шары. Узнав хозяина, они с ласковыми подвываниями запрыгали вокруг лошади. Из-за деревьев выступили приземистые строения, и злая мошкара, невидно мерцавшая над навозом, облепила лицо молдавана. Пока он отворял ворота, засветились два окна, отбросив по двору желтые полосы, — скрипнула дверь, и высунулась растрепанная женская голова.

— Митрий? — спросила она певучим, хриплым от сна голосом.

— Я, я... Поесть мне собери... Цыц вы! — крикнул он на собак, заводя лошадь в сарай.

Жена молдавана в нижней юбке, в расстегнутой белой кофте — чернявая, плотная, спокойно уверенная в себе женщина — подавала и убирала миски и чугуны, ловко орудуя ухватом, сочно ступая икрастыми босыми ногами, и, видно, оттого, что редко видела людей, без умолку рассказывала мужу всякие домашние пустяки: о том, что девчонка занозила ногу, что собак заели клещи,

а квочка вывела первых цыплят. Жена Митрия Лозы была кровной молдаванкой, но из-за мужа почти забыла родной язык и говорила по-русски, с цыганскими певучими интонациями. И, слушая ее сытный бабий говор, чувствуя радужное тепло, идущее от ее заспанного смуглого тела, и сам разогревшись от еды, Лоза повеселел, — насмешливо переспрашивал и про девчонку, и про цыплят, поблескивая хитрыми глазками и чавкая, потом рассказал жене, как обманул Боярина. Он, впрочем, не считал это обманом. Жена пожалела Боярина, а он посмеялся, содрогаясь под рубахой.

— Не, не буду, — сказал он, отодвигая молоко, которое она подала ему, — водку пил... Да и то убьют, может, а я жру... — Глаза его сделались совсем детскими.

Однако когда он надел старую, заплатанную поддевку, и жена подала ему завязанные в мешок харчи, и он в прорезь ее кофты увидел смуглый, матовый и теплый, дышащий у горла треугольник ее груди, он, забыв о смерти, крепко обнял жену и потащил за кумачовую, расшитую цветами занавеску.

— Тише ты, детей взбудишь!.. Да хоть поддевку-то сними, — певуче, уже по-молдавански добавила она за занавеской.

Чуть посветлело на востоке и тьма сгустилась вокруг хутора и веял легкий предрассветный ветерок, когда молдаван на маленькой стриженой монгольской кобылке, похожей на лукавого ерша, ведя в поводу медлительного мерина, тронулся в путь.

Вблизи становилось все светлее. В кустах зашелестели птицы. Вскоре видны стали повисшие на ветвях, налитые росой паутины; только в глубине — должно быть, у подножия хребта — клубилась еще аспидно-серая тьма. Тропа, по которой ехал молдаван, затерялась в зарослях лимонника и виноградника, лиственный лес все больше вытеснялся хвоей, — начался крутой подъем. Лоза, спешившись, ведя в поводу лошадей и оскользаясь по иглам, проторил до самого гребня рыхлую зигзагообразную дорогу.

И только на гребне он понял, что уже совсем рассвело. Вокруг расстилалось туманное волнистое море. Лошади, вздымая бока и фыркая, пугливо косились на скрытые туманом пропасти. Из-под мшистого камня у ног молдавана выбивался прозрачный ключ. Его студеная, как железо,

вода не замерзала и зимой, — ключ этот назывался «Горячий». Возле, на скрещении двух хребтов, стояла маленькая, похожая на скворечню, китайская кумирня с красной тряпкой, на которой вышито было по-китайски: «Сан-лин-чи-чжу» — «Владыке гор и лесов». Было очень росисто и холодно, но веяло уже терпким, свинцовым и сладостным запахом зацветающих рододендронов.

Вдруг из-за спины молдавана покатился матовый луч, и вырванные из тумана макушки дерев ярко и молодо зарозовели. Молдаван снял шапку и перекрестился.

В этом месте от главного Сихотэ-Алиньского становика, на который по восточному его склону поднялся молдаван, ответвлялся один из самых глухих и высоких горных отрогов, протянувшийся далеко на запад — до горного узла Да-дянь-шань. Он разделял внутреннюю страну на две неравные части. Реки, которым он давал начало северной своей стороной, вливались в могучую речную систему Амура. Реки, текущие к югу, куда шел молдаван, — Сучан, Циму, Майхе, с их многочисленными притоками, в том числе речкой Малазой, притоком Сучана, — образовали южные русские заливы Японского моря.

— Ну, с богом, — дрогнувшим голосом сказал молдаван. И, взгромоздившись на кобылку, тронулся вдоль по отрогу, по козьей, устланной иглами тропинке.

Притаившийся под кумирней полосатый бурундучок некоторое время слышал еще редкие удары подков о камень, потом, уже совсем издалека, донесся треск сучьев, грохот сорвавшегося валуна, — должно быть, Лоза начал спускаться на южную сторону отрога, — все стихло.

Леса и горы, горы и леса вставали вокруг все бесконечней, все гуще, все розовее и золотистей.

Горный козел, горал, легко ступая прыткими стройными ногами, вышел из кустов, повел ноздрями, чуя примеси кислых незнакомых запахов, потом склонил голову к роднику, посопел и, выставив на солнце пушистое белесовато-желтое горло, потряхивая темно-бурой гривкой, побрел по главному становику к югу. Некоторое время спустя снизу, с восточной стороны главного хребта, послышался все нарастающий хруст и шум листвы, и через скрещение хребтов, покрыв собою все, пропороло огромное многоголовое стадо кабанов — целая туча грязной вонючей щетины, сверкающих глаз и клыков.

И еще не смолкла после них чаща, когда на гребень вышел человек.

Человек этот — невысокого роста, в китайских улах и шапочке, с тяжелой поклажей за спиной, со сложенными пополам косами, крепко зашнурованными, схваченными ниже затылка кожаной перемычкой и выпущенными вперед, поверх ключиц, как два обрубка,— поднялся по распадку, соседнему с тем, по которому подымался Лоза.

— Ай-э, сколько грязных людей! — воскликнул он, быстро охватив кабаньи следы своими длинными косыми глазами, очевидно подразумевая под «грязными людьми» кабанов.

Но, заметив вдруг свежий, незатертый оттиск подковного шипа, попятился в кусты и быстро огляделся по сторонам. Однако он тут же сообразил, что, если бы лошадь была близко, — кабаны не рискнули бы пройти этой дорогой. Тогда он снял поклажу и, пригибаясь к земле, стал щупать следы.

Грунт был очень тверд, местами каменист, кроме того, много напортили свиньи, но человеку достаточно было самых незначительных примет, чтобы воображением своим восстановить несколько различных конских отпечатков. На одном из них сохранился след козлиного копытца. Человек размышлял: горал был здесь до того, как прошли кабаны, и после того, как топтались лошади, но пугливое животное могло прийти сюда не скоро после того, как ушли лошади; с другой стороны, оно должно было уйти не позже, чем донесся снизу первый отдаленный шум от кабанов; но лошади наследили уже после того, как выпала роса. Значит, лошади были здесь в начале солнечного восхода. Откуда они пришли?

Рассматривая следы, человек заметил дорогу, идущую из соседнего распадка. Он немного спустился, изучая ее. Одна лошадь была поменьше, кованная только на передние ноги, другая — побольше, кованная на все четыре. Вел их один — русский, судя по обуви, — человек с небольшими ступнями. Несмотря на то, что он лез в гору, он шел не на носках, как ходят молодые, сильные люди со здоровым сердцем, а ставя накось полные ступни, — человек этот был немолодой. Если он был не дурак, он мог идти этой малоудобной дорогой только из деревни Ивановки.

К западу от кумирни человеческих следов уже не попадалось, а только конские. Судя по их чередованию, русский человек ехал впереди на меньшей лошади, а бо́льшую вел сзади на коротком поводу, — она все время напирала на переднюю, сбивая ее и оступаясь.

Потом следы обрывались, и начиналась проделанная в чаще дорога вниз, в верховья Малазы. Здесь меньшая лошадь мочилась, расставив задние некованые копыта, — это была кобыла.

Маленький, пожилой русский человек с двумя лошадьми, из которых меньшая — кобыла, прошел из района деревни Ивановки через скрещение хребтов Дзубь-Гынь мимо Горячего ключа в верховья Малазы.

Человек, изучающий следы, облегченно вздохнул и обтер рукавом лоб, вспотевший от напряжения.

Событие не грозило ни ему, ни его народу. Но все же оно было исключительным, и человек прочно отложил его в памяти, чтобы вытащить при случае.

Вернувшись к кумирне, он напился из родника, черпая узкой горстью, с наслаждением всхлипывая и искоса наблюдая за тем, как бродят по лощинам разорванные туманные клочья, которые он принимал за тени умерших, как слева от него над зеленеющим хвойным распадком, почти на уровне хребта, кружит орел — кяаса, чуть изгибая блистающие вороные крыла. Орел вдруг ринулся в чащу и через мгновенье взвился снова с хищным клекотом, зажав в когтях какую-то серенькую пичугу.

— Тц-тц... — неодобрительно чмокнул человек и покачал головой, — впрочем, он больше жалел пичугу, чем осуждал орла.

Солнце, поднявшееся уже довольно высоко, так хорошо припекало спину, что он некоторое время еще сидел на корточках, постигая синее пространство, вспоминая приятный вкус воды, раздумывая об орле, вдыхая запахи рододендронов и тающей смолы, к которым чуть примешивался тонкий, идущий с самого низу черемуховый дух.

Потом он вскинул поклажу и начал легко и быстро, как коза, спускаться в юго-западном направлении, по течению родника. Человек этот направлялся в долину реки Ипза-лаза. Человек этот был Сарл.

IV

За последние недели Сарл пережил немало значительного: продал в Шимыне панты, ходил в разведку, участвовал с отрядом Гладких во взятии Ольги, но все же самым неожиданным и потрясающим было то, что он вчера за Ольгинским перевалом встретил Мартемьянова. Весь день он находился под впечатлением этой встречи, тем более, что местность, по которой он шел вчера, — по речушке Сыдагоу, где свыше двадцати зим назад стоял удэгейский поселок, тоже напоминала ему о Мартемьянове.

Места эти, в которых уже погулял топор, в те времена мало посещались людьми и были богаты зверем, но, когда хлынула в край вторая китайская волна, племя покинуло их, распавшись по родам. Иные попали в кабалу к китайским «цайдунам», пополнив собой ту вырождавшуюся от водки, трахомы и опиума часть народа удэ, которая уже много десятилетий несла рабскую кличку «да-цзы» (или «та́зы»), что значит — не русский, не китаец, не кореец, почти не человек — инородец. Иные обратили взоры на север и голубыми таежными тропами, протоpенными их несчастливыми предшественниками, ушли на Амур. Иные, с оружием в руках отстаивая свое право на жизнь, все дальше отступали в горы. И к ним-то принадлежал Сарл из рода Гялондика.

Древние, священные места эти, густо заросшие жирным белокопытником, над которым кружились темно-синие бархатные махаоны, еще хранили память о коричневых юртах, о лае собак, о тоненьком детском плаче в ночи, о мелькающих в кустах расшитых удэгейских кафтанах. Всю ночь Сарл провел у реки, без сна, согнувшись на камне, глядя в темную воду, весь отдаваясь прозрачному и легкому, очищенному от понятий потоку образов и чувств, окрашенному шепотом воды и ритмом крови.

...Из темной воды возник языкастый костер — он пламенел, он жег, он обрастал людьми, этот далекий костер юности, — и в синем мерцании его углей уже совсем явственно жила разгребающая угли кисть Сарловой руки, — кисть узкая, как у женщины, и шустрая, как ящерица... Люди, недвижно скрестившие у огня кривые, в остроконечных улах ноги, непоколебимо молчат. Сощурившись, они курят длинные китайские трубки, прижимая пепел указательными пальцами, на шапках их золо-

тятся беличьи хвосты, и красный, идущий от костра ветер колышет над ними весеннюю листву...

Как мягок в ночи дуплистый, теплый запах дубов! Как жалобно поет женщина, укачивая ребенка: «Ба-а-ба... ба-а-ба...»

Вдруг один из сидящих изумленно вскрикивает и в волнении указывает пальцем по течению реки. Все поворачивают головы... Внизу, над рекой, занимается дымное зарево. Оно точно катится сюда по ракитам, все ближе, ближе... Вот уже кровавый отблеск его падает с ближайшей ракиты на воду, и в то же мгновение резкий крик пищухи, изданный человеком, пронзает тишину, и из-за поворота выскакивает лодка... В ее ковшеобразном носу торчит расщепленная палка с воткнутым в нее, как в пращу, багрово полыхающим смольем. В свете смолья виден отталкивающийся шестом высокий, широкоплечий старик Масенда. Длинное скуластое лицо его — в каменных морщинах, с которых как бы стекает белая клиновидная борода, — спокойно, непроницаемо, движения быстры, уверенны, и только по дрожи его кожаных наколенников можно понять, как напрягается этот могучий старик, двигаясь против течения... Но примечательно не это, а то, что на голове Маседы нет белого платка и что едет он в нижней матерчатой рубахе, а верхний его, расшитый по борту, кафтан из изюбриной кожи покрывает лежащее позади в лодке человеческое тело...

Никто не решается снять покрывало... Тело безжизненно лежит у костра. Из-под расшитого подола нелепо торчат тяжелые, грубые русские сапоги. Из юрт сбегаются люди: полуголые мальчики с гусиными от холода коленями, узкоплечие женщины, шелестящие рубахами. Слышен сдержанный говор:

— Янчеда... за бабкой Янчедой... бегите за Янчедой...

Вскоре в свете костра появляется и она, с трудом переваливая на коротких, с крохотными ступнями ножках свое мягкое и круглое старческое тело. Пухлые руки ее, держащие глиняный тулуз, перевязаны выше локтей расписными полотенцами, как при камлании. Желтое морщинистое лицо с припухшими скулками, с наивно приподнятыми реденькими бровками хранит обычное, мирное выражение.

Она сует горшок Сарлу, и Сарл стремглав кидается по воду.

Когда он возвращается к огню, с лежащего человека уже сдернуто покрывало, — лицо у него широкое, совсем еще молодое, с обвисшими усами, глаза закрыты, одна рука перевязана у кисти платком с головы Масенды, рубашка располосована до воротника, и видно белое и мускулистое окровавленное тело с залепленной грязью раной на груди. Бабка Янчеда сидит на корточках и, кивая головой из стороны в сторону и шепча, перекатывает на круглых ладонях жаркий, попыхивающий уголек. Потом она бросает его в тулуз с водой и, макая кисть, прыскает мокрыми пальцами в лицо лежащему.

— Очнись, очнись — все сущее живет, — шепчет она быстро-быстро; Сарл с трудом улавливает ее слова. — Стены юрт имеют свой голос, шкуры, лежащие в мешках, разговаривают по ночам... маленькая серая плиска шаманит, сидя между суком и стволом... дерево плачет под ударами топора...

У человека вздрагивают скулы, ресницы, — он открывает добрые синеватые глаза и смотрит на всех с отсутствующим, сонным детским выражением...

— Ай-э, как он постарел с тех пор!.. — прошептал Сарл, одиноко сидящий на камне у реки, и сразу все пропало...

Темная вода шипела у его ног; росистая капля со звоном покатилась с листа. «Пи-пи-пи», — сонно попискивал в кустах маленький глупый поползень и шебуршал крылышками...

Но все пестрее рябит в глазах, вода все прозрачней, радужней... Да, это стелется река, но это не Сыдагоу ночью, а Инза-лаза днем... Одна ее полоса — к правому берегу — сверкает от солнца, другая — к левому, заросшему ольхой и черемухой, — отражает листву и застлана кружевом из солнечных пятен. Левый заросший берег кишит народом: высыпал чуть ли не весь поселок. В кустах пестреют узорные, вздувающиеся от ветра одежды; забравшиеся на деревья мальчики с острыми локтями свисают над водой, — все машут руками, головными покрывалами, кричат напутственные слова...

Сарл и Мартемьянов — в лодке; ее быстро несет по течению. Мартемьянов сидит не шевелясь и не оглядываясь на народ: он боится упасть. Но Сарл небрежно стоит боком по движению лодки, — это самое неустойчивое положение, — и тоже машет рукой. Среди провожаю-

щих он видит и смешную робкую девочку Янсели, которую собирался сватать, даже заготовил выкуп. Она огорчена. Она стоит, по-ребячьи расставив ноги, смотрит немножко исподлобья и изредка делает сложенной в уточку рукой неуверенный прощальный жест. Но Сарлу жаль ее не больше, чем всех остальных... Как трудно покидать родные места, близких людей!.. Что принесет будущее?.. Но никого уже нет... Солнечные пятна стекают с весла, — Сарл работает им, сохраняя тело в прямом положении, чтобы не опрокинулась лодка, только легко вращаясь в поясе, а перед ним — застывшая, ссутулившаяся спина Мартемьянова, к которой он чувствует теперь такое же доверие, как к спине родного дяди в детстве...

...И вот — длинный и мокрый угольный коридор, пахнущий сырым деревом... Желтый свет от рудничной лампы бежит по рельсам... Сарл катит пустую, холодную вагонетку, прислушиваясь к ее мерному громыханию. На маленькой площадке в пересечении коридоров он чуть не сталкивается с другой, доверху нагруженной углем, которую толкает перед собою жирная и грязная от угольной пыли русская женщина со светлыми волосами.

— А, Сарлик, черт косой! — кричит она веселым, визгливым голосом. Она подбегает к нему и разражается в самое ухо: — Когда же сватать придешь?.. А-а, черт косой, любишь русский барышня? — И она бьет его по спине и долго хохочет вслед, уверенная в своей плотской красоте и неотразимости.

— О, ты противна мне, как зеленая жаба!..— брезгливо шепчет Сарл, сжимаясь от ее смеха, от угольной грязи и сырости, от собственной тоски и обреченности.

К устью забоя, едва подпертому скользкими столбами, уголь подтаскивают волокушками. Пока нагружают вагонетку, Сарл — сначала согнувшись, потом на четвереньках — проползает вглубь.

Мартемьянов — голый по пояс, тело его при свете рудничной лампы отливает, как у линя, — лежит на боку и изо всех сил рубит короткой киркой, — дыхание, свистя, вырывается из его груди.

— Не горюй — привыкнешь! — кричит он, развозя рукой грязь по лицу. — Э, брось, она не злая...

Они обмениваются еще несколькими теплыми словами, Мартемьянов треплет его по боку,— и снова длинные мокрые коридоры, грубые пинки людей: та же светловолосая

женщина на перекрестке, вечером — соленая еда, от которой болит живот, ночью — мучительные сны об облаках и желтеньком тонконогом козленке в кустах, тычущем в маткино вымя лиловатыми ноздрями...

Всю ночь Сарл просидел над рекой, не сомкнув глаз, ни разу не пошевелившись, — ноги его одеревенели. Налетевшая к утру мошкара призвала его к жизни. Он развязал свой туго набитый мешок, достал кремень, огниво, трут из выпаренного древесного гриба (в Шимыне он приобрел две пачки спичек, но не хотел их тратить), развел костер.

Ел он очень аккуратно, склонившись над тряпкой, чтобы ни одна крошка не упала на землю. Хлеб не кусал, а отщипывал двумя пальцами и клал в рот; сало резал на мелкие кусочки. Напившись чаю, он сорвал большой лист лопуха, ссыпал в него крошки и положил на гальку — для птиц. Потом, выкурив трубку, отмыл котелок от копоти, старательно очистил место вокруг костра, чтобы не случилось пожара (по поверью, костер нельзя было заливать водой), и вскоре уже шагал вверх по речушке, пересвистываясь с лазоревками и гаичками.

V

Если по ту сторону хребта голова Сарла занята была людьми и событиями, которые напомнила ему встреча с Мартемьяновым, теперь, спускаясь с крутизны, привычно выбирая дорогу, он думал только о тех живых людях, к которым шел.

Первое время он, правда, еще побаивался того, что из-за утеса появится горный дух *Какзаму* — худотелый великан на тонких кривых ногах, с головой, похожей на перевернутую редьку, — дух, ютящийся у истоков ключей и превращающий людей в камни «када-ни», охраняющие сопки. Но, спустившись немного ниже, он забыл об этом.

Этой весной он добыл у корейцев семена бобов и кукурузы и, впервые в истории народа, понудил женщин возделать землю. Он не решился предложить это занятие мужчинам, но он знал, что рано или поздно так будет: леса беднеют зверем, реки — рыбой, все новые и новые места захватывают китайцы и русские, — вырождение и

гибель шествуют по пятам народа. А главное — он знал, что именно теперь наступило время, когда такой переход можно осуществить.

Но стоило ему представить себе Масенду обрабатывающим землю, как руки опускались: старик даже отказался переселиться из юрты в фанзу, которую в прошлом году Сарл построил в долине. И хотя в фанзе было теплей и просторней, чем в юртах, она почти пустовала.

Но это было только начало! А вот у сидатунских китайцев Сарл подсмотрел как-то домашнюю мельницу: сытый, ленивый мул с завязанными глазами, с подопревшими ляжками, ходил вокруг столба, вращая верхний жернов, и зернистая, как золото, кукурузная мука струилась в джутовый растопыренный зев. Сарл тщательно осмотрел, как обработан камень, — такой камень не раз попадался ему в горах, — при достаточном трудолюбии его можно было обработать самим. Гладких сказал ему, что, если подать ходатайство в ольгинский штаб, лошадь могут дать с большой рассрочкой, а то и бесплатно.

Желание построить в долине такую же круглую хижину, в которой могучий конь с подопревшими ляжками будет вращать удэгейские жернова, — желание это охватило Сарла до дрожи в ногах.

В молодости его бабка Янчеда прочила его в знахари, потому что каждую вещь, каждое дело и каждого человека он видел с той особенной внутренней стороны, с какой их не видели другие.

Он и сам чувствовал в себе эту незримую ищущую и жадную — самую человеческую из всех сил — силу таланта, только он считал ее божественной. Это она понудила его в детстве, после того как ему приснилось, что он летает, — а, как все люди его народа, он верил в то, что сны исполняются, — понудила его перед целым табуном сверстников прыгнуть, распластав руки, с Серебряной скалы в воду. И сохранившееся на всю жизнь нервное подергивание его щеки было следствием того необыкновенного счастья и ужаса, которые он испытал в это мгновение, когда с диким воплем летел в кипящий под ним оранжевый водоворот. Это она, жадная, толкнула его за Мартемьяновым посмотреть, унюхать, ощупать все, что живет за пределами родных лесов и озер, и она же

сделала теперь его имя самым почетным во всех местах, где только мнет траву нога удэге.

Он думал с таким напряжением, что на лбу у него вздулась багровая жила. Раз он едва не упал, прыгнув на камень с обманчивой мшистой поверхностью, но вовремя схватился за ореховый куст, успев сообразить, что нужно схватиться за него, а не за растущее рядом колючее чертово дерево.

— Вот какое ты злое существо!.. — воскликнул он с искренним гневом и плюнул в сердцах на камень, едва не уронивший его.

В другом месте он чуть не наступил на ящерицу, — она зеленовато прошуршала под заплесневевшее бревнышко, откуда выглядывал еще ее фиолетовый хвостик.

— Что же ты зеваешь, быстрая? — упрекнул ее Сарл. — Охота тебе терять такой красивый хвост без нужды!..

Родник, принимая в себя другие, с змеиным шипением сочившиеся из расщелин, превратился в пенистый ручеек, спуск стал положе. — Сарл шел уже по лесистой, с густым и пестрым подлеском лощине, по бокам которой высились крутые, поросшие хвоей хребты.

У излучины ручья над упавшей лесиной метался, топорща крылышки, невзрачный сибирский соловей.

— Ай-э, как ты мечешься, желтогорлый! — поразился Сарл и даже на мгновение остановился. — Да, да, — сказал он грустно, — я вижу: упала лесина, разбила твое гнездо. Не то ли бывает со многими из нас?..

Вторую ночь он провел в заброшенном охотничьем шалаше — каунва, сложенном из кедровой коры. На этот раз он крепко уснул, но с рассветом снова был на ногах.

Солнце в третий раз после того, как он покинул Ольгу, перешло далеко за полдень, когда за поворотом ручья блеснула река, и тянувшийся по левую руку горный отрог резко оборвался высокой и голой, пронзительно белой, так что слепило глаза, скалой, отражавшейся в медленном омуте у впадения ключа в реку. Отражение было столь действительным, что казалось — омут не имеет дна. Вправо и влево меж нависающих, поросших лесом гор вилась кудрявая солнечная долина, окутанная белым черемуховым цветом.

Это была Инза-лаза-гоу: долина Серебряной скалы.

Несколько легких дымных столбов вздымались над ней. Один от костра — пушистый и тучный, как опара, остальные — тоньше и темнее — из юрт: мужчины вернулись с охоты, и женщины начали стряпать.

VI

У изгороди, сложенной из карчей, Сарл наткнулся на женщину Суан-цай, окарауливающую огород от кабанов. Она не поклонилась и ничего не сказала ему: у народа удэ не существовало знаков показной вежливости. Он тоже не заговорил с ней, и она отвернулась в сторону, чтобы не тревожить человека взглядом.

Сарл несколько минут любовно смотрел на молодые, покрытые рыже-бурым ворсом побеги боба «чьингтóу», на ярко-зеленые стрелки кукурузы. Он испытывал такое чувство, точно все это росло из него...

Из-за реки доносились громкие мужские крики и взвизгивания, особенно слышен был пронзительный хохот Вадеди. По этому оживлению, необычному для молчаливого и сдержанного народа, Сарл понял, что охота была удачной.

На той стороне реки, заросшей ольхой и черемухой, видны были вытащенные на берег лодки — легкие оморочки с острыми носами и кормами, более крупные долбленые плоскодонки с загнутыми кверху лопатовидными носами. Сарл, приложив руку ко рту, издал трещотный мелодичный звук, — так кричит желна. Подросток лет четырнадцати с подвернутыми выше колен штанами — ноги его были покрыты незаживающими язвами — перегнал одну из лодок на эту сторону.

— Что так кричат? — спросил Сарл, садясь на корточки, когда мальчик оттолкнулся от берега.

— Люрл... — кратко ответил тот.

— Этакий насмешник! — улыбнулся Сарл, и улыбка больше не сходила с его губ.

На широкой вытоптанной поляне вокруг костра, разведенного между рыбными сушилками и фанзой с двухскатной тростниковой крышей, из-под которой висели оленьи выпоротки и мешочки с медвежьей желчью, — сидели, в большинстве с трубками, а некоторые еще с ружьями, в островерхих кожаных шапках с беличьими

хвостами и красными шнурами, но некоторые без шапок и голые по пояс, в большинстве худощавые и среднего роста, но некоторые, выделяющиеся своим здоровьем, — взрослые мужчины, человек около двадцати, из родов Кимунка, Амуленка и Гялондика. С цветущих черемух, сквозь которые виднелись разбросанные по лесу продолговатые юрты, повевала на людей желтая плодоносная пыльца́.

Насмешник Люрл, сбросивший три своих кафтана (Сарл, подходя к костру, прежде всего увидел его мускулистую, точно плетенную из ивняка, оливковую от солнца и грязи спину), говорил что-то невозмутимо спокойным тоном, без единого жеста, но после каждого его слова люди, роняя трубки, покатывались от хохота:

— Ай-я-я! Да! Да! Да!..

— Ай-е-е-е!.. Ейни ая!..

Не смеялись только двое: старый Масенда, на голову возвышавшийся над остальными, не выпускавший трубки из окаменевших губ, — он смеялся одними глазами, — да еще пришлый худощавый таза в китайской кофте. Месяц тому назад он с помощью брата убил своего «цайдуна» за то, что тот продал в Китай его ребенка. Брат был пойман и живьем закопан в землю, а таза с женой скрылись в Инза-лаза-гоу. Он страдал от отсутствия опиума и, хотя был когда-то таким же удэге, ни слова не понимал по-удэгейски. От униженности он так раздвигал потрескавшиеся губы, что получалась не улыбка, а жалкая гримаса.

Неподалеку от костра возвышалась подплывшая кровью груда зверья: горбатые щетинистые кабаны с сочившимися сукровицей пятками, рыжие изюбры, вывалившие длинные малиновые языки, скорчившаяся, как спящий младенец, тонконоздрая кабарожка, — тут были одни самцы: весной не полагалось убивать самок.

Женщины — молодые, гибкие и маленькие, и постарше, уже немного грузнеющие, — в длинных, разузоренных по борту и подолу, окровавленных кожаных рубахах, растаскивали зверье по юртам; некоторые потрошили его, шустро выбрасывая локти, ловко орудуя длинными охотничьими ножами. Сухонький старичок с барсучьими ушами, склонив плоскую, невыгибающуюся спину, расправлялся с трехлетком — черным медведем, мертво оскалившим кривые пенистые зубы, — к медведю — родона-

чальнику народа удэ — не смела прикасаться женщина. Старик приготовлял его к празднику «съедения медвежьей головы». Лохматые поджарые псы носились вокруг или, усевшись на выщипанные в драках зады, умильно поглядывали на людей, дыша и подвывая.

— Ай-я!.. Го-го!.. Да! Да!.. — дико кричали люди.

По тому, как смущенно и неуверенно, хотя и безобидно, смеялся Монгули — толстощекий, рябой и безбровый удэге с длинными, до колен, руками, прославившийся тем, что единственный в истории народа, для которого даже трахома часто бывала смертельной, не умер от оспы, — по тому, как он смущался, Сарл понял, что потешаются над Монгули.

— Нужно удивляться силе и выносливости твоих рук, — говорил Люрл, раздувая ноздри безобразного, прямого, как у русских, носа. — Так долго, как ты, не выдержал бы никто. А какая добыча!.. Медвежий хвост прекрасен для украшения шапки!..

Сарл быстро взглянул на медведя и, заметив, что шкура на заду у медведя сорвана, весело, по-детски, взвизгнул.

— Ра-асскажи лучше, — смущенно начал Монгули (он от природы затягивал слова, и все смолкли, чтобы он мог кончить), — ра-асскажи лучше про че-еловека, который мчался верхом на лосе и вопил о помощи...

— О, это басня! — отмахнулся Люрл (он был когда-то этим человеком). — А тут недавний подвиг! Что ж — он достойно продолжает подвиги твоих отцов!..

— Да! Да! Да!..

— Правда, это уже устарело, когда есть ружья, — не унимался Люрл. — И неизвестно еще, кто кого схватил... Трудно сказать, чтобы медведь был больше испуган, чем ты!..

— Как все это было? — перебил Сарл, садясь верхом на тюк, который он сбросил на землю.

— Шел я по следу изюбря, — начал было Люрл, но вдруг, увидев заранее брызнувшее лицо Вадеди, не выдержал сам и фыркнул, и снова вокруг загоготали. — Шел я по следу изюбря, — выправившись, продолжал Люрл, — вдруг — «бум»!.. Я не успел присесть, — из кустов выскочил вот этот медведь, за ним мчался Монгули. Он держал его за хвост и наступал ему на пятки. Сначала у него во рту был нож, потом он потерял его. Медведь

так вонял — невозможно терпеть! Я впервые понял, как ужасна медвежья болезнь... «Монгули! — закричал я, — да за то ли ты схватился?»

— Ай-я-я-я!.. — покатились вокруг.

— Но они уже скрылись в кустах, — невозмутимо продолжал Люрл. — А когда выскочили снова, медведь скакал, как камлающий шаман, а Монгули — как молодой кузнечик, который учится прыгать. Волосы его цеплялись за деревья, рот стал шире головы... Не успел я броситься ему на помощь, меня свалило ветром: медведь и Монгули летали уже по воздуху!.. Из медведя несло, как из тучи! Когда я очнулся, Монгули стоял надо мной и поливал мне голову водой. Я взглянул на него, увидел у него в руках медвежью култышку и снова покатился на землю и очнулся уже к полудню... Я в жизни не видел медведя, который так бы хотел уйти от человека, как этот!.. — закончил Люрл уже неслышно, в общем хохоте.

— Да, это была у-удивительная неудача, — скромно сказал Монгули, подавая ему кисет, и покосился на жену, возившуюся у зверья.

Но женщины были заняты своим делом, и ни одна из них не смеялась. Сарл, развязав мешок, стал раздавать по рукам все, что приобрел в Шимыне.

— Вадеди, твоя мать просила ниток. — И он сунул ему два клубка. — Родила уже твоя жена?

— Сегодня или завтра... Вон к ней идет старуха, да стыдно спрашивать, — Вадеди кивнул на сутулую женщину, проходившую мимо с тулузом в руках: по обычаям удэ, роженица помещалась в отдельной, стоящей на отлете юрте, к которой не имел права подходить никто, кроме повивалки.

— Хорошо, если бы у тебя родилась девочка, — сказал Люрл, раздувая ноздри, — а то совсем не стало женщин...

— Вот твои пуговицы, Монгули, — продолжал Сарл. — А это, отец, тебе...

Он протянул сверток листового табака Масенде: старик был братом его отца, но, по удэгейскому обозначению родства, также считался его отцом. Масенда тут же роздал все по рукам, оставив себе только на кисет.

— Вот спички, каждому по коробку... А это вот удивительная вещь. — Сарл вынул банку монпансье и отку-

корил ее. — На руднике мне приходилось есть такие камешки, — они кислее и слаще березового сока...

— Я думаю, это больше подходит для женщин,— сказал Люрл, пососав немного, — а то они только и знают, что табак жевать...

— А ты что же не берешь? — по-китайски спросил Сарл у тазы.

— Живот у меня... — ответил тот, униженно сморщившись. — Живот... Не принимает сладкого.

— Да, я купил это для детей, — с едва заметным вздохом сказал Сарл. — Салю! — подозвал он косматого парнишку лет девяти, с трубкой в зубах и двумя охотничьими ножами у пояса, — парнишка дразнил собаку. — Поделите это между собой, только не обижайте девочек.

— Мы их не обижаем, — почтительно пискнул молодой удэге, вынимая изо рта трубку и сплевывая, как взрослый.

— Ты-ы очень удачно выменял па-анты, — сказал Монгули, которому понравилась конфета.

— Да, мне повезло на этот раз... Тут у меня еще порох, свинец, пистоны, чай, два охотничьих ножа, сверток полотна, бубенцы для женщин... Кому надо, тот возьмет в амбаре...

Сарл кратко рассказал обо всем, что пережил за три с половиной недели своего отсутствия. Когда он упомянул про Филиппа Мартемьянова, Масенда весь рассиял и вынул трубку, — даже клиновидная борода его, казалось, стала белее.

— Не тревожит его старая рана? — спросил он в первый и последний раз за вечер.

— Нет, он не жаловался...

Старик с барсучьими ушами, возившийся над медведем, услыхав имя Филиппа, разогнул спину.

— Пусть долгой будет его жизнь, — сказал он, пришепетывая, и снова склонился над зверем.

Но когда Сарл рассказал о русском человеке с двумя лошадьми, направлявшемся в верховья реки Малазы, все заволновались. Вадеди, избранный в эту весну охотничьим старшиной, сильно скуластый, сухощавый и веселый удэге, всю жизнь лукаво подмигивавший левым глазом, вдруг перестал мигать и вытаращил глаза.

— Он спустился на Малазу?! — воскликнул он, вскакивая на колени. — Ай-я-ха-а... — протянул он и замигал еще лукавей и ожесточенней прежнего. — Боюсь, что этот

человек уже мертв, — сказал он, глядя в лицо Сарлу, — По Малазе бродят хунхузы — восемнадцать ружей...

— Йе?!

— Да, да... И его уже нельзя предупредить: он достиг уже среднего течения, если он не черепаха!..

— Чьи это хунхузы? — спросил Сарл, начавший от волнения завязывать мешок, сам не замечая этого.

— Это хунхузы Ли-фу... С ними был его помощник Ка-се... Я наблюдал за ними полдня и хорошо рассмотрел его: издали он похож на Монгули...

Монгули издал какой-то протестующий звук.

— О, я знаю, это разведка, за ними придет весь отряд, — продолжал Вадеди. — Они ищут места для становища...

— За ними смотрит Логада, — вставил Люрл, хищно раздувая ноздри: он не мог забыть, что его не оставили вместо Логады, боясь, что он не вытерпит и ввяжется в драку, — ему действительно очень хотелось пострелять.

Сарл, жалея русского человека, долго не мог успокоиться, говорил «тц-тц» и качал головой.

У маленького амбарчика на сваях, куда он понес свой тюк, играли двое детей — худенькая синебровая девочка лет восьми, нянчившая в колыске тряпичную куклу, и мальчик лет пяти, со вздутым животом и морщинистыми ладошками, мастеривший лук. Это были муж и жена. Пятилетний муж еще сосал грудь матери. Лук у него не ладился.

— Какой ты мужчина, — журила его девочка, — все валится у тебя из рук, как у русского...

— Да, да, нехорошо быть таким растяпой, — сказал Сарл, просовывая голову в амбарчик, оттуда повеяло на него запахом сушеной травы, употребляемой как подстилка для обуви. — Ты, наверно, не знаешь даже, что это за птица лазит по шиповнику?.. Вот она, видишь?

— Нет, я знаю — это свиристель, — угрюмо сказал мальчик.

— Ого!.. Нет, ты далеко пойдешь, — утешил его Сарл.

Но вдруг вспомнил про хунхузов и про русского с двумя лошадьми и глубоко вздохнул.

Когда он подходил к фанзе, зверье было уже убрано, — собаки с рычанием лизали черную от крови землю и растаскивали сизые потроха. Люди больше не смеялись. Вадеди, расширив глаза и мигая, растопырив пурпурные

от костра пальцы, тихо говорил. Остальные внимательно слушали. Сарл сбоку заглянул в фанзу в решетчатое отверстие двери.

Робкая и хрупкая, как девочка, жена его Янсели, из рода Кимунка, — с раскрыленными тонкими черными бровями, с серьгой в носу, вся унизанная бусами, игравшими в косом, разрубленном на квадратики солнечном луче, — сидела на корточках, раздвинув острые колени, и, напевая, мерно колыхала ребенка в колыске, похожей на детские салазки. Ребенок с оплывшим книзу личиком и пухлыми губками, окутанный покрывалом, крепко притянутым к колыске кожаными ремешками, так что голова ребенка прижата была к кедровой спинке, безмятежно спал.

— ...Ба-а-ба... Ба-а-ба... — нежно и жалобно пела женщина.

Над лесом багровое садилось солнце; по небу стлались червонные полосы; скала Инза-лаза вздымалась над окутанной тенями падью, как пурпурный шатер; пахло черемухой и древним чадом пропекаемого на углях мяса. У опадающего костра сидели люди с вогнутыми носами и усеченными затылками, и один из них говорил:

— Нет, я верю в сны... Охеза-Хариус чуть не лишился жизни за то, что не верил в сны...

Вдруг тонкий, пронзительный и беспомощный крик донесся из-за черемух. Люди подняли головы. Собаки, не проявляя беспокойства, продолжали свою возню. Крик повторился и слышен был уже по всему поселку.

Это плакал только что народившийся ребенок Вадеди.

С черемух, изнемогая от тяжести, сыпалась желтая плодоносная пыльца, и люди, поднявшие головы, чувствовали себя неотъемлемой частью этого единого, могучего и неосмысленного плодотворения.

Сарл стоял у входа в жилище, не решаясь войти, и с древним благоговением слушал плач чужого ребенка и полный любви и жалобы голос своей подруги:

— ...Ба-а-ба... Ба-а-ба...

VII

Мартемьянов и Сережа провели ночь перед выступлением отряда Гладких в хоромах старовера По́носова.

Сережа проснулся оттого, что кто-то, выходя из горницы, оглушительно, как показалось во сне, хлопнул дверью.

Еще не светало, — окна были свинцовыми от тумана. Со двора доносились смутная возня, далекий, несердитый голос Гладких, — он кого-то ругал. Мартемьянова в горнице не было.

«Что же случилось? — подумал Сережа. — Да, пора выступать... Да, приехала Лена!» — вспомнил он, садясь на койке.

Он быстро оделся и вышел на крыльцо.

На улице уже чуть развидняло. Сережу охватил бодрящий холодок. В тумане у темных строений копошились люди: вытряхивали шинели, свертывали скатки. Из сараев выводили вьючных лошадей. Мешковатый и грузный партизан слезал с чердака, цепляясь задом за перекладины лестницы и громко зевая. Сережа улыбнулся, узнав Бусырю, над которым партизаны потешались вчера на пасеке.

— Э, уже собираются, — послышался у ворот звучный и приятный Сереже тенорок.

Сын Боярина, Федор Шпак, в перетянутой патронташем шинели, с сумкой за спиной и винтовкой на ремне, прихрамывая, вошел в ворота.

— Здорово, полковник! — весело сказал он плечистому партизану, счищавшему грязь с копыта у лошади.

— Здравствуй, анафема, без ноги, — сдержанно ответил тот.

— А я думал, вы спите еще, ан, выходит, сам мало не проспал... Не знаешь, в какой меня взвод определили?

— Гладких придет, скажет... Тпрру-у, брюхатый!.. Он тебе скажет, — повторил плечистый партизан, обивая копыто.

Из черной, растворенной настежь двери сарая напротив доносились знакомые голоса: один — спокойный, строгий и грустноватый — Сережа сперва не узнал, другой же — по-детски картавый и дерзкий — он различил бы из сотни.

— Как это так — не дашь? — грустно и строго говорил первый голос. — Отряд пеший, а ты на лошади?

— Они мне не указь, — презрительно отвечал Семка Казанок. — Они, мозет, своих жалели, а я свою из дому привель...

— За это спасибо... Она и останется за тобой, мы только навьючим ее...

«Да ведь это Кудрявый!» — узнал Сережа первый голос.

— А я не дозволяю!.. — запальчиво ответил Семка.

— Ну, этого не может быть, чтобы ты не дозволил...— Кудрявый высунулся из сарая и, мельком взглянув на Сережу, крикнул в туман: — Быков!.. Патроны лучше на Казанкова: этот подюжее, а на Гнедка — сухари!..

Сережа, повеселев оттого, что так унизили Казанка, вернулся в сенцы, нащупал в темноте бочку и берестяной туесок на ней и, выйдя на крыльцо, умылся, перегнувшись через перила, набирая полный рот воды и мужественно фыркая.

Туман редел и золотился, когда отряд — двести с лишним человек, построившихся по четверо в ряд, с винтовками на ремнях, с Кудрявым и Гладких во главе и двадцатью вьючными лошадьми в арьергарде, — тронулся, шоркая сапогами, по Ольгинскому тракту, провожаемый лаем староверских собак.

Голосистый Шпак, шедший, прихрамывая, в передней колонне, завел «Трансвааль» — песню, которую в эти страдные дни певали не только во всех отрядах, но даже на вечерках, даже малые ребята. Отряд стройно подхватил. Сережа, шагавший с Мартемьяновым вне рядов, тоже подтянул звенящим альтом, слыша и выделяя свой голос в общем хоре. Над ними раскрылось звонкое небо, ударило жаркое пыльное солнце, горные отроги взялись нежным паром, как конские крестцы.

Вспомнив подслушанный им разговор в сарае, Сережа оглянулся: мелкокопытный, с серебряными ноздрями конек в яблоках — собственность Казанка — шел позади серых колыхающихся колонн навьюченным. Вел его, однако, не сам Казанок, а Бусыря, тяжело ступавший медвежеватыми толстыми ногами, видать, сильно потевший под сдвинутым на затылок малахаем. Казанок шел рядом, склонив набок белую головку в американской шапочке и пыля плетью, которая болталась у него на кисти. Иногда он неожиданно хватал Бусырю за ногу или, извернувшись, бил его каблуком сапожка по заду. Бусыря неуклюже отмахивался и кричал на него, но тотчас же его мясистое лицо расплывалось в улыбке: принимать издевательства за шутку было, очевидно, главным средством его самообороны в жизни.

Сережа с уважением поглядывал на Гладких, легко и сильно шагавшего впереди в мохнатых запыленных унтах, с закинутым за спину японским карабином. Под ворсистой рубахой, плотно облегавшей его могучие, статные плечи, перекатывались округлые мышцы. Их мягкое, атласное движение вдохновляло и радовало Сережу.

Незаметно поравнявшись с ним, Сережа попробовал вызвать его на разговор. Несмотря на то, что Сережа не раз мечтал о встрече с подобным человеком и сам хотел быть таким же, он мало представлял себе, о чем с ним можно разговаривать. Наконец он высказал предположение, что Гладких должны быть хорошо известны эти места.

— Места? — переспросил командир, повернув к нему смуглое лицо, раздувая воропые усы. — Места, малец, ничего... Места, малец, *кое-как,* — добавил он, откровенно не поняв, о чем его спрашивают.

— Ну да, вы здесь давно живете... — почтительно заметил Сережа.

— О, мы здесь самые первенькие! — сказал Гладких с усмешкой. — Старик мой приплыл сюда... Обожди... Родился я в семьдесят седьмом — как раз в этот год тигра его покарябала... жили они тут к тому времю уж лет восемнадцать... Выходит...

— В пятьдесят девятом? — подсказал Сережа.

— Да, приплыл он сюда в пятьдесят девятом — вот когда он приплыл...

Сережа вспомнил, что в это время не было еще Суэцкого канала: отец Гладких плыл вокруг мыса Доброй Надежды, и плыл под парусами. «То-то ему было о чем рассказать!» — подумал Сережа, нарочно представляя себе не того скромного сивого мужичонку, о котором говорил вчера Мартемьянов, а доблестного пионера с бронзовой волосатой грудью и трубкой в зубах.

— Да что толку, — неожиданно сказал Гладких. — Приплыли они — и сели в лесу, как дураки. А ведь тут тогда — земля-а!.. — И он, сверкнув глазами, мощно повел вокруг своей тяжелой ручищей. — Староверы лет через двадцать какие десятины подняли!.. Видал, как живут? Здорово живут, малец! — воскликнул он с зычной завистью.

— А сильно она его... покарябала? — спросил Сережа.

— Тигра-то?... У-у, покарябала на совесть. Можно бы больше, да некуда... из кусков, можно сказать, склеили.

— Здорово!.. А вы на них тоже охотились?

— И все-то тебе нужно знать! — Гладких легонько прихлопнул его по фуражке. — Охота у нас, малец, на белок... Восемь гривен шкурка в старое время. А убивали мы их по триста, по четыреста на человека за зиму... А то один год — был я еще мальцом вроде тебя — так много их навалило, по хатам бегали. Мы их палками били... До того, стерва, очумеет, — говорил Гладких, оживившись, — приткнется к жердине, а тут ее — хрясь! — Он рубанул рукой, показывая, как они это делали. — Потом — на рябцов: птица такая, ее буржуи едят... Бьют их тоже к зиме, чтобы не провонялись...

— Я ведь потому спросил, — сухо сказал Сережа (он начинал подозревать, что Гладких насмехается над ним), — потому спросил, что у отца вашего прозвище было «Тигриная смерть»...

— Было да сплыло: теперь уж он стар стал, в хате мочится... Вот дядька мой — тот, правда, даром, что восемьдесят лет — тот ужасно здоровый. Прошлый год кошку большим пальцем убил... Она в кринку с молоком голову встромила, а он как хватит ее под брюшину, из нее и кишки вон!.. Э-э, чего растянулись? — вдруг закричал Гладких, заметив, что колонны расстраиваются. — Подтянись! Болтуха, что смотришь? А, мать вашу!..

— Мать у меня здоро́ва была, — продолжал он, снова присоединяясь к Сереже, — детей рожала, как щенят... И, поверишь, до чего дети важкие были — фунтов по четырнадцать!

Все это было мало интересно Сереже, но в голосе командира звучали такие насмешливые нотки, что казалось — о самом главном он нарочно умалчивает.

И Сережа все ждал, что вот откроется оно, это особенное и главное, а оно все не открывалось.

VIII

К полдню отряд вышел на речушку Сыдагу́. Гладких отдал распоряжение о привале на обед. Притомившиеся и притихшие было люди повеселели и с шумом рассыпались по лесу за хворостом.

Деревья стояли, опустив от жары неподвижную матовую листву, но от реки тянуло прохладой. Там уже звенели солдатские котелки. Партизаны, сбрасывая одежду, кидались в воду, визжа и отфыркиваясь, расплескивая голубые сверкающие брызги.

Отряд, за исключением трех-четырех человек «бездомных», по обыкновению, распался на группки: крестьяне — по селам и волостям, рабочие — по шурфам и участкам. К «бездомным» принадлежали: вчера только поступивший в отряд Федор Шпак (которого, однако, все уже полюбили за его веселую повадку, светлые усы и хороший голос, каждая кучка тянула его к себе), рудокоп Сумкин с неподходящим к нему прозвищем «Фартовый» — рослый разлезающийся пьяница с опухшим носом, вечно слонявшийся без пристанища, да Семка Казанок, не имевший никакого вещевого хозяйства (у него не было даже мешка), но присутствие которого в той или иной компании ввиду его боевых заслуг считалось почти за честь.

Казанок, впрочем, нисколько не нуждался в этом, приспособив в качестве своего эконома Бусырю. Мешок Бусыри всегда был полон до отказа, — иная пища до того залеживалась в нем, что протухала. Несмотря на это, Бусыря всегда попрошайничал с униженностью и нахальством глупого человека, и все так привыкли к этому, что это не считалось уже позорным: ему нигде не отказывали, а только пользовались случаем потешиться над ним, чему немало способствовал и сам Казанок.

Нужно было удивляться тому, как этот щуплый белоголовый парень, безраздельно владевший Бусырей и живший за его счет, превращал его рабскую любовь к себе и жадность по отношению к другим в средство для его унижения, увеселения других и собственного наслаждения, оставаясь в то же время в глазах у всех простым, бедовым и славным парнем.

— Ну нет, Федя, нам этого не хватит, — говорил он Бусыре, когда тот развязал перед ним свой переполненный мешок.

— Как не хватит? — удивился Бусыря, задрав к нему свое поросшее темным волосом лицо. — Вот дурак... Ну, как так не хватит?.. — размышлял он вслух, начиная уже сомневаться.

— Ясно, не хватит. А дорога? Нам еще ден пять идти...

Через минуту Бусыря сидел перед одной из крестьянских «волостей» и, протягивая грязную толстую руку, нахально выпрашивал:

— Ну, дай сала... Ей-богу, я свое утром съел...

Сережа, проходивший от реки с наполненным котелком, остановился в кустах и прислушался.

— А не хочешь по заднице *выспитком?* — спросил какой-то шутник (в отряде были уже специалисты по обращению с Бусырей).

— Ну вот — выспитком! — обиделся Бусыря. — А ежели б тебя?.. Ну, дай, ну, что тебе стоит? Не с голоду же мне сдыхать?

— А коли не хочешь сдыхать — становись раком. Я тебя по мягкому, ей-богу...

Некоторое время Бусыря, сопя, наблюдал за тем, как исчезает под усами белое жирное сало; оглянулся на Казанка, но тот безразлично смотрел в сторону; люди, сдерживая улыбки, тоже не глядели на Бусырю.

— А ты не больно? — неуверенно спросил Бусыря.

— Совсем не больно, — невинно сказал шутник.— Ей-богу же, совсем не больно... Да стань, ну что тебе стоит? — вдруг начал он упрашивать.

— Ну, ладно, только смотри, чтоб не больно... Да зачем это тебе? — спохватился Бусыря. — Неужто без этого нельзя...

— Становись, не бойся, Федор Евсеич! — вмешался какой-то степенный бородач в картузе так положительно и веско, точно речь шла действительно о неприятном, но совершенно необходимом деле.

— Только смотри, чтоб не больно, — сказал Бусыря, становясь на четвереньки.

Шутник сильно замахнулся ногой, но не ударил.

— Ух!.. — выдохнул Федор Евсеич, поджимая толстый зад.

— Ну-ну-ну!..— уже повелительно крикнул шутник.— Не оглядываться!.. — И в то же мгновение он с силой ударил его носком сапога по заду.

Федор Евсеич ткнулся лицом в траву; люди покатились от хохота; громче всех слышен был пустой и тонкий хохоток Казанка. Сережа почувствовал вдруг, как горячая и страшная волна хлынула ему в голову, и он, расплескивая из котелка воду, с трудом удерживаясь,

чтобы не вспылить, и страдая от этого, почти побежал к своему костру, где поджидали его ничего не подозревавшие Гладких, Кудрявый и Мартемьянов.

Бусыря в распахнутом полушубке сидел на земле, раскинув руки, и смеялся, поглядывая на людей маленькими похитревшими глазками.

— Совсем не больно было, — говорил он счастливым голосом.

Ему отрезали сала, и он, сопя, заковылял к Казанку. Но есть ему пришлось в одиночестве, потому что натравивший его Казанок подсел в компанию к шутникам и вместе с ними подсмеивался над Бусырей.

IX

Вверх по течению реки дороги уже никакой не было. Река все время петляла. Вьючные лошади путались в кустах. От ругани провожатых, многократно повторенной горным эхом, стоял по тайге неумолчный стон.

Гладких и Мартемьянов ушли далеко вперед, только Кудрявый то и дело отставал, проверяя лошадей и вьюки, успокаивая людей; потом он снова обгонял цепочку мелкой иноходью, цепляясь за кусты, сутулясь и обтираясь рукавом. Он всегда был так поглощен заботами, что не успевал подумать о себе: патронташи его были плохо притянуты и болтались на тощей груди; серая, мокрая под мышками суконная рубаха выбилась из-под ремня, и сзади выглядывал белый кончик нижней. Он так потел, что на впалых его щеках, едва покрытых нежным загаром, проступала нездоровая бледность.

— Сеня! Не беги так крепко — простынешь! — кричали ему вслед.

— Ты им задай, Сеня!..

— Сеня! Гляди, какую я нашел ягодку!..

Присевший в сторонку по нехитрой нужде грек Стратулато, на которого Кудрявый едва не наскочил, приветливо указал ему на кусток рядом и, выкатив веселые круглые белки, сказал натужно:

— Хозяину — честь и мэсто...

Сережа часто видел перед собой усталое лицо Кудрявого с большими темно-серыми поблескивающими глазами и жалел его.

— Зачем вы так бегаете? — не выдержал он однажды. — Ведь у вас легкие нездоровы!

— Ничего... не вредит это... — сказал Кудрявый, с трудом переводя дух. — Я здесь отдыхаю еще... Все говорят: поправился... — Он посмотрел на Сережу с обычным своим грустным выражением и, все еще тяжело дыша, вдруг улыбнулся, блеснув ровными кремовыми зубами, — веселые морщинки сбежались у его глаз. — Ты бы на руднике посмотрел на меня. Вот там я, правда, чуть не сдох! — выдохнул он хрипловатым смеющимся голосом.

— Вы работали на Тетюхинском? Это серебро-свинцовые? А у Гиммера вы не работали?

— Работал и у Гиммера... Мало сказать, работал, — я перед войной в собственной передней его плюху от околоточного получил, да еще и в каталажке посидел...

— Это мой дядя, между прочим, — откровенно сказал Сережа.

Он хотел добавить несколько осуждающих слов по адресу дяди, но почувствовал, что этого совсем не нужно, и ничего не добавил.

— Так это дядя твой? Ловко!.. — удивился Кудрявый. — Ну, да это сейчас сплошь да рядом... У меня вон брат был эсером. Членом эсеровского областного комитета был, в белом заговоре участвовал! А в Ольге случайно узнал я, что помер он месяца два тому назад и тоже от чахотки... Видать, она эсеров сильнее пробирает! — с внезапной жесткой усмешкой сказал Кудрявый.

— Вот это странно... — задумчиво сказал Сережа. — То есть странно, что он эсер, а вы... У меня ведь, понимаете, вот в чем дело: дядя у меня, конечно, буржуй, но только я никогда с ним не был связан. А отец у меня... — Сережа запнулся, — отец, правда, формально не входил ни в какую организацию и, пожалуй, тоже больше был связан с крайними эсерами, — в девятьсот седьмом году он был выслан из Саратова как эсер, — пояснил Сережа, — но в семнадцатом году он сразу пошел с большевиками... И, понимаете, все знакомые перестали ему руку подавать!.. Он мне рассказывал, как на крестьянском съезде в Никольске главный врач переселенческого ведомства пришел к нему в гостиницу уговаривать: «Я, говорит, хочу поговорить с вами, как *коллега с коллегой*... Вся наша *корпорация*...» — Сережа напружил шею, изображая

главного врача, и сделал величественный жест рукой. — Отец посмотрел на него и говорит: «Уйдите отсюда вон...» — «То есть позвольте!..» Тут отец вспылил, да как закричал на него: «Вон!!!»

Кудрявый громко засмеялся, обнажив верхний ровный ряд зубов.

— Ему, понимаете, хотелось уж хоть уйти с достоинством, — смеясь, говорил Сережа, — а отец схватил палку, да за ним по коридору!.. Говорит, не удалось догнать — из-за ревматизма, а то бы он ему показал «корпорацию»!.. Так у нас и получилось: мы с отцом здесь, а Гиммеры там. А у вас ведь, товарищ Кудрявый, насколько я знаю...

— Вот что, — с улыбкой перебил его Кудрявый. — Нехорошо у нас получается, я тебя — на «ты» и «Сережа», а ты меня — на «вы» и «товарищ Кудрявый». Зовут меня Семеном, а в отряде все больше Сеней кличут... Да это ничего, — он виновато замахал рукой, заметив, что Сережа смутился, — это же все равно, конечно...

— Ну «Сеня»... ну, ладно — «Сеня»... — засмеялся Сережа, только теперь обратив внимание на то, что Кудрявый еще совсем молод и что разговаривать с ним необыкновенно легко и приятно.

— Да, так об отце-то твоем я наслышан, — сказал Сеня, — и очень уважаю его. Сказать откровенно, я как узнал, что ты сын его, очень мне это приятно стало. Вот, думаю, все-таки... ну... хорошо как получается!.. А то, что брат мой эсер, — это, знаешь, не удивительно. Мастеровые мы — привозные с Урала. Отец — мастеровой у меня, дед мастеровой, прадед мастеровой, и это, братец ты мой, такая цеховщина, что меньшевиков и эсеров у нас сколько хочешь. Да недалеко ходить! Колчак целую дивизию собрал!..

— А как же вы-то... — Сережа запнулся, покрутил рукой и, смеясь, повторил по складам, — как же ты-то... Се-ня... большевик?

Кудрявый на мгновение задумался.

— А этого уж я, братец ты мой, не знаю, — сказал он, виновато разведя руками, и засмеялся вместе с Сережей, собирая у глаз веселые морщинки.

— А скажи откровенно, — вдруг спросил Сережа, — но только совсем откровенно: любил ты своего брата или нет?..

— Да, это вопрос... — Сеня помолчал. — Любил, конечно... До этого, правда, я и вспомнить его не мог без злости, а вот как узнал, что умер он, так понял, что любил. В таком разе ведь, знаешь, все ровно бы снимается, а вспоминается... ну, вот как мы с ним в шайбы на улице играли, — а он еще такой неловкий был: его все обыгрывали! Или как заблудился я в лесу, а он целую ночь искал меня и весь от слез распух... Жалко!.. И она, брат, опасная нам — жалость эта...

— Вот-вот-вот! — воскликнул Сережа, просияв большими черными глазами, не замечая своего оживления. — Ты знаешь, меня вот сейчас в Скобеевке сестра ожидает, Лена. Она у этих Гиммеров воспитывалась. Ну, ты понимаешь — такое воспитание! Но я все-таки любил ее и очень жалел, когда расставался с ней, и все боролся с этой жалостью. А теперь, как подумаю, что она все-таки приехала к нам сюда, я, понимаешь, так рад, ну просто очень, очень рад, — говорил Сережа, раскрываясь от нахлынувшей на него любви к сестре, к Кудрявому, а главное — к самому себе, и не замечая этого.

— Красивая она, должно быть, сестра твоя, — с грустью сказал Кудрявый.

— Почему ты так думаешь?

— Да если на тебя похожа, красивой должна быть.

— Ну, пустяки какие! — краснея, сказал Сережа. — Нет, она, правда, довольно красивая — на мать похожа. Мать была очень хороша в молодости... А у тебя сестры нет?..

— У меня сестры нет. А я бы хотел... Сдается, я бы тоже любил ее.

— А я, например... — начал Сережа (не замечая того, что важно для него именно «Я», а не «*я, например*»).

И меж ними завязался тот излюбленный между людьми разговор, когда каждый охотно говорит о себе, но рад слушать и другого и рад ему сочувствовать. Они перелезали через карчи, путались в кустах, липли в паутине и не замечали этого, пока Сеня не вспомнил об отряде, который давно уже роптал позади, требуя отдыха.

— Что же это мы шагаем, на самом деле?.. Гладких! — крикнул он и остановился. — На привал пора, истомились люди!..

— На прива-ал!.. Правильно, Сеня!.. Крой их, Сеня!.. — посыпалось сзади.

Люди, не ожидая команды, сбрасывали винтовки и сумки и падали в теплую влажную траву. Сережа, обернувшись, широко открытыми невидящими и радующимися глазами смотрел на кипевшее перед ним живое месиво из шапок, колен и зубов.

«Как хорошо... получается!» — подумал он, ложась на траву спиной и закрывая глаза.

X

Ранним утром другого дня отряд достиг вытянувшейся вдоль реки, заросшей мокрым белокопытником и окаймленной исполинскими дубами таежной поляны, где был расположен когда-то туземный поселок.

— Гляди, Сарл ночевал, — сказал Гладких, указав Мартемьянову на остатки костра у реки, по которой стлался еще утренний туман. — Гляди, как он расчистил кругом!.. — Он пощупал пепел жесткими пальцами, искоса поглядывая на Мартемьянова. — А пепел уже холодный...

— А как заросло!.. Какие дубы вымахали! — говорил Мартемьянов, озираясь вокруг синими потеплевшими глазами.

Люди, тянувшиеся через прогалину, с любопытством оборачивались на них.

— Проходи, проходи, чего вы тут не видали! — закричал командир. — Сеня, веди пролетаров своих!.. Пробирает? — грубо и ласково спросил он у Мартемьянова.

— Небось и ты молодым был, — сказал Мартемьянов.

Он крякнул, поправил на спине сумку и, вывертывая ступни, нарочито бодрым и легким шагом пошел вдоль цепи, обгоняя ее.

Принадлежа к тому разряду людей, которым трудно мыслить и чувствовать в одиночестве, Мартемьянов физически страдал от невозможности поделиться сейчас с кем-либо из людей своими чувствами: чувства эти были слишком сложны для него, а в некоторых из них он боялся признаться даже самому себе.

Эти места напоминали ему о той поре его жизни, когда он на много лет был вырван из привычной нормальной жизни людей его круга, был лишен семьи, друзей, работы, веселья — всего того, что составляет видимость людского счастья. Но ему казалось теперь, что это

была, может быть, лучшая пора его жизни. Ведь он был молод, здоров, он мог надеяться!.. А теперь, шагая по этим местам, он видел, что это уже прошло и не повторится: он чувствовал себя старым, одиноким и несчастливым.

Но он бодрился, прикладывал к глазам палец, шел, не замечая людей, и все твердил невесть почему привязавшееся к нему с утра слово: «Да, давненько, давненько... Да, давненько...»

К китайской кумирне он поднялся первый и долго стоял на скрещении хребтов, опустив руки, прислушиваясь к тихому журчанию родника. Все было такое же, как и в дни его молодости, — и чистый голубеющий воздух, и мощные массивы хребтов, на сотни верст простершие недвижные фиолетовые жилы, и ближние зеленые крутизны, под которыми глубоко внизу, как синие ковры-самолеты, кружились леса, — все было такое же молодое и яркое, и только сам он, Мартемьянов, был другой — старый и слабый.

Люди, подымавшиеся из сыдагоуского распадка, проходили за его спиной; иногда он чувствовал на своей шее их жаркое полнокровное дыхание. Они оседали на склонах, шумно радуясь отдыху, — они были молоды, они могли еще надеяться!.. Сережа и Кудрявый, прощаясь, говорили о чем-то вперебой и смеялись, хватая друг друга за рукава и сверкая зубами.

А Мартемьянов никак не мог отдышаться, колени у него дрожали, и он все повторял: «Давненько, давненько... Эх, давненько...» — и прикладывал к глазам палец.

А когда отряд ушел уже по отрогу на запад и Мартемьянов в сопровождении Сережи стал спускаться по течению родника, и когда смолкли вдали звуки шаркающих ног, побрякивающих котелков, конского ржания, — Мартемьянов и вовсе почувствовал себя одиноким. Хотел было поговорить с Сережей, но, оглянувшись, увидел, с какой беспечной легкостью прыгает с камня на камень этот стройный, полный своих приятных мыслей, шестнадцатилетний подросток, то исчезавший в кустах, то снова выказывавший из-за них свое смуглое лицо с упрямым мальчишеским подбородком и черными улыбающимися глазами, — Мартемьянов понял, что разговаривать им не о чем, и махнул рукой.

Ночевали они в двух верстах от того слаженного из корья охотничьего балагана, в котором ночевал Сарл. На другой день Мартемьянов так спешил, что Сережа едва поспевал за ним.

Дневные тени уже сгущались под кустами, но было еще жарко, когда они достигли скалы Инза-лаза.

— Ну, вот и Инза-лаза-гóу... — со вздохом сказал Мартемьянов.

Он снял шапку, обтер голову платком, потом, растянувшись на животе, стал пить из ручья, шумно вздыхая и крякая.

Сережа с волнением и ожиданием смотрел на долину, расстилавшуюся перед ним.

Инза-лаза-гóу! Название это манило его одним своим звучанием. Инза-лаза-гóу! Она расстилалась перед ним, набухшая белыми цветами, окутанная сладкими запахами и осиянная послеполуденным солнцем.

Не прошли они и нескольких шагов, как Мартемьянов схватил Сережу за руку с таким волнением, что Сережа испугался.

— Ты ничего не видал? Вон там? — сказал он, слегка присев на своих криноватых ногах и указывая пальцем в кусты за рекой, переливавшей теневыми и солнечными челночками.

— Нет... — шепотом сказал Сережа.

— Ай-я! — по-ребячьи воскликнул Мартемьянов и хлопнул себя по колену. — Да это ж караул у них!.. Он еще встренет нас, вот увидишь!

— Кто?

— Сарл... Кто же другой?

Действительно, они не достигли еще удэгейского огорода, когда из-за поворота тропинки показалось двое туземцев. Впереди, с радостной улыбкой, освещавшей его скуластое бронзовое лицо, быстро шел Сарл в длинной удэгейской рубахе с напуском в талии, за ним — маленький плоский старичок с глубоко ввалившимися землистыми щеками, редкой бородавочной растительностью на остреньком подбородке и мелкими ушками, сходными больше всего в барсучьими. На лице его застыло серьезное и благоговейное выражение.

Мартемьянов осыпал их шумными приветствиями:

— Ах ты, Кимунка! — кричал он, тряся старика за руку, которую тот, незнакомый с рукопожатиями, подал

ему, как щепочку. — Я так и знал, что встренешь нас! — говорил он Сарлу. — Ну, как вы все там? Как Масенда? Ему небось интересно про меня?.. Эх, и стар же ты стал, Кимунка! А я-то! Я-то! — Мартемьянов сокрушенно крутил головой.

Сарл с живыми и резкими, как осока, улыбающимися глазами, и старый Кимунка, с застывшим на сухоньком лице выражением радостного благоговения — из врожденной вежливости не произносили ни слова и только кивали головами. Сережа с рассеянно-счастливой улыбкой стоял возле, изредка отмахиваясь от комаров.

— Да что же это я один говорю? — Мартемьянов вдруг жалко усмехнулся. — Пойдем, пойдем к вашим... — Он, украдкой потирая глаза, увлек их по тропинке. — Давненько же я тут не был!.. Никак, семнадцать зим, а?

— Много, много, однако... — улыбнулся Сарл.

Кимунка, ни слова не понимавший по-русски, а только вежливо кивавший головой, сказал что-то Сарлу по-удэгейски, немного пришепетывая.

— Его радый — тебе на праздник поспел, — перевел Сарл своим певучим голосом, — праздник Мафа-медведя. Тебе не забывай?

— Ну, как забыть! Мы уж и торопились...

— Ай-э, тебе на Дзуб-Гынь следы не видал? Один русский люди, два лошадка ходи?

— Нет, не видали... Он куда пошел?

— Его Малаза ходи...

— Кто ж бы это мог быть?.. А ты знаешь, мы до Горячего ключа с Гладким шли! Отряд его на Сучан пошел...

— Хх-а!.. — вдруг выдохнул Сарл и остановился, стиснув губы. Лицо его приняло твердое и опасное выражение. — Сучан ходи? Малаза ходи?

— А что?

— Хунхуза! — воскликнул Сарл, дико блеснув глазами. — Малаза хунхуза ходи! Тебе понимай?

И он кратко передал то, что рассказывали вчера охотившиеся на Малазе удэге.

— Видал, как оно выходит? — возбужденно сказал Мартемьянов, обернувшись к Сереже. — Ай-я-яй!.. И ведь никак не упредишь...

— Знать бы заранее, лучше бы мы с ними остались, — сурово сказал Сережа. — Все-таки две лишние винтовки...

— Там, однако, Логада кругом ходи, чего-чего смотри... Его, я думай, раньше Гладких посмотри... — сказал Сарл.

В это время Кимунка, продолжавший вежливо кивать головой, осведомился у Сарла, чем взволнованы гости, и, узнав, что дело нешуточное, снова закачал головой, выражая сочувствие и сожаление.

Известие это так расстроило Мартемьянова, что он всю дорогу до переправы только и говорил об этом. Удэгейцы в знак сочувствия его горю не произносили ни слова. И только Сережа не воспринимал это как действительную опасность, угрожающую отряду, и уже досадовал на то, что они отстали от отряда и такое интересное событие пройдет мимо него.

XI

Чем ближе они подходили к поселку, тем ощутимее становился донесшийся к ним еще издалека тошноватый запах несвежей рыбы, разлагающейся крови и чада и тот специфический острый чесночный запах, которым пахнут туземные жилища и одежды. Сережа тратил немало усилий на то, чтобы убедить себя, что запахи эти не так уж неприятны.

На той стороне реки у причала их поджидал сидящий на корточках очень старый, но еще крепкий, сухой, высокий и широкоплечий удэге с длинной китайской трубкой в зубах. Легкая сутулость еще не скрывала могучей выпуклости его груди. Глаза его под редкими, длинными белыми бровями ясно и весело блестели, но желто-оливковое лицо с клиновидной белой бородкой, рассеченное суровыми морщинами, сохраняло каменную неподвижность.

— А, Масенда!.. — улыбнулся Мартемьянов, рванувшись к нему.

Лодка едва не опрокинулась. Масенда быстро протянул руки, точно желая подхватить лодку.

— Васаа адианан [1], — пробормотал он укоризненно.

— Что?.. Не понимаю — забыл по-вашему! — виновато кричал Мартемьянов.

---

[1] Погоди немного. *(Прим. А. А. Фадеева.)*

— Тихо, тихо... Лодка упади, — с трудом выговаривая русские слова, пояснил старик.

Обмениваясь приветствиями, они поднялись по заросшему ольхой и черемухой обрывчику к фанзе. В отличие от других туземных поселков их не встретила любопытствующая толпа. Выкатились лохмоногие собаки, но какой-то женский голос отозвал их.

Несколько человек в грязных китайских кофтах сидело у костра посреди обширной поляны перед фанзой. Вид у этих людей был изможденный, забитый, у некоторых головы были в лишаях, глаза гноились от трахомы. Один из сидящих, в мокрых ватных штанах, с лицом, изъеденным паршами, сушил у огня рубаху и что-то говорил остальным по-китайски.

— Это кто такие? — спросил Мартемьянов.

— Это чжагубай [1], — ответил Сарл (это были тазы, пришедшие с низовьев реки проведать своего сбежавшего от «цайдунов» сородича). — Гости на праздник приходи... Один люди вода упади, мало-мало промок, — пояснил он, быстро показывая, как тот падал в воду, и улыбаясь.

Сережа, стараясь не дышать носом (тошнотный запах все время преследовал его), прислушивался с разговору Мартемьянова с удэгейцами, рассеянно поглядывал по сторонам.

Тростниковая крыша фанзы, рыбные сушилки, тянувшиеся по другую сторону поляны, белые, темнеющие снизу купы черемух и проступавшие из-за них продолговатые острые юрты облиты были вечерним красноватым светом. Кое-где пылали разведенные перед юртами огни, похожие на отсветы заката на стеклах.

Полуголые чумазые ребятишки, носившиеся по поселку, изредка украдкой раздвигали ветви и засматривали на пришедших. Слышны были их негромкие певучие голоса, сердитое рычание собак; ниже по реке журчали свиристели.

Кимунка подсел к костру, и таза, с изъеденным паршами лицом, начал что-то рассказывать ему, выкладывая из своего плотно набитого подмоченного мешка различные вещицы: две рваных рубашки, свиток тонких ремней, пучок веревок, старые унты, гильзы от ружья,

---

[1] Кровосмешенные. *(Прим. А. А. Фадеева.)*

пороховницу, свинец, коробочку с капсюлями, козью шкурку, банку из-под консервов, шило, маленький топор, кремень, огниво, трут, смолье для растопки, бересту, кружку, жильные нитки, сухую траву для обуви, кабанью желчь, зубы и когти медведя, копытца кабарги, кости рыси, нанизанные на веревочку. Сережа все ждал, когда он кончит, но таза все вынимал и вынимал (это было имущество его бежавшего сородича, которое тот не успел захватить с собой).

— Ничего, старшинка! — говорил Сарл. — Гладких — смелый люди. Люди, однако, много, боися не надо... Ай-э, ходи сынка мой посмотри. У-у, какой здоровый сынка! — воскликнул он, озаряясь детской улыбкой.

Распеленатый ребенок, со смуглым, оплывшим книзу личиком, лежал в колыске перед фанзой, суча короткими, полными ножонками. Сидящая перед ним на корточках немолодая скуластая женщина, с тонкими черными бровями и серьгой в носу, хватала его за пупок. Ребенок смеялся беззубым ротиком, как старичок.

— Вот сын — так сын! Вот так охотник! — вскричал Мартемьянов, подхватив ребенка на руки. — Ух ты, какой веселый!.. Ух ты, какой беззубенький!.. — урчал он, держа его на весу перед собой и стараясь захватить ртом его ручонки. — Ам!.. Ам!..

Ребенок смеялся, выказывая нежное малиновое нёбо. Мать, держа наготове руки, боязливо поглядывала на них.

— Тебе много ходи — кушай надо, — говорил Сарл. — Молодой люди тоже кушай надо, — с улыбкой кивнул он на Сережу. — Янсели тебе *катами намихта*[1] давай, *сяйни* давай...

— Сяйни? — Мартемьянов с улыбкой передал ребенка женщине. — Сяйни не надо, сяйни мы, русские, не кушаем... Да ты не беспокойся — у нас все свое есть...

— А что такое «сяйни»? — спросил Сережа.

— Да так, кушанье такое, нам оно не подойдет, — подавляя улыбку, сказал Мартемьянов. — Это, знаешь, две женщины жуют — одна рыбу, другая сладкие коренья или ягоды — и плюют в одну чашку, чтобы уж, значит, гостю не жевать, а глотать прямо...

Сережа, почувствовав внезапный приступ тошноты, отвернулся.

---

[1] Сушеная рыба. *(Прим. А. А. Фадеева.)*

В полутемной фанзе, куда они вошли в сопровождении Сарла, их обдал запах чеснока, пыли, застарелой копоти. Фанза с двумя глиняными *канами*[1] посредине, от которых расходились на две стороны низкие глиняные нары, устланные корьем и звериными шкурами, была очищена для гостей. На правой, женской, половине валялась кое-какая кухонная утварь, на левой, мужской, висела русская трехлинейка с обрезанным ложем.

— Не из тех ли, что я тебе на Сучане выдал? — спросил Мартемьянов, указывая на винтовку.

— Ай-э, ай-э! Спасибо! — закивал Сарл.

«Когда он мог ему выдать? Да, он был председателем Сучанского совета... Значит, они встречались тогда?»

Сидя на нарах, поджав под себя ногу, Сережа уныло глодал хлебную корку, — есть ему не хотелось, а Мартемьянов ел вкусно и много, вслух размышляя о хунхузах и договариваясь с Сарлом о завтрашнем собрании. Сарл, на корточках, держа перед собою зажженное смолье, которое он взял с одного из канов, делился с Мартемьяновым своими планами.

— Я думай, тут, однако, мельница работай надо, — серьезно говорил он. — Большой круглый фанза работай, камни привози. Тебе понимай? Лошадка кругом ходи, камни — гр-ру-у... гр-ру-у. — Он покрутил рукой, показывая, как будут вертеться жернова.

— А молоть-то что?

— Кукуруза! Земля работай буду, тебе понимай? Земля работай нету — дальше живи не могу... Тебе посмотри, — с волнением указал он на группу тáзов. — Какой бедный люди! Все равно собаки... Дацзы... — протянул он сквозь зубы с внезапной горькой ненавистью к тем, кто дал его братьям по крови это унизительное прозвище. — Кругом русский люди, китайский люди рыба забирай, шкура забирай — наша живи не могу. Земля!.. Земля работай нету — все удэге помирай!..

— Что ж, земля у вас будет, — важно сказал Мартемьянов. — Сейчас еще Колчак да японец мешают.

— О-о, я понимай! — воскликнул Сарл, дрогнув щекой, и схватился за пуговицу на рубахе тонкими подвижными пальцами. — Я понимай!.. Однако наша люди — Масенда, Кимунка, другой какой старый люди — понимай

---

[1] Печами. *(Прим. А. А. Фадеева.)*

нету... Его думай, надо, как ране, живи: рыба лови, козуля стреляй!.. Я фанза работай — его не хочу фанза живи. Я говори, земля работай надо — его не понимай... Худо, худо!..

Он тряс головой и сильно жестикулировал, боясь, что Мартемьянов не поймет его — не поймет этого заветного дела его жизни, которое открылось ему в одну из бессонных звездных ночей и должно было изменить весь уклад жизни его народа. Он говорил об этом деле с тем творческим волнением, какое испытывали, наверно, и первый человек, приручивший священный огонь, чтобы готовить пищу, и первый человек, изобретший паровую машину.

— Тебе — старшинка, — говорил он, волнуясь,— каждый люди тебе слушай... Завтра, однако, все люди фанза ходи, тебе скажи: «Люди! Земля работай *надо*, мельница работай *надо, надо!..*»

— Что ж, я скажу, ты не горячись, — снисходительно урчал Мартемьянов: доверие Сарла очень ему льстило. — Это правильно, конечно... У стариков, известно, свои привычки.

Когда Мартемьянов поел, Сарл пригласил его на камлание, которое должно было состояться вечером перед жилищем шамана Есси Амуленка.

— Нашел кого пригласить! — добродушно осклабился Мартемьянов и посмотрел на Сережу с таким видом, точно хотел сказать: «Посмотри, вот бывают же дураки!» — Не верим мы в бога, дорогой мой, и вам не советуем, — убедительно сказал он Сарлу. — Сознательный народ, а дурман разводите!..

Рука Сарла, державшая смолье, задрожала, и на лице его появилось испуганное и умоляющее выражение.

— Не надо, не надо так говори!.. — пробормотал он, дергая щекой.

«И правда, какая нечуткость!» — с внезапным раздражением на Мартемьянова подумал Сережа.

— Ничего, Сарл, ничего... Моя ходи, — сказал Сережа, почему-то ломая язык. — Ты на него не обижайся.

— Ишь какой защитник выявился! — смеялся Мартемьянов. — Ну, ладно, не буду, не буду... Посмотри, посмотри, как они кривляются, — кряхтел он, расстилая шкуры, чтобы удобней расположиться. — Взрослые люди, а, право, как дети!..

В поселке чувствовалось тихое оживление. Взрослые удэге, некоторые с бубнами в руках, сходились кучками и, обменявшись молчаливыми знаками, уходили по извилистой, пересеченной вечерними тенями тропинке, ведущей от реки к сопкам.

Благодаря их одинаковым одеждам и резко выраженным типовым особенностям наружности, все они казались Сереже на одно лицо — мужчины и женщины. Постепенно приглядевшись, он стал отличать женщин. Они были меньше ростом, с более скуластыми, почти пятиугольными лицами, с более ярко выраженной монгольской складкой век и в более пестрых одеждах. Их длинные, до колен, рубахи, рыбьи унты, плотно обтягивавшие маленькие стройные ножки, легкие наколенники и нарукавники разузорены были спиральными кругами, изображавшими рыб и зверей. На груди, подоле и рукавах нашиты были светлые пуговицы, раковины, бубенчики, разные медные побрякушки, отчего при ходьбе от одежд исходил тихий шелестящий звон.

У одной из юрт, отличавшейся от других своими более крупными размерами, берестяной полог у входа был откинут. Оттуда доносились детские возгласы, виден был красный свет костра, в отверстие в крыше выходили голубоватые струйки дыма. Сарл, не могший, по обычаям, пройти мимо жилища, у которого открыт вход, сделал Сереже знак идти за ним и, нагнувшись, вошел в юрту. Сережа с растерянным и напряженным выражением лица шагнул вслед за ним и, чтобы не толкнуть Сарла на огонь, невольно посунулся в сторону, опрокинув тулуз с водой, стоявший у входа.

Никто — ни четверо мальчиков, сидевших у огня на шкурах, разостланных вдоль по обеим сторонам юрты, ни старый Кимунка, возившийся в глубине юрты (он выпрастывал из чехла бубен), — не взглянул на Сережу, сильно смутившегося от своей неловкости. Только сидевший ближе ко входу мальчик постарше, с толстыми, выпущенными поверх ключиц косами, одной рукой быстро подхватил тулуз, а другой приподнял край подстилки, чтобы вода не попала на огонь.

— Ничего, садись, садись, — сказал Сарл, подбадривая Сережу своей ослепительной улыбкой. — Кимунка, ты

идешь на камлание? — по-удэгейски спросил он старика.

— Да, мальчики просят, чтобы я рассказал им историю Мафа-медведя и почему мы празднуем этот праздник, — отвечал старик, пробуя кожу на бубне тонкими, сухими пальцами.

— Ейни-ая, расскажи!.. Ая, мы будем очень рады! — сбивчиво заговорили мальчики.

Теперь они украдкой поглядывали на Сережу, который, присев на шкуры, со слезящимися от дыма глазами, чувствовал себя все более неловко и втайне уже досадовал на то, что не остался с Мартемьяновым.

— Хорошо, я расскажу вам эту историю, — сказал старый Кимунка, откладывая бубен. — Пожалуй, это интересно будет и русскому гостю, — добавил он, ласково посмотрев на Сережу и забыв, что тот не понимает по-удэгейски.

Он опустился на корточки лицом к огню, затянулся из трубки и, закрыв глаза и медленно выпуская дым из тонких вывернутых ноздрей, некоторое время молчал.

— Анаа-анана[1], — начал он певуче и немного пришепетывая, — жил на этой земле человек *Егда* со своею сестрою. Других людей не было. Однажды сестра говорит брату: «Ступай, поищи себе жену». Брат пошел. Шел он долго и вдруг увидел юрту. В юрте сидела голая женщина, похожая на его сестру, как одна игла с кедра похожа на другую. «Ты моя сестра?» — спросил Егда. «Нет», — отвечала она. Егда пошел назад. Дома он рассказал сестре все, что с ним случилось. Сестра ответила, что виденная им женщина чужая и в этом нет ничего удивительного, потому что все женщины похожи друг на друга. Брат пошел снова. Сестра сказала, что и она пойдет в другую сторону искать себе мужа. Но кружною тропою она обогнала брата, прибежала в ту же юрту, разделась и села на прежнее место голая. Брат женился на этой девушке и стал с нею жить. Вода в реке текла год, текла два, — у них родились мальчик и девочка. Однажды зимой, когда отец ушел на охоту, мальчик играл возле юрты и ранил стрелою птицу Куа. Она отлетела в сторону, села на ветку дерева и сказала: «Зачем ты меня ранил?» Мальчик отвечал: «Затем, что я чело-

---

[1] Давным-давно. *(Прим. А. А. Фадеева.)*

век, а ты птица». Тогда Куа сказала: «Напрасно ты думаешь, что ты человек. Ты родился от брата и сестры. Ты такое же животное, как все живущее». Мальчик вернулся домой и рассказал это матери. Мать испугалась и велела сыну ничего не говорить отцу, иначе он их обоих бросит в реку Яаи... Когда вернулся отец, мальчик начал было говорить о случившемся, но мать закричала на него: «Чего ты болтаешь? Отец пришел усталый, а ты говоришь глупости!» Мальчик замолчал. Ночью, когда все легли спать, Егда стал расспрашивать сына, что с ним случилось, понял, что сестра потеряла лицо[1] и обманула его. Наутро он на лыжах пошел в лес, нашел крутой овраг, раскатал дорогу и на самой лыжнице насторожил стрелу. Вернувшись домой, он сказал сестре: «Я убил сохатого, ступай по моему следу, спустись в овраг и принеси мясо...» Сестра надела лыжи, скатилась в овраг и убила сама себя стрелою. Егда взял сына и дочь и понес их в лес. Скоро в лесу он нашел дорогу, по которой часто ходил медведь Мафа, и бросил здесь девочку. Дальше он нашел дорогу, где ходила тигрица Амба, и бросил там мальчика, а сам пошел и утопился в проруби...

Кимунка затянулся из трубки и, закрыв глаза и выпуская из ноздрей дым, опять некоторое время помолчал. Мальчики, не спускавшие с него острых раскосых глаз, и Сарл, сидевший у входа на корточках и куривший трубку, тоже не произносили ни слова.

— Мафа-медведь подобрал девочку и стал жить с ней, как с женой, а Амба подобрала мальчика и стала жить с ним, как с мужем, — продолжал старик. — От первого брака пошел весь наш народ, а второй брак был бездетным. Но Амба сделала из мальчика прекрасного охотника. Когда мальчик вырос и состарился, он увидел на охоте медведя и смертельно ранил его стрелой. Умирая, медведь сказал ему: «Я был мужем твоей сестры и имею много детей. Пойди научи их быть такими же охотниками, как и ты. Только смотри, чтобы сестра твоя не ела моего мяса и не спала на моей шкуре... И передай им мой последний завет, — сказал Мафа. — Счастье — сама жизнь. Иного на земле не ищите... Живите около рек, в которых найдете себе пищу, а леса доставят вам приправу и усладу... Сделайте себе лодки — это будут ваши

[1] Потеряла совесть. *(Прим. А. А. Фадеева.)*

олени. Для зимних перекочевок держите собак и ни к чему лучшему напрасно не стремитесь...»

— Этот завет, пожалуй, уже устарел, — скромно сказал Сарл, выбивая трубку.

— Да, многие люди нарушили его, — кротко ответил Кимунка, — но нельзя сказать, чтобы они стали от этого счастливее...

Сережа, не понимавший, о чем они разговаривают, и сильно страдавший от дыма и вони, тоскливо поглядывал на огонь, на закоптелые стены юрты, на заткнутые за стропила копья и самострелы, которые не вызывали в нем никаких воинственных представлений. «Когда же они пойдут на это свое камлание? — думал он, скучая. — Как глупо, что я не пошел с отрядом!..»

XIII

Солнце уже зашло, и на красноватом фоне заката видны были длинные острые тучи серо-стального цвета,— они золотились снизу, как лезвия мечей. Дальние громады сопок были еще багровы и теплы, но ближний ровный ряд гор уже чернел. По всей долине густели сумеречные тени; в кустах смолкали последние птичьи голоса.

Вдоль по тропе, по которой шли Сарл, Сережа и Кимунка, все чаще попадались белеющие на ветвях медвежьи черепа или вкопанные в землю корнями кверху пни с изображениями уродливых человеческих фигурок. Из-за кустов, где происходило камлание, доносились глухие удары в бубен, сопровождаемые тихим звенением бубенцов и лязганьем железа. Оттуда вздымались клубы дыма, пахнущего горькой тлеющей смолой и эфирными маслами. Дым вился над кустами длинными синеватыми нитями, — они сливались с более густыми серыми пластами дыма, тянувшегося из поселка, и с белым речным туманом, и образованный этими отдельными струями медленный плавный дымный поток стлался над рекой вдоль по всей долине.

Под сопкой, на просторной лужайке перед юртой шамана, сидели, сомкнув вокруг костра узорное кольцо из белых покрывал и островерхих шапок с беличьими хвостами, почти все мужчины поселка, начиная от глубоких

стариков и кончая четырехлетними мальчиками. Поодаль от них в мягком полусумраке расположилась пестрая группа женщин и девочек. Некоторые из них держали на руках грудных ребят...

Толстолицый рябой удэге с неимоверно длинными обезьяньими руками, в одной из которых он держал онизанный бубенчиками кожаный бубен, а в другой обтянутую серебристым мехом изогнутую колотушку, выделывал вокруг костра чудовищные прыжки, часто ударяя в бубен, сутулясь и сильно вращая задом; подвешенные к его поясу железные трубки издавали неистовый лязг.

Он проделывал эти телодвижения без единого возгласа, с лицом серьезным и сосредоточенно-глупым от напряжения, и люди, окаменевшие в своих покорных позах, с поджатыми ногами и руками, положенными на колени, молча следили за ним.

— Это шаман? — невольно делая такое же глупое лицо, спросил Сережа.

— Монгули, — ответил Сарл. — Сынка его, — кивнул он на Кимунку, который уже присоединился к камлающим.

— А где же шаман? — снова спросил Сережа, пугаясь своего свистящего шепота.

— Каждый люди мало-мало шаман, — тихо пояснил Сарл. — Самый большой шаман — Есси Амуленка. Его там живи, — указал он на юрту.

Люди раздвинулись, давая Сарлу место. Сережа, опустившись рядом с ним, некоторое время с любопытством разглядывал старательно пляшущего Монгули, бронзовые лица людей, одиноко темнеющую впереди юрту шамана. Перед входом в нее стояла на задних лапах, вделанных в деревянный подстав, неуклюжая фигура медведя — Манг-ни-Севохи. В передних раскинутых лапах он держал вырезанные из дерева ружье и охотничий нож. По обеим сторонам юрты торчали две высокие лиственницы с ободранной корой. Их голые сучья и подвешенные к ним деревянные изображения птицы Куа четко вырисовывались на алом фоне заката.

Хилый подросток с распущенными черными волосами, обдирая горстью листья багульника, сложенного у юрты, натирал ими полы разостланного на земле кафтана,— это была одежда шамана. Другой подросток с задумчивым, тихим лицом подкладывал ветви багульника в

костер, следя за тем, чтобы костер не разгорался ярким пламенем. Однако листья скоро высыхали, и из-под них вздымались иногда шипучие огненные языки, отражавшиеся в железных трубках у пояса Монгули, вырывавшие из темноты то желтую бороду кого-либо из сидящих, то беличий золотой хвост, то бесстрастное лицо женщины, то ассиметричное скуластое личико ребенка с застывшей на нем печатью вырождения.

Позы, которые принимал пляшущий, были так дики, нелепы и унизительны и так порой смешны, что Сереже делалось неловко за него, и он украдкой поглядывал на соседей, почти ожидая увидеть на их лицах насмешливую улыбку. Но на всех лицах стояло неизменно серьезное, бесстрастное и сосредоточенное выражение.

Монгули, обливаясь потом, вернулся в кольцо, а на его месте уже плясал другой, так же вращая задом и ударяя в бубен. Убогое однообразие его движений начало уже утомлять Сережу, но тут внимание Сережи привлек бесшумно вошедший в круг стройный меднолицый удэге с гибкой и сильной талией, с тонкими, косо поставленными хищными бровями. Он молча постоял немного и, вдруг откинув руку с бубном и дробно потрясая им, быстро пошел по кругу в сплошном звенении бубенцов, в узорном мелькании своих одежд, кося золотистым глазом и раздувая ноздри. Медным своим профилем с прямым — с трепещущими ноздрями — носом он вызвал в памяти Сережи полузабытый образ индейца-воина: и все время, пока он танцевал, Сережа не спускал с него восхищенных глаз (Сережа не знал, что этот удэге на всю страну славился своим исключительным безобразием; это был насмешник Люрл).

Колдовские движения танцующих, мерный лязг железа, звон бубенцов постепенно стали подчинять Сережу своему однообразному ритму. Забывшись, он глядел перед собой широко открытыми глазами и ничего уже не видел: предметы и люди, как в страшном сне, приобретали иное, нереальное значение... Дальние кусты и сопки застыли в сиянии месяца. Небо было безмолвно, молочно-сине; туманно и холодно блестел простершийся над людьми далекий млечный непостижимый путь. А люди, сменяя один другого, все кружились и кружились вокруг одинокого и неуютного своего костра, стлавшего над землей дурманные, горькие запахи.

Вдруг еле слышный шепот прошел по кольцу людей, головы повернулись к юрте шамана. Сережа, очнувшись, тоже посмотрел в ту сторону.

Маленький сухонький старичок с морщинистым личиком, в короткой, отороченной по подолу цветными полосками юбке, в широких шароварах, которые болтались на его кривоватых сухоньких ножках, как на прутиках, медленно двигался от юрты к костру раздельными, мелкими шажками, косо выставляя маленькие ступни носками внутрь, как бы ощупывая почву, и в то же время сильно вращая тощим задом, отчего подвешенные к его поясу железные трубки веером разлетались во все стороны.

Это был *сагды-самани* — самый большой шаман — Есси Амуленка. Сзади к его поясу привязан был длинный широкий ремень, конец которого держал в руках (чтобы шаман не унесся в страну теней) хилый подросток с распущенными волосами.

Кольцо разомкнулось, пропуская шамана, и Сережа вдруг увидел, что у него вместо глаз зияют черные, пустые впадины: шаман был слеп.

Убыстряя неверные свои шажки, он в сопровождении держащего ремень подростка пошел по кругу, мерно ударяя в бубен сухоньким кулачком. В напряженной тишине слышно было его старческое бормотание. Изредка он останавливался и делал рукой какие-то знаки, притопывая ногами, — тогда другой подросток подавал ему тулуз с водкой. Шаман отпивал по нескольку глотков, запрокидывая голову и пошевеливая морщинистым кадычком.

Он кружил все быстрей и быстрей, чуть не задевая людей одеждами, распространяя запах водки и пота; на губах его выступила пена. Слепой и старый, в болтающихся штанишках, он был жалок и страшен. Сережа, впившись пальцами в траву, с отвращением смотрел на него.

Шаман вдруг с силой запрокинул голову и, устремив к небу незрячие свои глаза, сотрясаясь всем своим хилым тельцем, завыл. Он выл протяжно, исступленно, жалобно, и страшная желтая пена стекала по углам его губ. «Да что же это он делает?» — подумал Сережа, невольно вслед за шаманом устремляясь взглядом к высокому синему небу, мреющему в звездном тумане, и содрогаясь от пронзившего его чувства одиночества и физического страха.

«Нет, это ужасно!» — вдруг подумал он, с трудом разжимая окоченевшие пальцы.

Несмотря на свой испуг, он понимал, однако, что все это как бы ненастоящее: похоже скорее на страшный сон, отвратительное очарование которого он всегда может сбросить с себя, стоит только на все взглянуть со стороны. Он сделал какое-то внутреннее движение и тотчас же вспомнил про отца, про Лену — и желание видеть их, видеть все то простое, привычное и милое, что связано с ними, властно охватило его.

Он отделился от костра и по чернеющей в кустах тропинке тихо побрел к поселку.

XIV

Всю ночь Сережу нестерпимо кусали блохи, — фанза кишела ими; он измучился и исцарапал себя до крови. Слышно было, как по тростниковой крыше фанзы шуршат мыши. Как видно, в тростнике над головой слепили себе гнездо шершни: едва мышиный шорох приближался к тому месту, — раздавалось тревожное гуденье. Мартемьянов храпел и метался во сне, подваливался к Сереже горячей спиной. Один раз Сережа даже со злобой ткнул его кулаком. Заснул Сережа уже перед самым рассветом, но ранняя утренняя возня разбудила его. Он встал с чувством досады и неудовлетворенности.

Мартемьянов с наслаждением умывался перед фанзой, поливая себе из берестяной кружки. Глядя на его опрятные, круглые движения, Сережа почти уже не верил в то, что с этим человеком связано что-нибудь таинственное. Наверное, в молодости охотился в этих местах, — только и всего.

— И блох же тут, у ваших приятелей! — угрюмо сказал он, выходя из фанзы.

— А где их нет? Блохи, брат, везде есть, — убежденно сказал Мартемьянов, обтираясь грязным полотенцем. — Слить тебе?

Мартемьянов велел Сереже прихватить на собрание племени несколько экземпляров воззвания о съезде.

— Они же не понимают по-русски?

— Ничего, бумага все-таки.

Сережа пожал плечами. «Он глуп и тщеславен»,— неприязненно подумал он, вспомнив, что, когда воззвания о съезде были отпечатаны на гектографе в количестве пятисот экземпляров и обнаружилось, что перед подписью Мартемьянова случайно пропущено: «Зампредревкома», — Мартемьянов, плохо владевший пером, целые сутки от руки восполнял этот пробел.

Собрание происходило на обширной, залитой солнцем поляне, между фанзой и рыбными сушилками. В отличие от других туземных поселков, присутствовали и мужчины, и женщины, и даже подростки. Сережа, усевшись рядом с Сарлом, почти не слушая Мартемьянова, распинавшегося посередине круга, от скуки приглядывался к лицам.

Люди сдержанно, спокойно сидели на поляне, подставив солнцу покатые бронзово-оливковые лбы, покуривая трубочки, — курили и женщины, — изредка поворачивая головы к Сарлу, когда он начинал переводить слова Мартемьянова. Особо выделялись тазы в китайских кофтах: они сидели, тесно прижавшись друг к другу, глаза их были безучастны, — как видно, они чувствовали себя посторонними.

Солнце поднялось уже к полудню, — запахло горячей землей, над бровями у людей выступили бисеринки пота, а Мартемьянов все говорил, — приседал, разводил руками, потирал щетину на подбородке, важно прищуривал синеватые простодушные глаза. Он искренне наслаждался, плавая по расстилавшейся перед ним необъятной словесной стихии, черпая из нее пригоршни самых неожиданных и поразительных словосочетаний.

— Смерть, други мои, дело не страшное, — говорил он, — все мы однажды умрем, да, как говорится, не в одноё время. Ну, а покуда живы, будем мы все, до капли крови, не глядя и не разделяя, который по-русски, или по-китайски, или по вашему наречию, или какие у него глаза — косые, а может, и совсем глаз нету (Мартемьянов широко улыбнулся, довольный собственной шуткой), — будем мы все биться за наше право и счастье и наших, как сказать, детей...

Или:

— Понятно, заступу всякую мы вам окажем, потому, действительно, кому не лень, он каждый вас бьет и шпыняет, и нельзя этого терпеть, но только и самим вам

жить дальше по старинке никак не выходит. То, что он вам, Сарл, говорил насчет земли или другой какой обработки, это он тоже не с потолка высосал, а жизнь его к тому подвела: «смотри, дескать, понимай, не сомневайся...»

«И что это он порет?» — спохватывался иногда Сережа, строго приподымая бровь. Но тут Сарл начинал переводить, быстро жестикулируя, то подаваясь вперед всем своим гибким телом, с вытянутыми руками, то откидываясь назад и хватаясь за пуговицу на рубахе тонкими, нервными пальцами, — и видно было, что он все хорошо понимает. Потом он повторял все по-китайски, чтобы поняли и тазы.

Мартемьянов наконец устал, вспотел. Начались вопросы.

Люди по очереди вынимали изо рта трубки и при глубочайшем внимании всех присутствующих произносили всего по нескольку слов. Сарл переводил:

— Дадут ли им пятизарядные ружья?

— Приглашены ли на большой совет хунхузы и китайские цайдуны?

— Будут ли семена и орудия? (Этот вопрос задала женщина Суан-цай. Она была выслушана с таким же вниманием, как все остальные.)

Мартемьянов, изрядно побагровевший, беспрерывно обтиравшийся платком, снова, в течение получаса, добросовестно ругал хунхузов и цайдунов и обещал ружья, семена и орудия. Потом вынул трубку старый Масенда и, не замечая обратившихся на него почтительных взглядов, сказал о том, что великий *Онку* — владыка гор и лесов — велел им жить и умирать в тайге; но они рады принять участие в «большом совете», — русские братья могут располагать их жизнями. Он немного оживился, сказав такую длинную речь, но тотчас же глаза его потускнели, — он опустил коричневые веки и смолк, зажав трубку меж тонких, суровых губ.

Люди почтительно закивали головами.

— А кого вы пошлете? — спросил Мартемьянов.

Все некоторое время молчали.

— Пойдут Масенда и Сарл, — сказал Кимунка, пришепетывая.

Люди снова согласно закивали головами: подобно тому как в охотничьи старшины или военачальники само со-

бой выделялись наиболее опытные и распорядительные, так же, естественно, на съезд должны были пойти Сарл, знающий русский язык, и Масенда — как старейший. Мартемьянов дал Масенде и Сарлу по экземпляру воззвания, которые они почтительно спрятали за пазухи.

Сережа, сомлев от жары, хотел было уйти спать, но Мартемьянов, подсевший к нему и все еще обтиравшийся платком, задержал его, сказав, что сейчас начнется торжество «съедения медвежьей головы».

Женщины, шелестя рубахами, одна за другой покидали поляну. Ушли куда-то Кимунка и Монгули. Через некоторое время неуклюжий Монгули показался из-за кустов с мальчиком Салю, — они несли на палке большой дымящийся черный котел с вареным мясом; за ними ковылял Кимунка, держа перед собой завернутую в медвежью шкуру, мехом кверху, и перевязанную желтым ореховым лыком медвежью голову.

Он остановился перед Сарлом и, церемонно опустившись на одно колено и весело прищурившись, протянул ему сверток: он предлагал медвежью голову любимому зятю. На лице Сарла появилась лукавая улыбка, — он посунулся назад и отрицательно покачал головой.

— Возьми, возьми, — настойчиво говорил Кимунка.

Сарл снова отрицательно покачал головой и заслонился ладонями. Люди, придвинувшись к нему, разом заговорили, замахали руками: «Бери, не стесняйся!» Мартемьянов посмотрел на Сережу и хитро подмигнул. Некоторое время на поляне стоял сплошной певучий гомон; все знали, что Сарл возьмет медвежью голову, но обычай превратился уже в веселую игру, — надо было настойчиво и долго упрашивать.

— Бери, бери! — кричали они, смеясь, как дети.

— Ты, наверно, думаешь, что там осиное гнездо? — сказал Люрл, раздувая ноздри. — Но это всего только медвежья голова!..

— Ты должен взять ее, — этого хочет твой сын!

— Он прожил уже целую зиму... Он будет таким же крепким и добрым, как этот медведь!..

Под общий восторженный крик Сарл взял наконец медвежью голову и, выхватив из ножен длинный охотничий нож, одним взмахом рассек связывающие голову лыки. Потом он развернул медвежью шкуру, разостлал ее на земле, чтобы ни одна капля сала не упала на землю, и

взял из рук Салю заостренную тонкую палочку. Отрезая от медвежьей щеки мелкие розовые куски мяса, он насаживал их на палочку и поочередно протягивал людям. Сережа, внимательно следивший за его быстрыми движениями, невольно замечал, какие у него грязные пальцы и как замусолены рукава его рубахи.

Каждый, кому Сарл протягивал палочку, снимал с нее кусочек мяса и принимался усиленно жевать, демонстративно чавкая и жмурясь. Не получили мяса только Кимунка и Монгули: они были хозяевами праздника.

Наконец очередь дошла до Сережи. Сарл, весь осветившись улыбкой, протянул ему палочку. Сережа, заставил себя улыбнуться и, взяв кусочек мяса, сделал вид, будто жует его. Но когда все перестали смотреть на него, он вынул мясо изо рта и незаметно выбросил.

Съев самый последний кусочек, Сарл взял в обе руки голый медвежий череп и стал на одно колено; против него также на одно колено опустился Кимунка. Сарл дико зарычал. Кимунка выхватил череп и, склонив свою плоскую спину, покашливая, понес его к юртам, чтобы укрепить на дереве. Остальные принялись таскать руками мясо из котла...

Сережа, сославшись на усталость, ушел в полутемную фанзу и, бросившись на шкуры и не замечая уже никаких блох, крепко уснул.

XV

Открыв глаза, он несколько минут лежал со смутным ощущением какой-то неуютности и неустроенности всего.

Грубо ругаясь вслух, он достал из сумки масленку, тряпки, протирку, ногой распахнул дверь и, выкатив за нее какой-то изрубцованный чурбанчик, усевшись на порожке, стал яростно чистить свой и без того блестевший, как новенький, винчестер.

Люди все еще сидели на поляне, сгрудившись вокруг Мартемьянова. Над ними проносились фиолетовые стрижи. Сережа, отдуваясь от комаров, яростно шоркал суконкой и щелкал затвором, пытаясь заглушить все более овладевавшее им чувство недовольства собой.

Резкий, пронзительный крик пищухи раздался где-то позади за рекой, и эхо повторило его. Свора лохмоногих

псов с лаем и воем промчалась мимо фанзы. Люди побежали за ними, на ходу выбивая трубки и шлепая унтами; мелькнуло испуганное лицо Мартемьянова, Сережа с затвором в одной руке и суконкой в другой некоторое время прислушивался к треску кустарника за фанзой. Из-за реки донесся незнакомый гортанный окрик; собачий лай перешел в умильное визжание; кто-то стукнул веслом об лодку. Верхний край багрового солнечного диска погрузился в синюю чащу леса, и мягкий сумрак разлился по долине.

Наскоро собрав винчестер и сунув его под изголовье, Сережа побежал к реке. У самого обрывчика он чуть не столкнулся с Масендой, бежавшим ему навстречу. Старик мельком взглянул на него, но, как видно, не узнал. Сережа поразился жестокому, ястребиному выражению его глаз.

На берегу под ольхами было уже почти темно. Люди, цепляясь за кусты, обступали высокого, худощавого удэге, без шапки, в продранном кафтане, — остроскулое лицо и черные растрепавшиеся волосы удэгейца были мокры от пота. От него шел пар, как от лошади. Он что-то говорил, тяжело дыша и указывая за реку. Сережа сообразил, что это стороживший хунхузов удэгеец Логада.

— Что случилось? — с бьющимся сердцем спросил Сережа, схватив Мартемьянова за рукав.

Тот повернул к нему свое посеревшее лицо, — глаза его блестели.

— А то случилось, — сказал он возбужденно, — на Малазу Ли-фу пришел, главный хунхузский начальник... Привел отряд в триста винтовок... Того человека с двумя лошадьми, что Сарл вчера сказывал, зарезали и в реку бросили!..

— А наших он не встретил? — холодея, спросил Сережа.

— Кто? Логада?.. Какой там! — Мартемьянов безнадежно махнул рукой. — Он оттуда двое суток бежал прямо через сопки... Он и не знал, что наши туда идут. Наши, видать, только еще с верховьев спускались, когда он там был... В аккурат они сегодня к ним в лапы и влезут...

Масенда, увешанный патронташами, неслышно спустился на берег. За спиной у него был кожаный мешок, в громадной руке он нес винтовку с отвисшим ремнем... Ни на кого не глядя, он прошел в лодку и опустился на

корточки; за ним, на ходу столкнув лодку с берега, впрыгнул подросток. Люди провожали их молчаливыми взглядами.

— Куда он?

— За хунхузами глядеть... У него с Ли-фу с этим кровная месть: тот лет тридцать тому назад всю семью его ка́знил, — жену, трех сыновей с ребятами малыми живьем в землю зарыл...

Сережу передернуло.

Лодка подошла к тому берегу. Рослая фигура Масенды скрылась в лозняке. Подросток погнал лодку обратно.

— Вот они, дела! — со вздохом сказал Мартемьянов, сердито и жалобно взглянув на Сережу, как будто Сережа был виноват во всем том, что случилось.

XVI

В эту ночь в поселке долго не ложились спать; слышен был плач грудных детей. От костра на поляне проползали по внутренней стене фанзы огненные языки. В тростнике над головой снова шуршали мыши.

Сережа лежал на спине, глядя во тьму под стропилами, и не мог заснуть. Мартемьянов ворочался, тяжело вздыхал. Сереже было почему-то жаль его и немножко стыдно за то, что он весь день сердился на него.

— Вы не спите? — тихо спросил Сережа.

— Какой уж сон!..

— Я думаю, может, обойдется?..

— Все может быть...

— А мы теперь как пойдем? По другой дороге?

— Что — мы? Они нас по реке спустят... Ежели все обойдется, мы в Скобеевку почти вровень с отрядом придем...

— Скажите, — приподнимаясь на локте, робко сказал Сережа, — вы здесь жили, что ли?..

В тростнике снова прошуршали мыши, и вдруг над самой головой приглушенно и угрожающе загудели шершни.

— Видать, гнездо у них, — тихо сказал Мартемьянов. — Да, я жил здесь, — ответил он после некоторой паузы и тоже приподнялся на локте.

Лицо его было совсем близко от Сережиного, и Сережа чувствовал, что Мартемьянов расскажет ему сейчас что-то очень важное для них обоих.

— Три года жил я на Сыдагоу, — раньше их поселок там был, — да пять лет здесь...

— Как же это вышло?

— А так это вышло, что пришлось мне от людей скрываться, как зверю, и ежели бы не случай один, где мне Гладких помог, тут бы я, может, и помер... Трудно только все это рассказать...

— Нет, вы расскажите...

— А и правда, блохи здесь! — сказал Мартемьянов, схватившись пониже спины, и сел. — Фамилия моя, если хочешь знать, не Мартемьянов совсем, а Новиков — Филипп Андреевич Новиков. В Самарской губернии у нас, откуда я родом, почти вся волость — Новиковы... В девяносто третьем году был у нас голод. Об этом, если рассказать тебе, как люди у нас с голоду пухли, да как у меня сестренка померла, да как у брата и отца все зубы выпали, — об этом я тебе даже не скажу... Ведь это же как голодали! Не только что хлеба ни крошки, — какой уж там хлеб, — ни черта не было! Даже мухи перевелись!.. Одним словом, пошел у нас к весне слух, будто дает казна ссуду, — переселяться на новые земли, на Дальний Восток. Земли будто дают очень хорошие, наделы — большие, и будто из других уездов многие уже не то собираются, не то повыезжали...

Сережа смутно вспомнил, что кто-то уже рассказывал ему про это, — но кто именно рассказывал, он не мог вспомнить. Однако мысль эта почему-то беспокоила его, и он, слушая Мартемьянова, все время возвращался к ней.

— Судили, рядили, — продолжал Мартемьянов, — целую неделю. Ну, как тут бросишь все!.. Отец был за то, чтобы ехать, но одному боязно, а другие и вовсе на подъем тяжелы... Кончилось тем: послать ходоков. Вопрос: кого?.. «Ты, — говорят отцу, — больше всех кричал, тебе и идти...» Отец говорит: «Я-то, говорит, от семьи своей ходока выставлю... (Умысел у него на меня был: в губернии он узнал, что кто на переселение идет, а срок ему, скажем, в солдаты, дают тому освобождение, а я как раз перед голодом женился.) Только, говорит, не страдать же мне одному за всю деревню!» Совсем уж было опять дело расстроилось. Потом вызвался один — мужик уже

в годах, полная изба сыновей, а в земле он был утесненный, фамилия ему тоже Новиков, а звать его Иваном. «Я, говорит, пойду...» На том и порешили. Справили нам паспорта, одели нас кое-как сообща, зашили мы в порты казенные денежки и...

Мартемьянов покрутил рукой и свистнул.

— Я ведь тогда какой парень был! — сказал он, улыбаясь в темноте. — Я тогда еще и железной дороги не видал!.. Как сели мы в поезд, стал я, брат ты мой, возле двери, и пошла она мимо меня, Россия наша, зеленая да голубая: поля да леса, да небо... да еще мужики и телята... Ехали мы в товарном; вагон полный: оказывается, многие туда же едут, другие с семьями и со всем барахлишком, — накурено, наплевано, ребята плачут, кто на гармошке играет, мужички в очко наяривают... Жизнь!.. Сказать по совести, и меня на очко подмывало. Стою я, и нет-нет да денежки пощупаю, — до карт я был очень азартный. И не то меня держало, что деньги-то не мои, а то, что боялся я Ивана Новикова: мужик честный, строгий, — нельзя! И вот, поди ж ты, как оно дальше получилось! Захворал мой Иван Осипович... Пока до Одессы добрались, он уже и ходить не мог, — сволокли его в больницу. Тут я, правду сказать, сдрефил: не с того, что одному ехать, — я хотя и нигде не бывал, а парень был самостоятельный, — а главное дело, думаю: поеду я один, а вернусь назад, мужики не поверят, скажут: «Что он в двадцать один год понимает, несмысель?» А Иван Осипович говорит: «Езжай, там помогут: в случае чего — отпишут с тобой, как и что». А главное было его убеждение, что мы, дескать, с тобой уже несколько целковых истратили да на обратный путь истратим, а все без толку — убьют нас мужики!.. Одним словом, забрал я у него его половину, — оставил он себе, как сейчас помню, два целковых, — и началась моя жизнь вовсе самостоятельная...

— С чего же она началась? — помолчав немного, с удивлением спросил себя Мартемьянов. — А с того она началась, что купил я себе сапоги и бутылку водки: давали, думаю, на двоих, а на одного мне хватит!.. Переселенцев, надо тебе сказать, скопилось тогда в Одессе до черта, и все с Волги. Были и ходоки, вроде меня, а то все семейные, с ребятами да с люльками... Пока сели мы на пароход, до того намытарились, что, как вспомню, и сейчас кровь закипает! Начальства много, каждый по

шее норовит, а я еще парень был непокорный, с норовом, мне за всех перепадало. Отплывали мы ночью. Ночь темная, машина под ногами гудит, гудит, народ весь на борту, ребята плачут, а она плывет перед нами, Одесса-мама, вся в огнях, кругом вода кипит золотая, а впереди все черное, черное да чужое, — многие тут всплакнули... Тут даже и я...

Мартемьянов крякнул.

— Скажите, а Иосифа Шпака среди вас не было? — тихо спросил Сережа, вспомнив наконец, что именно Боярин рассказывал ему о своем переселении.

— Ах, Сережа, Сережа! — не слушая его, с внезапной тоской и злобой выдохнул Мартемьянов. — И что же это была за дорога! Народу битком — и в трюме, и на палубе; жара — аж глотки пересыхают; вши; ребята под себя ходят; бабы ссорятся... В качке все валом лежат, блюют; никто за этим не следит, не убирает; вонь, мухи; каждый тебя ногами пихает, как последнюю скотину!.. Возьми хотя бы матросов! Ведь свой же брат Савка, нет: он уже мужика и за человека не считает, нос воротит. Помню, один матрос к бабе подсыпался, а муж у нее оказался ревнивый, — и что же он, муж, с ней выделывал! При всем народе последними словами, а потом — бить ее, груди щипать, да за волосы, да сапогом в живот — раз ее, раз!.. Ай-я-яй!.. — с отчаяньем сказал Мартемьянов и схватился за голову. — Много проехали мы стран и городов, не упомнить и названий. И чего я тогда не насмотрелся, и чего я только не передумал!.. Сколь велик мир! Сколь богат! Сколь много людей — разных цветов и язы́ков — населяют его! Сколь непомерно много труда людского вложено в него — и в землю, и в сталь, и в камень! И сколь же нищеты, обмана, зверства в жизни нашей, сколь темноты, грязи! А ради кого? Ради кого, я спрашиваю?.. — повторил он со страшной силой, и какие-то лающие нотки прозвучали в его голосе. — Знаешь ли ты, например, что есть такие места, где на людях ездиют, как на лошадях?! Садится барин в белом костюмчике, а человек его везет, а он его зонтиком погоняет!.. Нет, ты панимаешь? На людях ездиют!.. — весь сотрясаясь и багровея от гнева, говорил Мартемьянов.

Сережа, не спускавший с него глаз, не замечал того, что сам, впившись пальцами в мех, давно уже сидит на нарах.

— Так вот и проехали мы полтора месяца, — со вздохом продолжал Мартемьянов. — Прибыли мы в Ольгу в середине мая. Народ измученный, обовшивел весь. Свалили нас в общие бараки, и пошел нас тиф косить. Стали тогда отделять больных от здоровых, но из поселка никого не выпускают. Люди мрут, как мухи!.. Помощи, конечно, мало, мордобою много... Исхудал я, устал, озлобился. Что делать?.. Китайцы из Шимыня водку к нам возили, и пил я тогда, как уж никогда в жизни... И тут вот и случилось то, из-за чего мне скрываться пришлось, — глухо сказал Мартемьянов. — С вечера я пьянствовал. Утром пошел в управление требовать документы: пустите, дескать, ждать больше нельзя. «А мы, говорят, тоже допустить не можем, чтобы ты по селениям заразу разносил...» Поругался я в дым. Иду обратно в бараки — злой-презлой. Подхожу, смотрю: у барака у нашего народ сгрудился и кто-то — по фуражке видать — пристав — кого-то лупит. Втерся я в толпу, вижу: лупит он парнишку. Парнишка лет восьми, такой желтоволосый, худенький, а он его до того хлещет, что у того кровь из носу... А отец, понимаешь, рядом стоит да приговаривает: «Так, мол, ему и надо...» — «За что он его?» — спрашиваю. «А за то, говорят, что он у сына пристава, у гимназиста, удочки украл». Не знаю тут, что меня взяло, только подошел я к нему и говорю: «Нехорошо, говорю, за пустяк такой так мальчика бить». — «Что-о?!» Оборотился он ко мне; лицо у него красное, один ус выше другого... Ка-ак даст мне по скуле, я — на четвереньки. Невзвидел я себя, схватил какую-то каменюку, да как ахнул его!.. — с видимым наслаждением сказал Мартемьянов.

Сережа ляскнул зубами.

— Прямо в висок и угодил. Он так на землю и брякнулся. Народ — бежать, я — к нему, а он уж и усами не шевелит... Пометался я туда-сюда, да в лес. Тогда он еще гуще был и подходил до самой Ольги. Поднялся я на отрожек. Ольга — как на ладони... Смотрю: барак уже солдатами оцеплен, по кустам шарят. Я снова бежать... Ну, местности я тогда не знал, плутал, плутал, — уже стемнело, как вышел я по отрожку на Ольгинский перевал, на тракт, и прямо на солдат: там уж, оказывается, кругом дозоры выставили... Они: «Стой, стой!» — я кубарем в кусты. Они стрелять... Ранили сначала вот сюда, в левую

руку пониже локтя, потом как жигануло под лопатку, у меня аж дыхание захватило, смотрю — кровь по груди. «Ну, думаю, конец». И уж ничего не помню... Очухался я уж совсем ночью и сначала подумал, будто все еще сплю: лежу я, понимаешь, у огня, небо темное, возле меня старуха какая-то, кругом люди, морды у них в красном свету, на наших они непохожие и вроде не китайцы... Хотел я что-то спросить у них, только рот раскрыл, и опять все передо мной поплыло...

Мартемьянов передохнул, как после трудного перехода; закурил.

Все, о чем он дальше говорил, казалось, должно было наиболее интересовать Сережу, но Сережа уже почти не слушал его, а не отрываясь глядел на ползающие по стене фанзы огненные языки и мучительно думал что-то о себе.

— Оказывается, что же получилось? — пыхтя цигаркой, продолжал Мартемьянов. — Старик вот этот ихний, Масенда, был в Шимыне. На обратном пути видит дозор на перевале: «Не по нашей ли, думает, части прохлаждаются?» Весь день он следил за ними и все как раз видел. Солдаты меня потом долго искали, но уж темно было, а кусты густые... Так и не нашли. Он меня подобрал и привез к своим в лодке... Лечился я у них до осени. Трудно мне в первое время было: языка не знаю, люди не наши, даже грязь у них какая-то нерусская, да и мысли у меня свои — пропала жизнь... Идти некуда! В родной деревне убийцей и вором почитают!.. Но ухаживали они за мной, как за своим, ничего не жалели. Ведь это же что за люди? Ты не смотри, что они дикие, ведь это же люди — братья. Они не считают, что это вот мое, а это чужое: один, что добыл, всегда другим даст. Когда из какого поселка ихнего долго вестей нет, они посылают своего узнать: как, живы ли, здоровы, не нужно ли чего? И начальства у них нет никакого. Только русские наши и китайцы на них наседают, а особливо хунхузы эти. Народ они храбрый, а сил у них мало — многие в кабалу попадают, и сразу все их обличье теряется. Старики рассказывали — была у них один год оспа. Больше всего она тазов косила. Китайцы их боялись хоронить и сжигали на кострах. Как в какой юрте покойник, выволакивают крючьями заодно уж и живых, чтоб заразы не было, и — в огонь... Так и мытарился я с ними: и на охоту, и рыбу лучить, и с хунхузами воевать! А особо я

с этим Сарлом подружил. Когда я попал к ним, было ему всего лет шестнадцать, и сразу я его отметил: парнишка смышленый, все ему расскажи да покажи. Стал я его своему языку обучать, а он меня — своему. Привязался я к нему, как к брату... С Гладким же, стариком, познакомились мы на охоте. У него с народом этим тоже дружба была. Приехал он в эти края, когда русских тут почти не было, выходит, ссориться ему с народом этим никакого расчета не было, да и не из-за чего. А через него я и с сыном его Антоном, что отрядом командует, подружил... Да ты уж, наверное, спать хочешь?

— Нет, я слушаю, — хрипло сказал Сережа.

— Он-то мне, Антон, и подсобил... Случилось так, что русский тут один, промысленник, убил в тайге ихнего удэгея. Промысленник тут — это такая профессия: ходит он по тайге, высматривает бродячих манз, или корейцев, которые, скажем, с мехами идут, или с пантами, или с корнем женьшенем, и постреливает их полегоньку. Называется это — охота за «синими фазанами» да за «белыми лебедями», потому китайцы всегда в синем ходят, а корейцы в белом. И вот убил такой промысленник ихнего удэгея. А у них закон такой: кровь должна быть отомщенной, иначе душа убитого на тот свет не попадет. Пошли они его выслеживать. Антон пошел с ними для интересу. Когда они его убили, стал его Антон обыскивать, смотрит — паспорт: *«Филипп Андреевич Мартемьянов, тридцати лет от роду...»* Он как увидел, что имя и отчество у него мое, тут его и надоумило: почему бы, дескать, Новикову не стать Мартемьяновым?.. Целый совет у нас был: куда мне с этим паспортом податься? Гладких-старик и посоветовал: «Ступай, говорит, на Сучанские рудники. Там, говорит, русских рабочих не хватает, они уж не станут допытываться, кто и откуда». Сарл, как узнал, что я уходить должен, до того заскучал, до того загрустил! И сделал я тут одну глупость, за которую долго потом пришлось каяться. Стал я его сманивать с собой. Друзей, думаю, не скоро найду, а к нему я привык, да и он, думаю, парень смышленый, — жизнь увидит, в люди выйдет... И, понимаешь, сманил! Конечно, промаялся он на руднике года полтора и сбежал. А для меня эта жизнь была совсем новая, и глядел уже я на все открытыми глазами... Только об этом что уж рассказывать... Потом уж, после революции, когда вы-

брали меня председателем Сучанского совета и уж наша власть была, прибегает ко мне один паренек: «Тебя, говорит, Филипп Андреевич, какой-то китаец по руднику разыскивает...» Что, думаю, за китаец? Оказалось — Сарл... Прослышал ведь, понимаешь! — с гордостью сказал Мартемьянов. — Обрадовался я ему, как сыну или брату... Целую ночь мы с ним проговорили. На другой день выдал я ему из нашего красногвардейского отряда десять трехлинеек и грамоту на них. «Только, говорю, грамота — грамотой, а ты лучше их ночью унеси, а то отберут у тебя мужики!..» За ружья за эти они мне теперь всю жизнь благодарные... У них ведь что за ружья? — говорил он, укладываясь на нарах и кряхтя. — Китайские какие-то, со времени царя Гороха.

Некоторое время слышно было его умиротворенное сопенье.

— Это, знаешь, хорошо: о себе рассказать, — проурчал он снова, зевая и улыбаясь, — вроде какую тяжесть с души сымаешь...

И уже засыпая, он еще ласково бубнил что-то, — кажется, беспокоился об отряде, но Сережа, прилегший на спину, уже совсем не слушал его. Образы, навеянные рассказом Мартемьянова, не давали ему уснуть, — они были как бы продолжением всего того, что Сережа видел во время похода, но не того, что он считал наиболее интересным и обещающим, а как раз того, что он старался не замечать, но что, помимо его воли, входило в его сознание и теперь властно давило на него. Какие-то изможденные, изъеденные паршами, гноящиеся лица осаждали его, — сухонький слепой старичок в болтающихся штанишках плясал среди них, брызгая пеной, завывая... Вдруг Сережа увидел Бояринa с грязной бородой и вывороченным веком, — он сидел на траве и разминал пальцами свои потные белые, нечеловеческие ступни... Неуклюжий и глупый Бусыря тыкался волосатым лицом в землю, — люди смеялись вокруг, оскаливая жестокие зубастые пасти... Это были те самые люди, о которых рассказывал Мартемьянов, это они населяли страну, по которой больше месяца бродил Сережа, в сущности не интересуясь ими, рассматривая их как что-то внешнее, что создано для того, чтобы украшать его жизнь, оттенять его чувства и преклоняться перед его поступками. Жизнь их пока что не стала светлее и чище, они

по-прежнему дрались за корку хлеба, не уважая и обманывая друг друга, жизнь их была жестока и отвратительно несчастна.

«А Гладких?» — думал Сережа, пытаясь как бы заслониться тем образом мужественности и цельности, который всю дорогу внутренне сопутствовал ему, который делал его жизнь наполненной, по-особенному осмысливал ее и украшал ее. «Зачем ты обманываешь себя?» — вдруг спросил он себя и сел и снова услышал мышиный шорох и храп Мартемьянова, увидел ползающие по стене фанзы огненные языки. «Затем, что я хочу быть сильным, счастливым, хочу выделяться среди людей и быть прославленным ими... Да, но ведь это же ложь, то, что ты думаешь о себе и о людях, — ведь это же совсем не такое?.. Но разве можно жить без этого? Чем же тогда жить?» — спросил он себя.

В реке за фанзой звонко всплеснула рыба. Сереже стало душно. Он вышел из фанзы, и, как это бывает в горных долинах, по рукам его повеял холодный воздух, а по лицу — теплый, пахнущий росой и цветами. Теперь, ночью, запахи эти могуче заглушали все людские. Было свежо, прозрачно, тихо. Долина лежала в голубоватом призрачном свете, и, ровно искрясь и блистая, возвышалась, царствовала над ней Серебряная скала — вся точно из голубого сахара.

У костра, в багряном его полыхании, застыл, поджав ноги, рябой, толстолицый человек с прислоненной к плечу винтовкой и опущенными на колени руками, длинными, как у обезьяны. Голубоватая звезда Капелла сияла над ним. Сережа, не замечая человека, долго смотрел в его сторону.

XVII

Отряд Гладких уже третий день продвигался по течению реки Малазы.

Места здесь были на редкость глухие и тихие. Солнце почти не пробивалось сквозь чащу. Свежие медвежьи лежанки встречались у самой тропы. Утиные выводки спокойно плавали в осочных, тинистых заводях; тут же в траве можно было нащупать гнездовья с нежным, еще теплым пухом утят.

Совсем недавно этим путем прошел человек с лошадьми. Человек хорошо знал дорогу. Гладких все время вел отряд по его следам.

Изучая их, он так далеко ушел от отряда, что Сеня, замешкавшийся со взводами, едва настиг его.

— Ты понимаешь, — возбужденно сказал командир, распрямив спину и обдав Сеню стремительным блеском своих орлиных глаз, — он, видать, гад, не в первый раз тут ходит!..

— Кто ходит? — рассеянно спросил Кудрявый.

— А кто ж его знает! По чьим следам идем...

«И все-то ему следы, чурбашке!» — подумал Сеня. Он относился к командиру с той шутливой, в сущности, нежной, привязанностью, с какой нередко физически слабые люди со сложной душевной организацией относятся к людям физически здоровым, не обременяющим себя мыслями.

— И дались они тебе!

— Та-ак... — насмешливо протянул Гладких. — А ежели дымом тянет, как это на твое мнение?

— Дымом?

Сеня принюхался. В воздухе стоял легкий, едва ощутимый запах горящей хвои.

— Лес где горит, верно, — раздумчиво сказал Сеня.

Изредка они останавливались, поджидая отряд, но когда показывалась из кустов голова цепочки, снова незаметно уходили вперед. Уже вечерело, тени сгущались и лиловели, по кустам разносилось предсумеречное оживление птиц.

Тропа неожиданно оборвалась за речным коленом, — река повернула вправо, — и перед Кудрявым и Гладких открылась большая, освещенная закатным солнцем, кишевшая людьми прогалина. Посредине ее тянулся длинный, только что покрытый корой барак из свежих, обтекающих смолою бревен.

Перед входом в барак слабо курился небольшой костер, — дым вился над прогалиной и оседал в ветвях тонкими синеватыми пластами. Множество китайцев в белых грязных рубахах и синих кофтах, обвитых крест-накрест матерчатыми патронташами, молча сидело и лежало вокруг составленных по три, по четыре в козлы ружей. Некоторые, задумавшись, курили трубки, некоторые, голые по пояс, разложив на коленях рубахи, искали

вшей; двое с трубками в зубах сидели на порожке барака. Слева, на опушке, стояли привязанные к дереву две разномастных лошади.

В первое мгновение Кудрявый и Гладких не успели даже удивиться, ступили еще несколько шагов; люди на прогалине тоже не проявили никакого беспокойства. Но уже через секунду двое сидевших на порожке барака, выронив трубки, прыгнули врозь и застыли по обе стороны костра, направив на пришедших выхваченные из болтающихся у бедер кобур револьверы. Гладких и сильно побледневший Кудрявый сделали то же самое.

Прогалина мгновенно ожила, ко́злы исчезли. Ружейные дула уставились на пришедших. Партизаны, накатывавшиеся сзади, с возгласами испуга и удивления срывали с плеч винтовки и растягивались полукругом в обе стороны от командиров; слышалась чья-то приглушенная команда, слева сильно трещали кусты, — партизаны оцепляли прогалину.

Некоторое время люди стояли друг против друга в угрожающих позах, безмолвно ощерившись оружием.

Наружность человека с револьвером в руке, застывшего против Сени, была так незаурядна, что Сеня никогда уже не смог бы забыть его.

Сильно пожилой, с седыми редкими бровями, человек этот в поношенной форме китайского офицера, но без погонов, так прочно стоял на земле, точно он врос в нее своими кривыми ногами. Скуластое большелобое лицо его со шрамом на подбородке, с неподвижными, без ресниц, с красными веками, глазами, из которых по его сухим щекам безостановочно катились слезы, выражало одновременно и какую-то мучительную жалобу, и жестокое бесстрастие.

Несколько секунд слезоточащие жалобные глаза его смотрели на Сеню, многократно отражая его в себе и в то же время не впуская его в себя, потом глаза его скосились в сторону Гладких, и уголки бровей у человека чуть шевельнулись.

— Антон? — спросил он вкрадчивым голосом, с легким китайским акцентом.

— Ли-фу? — хрипло отозвался Гладких.

Они разом опустили револьверы. Слышно было, как вздохнула и зашуршала, опуская ружья, вся прогалина.

— Вот уж кого не ждал, признаться! — с усмешкой сказал Гладких, шагнув к Ли-фу.

Ли-фу, ступив навстречу к нему несколько шажков, легонько, по-стариковски, встряхнул протянутую ему большую смуглую ладонь Гладких пальцами обеих своих рук.

— Я думаю, мы оба не ждали, — старательно и чисто выговаривая русские слова, ответил он. — Вы можете, как дома, располагаться...

Он быстро обернулся к высокому тучному китайцу, вместе с ним соскочившему с порожка барака, и что-то тихо сказал ему. Тот, пряча револьвер в кобуру, тяжело переваливаясь, пошел к своим, повелительно крича им что-то тонким гортанным голосом и обводя рукой прогалину.

— Помощник мой, Ка-се зовут, — пояснил Ли-фу.

— Мой товарищок, Кудрявый Сеня, — сказал Гладких, указывая на Сеню, который, оправившись от первоначального испуга и уже забыв о том, что он сильно испугался, с грустным удивлением наблюдал за хунхузами.

Хунхузы, подбирая разбросанные по траве патронташи и рубахи, отходили в дальнюю половину прогалины. Несколько человек присели на корточках возле костерка перед бараком. По обе стороны от них — к реке направо и к опушке налево, где привязаны были лошади, — расположились на небольшом расстоянии друг от друга такие же, как бы случайные группки, образовав поперек прогалины сторожевую линию.

Партизаны, по знаку Гладких, сбрасывая с плеч походные мешки, с беспечным и шумным гомоном растекались по очищенному для них пространству, тоже не переходя, однако, какой-то черты: между передней линией хунхузов и передней линией партизан все время оставалась незанятая, сажени в две, полоса.

В этой полосе, отчужденно-вежливо и молча глядя друг на друга, стояли Гладких, Ли-фу и Сеня.

— Ваня-а! Хо-хо-о! С хунхузьями дружбу завели! — мальчишеским голосом кричал кто-то за спиной Сени, не смущаясь тем, что хунхузы могут его слышать: кричавший, видно, не считал их за людей.

— Ну, дружба, — басисто отозвался другой, — тайга, глушь, тьфу! Какая там дружба!..

— А, не любишь? — захлебывался первый. — Ух! — Послышался глухой звук удара мешком по спине.

— Ну, и дурак, — спокойно ответствовал пострадавший.

Сеня, недовольно обернувшись, узнал бурильщика Ивана Ложкина, молчаливого, сухопарого, незлобивого человека, прозванного в отряде Судьей, и его племянника и подручного по руднику Митю Ложкина, хвастливого и озорного паренька с большими ушами.

— Веселые у вас ребята, — старательно выговорил Ли-фу и улыбнулся одним ртом. — Это хорошо. Веселье дороже богатства. Э?..

Он достал из кармашка френча платочек, отер слезы, медленно катившиеся по его щекам, и, посмотрев на Сеню своим неподвижным, прямым и жалобным взглядом, добавил:

— У нас нет веселых людей...

В глазах у него промелькнуло выражение наивного и жестокого любопытства, подобного тому, какое бывает у человека, мучающего животное, но тотчас же лицо Ли-фу вновь окаменело. Он спрятал платочек в карман.

— Не знаешь, случаем, что за человек проходил тут с двумя лошадьми? — спросил Гладких, косясь на лошадей, привязанных слева у опушки.

— Это мой один человек, — уклончиво сказал Ли-фу. — Вы можете, как дома, располагаться...

Он вежливо поклонился им и заковылял к бараку, отпихнув ногой сидящего у костерка китайца, не успевшего дать ему дорогу.

XVIII

Сеня впервые так близко столкнулся с хунхузами, но он был уже достаточно наслышан о них, особенно о Ли-фу. О налетах Ли-фу на корейские деревни и туземные поселки много болтали в деревнях и по рудникам. Человек этот слыл за вездесущего, неуловимого, — о нем ходили легенды.

Из простого опыта своей жизни Сеня знал, что вездесущих и неуловимых людей нет, что легенды всегда распространяются о людях, занимающихся какой-либо выходящей из обычного ряда деятельностью, жизнь которых не протекает на виду у всех, и что распространяются

эти легенды людьми, которые, живя сами так называемой обыкновенной жизнью и скучая от нее, хотят верить в то, что есть на свете другая жизнь, необыкновенная. Но Мартемьянов, передавая Сене свой разговор с Сурковым по прямому проводу, вскользь сообщил о том, что у партизанского командования в Скобеевке возникли какие-то осложнения с хунхузами. И это обстоятельство, которому Сеня не придал тогда большого значения, теперь сильно встревожило его.

Он стал выспрашивать у Гладких все, что тот знал о хунхузах, но оказалось, что, хотя Гладких не раз в своей жизни встречался с хунхузами и даже, заблудившись, однажды на охоте, ночевал с Ли-фу в одном зимовье, он не мог сказать о них ничего определенного. Гладких помнил, что сегодня они грабят китайских купцов и цайдунов, а завтра вместе с купцами и цайдунами грабят туземцев и корейцев, но сам он никогда не пытался разобраться в этом: жизнь людей, непохожих на русских по своему обличью и говору, втайне души казалась ему какой-то ненастоящей.

Посовещавшись, они решили заночевать здесь: выгоднее было иметь врага перед собой. Они расположили половину отряда не на прогалине, а возле, в лесу, и выставили усиленные караулы. Взводным командирам велено было не ложиться спать.

В лесу становилось все темнее, и все ярче разгорались на прогалине искрастые костры, освещавшие лица людей, сумрачные стволы деревьев. Головные костры партизан и хунхузов образовали две сплошных линии огней, между которыми по-прежнему оставалась незанятая, ярко освещенная полоса.

Гладких и Сеня развели свой костер позади, на опушке. Они только-только сварили кашу и начали ужинать, когда со стороны барака к ним подошел партизан в мохнатой шапке и, заслонясь ладонью от света, доложил:

— К вам хунхузский начальник пройти хотит. Пустить?

Сеня и Гладких переглянулись.

— Что ж, идет пускай... — нерешительно сказал Сеня.

Но скуластое лицо Ли-фу с блестящими по лицу слезами уже появилось из-за спины партизана.

— Отдыхаете? — сказал хунхуз, улыбнувшись одним ртом, и опустился на корточки возле костра.

Он некоторое время сидел молча, делая вид, что не замечает неловкости неожиданного своего появления, подбирая с земли сучочки тонкими желтыми пальцами. Потом, один за другим побросав сучочки в огонь, он внимательно и жалобно посмотрел на Сеню.

— Не будете ли в наш барак зайти? — спросил он. — Мои командиры имеют с вами говорить. Э?..

Сеня в замешательстве провел рукой по редким кольцам своих волос и покосился на Гладких.

— Поговорить — так поговорить, — сказал командир, с сожалением взглянув на дымящуюся кашу.

Они миновали обе линии головных костров и вошли в барак вслед за Ли-фу. Посредине полутемного барака стояли приставленные в ряд один к другому низенькие столики с китайскими плоскими чашечками и остатками еды. Хунхузы, отужинав, сидели на корточках двумя рядами вдоль столиков, попыхивая трубками. Первым от входа справа сидел тучный Ка-се. У стены слева стояло двое китайцев; в руках у них горело смолье; было чадно. Свет и тени ползали по бревенчатым стенам и чередовались на лицах сидящих.

Вошедшим поставили два чурбанчика. Гладких, к которому вернулся обычный насмешливый вид, и Сеня, все еще не нащупавший, как ему нужно держаться, и беспокойно поглядывавший вокруг, сели поближе к выходу. Ли-фу, закурив трубку, опустился на корточки подле Ка-се.

— Вы много шли... вы устали, — затянувшись из трубки, сказал Ли-фу. — Мошка не даст вам на воле уснуть. Мы имеем уступить барак для вас и ваших командиров.

Он подсовывал им невыгодную позицию на ночь.

— Спасибо на хорошем слове, — сказал Гладких, — да уж не стоит, видать: мы люди привычные.

— Привычные, правда, — согласился Ли-фу. — Такие же, как мы, все равно, — добавил он, улыбнувшись одним ртом. — Все люди одинаковые, не правда ли? Мне говорили, по вашему учению нет ни благородных, ни низких — все равны. Э?..

— Ну, это так, да не совсем, — неожиданно блеснув кремовыми зубами, сказал Сеня. — Где это вы так по-русски научились?

— Йе, не только по-русски! — многозначительно сказал Ли-фу. — Три европейских и японский языки известны мне... Я был переводчиком в штабе мукденских

войск. Давно — в тысяча восемьсот восемьдесят седьмом году, если вам интересно знать. Тогда я не имел седых волос, шрама на подбородке. Я был в чести. Но служба в армии оказалась не по мне. Если случится вам побывать в провинции Хейлудзян, вы много о моих делах услышите... Конечно, купцы и цайдуны не скажут вам хороших слов о Ли-фу. Но каждый крестьянин скажет вам о моей справедливости. Матери учат своих детей молиться, чтобы бог послал мне удачи...

И Ли-фу, достав из кармана френча платочек, отер слезы, все время катившиеся по его щекам.

Он говорил с тем выражением загадочности, упора на какой-то иной, сокровенный смысл своих слов, выражением, за которым на самом деле ничего не крылось, но которое, он знал, должно возвышать его в глазах людей иного, чем он, образа жизни. Но Сеня все время чувствовал в словах и жестах хунхуза что-то натянутое, деланное и не придавал его словам никакого другого значения, кроме того, что хунхуз старается обмануть их.

— Нам смешно враждовать, — говорил Ли-фу, холодно истекая слезами. — Мы деремся за одно дело. К сожалению, не все ваши это понимают. На Сучане было несколько случаев нападения партизан на мои отряды. Это очень нехорошо. Это невыгодно вам. Это невыгодно мне. Если вы будете нападать на нас, у вас не будет обеспеченного тыла. Вы не сможете прятаться от врага в тайгу, — разве в тайге вы не встретите хунхуза за каждым деревом? Э?..

— Где ж нападали на тебя? — спросил Гладких.

— Один такой случай в Хмыловке имел место. Другой — возле Николаевки, корейской деревни...

— Может, то самочинно было? — спросил Сеня.

— Нет, мне известно, отряды рассылаются против нас по распоряжению вашего штаба.

— Нам не сообщали о том...

— Это не моя вина, — улыбнувшись одним ртом, сказал Ли-фу. — Вы скоро на Сучане будете. Скажите, я не хочу с вами враждовать. Нам нужен союз. Нам нужен договор. Вот какие пункты договора я буду предложить...

Он достал из бокового кармана сложенную в узкую полоску красную бумажку и протянул Сене. Гладких, расправив усы, склонился к Сене и сделал вид, что тоже

читает (он был неграмотен). Десятки пар глаз смотрели на них из темноты барака.

На бумажке черной тушью было старательно выписано следующее:

Начальнику штаба русских партизан.

На имевший место недоразумений между русскими партизанами и революционными китайскими отрядами возле деревни Хмыловки и Николаевки, корейской деревни, я, Ли-фу, начальник революционных войск китайского народа, предлагаю нижеследующий договор принять и подписать как русскому партизанскому командованию, так и командованию китайских революционных войск:

1. Русское партизанское командование и командование китайских революционных войск обязуются никаких дальнейших выводов из столкновения под Хмыловкой и Николаевкой не сделать.

2. Русские партизаны и китайские революционные отряды полный нейтралитет сохраняют относительно одни другим и обратно.

3. Русские партизаны обязуются жизнь и интересы китайского населения своей деятельности не затрагивать. Китайские революционные отряды обязуются жизнь и интересы русского населения своей деятельности не затрагивать.

4. Русские партизаны права не имеют помогать врагам китайских революционных отрядов никаких формах. Китайские революционные отряды права не имеют помогать врагам русских партизан никаких формах.

5. Настоящий договор на русских партизан и китайские революционные отряды помогать своей деятельности один другим и обратно не накладывает.

С искренним уважением и сочувствием вашему делу начальник революционных войск китайского народа

Ли-фу.

«Тоже мне революционеры, прости господи... Хитер, хитер, братец ты мой», — думал Сеня, с трудом при свете смолья разбирая расплывающиеся строчки письма.

Пока в бараке шло это совещание, на прогалине, там, где расположились партизаны, становилось все оживленней; весело потрескивали костры, запахло супами и кулешами, громче становился человечий гомон.

Хотя каждый думал о хунхузах, никто почти не говорил о них: шли обычные лагерные разговоры.

У одного из костров партизаны выпаривали вшей, и кто-то рассказывал о том, как на германском фронте солдаты устраивали вшивые гонки на деньги: на кругло вырезанную газетину каждый из участников пускал вошь со своего тела, и чья вошь ранее других сползала с листа, тот выигрывал кон. Рассказчик с удовольствием вспоминал про то, какие попадались иногда большие и медлительные и, наоборот, маленькие и прыткие вши, и какой овладевал людьми азарт, и как некоторые проигрывали свое скудное солдатское жалованье.

У другого костра Митя Ложкин, с оттопыренными, просвечивающими от костра ушами, врал что-то о своих подвигах. Все знали, что он врет, и Митя знал, что все знают это, но в том-то и состоял главный интерес. Он врал, а все слушали его и покатывались от хохота, — народ всегда с охотой слушает вралей и балагуров, складно бы только врали. В особо закрученных местах дядя его, Иван Ложкин, чинивший штаны, сидевший на земле без штанов, вытянув худые волосатые ноги, на которые садились комары, — подымал от работы голову и говорил укоризненно:

— Врешь ты все, дурак...

В третьем месте спорили о боге. Подстриженный в скобку бородач в картузе (тот, что три дня назад уговорил Бусырю стать на четвереньки) доказывал существование бога, а тонкошеий русявый паренек, с синяками под глазами, утверждал, что бога нет. Паренек был совершенно убежден в этом, но доводов у него не было, поэтому на все обходы бородача (бородач спорил, как чернокнижник) паренек только презрительно сплевывал и все повторял, стараясь быть ядовитым:

— Бога ему — эк куда хватил!..

— ...А я так за семью свою вовсе не скучаю, — говорил по соседству от них Федор Шпак, беспечно

пошевеливая аржаным усом, — да и отвык я от работы, признаться... Думается, па наш век еще войны хватит.

— А не хватит если? — насмешливо спросил кто-то.

— Ну, если не хватит... — смутился Шпак. — Там видно будет! — И он засмеялся.

— И правда, отвыкают от работы люди, — задумчиво сказал беленький парнишка в ватном пиджаке. — И чего это, когда поверх огня глядишь, — неожиданно сказал он, — так все черно, и лес и небо, а отвернешься от огня — ан, небо светлое, и звезды на небе...

В той половине прогалины, где расположились хунхузы, было тихо. Хунхузы молча и почти недвижимо сидели у своих костров. Изредка то тот, то другой из хунхузов протягивал руку в огонь и, выхватив голыми пальцами уголек, раскуривал трубку. Иногда на фоне костра четко вырисовывался силуэт часового в круглой китайской шапочке с ружьем на ремне. При вспышках хвои то ярче, то слитней выступали из темноты крупы двух лошадей на опушке.

Стена барака, обращенная к партизанам, была ярко освещена костром, разведенным у самого входа. У этого костра сидела большая группа китайцев, человек около двадцати. Соответственно этому у партизанского костра напротив расположился почти целый взвод горняков.

Зарубщик Никон Кирпичев, тяжелый сорокалетний дядя с землистыми щеками, с проваленной верхней губой (на работе ему как-то выбило все передние зубы), рассказывал о нападении хунхузов на корейскую деревушку Коровенку осенью прошлого года. После разгрома уссурийского фронта, скрываясь от колчаковской милиции в верховьях Фудзина, Кирпичев спустился в деревню за мукой и вместо желтых соломенных фанз увидел дымящиеся головни и обгорелые, изуродованные трупы. В осыпанной пеплом дорожной пыли валялся трупик грудного ребенка без головы. Женщины в разодранных белых халатах, как белые тени, бродили по пепелищу; иные, покачиваясь из стороны в сторону, прижимая к груди ребят сидели у разрушенных очагов.

— Они не плакали... Если бы они хотя плакали или жаловались, — шепелявя, говорил Кирпичев, — а то ни слова, ни стонышка: одни бродят, другие сидят... Тишь такая, дело к вечеру, там и здесь дымок курит — никогда

не забуду... — Этот Ли-фу завсегда плачет, — мрачно сказал Кирпичев, — только слеза его холоднее льду...

— Э, землячки! Табачку не разживусь? — своим приятным звучным тенорком сказал Федор Шпак, в накинутой на плечи шинели появляясь у костра.

— А, Федя!..

— Здорово, кенарь!

— Садись к нашему огоньку! — весело закричали ему.

— Да я закурить только...

— А нечего, брат, весь вышел. Сами не курёмши сидим...

— Вот те неладно, — засмеялся Шпак, — весь отряд обестабачился... А я к хунхузам пойду! — вдруг сказал он, сам удивляясь своей мысли и веселея. — Ей-богу, пойду...

Он помялся немного, потом, махнув рукой, сильно прихрамывая и развевая полы своей шинели, решительно зашагал к костру напротив.

Весь взвод, смолкнув, напряженно смотрел ему вслед. Некоторые повставали.

— Э, земляки! — послышался уже у костра хунхузов звучный голос Федора Шпака. — Табачку не разживусь?

Видно было, как он, оглядывая всех, несколько раз сунул в рот палец.

Худой старик-китаец с редкой козлиной бородкой и таким плоским носом, что казалось, будто старик вовсе без носа, молча распустил перед ним кисет. Шпак присел возле на корточки.

— Курит? — с любопытством спросил Кирпичев, которому из-за вставшего соседа не видно было, что там происходит.

— Курит! — восхищенно сказал тот.

— Смотри, смотри, он уже говорит с ним!

— Ну, парень!

— А ну и я сбегаю, хлопцы, — сказал маленького роста горнячок в солдатской фуфайке.

И, виновато оглядываясь на товарищей, он тоже потрусил к хунхузам. Через некоторое время он уже махал оттуда рукой, призывая остальных. Еще несколько человек перешло туда.

— ...С чего же она, други мои, может родить, земля, — с азартом говорил Федор Шпак, сидя на корточках в раскинутой шинели и разводя руками, подаваясь вперед к так же, на корточках, сидящему перед ним веселому,

круглому, с очень чистой кожей лица и черными хитрыми, умными глазами китайцу, единственному из присутствующих китайцев говорящему по-русски, — с чего она у нас может родить, ежели ее у нас, как заладили пахать, так и пашут ее — и все-то ее одну — без отдыху и сроку, без всякого, можно сказать, удобрению.

— Тц-тц...аха-йя, — качая головой, сочувственно чмокал китаец.

Он переводил слова Федора Шпака своим товарищам, сгрудившимся вокруг него и внимательно поглядывавшим то на него, то на Шпака, то на партизан, все время подходивших к костру.

Старик с козлиной бородкой и плоским носом быстро заговорил что-то.

— Его говори, — сказал круглый китаец с хитрыми глазами, — его говори, русский люди плохо земля работай. Китайский люди не могу плохо земля работай. Китайский земля много-много миллиона люди живи — земля мало. Один люди два-три сажня работай, год живи. Много-много люди совсем земля нету — люди помирай...

— А ты сам что, земля работал? — спросил Шпак.

— Маленький был, земля работай, потом аренда плати нету, папа-мама помирай, моя повара служил... Его тоже повара служил, — указал он на другого китайца. — Его, однако, давно хунхуз, — с улыбкой указал он на третьего. — Старик земля работай, — указал он на старика с плоским носом. — Его портной был... Его земля работай... Его морской капуста лови... Его краба, трепанга лови... Его земля работай... Его жемчуга лови... Его женьшень собирай...

Он указывал то на того, то на другого китайца. Одни смущенно улыбались, другие прятали головы, третьи попрежнему спокойно сосали трубки.

— Земля мало, работа мало, чего-чего куши о-очень мало! — продолжал китаец с хитрыми глазами. — Большой капитана — джангуйда [1] — все на свете себе забирай!..

— А вы бы с ими вот как сделали, с большими капитанами, — придавив ноготь к ногтю, сказал Кирпичев, только что подошедший к костру и присевший подле Шпака. — Наши капитаны-помещики тоже всю землю держали, а мы их вот как! — И он повторил свой жест.

---

[1] Хозяева. *(Прим. А. А. Фадеева.)*

Китаец засмеялся, всплеснул руками, потом, обернувшись к своим, сильно жестикулируя, перевел им слова Кирпичева.

— Хо!.. Хо!.. — послышались возгласы хунхузов.

Старик с плоским носом заговорил быстро и оживленно, поглядывая на Кирпичева.

— Его говори — помещика, купеза мы так делай... чжжик! — И китаец с хитрыми глазами чиркнул пальцем по горлу.

— Да, а деньги в карман... В карман ведь деньги-то? — лукаво прищурившись, спросил Кирпичев.

— Как? — переспросил китаец.

— В карман, говорю, денежки-то, — засмеялся Кирпичев. — Зарежете купца, а денежки в карман! Разве не правда?

Китаец смешался.

— Поддел ты его! — воскликнул маленький горнячок в фуфайке.

— Во балачка пошла, братцы!

— Вот тебе и хунхузы! — смеясь, заговорили партизаны.

Теперь весь костер был облеплен людьми. Хунхузы от других костров перебегали сюда, к бараку. Услышав, что наши разговаривают с хунхузами и что у хунхузов можно разжиться табачком, партизаны кучками стали переходить сторожевую линию. Вскоре и хунхузы стали переходить на партизанскую половину. Все перемешалось. Хунхузы угощали партизан табаком, партизаны их — салом и сухарями. Кто-то менял уже свою флягу на хунхузский котелок. У одного из костров китаец с широким улыбающимся лицом, блестевшим от пота, расстелив на траве разрисованный драконами платок, начал показывать фокусы.

— Как же так получается? — говорил Кирпичев, недовольно косясь на голые ноги бурильщика Ивана Ложкина, который в начале разговора тоже подошел к костру со штанами в руках и винтовкой за плечами. — Как же так получается? Трудящие люди, а занимаетесь вы разбоем... Ведь это же разбой, други мои!..

— Уэй!.. — Китаец с хитрыми глазами поморщился. — Нету разбойник! Зачем разбойник?.. Наша большевик!

— Хороши большевики! — усмехнулся маленький горнячок в фуфайке.

— А зачем корейцев грабите? — дрогнув проваленной губой, сказал Кирпичев. — До чего народ тихий, а вы их грабите...

— Это от ихнего начальника, от Ли-фу, зависить, — самоуверенно и самодовольно сказал кто-то из крестьянского взвода. — Он, конечно, живеть этим, а им, конечно, деваться некуда, они ему, конечно, и служать...

— Это с их вины не сымает, — сердито сказал Кирпичев.

— Нет, вам бы сложиться всем гуртом, — вмешался еще кто-то из партизан, — сложиться бы вам всем, да как вжахнуть, ка-ак вж-жахнуть по вашей по всей власти!..

— Ха! — воскликнул рябой хунхуз с вырванной ноздрей. — Солдата ходи! Пынь!.. Пынь!..

Он сделал руками жест, как будто стреляет.

— Тю... солдат боятся! — презрительно сказал Кирпичев. — А солдат разве не человек?..

Федор Шпак, вначале принимавший самое деятельное участие в споре, сам не заметил, как отстал, и теперь сидел, распустив чуб, рассеянно слушал других. Задумавшись, он смотрел в черноту леса, туда, где при вспышках крайнего слева костра хунхузов выступали из темноты крупы двух лошадей.

Оттого, что было темно, и оттого, что трудно было представить себе, что лошадь, которую он осенью прошлого года привел домой с уссурийского фронта, может оказаться здесь, у хунхузов, Федор Шпак не узнавал своей лошади. Но по необъяснимым для себя причинам он все время смотрел в эту сторону, и чем больше смотрел, тем беспокойней и грустней ему становилось. Вопреки его словам, что он по семье своей вовсе не скучает, ему было теперь беспокойно и грустно оттого, что вот он сидит ночью в тайге, а старики его маются дома одни в тяжелой работе, а дети его растут без ласки и призора, а жена его беременна, вот-вот родит, и он даже не скоро узнает, кого она родила — мальчика или девочку.

XX

Жаркий, но дружественный спор у костра был прерван необычно прозвучавшей здесь, в таежной обстановке, одинокой пьяной песней где-то за бараком. Хунхузы и пар-

тизаны вопросительно подняли головы. Кругом все разом смолкло. Слышен был только один хриплый пьяный голос, тянувший песню.

— Фартовый это! — уверенно сказал маленький горнячок в фуфайке.

— Много водка пий, — улыбнулся китаец с хитрыми глазами.

— И где он достал? Не иначе, у вас разжился...

— Обожди, — сердито остановил его Кирпичев.

С правой стороны барака в свете ближнего костра хунхузов показался рудокоп Сумкин, без шапки и пояса. Он шел, заплетаясь ногами, упершись одной рукой в бок, а другой водя перед собой, и пел, мрачно крутя громадной своей головой. Семка Казанок с серьезным выражением лица шел сзади, держа его за рубаху, и накручивал рукой за его задом, как будто вертел ручку шарманки. К ним, смеясь, сбегались хунхузы и партизаны.

Кирпичев, вдруг страшно засопев, поднялся с места и сквозь расступившееся перед ним кольцо партизан и хунхузов тяжело зашагал навстречу к Сумкину. Сумкин мутно уставился на него, не переставая петь. Кирпичев, не глядя, отстранил его рукой и, надвинувшись на Казанка всем своим коротким тяжелым телом, с силой отшвырнул его от себя. Казанок, всплеснув руками, шлепнулся на землю. Американская шапочка слетела с его головы.

— Сволочь... — шипя, сказал Кирпичев. — Сволочь ты!.. Разве это товарищи! Сволочи вы! — повторил он, оглядывая всех и подрагивая своей проваленной губой.

Казанок, привстав на одно колено, нагнув белую головку и держась обеими руками за живот, покачивался из стороны в сторону, скрипел зубами. Вдруг рука его скользнула за голенище, — он выхватил нож и ринулся к Кирпичеву. Несколько человек подскочило к Казанку, его схватили за руки, кто-то крепко обнял его сзади. Но такая сила злобы сотрясала его щуплое тельце, что он, извиваясь и рыча, едва не повалил четырех державших его людей.

— Пустите, — свистел он сквозь зубы, плача слезами обиды, — пустите!..

— Своих резать? Ах ты, сукин ты сын! Да тебя связать надо, — удивленно говорил один из горняков, державший его.

— А он его за что вдарил? — в сердцах сказал партизан из крестьянского взвода, державший Казанка за руку. — Ведь он его как зызнул!.. Тиха, тиха, Сема... Пьянствуете сами, а тады деретесь...

— Кто пьянствует? Ты кто... ты про кого сказал? — вспылил горняк, отпустив Казанка и надвигаясь на партизана.

— А ты что за спрос? — взбеленился тот. — Что ему Семка сделал, что он его зызнул эдак?

— Нет, ты про кого сказал?!

Они, сомкнувшись грудьми, стояли друг против друга, сами вот-вот готовые подраться.

Крестьяне одного села с партизаном из крестьянского взвода полезли сквозь толпу на помощь к нему. Горняки оттаскивали своего за руки.

— Я ему покажу, кто пьянствует! — кричал горняк, порываясь к партизану.

— Нет, то у вас по рудниках людей режут!.. То у вас по рудниках головорезы!.. — отругивался партизан.

— Да будет вам! И еще при хунхузах...

— Во, петухи!..

— Я его все одно зарезю, — дрожащим голосом говорил Казанок, отряхивая свою шапочку. — Все одно зарезю... Не уйдет он от меня...

Кирпичев, обозленный тем, что весь этот скандал разыгрался на глазах у хунхузов, и боясь, что из барака вот-вот выскочат командиры, грубо схватил под руку присмиревшего Сумкина и потащил его на партизанскую половину.

— Скотина ты, а не человек, — шепелявя, гневно говорил он ему. — Ах ты, скотина, скотина...

Дверь барака распахнулась, и Гладких, Сеня и Ли-фу, за ними Ка-се и еще несколько хунхузов вышли из барака. Хунхузы, завидев начальника, врассыпную, втягивая головы в плечи, некоторые даже на четвереньках, бросились к своим кострам. Казанок, воспользовавшись суматохой, тоже скрылся куда-то...

— Что тут такое? — удивленно спросил Сеня, глядя на первого попавшегося ему на глаза Судью — Ивана Ложкина, который в одной рубахе, держа в руках штаны, не мигая смотрел на него.

— Табачку трошки разжились... ничего, — смущенным басом сказал Судья.

— Табачку? Что?! — взревел Гладких. — По местам! Н-ну?!

Партизаны, виновато подталкивая друг друга, уходили на свою половину. Из-за барака донесся тонкий гортанный голос Ка-се, послышались звуки ударов.

— Что у вас было тут? — подходя к головному костру, строго спросил Сеня у Кирпичева, который при его приближении быстро накрыл пиджаком голову распластавшегося у костра Сумкина.

— Хунхузов малость поагитировали, — сказал Кирпичев, выказывая в улыбке свой беззубый рот. — Ты, ничего, не бойся... худого не было...

— Кто это?

— Сумкин... Хворает чего-то.

— Что же вы его, хворого, на переднюю линию? — укоризненно сказал Сеня. — Вы его в лес уведите...

— И то, и то... — торопливо сказал Кирпичев.

XXI

Было уже около полуночи; в тайге все стихло; партизаны укладывались спать; в передней линии Гладких сердито выговаривал кому-то.

Пока Сеня добрел до своего костра, ноги его промокли от росы. Каша совсем остыла, да и есть расхотелось. Сеня подложил в огонь хворосту, подсушил ноги, потом, подмостив под голову сумку и завернувшись в шинель, растянулся подле костра.

И только он лег, — разрозненные впечатления дня нахлынули на него. Слышны стали тайные лесные шумы; в костре шипели мокрые валежины, река звенела по галькам. Откуда-то от барака потянуло запахом свежей щепы. Сеня увидел небо с яркими звездами и долго смотрел на звезды, чувствуя, как усталость колышет его тело. Лицо Ли-фу — такое, какое было у него, когда он подошел к их костру, с блестящими по лицу слезами, — всплыло перед Сеней. Лицо это неестественно улыбалось, шевелило губами, но нему катились одна за другой блестящие слезинки, сквозь лицо проступали звезды, и звезды тоже катились куда-то, звезды были слезинки, но это был уже сон. Сеня, борясь с ним, но не имея сил открыть глаза, старался снова вызвать лицо с катящимися по нему

слезами, и он вызвал его, но это было уже не лицо Ли-фу, а другое, женское, рано постаревшее, худое и доброе, — это было лицо матери Сени. Худая и сутулая, она стояла возле плиты и жарила лепешки на сковороде, поворачивая их ножом. Она плакала. Сеня был где-то тут же, маленький, но он не видел себя, он чувствовал только жар от плиты. Он понимал, что мать плачет оттого, что узнала о смерти старшего сына, оттого, что отец бьет ее, и оттого, что жизнь ее прошла. Ему хотелось, как в детстве, прижаться к ее подолу и утешить ее, погладить ее жилистую руку, и он все тянулся к ней, но от плиты шел такой жар, что подойти нельзя было.

Тут кто-то толкнул его в плечо, он открыл глаза и снова увидел яркие звезды и лицо Гладких со сросшимися бровями, наклонившееся над ним.

— Подвинься, шинель спалишь, — тихо сказал Гладких. — Заснул? Да ты спи, — быстро сказал он, заметив смущение на его лице, — я посижу...

— Ну вот — ты сидеть, а я спать? — улыбнулся Сеня.

— Они нас не тронут, — уверенно сказал Гладких. — Спи... И чего это наши сучанские заварились с ими? Нам бы, правда, их не трогать. На черта они нам сдались, на самом деле?

«Да что ж там вышло у них?» — подумал Сеня.

Чтобы не заснуть больше, он старался думать о столкновении между партизанами и хунхузами, но веки его снова сомкнулись. Что-то молодое, мягкое и теплое придвинулось к нему и любовно коснулось его лба. Эта была девушка, у нее не было лица, но Сеня узнал и ждал ее. «Я знал, что ты придешь», — с грустью сказал он ей и прямо перед собой увидел ее большие черные глаза. Он силился вспомнить, чьи это глаза, и вдруг вспомнил, что это глаза того паренька Сережи, с которым они так хорошо сошлись и разговаривали. «Ты сестра его?» — удивленно спросил Сеня, но ее уже не было, а было смеющееся лицо Сережи. «А как же ты-то... Сеня... большевик?» — спрашивал Сережа.

«Славный паренек какой, — подумал Сеня, просыпаясь и вновь постигая небо с яркими звездами. — Почему я тогда не ответил ему?.. Я сказал, будто не знаю, но я ведь знаю. Фронт ведь, вот откуда это, фронт открыл глаза мне... Да, Сурков на фронте открыл глаза мне», — мысленно сказал он, обращаясь к Сереже.

Ему вспомнилось, как осенью семнадцатого года он ехал из своей части, в которой служил вместе с Сурковым, в Петроград на съезд солдатских депутатов. Теплушка была набита солдатами; шел дождь со снегом; какая-то баба с мешком просилась взять ее; у начальника на разъезде были смешные рыбьи глаза; начальник держал флаг; на нарах дребезжал котелок; гармонист с седой прядью на темени играл что-то; потом гармонист стал расплываться, и Сеня, как тогда, в теплушке, испытывая радостное чувство освобождения от того мучительного и страшного, что осталось позади, на фронте, снова стал задремывать...

...С какими-то людьми в шинелях, пиджаках, матросских бушлатах он бежал по ступенькам, — это были ступеньки фольварка, из которого они на фронте выбили немцев, но Сеня знал, что это не фольварк, а Зимний дворец, потому что человек, который стоял выше на площадке, подняв руки, был тот юнкер, которого он арестовал в Зимнем дворце. Тогда, в живой жизни, Сеня не испытывал ничего, кроме злобы к юнкеру, и едва не заколол его, а сейчас, во сне, Сеня взбежал к нему на площадку и замахнулся штыком — и вдруг увидел, что юнкер совсем не страшен, а очень молод и сильно напуган, и лицо у него простое, как у подпаска. Он был так напуган и молод, этот юнкер, и так походил на подпаска, что его совсем нельзя было колоть, его нужно было погладить по голове. Сеня даже протянул руку, но он все же не мог забыть, что это юнкер, а не подпасок. «Нет, это опасно нам... — сказал он себе и отдернул руку. — Что опасно? — вдруг мучительно подумал он. — Да, опасно спать!» — почти выговорил он, разлепляя веки и прислушиваясь к тому, что творится в расположении хунхузов.

У соседнего костра кто-то разбивал головешку, и искры летели в небо. В передней линии тихо разговаривали. В лесу хрустел валежник. Гладких в насунутой на лоб барсучьей папахе сидел у костра, обхватив руками колени, и прямо, не мигая, смотрел в огонь. У ног его валялся опрокинутый котелок: Гладких все-таки съел кашу.

— А и впрямь сосну я — мочи нет, — приподымаясь на локте, сказал Сеня и виновато, по-детски, улыбнулся.

— Спи, спи... — не оборачиваясь, ответил Гладких.

XXII

Отряд выступил в поход, когда еще не слышно было птичьих голосов. Было чуть-чуть туманно от росы, с туманом слился дым от сникших уже костров, с ветвей и крыши барака капало.

Хунхузы, толпясь и тихо переговариваясь между собой, смотрели, как партизаны, потягиваясь со сна и ежась от сырости, строились во взводы. Передняя шеренга тронулась, и партизаны, примыкая в затылок, один за другим потекли в чащу. Ли-фу, Ка-се и подошедшие к ним прощаться Гладких и Сеня стояли возле барака и провожали цепочку глазами.

Веселый круглый, с хитрыми глазами китаец, стоявший впереди крайней у опушки кучки хунхузов, узнав проходившего мимо в цепочке Кирпичева, сделал ему приветливый знак рукой, оглядываясь на начальников, не заметили ли они. Кирпичев, улыбнувшись всем своим беззубым ртом, так же неприметно ответил ему.

Когда мимо барака прошла последняя вьючная лошадь, Гладких и Сеня тронулись вслед за отрядом.

В последнее время Сеню почти не покидало состояние беспокойства и неуверенности, которое он объяснял себе тем, что давно уже оторван от руководящего партизанского центра. Он не знал всей обстановки движения, а потому не мог определить в нем своего места и места отряда.

До последнего времени движение развивалось успешно: почти вся область от моря и до железной дороги была очищена от белых. Но те новые сведения — о сосредоточении японских войск на Сучанском руднике, о стычках под рудником, — которые сообщил Сене Мартемьянов из своего разговора с Сурковым по прямому проводу, говорили о возможном переломе к худшему. Не этим ли вызвана переброска отряда? Но почему тогда областной съезд созывается в Скобеевке? И что это еще за новые осложнения с хунхузами?

Но особенно беспокоили Сеню разногласия между партизанским командованием и подпольным областным комитетом.

Поскольку он мог судить о них из третьих уст, они сводились к тому, что командование стояло за создание советской власти по всей области, организацию регулярных частей и наступление на города, а комитет предлагал

не заниматься никакими гражданскими делами, создавать мелкие отряды и расстраивать колчаковский тыл. Наверно, комитет и командование по-разному оценивали силы интервенции и успехи советских войск в Сибири. Но каковы они, эти силы и эти успехи (и успехи ли), на самом деле?

Как большинство руководителей движения, Сеня испытывал на себе давление воль и желаний десятков и сотен тысяч людей, и, как большинство руководителей, Сеня склонен был преуменьшать силы интервенции и преувеличивать силы движения и успехи советских войск. Поэтому в глубине души он больше сочувствовал партизанскому командованию. Но с другой стороны, он привык доверять и подчиняться своему комитету: комитет был выше, ему было виднее.

Правда, начальник Ольгинского штаба Крынкин, а потом и Мартемьянов уверяли его, что все крупные работники в городе арестованы и комитетом заправляют «мальчишки».

Крынкин и Мартемьянов, каждый по-своему, упрекали Сеню в отсутствии собственного мнения. Но после споров с Мартемьяновым у Сени осталось такое впечатление, что старик легко воспринимает настроения крестьян и с чистой совестью выдает их за свое мнение, а Крынкин, судя по всему, был вообще человек непостоянный и только делал вид, будто имеет свои мнения. Действительно, неизвестно, кто теперь сидит в комитете. Но комитет — это комитет: приказы его нужно исполнять.

Сеня мучился оттого, что в таком важном споре он вынужден находиться посредине.

Обгоняя цепочку, Сеня поравнялся с горняцким взводом. Люди, сгорбившись, один за другим неуклюже шагали через валежины, побрякивая котелками. Никон Кирпичев, Сенин земляк еще по Уралу, отойдя в сторонку, закуривал, держа перед собой кисет. По рассказам отца Сени, Кирпичев был в молодости уличен в краже, и старики всенародно, как в деревне, пороли его розгами. Теперь никто уже не вспоминал об этом: Кирпичев, так же как и Сеня, был в четырнадцатом году одним из руководителей забастовки на железных рудниках Гиммера. На уссурийском фронте Кирпичев был дважды ранен в боях с японцами, а семья его, скрывавшаяся в ту пору в деревне, была начисто вырезана атамановцами.

— Закуривай, Сеня, — сказал он, вскинув на Кудрявого свои песчаные глаза, шепелявя.

— А мне нельзя ведь, знаешь... — Сеня виновато развел руками и остановился возле него.

— Дико здесь, Сеня, — облизывая цигарку, сказал Кирпичев. — Очень здесь дико, — повторил он и чуть улыбнулся своей проваленной губой.

Сеня только теперь почувствовал, что ему беспокойно еще и потому, что они пятый день идут по тайге, и тайга давит на них: мало солнца.

— Я вот, знаешь, в Ольге целую пачку газет раздобыл, — продолжал Кирпичев, — и все читал. И как они ни врут, газеты эти, а видно: у мадьяров почти не хуже нашего заварилось, в Германии тоже, а в Корее — восстание... Я вот чего думаю: пока мы тут по этой глухмени лазим... — Кирпичев набрал полную грудь воздуха и, видно, смеясь над самим собой, но все же веря в свои слова, смущенно докончил: — вдруг там это все как раз и сделается? А?.. Приходим это мы в Скобеевку, а нам говорят: нате, ребята, получайте! Все на свете ваше, и никаких пискарей, а?..— Он вопросительно отвернул кверху ладонью свою большую с изуродованными суставами руку, и проваленная губа его дрогнула.

— Ишь что надумал? Ах ты, Никеша! — Сеня вдруг крепко стиснул ему локоть; большие темно-серые глаза Сени влажно заблестели. — Ты кури, кури, — засуетился он, не зная, как еще выразить ему свое сочувствие.

И, махнув рукой, побежал вдоль по цепи, не оглядываясь на Кирпичева.

Впереди вдруг послышались крики, треск кустарника, по цепи побежал удивленный гомон, цепочка стала; задние полезли на передних, потом вся цепочка позади и впереди Сени, спотыкаясь о валежины и ломая кустарник, ринулась направо к реке.

— Куда вы? Что такое там?.. Куда ты? — Сеня ухватил за руку одного из обгонявших его партизан.

— Человека, сказывают, в реке нашли...

Сеня, отпустив его, тоже побежал к реке.

Весь заросший кустами берег был осыпан партизанами. Впереди, через реку, перегородив ее, лежало опрокинутое дерево; река была запружена нагромоздившимися возле бревна карчами и валежинами. На берегу возле бревна и на самом бревне, толкая друг друга и едва не

падая в воду, копошились партизаны. Гладких и еще несколько человек, стоя на бревне и держа в руках валежины, старались вытащить что-то из воды.

Сеня, проталкиваясь меж людьми и кустами, побежал к поваленному дереву.

— А, бери руками! — с досадой сказал Гладких в тот самый момент, когда Сеня, раздвинув партизан, снова высунулся на реку.

Гладких и еще несколько человек, присев, сунули руки в воду и с трудом, оттого, что трудно было тащить, не теряя равновесия, вытащили из воды человеческое тело в нижнем белье, облипавшем его.

— Уйдите с бревна, ну! — сердито крикнул Гладких.

Сквозь расступавшуюся перед ними толпу партизан, жадно заглядывавших через плечи друг друга на мертвое тело, они вынесли тело на берег и положили на траву. Это был небольшого роста человек с длинными, кое-где еще вьющимися темно-рыжими волосами и тонкими усиками. Горло его было рассечено до самых позвонков. Сеня, болезненно морщась, смотрел на рану, чисто промытую водой.

— Вот он, кто лошадей вел, — сказал Гладких, сердито оглядываясь на Сеню.

— Ишь как они его полоснули! — сетовал кто-то.

— Не с нашего ли села? Да нет, безвестный какой...

— И не старый еще...

— Один еще сказывал: мы, говорит, большаки, а они вот каки большаки!

— Пока мы у их табачком угощались, они и нас так-то могли, чик-чирик!.. — переговаривались партизаны.

— Где он тут, зарезанный? — спрашивал Казанок, протискиваясь сквозь толпу.

— Чистая работа, — сюсюкая, сказал он, вглядываясь в лицо лежащего на земле человека, — не всякий так-то... — Вдруг он осекся и побледнел и воровато оглянулся вокруг, но никто не заметил происшедшей с ним перемены. — Не всякий так-то сумеет, — спокойно докончил он, подымая на людей свой ясный, пустой и дерзкий взгляд и усмехаясь.

— Закопать его надо, — сказал Сеня.

— А ну, беги за лопатами, — распорядился Гладких.

Несколько человек побежало к вьючным лошадям за лопатами.

— Здорово порезанный? — спрашивал у партизан, возвращавшихся на тропу, Федор Шпак, который вместе с небольшой кучкой партизан не ходил смотреть труп.

— Мало голову не отхватили...

— У!.. — содрогнулся Шпак. — Не могу я их глядеть, резаных. Пулей убитых я сколь в своей жизни нагляделся, а резаных — ну никак не могу, — говорил он, как бы оправдываясь за свое малодушие и утешая себя в том, что ему так и не удалось посмотреть труп, который все видели и который ему тоже хотелось бы посмотреть.

XXIII

На седьмой день пути ранним утром отряд набрел на старую, заросшую желтоватым пырником зимнюю дорогу. Долина раздалась, лес поредел; все чаще попадались старые и свежие порубки; чувствовалась близость жилья, дорога поднялась на лесистый увал и превратилась в летнюю, езженую.

Казалось, увалу этому конца-краю не будет, но, как всегда бывает после длинного таежного похода, лес неожиданно оборвался, и с увала открылась огромная, зеленевшая всходами и блестевшая росой на утреннем солнце Сучанская долина.

На полях не видно было работающих баб и мужиков, и все вдруг вспомнили, что сегодня воскресенье.

По той стороне долины, вдоль реки, не видной отсюда из-за кудрявившейся по ее берегу вербы, простирался крутой и высокий хребет, отделявший долину от Сучанского рудника. Слева долину перегораживал лесистый горный отрог, вырвавшийся из той семьи Сихотэ-Алиньских отрогов, откуда пришел отряд. Отрог этот тянулся под прямым углом к хребту за рекой, но в том месте, где они должны были сомкнуться, зиял провал, проделанный рекой. Из этого угла, возле самого провала, вдоль реки и вдоль по-над отрогом раскинулось глаголем большое, дворов на семьсот, село с белой каменной церковью, отливавшими на солнце прудами, железными, деревянными и соломенными крышами, выступавшими из зелени садов.

Партизаны, весело крича, вздымая ружья и шапки, гурьбой побежали с увала, полого спускавшегося в долину. Из полыней у подножия увала взвился фазаний та-

бунок и, пестря на солнце многоцветным своим опереньем, улетел в долину.

Построившись во взводы, по двое, отряд вышел на тракт и здесь построился колоннами по четыре.

— Знамя, знамя!.. — закричали впереди.

Из торок вынули красный флаг и прикрепили его к древку, которое один из партизан всю дорогу нес в руках.

— Давай, я понесу!.. Я понесу! — кричал Бусыря, догоняя партизана, бежавшего наперед со знаменем. — Можно? — спросил он у Гладких, равняясь с ним.

— Пускай понесет, правда, — сказал Сеня, весело глядя на заросшее темным волосом, расплывшееся в счастливой улыбке мясистое лицо Бусыри.

Во главе с Бусырей, с неуклюжей важностью вышагивающим перед колоннами со знаменем в руках, отряд тронулся к селу.

— «Трансваль», а ну, «Трансваль»!.. Где Федя Шпак? — закричали в передней колонне. — Заводи!..

Федор Шпак, шедший в передней колонне, закрыл на секунду глаза, потом, вскинув чубатую голову, дрогнув бровями и усами, начал звучным тенорком:

Трансваль, Трансваль, страна моя,
Ты вся горишь в огне...

И вся передняя колонна, за ней, примыкая, другие разноголосо и мощно подхватили:

Под деревцем развесистым
Задумчив бур сидел...
...Сынов всех девять у меня.
Троих уж нет в живых, —

как бы жаловался Шпак, а колонны отвечали ему:

А за свободу борются
Шесть юных остальных...

Далеко еще до поскотины их встретил конный патруль: два всадника с красными лентами на фуражках.

— Что за отряд? — свешиваясь с лошади, стараясь перекричать песню, спрашивал передний.

— Тетюхинцы, — отвечал Сеня.

— Тетюхинцы и вай-фудинцы! — с усмешкой поправил Гладких.

— Нас, тетюхинцев, больше! — смеялся Сеня.

— Все одно: по командиру считается...

Один из всадников, вздымая пыль, поскакал в село готовить квартиры, другой, сдерживая свою, плясавшую и поводившую ушами от песни лошадь, поехал вместе с отрядом.

— Что нового у вас? — напрягаясь во весь голос, спрашивал Сеня. — Японцы не жмут?

...А младший сын в двенадцать лет
Просился на войну, —

жаловался Шпак.

— Ну-у... — пренебрежительно ответил патрульный, всем своим видом и посадкой опровергая тревожные предположения Сени. — Они было сунулись с рудника, да куда там...

...Но я сказал, что нет, нет, нет, —
Малютку не возьму... —

гремели колонны.

— А?.. Чего?.. — приставив ладонь к уху и свешиваясь с лошади, переспрашивал патрульный.

— Хунхузы, говорю! Про хунхузов слышно что?..

— А, хунхузы... Да что ж хунхузы. Под Николаевкой, бают, поцапались с ими, это что ж...

— Сурков как там? Здоров ли?

— Под рудником раненный был, а теперь уж поправился, ходит... Да что там говорить, — сказал патрульный, поняв вдруг общий смысл вопросов Сени, — весь народ поднялся, теперь не удержишь!..

Малютка на позиции
Ползком патрон принес... —

могущественно гремели колонны.

— Верно... верно... — сказал Сеня, помаргивая от слез, выступивших ему на глаза.

С песней, с Бусырей, несущим знамя, с патрульным, плясавшим на своей лошади, с примыкавшими с боков ребятишками и собаками — мимо партизан, высыпавших из изб, мимо празднично разодетых девчат и парней — отряд зашагал по селу.

Из проулка навстречу им, запыхавшись, выбежал широкоплечий невысокий мужик в сапогах, в полотняной рубахе, без шапки, со светлой курчавой бородой.

— Ху-у... успел! — радостно закричал он, переводя дух. — Меня со сходу вызвали, сход у нас идет... Сюда, сюда, в этот проулок! — зазывал он, весело кланяясь и приседая. — Десятский я в проулке этом. Борисов фамелия моя... Брат я тому Борисову, что с четырьма сынами в партизаны пошел да одного-то уж убили у них. Чудесные люди! Мой старшой тоже с ими... Сюда, сюда! Расходись по двое, по трое — тут вам и квартеры... Ху-у, усищи же у тебя, братец ты мой, соколик! — восхитился он, взглянув на Гладких, и весь рассиял своими лучистыми синими глазами. — Командир, что ли? Ну, прямо, как у гусара! Прямой расчет тебе в избу ко мне, — не с того, что начальник, не-ет... — смеялся он, — мне все одно, начальник ли, кто ли, да у меня старуха таких-то с усами во как любит!.. А это кто, помощник твой? Чудесный какой парень!.. Вот вы вместях ко мне, да еще кого прихватите... Расходись по хатам, ребята, устали, видно?.. Ах, до чего ж чудесные все люди!.. — радостно говорил он, суетясь возле отряда.

Слова легко и свободно вылетали из его широкой груди. Он нисколько не заискивал, а был действительно рад всем и всему — и сам он, с курчавой своей овсяного цвета бородой и ясными синими глазами, сразу понравился и Сене, и Гладких, и всему отряду.

Радуясь тому, что поход кончился, что можно будет разуться и помыться в бане, партизаны, весело переговариваясь и смеясь, расходились по избам.

— Сюда, сюда, миленькие! — зазывали бабы.

— А куда уж вам делиться, идите уж все четверо...

— Ишь ты, какой молоденький, — играя карими глазами, говорила грудастая молодуха тонкошеему пареньку с синяками под глазами. — А и худу-ущий же ты!.. Иди к нам, мы тебя молочком отпоим...

— Ты, может, и своего отпустишь? — отшучивался он.

— Коли не захлебнешься... — смеялась она.

Здесь, как и в большинстве сел и деревень, где сыновья, мужья и отцы ходили в партизанах, охотно брали партизан на постой, надеясь расспросить о своих — не встречались ли где, — стараясь получше накормить и обходить, чтобы где-нибудь так же обхаживали и кормили их сыновей, мужей и отцов.

Желая скорее повидать Суркова, который, как сказал десятский, был в школе на корейском съезде, Сеня,

мурлыча «Трансвааль», рысцой побежал в избу, указанную ему десятским, — умыться и повытаскать клещей, от которых зудело все тело.

Когда Гладких в сопровождении Казанка и десятского тоже вошел в избу, Сеня голый (старуха, жена десятского, и две маленькие девочки вышли в другую половину) стоял возле русской печи, на загнетке которой горел маленький костерок из лучинок, и, напевая, обирал с платья клещей. Парнишка, лет десяти, сын десятского, с такими же, как у отца, овсяными волосами и с такими же ясными синими глазами, вытаскивал клещей из тощей смуглой спины Сени, там, где Сеня не мог достать сам.

— Наган, сказывают, дальше берет?.. — говорил парнишка. — Ишь как напился!.. — сказал он про клеща, бросая его в огонь.

— Ну-у, наган много дальше берет, — уважительно говорил Сеня. — «Малютка на позиции та ну-та ну-у та-та-а...» — напевал он.

— Ху-у!.. Вон они чем занимаются! — весело закричал десятский. — Да их, правда, весной столько по лесу — не убережешься.

— Ты сейчас в штаб пойдешь? — спросил Гладких. — Скажи Суркову, чтоб Казанка к нам в отряд отписали. Скажешь?.. Он тебя и проводит, в аккурат.

— Ладно, скажу, — сказал Сеня, с улыбкой оглянувшись на Казанка, молча стоявшего у притолоки.

Сеня так рад был концу похода, веселому десятскому, чистой избе, что даже Казанок, которого он недолюбливал, был ему теперь приятен.

XXIV

Испытывая взаимную неловкость, как только они остались вдвоем, но и не пытаясь найти общей темы для разговора, они молча шли по селу. Казанок не глядел на Сеню и, как бы подчеркивая свою независимость от него, небрежно пощелкивал плетью пыль на дороге. Сеня, умывшийся, причесавшийся и похорошевший и оттого еще более чувствовавший несвежесть своего белья, которое он не стал менять до бани, щурился от солнца и с интересом человека, давно оторванного от людных мест, наблюдал за кипящей жизнью села.

Оттого, что был воскресный день, и оттого, что в Скобеевке находился центр всего партизанского движения области, улицы полны были народа.

Группы партизан с красными бантами и лентами на фуражках слонялись по селу. В тени садов, тучно выпиравших через плетни, судачили бабы. Девочки в цветастых платочках нянчили белоголовых ребят. Стаи мальчишек, игравших с равным увлечением и в партизан, и в лапту, и в чижика, с криками, раздувая рубашонки, носились по улицам. Пестро одетые девчата и парни в сатиновых рубахах, сидя на бревнах, распевали песни под гармонь, лузгали семя. Возле каждой такой группы во множестве толпились партизаны — иные с бомбами и револьверными кобурами у поясов, иные с плетьми в руках и драгунками за плечами. Двое партизан, бывших, как видно, ночью в карауле, спали, разметавшись на придорожной мураве на самом солнцепеке.

Китайские и кооперативные лавки были открыты, народ толкался на крыльцах. Закопченные двери кузниц были распахнуты настежь; слышны были перестуки молотков, шипенье мехов, грузные удары больших молотов. Могучие бородатые люди ковали бившихся в станках партизанских коней. Веселая чумазая девчонка ногой раздувала мех, выказывая из-под юбки полное грязное колено; белокурый партизан, прислонясь плечом к двери, заигрывал с девчонкой.

Навстречу Сене и Казанку валила толпа мужиков, — они ожесточенно переругивались между собой: кончился сход, о котором говорил десятский. Мужики, узнавая Казанка, здоровались с ним, уважительно снимая шапки. Казанок в ответ только потряхивал своей белой головкой.

Миновав народный дом в глубине большой, поросшей ярко-зеленой травкой площади с деревянной трибуной, возле которой еще толкались группы спорящих между собой мужиков, Сеня и Казанок подошли к высокому одноэтажному зданию с цинковой крышей.

— Школа и есть? — спросил Сеня, увидев на крыльце двух вооруженных корейцев. — Ты домой сейчас?

— Я только помоюсь да белье сменю...

— Так поговорю я с Сурковым.

— Ну, просцевайте покуда, — сказал Казанок, приподняв свою американскую шапочку.

Сеня на цыпочках вошел в класс и притворил за собой дверь. Его обдал какой-то нерусский, пряный и чистый запах. На тесно составленных партах спиной к Сене сидели делегаты-корейцы в белых халатах, некоторые в русских одеждах. Никто не оглянулся на Сеню.

Молодая стройная кореянка в черном платье со стоячим воротом, с ровно подстриженной челкой черных блестящих волос, спадавших ей на лоб, говорила что-то обок стола президиума голосом, полным сдержанной страсти и напряжения, но почти без жестов, изредка только подымая над головой вытянутую руку.

За длинным столом президиума среди нескольких человек корейцев и русских сидел в синей косоворотке предревкома Петр Сурков, выложив одна на другую тяжелые кисти рук и полуобернув к говорящей кореянке моложавое, в крупных порах лицо с могучими надбровными буграми. Короткие светлые густые волосы его были плотно зачесаны назад. Сеня сразу узнал крутой постанов его головы. Сурков нисколько не изменился с той поры, как Сеня больше года назад видел его. Обаяние скованной силы исходило от всей его широкой плотной фигуры.

Сидевший рядом с ним маленький короткошеий человечек с ежовой головой, которого Сеня тоже сразу узнал, увидев Сеню, шепнул что-то Суркову на ухо. Сурков, вопросительно подняв одну бровь, обернул лицо к Сене, радостно просиявшему навстречу всеми добрыми морщинками своего лица. Глаза Суркова приветливо, но сдержанно блеснули, и улыбка чуть тронула его плотно сжатые полные губы. Он поискал глазами место для Сени и, не найдя места, кивнул Сене на окно, потом на кореянку. Сеня понял это как предложение подождать, пока не кончит кореянка.

Он на цыпочках подошел к ближнему окну и сел на подоконник и снова повернул к Суркову свое улыбающееся лицо, но Сурков уже не смотрел на него.

Сеня, приняв обычное грустное выражение, с удовольствием вслушивался в чем-то приятные ему страстные интонации в голосе кореянки; в то же время спокойные, внимательные глаза его переходили с одного лица на другое и все запоминали.

Маленький, с ежовой головой, человек, сидевший рядом с Сурковым, был один из работников подпольного комитета, Алексей Чуркин. Сеня сталкивался с ним в во-

семнадцатом году на партийных и профессиональных съездах. Сеня рад был тому, что Алеша Маленький, которого все любили в организации, не арестован.

Председательствовал на съезде кореец средних лет, стриженый, с интеллигентным лицом и в европейском платье, — из учителей. Кроме него, за столом сидели еще старик в белом халате, с седыми волосами, собранными в замысловатый узел, и немолодая, сильно робеющая кореянка, тоже в белом халате, перетянутом под самыми грудями.

Среди делегатов, в большинстве молодых, были две-три женщины. Желтолицые старики в проволочных шляпах, подавшись вперед и приложив к уху свернутые трубочкой ладони, внимательно слушали кореянку. Она продолжала быстро и страстно говорить, изредка подымая над головой руку в черном рукаве.

Сурков все чаще поглядывал на нее из-под бугристых бровей, досадливо хмурился, недовольный тем, что она говорит так долго. Наконец он не выдержал, шепнул что-то Алеше Маленькому и, тяжело ступая на носки давно не чищенных сапог, слегка раскачиваясь квадратным туловищем и чуть заметно прихрамывая, подошел к Сене. Хотя Сеня знал, что Сурков всегда прихрамывает немного, и что прихрамывает он оттого, что в детстве отец его, сталевар военного порта, пьяный, ударил его по бедру поленом, теперь хромота Суркова напомнила Сене о том, что он ранен в бою под рудником.

— Как рана твоя? — шепотом спросил Сеня.

— Пойдем на крыльцо, посидим: она век не кончит, — шепнул Сурков, крепко сжав руку Сени своей широкой плотной ладонью. — Давно ли прибыли? — заговорил он грубым отрывистым голосом, когда они вышли на залитое солнцем крыльцо, на котором все еще стояли два вооруженных корейца. Он схватил Сеню за плечи своими большими руками и скорее по-хозяйски, чем дружески, осмотрел худощавую и сутулую фигуру Сени от кончиков унтов до редких колец волос. — Ты ничего: лучше выглядишь... Сядем на ступеньки. Давно ли прибыли? Как разместились?

— Прибыли мы только что и разместились лучше не надо, — садясь рядом с ним, радостно заговорил Сеня. — Под рудником ты раненный был, говорят?

— В бок. Под самые кишки. Заросло, как на собаке...

Это, видишь ли, они пробную вылазку с рудника делали. Старого начальника гарнизона у них сменили за военные неуспехи. Прислали нового — полковника Лангового. Может, слыхал?.. Хотел прощупать нас, — усмехнулся Сурков. — Рад, что вы пришли. Большой отряд?

— Двести тридцать два...

— Мало... Гладких кто?

— Охотник тамошний.

— Уросливый, говорят?

— Да нет, он слушает меня, — с улыбкой сказал Сеня, — командир он хороший... Что нового у вас?

— Что нового у *вас?*

Сеня стал рассказывать о положении дел в Ольгинском районе. Он выкладывал Суркову все свои сомнения и колебания. Он жаловался на отсутствие информации и директив ревкома, на то, что, хотя в Ольгинском районе подъем у населения не меньший, чем здесь, разворот движения поневоле слабый: нет организаторов. Потом он рассказал о встрече с Мартемьяновым, о работе, проделанной Мартемьяновым, и о том, что еще осталось проделать.

— От Ольги на север и не слыхали еще о съезде областном, — говорил Сеня. — Крынкин сказывал...

— Крынкин — задница, — неожиданно сказал Сурков.

— Нет, он человек преданный, по-моему, но...

— Я не сказал, что он не преданный. Я сказал, что он задница, — повторил Сурков. — Организаторов! — передразнил он. — Разве ревком рожает организаторов? Организаторов создают из рядовых людей. Странно слышать такую жалобу от представителя Тетюхинского *рудника,* — он подчеркнул: рудника. — Организаторов движения в Ольгинском районе должны дать вы, тетюхинцы, и только вы... Так что говорит Крынкин?

— Да это не суть важно, пожалуй, — засмеялся Сеня. — Ты прав. И моя вина тут... Тебе вот письмо от Ли-фу. Слыхал такого?

— От Ли-фу? — Сурков развернул красную бумажку, которую Сеня подал ему. — «... Имевший место недоразумений... войск китайского народа... — забубнил он, — ...дальнейших выводов не сделать»... Сволочь... — сказал он, отчеркивая ногтем то место, где Ли-фу писал о том, что партизаны не имеют права помогать врагам «китайских рволюционных отрядов» ни в каких формах. — Ты знаешь, что это значит? Это значит, мы не имеем права

вызывать туземцев на наш областной съезд, не имеем права созывать корейский съезд, не имеем права защищать Николаевку, когда они пришли ее жечь, не имеем права вооружать южных гольдов и тазов, когда они отказались платить дань хунхузам и цайдунам... Сволочь!.. Вы где их встретили?

Сеня рассказал о встрече с хунхузами, о своем разговоре с Ли-фу и о найденном в реке трупе человека с перерезанным горлом.

— Очень хорошо, — злобно фыркнул Сурков. — Сегодня же пошлем роту — передавить к чертовой матери... По-русски понимает кто? — обернулся он к корейцам на крыльце.

— По-русики я понимай, — сказал один, почтительно склоняясь к Суркову.

— Сбегай к командиру Новолитовской роты, — знаешь, где они стоят? — скажи, чтоб зашел через полчаса на квартиру ко мне. Не переврешь?

— Нет, нет, — осклабился кореец.

— Повтори.

Кореец повторил.

— Умница, — похвалил Сурков, снова уткнувшись в бумажку. — Они отчего волнуются? — сказал он, комкая бумажку и засовывая ее в карман. — Мы подрубили их под корень. Они жили за счет дани: корейцы и туземцы платили. Теперь мы вооружили тех и других. Первыми всполошились китайские купцы и цайдуны, потом хунхузы. Они даже помирились на этом деле. Теперь купцы и цайдуны используют хунхузов как вооруженную силу... Ничего союзники!

— А ведь немало их, — сказал Сеня.

— Верно. Но какие солдаты? За что им умирать?

— Силы отымут все-таки...

— Так, может, договор подписать? — насмешливо спросил Сурков, устремляя на Сеню из-под бугров на лбу свои холодноватые, финского разреза глаза, в которых время от времени точно взрывалось что-то.

«И злой же, братец ты мой», — весело подумал Сеня.

— Силы, силы! — передразнил Сурков. — Ни у кого нет столько сил, сколь у нас. Из одного Ольгинского района целые полки двинуты... вашими стараниями...

— Крынкин там... — начал было Сеня.

— Крынкина снять надо, — холодно сказал Сурков. —

Сам посуди: готовим наступление на Сучанский рудник, подняли здесь все, что можно. Рабочие идут на стачку. Мало сказать — идут: с трудом удерживаем, чтоб не выступили раньше времени. У меня сейчас сидят представители рудничного комитета, — сам услышишь... Я даю ему телеграмму за телеграммой: «Высылай отряды», — отрядов нет... Упустили самое золотое время, когда на руднике было мало войск. Теперь туда стягиваются японские эшелоны. Будь мы на руднике, город и железная дорога без угля... Правда, дело еще поправимо, потому что Бредюк под Шкотовом задерживает передвижение японцев, и рудник мы возьмем, — убеждая скорее самого себя, чем Сеню, говорил Сурков, — но Крынкин твой задница: его бы в кашевары...

— А Алеша Маленький как смотрит?

— Алеша Маленький привез дурацкую директиву облаосткома, что все, что мы делаем, это не то, что нужно делать, а нужно делать то, что надумали они в облаоткоме, — язвительно сказал Сурков.

— Понятно объяснил! — засмеялся Сеня.

— А на самом деле... На заседаниях ревкома, где, кстати сказать, два левых эсера, он виляет, а смысл таков: «Вы зарываетесь, больших отрядов не нужно, мужицкими делами заниматься не нужно, никаких съездов не нужно...» А сам разъезжает по селам и приветствует и мужиков, и отряды, и съезды, то есть благословляет все, что мы делаем. Политика, нечего сказать!

— А я, по совести, еще не все тут схватываю, — сказал Сеня, огорчаясь, что не может согласиться с Сурковым. — Сам же говоришь, японцы...

— И прекрасно. Алеша рад будет союзничку...

— Я ж не говорю, что согласен с ним, — улыбнулся Сеня.

— Если не со мной, так с ним...

— С комитетом областным? — лукаво переспросил Сеня.

— С тем, что осталось от областного комитета... Впрочем, у Алеши там тоже какой-то свой оттеночек.

— Да я за съезд во всяком разе...

— Спасибо.

— А ты не злись, — блеснув кремовыми зубами, сказал Сеня, — умрешь от злости.

— Умирают от доброты, — усмехнулся Сурков.

— Расскажи лучше, как арестовали тебя и как убежал, — примирительно сказал Сеня. — А кто говорит это? — перебил он себя, прислушиваясь к доносившемуся из распахнутых окон страстному голосу кореянки.

— О чем же сначала: как арестовали или кто говорит?

— Сначала арестовали как...

— Говорит корейская революционерка Мария Цой... Из русских подданных: русскую гимназию кончила. Докладывает о восстании в Корее, она только что оттуда... Рад, рад, что вы пришли. Тебе рад, — в первый раз широко улыбнулся Сурков и крепко сжал Сенину руку.

Из окон донеслись гомон одобрения, шумные сморкания, скрип отодвигаемых парт.

— Могу хорошим обедом угостить, — говорил Сурков. — Мы на квартире у местного врача стоим...

— Знаю уж — сына его с Мартемьяновым встретили. Славный паренек, по-моему...

— Мог бы быть, коли б не портили.

— А портит кто?

— Добряки вроде тебя. Людей в его годы нужно больше ругать, а вы его хвалите, — сказал Сурков, грузно подымаясь навстречу выходящим из школы корейцам. — Вот и Алеша... Вот тебе союзничек, Алеша, — Сеня Кудрявый...

— Ну не совсем союзничек, — смеялся Сеня.

— У него оттеночек от твоего оттенка, — издевался Сурков.

— Видал сумасшедшего дурака?.. — весело и тоненько сказал Алеша Маленький, указывая на Суркова большим пальцем и взглядывая на Сеню своими живыми умными глазами. — Пусть-ка он лучше тебе расскажет, как его американцы подвели...

— А что американцы? — спросил Сеня.

— Он всю свою тактику строил на противоречиях между американцами и японцами, — пояснил Алеша, — а они сейчас вместе с японцами громят под Шкотовом Бредюка...

— Глупости все это, — отмахнулся Сурков.

— Ну как, интересно на съезде? — спрашивал Сеня у Алеши.

— А я не понял ни слова, кроме как сам говорил... Ежели по моей речи судить, так интересно, — тоненько отвечал Алеша Маленький.

— Цой, обедать с нами, — сказал Сурков кореянке, с группой окружавших ее корейцев тоже вышедшей на крыльцо.

— Обедать с вами? — Она на мгновение заколебалась, ее быстрые темно-карие глаза чуть-чуть задержались на Суркове. — Нет, я обещалась в корейскую роту, — со вздохом сказала она и тряхнула челкой. — У них несчастье: караульный шалил с ружьем и нечаянно убил русского мальчика. Они постановили расстрелять его. А я думаю, он уже и так наказан смертью мальчика...

— Недобрый, недобрый народ, — усмехнулся Сурков. — Ты скажи им, чтоб они его лучше из отряда выгнали, коли он с винтовкой обращаться не умеет... Пошли обедать.

XXV

Алеша Маленький, сильно соскучившийся и проголодавшийся на съезде, весело крутил ежовой своей головой и без умолку говорил о том, какой им Аксинья Наумовна, должно быть, приготовила обед и какой Сеня, видать, умник, если не согласен с Сурковым, и что хорошо бы поспать после обеда.

Сеня, пересмеиваясь с ним, расспрашивал Суркова о его жизни за год, что они не видались, но Сурков или отвык от Сени, или был слишком занят своими мыслями, только он все время переводил разговор на дела или на Сеню.

Справа от них потянулся редкий дощатый заборчик, за которым виднелись уходящие в глубь двора, заросшего ярко-зеленой муравой, одноэтажные деревянные корпуса больницы, за ними виднелись лесистые, пробрызнутые солнцем склоны горного отрога. Потом они поравнялись с каменным зданьицем, тоже в глубине двора, с ведущей к зданьицу липовой аллейкой и большой цветочной клумбой перед зданьицем. В тени аллейки на скамьях сидели больные и раненые с костылями, с забинтованными ногами или руками.

Возле распахнутой калитки партизан с рукой на перевязи другой, здоровой рукой, держал за кофту красивую, статную сиделку в белой косынке, шедшей к ее черноглазому, с острым подбородком лицу.

— Не уходи, Фроська! — просил он. — А то, ей-богу, за тобой пойду...

— Больным и раненым на улицу ход воспрещается! — смеялась она. — Да ну, пусти, меня дома дети ждут... Здравствуйте, Петр Андреевич! — поздоровалась она с Сурковым, стрельнув в него своими черными глазами.

— Здравствуйте, — ответил он, не глядя.

— Эх, нет в тебе, Петя, обращения, — шутил Алеша Маленький. — Эдакая красота, а ты: «Здравствуйте»... А она еще выхаживала тебя раненого.

— А что ж мне прикажешь делать?

— Я бы нашел, что делать, ежели б она на меня так поглядела. Да куда там! Не глядит. Я хоть и красивый, да маленький... Вот и квартира наша, — сказал Алеша Сене, указывая на обширный деревянный дом с резными карнизами и высоким резным крыльцом, выходящим на улицу.

Прямо за домом, видный с улицы, раскинулся до самого отрога большой плодовый сад — гордость Владимира Григорьевича Костенецкого: сад этот был разбит и посажен им по специально выписанному из Германии руководству для садоводов-любителей.

Они вошли в полутемный коридорчик, деливший дом пополам. Дверь в конце коридора была открыта; виден был угол русской печи; тянуло запахом всяческого варева и жаренья. Простоволосая, худая, чисто одетая старуха в белом переднике, с засученными рукавами, высунулась в дверь.

— Пришли? — радушно сказала она. — И то заждались. Сейчас подаю...

— Я подсоблю тебе, Аксинья Наумовна!

Алеша Маленький, подмигнув Сене, побежал на кухню. В просторной угловой комнате, с громадным буфетом у стены, стоял застланный клеенкой стол, накрытый на семь человек.

Высокий и чудаковатый старик в сапогах, со свернутой набок черной с проседью бородкой, которую он каким-то беспокойным движением то и дело захватывал горстью, ходил по комнате нетвердой, ревматической походкой и оживленно говорил что-то двум сидевшим на стульях горнякам в брезентовых блузах.

— ...Это такой народ, вокруг пальца обведут... — простуженным голосом сказал горняк с пышными русыми усами в тот момент, как Сурков и Сеня вошли в комнату.

Другой горняк, с веснушчатым лицом и жидкими серыми волосиками, завидев Суркова, робко привстал, теребя в руках фуражку, но, покосившись на своего развалившегося на стуле товарища, снова сел на краешек стула.

— Какой народ? — спросил Сурков.

— Владимир Григорьевич о сходе вот рассказывает...

Сурков, не дослушав, прихрамывая, прошел в соседнюю комнату.

— Вон вы живете как!.. — Сеня оглядел приборы в две тарелки, вилки, ножи, металлические ложки, стеклянные солонки — предметы, от которых он давно уже отвык. — По-буржуйски живете, — шутливо говорил он хрипловатым смеющимся голосом, здороваясь со всеми за руку.

— Остатки прежней роскоши, так сказать... Костецкий, — назвал себя старик со свернутой набок бородкой и по-совиному поглядел на Сеню.

— Вот и хорошо... А я, в аккурат, с сыном вашим познакомился...

— Но-о, Сережу видели? — вдруг по-детски рассияв, воскликнул Владимир Григорьевич. — И что? Как он чувствует себя, этот юноша?

— Здорово чувствует, по-моему. Мы с ним прямо, можно сказать, подружили...

— А кончился сход? — спросил Сурков, с мылом и полотенцем в руках появляясь в дверях из соседней комнаты.

— Как же, как же... — торопливо сказал Владимир Григорьевич.

— Как выборы?

— Да я вот рассказывал товарищам... — Владимир Григорьевич беспокойно схватился за бороду. — Благополучно, в общем... Список наш почти целиком прошел, но Казанка они все-таки вставили и выбрали небольшим, правда, большинством...

— Как же вы допустили? — холодно спросил Сурков.

— Позвольте, как же не допустить, если барышничество он оставил, и сын у него в партизанах, и он бес-

платно снабжает партизан мясом? — сказал Владимир Григорьевич, не замечая того, что он приводит те самые доказательства о необходимости выбрать Казанка, которые на сходе приводили ему сторонники Казанка и которые на сходе он яростно опровергал.

— Сдали, значит? — усмехнулся Сурков.

— Сдал? — покраснев носом, сердито сказал Владимир Григорьевич. — Я считаю неуместным это замечание. Я сделал все, что мог... — Он обиженно отвернулся к окну.

— Какой Казанок это? — спросил Сеня, вспомнив просьбу Гладких.

— Местный кулак, барышник, — резко сказал Сурков, — а теперь вот делегат повстанческого съезда. Очень хорошо...

— А я скажу, товарищ Сурков, его, и правда, трудно было не допустить, — вставил горняк с пышными усами. — Я его очень даже знаю и все село их знаю. Первый он человек у них. В старое время у кого скорей всего мужик подмогу находил? У Казанка. Он, понятно, наживался на том, да разве они понимают? И перед начальством он первый был заступник. Приставов он, правду сказать, не терпел...

— Достойный человек, что говорить... — фыркнул Сурков.

— Сын его в отряде у нас, — сказал Сеня. — Очень отличался... Его полюбили у нас. А я, по совести, хотя и не знал, как отец его, а все доверия к нему не было. Но Гладких горой за него, просит, чтоб совсем в отряде у нас оставили...

— Отличался, говоришь? — переспросил Сурков. — Ну-ну... Он приемный сын, говорят? Пускай остается. Умыться хочешь?

Дверь из коридора распахнулась, и Алеша Маленький, тоненький голосок которого слышен был еще в коридоре, вошел в комнату с дымящейся суповой миской в руках. За ним шла Аксинья Наумовна с хлебом и какими-то салатами.

— Еще прибор, Аксинья Наумовна, гость у нас, — сказал Сурков, проходя с Сеней на кухню.

— Да ведь Леночки-то нету! — крикнула она вслед.

XXVI

Горняка с пышными усами звали Яков Бутов. Он был из тех новых руководителей, которые выдвинулись уже после переворота. Сеня, знавший некоторых старых руководителей на Сучанском руднике, часть из которых погибла, часть сидела в тюрьме, а часть возглавляла партизанское движение, совсем не знал Якова Бутова.

Обсасывая намокшие в супе усы и раздувая щеки, Бутов рассказывал о грубом обращении японской охраны с рабочими, о новой волне арестов, связанной с назначением нового начальника гарнизона, о продовольственном кризисе. Подвоза из деревень не было, город не в состоянии был обслужить рудник. Кое-какие запасы продуктов сохранились еще в рудничных столовках, но и эти запасы иссякали: рабочие ходили в столовки семьями. Три месяца не выдавалась заработная плата, а вчера пришла только за один месяц сибирками, вдвое упавшими в цене. На руднике поднялось такое возмущение, что Бутов не мог поручиться за то, что он не застанет рудник уже не работающим.

Яков Бутов не был сторонником немедленной стачки. Он считал, что лучше было бы оттянуть выступление рабочих до того, как партизаны начнут новое наступление на рудник. Но так как все на руднике требовали немедленной стачки, и в отдельных шахтах вспыхивали самочинные забастовки, и вся многотысячная масса давила на рудничный комитет, обвиняя его в бездеятельности, трусости, а наиболее горячие даже в предательстве, и всем этим пользовались левые эсеры и анархисты, то Яков Бутов так освещал положение дел на руднике, что получалось, что нужно или немедленно наступать на рудник, или, если это даже невозможно, немедленно объявить стачку.

— Ишь куда гнет!.. — раздувая свои широкие волосатые ноздри, посверкивая глазками, говорил Алеша Маленький. — До сих пор мы, грешные люди, думали, что надо идти в голове массы, учить ее, коли нужно, сдерживать ее. А у вас на руднике считают, видать, что надо плестись в заду у массы... В слабости своей расписываетесь, товарищи...

— А я скажу, товарищ Чуркин, что, ежели в кабинетах сидеть да не знать, чего масса требует, это тоже ни-

какая политика...— с раздражением на Алешу Маленького отвечал Яков Бутов.

— Знамо дело, в кабинетах,— беззлобно соглашался Алеша Маленький.— «Они там пируют, карманы набивают»,— чисто вы об областном комитете мыслите... Шутники вы все там. Еще полтарелочки, Аксинья Наумовна...

Сурков, не вмешиваясь в спор, сосредоточенно и жадно ел, похоже было — он и не слушает их. Но Сеня, зная о разногласиях Суркова с Алешей Маленьким и о том, что Сурков не согласен также с Яковом Бутовым, догадывался, что Сурков молчит для того, чтобы сначала Бутов и Алеша Маленький побили друг друга,— чтобы потом самому побить и Бутова и Алешу Маленького.

Во время обеда в столовую несколько раз заходили партизаны и посыльные из штаба с различными делами. Сурков, отрываясь от еды, подписывал бумаги, отдавал устные распоряжения. Пришел командир Новолитовской роты, и Сурков распорядился, чтобы завтра чуть свет рота выступила против хунхузов.

Обед возглавляла Аксинья Наумовна. Она давно уже не получала никакого жалованья, но не хотела уходить от Костенецких и обслуживала теперь чуть ли не весь ревком.

Сколько раз во время обедов за этим столом обсуждались планы наступлений, ниспровергался тот или иной член ревкома,— иной раз спорщики до того воспламенялись, что стучали кулаками по столу, хватались за револьверы,— Аксинья Наумовна никогда и ни во что не вмешивалась. Ее спокойные смуглые худые руки сновали над столом, резали хлеб, крошили огурцы, разливали суп и правым и виноватым. Иногда какой-либо член ревкома, не понятый всеми и никем уже не слушаемый, обращался к ней с горестными объяснениями своей позиции.

— А ты кушай, кушай,— радушно говорила она,— давай-ка вот я тебе от косточки...

Однако она вовсе не была беспристрастна. У нее были свои любимчики. Выбрав среди обедающих самого ледащего и робкого, она окружала его исключительным вниманием. Счастливцу перепадали лучшие куски, тарелка его наливалась до краев, каждое желание его угадывалось.

На этот раз предметом забот Аксиньи Наумовны был горняк с веснушчатым лицом и жидкими серыми

волосиками. Он действительно чувствовал себя неважно. Вилка и нож не слушались его. Он казался себе неожиданно большим, не умещающимся за этим столом. Ему казалось, что он задевает всех и вот-вот опрокинет что-нибудь. Он весь раскраснелся, волосики его вспотели. Иногда он вспоминал, что он как-никак представитель рудничного комитета, и пытался возразить что-то своему товарищу и издавал какой-то неопределенный звук, но тотчас же им овладевала такая робость, что он уже рад был тому, что звук его не услышан никем.

Сеня, сидевший против него и сразу его полюбивший, — чтобы подбодрить его, обращался к нему со всеми своими замечаниями по поводу дел на руднике.

Но весь этот спор за столом был совсем не то, что нужно было Сене и чего он ожидал, когда входил с отрядом в Скобеевку. К тому настроению подъема, с которым они, распевая «Трансвааль», входили в Скобеевку, примешивалось еще радостное ожидание чего-то приятного и важного лично для Сени. Он не отдавал себе отчета в том, что это такое, но и теперь, за столом, он ждал этого, и когда он ловил себя на этом, мотив «Трансвааля» снова радостно возникал в нем.

Владимир Григорьевич, обиженный Сурковым, суховато расспросив Сеню о Сереже, молчал до конца обеда, сердито жуя передними зубами.

Владимир Григорьевич был обижен тем, что Сурков не хотел понимать, насколько он, Владимир Григорьевич, *честно выполнил свой долг,* выступая на сходе против Казанка, с которым до революции они работали вместе в кредитном товариществе и которому в те времена Владимир Григорьевич часто должал. Кроме того, Владимир Григорьевич был недоволен позицией Алеши Маленького и стоял па той *точке зрения,* что нельзя *угашать энтузиазма масс.*

Однако часть своего радостного ожидания Сеня распространял и на Владимира Григорьевича и иногда участливо спрашивал его: много ли раненых в больнице и часто ли обращается за помощью местное население.

— Немного... Бывает наплыв... — жуя передними зубами, сердито отвечал Владимир Григорьевич.

— Ну, уж как хотите, дорогие товарищи, а только масса требует!.. — говорил Бутов, вконец обозленный Алешей Маленьким.

— Масса требует! — вдруг сказал Сурков, вздымая из-под бугров на лбу свои холодноватые и злые глаза. — Масса требует!.. Не доказывает ли это, какая у нас хорошая масса и какие мы плохие руководители? — сказал он, объединяя под словом «мы» и Якова Бутова и Алешу Маленького. — Сами судите... Один сдерживанье масс объявляет чуть ли не партийной добродетелью...

— Ничего похожего... — тоненько сказал Алеша Маленький.

— ...а другой готов подставить под удар основной костяк движения, чтобы сначала был разгромлен этот рабочий костяк, а потом и все движение, и считает почему-то, что он выполняет требование масс. Уж лучше бы нам, право, помолчать о массах...

— Правильно, вот правильно! — надтреснутым голоском воскликнул вдруг горняк с жидкими волосиками и покраснел до слез.

— Ну, чего правильно-то? — недовольно протянул Бутов. — Поглядим, что на руднике споешь... И неужто ты, товарищ Сурков, считаешь, мы не понимаем, что нужно! Да трудно нам... Попробовали бы вот сами поговорили!..

— А я так и думаю сделать, — спокойно сказал Сурков. — Почему бы, к примеру, Сене не пойти? Как ты смотришь? — обратился он к Сене.

— А отряд как?.. — растерялся Сеня. — Да надо если, пойду. Много ли только сделаю? Мне ведь хорониться придется — узнают меня там...

— Да, уж там теперь бережно надо: полковник Лангвой чисто метет! — усмехнулся Бутов.

— Если б со мной еще парня какого толкового, — размышлял Сеня, — чтоб мог свободно и по столовкам походить, и в квартиры заглянуть.

— Парня толкового?.. А Мартемьянов с Сережей когда придут? — спросил Сурков.

— А верно ведь! — воскликнул Сеня, обрадовавшись возможности пойти с Сережей. — Не сегодня-завтра придут...

— И прекрасно...

— Это другой разговор, это я понимаю! — обрадовался и Бутов.

— У меня на квартирке можно стать... — шепотом через стол говорил Сене горняк с жиденькими волосиками. — Квартирка моя под самой под тайгой и без подозре-

ния... Только вот девчонка у меня Наташка, больная она... — добавил он с застенчивой и жалостливой улыбкой.

— Не стеснит она нас, лишь бы мы ее... — ответно улыбался Сеня.

— А вы как? — спрашивал Сурков Владимира Григорьевича. — Ничего, что Сережа пойдет?

— Он человек вполне самостоятельный, — сухо ответил Владимир Григорьевич.

— Да вы уж не обиделись ли? А может, огорчились, что Казанок прошел? — Сурков чуть заметно улыбнулся. — Стоит ли?.. А где Елена Владимировна? — вдруг спросил он.

— Гуляет, наверно, она сегодня не дежурная...

Сеня, услышав это имя, быстро поднял голову и взглянул на Суркова.

— Кто такая Елена Владимировна?

— Сережина сестра... — отвернувшись от Сени, сказал Сурков...

«Что с ним?» — подумал Сеня, с удивлением замечая, что лицо Суркова вдруг по-мальчишески густо покраснело. «Вон оно что!.. — вдруг подумал он. — Вон оно что...»

И мотив «Трансвааля» снова зазвучал в Сене.

XXVII

Семка Казанок, простившись у школы с Кудрявым, шел по улице, знакомой ему до каждой травинки.

Кучки людей у ворот при его приближении начинали перешептываться и поворачивались к нему. Встречные здоровались с ним с различными оттенками уважения и заискивания. Иногда он сам подходил к знакомым парням и девчатам, обменивался новостями, ловя на лицах девчат выражение застенчивой покорности и робости, на лицах парней — угодливости, недоброжелательства, поисков дружеского расположения. Самые смелые размашисто здоровались с ним, выказывая перед другими свое панибратство, но и в их глазах он замечал то же выражение покорности, недоброжелательства и подчинения ему.

И то, что все эти люди были тем самым противопоставлены ему, то, что он был одинок среди этих людей и как бы стоял над ними, не только не пугало и не огор-

чало Семку, а наоборот — именно это и составляло главный интерес его жизни и двигало всеми его поступками. Вне такого отношения людей к нему жизнь теряла для него всякую цену и смысл. Он всегда ощущал в себе ту внутреннюю силу презрения к людям и к человеческой жизни, силу, которая могла толкнуть его на что угодно, даже на уничтожение себя, лишь бы не сравняться с другими людьми и не дать им восторжествовать над ним.

Двор старого Казанка находился неподалеку от больницы. Двор был обнесен высоким, в два человеческих роста, сплошным забором, над которым выступали только железная крыша большого жилого здания и деревянные крыши служб и сараев. В былые времена ворота были всегда на запоре, двор был полон злых, некормленых псов. Теперь в главном доме жили партизаны, собак они перестреляли на шапки, ворота были распахнуты настежь.

Когда Семка вошел во двор, в глаза ему бросилась картина общего беспорядка. Снятая с передка телега валялась у самых ворот, двор был давно не метен, засорен щепками и отбросами пищи. На крыльце главного дома сидело несколько партизан. Один, прищурив глаз от дыма цигарки, которую он держал в углу рта, играл на гармони. Неподалеку от крыльца партизан в потной рубахе колол дрова, высоко взмахивая колуном. Под длинным навесом, отбрасывавшим тень во двор, двое партизан снимали шкуру с громадного мускулистого быка, подвешенного за ноги под стропила. Со шкуры капала кровь, руки партизан были в крови, и земля под быком тоже была залита кровью.

Весь этот беспорядок на дворе, то, что чужие люди хозяйничают в доме, то, что партизан колет отцовы дрова, а другие свежуют лучшего голландского производителя «Гартвига» из отцова стада, — все это очень развеселило Семку.

— Неплёхо, вижу, зивёте,— сказал он весело.— Здравствуйте, хозяева!..

И он небрежно покрутил тонкой, девичьей своей ручкой.

— Гляди-ка — Семка...

— Ходи-ко к нам на крылечко!..

— Что под Ольгой слыхать?

— Некогда мне, — я целовек подневольный... Помыться бы только да вшей вытряхнуть...

И он, склонив набок свою белую головку и волоча плеть, небрежной мелкой походочкой, вразвалку, прошел на задний двор. Со времени восстания отец, сам предложивший свой дом партизанам, жил на заднем дворе в старой избе, поставленной в год переселения, около тридцати лет назад.

Окна в избе были закрыты, но оттуда доносился гомон многих людей. Мачеха, прямая и строгая, как монашка, сидела на завалинке. Рядом с ней, опершись на клюку, сидела нищенка в черном платке и пыльной черной ряске. У ног нищенки лежал мешок с подаянием. У нищенки было загорелое морщинистое лицо, исполненное святости. Она говорила то самое, что испокон веков говорят все святые нищенки, — что ей было видение, что наш грешный и суетный свет кончается.

Мачеха, уже лет пятнадцать как отрешившаяся от всех мирских забот, водилась только с бродячими монашками и нищенками. Она была бездетна и это несчастье свое возвела в добродетель. Семка, подкидыш знакомцу-лавочнику в городе, был взят на воспитание старым Казанком и вопреки ее воле. Она ненавидела Семку, и он отвечал ей тем же, со злорадством подмечая, что, несмотря на свою святость, она много и неопрятно ест и, когда отец, избегая ее, не ночует в избе, сама ходит к нему на сено.

— Здравствуйте, мамаша! — сказал Семка и, брезгливо сощурившись, прошел мимо в горницу.

В горнице сидело человек двенадцать мужиков, все знакомые Семке. Они пришли со схода, и шумный разговор их вертелся вокруг того, чем занят был сход. Все они уже сильно выпили. На столе стояли четверть самогона, жбан с медовухой, чашки, тарелки с кислыми помидорами, валялись ломти нарезанного хлеба. Девка с бельмом на глазу подавала им.

Старый Казанок, тоже уже сильно выпивший, но, как всегда, опьяневший больше телом, чем разумом, сидел под божницей. Несмотря на свои пятьдесят восемь лет, он был еще ладен: лицо его хранило следы былой красоты. Шапка черных, смоляных, всегда спутанных волос и жесткая, проволочная борода, обкладывавшая его загорелое кремневое лицо, почти не тронуты были сединой. Такие

же черные волосы курчавились в прорези рубашки на его кирпичной груди. Он был мощен и диковат.

— А, Семушка! — густо и ровно сказал он, взглянув на Семку своими печальными и дикими глазами.

— Здравствуй, папаша!..

— А ну, посунься, Степан Аникеич...

Казанок, привстав под божницей и качнувшись слегка своим статным еще телом, полез из-за стола.

— Наливайте, наливайте... — сказал он, беря Семку за локоть и оборачиваясь к мужикам, и вместе с Семкой вышел в соседнюю горницу.

Когда, больше месяца назад, Семка был послан под Ольгу, еще не занятую партизанами, отца не было дома: он подрядился отвезти на станцию Кангауз китайского купца, покидавшего село с разрешения ревкома. Но Семка знал, что отец потому взялся отвозить купца, что под Кангаузом стояла на заимке знакомого мужика партия скупленных уполномоченными Казанка по области лошадей, которых он должен был перепродать в армию.

Семка всегда чувствовал особенную среди других людей, бескорыстную любовь отца к нему и оттого, не интересуясь его делами, был ему предан, а оттого, что был предан, немного боялся его.

— Бычка-то подариль? — сказал Семка, почтительно и весело глядя на отчима.

— Все одно б отобрали, — улыбнулся Казанок.

— Как съездилось тебе? — спросил Семка.

— Хорошо съездилось... Такого человека нет, чтоб пымал меня, такой человек еще не родился, — сказал Казанок, как всегда во время сильной выпивки начиная хвастаться. — На обратном путе в Хмельницкой подсадил большевицкое начальство с города, — замухрышчатый такой, а умен, умен, не переговоришь, — и дочку Владимира Григорьевича. Ладная краля, только руки тонки... А как он седни, Владимир Григорьевич, на сходе меня громил. Слаба у людей память на доброе... Такая жарня была, а я все отмалкивался, а все и я к власти выхожу — на съезд попал... Вот выпиваем сидим, — сказал он с виноватой улыбкой, дико покосившись на дверь. — А тебе как съездилось?

— А мне что сделают? Я против тебя коротенький, — усмехнулся Семка. — Друзька твоего, Митрия Лозу, хунхузы прирезали.

Он рассказал о том, как от неожиданности чуть не выдал себя, признав в человеке с перерезанным горлом одного из уполномоченных отца.

— Одну лошадку он ничего вёль, крепенькая лошадка...

— Жалко... Веселый был человек, — сказал Казанок. — Ладно, хоть концы в воду... С начальством ладишь?

— Смотря с каким... Гладкого вай-фудинского знаесь?

— Старика знавал...

— Сын его... В отряд к себе взяль. А другой у них в отряде есть, Кудрявый Семен, — не больно рад. Святой такой, вроде старуськи, что у мамаши сидит, — презрительно сказал Семка.

— Как Ольгу брали, там был?

— Сам браль...

— Совался, поди, куда надо и не надо?

— Да не хорониться, — усмехнулся Семка.

— И дурачок... Жить дома будешь?

— Чего мне у тебя жить, — Семка лукаво прищурился, — я с партизанами.

— Умен, хвалю, умен...— засмеялся Казанок.— Гляди только, когда их вешать будут, чтоб и тебя не прихватили.

— Такой целовек еще не родилься, — повторил Семка его слова. — Разве вот ты? Я против тебя коротенький, — снова сказал он.

— Пожалею, может...

— А ты сейчас пожалей. Скажи, чтоб бельмастая баньку стопила, да покормили чтоб...

— Пойдем тогда, выпьем с нами, — сказал старый Казанок и, качнувшись своим статным телом, вместе с Семкой вошел в горницу, в которой шумели мужики.

XXVIII

Умывшись в баньке, перекусив и надев чистую голубую рубаху с горошком, сам весь чистенький и порозовевший, Семка отправился обратно в отряд.

Чтобы сократить путь и избежать скучных разговоров с партизанами в отцовском дворе, он пошел задами, вдоль заросшей ряской проточки под отрогом. Проточка эта впадала в реку у самого провала. Вечернее солнце над дальним синевшим хребтом за рекой било вдоль по проточке,

золотило макушки деревьев на склоне отрога и листья ольхи по эту сторону проточки. Под ольхами было уже темновато; пахло сыростью; пели вечерние комары.

Семка шел, хватаясь руками за дощатый заборчик, огораживавший выходящий к проточке сад Костенецких. Слева, впереди от себя, по той стороне проточки, он услышал какой-то всплеск и шорох. Сквозь ольху видна была часть лодки, и что-то белело и двигалось в ней. Семка осторожно раздвинул ольху и высунулся на проточку.

Нос лодки был вытащен на противоположный берег. На широкой корме вполуоборот к Семке сидела девушка в нижней городской рубашке. Она, видно, только что выкупалась: одежда ее лежала возле в лодке; голова была обвязана полотенцем, чтобы во время купания не замочить волос. Волосы у нее были большие: тюрбан на голове был велик. Что-то зверушечье и детское было в ее тонких руках и острых плечиках и в том, как она, сполоснув одну ногу и помотав ею в воздухе, сняла с головы полотенце, освободив большую темно-русую косу, упавшую ей через плечо, и, обтерев ногу полотенцем, стала натягивать чулок.

Натянув один чулок, она так же сполоснула и вытерла полотенцем другую ногу и, держа ее на весу, стала искать другой чулок, перетряхивая одежду, и, неосторожным движением встряхнув что-то, выронила чулок в воду. Она было подхватила его голой ногой, но чулок уже отплыл; тогда она сильно перегнувшись с лодки, попробовала достать его рукой, но чулок медленно уплывал.

Семка, с шумом раздвинув ольховник, как был в сапогах и в одежде — вступил в воду и, даже в воде сохраняя небрежное изящество своей походки, пошел за чулком. Ближе к той стороне вода достигла ему по грудь, но он все же схватил чулок и, подняв руки, с одной из которых свисала плеть, а с другой чулок, преодолевая несильное течение, подошел к лодке и протянул девушке чулок.

Она не испугалась, не вздрогнула, когда он неожиданно вошел в воду, только неторопливо поправила рубашку на плече и на коленках.

Взяв чулок, удивленно приподняв широкие темные брови, она сверху смотрела на него из-под длинных ресниц большими темно-серыми глазами.

— Вы... кто? — медленно, как бы в раздумье, спросила она.

— Я Казанок, — ответил он, по-мальчишечьи просто глядя ей в лицо.

— Казанок — это что?

— Что? — удивился он. — Это я Казанок, фамилия моя...

— Хорошая фамилия... очень... — в раздумье сказала она. — Вот что: перегоните лодку на ту сторону.

Он, взявшись рукой за корму, стащил лодку с берега.

— У вас очень белая голова, — сидя к нему спиной и натягивая чулок, говорила она, пока он переводил лодку, — как меховая, ее хочется пощупать... Вам не жалко было сапог, когда вы полезли в воду?

— Очень... А особливо рубаську, — она у меня с гороськом, — усмехнулся Семка.

— Нет, правда?

— А то нет? Рубаська новая...

Он повернул лодку и вытащил ее носом на берег.

— Вы не смотрите, пока я оденусь, — говорила она, держась обеими руками за края лодки.

— Все одно я уже видель все, — наивно и дерзко сказал Семка, выпрямляясь и прямо глядя на нее.

— Ну, это не считается. Отвернитесь.

Семка отвернулся. Вода стекала с него, и сапоги его были полны воды.

— Вы похожи на мальчика, — говорила она. Голос ее звучал невнятно, она, видно, держала зубами шпильку.— Это хорошо так сохраниться... Я вот все хожу по этим местам, и мне все хочется стать такой же, какой я была когда-то здесь же, девочкой... — Она вынула шпильку, и голос ее снова ясно зазвучал. — Да, я хотела бы стать такой же, как тогда, и все чувствовать так же, как я чувствовала тогда, но, видно, это уже невозможно.

Семка вспомнил, какой она была девочкой, и нашел, что она была некрасивой девочкой, а теперь стала хороша, но он не знал, как выразить ей это, и смолчал.

— Вот я и готова, — сказала она, выходя из лодки. — Спасибо, что помогли...

Они некоторое время молча, без смущения, как могут стоять только дети, стояли друг против друга, не стесняясь встречаться глазами, — он весь мокрый, со свисающей с руки плетью, — она свежая после купанья с полотенцем через плечо.

— Мне — сюда, — указала она на дыру в заборе.

Она вдруг протянула руку, и он почувствовал нежное прикосновение ее ладони между ухом и американской шапочкой.

— Совсем меховая, — серьезно сказала она. — До свидания, Казанок...

Она просунулась в дыру в заборе и, не оглянувшись на Семку, исчезла в кустах.

Он еще стоял возле забора, когда она с полотенцем через плечо, в туфельках без каблуков, шла по аллее к дому. Солнце золотило полные уже листья яблонь и обмазанные известкой стволы, грело ей щеку. Стучал дятлик. С улицы чуть доносились звуки гармони.

Окно на кухне было открыто. Аксинья Наумовна гремела посудой, напевая что-то.

— Вот она, запропащая... А мы уж отобедали...

— Папа в больнице?

— Давно ушел.

— А Петр Андреевич обедал?

— Обедал... Иди, я подам тебе.

— Да я сама, здесь, на кухне...

Она с полотенцем через плечо вошла в коридор. Дверь с улицы отворилась, и в полном закатного солнца прямоугольнике двери показалась сильно выросшая и возмужавшая, но все же хранившая знакомые милые очертания стройная фигура подростка-юноши, лица которого нельзя было разглядеть из-за темноты в коридоре. Еще какие-то люди всходили на крыльцо.

— Сережа! — вдруг крикнула она, бросаясь к подростку.

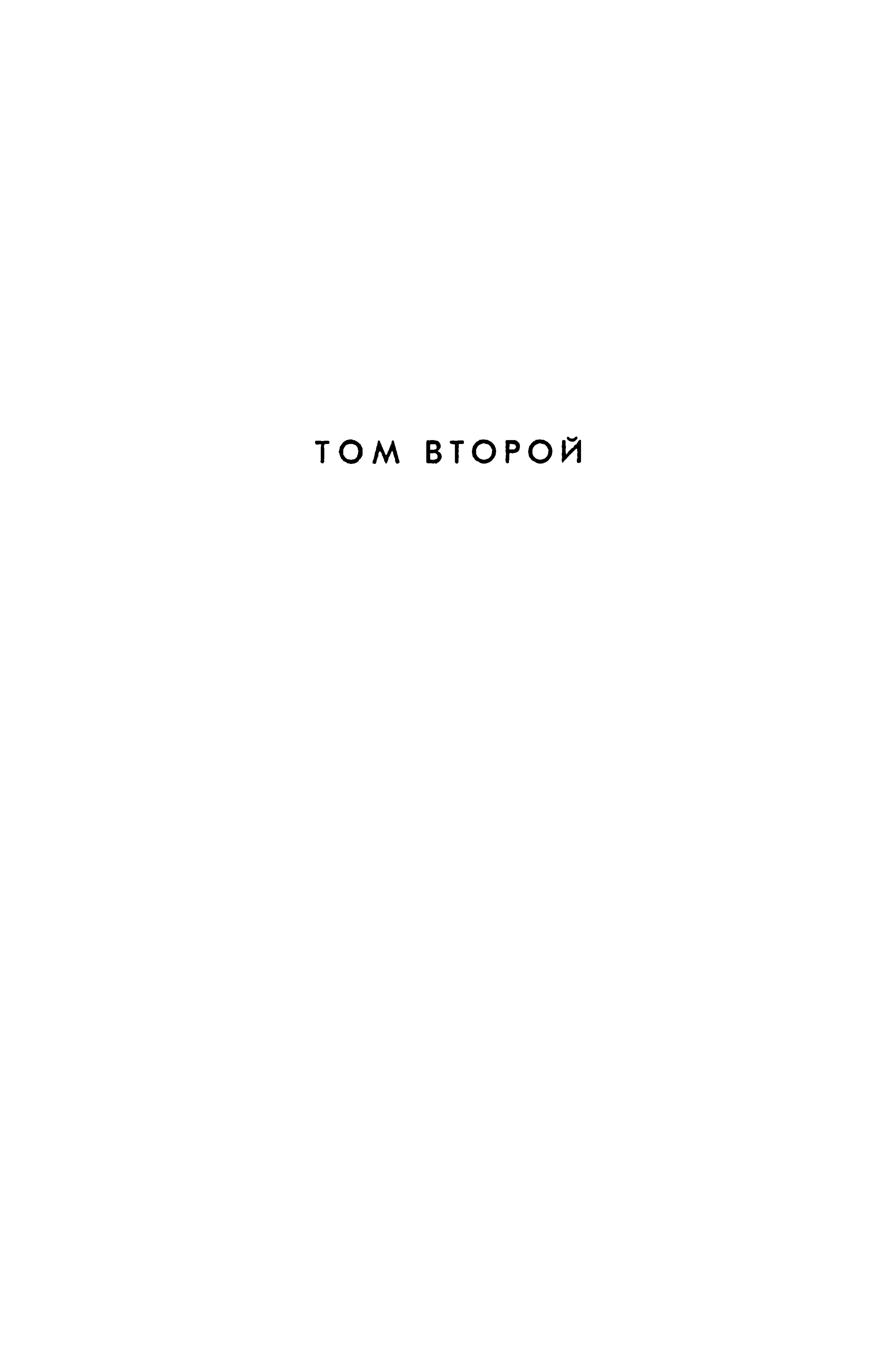
— Лена!..

Обнявшись, они целовали друг друга, куда попадали в темноте, и смеялись над этим. Она чувствовала исходящий от него запах хвои и солнечного загара.

— Как ты возмужал! — говорила она.

Люди, которым они мешали пройти, стояли на крыльце, и Лена, не глядя на них и целуя Сережу, все время чувствовала тяжелое присутствие среди них человека, который вошел в ее жизнь и в то же время был непонятен и недоступен Лене.

Конец первого тома



ТОМ ВТОРОЙ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Алеша Маленький был послан в районы восстания для того, чтобы ликвидировать разногласия между партизанским командованием и подпольным областным комитетом. Разногласия эти обнимали коренные вопросы движения, и от того или иного разрешения их зависели судьбы и жизни десятков и сотен тысяч людей.

Вначале Алеша Маленький предполагал пробраться к партизанам через Сучанский рудник, где Соня Хлопушкина, ведавшая всей подпольной связью, указала ему несколько явочных квартир. Но когда поезд в двух перегонах от Шкотова подвергся обстрелу, Алеша решил слезть в Шкотове и дойти до ближайшего отряда: он хотел перед встречей с Петром Сурковым сам ознакомиться с тем, что делается в повстанческих районах.

И действительно — за те несколько дней, пока он добрался до Скобеевки, он прошел целый университет партизанской борьбы. Прохождение курса началось, едва он отошел от Шкотова.

— Кто идет? Задержись!.. — раздался окрик из кустов впереди.

Из-за изгиба дороги выметнулось двое партизан,— они с ружьями наперевес побежали к Алеше.

— Руки до горы!

Партизаны остановились против Алеши и взяли ружья на изготовку.

Алеша, жмурясь, с удовольствием смотрел на них.

— А сверток я куда дену? — весело сказал он, указав на бумажный сверток, в который он, только что переодевшись в кустах, сложил свой инженерский костюм.

— Не разговаривай!

— Да я — свой, свой! Проведите меня до караульного начальника, я ему документ покажу.

— Оружие есть? — ощерившись, спросил партизан, стоявший впереди.

— А то нет? Кабы я чужой был, я бы давно вас обоих ухлопал, — усмехнулся Алеша. — Да ты что все на фуражку смотришь? — сказал Алеша, сообразив, что на фуражке остался след от инженерских молотков. — Ясно, что я переодетым был, когда ехал к вам...

— Обыщи его, Семенов!..

Второй партизан, русый паренек лет девятнадцати, опустив винтовку, неуверенно ступил по направлению к Алеше.

— Нет, уж извини, брат! — серьезно сказал Алеша. — Такого обычая мы не держимся — оружие сдавать. Я — рабочий из города, послан до вас большевицким комитетом...

— Много вас, рабочих, тут шляется! — тупо сказал первый партизан, ощетинив рыжие усы и собрав на лбу складки в палец толщиной. — Подумаешь — начальство с комитету!.. Обыскать! Не разговаривать!..

То, что партизаны вначале не доверяли ему, было вполне естественно и не огорчало Алешу, но последние слова партизана возмутили его.

— Ах, вот как ты рассуждаешь? — медленно сказал Алеша, раздув свои волосатые вывернутые ноздри, пронзительно глядя на партизана. — «Много, значит, их тут шляется?!» ...Рабочие, которые там в кабале сидят, к ним с чистым сердцем, а они — вон оно что! Да разве вы без рабочего класса можете какую надежду иметь? «Много их тут шляется!» ...Ежели вы меня сейчас же не проводите до караульного начальника, я не посмотрю, что вы партизаны, и так обоим в морду насую!.. Вишь, герои какие! «Много, говорит, их тут шляется!..» — не на шутку обиделся и раскричался Алеша.

— Сведем его до караульного, что ли?.. — Русый паренек, не решаясь подойти к Алеше, робко взглянул на своего товарища.

— Ступай вперед! — сурово сказал Алеше первый партизан. — Коли побежишь, пулю получишь!

— Ты смотри не побеги, — уже посмеиваясь, сказал Алеша.

Сопровождаемый партизанами, он был приведен на хуторок под осиновой рощей. Предъявив караульному начальнику документ, который Алеша выпорол из брючной подкладки, и вволю поучив начальника, Алеша, в сопровождении того же недоверчивого партизана с рыжими усами, выехал на двуколке в село Майхе, где стоял штаб командира Бредюка.

Партизан был сердит на Алешу и вымещал злобу на лошадке, но Алеша, поглядывая на вздувшиеся паром темные поля, на лимонную полоску заката над дальними сиреневыми горами, вдыхая влажные ароматы, весело насвистывал всю дорогу.

В село они въехали, когда уже зажглись огни в избах. Еще издали донеслись звуки многочисленных гармоник, разноголосого пенья. Село представляло собой вооруженный лагерь. На улицах и во дворах горели костры, освещавшие лица и патронташи; мужики верхами возвращались с поля, волоча плуги и опрокинутые бороны; рев гармоник и пение смешивались с мычаньем коров, лаем собак, криками ребятишек.

Навстречу попалась группа пьяных партизан: один в распахнутом пиджаке играл на гармонике, трое, обнявшись и заплетаясь ногами, пели несогласным хором.

«Н-да, крестьянская республика», — подумал Алеша.

— Тут сам пройдешь, а то не проедем, — хмуро сказал партизан, указав кнутом на большую пятистенную избу с освещенными занавешенными окнами; вся улица перед избой была забита партизанами, сидевшими и лежавшими вокруг костров. Над крыльцом свисало темное полотнище.

Алеша спрыгнул с двуколки и взял под мышку сверток.

— Ты вот что, ты в бутылку не лезь, — сказал он партизану. — Насчет морды это я ведь так сказал. Бить морду за несознательность — это, брат, безобразие, и я бы этого не сделал. А сказал я это к тому, чтобы ты

рабочих не оскорблял. К рабочим ты должен относиться, как к старшим товарищам своим. Понял?.. Твоя фамилия-то как?

— Снетков Павел... — несколько растерявшись, сказал партизан.

— Так-то вот, Снетков Павел. Понял теперь? Ну, прощай...

И Алеша торопливо сунул ему свою плотную ручку, которую тот с внезапной готовностью пожал.

II

На крыльце Алешу задержал дневальный.

— К Бредюку?.. Из города?.. Обожди маленько.

Через некоторое время дневальный вернулся.

— Пройди, что ли. Они на второй половине, — сказал он с лукавой улыбкой.

С чувством некоторого почтительного стеснения вошел Алеша в горницу к легендарному Бредюку. В горнице, вокруг стола, передвинутого от образов к двуспальной кровати, сидело в разнообразных позах человек пять командиров, — все они повернулись к Алеше. По красным их лицам, острой закуске на столе и запотевшим стаканам Алеша понял, что люди эти только что выпивали, а по случаю его прихода спрятали бутылки под стол или под кровать, — в другое время Алеша Маленький сам был не дурак выпить и знал, как делаются такие штуки.

— Товарищ Бредюк кто будет? — спросил он, притворившись, будто ничего не заметил.

На кровати сидел, обложенный со всех сторон пуховыми подушками, небольшого роста плотный человек в нижней рубашке, из расстегнутого ворота которой выглядывало необыкновенно нежное, белое тело.

— Бредюк я буду, — сказал он сильно простуженным голосом.

Алеша с плохо скрытым удивлением задержал на нем свои ежовые глазки. На голове у человека, назвавшего себя Бредюком, была темная засаленная кепка, надвинутая на лоб, — огонек лампы мешал рассмотреть выражение его глаз, — светлые, лихо закрученные усы выделялись на его широком красном лице.

— Вы, значица, из города? Так... Вот уже и из города к нам приехали! — сказал Бредюк с чуть заметной издевкой в голосе и повел усами.

Вокруг почтительно заулыбались, кто-то сдержанно кашлянул.

«Вот так гусь!» — все более изумляясь, подумал Алеша.

— А кто же именно вы будете? — после некоторого молчания спросил Бредюк.

— Зовут меня — Алексей Чуркин.

— А, Чуркин! — многозначительно сказал Бредюк. — Никогда не слыхивал... И зачем же вы пожаловали?

Алеша понял, что пришло время спасать не только личную свою честь.

— Подержи-ка сверточек, — вспыхнув глазками, сказал он и с неожиданным раздражением сунул сверток на колени сидящего с краю потного командира в тулупчике. — Это твоя вилка-то? Подвинь-ка селедочку!.. У нас, видишь ли, товарищ Бредюк, такой обычай: сначала человека с дороги накормить, а потом расспрашивать.

И Алеша Маленький яростно вонзил вилку во что-то ржавое и розовое.

Водворилась изумленная тишина. Сидящий с краю потный командир в тулупчике, держа обеими руками сверток, глупо смотрел на Алешу. Остальные косились на Бредюка.

— А ты сыми сверток, дурак, и уступи табурет товарищу! — простуженно сказал Бредюк.

— Парень-то свой, видать, — неуверенно сказал кто-то из командиров.

— Ты, может, выпьешь с устатку? — просипел Бредюк.

— Нет, уж воздержусь. — Алеша подавил вздох сожаления. — Да... Так приехал я от большевицкого комитета для связи, — сказал он, усаживаясь на подставленную ему табуретку, вылавливая вилкой ускользающий грибок, — для связи, для помощи...

— Ага, все-таки думает, значица, о нас большевицкий комитет! — льстиво просипел Бредюк.

«Гусь, это гусь», — снова подумал Алеша Маленький.

— Как дела у вас?

— Дела, вашими молитвами, ничего... Вот думаем на Шкотово наступать, силы стягиваем... Урминские-то пришли? — спросил Бредюк одного из командиров.

— С полчаса как прибыли...

— Это из-под станции Урмипо?.. — Алеша пристально посмотрел на синенькую миску возле Бредюка. — Это не они обстреляли поезд сегодня?

— Должно, они... А что, побеспокоили малость?

— Посунь-ка вон ту мисочку, — сказал Алеша. — Курочка, что ли? Видать, не голодаете... Железную дорогу вы, стало быть, оголяете?

— Приходится.

— Так... Дорожка для эшелонов открытая, — беззлобно констатировал Алеша. — И вы, стало быть, думаете Шкотово за собой удержать?

— Вот, значица, представитель большевицкого комитету уже поучит нас, как воевать, — с деланной покорностью сказал Бредюк и повел усами. — Спасибо большевицкому комитету! Да ведь нам, милость ваша, только бы в Шкотове оружьишка, одежонки разжиться, а там мы снова на линию пойдем...

«Гусь и сукин сын, — окончательно решил Алеша Маленький, обгладывая крылышко, — а на Шкотово идут, должно быть, по глупому плану ревкома...»

— С ревкомом связь есть у вас?

— Есть связь... Он хоть нам и не нужен, ревком, а связи как не быть!.. Вот и инструктор от ревкому к нам приехал. Познакомься, Христя!

Алеша так и пронзил глазками сидящего через стол, заискивающе улыбнувшегося ему молодого человека в тужурке с блестящими пуговицами.

«Хорош представитель ревкома, который ни разу не вмешался, когда они меня тут допрашивали! И пьян как стелька...»

— Давно ты из ревкома?

— Два дня. Приехал выборы на съезд проводить, — ответил инструктор, глядя на Алешу белыми и лживыми глазами навыкате.

— Какой съезд?

— В июне съезд областной созываем.

— Так... Об этом новшестве мы еще не слыхивали. Уже, стало быть, и съезд созываете? Что ж, самое время, — беззлобно согласился Алеша Маленький. — Подготовка, стало быть, солидная? Съезд в июне, а вы сейчас уже готовитесь?

— Как же... на завтра назначено собрание в селе.

— Очень интересно. Полевые работы, конечно, могут и подождать, раз такое важное дело! Придется сходить на это ваше собрание.

— Коли вы интересуетесь, я могу вас ознакомить со всеми матерьялами, они у меня на квартире, — лебезил инструктор. — Можно у меня и переночевать.

— Прекрасно... Очень прекрасно...

Алеша с ненавистью смотрел на узенький, прыщавый лоб инструктора. «Поэт он, что ли?» — подумал Алеша: светло-русые, полные перхоти волосы инструктора были зачесаны назад и напущены на уши.

— А что, милость ваша, — начал Бредюк своим простуженным голосом, — не чувствуем мы, крестьянство и трудовое казачество, как мы все здесь сообща поднялись и геройски бьемся за свободу, чтобы рабочие в городах поднялись вместе с нами против золотопогонников. Не слыхать у нас, чтобы и в городе восстания были. Почему это? — спросил он и победительно зашевелил усами.

— Кто же это у вас такие слухи распространяет? — сказал Алеша, оторвавшись от еды и обводя взглядом всех сидящих за столом командиров. — Это — неправда. Рабочие ведут большую подготовку к восстанию, рабочие бьются и умирают везде и повседневно. Десятки и сотни добровольцев идут в партизанские отряды, об этом вы должны знать лучше меня. С железнодорожниками, я думаю, вы тоже связаны и знаете, что они помогают вам. Многие из наших лучших большевиков руководят отрядами. Стало быть, это неправда. Такой слух на руку золотопогонникам. Несознательным это надо разъяснить, а сознательно распускающих такой слух — к стенке ставить. Я не верю, чтобы крестьянство и трудовое казачество так думало...

— Вам, конечно, виднее, — с деланной покорностью сказал Бредюк, — а говорят в народе. Народ от Бредюка ничего не таит, потому они знают, что Бредюк завсегда с ими, а они с Бредюком. Об этом кажный подтвердит, — напыжившись, сказал Бредюк.

— Правильно!..

— Командир заслуженный...

— Еще на уссурийском вместях кровь проливали! — заволновались командиры.

— Я этого не отымаю, — улыбнулся Алеша. — Вместе боролись до сих пор и дальше вместе будем. Правильно, товарищ инструктор?

Инструктор заискивающе улыбнулся и осторожно посмотрел на Бредюка, и Алеша понял, что инструктор очень боится Бредюка.

— Ну, веди, показывай свои матерьялы, — презрительно сказал Алеша.

Теплая, полная весенних шорохов и копошений ночь раскинулась над селом, звуки гармони доносились издалека, парочки ворковали под плетнем. Высоко под звездами невидимые летели журавли... «Курлы... Курлы...» — кричали они.

«Так вот с кем и из кого они думают строить свою крестьянскую республику!» — взволнованно думал Алеша, шагая рядом с инструктором по улице, заставленной возами и заваленной спящими у костров людьми.

III

Он проснулся от петушиного хрипа под самым оконцем, — проснулся в настроении довольно мрачноватом. В избе было, должно быть, сыро — подушка, перина, одеяло полны были тяжеловатой влажности, — все тело у Алеши разламывало: Алеша страдал от приобретенного на паровозе ревматизма.

Инструктор спал на полу, на соломе, накрывшись с головой одеялом, похрапывая. Солнце только что выглянуло расплавленным краем из-за поросшего пихтой отрога, надвинувшегося на самое село, — под отрогом, должно быть, над рекой, как розовые белила, лежали полосы тумана. Ослепительно сиял лемех во дворе, на полынях искрилась роса.

Алеша осторожно, чтобы не разбудить инструктора, стал натягивать сапоги. В соседнюю половину избы кто-то вошел со двора.

— Спит? — спросил мужской голос.

— Должно, спят еще, — ответил голос хозяйки.

Алеша в одном сапоге, другой держа в руке, быстро проковылял к двери и высунул свою заспанную в темно-русом ежике головку:

— Что надо?

Стоявший у выходных дверей крестьянин с валяной бородой уважительно, но с достоинством снял шапку, обнаружив на лбу под волосами круглую, желтоватую шишку величиной с только что вылупившегося цыпленка.

— Инструктор с ревкому тут стоит, так велел разбудить пораньше: седни с утра сход у нас...

— А сам он рано не привык вставать? — тоненько сказал Алеша. — А вы кто такой будете?

— Я — председатель местный.

— Эй, инструктор! — крикнул Алеша, оборачиваясь.

— Что?! Что?! — воскликнул тот, садясь и испуганно хватая рукой под подушкой.

— Стрелять пока некого, а вот как это ты сход назначаешь, а спишь, как барин? — сказал Алеша, чувствуя неудержимое желание пустить в него сапогом.

— Я сейчас...

Инструктор быстро стал одеваться.

— Пройди сюда, товарищ, — сказал Алеша председателю, — садись...

Председатель сел на скамью, положив руки на колени.

— Вот ты, стало быть, председатель, самый главный человек в селе, — начал Алеша, натягивая сапог, — а согласился сход созывать в будний день, когда самый разгар работы...

— Оно верно, — улыбнулся председатель, — да ведь оно у нас теперь все смешалось, и мы за этим не следим и праздников не соблюдаем. Боев нет — на поле идем, бои идут — в погреб залезаем да сидим... А вы, случаем, не тот товарищ, что, сказывают, из городу приехал?

— Он самый.

— От большевицкого комитету?

— Вот-вот...

— Я гляжу, что не тот, — со смущенной улыбкой сказал председатель. — Я думал, не тот ли приехал, с кем я в городу видался. Дивный человек! Когда у нас тут восстание зачалось, — еще и Бредюка не было, ни других каких командиров, одни мы мужики, — послали меня ходоком в город...

— А восстание с чего у вас началось? — перебил Алеша.

— Да как везде, — удивился председатель. — Объявили набор в солдаты, мужики отказались. Не было нам расчету воевать! Хорошего от власти не видим,

обращение хуже еще, как при старом режиме, деньги дешевые, товару нет. Ну, пришли кадеты, стали силом брать, — молодые ребята в сопки. Стали тогда родителев мучить. Да как мучить! Поверишь, раскалили шомпол докрасна да одному старику в то место, откуль ноги растут. Ясно, народ не стерпел... Вот и послали меня в город: «Проберись, говорят, найди большевицкий комитет, скажи, мол, что поднялись, как один, а что и как действовать, не знаем. Еще скажи, мол, очень мы, мужики, свою ошибку сознаем, что, когда белые выступили, не поддержали мы вас, рабочих. Очень мы за это каемся, просим не судить нас и поддержать нас...» Ну, ведь легко сказать — найди большевицкий комитет при белой-то власти! Адресу никакого, у первого попавшего не спросишь... Целую неделю, поверишь, я по скаженному этому городу ходил взад-вперед, взад-вперед. Прикорну где на ступеньке или под забором и снова хожу. Еще ведь морозы были, — сказал председатель, и все его кирпичное, иссеченное морщинами лицо засветилось, — почти и не ел ничего... «Ну, думаю, Кузьма Фомич, ежели ты на отчаянный шаг не решишься, не найти тебе большевицкого комитету, пропало ваше восстание!» Да... Пошел я тогда на пристань, где, значит, пароходы грузят. Думаю, присмотрюсь к какой грузчицкой артели, выберу хорошего парня по обличью и все ему скажу, а там — пан или пропал. Так и сделал... Ну, грузила там одна артель муку с парохода в вагоны. Присмотрелся я к ним со стороны, — часа три я возле них ходил да смотрел. Когда пригляделся к одному горбоносенькому, — еврейчик, должно, — и вот чем он меня завлек: вижу я, что в артели он не старшой, одет, как все, а лицо и руки у него вроде не такие грубые, как у других. А главное — вижу, что, когда у них меняются, кому с парохода до вагона кули носить, а кому в вагон подавать, всегда они его так ставят, чтобы ему в вагон подавать: полегче, значит, — вроде оберегают его... Когда они зашабашили, пошли все в столовку. Его, вроде невзначай окружили человек шесть, чтобы, значит, в глаза не кидался, и тоже пошли. Я, как в кутку сидел, выскочил, да прямо к ним, да его за рукав: «Позвольте вас на минутку, поговорить!» Он аж дрогнул и на меня — так строго. Тут все на меня затюкали, один даже в плечо толканул, а другой давай его, еврейчика этого, оттирать. Ну, тут, хочешь — поверишь, хочешь — нет, товарищ до-

рогой, а не сдержался я и заплакал. Да ведь измучился весь! «Товарищи, говорю, грузчики! Мужик я, говорю, с Майхенского села, дозвольте мне с этим товарищем о кровном нашем дельце поговорить!..» Тут уж и он: «Обождите, говорит, товарищи...» Отошли мы с ним в сторонку. Я ему так и бряк. — И как раз попал! — радостно воскликнул председатель.

Алеша почувствовал, что желтоватая шишка и валяная борода председателя подозрительно теряют свои очертания, и отвернулся.

— Как раз он из комитету и оказался! — радостно кричал председатель. — Видишь, счастье какое? Тут уж у меня дело на мазь пошло. Научил он меня всему, тайный адрес дал на случай, если опять в город придется, и свел меня с одним кочегаром на паровозе, — он, говорит, вам оружие доставит. И, правда, оружие доставили. Ну, только уж теперь умней меня командиры есть, и я этими делами не займаюсь. А двое сынов моих воюют... Очень мне запомнился тот еврейчик. Я вот все думал, не он ли приехал, — с улыбкой закончил председатель.

— Нет, товарищ этот теперь арестован, — сказал Алеша.

— Арестован?! — воскликнул председатель. На лицо его изобразилось такое огорчение, точно речь шла о его сыне.

— Ка-ких людей заметают! — сказал он, словно бы не веря. — Да ладно, отольется им...

— А как же вот некоторые у вас в селе говорят, будто нет никакой помощи от рабочих? — лукаво спросил Алеша.

— Кто может так говорить? — взволновался председатель. — Враг или темный человек. Никогда я этому не поверю...

— Вот и я тоже, — весело сказал Алеша. — Бредюком вы как — довольны?

— Бредюком?.. — председатель подумал. — Что ж, горяч он, дюже горяч, а ить любим мы его за геройство: жизни он своей не жалеет...

— А имя, отчество его как?

— Андрей Осипович.

— Очень великолепно! — сказал повеселевший Алеша.

Когда председатель ушел, Алеша некоторое время, насвистывая, наблюдал за инструктором: инструктор перед зеркальцем старательно выделывал прическу.

— Как твоя фамилия? — неожиданно спросил Алеша.

— Что? — Инструктор обернулся. — Бледный, Хрисанф Хрисанфович...

— Ты стихов, случаем, не пишешь?

— Как вы узнали? — засмущался инструктор. — Раньше, действительно, писал, а сейчас нет времени заниматься. Разве когда в партизанскую нашу газету.

— А ну, прочти что-нибудь...

— То есть — как? Сейчас прочесть? Да я, пожалуй, наизусть не помню...

— Прочти, прочти...

— Ну, что вы!

— Читай, читай...

Они стояли друг против друга — Хрисанф Хрисанфович Бледный в тужурке с металлическими пуговицами, с зачесанными назад и напущенными на уши мокрыми светлыми волосами, держа в руке расческу, и Алеша Маленький в грязной нижней рубашке и черных, заправленных в сапоги брюках, упершись в бока руками и скосив головку.

— Ну, вот, например, — конфузясь, сказал инструктор:

Вперед, борцы, за святую свободу,
Вы с доблестной честью ее сберегли,
Вы бич для врагов трудового народа,
Смутились буржуи и короли.
Веет над вами красное знамя,
Антанта вас хочет замучить в петле,
В сердце горит революционное пламя,
Такой энтузиазм не бывал на земле.
Отвсюду ползут смертоносные гады,
Дышит буржуй, как кровавый дракон,
Он защищает дворцы и палаты —
Он мнит водрузить монархизма закон.
Вперед же, орлы, борцы за свободу!
Вперед, через горы, тайгу и моря!
За вами идут трудовые народы,
И всюду горит коммунизма заря.

Алеша некоторое время, скосив головку, смотрел одним глазом в пол, как петух на зерно.

— Ну, пойдем завтракать, — сказал он тоненьким голоском.

IV

Вся улица перед зданием школы была запружена народом, белели рубахи мужиков и платки женщин. Некоторые из мужиков, рассчитывая сразу после митинга ехать в поле, сидели на возах или верхами. В толпе немало было и вооруженных, с красными лентами на шапках, партизан, пришедших послушать делегата из города.

За столиком, вынесенным на крыльцо, сидели сельский председатель Кузьма Фомич, Алеша и Бредюк. Инструктор, держась рукой за крылечный столбик, а в другой держа фуражку, натужно крича и встряхивая светлыми волосами, докладывал о съезде:

— ...Беззаветно проливая свою кровь... не щадя сил... мы скажем акулам-интервентам... в очищенных от белогвардейцев районах... воля трудящихся масс... — кричал инструктор.

Край кумачового полотнища колыхался перед столиком. Белые солнечные облачка плыли в ясном небе. Жаворонки, журча, взвивались над холмистыми полями за избами, и далеко-далеко, то исчезая в солнечном сверканье, то появляясь вновь, парил ястреб.

Бредюк, в защитном френче, перетянутом ремнями, с висящим сбоку маузером, сидел рядом с Алешей, важный и неподвижный, как истуканчик. Та же засаленная кепка, с которой Бредюк, похоже, не расставался и во сне, была надвинута на лоб, но сегодня Алеша уже хорошо рассмотрел его глаза, — глаза были пронзительные и желтые.

— ...Идя от победы к победе... сбросили в море врага... пришло время самим ковать свою судьбу... — кричал инструктор.

«Вот именно, что не пришло, а надо еще биться, и много биться за это», — неодобрительно подумал Алеша.

Но вид вооруженного народа, серьезные и внимательные лица женщин, золотистые головы ребятишек, край кумачового флага, полыхавший перед глазами, все больше веселили и радовали Алешу, и он все более задорно и бойко поглядывал вокруг своими ежовыми глазками.

— А теперь, товарищи дорогие, — медленно вставая и снимая шапку, сказал Кузьма Фомич, когда инструктор кончил и отгремели дружные хлопки, — а теперь, товарищи дорогие, дадим слово прибывшему вчерась делегату

нашего большевицкого комитету, которые там в белых подпольях и вражеских застенках...

Ему не дали кончить, — бешеные хлопки и крики приветствовали Алешу. И, словно несомый ими, он очутился на краю крыльца перед волнующейся рябью смеющихся загорелых лиц.

— Скажу «ура» большевицкому комитету! — выдохнул Кузьма Фомич и махнул шапкой.

Народ слитно подхватил его крик, — стайки воробьев с шумом взвились из-под крыш и замельтешили над толпой.

— Товарищи! — тоненько начал Алеша Маленький, весело глядя на бессмысленно хлопающего в ладошки, сияющего ребенка на руках у женщины на возу. — Товарищи! Дозвольте с первых слов передать вам, трудящимся крестьянам, красным повстанцам, гордости и силе нашей, братский привет от всех рабочих и от нашего подпольного комитета партии большевиков...

Снова взвилась стайка угомонившихся было воробьев, и снова долго не умолкали крики и рукоплескания толпы.

И, отдаваясь этой волне, словно бы убыстряя ход, но в то же время не спуская с рычага своей плотной, уверенной ручки, Алеша Маленький начал докладывать, все больше и больше овладевая вниманием толпы. Через некоторое время только щебет птиц, всплески кумачового полотнища над крыльцом да тонкий, веселый и страстный голосок Алеши звучали над притихшей толпой.

Пока он рассказывал о международном положении, силах интервенции, передвижках на фронте, настроении рабочих и состоянии их организаций, он держался на том внутреннем пафосе, который вызвала в нем оказанная ему встреча. Но когда он перешел к характеристике внутреннего состояния враждебного лагеря, он точно пересел на любимого железного конька, и на протяжении этой части его речи веселый гогот, не переставая, прокатывался по толпе.

— Возьмем, к примеру, денежную реформу, — тоненько рассказывал Алеша. — Выпустили новые деньги. Известно, однако, что золото наше, добытое народным потом, идет в карман иностранным буржуям за оружие и продовольствие, а станок — ему что? — станок работает денно и нощно — бумажки выпускает. Ясно, что деньги эти скоро на подтирку пойдут, благо и бумага подходящая...

Это замечание вызвало большое оживление среди мужиков.

— Пущай уж ими буржуи подтираются, мы и лопушком обойдемся! — выкрикнул кто-то. И снова хохоток прошел по толпе.

Алеша не преминул даже рассказать о железнодорожной даме, с которой он ехал в поезде. Свои разговоры с дамой Алеша изобразил в лицах, а когда он описал, как во время обстрела дама упала в обморок и нюхала потом нашатырный спирт, неумолкающий хохот стоял в толпе, даже Бредюк смеялся, а Кузьма Фомич и вовсе лег на стол.

Рассказывая о все растущих продовольственных затруднениях из-за прекращения подвоза из деревень, Алеша вспомнил и о купленных им на станции Угольной слоеных пирожках. Пирожки эти стоили в былые времена в первом и втором классе десять копеек, а в третьем пять, а паровозным машинистам они обходились со скидкой в четыре копейки. А теперь их в третьем классе совсем нет, а в первом стоят они рубль, а мука черновата, а вместо мяса — печенка.

— Ясно, что без хлеба в первую голову страдает рабочее население, — говорил Алеша, — но рабочие просили меня передать, что мы за это на вас, мужиков, не в обиде и не просим вас, чтобы вы сейчас в город хлеб везли. Мы будем хлеб с буржуев требовать, а не дадут — будем силой брать... Мы люди простые, пышно говорить не умеем и зряшных обещаний не даем, но мы согласны лучше голодать, лишь бы вы, красные повстанцы, не сложили оружия, лишь бы сбросить проклятую власть...

Взрыв аплодисментов покрыл эти слова Алеши. Кузьма Фомич, словно невзначай, провел по глазам пальцем.

Тут Алеша сказал о том, что злостные шептуны стараются посеять рознь между рабочими и крестьянами, и привел вчерашние слова Бредюка. Но самого Бредюка Алеша не назвал, а из той внутренней коробочки, в которой Алеша хранил сотни имен и фамилий, вытащил Павла Снеткова и подробно рассказал собранию о встрече, оказанной ему Павлом Снетковым. Когда он почувствовал, что слушатели достаточно осудили Павла Снеткова и огорчились, что среди них имеются такие недостойные товарищи, Алеша разъяснил, что в поведении Павла Снеткова виновата его несознательность, и похвалил Павла

Снеткова за то, что он храбро и честно стоял на посту, и всем стало видно, что Павел Снетков вовсе не плохой парень, а во всем виноваты враги, которые могут опутать всякого, если не будет тесной дружбы с рабочими.

Найдя, что он достаточно поднял настроение, Алеша решил осторожно, не дискредитируя ревкома, подготовить почву к возможной перемене линии ревкома. Вернувшись к вопросу об интервенции, Алеша сказал, что борьба может затянуться, и рекомендовал не увлекаться внутренним устройством — земельными, базарными, административными делами, которые без победы в городах нельзя закрепить, не увлекаться съездами и собраниями, а все силы отдавать вооруженной борьбе.

— Среди вас находится доблестный партизан, гроза белых Андрей Осипович Бредюк, — весело поблескивая глазками, с невыносимым пафосом сказал Алеша Маленький. — Областной комитет ценит его военный опыт и боевые заслуги и приветствует его!..

Бредюк надулся от удовольствия и зашевелил усами. Собрание захлопало.

— Андрей Осипович как старый боец может подтвердить мнение областного комитета: нельзя оголять линию железной дороги. И надо держаться мелкими отрядами. Если большая сила белых разгромит большой отряд, собрать снова трудно будет, а мелкие отряды не поймаешь. Правильно, Андрей Осипович?

— Это дело ясное, — важно просипел Бредюк.

Но как ни осторожен был Алеша, он все же чувствовал, что вся последняя часть его речи пошла вразрез с настроением собрания и вызвала кое-где движение и сдержанный говорок.

Когда Алеша кончил и смолкли хлопки, посыпались многочисленные вопросы: «Можно или нельзя в очищенных селах землю переделять?», «Что делать, если лавочники лавки закрывают?», «Ежели задержится подмога из России, неужто не хватит сил города одолеть?», «Как быть с ценой на продукты и товары, ежели каждый как хотит, так и устанавливает?», «Есть ли у большевицкого комитету полная данная, что другие державы, скажем — Япония, большой силой проть нас пойдут?»

— Вот-вот! — поддержал этот вопрос Кузьма Фомич. — И собственное это ваше расположение или же весь большевицкий комитет так располагает?

Все эти вопросы по тому, как они были выражены, шли как возражения областному комитету, но это были живые голоса жизни, и Алеша внимательно прислушивался к ним.

В ответах на вопросы Алеша постарался сгладить неблагоприятное впечатление от последней части его речи. Он сделал это не из боязни дать прямые ответы, — такая боязнь чужда была Алеше, — а оттого, что не считал себя вправе, до переговоров с Сурковым, показать, что у областного комитета разногласия с ревкомом. На вопрос о переделе земли он дал утвердительный ответ, оговорив, что это должны делать сами села по своему усмотрению, а лавочников, которые имеют товары, предложил описать и товары раздать семьям партизан из бедняков.

Но чего не мог дать Алеша — это лозунга близкой победы, победы назавтра, того лозунга, который жил в сердцах этих людей и воодушевлял их, лозунга, которым, как считал Алеша, подымал их на борьбу ревком и которого они ждали от представителя комитета большевиков. И по дальнейшим выступлениям отдельных партизан и мужиков Алеша чувствовал, что неудовлетворенность осталась. А один моложавый и очень толковый мужик даже так закончил свою речь:

— ...Словами товарища из большевицкого комитету очень мы довольны, но только насчет наших дел, выходит, он нас вроде расхолаживает...

V

— А теперь, товарищи дорогие, — торжественно возгласил Кузьма Фомич, — дадим слово нашему дорогому командиру, товарищу Бредюку...

Бредюк, одернув френч и поправив маузер, стремительно вышел наперед крыльца, — толпа бушевала, приветствуя его.

«Н-да, ежели этот на меня напустится, дело дрянь», — тревожно подумал Алеша, хлопая Бредюку.

Но Бредюк, взмахнув руками, точно он собирался плыть вразмашку, начал страшно сипеть своим простуженным голосом что-то невразумительное. Не только чего-либо враждебного областному комитету, но вообще никакого смысла нельзя было уловить в его словах.

— Я... Мы с вами!.. Вы со мной!.. Товарищи бойцы!.. Я... До капли крови!.. — сипел Бредюк.

Его натуженное, красное лицо все больше наливалось кровью, капли жирного пота текли по лицу его. Он сорвал кепку, потом сильным рывком оборвал пуговицы на вороте френча. Все собрание, раскрыв рты, смотрело на него горящими глазами, как заколдованное.

Когда он кончил, его проводили бурей восторга.

«Да ты, оказывается, дурачок!» — посмеивался Алеша Маленький, неистово хлопая Бредюку.

После заключительного слова Алеши и разъяснений инструктора о норме и порядке выборов стали выкликать кандидатов:

— Фомича!..

— Гордеева!..

— Снытку Ивана!..

— Фомича!..

Бредюк вдруг поднялся из-за стола и, прикрыв глаза от солнца, стал пристально смотреть вдаль. Собрание смолкло и заколыхалось.

По вьющейся в кустах дороге, со стороны Шкотова скакал всадник. Скрывшись в ложбине под селом, он показался снова в дальнем конце улицы. Когда он подскакал к собранию, толпа раздалась, и всадник, обливаясь пóтом, у самого крыльца осадил взмыленную лошадь, весь откинувшись назад. Толпа прихлынула к крыльцу.

— Со Шкотова выступили колчаки, товарищ командир! — запыхавшись, сказал всадник. — Не боле роты. Однако пулеметов штуки четыре... Вот-вот к хутору подойдут!..

Бредюк выпрямился.

— Бойцы! — просипел он. — По ротам! Строиться!.. Придется покинуть собрание ваше, товарищи дорогие, — сказал он с деревянной усмешкой. — Шурка! Коня моего!

Партизаны, женщины, дети, расталкивая толпу, побежали с собрания. Во дворах и на улицах возникло стремительное движение. Выводили коней. Закрывали ставни.

Бредюку принесли драгунку и патронташ и привели храпящего и бьющего копытами небольшого конька рыжей масти. Бредюк, закинув драгунку за спину, вскочил в седло, и конек, уросяя задом, грызя мундштуки и разбрасывая хлопья пены, боком вынес Бредюка к строящимся неподалеку ротам.

— Будем продолжать собрание наше, — сказал Кузьма Фомич. — Какие еще кандидаты будут?..

Алеша, наблюдавший с крыльца за строящимися ротами, замечал, что порядка не было. Долго стояла толчея, партизаны плохо слушались команды. Одни уже копошились в рядах, другие еще бежали со дворов. Вдогонку за одним, крича, бежала баба, держа в вытянутой руке патронташ, который тот, очевидно, забыл. Знакомый Алеше командир в тулупчике, забыв про роту, ругался с правофланговым, потом ударил его кулаком по шее.

Роты еще не все построились, когда со стороны не видного из-за осиновой рощи на холме хуторка послышался залп, за ним другой. Посыпалась частая ружейная дробь, которую пронизал далекий, неумолкающий токот пулеметов. Сторожевое охранение встретило противника.

Конный взвод во главе с Бредюком карьером помчался из села по дороге к хутору. Сначала одна, потом другая пешие роты, сбиваясь со строя, побежали в ту же сторону и через некоторое время скрылись в роще. Остальные роты спустились в лощину за селом. Стрельба у хутора участилась, но никто уже не уходил с собрания, — здесь привыкли к таким делам, да и противник был малочислен.

Только когда проголосовали последнего кандидата, собрание начало расходиться.

Стрельба постепенно стала отдаляться, — должно быть, партизаны отогнали противника. Пока Алеше подседлали коня и объяснили дорогу на Скобеевку, роты, бывшие в лощине в резерве, уже возвращались с песнями в село, а мужики выезжали на поле.

Меняя в селах лошадей, неумело трясясь и отбив себе весь зад, Алеша сделал верхом всего около полутораста верст по лесам и перевалам и под вечер другого дня прибыл в деревню Хмельницкую, где и встретился с Леной.

VI

Чуть-чуть светало, когда хмельницкий председатель, в избе которого ночевал Алеша, разбудил его:

— Пришли за вами.

— Вставай, хозяин, — раздался из темноты с порога спокойный и внушительный голос мужика, с которым

Алеша договорился накануне о подводе, — я уже и лошадь запрёг.

— А, это ты, Казанок! — сказал Алеша, сразу вспомнив фамилию мужика, и сел на кровати, протирая кулаками глаза.

Когда, позавтракав, они шли за Леной по куржавой от росы улице, навстречу им попалось странное шествие.

На двуколке военного образца, в которую запряжен был гладкий коричневой шерсти мул, ехало двое военных американцев в защитном, один — в форме лейтенанта, другой — рядового. К двуколке спереди был прикреплен белый флажок. Рядом с двуколкой шагал партизан в лаптях и заячьей шапке, держа берданку наперевес.

— Это кто такие?..

Алеша остановился. Казанок, отойдя в сторонку, хмуро смотрел на американцев.

Партизан, схватив мула под уздцы, задержал двуколку и повернул к Алеше возбужденно сияющее лицо.

— Понимаешь, приехали, — сказал он, удивляясь и радуясь, — говорят, штаб им нужон, на переговоры, дескать... Я еще сдалека услыхал, как они тарахтят. Когда, гляжу, выезжают с кустов. Я — «стой!..» Они повскакали, замахали руками и то на флачок указывают, то на пояса себе — оружия, мол, нету — и кричат, слыхать, по-русски, а не разберешь. Я гляжу, раз дело такое — в атаку на них!.. Допросил, — этот здорово по-русски говорит, — партизан указал на лейтенанта, который со сдержанным волнением и достоинством смотрел на Алешу твердыми карими глазами — посланы, говорит, до вашего штабу на переговоры. Оружия, действительно, нету. Сейчас я их до председателя веду.

— Вы говорите по-русски? — спросил Алеша лейтенанта.

— О, да, — сдержанно ответит тот.

— А кто вас послал?

Лейтенант замялся.

— Я имею полномочия сказать об этом в штабе.

— Что ж, веди их к председателю, — сказал Алеша, с улыбкой взглянув на белокурого американского солдата, который, держась обеими руками за края двуколки,

с мальчишеским страхом и любопытством оглядывался вокруг.

«Вот так штука! Американцы для переговоров с партизанами!..» — подумал Алеша.

Когда они вместе с Леной шли к избе, где поджидала их подвода, двуколка с белым флажком и двумя американцами снова попалась им навстречу. Парень в заячьей шапке сидел впереди, нахлестывая мула концами вожжей, — мул, вскинув голову, как верблюд, бежал рысью. За двуколкой верхом скакал сельский председатель, одетый по-дорожному, с японским карабином за плечами.

— Понимаешь, дело какое... — задержав лошадь возле Алеши, взволнованно начал председатель.

— Знаю, знаю, — отмахнулся Алеша, — сейчас и мы за вами.

— В ревкоме, стало, встретимся?

Председатель взмахнул плетью и догнал двуколку с прыгавшими в ней американцами.

VII

Дорога вилась по холмам и перелескам вдоль речки Сицы, то приближаясь к ней, то удаляясь от нее. Сначала виден был в прибитой росой пыли след от двуколки американцев, потом начал разыгрываться жаркий полетнему день, след двуколки пропал, и дорога стала пылить.

Лена сидела спиной к Алеше, свесив ноги, вобрав голову в плечи. Изредка косясь на нее, Алеша видел ее малиновую шапочку и большую темно-русую косу.

Прошлым летом после известных выборов в Думу Соня Хлопушкина, смеясь, рассказала Алеше, как ей посчастливилось попасть в уполномоченные вместе с воспитанницей Гиммеров, дочерью врача Костенецкого, и использовать неопытность Лены во время выборов. Соня хотела, чтобы человек, с которым она жила и которого любила, знал все об ее прошлом. И поэтому, вспомнив о посещении ее Леной в детстве и о том, что получилось, когда она была приглашена Леной в дом Гиммеров, Соня не постеснялась рассказать Алеше и о том, какой она, Соня, была тогда бедной и робкой девочкой, и как пренебрежительно, по-барски отнеслись к ней дети Гиммеров, и как ее не пригласили обедать, и как она обиделась

тогда на это и расплакалась. Обида, нанесенная ей в детстве, уже потеряла для Сони личную остроту: Соня знала теперь вещи более важные, среди которых ее личная обида была уже одной из многих частностей. Но неприязненное отношение к Лене — как представительнице дома Гиммеров — осталось в ней и сквозило в каждом ее слове. По рассказу Сони, Лена была развращенная средой, взбалмошная, влюбленная в себя и ханжествующая барышня, и ее участие в выборах было тоже не что иное, как взбалмошность и ханжество.

Но в своих отношениях к людям Алеша редко руководствовался заранее сложившимся представлением, а больше верил собственным наблюдениям. И когда он вчера переговорил с Леной и вспомнил, как она держала себя в поезде, ему показалось, что девушка эта, пожалуй, скромна и навряд ли можно ожидать от нее чего-либо сознательно враждебного. Скорее это была одна из тех щепочек, которые в нынешнее время волны во множестве прибивают то к одному, то к другому берегу. А то, что дочь Костенецкого прибило именно к этому, а не к другому берегу, было вполне объяснимо.

Девушка была еще вдобавок и недурна собой, а Алеша, признаться, любил красивых девушек (несмотря на свой маленький рост и ежовую головку, он был когда-то по этой части первым парнем в своем переулке), и он настроился провести дорогу в веселых и приятных разговорах.

Но он ошибся. Использовав все идеологические и более прямые житейские подходы, Алеша убедился, что девушка не склонна к разговорам, и перенес внимание на мужика.

При дневном свете мужик не производил того странного впечатления, что вчера, — мужик явно определился: крепкий, зажиточный, лет пятидесяти, мужик, замкнутый в себе, как сундук. Но его кремневое лицо в черной курчавой и жесткой, как проволока, бороде, смелый и диковатый взгляд чем-то привлекали Алешу. Алеша попытался завести с ним хозяйственно-политический разговор. Однако и мужик не порадовал Алешу: мужик отвечал скупо и неохотно.

А солнце начало припекать, а зад у Алеши после верховой езды нестерпимо болел, а каурая, сытая лошадка не торопилась, а в упряжи Алеша чувствовал какой-то

неуловимый непорядок, а в нос Алеше забивалась пыль — Алеша заскучал.

Надвинулся хвойный лес, дорога пошла вдоль самой реки по каменистому ложу. Река врезалась в горный отрог, покрылась пеной и запестрела мшистыми валунами. Открылось узкое темноватое ущелье, — такие в здешних местах зовут «щеками». Стук колес заглушался шумом реки. Скалы громоздились с боков в немыслимую высоту, зияли мокрые темные пещеры, солнечная пушистая елочка росла под самым голубым небом на каменистой площадке. На поворотах солнечный луч проскальзывал в ущелье, посверкивали кварцы, гипсы, — Алеше чудился блеск металла.

— Послушай, — сказал Алеша, — тебе неизвестно, не находили ли тут камней, вроде тетюхинских, с рудою?

— Их никто тут и не искал, — хмуро ответил мужик.

— Нет, искать — искали! — воодушевился Алеша. — Искали при царской еще власти. Согласно ихних данных — большая тут где-то залежь медной и цинковой руды, залежь на весь мир, миллионы и миллионы тонн. Только по ихнему заключению процент меди и цинка тут такой малый, что нет выгоды разрабатывать, — язвительно подчеркнул Алеша. — Оно и понятно: они, видишь, исходили из своего буржуйского копеечного размаха. Им бы, чтоб кучно лежало, да на поверхности, да богатый процент, да чтобы без затраты средств быстренько выкачать, да денежки в карман положить... А между прочим, при таком счастливом обстоятельстве, что рядом лежат неслыханные запасы угля и руды, тут можно было б денег не пожалеть — какую-нибудь сотню-другую мильончиков выбросить, — небрежно сказал Алеша, — и построить заводы такого размаха, что эта самая руда оправдала бы себя, не глядя на малый процент меди и цинка... А им бы только урвать да нажиться, — вот они как работали, хозяева наши!

Мужик вышел из своей каменной задумчивости, — глаза его зажглись умным блеском.

— Да... работали плохо, — сказал он медленно и тяжко, — а будет ли лучше — неизвестно. Лучшего пока не видать, — сказал мужик, подхлестнув лошадь вожжами, и снова Алеша заметил какую-то неполадку в упряжке.

— Хозяев прогоним, все будет наше, для себя будем лучше работать, — уверенно сказал Алеша.

— Рады бы верить, да уж и веры нет, — усмехнулся мужик.

— Это уж, хочешь верь, хочешь нет, а так будет... Я тебе вот что скажу: старому строю многое то недоступно, что доступно нам. Возьми, к примеру, уголь. Сколь человеческого труда кладется, чтоб его из-под земли достать. А зачем его из-под земли доставать? Ведь его можно и под землей жечь, а энергию использовать.

— Сказки...

— Сегодня — сказки, а завтра... Э, вон оно что! — вдруг обрадованно воскликнул Алеша. — То-то я все смотрю, а угадать не могу: ты, брат, одну вожжу под чересседельник пропустил.

— Ишь глазастый! — криво усмехнулся мужик, придерживая лошадь. — Я уж и сам давно вижу, — запрягал-то в темень, — да неохота было останавливаться, думаю, перевожжаю при случае...

И недовольный тем, что городской человек заметил его мужицкую неполадку, он соскочил с телеги и перевожжал, грубо крича на лошадь.

— Я говорю, сегодня это — сказки, а завтра это — уж живое дело, — тоненько продолжал Алеша, когда мужик снова вскочил в телегу, — а сказки уже пойдут новые: например, каким путем на другие планеты добраться? Это ведь тоже штука полезная может быть. Сегодня, скажем, ты на земле, а завтра поехал на какую-нибудь захолустную звезду, как в дальнюю деревню в волости...

Мужик удивленно покосился на Алешу, — не смеется ли тот над ним, но Алеша не смеялся. На фантазера Алеша тоже никак не походил, — он говорил о поездке на другие планеты спокойным, обыденным тоном, как о деле давно решенном, — и мужик снова стал внимательно слушать его, все более темнея лицом.

— Или вот атомную энергию использовать, — продолжал Алеша. — Силища какая! Об этом даже подумать страшно, а ведь используют когда-нибудь. Атомную энергию. А? — выкрикнул он и весело посмотрел на мужика.

Мужик стиснул челюсти, и по кремневому лицу его прошла огненная искра.

— Да, работали плохо, — сказал он тяжко и зло, — а тому, кто мог бы работать, ходу они не давали, это верно... Вот хоть меня возьмите, — и он прямо взглянул на Алешу своими смелыми черными диковатыми глаза-

ми. — Прибыл я сюда лет тридцать назад, человек молодой, семьей не связан — только жена. Не скрою: были у меня деньги — немного, но были. Взглянул я на эти края — взор у меня помутился! Подумай: земли непаханые, поемные луга, чертовой силы реки, миллионы десятин лесу, в земле — уголь, золото, руда — само дается, только бери, а людей нет, а те, что есть, на печи лежат. Разворотить бы, думаю, недры эти, лесопилки поставить, крупорушки завертеть, плоты, пароходы по рекам пустить! Начну, думаю, с малого — голова на плечах есть, руки крепкие, деньги найду — будет по-моему. Мне вот скоро шестьдесят стукнет, давно уже кинула меня та мечта, а как вспомню свою надежду, молодость свою, жизнь свою, — с дикой силой говорил мужик, — живет во мне обида эта, испорченная эта кровь... Да ведь верно! За что ни возьмись — тысяча заслонов. Писарю и старшине в руку сунь, приставу сунь, «крестьянскому начальнику» сунь, еще десяток канцелярий ублажи, и вертятся, вертятся они, бумаги эти, а толку нету. Поверишь, был такой закон, что на разработку недр земных в этом краю нужно разрешение в самом Петербурге получить, а здесь — неполномочны. Мыслимое ли то дело для мужика! Сам ведь не поедешь, а бумажка что — она, может, дальше областной канцелярии не идет! Лет двадцать я с этой растреклятой властью воевал. За что я только не брался — за землю, за лес, за мукомольное дело, — крах за крахом: кредиту нету, веры мужику нету, справедливости нету, — с силой подчеркнул он. — Десятки раз летел я на самое дно и выбирался сызнова. Бился, бился, да уж и сила ушла, и уж нагар на сердце лег. Плюнул я на все — жить же надо — и пошел вертеть то, что рядом лежит, на что ума и силы не надо, — там торгану, там перекуплю, там сбарышничаю... Мне вот говорят: ты, дескать, барышником был. Да, был! Я вон сейчас все партизанам отдал — и дом отдал, и скот отдал, и одежду с себя сыму — на что оно мне? Разве то дело, что не пощупаешь, что после себя следу не оставляет! Вертится оно, вертится в руках — товары, лошади, деньги, — а на что мне деньги? Я их в воду бросать могу — вот что мне с них!

«Да уж ты бросишь!» — только и успел подумать похолодевший от изумления Алеша.

— Когда б я мог видеть, ощупать плод трудов своих, людям оставить его, — вот здесь дебрь была, а теперь

рудник или деляна, вот здесь по реке карчь плыла, а теперь пароходы идут, вот здесь мужик зубами зерно грыз, а теперь крупорушка дымит... Я-то все одно умру, — у меня и детей-то нет, один приемыш, — а, умирая б, знал: моим это размахом, моим умом, моим старанием пользуются люди... Да, видно, уж не суждено в странишке нашей развернуться по хорошему первопутку. Скоро помирать, а зачем жил — неизвестно. Сломанный я весь, — с горечью сказал мужик.

— Кого ж ты в этом винишь? — спросил Алеша.

— Ясно, старую власть виню...

— А какая власть тебе боле по душе? — осторожно, чтобы не спугнуть мужика, спросил Алеша.

— Про это мы знать не можем, мы в политике не сильны, — хмуро сказал мужик. — Сдается, коли б было у нас, скажем, как в Америке, край бы наш теперь на все страны шумел...

«Эге, брат, — подумал Алеша, — ты, оказывается, знаешь, что тебе нужно, не хуже нашего...» Он вспомнил вдруг о едущих впереди в двуколке американцах.

— А не приходила тебе в голову мыслишка, — сказал Алеша, — что и в Америке той один выбивался вверх, а сотни тысяч шли и идут на дно. Значит, во-первых, нет и там справедливости, а, во-вторых, если и повезет тебе, где у тебя гарантия, что завтра не придет сильнейший и не пустит на дно и тебя?

— По крайности, один на один потягаться можно, — усмехнулся мужик, сверкнув белками. — В том, что умнейший и сильнейший верх берет над глупым, над слабым, да над лодырем, в том несправедливости нету...

— Стало быть, по-твоему, сила и ум только одиночкам вроде тебя присущи, а сотни, тысячи и миллионы людей вроде скота? Не похоже это на правду! Мало ли людей золотого ума, завидного характера трудятся, как каторжные, а все их к земле гнет. Видно, сила и ум, кои ты славишь, не в голове и в руках, а в том самом чистогане. Этой силы у тебя маловато, оттого ты и сломанный: ты сам попал под колесо, а хотел бы других под колесо загнать. А люди, коих бы ты мял и душил под колесом, — тоже живые люди: им, поди, тоже хотелось бы почище да посветлей. Выходит, ежели б ты вылез и пробился, достиг бы ты счастья для себя, а тысячи и тысячи людей изломал и поверг бы в пучину горя и несчастья...

— Счастье... Счастье!.. — с внутренним ожесточением сказал мужик. — В чем оно, счастье? Для каждого оно разное, и каждый не знает: что оно? Разве оно в богатстве? Покажи ребенку сахар, он тянется — вот оно счастье! — а в рот взял, тянется к другому. Счастье в том, чтоб достигать...

— Это верно, — согласился Алеша, — да не только в том, чтоб достигать, а и в том, чего достигать. Надо добиться такой жизни, чтобы каждый человек мог расправить свои силы и возможности не за счет другого, а к общей радости и пользе...

— Это баптисты проповедуют, а сами друг у друга курей крадут, — зло усмехнулся мужик.

— Ну, мы не баптисты, — спокойно сказал Алеша, — мы у теперешних хозяев жизни не курей крадем, а ломаем им хребты. А когда добьемся своего, люди создадут для себя что-нибудь почище да повеселей твоих крупорушек...

Мужик замолк.

Они выехали из ущелья в широкую долину, залитую солнцем.

— Но ведь и тогда, когда люди будут так счастливы, как вы объяснили, — вдруг тихим голосом сказала Лена, — никто не будет гарантирован от того, что вдруг на улице не свалится ему на голову кирпич и не изувечит его?

Алеша быстро обернулся к ней, но увидел только малиновую запылившуюся шапочку и темно-русую косу.

— Думаю, люди научатся строить такие дома, из коих не будут вываливаться кирпичи, — насмешливо сказал Алеша.

— Я ведь иносказательно, — улыбнулась Лена.

— Я тоже иносказательно, — спокойно ответствовал Алеша.

— Но ведь смерть-то все-таки существует?

— Существует пока... *пока* существует, — сказал Алеша таким тоном, точно он уже был бессмертен.

В молчанье они углубились в заросли вербняка, сквозь который заблестела вода. Они подъехали к будке паромщика. Большая река плавно катилась перед ними. Паром приближался к той стороне ее, на пароме виднелись двуколка с американцами и хмельницкий председатель, спешившийся и державший в поводу лошадь. За зеленым

увалом того берега выступали крыша села и три церковных маковки. Справа, ниже по реке, краснел высокий скалистый обрыв лесистого отрога, возле которого впадала в реку проточка.

Алеша и Лена соскочили с телеги и спустились на сходни. Видно было, как паром причалил к тому берегу. Двуколка с американцами протарахтела по сходням, хмельницкий председатель свел лошадь и взлез в седло, и двуколка и председатель скрылись за увалом.

Китаец-паромщик, в подвернутых штанах, тянул за канат, — паром, бруняа катком, быстро продвигался к этому берегу.

Лена с окаменевшим лицом смотрела на скобеевские крыши.

— Но ведь человеку хочется быть счастливым уже сейчас, — сказала она, не оборачиваясь, — разве это возможно?

— Возможно ли это? — нехотя переспросил Алеша (с того момента, как разговор принял такие беспредметные формы, он перестал интересовать Алешу). — Отдавать свои силы за более справедливый строй жизни... — Он помедлил. — ...Отдавать за это свои силы, ежели знаешь, что это возможно, что это неизбежно, ведь это тоже счастье...

Паром мягко стукнулся о сходни и чуть отошел, — паромщик бросил Алеше конец и, схватив другой, спрыгнул на берег. Они подтянули паром и закрепили причалы.

Алеша, обтирая запачканные ладони, жмурясь, подошел к Лене.

— А вы счастливы? — серьезно и тихо спросила она.

— Да как сказать, ведь у меня ревматизм, — сказал Алеша, легко всходя на паром.

VIII

Возле просторного поповского дома против церкви мужик ссадил Алешу. Алеша со свертком под мышкой в волнении остановился подле крыльца. Сидящие на крыльце чубатые ординарцы, при шашках и шпорах, с любопытством смотрели на Алешу. В распахнутые ворота видна была двуколка американцев с белым флажком. Группа партизан обступила смущенно улыбавшегося аме-

риканского солдата и партизана в заячьей шапке, с увлечением рассказывавшего что-то.

Алеша быстро взбежал на крыльцо.

В большой светлой комнате стрекотала машинка, — Алеша увидел курчавый затылок машинистки. Черноголовая женщина, подстриженная по-мужски, в черных штанах и сапогах, и парень писарского вида печатали что-то на гектографе.

— Могу я видеть Суркова?

Женщина в сапогах, отложив валик, искоса посмотрела на Алешу.

— Товарищ Сурков сейчас занят, — сурово сказала она, — у него представитель американского командования.

Алеша некоторое время незлобиво разглядывал ее. Женщина была бы красива, если бы не этот ее мужской наряд и прическа. Глаза у нее были большие, черные, недобрые; волосы, очень густые и жесткие, воинственно спускались на лицо возле ушей, как бакенбарды. У пояса был наган. Крупная темная родинка сидела на ее щеке.

— Что это вы печатаете?

— Газету! — сказала женщина, энергично шаркая валиком.

Алеша подошел к столу и склонился над свежей газеткой. Запах гектографской краски ударил ему в нос; что-то очень теплое, неповторимое, как юность, шевельнулось в душе этого закоренелого подпольщика.

— Н-да-с... «Партизанский вестник», — прочел он вслух и замигал, нежно прижав к груди сверток.

Среди статей и заметок в глаза ему бросилось знакомое стихотворение, подписанное: «Х. Бледный». Алеша, обладавший исключительной памятью, заметил, что Бледный, читая свое стихотворение в Майхе, упустил одну строфу:

Вы — гордые витязи за коммунизм,
Орлы беспощадного красного флага,
Вы мощной рукой погребли капитализм,
В сердцах ваших грозно пылает отвага.

— Не погребли, не погребли еще, — сказал Алеша, тыча пальцем в газетку. — Понятно? — Он сердито взглянул на женщину с ее воинственными бакенбардами. — К Суркову сюда, что ли?

И, не дожидаясь ответа, растворил дверь в соседнюю комнату.

— Алешка! — тихо и удивленно сказал Петр, тяжело подымаясь из-за стола.

Спина американского лейтенанта в защитном, лицо хмельницкого председателя, еще какие-то лица в накуренной комнате мелькнули перед глазами Алеши, — он выронил сверток и кинулся к Суркову. Они обнялись и поцеловались, посмотрели друг на друга и снова поцеловались.

Американец, поднявшись со стула, учтиво смотрел на них.

— А я не думал, что это ты будешь, — тихо сказал Петр.

Алеша прямо перед собой видел его кирпичное лицо в крупных порах. В твердых светло-серых глазах Петра стояло выражение мальчишеского восхищения.

— Ну, тем лучше. Садись, обожди, — Петр подставил ему табурет. — У нас тут дела международные... Это наш товарищ, — сказал он лейтенанту, возвращаясь на свое место за столом. — И когда же майор Грехэм предполагает устроить это свидание? — спросил он, подымая на лейтенанта из-под бугров на лбу холодноватые пытливые глаза.

— Не позже, чем завтра, — сдержанно отвечал лейтенант. — Мы покидаем рудник послезавтра...

Алеша, подобрав сверток, уселся сбоку от стола и, встретившись глазами с хмельницким председателем, многозначительно подмигнул ему.

— Вы можете сказать, куда вы уходите? Или это военная тайна? — спрашивал Петр.

— Я не имею полномочий сказать об этом, — сдержанно отвечал лейтенант.

«А молодец!» — подумал Алеша, с удовольствием разглядывая сухую, подтянутую фигуру лейтенанта.

— Майор Грехэм должен знать, что мы не можем свободно появляться на руднике, — говорил Петр. — Где он считает удобным встретиться?

— Майор Грехэм желал бы, чтобы свидание осталось в тайне. Он предлагает встретиться завтра на горной тропинке, которая идет от рудника к вашей переправе. Майор Грехэм выйдет к вам с утра, под видом охоты.

Петр некоторое время изучающе смотрел на лейтенанта.

— Майор Грехэм гарантирует вам полную безопасность, — поспешно сказал лейтенант.

Губы Петра смешливо задрожали.

— Думаю, мы успеем еще предупредить наши посты на этой тропинке и также гарантировать безопасность майору Грехэму, — едва сдерживая улыбку, сказал он.

Лейтенант почтительно улыбнулся.

Кроме Суркова, лейтенанта и хмельницкого председателя в комнате присутствовало еще двое. Внимание Алеши привлек исполинского роста старик без шапки, сидевший на скамье, прислонившись спиной к косяку окна, расставив мощные колени. Длинная, без единого седого волоса, с медным отливом борода закрывала перекрещенные на его груди патронташи. Такие же, медного отлива, волосы столбом стояли на его голове, медные густые брови нависали над глазами. Глаза были звероватого, тигриного разреза, но синие и очень ясные по выражению. Старик был в кожаной лосиной куртке и в мохнатых унтах выше колен. Чтобы не спадали унты, от голенищ к поясу шли кожаные ремешки. Две английские гранаты, громадный «смит» и охотничий нож висели у пояса старика.

Во все время разговора Петра с американцем старик ни разу не пошевелился, не изменил выражения лица, — он смотрел прямо перед собой своими ясными синими глазами, и такое величавое спокойствие было разлито в его бесстрастном, изрезанном темными морщинами лице, в его мощном теле, что Алеша невольно залюбовался им.

Другой, сидевший в уголку на табурете, был тоже старик, — но маленький, седенький, казалось, вся его голова выкатана в белом пуху, он походил на одуванчик. Глаза у старичка были прищуренные, хитроватые, очень подвижные и жизнелюбивые. Любой оттенок разговора Петра с американцем немедленно отражался на лице старичка. Старичок прижмуривался, улыбался, подмигивал, покручивал своей головкой-одуванчиком; видимо, все, что говорил Петр и как Петр держал себя, доставляло старичку истинное наслаждение.

— Вы должны уехать сейчас? Или поедете завтра со мной? — отрывисто спрашивал Петр.

— Как вы сочтете удобным, — отвечал лейтенант. — Майор Грехэм приказал мне сопровождать вас, если вы пожелаете.

— Очень хорошо. Вы поедете со мной.

— Слушаю вас.

— Агеич! — обратился Петр к старичку, похожему на одуванчик. — Отведи ему квартиру и покорми. И досмотри, чтобы солдат не уехал без обеда, — добавил он, вспомнив об американском солдате. — Солдата вы можете отпустить сегодня.

— Слушаю, — сказал лейтенант.

IX

— Вот какие дела, Игнат Васильич! — насмешливо обратился Сурков к старику с медной бородой, когда лейтенант и сопровождавшие его беленький старичок и хмельницкий председатель вышли из комнаты.

— Да... — глухо пробасил старик. — Нет ли тут какой ловушки, Пётра?

— Какая-нибудь ловушка есть, да мы не поддадимся! — весело сказал Петр. — Как это тебе понравится, а? — обратился он к Алеше. — Завязываем международные связи, да? А ты говоришь!..

— Я пока ничего не говорю, — осторожно сказал Алеша.

— Его высокоблагородие начальник американских войск на руднике желает иметь свидание с его высокоблагородием председателем партизанского ревкома в связи с тем, что американские войска покидают рудник, — насмешливо говорил Петр. — Что они хотят выгадать? Или это он из вежливости? Проститься?

Он резко засмеялся и встал. Он был в том возбужденном, деятельном состоянии, которое — Алеша знал — всегда бывало у него после хорошей политической удачи.

— А может, они тебя, детка, сцапать хотят? — пробасил Игнат Васильевич.

— Этого они, может, и хотят, да свидание устраивают не для этого, а для того, чтобы перед уходом маленько с нами поиграть. Им, видишь ли, нужно своим союзничкам, японцам, напакостить, да так, чтобы самим лапок не замочить. Вот что им нужно! А мы у них оружьишко попросим, сапог, галет... Уделите, мол, из щедрот ваших!..

Петр, заложив руки в карманы, чуть прихрамывая, тяжело шагал по комнате, изредка весело косясь из-под

бугристых бровей на Алешу и на Игната Васильевича.

— Ты зайди к Опанасу, — сказал он, круто остановившись против Игната Васильевича, — скажи ему, чтобы он сей же ночью пустил по этой тропе лазутчиков до самого рудника. Как только уважаемый майор выйдет с утра на охоту, пусть они следят за каждым его шагом. Да пусть на глаза ему не попадутся, не то шкуру с них спущу...

— Есть, Пётра...

— А сам ты когда выступаешь?

— Выступаем вечерком: оно ночью по холодку веселее.

— Правильно. Будешь в Перятине, скажи Ильину — действует, мол, хорошо. Молодец! Да скажи ему, пусть он беременную бабу свою сюда переправит... Есть у нас такой командир из местных учителей, — с улыбкой сказал Петр Алеше. — В начале восстания пришлось ему в сопки уходить. Оставил он беременную свою жинку дома, а белые пришли и всыпали ей пятьдесят розог. Баба оказалась здоровой, не скинула, но он теперь ее всюду за собой таскает!.. Ты ему скажи, мы ее здесь убережем, никому в обиду не дадим!

— Скажу, Пётра...

— Ну, прощай.

— Прощай, Пётра... Дай я тебя поцелую...

Игнат Васильевич облапил Суркова и, закрыв все его лицо медным своим волосом, поцеловал в губы.

— Каков, а? — сказал Петр, проводив его глазами. — Шестьдесят четыре года, а разве дашь?

— Кто это?

— Борисов, Игнат Васильич. Замечательный мужик! Сам пошел в партизаны, четырех сыновей привел, двух внуков и племянника. Восемь бойцов из одной фамилии! А брат его десятским в селе... Ну, с чем прибыл? — внезапно изменив тон, спросил Петр.

— Ругаться прибыл, — спокойно сказал Алеша.

— А разве есть за что?

Петр круто остановился, и в холодноватых, финского разреза глазах его точно взорвалось что-то.

— Ты, стало быть, считаешь, что работаешь настолько хорошо, что тебя уж и поругать не за что? — Алеша вопросительно и насмешливо смотрел на него.

— Ага, ты, значит, приехал выправлять наши недостатки, — притворялся непонимающим Петр. — Ну, значит, ты приехал помогать, а не ругаться?..

— А ведь ты, бывало, поговаривал, что ничем, дескать, так не исправишь недостатков человека, как если хорошенько поругаешь его. С той поры ты, видно, помягчел?

— Во всяком случае, рад слышать, что у тебя нет возражений против нашей основной линии, — усмехнулся Петр.

— Вот именно, что есть: я приехал провести в жизнь директиву обласкома, — сказал Алеша и встал.

— Какого обласкома? — язвительно переспросил Петр. — Разве вы восстановили связи с тюрьмой?

— Связи с тюрьмой мы еще не восстановили, но областной комитет все-таки существует, — сухо сказал Алеша, поняв, что Петр пытается оспорить его полномочия.

Некоторое время они походили друг возле друга, жмурясь и фыркая, как коты, готовые подраться, и — не приняли боя.

— Ладно, — улыбнулся Петр. — Как на фронте дела?

— На фронте дела сейчас улучшились. Своей информации у нас, правда, еще нет, но, судя даже по белым газетам, на уральском направлении есть кой-какой перелом в нашу пользу.

— Областным комитетом это обстоятельство, кажется, не было предусмотрено?

— Дурак... — тоненько сказал Алеша.

Они снова взъерошились и походили друг возле друга, и снова не приняли боя.

— Что Гришка? — Петр спрашивал о младшем брате Алеши Маленького.

— Гришка по-прежнему у вагранки. Он твой сторонник, — с улыбкой сказал Алеша, — велел пожать руку и похвалить... Нельзя сказать, чтобы у парня был светлый ум.

— Вот что! А старики твои живы?

— Живы. Папаша велел кланяться тебе... Да, видел я мамашу твою перед отъездом: «Поцелуй, говорит, его, Алешенька, послаще...» — «Стану, — я говорю, — целовать такую морду!»

— Как она? Пьет? — хрипло спросил Петр.

— Пьет, — тихо сказал Алеша.

— Так... — Петр молча походил по комнате.

Они так много несли в себе друг против друга, что им трудно было говорить о чем-нибудь постороннем.

— Ну, расскажи о всех делах ваших! — не выдержал Петр.

— Да нет, уж расскажи сначала о своих.

— По ранжиру, значит? — усмехнулся Петр. — Изволь...

X

Петр Сурков бежал с гауптвахты в первых числах февраля. Он бежал среди бела дня, почти чудом, и когда впоследствии вспоминал свое бегство, ему казалось, что это бежал не он, а кто-то другой.

В плену его содержали в одном бараке с красногвардейцами, захваченными вместе с ним в штабе крепости. По праздникам их выводили на работу в военные склады или в Минный городок. (По праздникам их выводили потому, что в будние дни пленные могли бы войти в сношение с работавшими там грузчиками и рабочими мастерских.)

В то воскресенье, когда Петру удалось бежать, они работали в военном порту по переброске железного лома из места расположения доков к мартеновскому цеху, в котором погиб когда-то отец Петра и в котором Петр работал потом машинистом на кране.

Доки, пакгаузы, корпуса цехов военного порта занимали огромную территорию вдоль бухты — от сада Невельского до Гнилого угла. Со стороны города военный порт был обнесен высокой кирпичной стеной, и попасть в него, равно как и выйти из него, можно было только через главные ворота, на людную Портовую улицу. Кроме обычного контроля, у ворот всегда стоял часовой. Но сама территория порта была очень удобна для бегства — беспорядочно застроена, завалена остовами судов, загромождена снарядными ящиками, кучами лома, угля и шлака. И Петр, знавший здесь каждый закоулок, решил попробовать.

Двое подговоренных им красногвардейцев затеяли шумную драку; пока наблюдавший за этой группой пленных солдат разнимал дерущихся, Петр спокойной прихрамывающей походкой уже подходил к воротам. В кармане у него был железный болт.

Часовой стоял в контрольной будке и, прижав локтем штык, свертывал цигарку, пересмеиваясь о чем-то со сторожем, высунувшим голову из конторки. Когда Петр вошел, часовой не столько насторожился от его появления, сколько испугался того, что его захватили не на посту и свертывающим цигарку. Петр ударил солдата болтом по голове и, перешагнув через него, вышел на волю.

Прямо перед воротами от Портовой улицы отходил Первый портовый переулок, по левой стороне которого от самого угла тянулись трехэтажные кирпичные корпуса, где жили рабочие. Петр перебежал улицу и свернул в ворота налево. Он не оглядывался, но знал, что растерявшийся сторож успел выбежать из конторки уже после того, как он свернул в ворота.

Через минуту он постучал в квартиру Чуркиных.

С семейством Чуркиных, особенно с Алешей Маленьким, Петр был связан годами совместной работы и дружбы. Их отцы принадлежали к той группе петербургских рабочих, которая была переброшена в Тихоокеанский военный порт в последние годы прошлого столетия на строительство военных судов. Андрей Ефимович Сурков был мастеровым по стальной и железной плавке, а старик Чуркин — по чугунному литью. Правда, люди они были разные, и в былые времена семьи их не водились между собой. Чуркины жили сознательной и деятельной жизнью, читали книги, опрятно одевались и водили дружбу с ссыльными. А отец Петра был человек малограмотный, мечтал поначалу завести свое хозяйство, но пропивал все до нитки и не завел даже кошки, и друзей у него не было. Но когда отец Петра, оступившись в нетрезвом виде, свалился в ковш с расплавленной сталью (вместо сталевара Суркова только жирный пепел всплыл на мгновение на солнечную поверхность ковша), старик Чуркин первый помог его семье. Он устроил Петра на работу в порт и свел его с младшим своим сыном Григорием, а Григорий втащил Петра в кружок брата. Маленький, веселый паровозный машинист Алешка стал для Петра первым учителем жизни. Отсюда и повелась их многолетняя веселая богатырская дружба.

Петр застал дома только самого младшего представителя Чуркиных, двенадцатилетнего мальчика Костю.

— Тебя освободили? — обрадованно воскликнул Костя. — А меня вчера из школы выгнали!

— За что? — спросил Петр.

— Я отказался учить закон божий.

— Вот как! А я только что убежал. За мной гонятся. Может быть, ты спрячешь меня?

— А-а, тогда пойдем к истопнику, — сказал Костя, — мы всегда у него прячем.

XI

Две недели Петр скрывался в домике знакомого стрелочника на Второй речке. В городе Петра знал каждый мальчишка. Фотографии его с подробным описанием примет были разосланы по всем контрразведкам. У него не было никакой возможности изменить внешность, так как не только в городе, но, должно быть, во всей области не было человека, фигурой хоть сколько-нибудь похожего на него: при среднем росте он был так неимоверно широк в плечах, что казался квадратным, да еще прихрамывал.

Соня Хлопушкина доставила ему два шифрованных письма от Алеши Маленького, сидевшего в глубоком подполье. Из первого письма, дополненного рассказом Сони, Петр узнал, что почти весь старый состав подпольного комитета арестован и всякие связи с тюрьмой и гауптвахтой прерваны. Во втором письме Алеша сообщал о крестьянских волнениях в области и от имени комитета молодого состава рекомендовал Петру пробраться в один из районов восстания.

Все дни Петра не оставляла мысль о матери. В последний раз он виделся с ней за несколько недель до переворота: он предлагал ей перебраться в новую свою — «комиссарскую» — квартиру, а мать все отшучивалась да так и не перебралась. В тюрьме он узнал, что она уволена с работы и бедствует. Он ничем не мог помочь ей. Ему хотелось проститься с ней перед уходом, но и проститься нельзя было: хибарка матери находилась под наблюдением.

В конце второй недели Соня сообщила Петру, что первая горячка поисков улеглась и он может отправляться в путь.

В полночь он расцеловался со стрелочником и вышел из дощатого домика, содрогавшегося от ветра. Отроги хребта, куда должен был идти Петр, белели вдали, осыпанные снегом, а слобода, в которой прошло детство Петра, лежала серая и черная, обдуваемая ветром, славшим в лицо песок и щебень.

Он шел по кривым, знакомым даже на ощупь улочкам, и каждый бугорок, избенка, овражек с черневшими на дне остатками снега рождали в нем воспоминания детства.

Ничего радостного не было в этих воспоминаниях. Он имел право сказать о себе: «Где те липы, под которыми прошло мое детство? Нет тех лип, да и не было их».

Отец его, коротконогий, плешивый человек, всегда пахнувший водкой, металлом и по́том, бесстрашный в жестокости и одиночестве, вколотил в него несколько простейших истин: не надо быть слабым, не надо никого жалеть, не надо никого бояться — все равно хуже не будет.

И все детство Петра было сплошным побоищем. Он дрался в кровь с ребятами из соседних дворов, — надо же было узнать, кто злей и беспощадней, кто будет коноводом на своей улице! Он возглавлял набеги ребят на соседние улицы, надо же было узнать, чья улица сильнее и смелее! И вот он был уже коноводом многих улиц, он был одним из коноводов всей слободы. И когда слобода стеной вставала на слободу и подымались уже взрослые, засучивая рукава, и черные толпы, как тучи, сходились на травяных склонах Орлиного гнезда, в этих толпах, неторопливо прихрамывая, сновало и его маленькое плотное, квадратное тело в форменном костюме из «чертовой кожи», сшитом на средства благотворительного общества.

Сколько раз он приходил в училище с рассеченным ухом, подбитым глазом! И один вид его сверстников — чисто одетых, чисто вымытых и хорошо упитанных — приводил его в состояние холодного бешенства... Все это теперь вновь вспомнилось ему.

Ему следовало бы из предосторожности обойти стороной улочку, на которой горел чуть ли не единственный на всю слободу фонарь, но в домике против фонаря жила замужем первая юношеская любовь Петра, и он не удержался, чтобы не пройти мимо.

Первая любовь Петра работала на конфетной фабрике. Она была лет на шесть старше его и знала многое

такое, что Петру до встречи с ней было неизвестно. Она любила его около года, а потом вышла замуж за пожилого лудильщика самоваров, народила лудильщику кучу детей и очень постарела и подурнела.

В бытность Петра военным комиссаром города он встретил первую свою любовь на улице и узнал, что она не более счастлива в браке, чем все остальные люди. Ему стало нестерпимо жаль ее. Они пошли в городской сад на гулянье. Они катались на карусели и пили лимонад, потом он купил ей три лотерейных билета, и она выиграла шампунь для головы, но не хотела брать, потому что не знала, как объяснить мужу, где такое достала.

Конечно, ничего любовного уже не было между ними, но у Петра осталось приятное грустное воспоминание об этом вечере, и ему захотелось еще раз пройти где-то возле ее и своей жизни.

Прихрамывая вдоль забора, он подошел к домику лудильщика и остановился на углу. Подвешенный к столбу фонарь качался, колеблемый ветром, и светлый круг от фонаря ползал по мерзлой земле взад и вперед. Из обращенного к фонарю низкого углового оконца, словно из-под земли, струился слабый свет; неясная тень двигалась в окне.

Петр боком продвинулся к окну и искоса заглянул, — и едва не отпрянул.

Первая любовь его сидела у окна, выложив на подоконник большие, сцепленные в пальцах кисти рук. Возле, на подоконнике, стоял в одной рубашонке худенький ребенок не более двух лет и водил ручонками по стеклу, будто ловил что-то. Ребенок, видно, был болен или просто раскапризничался посреди ночи, — мать никак не могла его успокоить и вынесла к окну. А он увидел круг от фонаря, бродящий по земле, и, зачарованный, стал ловить его ручонками.

Мать совсем забыла о ребенке, отдавшись своим думам. Нечеловеческая усталость чувствовалась в ее больших руках, выложенных на подоконник, но никогда — ни в пору любви, ни в ту последнюю встречу — не видал Петр такого прекрасного выражения суровой задумчивости, которое стояло в ее длинных подпухших глазах, устремленных во тьму.

Некоторое время он неподвижно стоял у окна, хмуро и нежно глядя на первую свою любовь, и думал уже не

столько о ней, сколько о том, что надо бы все-таки проститься с матерью. В конце концов, если наблюдение еще не снято, он достаточно знает слободу, чтобы подойти и уйти незаметно.

Хибарка Сурковых — последняя на Приовражной улице — стояла в самой вершине оврага, на горе, отделявшей Вторую речку от Рабочей слободки. Еще издалека Петр заметил в хибарке свет и остановился в нерешительности: мог быть очередной обыск или зашли гости и засиделись. Но никакого движения не чувствовалось за окнами. Постояв немного, он спустился в овраг и пошел тропинкой, стараясь не шуршать валенками по слежавшемуся на дне черному снегу.

Так поднялся он почти до самой вершины оврага. Тихо было кругом, только в дальних дворах лаяли собаки да где-то хлопала ставня. Ползком Петр взобрался по невысокому здесь обрыву и осторожно выглянул. Хибарка стояла шагах в десяти перед ним. Окна были занавешены чем-то белым. На цыпочках он взошел на крылечко и приложил ухо к дверям — все было тихо. Он надавил дверь и переступил порог.

Его обдало запахом испарений от стираного белья. Лохань с грязной мыльной водой стояла на скамье. В корыте возле скамьи лежало выкрученное белье. Мыльные лужи растеклись по полу.

Мать, красная, в нижней рубашке, сидела возле стола, опустив на руки голову, расставив толстые, с опухшими венами, ноги. Недопитая бутыль самогона, стакан, тарелка с кислой капустой стояли возле нее на столе. Мать вскинула голову и уставилась на сына непонимающими красными глазами. И вдруг сразу потрезвела, и одновременное выражение испуга, радости и виноватости появилось на ее лице.

Она грузно навалилась рукой на стол, пытаясь встать, и, кажется, назвала Петра по имени, но он уже кинулся к ней и, охватив ее голову большими своими ладонями, крепко прижал к груди.

Мать плакала, сотрясаясь головой на его груди, а он большой своей ладонью молча гладил и гладил ее волосы. Что-то так давило ему горло, что, если бы он попытался произнести хоть слово, из горла его вырвались бы такие звуки, от которых ему самому стало бы страшно.

Потом он овладел собой и, держа голову матери обеими руками, отстранил ее от себя и некоторое время молча смотрел на ее заплаканное лицо.

— Ну, что же плакать? — сказал он наконец, пытаясь улыбнуться. — Ну, выпила, и всё. Чего же плакать? Давай и я выпью на радостях. — Он быстро вылил остатки самогона в стакан и залпом выпил. — Так, что ли, папаша учил? — сказал он, неестественно смеясь. — А ты все плачешь. Не плачь...

— Да разве я за себя, Петенька? О тебе плачу, — сказала она, и тень ласковой улыбки появилась на ее лице.

— А что же обо мне плакать? Я жив, как видишь...

— Что ж ты не упредил, что придешь, — я хоть прибралась бы!..

Она снова грузно оперлась рукой о стол, пытаясь встать, и он снова, охватив руками ее голову, удержал ее.

— Я ведь ненадолго к тебе. Я теперь, знаешь, куда? Я буду в зимовье, тут, под городом, жить. Да ты что? Не веришь? — вдруг спросил он, нахмурившись.

— Не ври, я ведь знаю, куда идешь, я все знаю, — повторила она, грозя пальцем, пьяно и хитро прищурившись.

И вдруг, словно устыдившись своей слабости, опустила руки и некоторое время молча и грустно смотрела перед собой.

— Да что ж, иди, сынок, — сказала она. — Раз надо, иди...

— Ну, дай я поцелую тебя... — Петр, нагнувшись, поцеловал ее в висок и в плечо. — Прощай, мама...

— Прощай, Петенька!..

Она потянулась, чтобы обнять его, но он снова, чтобы ей не вставать, быстро нагнулся, протянув к ней руки. Она поцеловала его в плечо, в губы, потом, скользнув вниз губами, поцеловала его в полушубок, над сломанным бедром.

Петр с силой оторвал ее от себя и, не помня себя, выбежал на улицу.

XII

Он вынужден был пешком переваливать отроги, по колени в снегу, обходя людные места. Ночи он проводил в лесу, не смея развести костер. Четыре дня он ничего не

ел. Наконец он вышел к латышской рыбачьей деревушке на берегу Уссурийского залива, в устье реки Цимухэ, где его остановил первый часовой с красным бантом на шапке.

То, что он увидел, перевернуло все его представления о восстании. Во всех южных районах, куда вышел Петр, не было уже ни одного села, которое не разоружило бы колчаковскую милицию и не прогнало бы местную власть, заменив ее своей. Восстание не нуждалось в развертывании — оно само неудержимо распространялось вширь, как лесной пожар.

Петр посетил свыше десяти сел, провел несчетное количество собраний, участвовал в двух боях с карателями, в одном из которых лично командовал повстанцами деревни Новолитовской, за отсутствием у них командира, которого он перед этим сам расстрелял за уголовный проступок.

И все, что он увидел и что читал и слышал о восстаниях в других областях Сибири, осветилось в его сознании как начало всеобщего мужицкого восстания, которое в целом уже никем не может быть задавлено, если только суметь возглавить его.

Тогда он от имени партии большевиков принял на себя ответственность за все движение, выбросил лозунг борьбы за Советскую власть и начал создавать центральное руководство. На его призыв откликнулся Сучанский рудник, откуда он получил первую моральную поддержку и первых помощников.

Военная организация борьбы сразу уперлась в разрешение коренных мужицких дел.

Советская власть, существовавшая до чешского переворота, не успела разрешить основного для населения — земельного вопроса. В крае не было крупного помещичьего землевладения. Лучшие земельные фонды находились в руках старожилов-стодесятинников. Большинство же населения составляли переселенцы, прибывшие после 1901 года и получившие наделы по пятнадцати десятин на каждую мужицкую душу, вывезенную из России. Из этих пятнадцати десятин семь засчитывалось на общественный выгон, одна отводилась под усадьбу, две падали на покос, полдесятины на лес и четыре с половиной считались пахотой. Но так как бо́льшая часть годной пахотной земли была уже поделена и запахана старо-

жилами или переселенцами, приехавшими первыми, то эти четыре с половиной десятины главным образом падали на кочкарник или вырубку, которую надо было корчевать.

Запахать старожильские земли — было одним из важнейших лозунгов восстания, и как бы ревком ни старался отсрочить это дело, все равно он не мог уклониться от него, иначе это пошло бы через его голову и даже против него.

До тридцати процентов населения составляли рыбаки и охотники, не сеявшие хлеба. И так как выход на внешний рынок прекратился, а рыбаки и охотники не могли обходиться без хлеба, в то время как крестьяне могли обходиться без рыбы, пушнины и дикого мяса, то цены на продукты охоты и рыбной ловли пали необыкновенно низко, а цены на хлеб взвинчивались день ото дня. И ревком должен был заниматься и этим делом, иначе вся масса рыбаков и охотников могла повернуться против восстания.

До двадцати процентов населения составляли корейцы, частью перешедшие, частью не перешедшие в русское подданство, для которых земельный вопрос стоял еще более остро, чем для русских, и различные племена, платившие русским за каждый клочок неудобной, выкорчеванной собственными руками земли немыслимую арендную плату, или платившие дань хунхузам, или работавшие, как крепостные, на китайских арендаторов — цайдунов. Эти люди также не хотели переносить дальше такое положение и тоже брались за оружие, и ревком не мог не заниматься их делами, иначе и корейцы и туземцы могли повернуться против русских.

Партизанский ревком вынужден был вступить на путь все большей централизации движения и создания гражданской власти.

И когда в ответ на письмо Петра пришла из областного комитета директива, осуждавшая его мероприятия, Петр впервые в своей жизни не подчинился комитету и стал готовиться к областному съезду.

«Даже в том случае, если нас задавят здесь, — думал он, — надо, чтобы массы, которых мы в свое время зацепить не успели, отведали бы вкус Советской власти, — зарубка останется на всю жизнь».

К моменту приезда Алеши партизанское движение одержало первые крупные военные победы. Карательная

экспедиция под командой полковника Молчанова была наголову разбита партизанами и отсиживалась на Сучанском руднике под прикрытием американских штыков: не желая ссориться с американцами, партизаны не нападали пока что ни на рудник, ни на узкоколейную дорогу.

В непосредственном ведении скобеевского штаба находилось уже свыше трех тысяч партизан Сучанской, Цимухинской и Майхинской долин. Однако для того, чтобы захватить рудник, Петр мог располагать только сучанским отрядом, стоявшим в Перятине, насчитывавшим до полутора тысяч бойцов. Эти силы были недостаточны, а стянуть в Перятино цимухинский и майхинский отряды нельзя было, так как действия первого почти под самым городом, а второго — в районе Кангауз — Шкотово — Угольная как раз и обеспечивали возможность захвата рудника.

Если бы было оружие, скобеевский штаб мог бы поставить под ружье еще несколько тысяч бойцов. Но во всем Сучанском районе не было уже ни одной берданы или обреза, которые не были бы пущены в дело. В последнее время добровольцы приходили вооруженные дробовиками и дедовскими кремневыми ружьями. Тот, кто приходил с пустыми руками, терпеливо ждал, пока отобьют винтовку у неприятеля или освободится ружье погибшего товарища.

Когда сучанские горняки стали доставлять в отряды динамит, в Скобеевке организовалась мастерская бомб. Динамитом начиняли жестяные коробки, как консервами. Перед тем, как бросить такую бомбу, партизан должен был спичкой зажигать смоляной фитиль. И нужда в оружии была так велика, что десятки людей охотно вооружались такими бомбами.

Но все это, разумеется, не спасало положения. Главные надежды Сурков возлагал на скорое взятие Ольги, когда все отряды северного побережья можно будет перебросить под Сучанский рудник.

XIII

Слушая Петра и мысленно отмечая слабые пункты его доклада, Алеша в то же время не мог не чувствовать, что друг его вырос и возмужал как руководитель. И Алеша радовался и гордился своим другом.

«Вот так гусек!» — удивленно и радостно думал Алеша, по-новому приглядываясь к своему другу, испытывая на себе обаяние той скованной, но всегда готовой прорваться наступательной силы, которой Сурков незаметно подминал под себя людей.

Однако как только Петр кончил, Алеша сделал то самое покорное, незлобивое лицо, которое он всегда делал, когда был в корне не согласен с кем-либо и собирался ни в чем не уступать ему.

— Рискованный планчик, рискованный, — сказал он, вцепившись прежде всего в план захвата рудника, показавшийся ему наименее обоснованным. И, сощурившись, посмотрел Петру куда-то в его широкую переносицу, будто выбирая место, в какое ударить. — А что, ежели Ольгу возьмут не так скоро, как ты думаешь, — говорил Алеша, — ежели в то время гарнизон Сучанского рудника укрепят свежими силами, а полторы тысячи партизан твоих так и будут стоять в Перятине, объедая население, вместо того чтобы выйти на линию?

— Эк тебе там мальчишки наши голову задурили, — резко сказал Петр. — Задолбили вы себе в голову — «выйти на линию, выйти на линию»!.. Как будто захват важнейшей топливной базы меньше расстроит транспорт, чем обстрел поезда или подрыв какого-нибудь моста! И я тебе вот что скажу: мы не исходим и не можем исходить только из интересов нашего района. Конечно, возможно, что ольгинцы запоздают, а колчаки тем временем укрепят рудничный гарнизон. Но для этого они должны оттянуть силы с какого-нибудь другого уязвимого места. С какого? Город оголять они не могут. Значит, оттянут с той же Уссурийской дороги, на которую тотчас же выйдут Суховей-Ковтун под Никольском, Бредюк под Спасск-Приморском...

— Как Бредюк под Спасск-Приморском? Он же возле Шкотова? — удивился Алеша.

— То другой Бредюк, — досадливо отмахнулся Петр, — наш Бредюк — это пришлый казак из станицы Аргунской, а есть под Спасском другой Бредюк, крестьянин, тот еще почище нашего...

— Вон что! — рассмеялся Алеша. — А у нас их за одного принимают. То-то он в героях ходит. Ну, и враны!.. Да бог с ним, дело не в Бредюке. А не такие дураки враги наши, чтоб Уссурийскую дорогу оголять. Бросят

они из города на рудник хороший полк японцев с артиллерией и не только на рудник вас не допустят, а всю вашу армию в Перятине разгонят...

— Очень хорошо. Ну, а если мы выйдем всей силой на линию, разве тогда они не бросят против нас японцев с артиллерией? По-моему, бросят, если возможности у них будут... Но ведь полки-то им не только против нас надо бросать, а и на Амур, и в Забайкалье, и в Сибирь. Да им бы еще нужней эти самые полки на Урал бросить! Почему же не бросают они полков пока что? Ты сам знаешь почему. Видал лейтенанта?

— Эдакая наивность! — с сожалением сказал Алеша и покрутил ежовой своей головой. — Да ежели вопрос ребром станет: либо мы, либо японцы, — думаешь, Америка не согласится лучше на японцев? Да те самые американцы, кои с нами заигрывают сейчас, будут вместе с японцами драться против нас, как миленькие. Они, брат, дотолкуются!..

— Так ты с того и начинай. Чего же ты мелочишься? Ты и скажи: мы, дескать, в облаcткоме так расцениваем силы интервентов, что в успех восстания не верим, а заодно уж выдай и то, чего вы не договариваете: и в победу советских войск не особенно-то верим...

— Ты глупостей не говори и на мировой масштаб дело не своди, — сердито раздув ноздри, сказал Алеша. — У нас с тобой, чтоб эти силы измерить, весов нету. Победа советских войск зависит и от наших успехов. А у японцев интерес тут на Дальнем Востоке особый. Против советских войск они полки-то навряд ли бросят, а против нас — наверняка. Ежели мы силы в кучу сведем, нас они окружат и разгромят в два-три маневра. Это надо понимать!

— Ежели, ежели... — холодно передразнил Петр. — Строить тактику на формуле: «а что, ежели, а что, ежели», — это сидеть сложа руки. Вот ежели оправдается твое «а что, ежели» и против нас бросят серьезные японские силы, тогда боя мы не примем, а распадемся на мелкие отряды — на то мы и партизаны. А пока силы эти не брошены, а будут ли брошены и когда, мы не знаем, мы будем бить врага в самое сердце...

— Так, так... Сначала, стало быть, отряды вместе ссыплете, а завтра, стало быть, снова рассыплете? — с

усмешкой сказал Алеша. — Эх, Петя, Петя! И рад бы медку хватить твоими устами, да не думаю, чтобы организация у вас была так поставлена, эдакие операции проводить: сегодня свожу, завтра развожу! Эдак с массами не обращаются. Насмотрелся, брат, я на твоего Бредюка: не больно-то он годен для эдаких операций. А он у вас, оказывается, еще и не один!

— Довольно странное рассуждение. — Петр с деланным недоумением пожал своими квадратными плечами. — По-твоему выходит, что если командиры наши любят атаманствовать, так лучше и не пытаться их организовать, а поощрять их атаманство?

— Что за вздор?

— Да как же иначе? Разве дело в мелких или в крупных отрядах, как это вы там пошло придумали? Дело в централизованном руководстве. Отказаться от такого руководства — значит отдать движение на волю стихии, обречь его на вырождение, на атаманщину, на произвол...

— Зачем отказаться? Да и видали мы твое централизованное руководство! — не выдержал Алеша. — Уж не Хрисанфа ли Бледного имеешь ты в виду? Посылаешь какого-то стихоплета в отряд к Бредюку, стихоплет дрожит перед Бредюком, как осиновый лист, и смотрит ему в рот, а ты тут сидишь и воображаешь, что осуществляешь централизованное руководство! Зачем этот самообман, Петя?

— Да, приходится посылать и Хрисанфа Бледного, когда не хватает людей! — воскликнул Петр, стукнув своим тяжелым кулаком по столу. — Но Бредюк-то знает, что Бледный не сам по себе, что за Бледным ревком, а за ревкомом — мы. А без этого сознания Бредюки растащат все движение по кускам!..

— Нет, ты обожди, — сказал Алеша, беря Суркова за рукав, чувствуя, что Сурков начинает злиться, — давай-ка, брат, говорить начистоту. Что мы в области коме, эсеры, что ли, сидим, не понимаем, что должен быть у движения большевицкий центр? Затем ты сюда и послан, чтоб создать его. Но самообман начинается там, когда ты сам начинаешь верить, что удастся тебе в самом тылу контрреволюции, под штыками всего международного капитала создать какую-то крестьянскую республику с централизованной армией...

Слова о крестьянской республике вырвались у Алеши невольно, — он тут же сообразил, что этих слов не следовало бы говорить Петру, но было уже поздно.

— Какую крестьянскую республику?.. — тяжело сказал Петр, вставая, и румянец плитами выступил на его мясистых щеках. — Вон, оказывается, что вы о нас думаете! Нет, брат, уж если ты хочешь начистоту, так я тебе прямо скажу: эта ваша программа стихийной партизанской борьбы есть, действительно, чистейшая эсеровщина и капитулянтство, да! Я, конечно, по человечеству понимаю, — продолжал он, повышая голос, — понимаю, что вы там под непосредственным давлением интервентских штыков вконец запуганы и деморализованы, но тогда извольте не валить с больной головы на здоровую, тогда извольте...

Алеша только что хотел поправиться, что о крестьянской республике он сказал шутя, но последние слова Петра ужалили его в самое сердце.

— А такую крестьянскую республику, — вдруг взвизгнул Алеша, вскакивая, — а такую крестьянскую республику, когда ты думаешь, что без победы в городах удастся тебе создать тут свободное мужицкое царство и разрешить земельный и национальный вопросы и с этими своими бомбочками и спичечками занимать рудники, железные дороги, города!.. Да нам нанесут такой...

— Вот оно, вскрывается ваше действительное отношение к восстанию! — загремел Сурков. — Вы ни черта не поняли из того, что поднялось в стране! Вы не поняли коренного перелома в настроении крестьянства, живете старыми, заскорузлыми представлениями времен чешского переворота, вы...

— А вы обманываете массу! — гневно кричал Алеша. — Да, да обманываете массу, сулите ей скорую победу, вместо того чтобы объяснить ей, что предстоит еще долгий, мучительный путь борьбы!

— Нечего, брат, свое неверие в победу маскировать сроками борьбы! Мы-то готовы и к долгим срокам, потому что знаем, что движение непобедимо, а вы в движение не верите, но хотите соблюсти благородное лицо. Вы хотите и рыбку съесть, и...

— Извини, брат! Извини, брат! Говорить массе правду, что обстановка для победы еще не созрела, это не зна-

чит не верить в победу, а это — выполнять революционный свой долг перед массой... В июльские дни в Петрограде, когда стихийно поднялись массы, большевики сумели возглавить их и удержать их от ложного шага, большевики сумели...

— Июльские дни не тем знамениты, что большевики уговаривали массу, — со сдержанной яростью отвечал Петр, — а тем, что большевики сумели превратить это выступление в подготовку к октябрьскому восстанию, а не ползли окарачь, как вы сейчас ползете, напуганные размахом движения...

— Вот именно, что *в подготовку,* вот именно, что *в подготовку!* — вцепился Алеша. — А вы тут воображаете, что наступил срок всеобщего победоносного восстания, вот что вы воображаете, — и ставите массу под опасность разгрома, вот что вы делаете! Это мальчишество и преступление!

— Ну, знаешь что, — с холодным бешенством сказал Петр, — если ты так считаешь, спорить нам нечего. Можно немедленно созвать ревком, и ты проводи там, что тебе угодно, а мы будем делать по-своему. У нас тысячи людей под ружьем, и спорчики нам проводить некогда. Если угодно, могу сначала фракцию созвать...

— Да что ж фракцию, ежели у вас все сговорено! — прокричал Алеша. — Созывай уж прямо ревком, а я посмотрю, как ты перед чужими людьми будешь дискредитировать свой большевицкий комитет! Не чаял я тебя видеть в этой роли...

— Очень хорошо, — грозно фыркнул Петр, и верхняя губа его дрогнула, — а я посмотрю, как ты перед лицом восставших масс будешь дискредитировать их военное и политическое руководство. То-то враги обрадуются!..

Они вступили на ту грань, дальше которой спорить было немыслимо, и оба почувствовали это и замолчали. Алеша, морщась, покручивал головой, точно воротник жал ему шею. Петр, отвернувшись к окну, постукивал по столу своим коротким железным пальцем, и полные губы его подрагивали.

— Ну что ж, созовем ревком, — хмуро сказал он и взялся за папаху. — Агеич!

Белая голова-одуванчик просунулась в дверь.

— Я здесь, Петя, — сказала она старческим проникновенным голосом.

— Надо будет через часок ревком созвать. И вот что — распорядись, чтобы к вечеру баньку истопили.

— Уже, Петя, — радушно сказала головка-одуванчик, — уже затопили. А ревком созовем...

В дверной щели мелькнул силуэт женщины с воинственными бакенбардами. «Н-да, вы мощной рукой погребли капитализм, — невесело подумал Алеша. — Тоже кикимора!..»

XIV

При всем изрядном революционном опыте Алеши и при всей его изворотливости, никогда еще он не испытывал таких внешних и моральных трудностей, как во время этого своего доклада на партизанском ревкоме.

Первая трудность состояла в том, что, находясь среди своих людей, деятельность которых была сейчас главной надеждой всей революционной деятельности в крае, Алеша был изолирован среди этих людей, так как та точка зрения, которую он должен был провести, не имела среди них никакого сочувствия.

Сучанские горняки, составлявшие в ревкоме большинство, были верным оплотом Суркова. Мартемьянова не было в Скобеевке. Беспартийная часть ревкома — несколько крестьян, доктор Костенецкий и ведавший почтово-телеграфной связью в повстанческих районах телеграфист Карпенко — самостоятельной роли не играла, да Алеша и не имел права опереться на нее. Сочувствия левых эсеров (их было в ревкоме двое — один ничем не примечательный, а другой — та самая женщина с воинственными бакенбардами, которую Алеша видел утром и которая, как выяснилось, была одним из инициаторов восстания, то есть была действительно героической женщиной) — их сочувствия Алеша должен был даже опасаться.

Вторая трудность состояла в том, что Алеша не имел никаких перспектив получить и даже не имел права искать себе сторонников вне ревкома, в массах, так как ревком пользовался доверием масс, и противопоставлять массы ревкому в условиях вооруженной борьбы было бы гибелью движения.

И третья, и самая главная, трудность состояла в том, что при всех этих трудностях Алеша, ни по внутреннему убеждению, ни как представитель областного комитета, не мог изменить свою точку зрения, а должен был проводить ее в жизнь.

По всем этим причинам Алеша вынужден был избрать ту тактику, которую он обычно сам презирал, а именно: не оспаривая линию ревкома по существу, вносить такие поправки и оговорки, которые должны на деле превратить линию ревкома в линию областного комитета.

Так, для того чтобы отложить областной повстанческий съезд на неопределенный срок, Алеша вначале долго распространялся о том, что, конечно, «крайне необходимо удовлетворять первейшие нужды населения, опираясь на его самодеятельность» (в этом вопросе, под влиянием майхинского схода и разговора с Петром, Алеша перестал придерживаться буквы директивы областкома). Ревком весьма положительно отнесся к этой части его речи. Но когда Алеша предложил съезд отложить до лучших времен, ревком подтвердил прежнее решение о созыве съезда.

Предложение Алеши избегать крупных войсковых соединений тоже не было принято: ревком принял формулу — передать этот вопрос на усмотрение военного командования, в зависимости от конкретных военных задач. Тогда Алеша присоединился к формуле ревкома с добавлением *«по возможности* избегать крупных войсковых соединений», но и «по возможности» не встретило сочувствия ревкома.

И так во всем.

В табачном дыму Алеша ловил на себе насмешливый взгляд Петра, который как бы говорил: «И кого ты запутать хочешь? Или забыл, как сам меня учил?» — «Ничего, брат, ты еще молоденький, — отвечал взгляд Алеши, — посмотрел бы я, что бы ты на моем месте поделывал!..»

Вдобавок ко всему, левые эсеры поддержали большинство поправок Алеши. Это доставляло Петру такое удовольствие, что он при взгляде на Алешу жмурился, как кот, а на левых эсеров поглядывал почти с нежностью.

Только одно предложение Алеши было решительно поддержано Петром, а за ним и всем ревкомом — пред-

ложение о создании таежных продовольственных баз, на случай если будут брошены большие японские силы и партизанам придется отходить в тайгу. Руководство работой по созданию этих баз было тут же возложено на Алешу.

Несколько раз во время заседания, неслышно ступая, входил старичок с головкой-одуванчиком и шептал что-то Петру на ухо. Петр досадливо отмахивался от него.

— ...Да ведь выстынет, Петя! — уловил однажды Алеша проникновенный шепот старичка.

«Ах да, ведь баня будет!» — с удовольствием подумал Алеша. И вдруг повеселел — и от предвкушения бани, и от страшной усталости.

Когда заседание кончилось и члены ревкома с шумным говором стали расходиться, в пастое табачного дыма, пронизанного желтым светом заката, снова возникла белая головка-одуванчик. Под мышкой Агеич держал сверток белья со свисающими штрипками.

— Что ж ты, Петя, — сказал он возмущенно, — весь пар выйдет!

— ...Конечно, разрешить... И пусть составят акт, и землемер тоже подпишется, — договаривал Петр заведующему земельным отделом, весело косясь на Агеича. — Да, да, так и сделай... Что, в баню пойдем? — Он обернулся к Алеше и вдруг улыбнулся широкой, немного лукавой, немного извиняющейся мальчишеской улыбкой. — Или ты не обожаешь?

— Здравствуйте — какой же машинист не обожает бани! — обиделся Алеша. — Это у нас, можно сказать, единственное удовольствие и развлечение...

— Только у нас, извини, черная...

— Черная?! — возмущенно воскликнул Агеич. — Как черная, когда...

— Да мы к белым-то непривычны. Вихотка есть? Мыло есть? — уже деловито справлялся Алеша у Агеича.

Агеич сделал лицо, полное такой укоризны, точно он считал вопросы Алеши просто неприличными.

— Ну, стало быть, и веники есть, — успокоился Алеша.

— А эсерики-то тебя все-таки подкузьмили! — не удержался Петр и в дверях пребольно ущипнул Алешу за бок своими железными пальцами.

XV

— Насчет того, будто баня у нас черная, это вам Петя совершенно, ну просто совершенно зря сказал, — тихоньким голосом говорил Агеич, игрушечно семеня между Петром и Алешей. — Черной она, действительно, была, а я и говорю: «Как это вы, говорю, Владимир Григорьевич, образованный человек, а моетесь в черной бане?» — «А мы, говорит, в ей не моемся, она, говорит, мне с усадьбой досталась, а у нас, говорит, в больнице ванны есть...» — «Ну, я говорю, в ванне активно не вымоешься, в ванне нашему брату шахтеру только грязь по телу развозить...» И что же я сделал? Наперво поставил я натуральную печь с выводной трубой и парной отдушиной, полки наново перестлал и пристроил предбанничек. Тогда гляжу: на больничном складу фанерные пустые ящики из-под лекарства лежат зря. Ясно, дал я им активный ход и как есть всю парильню и предбанничек фанеркой выложил. Понимаешь? Фанеркой! — пояснил Агеич, сделав своей маленькой ручкой какое-то леноообразное движение. — Потом иду я раз по саду, гляжу...

Огромный закат раскинулся над отрогом. На гребне курилась и рдела стремительная хвоя. Сиреневый дым от невидного за избами костра вползал по темному широкому просеку, через отрог, — там белела линия телеграфа. Стоял мощный слитный запах весны, жилья, скота, а звуки были каждый различим: удар молота в кузнице, цокот конских копыт, лязг ведра у колодца, девичья песня на пароме.

«Что ж, буду вникать в каждое практическое дело, доказывать на опыте, — думал Алеша, всем существом вбирая в себя краски, звуки и запахи вечера, — а не будут слушаться — пусть учатся сами на поражениях, н-да-с!»

«Ничего, присмотрится, разберется, парень он с головой, вместе с нами пойдет, — весело думал Петр. — Да что еще тюрьма скажет!..»

— «Зачем же, я говорю, Владимир Григорьич, вам эта лейка? — проникновенно журчал Агеич. — Ведь цветов вам в это лето все одно не садить, не поливать?..» И что же я сделал? Взял я от этой лейки ситечко, предбанничек я перегородил, на крышу — бочку, и вот вам

холодный душ, вода бежит вполне активно, только уж, как пустишь, остановить ее нельзя: крантика нету...

— Я же говорил тебе, обратись в кузницу, там сделают, — серьезно сказал Петр.

— Он у тебя настоящий банных дел мастер! — пошутил Алеша, с удовольствием оглядывая выкатанную в пуху легкую головку Агеича, оснащенную картузиком.

— Вы, случаем, не охотник? — спросил Агеич.

— Смотря до чего...

— Нет, я про охоту спрашиваю. Скоро у нас фазаньи выводки пойдут. Очень активно пойдут. Как нападешь это на него, — жмурясь, сказал Агеич, — самка — в подлет, а цыплята — врассыпную... Другой цыпленок бежит, бежит, видит — укрыться некуда, лапками сухой листочек хвать, — на спинку упадет и листочком накроется. И до чего ж каждая тварь к жизни себя приспособляет! — сказал он и укоризненно покачал головой.

Банька ютилась позади огорода. Согнувшись, Агеич первым переступил порожек, за ним шагнул Алеша. Уже по тому, каким жаром обдало их в предбаннике, Алеша понял, что баня будет министерская, и последние заботы жизни покинули его, освобождая место для забавы.

— Закрывай, закрывай! — сердито закричал он на Петра, который, согнувшись и подняв лицо с поблескивающими в улыбке глазами и зубами, остановился на порожке.

Агеич засветил ночник, стоявший на подоконнике застекленного глаза, выходящего в парильню, огромные тени заходили по потолку. Алеша увидел у стенки под скамьей ведра с холодной водой, — в одном ведре, прижатый камнем, стоял в воде березовый туес.

— Это с чем?

— С квасом, — шепотом сказал Агеич, дрожащими пальцами расстегивая рубаху, — с ледовым квасом. Я у них в больничном погребе лед краду... Сюда, сюда, тут у нас гвоздики набиты, — показал он, куда вешать одежду.

Петр, раздеваясь, мальчишескими, подобревшими и повеселевшими глазами оглядел маленькое, но хорошо сбитое смуглое тело Алеши, который уже похлопывал себя под мышками.

— Как у тебя с Соней-то дела?

— Ты это с какого же конца о Соне вспомнил? — изумленно воскликнул Алеша. — Вот дубина чертова! Да

что ж с Соней, — с Соней дела ничего... А ты тут не завел?

— Где уж мне, я ведь не обходительный, — усмехнулся Петр.

— Не обходительный, это верно. А все-таки, ежели рассказать Агеичу кое-что про твою с конфетной фабрики...

— Агеич тебе не поверит, он же видит, что у тебя шеи нет, разве человеку без шеи можно верить? К тому ж, у тебя из ноздрей волосы растут, — смеялся Петр, сбрасывая с себя последнюю одежду и выпрямляясь.

— И здоров же ты, батюшка... — Алеша, покачивая ежастой головой, с завистью смотрел на его мощную грудную клетку, на разбитый на прямоугольники молочно-белый, в золотистом пуху, панцирь живота. — А действительно, здорово тебя папаша звезданул, — сказал он, указывая на ненормальный выступ бедра правой ноги.

— Было дело, — беззлобно ответил Петр.

В это время разоблачился и Агеич, и Алеша не мог удержаться от улыбки, когда обнаружилось, что у старичка с легкой головой одуванчика огромная, чуть не до колена, кила.

— Я думаю, Петя, вы пока тут попануете, а я чеплашечки две поддам?

И Агеич, придерживая килу, исчез в парильне.

Когда Петр и Алеша, захватив по ведру с холодной водой, вошли туда, их сразу точно стиснуло жаром и обдало пряноватым каким-то запахом. Агеич в сумрачном свете ночника обмывал полки. В шайках размачивались веники.

— Чувствуешь? — поднеся два пальца к своему раскрасневшемуся пуговичному носу, радостно закричал Агеич. — Мята!.. С мятой парок поддаем.

— Сейчас контроль наведем на ваши пары, — угрожающе сказал Алеша и двумя обезьяньими движениями взлетел на верхний полок. — Ну, разве это пар? — сказал он разочарованно. — Пар должен с полка сшибать, настоящий пар можно только на четвереньках одолеть... А ну-ка, я сам займусь, давай чеплашку!..

Он отворил парную отдушину и один за другим поддал пять ковшей, приседая и пряча уши от пара, со свистом вырывавшегося из отдушины.

— Что стоишь, чертова кила? Намыливай веники! — кричал Алеша.

Петр, не выдержав, прикрыл обеими руками уши, смеясь, сел на корточки.

— Нет, ты ложись: раз ты председатель ревкома и областного комитета не признаешь, по-перву тебя будем парить! — командовал Алеша и нижней стороной ковша шлепнул его по ягодице.

— Да вы запарите — два таких черта! — опасливо смеялся Петр, покорно взлезая на полок.

— Намылил? Давай сюда... — Алеша вырвал у Агеича веник.

Мягким, гибким движением кисти, по-особенному вывернув веник, Алеша провел им по закрасневшей могучей спине Петра, потом сильными взмахами стал нагнетать жаркий воздух к спине, однако не прикасаясь к ней, и время от времени вновь проводил вдоль спины веником. По спине пошла едва заметная дрожь.

— Эх, Петя, Петя! — приговаривал Алеша. — Счастье твое, что живешь ты в нашем русском государстве, да еще в революционное время. Родись ты лет полтыщи тому назад в какой-нибудь Италии или Испании, быть бы тебе по характеру твоему морским разбойником...

— Дай... еще дай... — глухо прорычал Петр, не подымая лица. — Дай!.. — выкрикнул он.

— Еще чеплашечку, Агеич! — скомандовал Алеша.

И вдруг, от всего плеча развернувшись веником, начал крестить Петра вдоль и поперек по спине и ниже, все более и более ожесточаясь.

— А ну, а ну, а ну... — повторял он.

— Дай ему, дай! — кричал Агеич.

— Еще!.. А-а... дай-дай!.. а-а... — рычал Петр. — Мало! — взревел он вдруг.

— Еще чеплашечку! — скомандовал Алеша. — И... в два веника!..

Агеич, поддав пару, схватил второй веник и тоже начал хлестать Петра, — они работали, как цепами на молотьбе.

— А-а... а-а... — только и мог уже издавать Петр.

— Проняло-о!.. — злорадствовал Алеша. — Азиат ты, сукин сын!.. Просвещения не любишь?.. Дантов «Ад» читал?..

И, не переставая работать веником, Алеша начал торжественным голосом:

Невоздержанье, злость, безумный грех
Животности...

Во время этого занятия кто-то вошел в предбанник.

— Аге-ич! — с таким выражением, с каким кричат «ау», позвал тонкий женский голос. — Чем мериканца корми-ить?

Алеша так и присел.

— Петя, а Петя! — склонившись к лицу Петра, лежавшего уже животом вверх с закрытыми глазами, позвал Агеич. — Американца сытно кормить или в проголодь.

— Вот дурило, — сказал Петр, открывая свои неожиданно совершенно ясные глаза, — конечно, сытно! А в обед ты как кормил?

— В обед я... сытно кормил, — неуверенно сказал Агеич и, соскочив с нижнего полка, на котором стоял, придерживая килу, подбежал к двери и, весь высунувшись из нее, в голос закричал: — Корми его на убой!.. Все на стол мечи! Корми его по самое темя! Корми его в мою голову!..

Белый холодный воздух, понизу ринувшийся в дверь, клубами завился в парильне, ничего уже не стало видно, и никто и ничего уже не в состоянии был понять. Слышны были только крики:

— Еще... Дай, дай... Мало... Ой, не могу больше... Еще чеплашечку!

Они парили друг друга во всех возможных сочетаниях, выбегали в предбанник, пили ледовый квас, мылись и снова парились и выливали друг на друга ведра с холодной водой. Потом Агеич пустил душ, который бежал уже не останавливаясь.

Петр, весь багровый, едва не на четвереньках, первый выбежал в предбанник с намерением больше не возвращаться. Алеша и Агеич еще посостязались на полке, наконец и Алеша сдал, а старый шахтер все еще парил и парил свою килу.

Через полчаса все трое умиротворенно лежали на скамьях в предбаннике, в котором тоже было уже так жарко, что пришлось открыть дверь в огород. Прекрасная ночь спустилась на село, все было залито ее серебряным тишайшим светом. Запахи весны и свежевскопанной земли почти заглушали запахи бани. В соседней половине позванивали последние капли душа.

В это-то время и донесся из-за огорода, с улицы, стройный топот множества ног, и звонкий, чистый, как слеза, тенор легко поднял и понес «Трасвааль»...

Это Игнат Васильевич Борисов вел свою роту в Перятино. Песню завел самый любимый и самый дерзкий внук его, Егорушка, а за Егорушкой грянула вся рота, и песня разостлалась над селом.

Петр, Алеша и Агеич, голые, выбежали из предбанника. Долго стояли они в огороде, облитые светом месяца, не шевелясь, точно изваянные. Рота уже прошла, а все еще доносилось издалека:

...Мой старший сын, старик седой,
Убит был на войне...

XVI

Вороной, раздвинув кусты, ступил передними ногами на каменистую площадку, остановился, упершись мордой в скалу, и тихо заржал, повернув голову к всаднику.

— Придется оставить лошадей, — сказал Петр, обернувшись к американскому лейтенанту, лошадь которого, храпя, выложила морду на круп вороного и стала чесаться. — Обожди, Размахнин, тут не проедем! — крикнул Петр ординарцу, продиравшемуся сзади сквозь кусты.

Последние клочья тумана растаяли в распадках, и от камней, дрожа, заструилось тепло, когда Петр и ни на шаг не отстававший от него лейтенант выбрались на скалистый гребень хребта, отделявшего Сучанскую долину от рудника, и на самом гребне наткнулись на американского солдата с ружьем: солдат, видно, давно заметил их и не проявил испуга, когда перед ним выросла казачья папаха Суркова.

Лейтенант что-то спросил, — солдат ответил, отдав честь.

— Майор Грехэм ждет нас, — сказал лейтенант, торопливо одернув френч и поправив фуражку.

Они спустились ниже по тропинке и за поворотом ее, у скалы, освещенной солнцем, увидели сидящего на мшистом камне тучного майора. Возле него лежала фуражка защитного цвета с вложенными в нее белыми перчатками. На разостланном на щебне бархатном коврике косо стояла бутылка с вином. Денщик на коленях откупоривал какие-то баночки.

Лейтенант, взяв под козырек, подскочил к майору с рапортом, но майор отвел его движением пальца и под-

нялся навстречу Петру, издавая горлом твердые приветственные звуки.

— Здравствуйте, — сказал Петр, холодно оглядывая лысеющее темя и двойной, гладко выбритый подбородок майора.

Некоторое время они молча постояли друг против друга. Лейтенант и солдат почтительно смотрели на них; денщик на коленях откупоривал баночки.

Майор, снова издав какие-то зобатые горловые звуки, жестом пригласил Петра присесть к своему коврику.

— Я не понимаю английского, — холодно сказал Петр.

— Майор Грехэм предлагает вам позавтракать с ним, — поспешно сказал лейтенант.

— Скажите майору Грехэму, я не голоден и желал бы скорей узнать, чему я обязан... — Петр запнулся, — чести видеть его...

— Майор Грехэм считает целесообразным, чтобы разговор происходил сидя, — перевел лейтенант слова улыбавшегося майора.

Петр, поправив кобуру нагана, опустился на камень, вытянув мозжащую в бедре ногу. «Где тут наши сидят?» — подумал он, прислушиваясь к твердому урчанию майора.

— Майор Грехэм поручил мне сообщить вам следующее, — сдержанно начал лейтенант, глядя Петру в глаза своими твердыми карими глазами, которые с момента встречи с майором стали совершенно безжизненными. — Вверенные ему войска, несшие до сих пор охрану Сучанских копей и узкоколейной железной дороги, переводятся на участок: Кангауз — Шкотово — Угольная... — Лейтенант говорил медленно и осторожно, отбирая каждое слово. — Майор Грехэм поручил мне отметить, что за все время пребывания американских войск на копях... он не имел никаких оснований жаловаться на нелояльность партизан и имеет все основания утверждать, что американские войска также вели себя лояльно... Известно, с другой стороны, что участок Кангауз — Шкотово — Угольная, охрана которого находилась до сих пор под ответственностью японского командования, наиболее часто подвергается нападениям партизан... Майор Грехэм спрашивает: может ли партизанское командование... в связи с предстоящими переменами... обеспечить лояльные

отношения между партизанами и американскими войсками на новом участке?

Петр некоторое время помолчал, раздумывая.

— Два вопроса майору Грехэму, — сказал он, склоняя по-русски фамилию майора. — Первый вопрос: означает ли переброска американских войск с Сучанских копей, что на их место будут введены японские войска? И второй вопрос: нельзя ли слова майора Грехэма о лояльных отношениях между партизанами и американскими войсками рассматривать как предложение перенести военные операции партизан с участка Кангауз — Шкотово — Угольная в район Сучанских копей?

Вопросы были поставлены настолько прямолинейно, что лейтенант на мгновение смешался. Майор, с добродушным любопытством наблюдавший за Петром, удивленно поднял рыжие брови, когда лейтенант перевел ему слова Петра, и потом долго урчал что-то.

— Ответ майора Грехэм на ваши вопросы, — выслушав продолжительное урчание майора, сказал лейтенант: — Согласно декларации правительства Соединенных Штатов, достаточно широко распубликованной, американские войска не вмешиваются в дела русского народа и не поддерживают ни одной из борющихся политических группировок в России... Единственная цель, которую преследуют американские войска, — охрана железных дорог и складов с ценным имуществом. Поэтому... — лейтенант подумал, — майор Грехэм не считает себя вправе вносить какие-либо предложения по поводу военных операций партизан... Он заинтересован только в том, чтобы с наименьшими жертвами с обеих сторон обеспечить охрану вверенного ему участка... Что касается ввода японских войск в район копей, то майору Грехэм ничего об этом не известно. Переброска японских войск подлежит компетенции японского командования.

— Широко известно, что правительство Соединенных Штатов оказывает адмиралу Колчаку систематическую помощь оружием и продовольствием, — резко сказал Петр. — Широко известно, что железные дороги, охраняемые американскими войсками, беспрепятственно используются японцами и войсками адмирала Колчака, тогда как партизаны не имеют возможности пользоваться ими. Этих фактов совершенно достаточно для того, чтобы утверждать, что действия американских войск в Сибири

являются поддержкой адмирала Колчака, вопреки интересам нашего народа...

В голосе майора, когда он отвечал на эти слова Петра, появились басовитые ноты.

— Майор Грехэм не располагает данными судить, какой из борющихся группировок в России принадлежат симпатии народа, — медленно переводил лейтенант. — Но майор Грехэм считает нужным опровергнуть ваше заявление о помощи адмиралу Колчаку со стороны американского правительства оружием и продовольствием... Майору Грехэм неизвестно ни одного факта такой помощи. Майору Грехэм известна только благотворительная деятельность американского Красного Креста и Христианского союза молодых людей среди населения Сибири и среди больных и раненых солдат... Деятельность эта не могла быть распространена на население районов, занятых в настоящее время партизанами... не по вине этих организаций. Но если удастся продолжить лояльные отношения между партизанами и американскими войсками... особенно в связи с переходом их на новый участок,— подчеркнул лейтенант, — майор Грехэм может взять на себя обязательство договориться с этими организациями об известной помощи и населению этих районов, и больным и раненым партизанам...

— В чем же может выразиться эта помощь? — осторожно спросил Петр.

— Конкретные формы и размеры помощи трудно было бы установить до переговоров с этими организациями,— перевел лейтенант.— Но если удастся договориться с вами по основному вопросу, майор Грехэм может для начала предоставить в ваше распоряжение двадцать пять комплектов госпитального белья и пятьдесят пар обуви...

«За полсотни пар ботинок купить хотят! — весело изумился Петр. — Ай да купчишки!»

— Скажите майору Грехэму, что предложение его невыгодно для нас, — сказал он. — Майору Грехэму должно быть лучше меня известно, что в связи с уходом американских войск на участок Кангауз — Шкотово — Угольная охрана копей будет передана другим военным силам. Колчаковское командование не располагает собственными военными силами, а следовательно, в район копей будут брошены японские войска. Бездеятельность партизан на участке Кангауз — Шкотово — Угольная будет

содействовать беспрепятственной переброске этих войск, а американские войска, фактически обеспечивающие эту переброску, будут делать вид полнейшего своего нейтралитета... Согласитесь, что нам нет никакого расчета принимать предложение майора Грехэма.

— Майор Грехэм мог бы отпустить тридцать комплектов белья и шестьдесят пар обуви, — невозмутимо отвечал лейтенант.

— Только в том случае, если американское командование сочтет возможным помочь нам известным количеством оружия для борьбы с японцами, — сказал Петр, прямо глядя в глаза лейтенанту, — только при этом условии мы сможем принять предложение майора Грехэма...

Пока велись переговоры, денщик разостлал на коврике белые салфетки, откупорил бутылку с вином и разложил бутерброды с икрой и ветчиной. Тучный майор, уже несколько раз с вожделением поглядывавший и на бутылку и на бутерброды и колебавшийся между соображениями вежливости и желанием покушать, наконец не выдержал и, захватив пухлыми пальцами бутерброд, начал грустно жевать его. Но когда лейтенант перевел ему последние слова Петра, глаза майора округлились, он отнял руку с бутербродом ото рта и несколько секунд с изумлением смотрел на Петра. Потом он и вовсе отложил бутерброд, и в голосе его появился такой басовитый клекот, что Петр приготовился уже к резкому выпаду со стороны майора.

— Майор Грехэм просит передать, что помощь оружием той или иной из борющихся сторон расходилась бы с политикой невмешательства, проводимой американскими войсками, — вежливо перевел лейтенант. — Но майор Грехэм мог бы подарить вам лично револьвер системы «Кольт» и сто патронов к нему...

«Вот купчишки проклятые!» — с веселым бешенством подумал Петр, и краска выступила на его кирпичных щеках.

— На этих условиях мы не можем принять предложение господина майора, — сказал он.

— Но майор Грехэм напоминает вам, что это будет означать начало военных действий между партизанами и американскими войсками!...

— Скажите, что я держусь такого же мнения, — ответил Петр.

Некоторое время они сидели молча. Майор доел бутерброд.

— Это ваше окончательное решение? — спросил лейтенант.

Петр подумал.

— Я изложу предложения майора Грехэма партизанскому ревкому, которому принадлежит вся полнота власти, и окончательное решение ревкома сообщу вам...

Майор и лейтенант посовещались.

— Последний вопрос, — сказал лейтенант, — не можете ли вы дать распоряжение своим отрядам на участке Кангауз — Шкотово — Угольная не предпринимать враждебных действий против американских войск, по крайней мере, до окончательного решения ревкома?

— Такое обещание я могу дать, но это не имеет никакого практического значения, — усмехнулся Петр. — Решение ревкома состоится раньше, чем наше распоряжение дойдет до отрядов. Ведь нейтралитет американских войск такого свойства, что мы не можем пользоваться железнодорожным телеграфом...

— Тогда майор Грехэм просит вас сообщить ревкому, что в случае принятия его предложения он сможет отпустить сорок комплектов белья и восемьдесят пар обуви.

— Хорошо, я передам это ревкому, — сказал Петр и встал.

Майор с вежливой улыбкой проурчал что-то.

— Майор Грехэм просит передать, что он рад доверию, которое вы оказали ему, и отдает должное вашему мужеству...

Некоторое время Петр, презрительно сощурив один глаз, смотрел на лейтенанта. Потом, подчиняясь внезапно возникшему в нем мальчишескому желанию, заложил в рот два своих коротких пальца и свистнул.

Он не успел еще насладиться выражением испуганного изумления, возникшим на лицах майора и лейтенанта, когда сверху посыпались мелкие камешки, — майор и лейтенант, привстав, задрали головы, солдаты схватились за ружья, — и со скалы свесилась чубатая голова в фуражке, украшенной неистовых размеров красным бантом.

— Мы здесь, товарищ Сурков, — сказала чубатая голова сильно пропитым голосом.

— Проводите майора Грехэма до рудника... Счастливо оставаться, — сказал Петр остолбеневшим американцам.

И, чуть коснувшись пальцем папахи, он начал взбираться по тропинке на гребень хребта.

«Ах, купчишки проклятые!..» — думал он с досадой. Он не сомневался в том, что уход американцев означает переброску японских войск на рудник. Майор стремился, очевидно, к тому, чтобы, с одной стороны, обеспечить эту переброску, а с другой — показать союзному командованию, что там, где появляются американские войска, немедленно воцаряется мир и порядок, а там — где японские, начинается война и разруха.

Петра злило то, что майор хотел провести его, как мальчишку, и то, что сбывалось одно из предположений Алеши в споре с ним, и Алеша мог это использовать против него.

XVII

Не доезжая до парома, Петр и ординарец, трусивший позади с лошадью в поводу, которая утром шла под американцем, услышали доносившуюся с реки отчаянную ругань.

— Что там такое?..

Петр дал вороному шенкеля.

С ног до головы покрытый пылью верховой на плясавшей на сходнях буланой лошадке самыми отборными словами ругал китайца-паромщика, гнавшего паром с той стороны реки.

— Ты что орешь? — спросил Петр, подъезжая к нему.

— А чего он, как баба, возится! — вскричал верховой, повернув к Петру раскрасневшееся лицо. — У меня пакет срочный!..

— Кому пакет?

— Товарищу Суркову пакет... От Бредюка...

— Давай его сюда.

Партизан недоверчиво смотрел на него.

— Давай, давай, не ошибешься! — подсказал ординарец. — Это самый Сурков и есть.

Бредюк извещал о том, что после шестичасового боя им занят посад Шкотово. Не надеясь удержать его за собой, Бредюк взорвал мост через реку Майхе, взорвал

водокачку и вывозит из Шкотова оружие, обмундирование и продовольствие.

«А ребята по приказу моему ломают железную дорогу, насколько успеем», — писал Бредюк.

Донесение было отправлено вчера в четыре с половиной часа дня и шло эстафетой от села к селу.

— Молодец! — с широкой улыбкой сказал Петр партизану, перенеся на него все свое восхищение отрядом Бредюка, хотя партизан был из тыловой охраны деревни Хмельницкой.

Петр вспомнил вдруг последнюю просьбу майора о том, чтобы партизаны воздержались от военных действий на участке Кангауз — Шкотово — Угольная хотя бы до окончательного решения ревкома, и понял, что майор знал уже о занятии Шкотова и хотел, пользуясь неосведомленностью Петра, навязать ему такие условия, которые обязали бы партизан очистить Шкотово. Но это значило... Это значило, что Бредюк держит Шкотово в своих руках и до сих пор!

Достав из полевой сумки блокнот, Петр, не слезая с лошади, написал и с тем же партизаном отправил Бредюку записку, в которой одобрял все его действия, предлагал держаться в Шкотове, покуда возможно, и предлагал принять все меры к тому, чтобы задержать переброску японских войск на рудник и, если будет возможно, спустить под откос американские эшелоны, которые двинутся завтра на участок Кангауз — Угольная.

Самовольный поступок Бредюка обернулся непредвиденной военной и политической удачей.

«Эх, если бы я знал об этом, когда разговаривал с этим толстым прохвостом!» — досадовал Петр, в отличном настроении подъезжая к ревкому.

XVIII

Он застал в сборе почти всех членов ревкома. Первой ему бросилась в глаза ежовая голова Алеши Маленького, возбужденно объяснявшего что-то. По тому, с каким ласковым и уважительным вниманием слушали Алешу члены ревкома, Петр понял, что Алеша, знакомившийся с утра с деятельностью отделов ревкома, успел уже всем понравиться.

— Наконец-то! — воскликнул Алеша. — Мы уже начали беспокоиться, не случилось ли чего... Тут есть новости неприятные, — добавил он, как показалось Петру, с некоторым оттенком торжества.

— Тебе письмо с рудника от Якова Бутова, нарочный из Перятина привез, — сказал телеграфист Карпенко.

Петр выхватил у Карпенко письмо и тут же, на пороге, как вошел, в сдвинутой на затылок папахе и со свисающей с руки плетью, прочел его:

«Дорогой товарищ Сурков! — писал Яков Бутов. — Третьего дня прибыл новый начальник гарнизона полковник Ланговой, с ним рота, примерно, колчаков, да, говорят, будут еще. Перед ними прибыла рота японцев с артиллерией, и ожидают еще, да есть слух, будто в Шкотове пробка получилась и поезда не идут. Американцы сегодня грузят в вагоны походные кухни и снаряжение. По всему руднику болтают, будто готовится большое наступление на вас. Народ весь в волнении. Один наш парень, Игнат Саенко, застукался с динамитом. Мучили его, пока допрашивали, да он не выдал. Будь жив-здоров, товарищ Сурков. Кланяйся ребятам...»

Письмо было отправлено сегодня утром.

— Так... Ну что ж! Только враги могут радоваться этому обстоятельству, — спокойно сказал Петр, адресуя эти слова Алеше, хотя Алеша и не думал радоваться этому обстоятельству, — но переброска японских войск на рудник — факт...

Он рассказал о переговорах с майором Грехэм и о письме Бредюка.

— Карпенко! Вызови по телефону Перятино, информируй обо всем Ильина. Скажи, чтобы он на Парамоновский хутор под рудник выслал заставу не меньше роты и разведку под самый рудник. И скажи, что я завтра сам приеду к нему...

— А у меня телефонограмма к тебе от Ильина! — вспомнил Карпенко.

— Ты со мной не поедешь? — спрашивал Петр Алешу, развертывая телефонограмму.

— Конечно, поеду, — с готовностью сказал Алеша.

Командир Сучанского отряда Ильин сообщал о том, что гольды и тазы, жившие возле русской деревни Хмыловки на южном побережье, просили у него помощи про-

тив хунхузов, которые грозят сжечь их поселки, и он на свой страх и риск отправил туда взвод.

Петр подумал о том, что при создавшихся условиях не следовало бы ослаблять сучанский отряд хотя бы даже и на один взвод, но, конечно, нельзя было не помочь гольдам и тазам: не говоря уже о том, что это были лучшие разведчики, отказ в помощи им вскоре стал бы известен по всем поселкам и произвел бы неблагоприятное впечатление на туземцев.

— Скажи ему, правильно сделал, — сказал Петр, обращаясь к Карпенко, не придав, в общем, большого значения этому новому обстоятельству. — Так, значит, поедем? — весело обратился он к Алеше.

— Конечно, поедем, — подтвердил Алеша.

Текущие заботы дня незаметно нахлынули на Петра, домой он попал только поздним вечером и за ужином встретился с Леной. То, что это девушка — дочь Костенецкого, и то, что она все время будет жить в этом доме, впервые дошло до его сознания. Несколько раз он замечал на себе спокойный, внимательный и в то же время не допускающий в себя взгляд ее больших темных глаз. И этот взгляд, и странная неподвижность ее точно окаменевшего лица, и медленный поворот головы, отягченной темно-русой косой, и усталые движения ее тонких рук чем-то понравились Петру.

Ему никогда бы не пришло в голову отдать себе отчет, чем эта девушка понравилась ему, но она понравилась ему благодаря тому впечатлению естественности и в то же время недоступности ее, которое она, сама того не сознавая, произвела на него.

За весь вечер они обменялись всего несколькими словами.

Рассказывая Владимиру Григорьевичу о письме Якова Бутова, Петр вспомнил о приезде на рудник Лангового и назвал эту фамилию.

— А вы знаете Лангового? — тихо спросила Лена, и что-то мгновенно и остро блеснуло в ее глазах.

— Немного знаком, — спокойно сказал Петр и пристально поглядел на нее из-под бугристых бровей. — А вы?

— Немножко знакома, — спокойно сказала Лена.

XIX

Ланговой не обманывал Лену, когда говорил ей, что противился новому своему назначению. Но причиной его отказа было вовсе не то соображение, что среди повстанцев находится отец Лены. Причина, по которой Ланговой только скрепя сердце принял новое назначение, была более жизненной. Ему предстояло возглавить карательный полк, действующий в Сучанском и Шкотовском районах, как раз в тот момент, когда на подавление повстанцев должны были бросить японские войска и когда полк переходил в оперативное подчинение японскому командованию. А это шло против убеждений Лангового и больно било по его честолюбию.

Ланговой не принадлежал к тому разряду офицеров (а их было большинство), которые не только не разбирались в обстановке и судьбах белого движения, но и не хотели разбираться в них, а использовали все и всяческие обстоятельства в интересах личной карьеры, обогащения и для жизненных удовольствий. Он принадлежал к тем немногочисленным офицерам, которые сознавали, что удовлетворение их коренных личных интересов лежит в победе их общего дела, и отдавали свои силы на то, чтобы приблизить ее.

Он не верил и не мог верить официальным декларациям держав об их бескорыстии в деле помощи белому движению. Этому верили только безусые юнцы из военно-учебных заведений да наиболее престарелые и глупые из старых царских генералов. Но слова — *родина, честь, присяга* не были для Лангового только словами, он мечтал о восстановлении былой мощи империи и считал, что в этом деле можно опираться на тех союзников, расплата с которыми не противоречит русскому достоинству и чести. Такими союзниками он полагал союзников России по войне — Англию и Францию.

Япония в глазах Лангового была старым врагом России. В борьбе с этим врагом погибли его отец, брат, мать. Ланговой с детства пронес в себе горечь поражения и утраты, чувство реванша и мести. Он был открытым противником сепаратных действий атаманов Калмыкова, Семенова и генерала Хорвата, придерживавшихся японской ориентации и способствовавших удовлетворению корыстных вожделений своего хозяина.

У Лангового даже охладели дружеские отношения с сыновьями Гиммера, примкнувшими к Калмыкову, — Вениамин потому, что эти круги, все более входившие в силу в крае, обеспечили ему быструю карьеру, а Дюдя — по тем возможностям разгула и полной безнаказанности, которые открылись ему в близости к атаману.

Ланговой не сомневался, что посылка японских войск способствует захватническим действиям Японии в крае и вызовет в населении подъем патриотического чувства, который в условиях восстания пойдет на пользу большевикам. И вот его, против его воли, заставляли участвовать в этом деле.

Но была в его назначении и еще одна, личная сторона, — может быть, самая тяжелая и постыдная для Лангового.

Он никогда не искал чинов и орденов, но с самого начала сознательной жизни он стремился выбиться наверх и готовил себя к делам великим и славным. Всю жизнь, начиная с кадетского корпуса, — на австрийском фронте, в подготовке белого восстания, — он завоевывал себе право на власть над людьми личной доблестью, умом, преданностью долгу — так, как он понимал его.

В борьбе военных групп и партий, в суете провинциального общества, суете, которой он, возмещая разрыв с Леной, невольно предавался, он не всегда мог дать отчет в том, насколько преуспевает на пути «избранных». Он знал, что у него, у «государственно мыслящего» офицера, стоящего в оппозиции к господствующим в крае сепаратистским кругам, нет прочной поддержки среди непосредственного над ним командования. Но он не боялся борьбы и думал втайне, что нет таких противников, которые были бы ему не по плечу. Он чувствовал за собой славное имя отца и деда, собственные военные заслуги. Наконец, он принадлежал к тем, за кого говорил авторитет «верховного правителя» и сибирских армий.

То, что его все чаще опережали, обскакивали люди, которых он считал не только менее достойными, а просто бесчестными, смутно беспокоило его. Но он вставал в позу презрения к этим людям и говорил себе: «Это — моль, она недолговечна, твой час еще придет!»

И вдруг небольшой поворот событий — добровольческие части, действующие против повстанцев, терпят поражение, союзное командование совместно с «верховным

правителем» санкционирует дополнительный ввоз японских войск, единомышленники Лангового один за другим смещаются с постов — и Ланговой получил назначение в карательный полк, с приказанием выехать в двадцать четыре часа.

Впервые в жизни он попытался использовать некоторые личные связи и потерпел неудачу. В просьбе отправить его на фронт ему было отказано.

Это был крах всех иллюзий, крах позорный и постыдный.

Как ни внушал Ланговой еще совсем недавно и себе и другим, что дело физической расправы с бунтующим населением — это такое же выполнение служебного долга, как и всякое другое, он не мог не понимать, что дело это гадкое и грязное. А главное — он знал, что дело это поручено ему для того, чтобы унизить его и убрать с дороги большой военно-политической деятельности.

Последнее, на что он еще надеялся, это — выиграть время, пока происходит перегруппировка наличных японских войск и пока не прибыли из-за моря новые дивизии. Успешные операции против повстанцев, проведенные в кратчайший срок, могли обеспечить ему и в дальнейшем возможность самостоятельных действий.

Ланговой прибыл на рудник ночью и был встречен полковым адъютантом, проводившим его на квартиру управляющего рудником, где до отъезда прежнего начальника гарнизона, полковника Молчанова, Ланговому был отведен мезонин.

Не раздеваясь, Ланговой кинулся в постель в состоянии крайней моральной и физической усталости. Но уснуть он не смог.

В окнах то вспыхивали, то гасли отблески дальнего зарева от коксовой печи. Где-то — казалось, над самой крышей — с жужжанием проносились вагонетки подвесной дороги.

Чуждый, враждебный мир окружал Лангового: поселок, притихший, словно притаившийся; горы, нависшие со всех сторон; тайга, облитая мертвенным светом месяца.

Он лежал с открытыми глазами, подложив руки под голову, и думал о Лене.

То он видел ее в белой косынке в гостиной Гиммеров, возмужавшую, гордую и несчастную, — такой она показа-

лась ему после долгой разлуки; то переживал сцену последнего прощания с ней ночью на крыльце захолустной станцийки. «Где она сейчас? Что будет с ней?.. Как буду теперь я без нее, без всякой надежды когда-либо увидеть ее?»

И снова, как зубная боль, пронизывало его сознание позорности и униженности своего положения.

«Личные связи, взятка, лесть, преступление — вот то, что в ходу сейчас, — думал он со злобой, — а я не хотел и не умел действовать из-за угла, я шел в бой с поднятым забралом, открытом лицом, — и вот итог всей жизни... И никому нельзя верить, никому!..»

Он не мог забыть, как на просьбу о поддержке начальник штаба несуществующего корпуса, влиятельный генерал, ранее покровительствовавший ему, стал пошло шутить, похлопывать его по плечу. Ланговому мучительно было вспоминать, что он не только не выказал презрения к генералу, а согласился играть с ним на бильярде и проиграл в последнем шаре. «По крайней мере, не надо было рисковать этим дуплетом... Да зачем мне это сейчас?.. Как глупо! Как все это пошло!.. И зря я так много пил последнее время, якшался с сомнительными друзьями, вступал в случайные любовные связи, — думал он. — Теперь, по крайней мере, я освободился от всего этого... Но какой смысл, если теперь уже все, все потеряно для меня!..» И снова он слышал враждебное жужжание вагонеток над головой и видел Лену в белой косынке, и снова, как боль в зубах, терзали его муки оскорбленного самолюбия.

Его разбудил хриплый голос полковника Молчанова, одутловатое, сизое от склероза лицо которого с отвислыми седыми усами показалось в дверях:

— Ты уже встал? Можно?..

Весь мезонин был залит солнцем, блестевшим на составленной в углу батарее пустых бутылок от вина и бачкóв от спирта. По бачкáм и бутылкам и по опухшему помятому лицу Молчанова Ланговой безошибочно определил, что вчера состоялись проводы Молчанова, которого он сейчас должен будет сменить.

— Прошу, — холодно сказал Ланговой, вставая, и на лице его появилось сухое официальное выражение, которым он прикрыл ощущение обоюдной неловкости.

XX

В штабе полка пахло чем-то провинциально-затхлым, кислым. Ланговой, положив на стол белую холеную руку с длинными ногтями, брезгливо морщась, выслушивал поздние жалобы Молчанова.

— Приказы сыплются, как из прорвы: разгромить банду такую-то, ликвидировать там-то, уничтожить то-то!..— хрипел Молчанов, с ненавистью поглядывая красными, в прожилках, глазами то на холеную с длинными ногтями руку Лангового, то на лошадиное, с влажными зализами на висках, лицо адъютанта, одновременно выражавшее и готовность служить новому начальнику, и равнодушие к старому («Небось наскажет про меня гадостей», — думал Молчанов). — А знают, что два батальона у меня в Шкотове и командовать ими я фактически не могу. В ротах не более семидесяти — восьмидесяти штыков. Казачья сотня — только название, что сотня. Рота юнкеров — еще куда ни шло. Топографические карты — вранье... Пишут — банды, а все знают: восстали села поголовно, на руднике сидишь, как на пороховом погребе. Надо сносить под корень, беспощадно, а иначе — громкие слова! И я понимаю Калмыкова — у него слово и дело. Теперь-то это все понимают! А после экзекуции в Бровничах создали обо мне целую переписку — перед американцами благородство показать, — у-у, щелкоперы, белоручки!..

И Молчанов матерно выругался.

Полк, который принимал Ланговой, был разделен на два отряда. Один из них стоял в Шкотове и по условиям партизанской борьбы действовал почти самостоятельно. Как большинство добровольческих формирований этого типа, полк состоял из всякого людского сброда — бывших городовых, охранников, лабазников, гимназистов, людей с уголовным прошлым. За два с лишним месяца полк потерял до половины своего, и без того неполного, состава.

— Контрразведка нам не подчинена. Маркевич интригует, шантажировал меня доносами, — весь налившись кровью, хрипел Молчанов, — а сам делает черт знает что: говорят, таскает бабу свою в подвал смотреть на экзекуции!.. Положились на американцев в охране рудника, да ведь это жиды! — гневно выпучив глаза на адъютанта, выкрикнул Молчанов. — Ездили по селам, жалобы на

меня собирали! Я ждал, вот-вот партизан с собой на рудник приведут. Жиды!

— Нам не пора? — страдальчески сморщившись, спросил Ланговой, взглянув на часы.

— Гарнизон построен, господин полковник! — поспешно подсказал адъютант.

— Я уж не поеду, извини, — угрюмо сказал Молчанов, — и вообще отбуду сегодня, и желаю тебе...

Он обиженно засопел и так и не досказал, чего желает Ланговому.

Придерживая просящего повод мохнатого гнедого жеребца, Ланговой в сопровождении адъютанта на белой лошади и ординарцев медленно спускался с горы по вьющейся в кустах дороге в поселок.

Издалека завидев группу военных на лошадях, дети и даже собаки стремглав неслись в калитки подворотни; торопливые руки захлопывали изнутри домов окна. Работавшая на огороде женщина, захваченная врасплох, испуганно присела между грядок.

Глядя поверх этой суетни, как он всегда умел глядеть поверх того, чего не хотел видеть, Ланговой оценивал выгоды и невыгоды открывшихся перед ним позиций. Расположение было невыгодное: лесистые горы вокруг, горы без конца и края, тайга, клиньями врезавшаяся в самое сердце поселка; разбросанные там и здесь по лесу надшахтные вышки и заваленные углем эстакады в любое время могли стать крепостями врага. Ланговой подумал о том, как много людей должно быть ежедневно занято на сторожевой службе.

Они подъехали к деревянной казарме, перед которой происходило учение японской роты. Приземистый кривоногий офицер, пятясь задом, кричал петушиным голосом. Две желто-зеленых шеренги шли навстречу друг другу с ружьями наперевес, высоко, по-немецки, взбрасывая короткие, толстые от обмоток ноги. Это была прибывшая вчера рота японского полка, охранявшего участок Угольная — Кангауз, а теперь перебрасываемого на рудник.

Немного подальше, под сопкой, вдоль ручья, расположились палатки американцев. Эти люди везде умели устроиться как дома. На склоне сопки белели сквозь кусты новенькие дощатые уборные. Ярко-зеленый лужок по эту сторону ручья был превращен в футбольное поле, и линии, обозначавшие границы поля и места́ игроков,

были даже залиты известью. От всего лагеря оставалось впечатление опрятной, сытой и спокойной жизни. «Зачем они, собственно, приехали сюда?» — неприязненно подумал Ланговой, рысью выезжая из ручья на сопку.

Глазам его открылся вид на дальние южные хребты. Над всеми вершинами господствовала мощная голубая пирамида горы Чиндалазы с пиком, похожим на раздвоенный подбородок. В самой ямочке его еще лежал снег.

Два батальона добровольцев с приданными к ним сотней казаков, юнкерской ротой, двумя скорострельными пушками и прибывшей ночью с Ланговым ротой караульного батальона стояли внизу, построившись на дороге. Ланговой спешился. Раздалась команда: «Смирно!»

Ланговой принял рапорт и поздоровался с полком. Ответили не в лад, как индюки, только на правом и левом флангах четко выделились голоса юнкеров и казаков.

— Ат-ставить! — неожиданно тонким и резким голосом скомандовал Ланговой.

Он поздоровался снова. Ответили дружно, но два-три голоса запоздали.

— Ат-ставить!.. Па-втарить!..

Слегка нагнув голову и искоса поглядывая на разведенные носки, подтянутые животы и вздернутые головы вытянувшихся в шеренгах солдат, Ланговой быстрым волчьим шагом пошел вдоль строя.

— Почему равнение не держат? — закричал он, заметив выдавшуюся вперед на полступни роту. — Как ваша фамилия, поручик?

Как и в большинстве тыловых частей, в отличие от фронтовых, солдаты были хорошо обмундированы — в английские шинели, японские бутсы. Но не чувствовалось настоящей выправки, бросалась в глаза разница возрастов. Выгодно отличались только погодки-юнкера и привыкшие к службе казаки. По тому, как весело они провожали его глазами, Ланговой видел, что его требовательность понравилась им и что на этих людей он сможет опереться.

— Строевых занятий не ведете, господа офицеры! — скрипучим голосом говорил Ланговой. — Ставлю на вид командирам батальонов. С завтрашнего дня буду проверять лично. Командира роты юнкерского училища и господина сотника благодарю за службу!.. Разводите людей по казармам...

Пригласив с собой командира того батальона, из которого люди были в этот день в сторожевом наряде, и взяв для охраны несколько казаков, Ланговой поехал проверять заставы.

По договоренности с командованием, американские войска охраняли рудник по северо-западному полукругу, откуда меньше всего можно было ожидать нападения. Добровольческие части несли охрану рудника по наиболее угрожаемому юго-восточному полукругу, обращенному к южному побережью и Сучанской долине.

Кони, храпя и оскользаясь по камню, взбирались по крутым извилистым тропам на гребни отрогов и снова спускались в зеленые распадки. Причудливые нагромождения скал, темные ущелья, сплошной кустарник, брызнувший уже молодой зеленью...

— Почему бы некоторые заставы не выдвинуть вперед, на хребты? Они же ничего не видят дальше собственного носа! — сердито говорил Ланговой, сверяя по двухверстной карте расположение застав с расположением хребтов, долин, дорог.

— Пробовали. Бесполезно. В первую же ночь окружают, истребляют начисто, — хмуро, не глядя, отвечал оскорбленный выговором Лангового на приеме полка командир батальона, угрюмый пожилой капитан, обросший весь, вплоть до суставов пальцев, черным волосом. — Для правильного обеспечения безопасности нужно втрое больше людей. Их нет, — говорил он с мрачным удовольствием.

— Вероятно, по этим причинам полковник Молчанов и избрал рудник в качестве исходной позиции для своих операций? — злобно усмехнулся Ланговой. — И на этом хуторе тоже нет?

Ланговой указал на карте хутор Парамоновский, расположенный верстах в шести от рудника по дороге на Перятино.

— Ставили. Окружают, истребляют начисто, — с угрюмой покорностью повторил командир батальона.

Ланговому ясно было, что, если и дальше оставаться в этом каменном мешке, ни о каком разгроме повстанцев без поддержки японских войск нельзя и думать. Если партизаны, знавшие здесь каждый куст и камень, располагавшие, благодаря связям с населением, точными сведениями о силах противника и его передвижениях, могли

в любое время дня и ночи и в любом направлении перебросить отряд, устроить засаду, заранее развернуться в боевой порядок — и так же незаметно исчезнуть, как и появиться, то карательные части могли передвигаться только по большим езженым дорогам, и только днем, и только относительно крупными соединениями, но и при этих условиях они не могли использовать все преимущества лучшей организации и вооружения.

Все, чему учили военные книги и собственный боевой опыт, все это было бессмысленно и невозможно в условиях незнакомой (и не могущей быть изученной) горной лесистой местности — по отношению к противнику, численность которого никогда не известна, который не защищает никаких позиций, но находится везде, всегда невидим, но видит каждый твой шаг.

Надо было как можно скорее выводить полк из этого каменного мешка в широкую безлесную Сучанскую долину, где сразу обнаружились бы все преимущества регулярной части, вооруженной пулеметами и артиллерией, перед неорганизованными и плохо вооруженными повстанцами, хотя бы их было и в несколько раз больше.

Разгромив сосредоточенные в селе Перятине главные силы повстанцев и заняв центр движения — село Скобеевку, полк получил бы господствующее положение над всей долиной и лишил бы повстанцев базы формирования и снабжения.

В долину вели две дороги, годные для прохождения войск и пушек. Одна из дорог, ближняя, шла на восток через хутор Парамоновский и выходила в долину против села Перятина, где через реку Сучан ходил паром. Но паром мог быть заранее уничтожен партизанами. Кроме того, село являлось для партизан хорошим прикрытием, чтобы помешать переправе. Другая дорога, дальняя, шла на юго-восток и выходила в деревню Екатериновку, расположенную по эту сторону реки, километрах в двадцати ниже Перятина. Здесь переправа через реку была бродом и со стороны партизан ничем не могла быть защищена.

Можно было предпринять комбинированное наступление двумя отрядами по обеим дорогам. Один отряд — более сильный — занимает Екатериновку, переправляется через реку и движется вверх по долине — на Перятино. Другой отряд занимает хутор Парамоновский и, выйдя

к парому против Перятина, открывает пулеметный и артиллерийский огонь по селу, обеспечивая наступление первому отряду, который и занимает Перятино.

С этими предположениями, усталый, невыспавшийся и озлобленный всем, что ему пришлось видеть, Ланговой вернулся на рудник. В штабе полка ему сообщили, что его несколько раз вызывали по телефону из штаба американских войск по поручению майора Грехэм.

— Если позвонят еще раз, передайте господину майору, что меня нет... — с раздражением сказал Ланговой.

Полковника Молчанова уже не было на руднике. Ланговой занял его квартиру на втором этаже дома управляющего.

XXI

Наутро он пригласил в штаб контрразведчика Маркевича.

Все, что он слышал об этом человеке, вызывало непосредственное чувство брезгливости к нему. Но Ланговой знал, что его личный успех теперь во многом зависит от того, насколько Маркевич будет помогать ему. И он поступил так, как поступал всегда, когда обстоятельства вынуждали его делать что-либо противное его совести: отбросил даже самую возможность интересоваться закулисной стороной деятельности Маркевича, оградив себя теми обязательствами, которые называл служебным долгом.

Маркевич вошел без доклада, даже не постучавшись.

— Имею честь явиться, — развязно сказал он, — поручик Маркевич...

— Садитесь, — холодно сказал Ланговой.

— Можно курить? — Маркевич достал из кармана френча измятую пачку сигарет и серебряную зажигалку. — Не хотите ли? Японские.

— Нет...

Ничего примечательного не было в нем. Было общее впечатление чего-то поношенного и подержанного и не имеющего возраста. Природа отпустила его худому лицу излишек кожи, и она дрябло обвисала по щекам; под глазами — мешки; глаза круглые и невыразительные, как копейки. И одет он был очень неряшливо — френч точно

изжеванный и в пуху, один погон полуоторван, синие галифе в ржавых пятнах.

— Расскажите, что делается на руднике.

— Что делается? Жалованье не платят, народ бунтует. Надо жалованье платить, — плаксивым голосом заговорил Маркевич.

— Но в поселке спокойно как будто?

— В поселке спокойно, а под землей бунтуют, вон там... — И Маркевич указал пальцем в пол.

— Много арестованных?

— Мы их здесь не держим: или отсылаем, или ликвидируем...

— Или отпускаете? — полувопросительно, с усмешкой подсказал Ланговой.

Маркевич, заглотнув дым, некоторое время задержал на Ланговом свои конеечные глаза, налившиеся вдруг тяжелой желтоватой медью. Потом, сильной струей выпустив дым под стол, он спокойно сказал:

— Зря не берем, потому не отпускаем. Ночью взяли одного, полпуда динамита на квартире. Говорит, украл — рыбу глушить. А партизаны бомбы делают... — И он вдруг тоненько засмеялся, закрыв глаза.

В комнату быстро вошел адъютант.

— Разрешите доложить? — взволнованно сказал он, звякнув шпорами.

— Да?

— Со станции Кангауз сообщают: Шкотово занято партизанами. Дальше Кангауза телефон не действует, и установить связь с нашими частями пока не удалось.

Ланговой почувствовал, как кровь отхлынула от его лица, но овладел собой.

— Хорошо. Вызовите Кангауз к прямому проводу. Велите подать лошадей.

— Есть... Разрешите... третий раз звонят из штаба американских войск. Майор Грехэм просит вас к себе.

— Скажите господину майору, что я готов принять его в любое время, — резко сказал Ланговой.

Адъютант вышел.

— Действительно! — фыркнул Маркевич. — Они нам столько гадили. Вчера я имел удовольствие познакомиться с капитаном Мимура. Какой любезный человек! Прекрасно говорит по-русски и, как ни странно, православ-

ного вероисповедания. Он даже квартиру снял у священника...

— Я вас прошу, господин поручик, — сказал Ланговой, в упор глядя на Маркевича, — расследовать дело с динамитом, и если обнаружите связи рудника с деревнями, пресеките их и поставьте меня в известность...

— Будьте спокойны, — блеснув своими копейками, сказал Маркевич.

— Вы связаны с кем-нибудь в Скобеевке? — спросил Ланговой.

— Конечно.

— Назовите мне.

— Я запишу вам...

Маркевич оторвал белый краешек лежащей на столе газеты и мелко написал что-то.

Ланговой прочел: «Тимофей Казанок, крестьянин».

— Кроме того, у японцев есть связи среди корейцев, — сказал Маркевич.

— Благодарю вас. Вы свободны.

Ланговой вызвал адъютанта.

— Что ответили вам от майора Грехэм?

Адъютант замялся.

— Повесили трубку, господин полковник.

— И прекрасно. Кланяться не будем, —сказал Ланговой, багровея.

При выходе из штаба Ланговой чуть не наткнулся на часового, который, загородив спиной дверь, держа поперек винтовку, не впускал в штаб бедно одетую женщину с мокрыми косыми глазами. Одной рукой женщина прижимала к груди завернутого в дырявый платок плачущего ребенка, а другой держала за руку мальчика лет девяти, со страхом глядевшего на часового расширенными голубыми глазами.

— Миленький, пусти!.. Миленький, пусти!.. — со слезами просилась женщина.

— Говорят, уходи, не то...

Часовой отгораживался от нее винтовкой и пятился, боясь прикоснуться к женщине, чтобы не придавить ребенка.

Женщина первая увидела Лангового.

— Ваше благородие! — крикнула она, кидаясь на часового.

Часовой оглянулся и, испугавшись начальника, ложем винтовки уперся женщине ниже живота и оттолкнул ее; женщина едва не упала с крыльца. Мальчик, вскрикнув, прижался к бедру матери. Ланговой, не глядя на них, быстро сбежал с крыльца и пошел к лошадям, которых вел навстречу ему вестовой.

— Ваше благородие!.. Миленький!..

Женщина бежала за адъютантом, пытаясь ухватить его за руку, адъютант с улыбкой не давался.

— После, после, — говорил он, отмахиваясь.

— У меня же муж арестован... Господи!.. — с отчаянием сказала женщина.

Она грузно опустилась на землю и заплакала.

Ланговой, за ним адъютант и вестовые вскочили в седла и поскакали на станцию, подняв за собой клубы пыли.

XXII

Обстоятельства занятия Шкотова партизанами были таковы.

В тот день, когда Алеша Маленький покинул Бредюка, перебежало на сторону партизан несколько колчаковских солдат, среди них писарь штаба гарнизона, принесший дислокацию белых частей и расположение постов, учреждений и офицерских квартир.

Бредюк, пользуясь холмистой местностью, поросшей густым кустарником, к ночи стянул все силы к крайним от тайги казармам, а сам, переодевшись офицером, во главе двадцати конных, переодетых в колчаковскую форму, поехал в Шкотово.

Вместе с Бредюком поехал и его ординарец и правая рука, Шурка Лещенко, — из тех преданных Бредюку и только его и признававших отчаянных ребят, про которых говорили, что они «врага вострием бьют, а своих — плашмя».

Они поехали не прямой дорогой из Майхе, а по шоссе, которое шло параллельно железной дороге: в расположении шоссе не было сторожевых секретов, а стоял только часовой при въезде в посад. Ликвидировав часового и перерубив телефонный провод из караульного помещения, Бредюк и еще несколько человек вошли в помещение. Заспанный начальник, вытянувшись и мигая, начал

докладывать Бредюку о том, что «на вверенном ему участке ничего не случилось». Бредюк ударил его шашкой по голове, остальные бросились на спящих сменных и порубили их.

Построившись в колонну по три, они шажком поехали к штабу гарнизона. Дорогой им встретились двое конных дозорных. Бредюк накричал на дозорных — почему они прямо подъехали к колонне, а не окликнули издалека, и велел их «арестовать». Дозорных спешили, обезоружили и тут же зарубили. Трупы перебросили через забор, а коней привязали, чтобы они, прибежав в конюшню, не наделали переполоху.

Штаб гарнизона помещался неподалеку от казарм, со стороны посада, в реквизированном гражданском доме. Благодаря маскировке и тому, что никто не мог ожидать появления Бредюка в самом сердце расположения белых, партизанам удалось бесшумно ликвидировать дежурного по штабу офицера, вестового, телефониста и порвать телефонную связь.

Во второй половине дома жил начальник гарнизона.

— Пойдем, Шурка, навестим начальство! — сказал Бредюк с деревянной своей усмешкой.

На стук в дверь вышел заспанный босой денщик в нижней рубашке и ватных солдатских штанах с вылезающими из-под них белыми подштанниками.

— Их высокоблагородие спыть, — сказал он в ответ на просьбу Бредюка пропустить их.

— Де ж воно спыть? — ласково спросил Шурка.

— А у горници, — ответил денщик, удивленно посмотрев на солдата, осмелившегося вмешаться в офицерские дела.

— А может, тут еще кто живет, с кем поговорить: дело срочное, — сказал Бредюк.

— Хто ж тут живе, тилько вин и живе, — почтительно подавляя зевоту, отвечал денщик.

Бредюк двумя руками схватил его за рубаху и отшвырнул от двери.

— А ну, вдарь его, Шурка! — сказал он.

Денщик, охнув, с разрубленным лицом упал с крыльца.

Взяв ночник, горевший в передней, а в другой руке держа обнаженную шашку, Шурка, за ним Бредюк на цыпочках прошли в комнаты.

Начальник гарнизона, запрокинув голову и храпя так, точно он стакан грыз, спал, разметавшись на пуховой перине. Синее стеганое одеяло сползло на пол; видны были задранные кверху усы, верхний ряд зубов и обнаженное по пояс упитанное безволосое тело: по спортсменской привычке начальник гарнизона спал без белья.

— Який гладкий... Видать, ще николы не битый, — с удивлением и завистью шепотом сказал Шурка.

— Сейчас мы его научим жить, — раздув ноздри, просипел Бредюк и плетью, висевшей у него на руке, изо всей силы стегнул по ровно вздымавшемуся и опускавшемуся во сне белому телу.

Начальник гарнизона взвился на постели и, выпучив оловянные глаза на стоящих перед ним с ночником и обнаженной шашкой и занесенной плетью незнакомых людей, обиженно хрюкнул.

— Вдарь его, Шурка! — сказал Бредюк.

Лещенко взмахнул шашкой, и начальнику гарнизона так и не удалось узнать, что же, собственно, с ним произошло.

Они вылили из ночника керосин на постель, подожгли ее и выбежали из дому.

— Давай сигнал! — взлетев на седло, скомандовал Бредюк.

Три ракеты, треснув одна за другой, шипя, взвились в светлеющее небо. И еще не рассыпалась искрами третья, как в лесу за казармами загремели залпы.

— Срывай, погоны! В посад!.. — прохрипел Бредюк.

Конники, рассыпавшись по двое-трое, стреляя на скаку и крича: «Бежим! Пропали! Скорей, скорей!» — помчались в разные концы по улицам.

В лесу за казармами взнялось и покатилось «ура». На станции тревожно загудели паровозы. Солдаты, полуодетые, многие без оружия, одиночками, потом группами, потом толпами, тяжело сопя и топоча сапогами, молча бежали по улицам. Стрельба занялась в различных пунктах посада, охватывая его по краям. И все шире полыхало над посадом светлое зарево от горящего штаба гарнизона.

Как и рассчитывал Бредюк, противник, охваченный паникой, не оказал сопротивления. Защищались только отдельные группы, не успевшие убежать затемно. Япон-

ская охрана на станции, не имевшая приказа отступать, отстреливалась до тех пор, пока не была перебита. Часам к двенадцати дня Шкотово было в руках партизан.

XXIII

Пока Ланговой разговаривал по прямому проводу с Кангаузом, американское командование без всякого уведомления сняло свои заставы.

Просить майора Грехэм восстановить посты после того пренебрежения, которое Ланговой выказал ему, было невозможно да и бессмысленно: американцы вот-вот покидали рудник. Поставить на их место свои части значило сорвать операции в Сучанской долине.

Как ни оскорбительно было Ланговому обращаться за помощью к капитану Мимура, который до сих пор не посчитал нужным представиться ему как начальнику гарнизона, другого выхода не было. Не желая лично унижаться перед японцем, стоящим ниже его по чину, Ланговой отправил на переговоры адъютанта.

Адъютант вернулся смущенный:

— Категорически отказывается. Говорит, не имеет распоряжений.

Сопровождаемый вестовыми, Ланговой поехал к капитану Мимура для личных переговоров. С трудом он отыскал дом священника.

Капитан Семен Мимура, из крещеных японцев, седенький старичок с желтым лицом, разграфленным морщинками на мельчайшие квадратики и ромбики, не в форме, а в домашнем кимоно, сидел посреди кухни на корточках и кормил из рук павлина.

Попадья, тощая и кривая, как адамово ребро еще до его превращения в Еву, стояла возле печи и наблюдала за старичком с лицемерной улыбкой, не скрывавшей ее природной злости.

Увидев Лангового, старичок встал и потер одна о другую ладошки, смахивая пыль от пшена. Ланговой представился. Черные глазки старичка зажглись искренним весельем.

— Нет большей чести — видеть вас у себя, — сказал он с улыбкой, обнажившей два ряда золотых зубов. — Чем могу услужить?

Ланговой в замешательстве взглянул на попадью.

— Я очень извините, — весь превращаясь в улыбку, сказал Семен Мимура, посмотрев на попадью, как на икону, молитвенно сложив ладошки.

Попадья вышла.

— Я слушаю вас...

Мимура присел на корточки и, зачерпнув из миски горсть пшена, снова стал кормить павлина, изредка взбрасывая на Лангового веселые черные глазки и награждая его золотой улыбкой. Иногда он шустрыми тонкими пальцами хватал павлина за клюв. Павлин дико кричал, распуская свой феерический хвост.

По тому, как охотно капитан Мимура согласился на его предложение, Ланговой понял, что капитан только и хотел того, чтобы старший по чину русский начальник гарнизона первый явился к нему. Мало того — Ланговой не сомневался теперь, что американцы сняли заставы по предварительному сговору с капитаном Мимура.

— Говорят, большевики занять Шкотово? — сделав монашески постное лицо, ласково спросил Мимура. — Ай-ай, какая неприятность для вас!..

— Это... это неприятность и для вас, — едва сдерживая дрожание голоса, сказал Ланговой, и на виске его забилась тоненькая жилка. — В Шкотове потерпели поражение и японские войска!..

— Ваши неприятности — всегда наши неприятности, — вежливо согласился капитан. — Я очень, очень рад вам. Такое приятное знакомство! Такой молодой человек уже полковник, — говорил он, хватая кричащего павлина за клюв. — Русские офицеры имеют сейчас так возможности проявить свои доблести, так быстро-быстро получить высокий чин!.. Мы зарабатываем свои чины долголетней службой...

Ланговой вышел от него со взмокшей от унижения спиной.

Связь с частями, отступившими из Шкотова, все еще не была восстановлена. Ланговой отдал приказ, чтобы завтра на рассвете казачья сотня выступила в деревню Екатериновку, что в двадцати верстах ниже Перятина, и, заняв деревню, оставалась там до новых распоряжений. Кроме того, он приказал высылать каждый день по дороге на Перятино, до самой переправы, конную и пешую разведки и результаты разведки докладывать лично ему.

XXIV

В мрачном настроении вернулся он к себе на квартиру. И был постыдно обрадован запиской от жены управляющего: его приглашали отужинать.

Самого управляющего не было на руднике: он уже неделю как находился в городе. Ланговой застал на его квартире только женское общество. Он догадался, что это — «смотрины».

— Вот он! — торжественно сказала жена управляющего, длинная, худая, черная дама с невыносимо широкими бедрами и близко сведенными щиколотками. — Рекомендую, господа: полковник Ланговой...

— Боже, такой молодой и уже полковник! — воскликнула полная пожилая блондинка словами Семена Мимура.

— Да у вас тут целый вертоград! — с улыбкой сказал Ланговой, задерживаясь в дверях.

— Ах, что вы! Какой вы, право, беспощадный, — смущенно говорила хозяйка («вертоград» она приняла за нечто среднее между «вертеп» и «вертопрах»). — Сегодня на руднике только о вас и говорят.

— Я, право, смущен, — говорил Ланговой, обходя дам и целуя им руки.

Маленькая женщина с лицом ребенка и совершенно седыми, блестящими, мелко волнистыми, точно гофрированными волосами сидела, глубоко уйдя в кресло, положив на подлокотники белые тонкие руки.

— Вот вы какой! — тихо сказала она, глядя большими голубыми глазами не на Лангового, а как бы сквозь него, в какую-то пустоту за ним. — Маркевич, — назвала она себя и вся изогнулась, протянув Ланговому влажную руку. Она была исключительно маленького роста, маленького даже для женщины, и так анемична и нежна, что казалась лишенной костей. На ней было легкое белое платье. Цвет ее лица, тонкой шеи и рук был предельно-нежно белый. Во всем облике ее и в том, как она изогнулась, подавая руку, и как взглянула на Лангового, было что-то порочное, что-то сумасшедше порочное, и Ланговой, вспомнив то, что говорил про нее полковник Молчанов, почувствовал внутренний трепет, коснувшись губами ее руки.

— Вы, конечно, освободите Шкотово? Иначе я буду навеки разлучена с мужем, — играя черными глазами навыкате, говорила жена управляющего.

Стыдно было сознаться, но он был рад этому пошлому фестивалю. Он был снова окружен женским вниманием, к которому так привык. И он, стряхнув с себя заботы, отдался небрежной и суетной болтовне.

Но, что бы он ни говорил и ни делал, он все время чувствовал на себе странный, отсутствующий взгляд маленькой седой женщины. У нее была привычка, приподняв круглое бескостное плечо, нежно тереться о него щекой, но и тогда она не переставала искоса наблюдать за Ланговым. Время от времени она озабоченно поглядывала на маленькие часики на руке.

За весь вечер она не произнесла ни слова и отказалась от ужина. Какое-то неосознанное любопытство толкнуло Лангового проводить ее в переднюю и подать ей накидку. На мгновение он почувствовал под руками ее переливающееся тело.

— Благодарю вас, — сказала она голосом, в котором слышалось отдаленное воркованье. Потом, обернувшись к Ланговому и обращаясь словно бы не к нему, а к кому-то стоящему за ним, она спросила: — Вы живете в квартире полковника Молчанова? У вас отдельный ход, не правда ли?

— Да, а...

Он удержался от глупого вопроса.

— До свиданья, — сказала она, направляясь к двери.

В это мгновение дверь отворилась, и на пороге показался денщик Лангового. Денщик неуклюже попятился, чтобы дать женщине дорогу.

— Пакет прислали, ваше высокоблагородие, велели срочно передать, — сказал денщик, словно бы извиняясь.

На пакете стояла печать американского штаба. В пакете было что-то твердое.

Ланговой вскрыл пакет и, подойдя поближе к лампе, тускло освещавшей переднюю, вынул несколько фотографий и письмо, напечатанное на машинке.

Некоторое время Ланговой, не понимая, смотрел на фотографии, перебирая одну за другой. Наконец он стал различать то лежащие по одному, то наваленные одни на другие обугленные, скорченные, изуродованные тела

с отрубленными конечностями и перекошенными, оскаленными ртами. «По поручению майора Грехэм, — прочел он, — пересылаю вам некоторые подробности деятельности вашего предшественника. Снимки сделаны в деревне Бровничи. Лейтенант Вилькинс». Ланговой испуганно оглянулся.

Денщик молча стоял у двери, опустив громадные черные кулаки.

— Ступай... ступай домой, — хрипло сказал Ланговой.

И, быстро сунув в карман фотографии, скомканные пакет и письмо и придав лицу прежнее выражение полупрезрительной небрежности, он вернулся в гостиную.

XXV

Захваченный с динамитом рабочий Игнат Саенко, по прозвищу Пташка, работал откатчиком в шахте № 1. Пташкой он был прозван за то, что мог подражать голосам всех птиц. Да и наружностью он смахивал на птицу — маленький, вихрастый, длинноносый и тонкошеий. Он был женат и имел двух детей, и старший его сынишка тоже умел уже подражать птицам.

Игната Саенко взяли ночью, побудив всех соседей. И когда его вели, его жена, сынишка, и все соседи, и дети соседей, любившие Пташку за то, что он пел, как птица, высыпав на улицу, долго кричали и махали ему вслед.

Контрразведка помещалась над оврагом, в глухом дворе, обнесенном со всех сторон высоким забором. Когда-то там помещался сенной двор. Пташку впихнули в амбар и заперли на замок. В этом пустом и темном амбаре он, страдая от отсутствия табака, просидел до самого рассвета.

С того момента, как динамит был обнаружен у него под половицей, Пташка знал, что ему больше не жить на свете. Правда, его участие в деле только и состояло в том, что он, согласившись на уговоры товарищей, предоставил им свою квартиру для хранения динамита. Но мысль о том, что он мог бы облегчить свою судьбу, если бы выдал главных виновников предприятия, не только не приходила, но и не могла прийти ему в голову. Она была так же неестественна для него, как неестественна

была бы для него мысль о том, что можно облегчить свою судьбу, если начать питаться человеческим мясом.

Весь остаток ночи он не то чтобы набирался сил, чтобы не проговориться, — таких сил, которые заставили бы его проговориться, и на свете не было, — а просто обдумывал, как ему лучше соврать, чтобы укрыть товарищей и выгородить себя. А еще он думал о том, что будет с детьми, когда его убьют, и жалел жену. «Навряд ли кто возьмет ее теперь за себя с двумя ребятами, косую», — думал Пташка.

На рассвете пришли взявший его ночью унтер — большой мужик с черной бородой, росшей более в толщину, чем в ширь, и солдат с ружьем — тоже рослый, но рыхлый, желтолицый скопец. Они отвели Пташку на допрос.

Пташка увидел за столом офицера со старообразным лицом и, хотя он его никогда не видел, догадался, что это сам Маркевич (кто же на руднике не знал Маркевича). Ему стало страшно. Но пока Маркевич спрашивал его имя, фамилию, губернию, вероисповедание, Пташка справился с собой. Маркевич спросил его, где он достал столько динамита и зачем. Пташка сказал, что крал его по частям, чтобы глушить рыбу.

— Рыбки, значит, захотелось? — нехорошо улыбнувшись, спросил Маркевич.

— Двое ребят у меня, жалованье не платят, живем бедно, сами понимаете, — сказал Пташка и тоже позволил себе чуть улыбнуться.

— Видимо, он рыбную торговлю хотел открыть? — сказал Маркевич, подмигнув сидящему в углу на табурете унтеру. — Полпуда! А!..

Пташка сказал, что он, правда, хотел продавать рыбу инженерам и конторщикам, чтобы немного подработать.

— А зачем третьего дня заходил к тебе Терентий Соколов? — спросил Маркевич, в упор глядя на Пташку круглыми желтоватыми глазами, страшными тем, что они ничего не выражали.

«Откуда он...» — подумал было Пташка, но тут же сделал удивленное лицо — даже не очень удивленное, а такое, как надо, — и сказал:

— Терентий Соколов? Да я и не знаю такого...

— А что, если я его приведу сейчас и он про тебя все расскажет?

— Не знаю, кто он и что он мыслит сказать, — пожав плечами, ответил Пташка: он знал, что Маркевич не может привести Терентия Соколова, который вчера прислал жене письмо из Перятина.

— Слушай, — таким тоном, словно он желал помочь Пташке, сказал Маркевич, — Соколов признался в том, что на квартире твоей передаточный пункт, откуда динамит переправляют к красным... Я знаю, тебя в это дело зря запутали. Если назовешь, кто тебя запутал, я тебя отпущу. А не назовешь...

— Я, ваше благородие, служил на царской службе, я всю германскую войну прошел, — проникновенно сказал Пташка, — а с красными дела я не имел и не могу иметь. А сознаю я то преступление, что я тот динамит покрал для глушения рыбы по великой бедности. И коли должен я за то идти под суд, пусть будет на то ваша воля...

Маркевич вразвалку обошел вокруг стола и, постояв против Пташки и посвистав немного, изо всей силы ударил его кулаком в лицо. Пташка отлетел к стене и, прижавшись к ней спиной, изумленно и гневно посмотрел на Маркевича, — из носу у Пташки потекла кровь.

Маркевич, подскочив к нему, тычком стал бить его кулаками в лицо, раз за разом, так что Пташка все время стукался затылком о стену. Пташка не успевал ничего сказать, а Маркевич тоже ничего не говорил, а только бил его кулаками в лицо, пока у Пташки не помутилось в голове и он не сполз по стене на пол.

Унтер и солдат подхватили Пташку под руки и, пиная его плечами и коленями, отволокли в амбар.

Пташка долго лежал в углу, обтирая полой рубахи горящее опухшее лицо, сморкаясь кровью и тяжело вздыхая. Он думал то о том, что он теперь пропал, то о том, что улик против него все-таки нет, и это немного подбадривало его. Потом ему захотелось покурить и поесть, но никто не шел к нему. Со двора не доносилось никаких звуков. Он был отрезан от всего мира, ему неоткуда было ждать помощи и некому было пожаловаться. Он подложил руку под голову и незаметно уснул.

Проснулся он от звуков открываемого замка. Дверь распахнулась, и вместе с солнечным светом и запахом весны в амбар вошли Маркевич и унтер. Чернобородый унтер с ключами в руке остановился у распахнутой двери,

а Маркевич подошел к Пташке, с пола смотревшему на него настороженными птичьими глазами.

— Что, не надумал еще? — сказал Маркевич. — Встать! — взвизгнул он вдруг и сапогом ударил Пташку в живот.

Пташка вскочил, одной рукой поджав живот, а другой пытаясь заслониться от Маркевича.

— Говори, кто носил тебе динамит. Убью!..

— Убейте меня, — детским голосом закричал Пташка, — а я не знаю, чего вы от меня хотите!..

— Взять его! — сказал Маркевич.

Унтер крикнул со двора солдата. Через пробрызнувший молодой травкой двор Пташку подвели к длинному погребу с земляной, прорастающей бурьяном крышей с деревянными отдушинами и зачем-то железной трубой посредине.

— Куда вы ведете меня? — спросил Пташка, бледнея.

Никто не ответил ему. Маркевич, повозившись с замком, открыл дверь. Из погреба дохнуло сыростью и плесенью. Пташку сбросили по ступенькам, — он упал возле каких-то бочек, едва не ударившись головой о стену из стоячих заплесневевших бревен.

В то время, когда спустившиеся в погреб унтер и солдат держали обмякшего и притихшего Пташку, Маркевич засветил фонарь, отпер вторую дверь и вошел в глубь погреба. Пташку ввели вслед за ним в сырое, лишенное окон затхлое помещение, в котором сквозь запахи погреба проступал тошнотный трупный запах.

С противоположного конца помещение было ограничено такой же стеной из стоячих бревен, и там видна была еще одна дверь на замке. Посредине помещения стоял топчан, в углу — кузнечный горн, сложенный из камней, с нависшим над ним темным мехом. Какие-то обручи были вделаны в боковые стены, веревки свисали с потолка.

Маркевич запер дверь на засов и подошел к Пташке.

— За что вы мучаете меня? Вы лучше убейте меня, — тихо и очень серьезно сказал ему Пташка.

— Раздеть его! — скомандовал Маркевич.

— Что вы хотите делать? — в ужасе спросил Пташка, вырываясь из рук унтера и солдата.

Но они кинулись на извивавшегося Пташку и, пиная его и вывертывая ему руки, сорвали с него одежду и,

голого, повалили на топчан. Пташка почувствовал, как веревки обхватили его ноги, руки, шею. Его крепко прикрутили к топчану. Пташка не мог даже напрягаться телом — веревки начинали душить его.

Раздался свист шомпола, и первый удар прожег Пташку насквозь. Пташка изо всех сил дико закричал.

XXVI

И с этого момента началась новая, страшная жизнь Пташки, слившаяся для него в не имеющую конца, сплошную ночь мучений, немыслимых с точки зрения человеческого разума и совести.

Пташку с перерывами пытали несколько суток, но сам он потерял всякое ощущение времени, потому что его больше не выпускали из этого темного погреба. Все время было разделено для Пташки на отрезки, в одни из которых терзали и мучили его тело, а в другие, выволоченный за дверь в тесную земляную каморку, он лежал в непроглядной душной и сырой тьме, забывшись сном или лихорадочно перебирая в памяти обрывки прежней своей жизни.

Иногда у него наступали мгновения небывалого просветления, какие-то болезненные вспышки в мозгу, когда казалось, что вот-вот он сможет понять и соединить в своем сознании всю свою жизнь и все, что с ним происходит сейчас. Но в тот самый момент, когда это должно было открыться ему, страшное лицо Маркевича, расстегнутый ворот рубахи унтера, откуда выглядывали его потная волосатая грудь и шнурок от нательного крестика, вспышки огня над горном и шуршание меха, хруст собственных костей и запах собственной крови и паленого мяса — все заслоняли перед Пташкой.

Тело Пташки становилось все менее чувствительным к боли, и для того, чтобы высечь из этого, уже не похожего на человеческое, тела новую искру страдания, изобретались все новые и новые пытки. Но Пташка уже больше не кричал, а только повторял одну фразу, все время одну и ту же фразу: «Убейте меня, я не виноват...»

Однажды, в то время, когда мучили Пташку, в погребе, как тень, появилась маленькая белая женщина. Пташка, закованный в обручи у стены, не видел, как она

вошла. Появление ее было так невозможно здесь, что Пташке показалось — он бредит или сошел с ума. Но женщина села на топчан против Пташки и стала смотреть на него. Она сидела безмолвно, не шевелясь, глядя на то, как мучают Пташку, широко открытыми пустыми голубыми глазами. И Пташка понял, что это не видение, а живая женщина, и вдруг ужаснулся тому, что все, что происходит с ним, это не сон и не плод больного ума, а все это — правда.

И в то же мгновение все прошлое и настоящее в жизни Пташки вдруг осветилось резким и сильным светом мысли, самой большой и важной из всех, какие когда-либо приходили ему в голову.

Он вспомнил свою жену, никогда не знавшую ничего, кроме труда и лишений, вспомнил бледных своих детей в коросте, всю свою жизнь — ужасную жизнь рядового труженика, темного и грешного человека, в которой самым светлым переживанием было то, что он понимал души малых птиц, порхающих в поднебесье, и мог подражать им, и за это его любили дети. Как же могло случиться, чтобы люди, которым были открыты и доступны все блага и красоты мира — и теплые удобные жилища, и сытная еда, и красивая одежда, и книги, и музыка, и цветы в садах, — чтобы эти люди могли предать его, Пташку, этим невероятным мукам, немыслимым даже и среди зверей?

И Пташка понял, что люди эти пресытились всем и давно уже перестали быть людьми; что главное, чего не могли они теперь простить Пташке, это как раз то, что он был человек среди них и знал великую цену всему, созданному руками и разумом людей, и посягал на блага и красоту мира и для себя, и для всех людей.

Пташка понял теперь, что то человеческое, чем еще оборачивались к людям эти выродки, владевшие всеми благами земли, — что все это ложь и обман, а правда их была в том, что они теперь в темном погребе резали и жгли тело Пташки, закованное в обручи у стены, и никакой другой правды у них больше не было и не могло быть.

И Пташке стало мучительно жаль того, что теперь, когда он узнал все это, он не мог уже попасть к живым людям, товарищам своим, и рассказать им об этом. Пташка боялся того, что его товарищи, живущие и борющиеся

там, на земле, еще не до конца понимают это, и в решающий час расплаты сердца их могут растопиться жалостью, и они не будут беспощадны к этим выродкам, и выродки эти снова и снова обманут их и задавят на земле все живое.

Распятый на стене Пташка глядел на кривляющуюся перед ним и что-то делающую с его телом фигурку Маркевича с потным и бледным исступленным лицом, на освещенную багровым светом горна съежившуюся на топчане и смотрящую на Пташку женщину, похожую на маленького белого червяка, и Пташка чувствовал, как в груди его вызревает сила какого-то последнего освобождения.

— Что ты стараешься? Ты ничего не узнаешь от меня... — тихо, но совершенно ясно сказал Пташка. — Разве вы люди? — сказал он с великой силой презрения в голосе. — Вы не люди, вы даже не звери... Вы выродки... Скоро задавят вас всех! — торжествующе сказал Пташка, и его распухшее, в язвах лицо с выжженными бровями и ресницами растянулось в страшной улыбке.

Маркевич, исказившись, изо всех сил ударил его щипцами по голове.

Тело Пташки два раза изогнулось, потом обвисло на обручах, и Пташка умер.

XXVII

Рота Игната Васильевича Борисова, проведя ночь в пути, на рассвете прибыла в Перятино. Село было до отказа забито партизанами. Роте отвели общественный амбар на площади, — немного было тесновато, но старик не возражал: под боком расположилась отрядная кухня, и суп можно было получать, когда он еще густой.

Пока Игнат Васильевич устраивал роту, пришел племянник Гришка, без разрешения отставший в деревне Краснополье, — разжиться медом. Старик прибил племянника, а туес с медом отобрал в подарок командиру отряда Ильину. Ильин в одних исподниках, босой, сидел на столе и кричал в телефонную трубку:

— Хунхузы? А много?.. Как?!

Дородная белотелая жена его, заметно на сносях, и молодой ординарец сидели верхами на лавке друг против

друга и чистили картофель. Помощник командира еще спал.

— Вот, Матрена Алексеевна, медок тебе. Из самого дома несли, — сказал Игнат Васильевич. — Что нового, детка?

Игнат Васильевич всех, даже стариков и старух, называл детками.

— Да почти и ничего, сап на коней объявился, — сипло, по-командирски ответила Матрена Алексеевна.

Ильин бросил трубку.

— Только хунхузов на нашу голову не хватало... Здравствуй, Игнат Васильевич! Что — мед? Это хорошо, — сказал он, посмеиваясь вотяцкими голубыми глазами. — Пришли, понимаешь, с хмыловских гольдов дань требовать, вот медики. Придется еще взвод посылать, ну их к чертовой матери! — весело говорил он, почесывая грудь, поросшую светлыми вьющимися волосами.

Матрена Алексеевна, взглянув на мужа, вдруг вся залилась краской, как девочка.

— Хоть бы оделся, — сказала она: не то чтобы она не видела его в таком обличье, да одно дело видеть голого мужа наедине, а другое — на людях.

— А чего мне прятать? Каждый знает, что у кого есть, — отшутился Ильин.

— У меня приказ вас разлучить, — с улыбкой пробасил Игнат Васильевич. — Пётра приказал, чтобы ты ее в ревком доставил на собственную опеку его.

— Пускай берет, только какая ему радость от нее? Матрена Алексеевна, размахнувшись по-мужски, пустила в мужа нечищеной картофелиной.

— В коленку ранила, нечистая сила! — смеялся он, прыгая на одной ноге, морщась. — Обожди, Игнат Васильевич, оденусь, продукты выпишу.

Справив все хозяйственные заботы и пообедав, Игнат Васильевич только было прилег вздремнуть в тени под амбаром, как его снова вызвали к Ильину: было получено распоряжение Суркова выслать заставу на Парамоновский хутор, и Ильин решил послать отдохнувшую на скобеевских харчах роту Борисова. Старику приказали установить под самым рудником наблюдательный пункт и о всех передвижениях противника немедленно сообщать в штаб отряда. К роте придали нескольких конных связных.

Хутор Парамоновский состоял из четырех дворов, расположенных вдоль по увалу, раскорчеванному под огороды возле самых изб и леспстому на остальном своем протяжении. С началом восстания, еще с зимы, жители покинули хутор и переселились в Перятино.

Расположив роту на хуторе, Игнат Васильевич выделил группу в пятнадцать человек пеших и конных для наблюдения над рудником.

Чтобы никто не подумал, что старик жалеет своих, он включил в группу второго, самого нелюбимого сына — Константина, сорокалетнего кривоногого, белесого и злого мужика, которого старик, чтобы скрыть свою нелюбовь к нему, называл Костинька-детка (так же все называли его и в селе), и внука Саньку — сына Костиньки-детки, молодожена, и племянника Гришку — сына Нестера Борисова, того самого Борисова, который ходил десятским в Скобеевке.

Старшим по группе Игнат Васильевич назначил старшего своего сына Дмитрия — чернобрового, несусветно бородатого, начавшего уже седеть богатыря, лучшего в долине охотника, лучшего даже среди остальных Борисовых, которые все славились как охотники. Старик назначил его не только по соображениям дела, но и для того, чтобы на время отдалить его от себя: в последние недели они так ссорились, что в день выступления из Скобеевки старик кинулся на сына с кулаками. А ссорились они из-за того, что сын требовал выделить его из хозяйства.

В Скобеевке было более двадцати дворов Борисовых, и все — от одного корня. Родоначальник этого куста, теперь уже умерший, прибыл в эти края в 1861 году, когда Игнату Васильевичу было всего шесть с половиной лет. Как и все старожилы, отец Игната Васильевича получил надел в сто десятин, но наплодил двенадцать сыновей, а сыновья тоже были изрядно плодовиты, а внуки тоже хотели быть хозяевами, а там уже подрастали и правнуки, и после бесконечных трехступенных разделов и выделов разбогатело только двое Борисовых, а большинство Борисовых жило хуже последних переселенцев.

Игнат Васильевич, отделивший уже трех сыновей, еще держался кое-как, но держался потому, что старший его сын Дмитрий, имевший в семье четыре пары взрослых рабочих рук, жил вместе с отцом.

Теперь, когда запахло всеобщим земельным переделом, заговорил о выделе и старший сын. А старику было и боязно, и обидно, и жалко чего-то большего, чем земля и рабочие руки, и он сопротивлялся уходу сына всеми силами.

— Злой он на тебя, — с довольной усмешкой на тонких бескровных губах говорил Костинька-детка, осторожно ступая кривыми ногами по тропе за старшим братом и прислушиваясь к тому, как позади партизаны высмеивают молодожена Саньку, — ты бы хоть не дражнил его, что ли?

— А что я могу сделать? — обернувшись, с добродушной и виноватой улыбкой на красивом сильном лице, сказал Дмитрий Игнатович. — Разве я дражню. Мне, поди, жалко его. Да кабы он один да матка, а то вон их сколько ртов! И всю жизнь я вроде в батраках, а уж седина в бороде. Я ему говорю: «Коли ты, говорю, стар станешь, неужто мы четверо — хоть бы я, или тот же Костинька, или Иван, или Ларивон — неужто мы не прокормим тебя с маткою?» — «А, спасибо, спасибо, говорит. Из милости? Я на вас сколь своих сил и души своей положил, а потом просись к вам, Христа ради?.. Я, кричит, лучше себя убью и матку вашу убью!» А правда, убьет, — с уважением к отцу сказал Дмитрий Игнатович.

— Не убьет, пугает, — усмехнулся Костинька-детка, прислушиваясь к разговору позади.

— Расскажи: как с молодой женой перву ночку коротал? — спрашивал позади чей-то издевательский голос.

— Это дело наше, — смущенно отвечал Санька.

— Нет, хорошо бы на староверские земли, под Виноградовку, — со вздохом сказал Дмитрий Игнатович, — там и с него и с нас хватило бы...

— Башмаки-то у невесты в порядке были? — доносился из-за спины Костиньки издевательский голос.

— Какие башмаки? Иди к черту! — сердился Санька.

«Так ему и надо», — злобно подумал Костинька-детка о сыне.

Жена Саньки была из засидевшихся девок, года на четыре старше его, и с дурной славой. Когда свадьба гуляла у родителей невесты, пьяные парни, желая показать, что невеста не невинна, ночью втащили на крышу сеней телегу с задранными оглоблями; к одной из оглобель была привязана люлька, а в люльке лежал грудной

ребенок, выкраденный неизвестно где, и голосил на всю улицу.

— На староверские, на староверские! — с раздражением сказал Костинька-детка и махнул рукой. — Так тебе и дадут, дожидайся. Не верю я этому...

— Известно какие, — не унимался издевательский голос. — Баба, брат, так дело поставит, будто в первый раз надела, а в них кто только не ходил...

Несколько человек засмеялось.

— Тише вы! — обернувшись, строго сказал Дмитрий Игнатович.

— Не верю я этому. Я, брат, никому и ничему не верю, — с озлоблением говорил Костинька-детка.

— Нет, почему же. А я верю. За то и пошли, — убежденно сказал Дмитрий Игнатович.

Все время, пока в погребе мучили Пташку и в расположении белых шла деятельная подготовка к наступлению на Перятино, группа Дмитрия Игнатовича жила в прорастающей папоротником лощине, отделенной от рудника только Золотой сопкой — длинной горой со скалистым, поблескивающим на вечернем солнце гребнем, похожим на застывшую волну прибоя. На этом гребне, в расселине между скал, и был установлен наблюдательный пункт, находившийся не более как в двухстах саженях от ближайшей заставы белых.

С высоты наблюдательного пункта видны были — весь рудничный поселок, выступающие там и здесь из лесу черные копры, станцийка с попыхивающими дымками «кукушками», дорога на Перятино и начало дороги на Екатериновку. Сменявшиеся через каждые четыре часа партизаны-наблюдатели видели, как сновали по Екатериновской дороге казачьи разъезды, как менялись ежедневно караулы и заставы белых и японцев, как свертывался на лугу у ручья лагерь американцев и, наконец, последний американский эшелон отбыл в сторону Кангауза.

В первое же утро после того, как было установлено наблюдение над рудником, выступила по дороге на Перятино конная и пешая разведка белых. Дмитрий Игнатович отправил конника предупредить отца.

Конник рассказал потом, как все получилось. Разведку захватили врасплох. Хотели всех порасстрелять, да Игнат Васильевич пожалел патронов и побоялся шу-

ма, — беляков порубили шашками. Конник сам порубил двоих.

На другое утро выступил на хутор небольшой отряд, до взвода пехоты. Взвод подошел к хутору и начал обстреливать его. Игнат Васильевич велел не отвечать, чтобы не показывать, сколько партизан на хуторе. Взвод пострелял, пострелял и повернул обратно.

На рассвете третьего дня выступила уже целая рота с пулеметом. Вначале все шло, как и накануне: рота обстреливала хутор, а партизаны не отвечали. Однако, когда рота попробовала оцепить хутор, партизаны встретили ее дружными залпами. Белые в порядке отступили, оставив несколько человек убитыми и ранеными.

Только успела эта рота вернуться на рудник, как из казарм расположения белых повалили солдаты и стали строиться. К строящимся ротам подтягивались походные кухни и крытые брезентом подводы обоза. Две пары сытых гнедых коней примчали скорострельную пушку.

Вызванный из лощины на наблюдательный пункт Дмитрий Игнатович насчитал шесть рот и шесть пулеметов. Построившись в колонны так, что пушка, обоз и кухня были взяты в середину, — отряд белых, колыхая штыками, тронулся по дороге на Екатериновку Дмитрий Игнатович послал связного — известить об этом отца.

В последнюю смену перед рассветом на наблюдательном пункте дежурили племянник Игната Васильевича Гришка, полный, белокурый паренек с детскими глазами, и горняк Терентий Соколов, недавно пришедший с рудника и приданный к роте Борисова, чтобы указать расположение белых застав.

Всю ночь шел дождь, все было мокро — и скалы, и кусты, и Гришка, и Терентий Соколов. И ничего не видно было вокруг. Ближе к рассвету в двух казармах осветились окна. Шорох дождя не давал хорошо слышать, но чудилась какая-то возня возле казарм.

Терентий Соколов остался слушать, а Гришка, оскользаясь по мокрой земле и содрогаясь от скатывавшихся с кустов за воротник холодных капель, спустился в лощину и вызвал Дмитрия Игнатовича.

Дмитрий Игнатович тоже не мог разобрать, что происходит возле казарм. Но, на всякий случай, отправил к отцу связного с сообщением, что что-то готовится. Не успел конник уехать, как со стороны поселка послыша-

лись нарастающие звуки чавканья сапог и копыт и хрясканье колес по грязи. И тогда Дмитрий Игнатович рассмотрел во тьме смутную массу людей и подвод, движущихся по Перятинской дороге.

Послав к отцу второго связного, Дмитрий Игнатович, не дожидаясь разрешения покинуть пост, со всей группой двинулся на Парамоновский хутор: он знал, что теперь их винтовки будут нужнее там, чем здесь. И был очень удивлен, застав на хуторе весь Сучанский отряд во главе с Сурковым.

XXVIII

Петр и Алеша Маленький уже третьи сутки жили в Перятине у Ильина.

Получив от Игната Васильевича сообщение о том, что бо́льшая часть рудничного гарнизона выступила в Екатериновку, то есть что на руднике остались теперь только две-три роты белых и японская рота, Петр решил не дожидаться, когда противник нападет на Перятино, а немедленно, всем Сучанским отрядом, наступать на рудник. В том случае, если бы не удалось взять рудник и обратный путь на Перятино был бы отрезан, Петр предполагал отступить горными тропами в Скобеевку и там обороняться.

Сучанский отряд, хотя и был объединен общим командованием, не представлял собой единого целого. Он сложился постепенно из нескольких отрядов, каждый из которых имел свою историю, своего выборного командира, был связан корнями с той или иной местностью, национальностью, профессией. Отряды эти назывались теперь ротами. Однако количество рот во всем Сучанском отряде было неопределенным: роты получали самостоятельные задания и снова превращались в отряды, подчиненные непосредственно центральному штабу; приходил вновь организованный отряд и зачислялся как новая рота. Количество людей в ротах было неодинаковым: в иной не более сорока, а в иной и все двести пятьдесят. Роты не имели порядковых номеров, а отличались одна от другой названиями прежних отрядов: Новолитовская рота, рота Борисова, рота горняков, корейская рота.

Едва зашло солнце, эта громоздкая и неслаженная

махина людей, впервые выступивших всей массой и удивившихся и повеселевших от зрелища собственной силы, обложила берег реки Сучана. Все село — от старого до малого — вышло провожать партизан.

Темная туча, в которую зашло солнце, к ночи закрыла все небо. На всем протяжении реки вдоль села — на пароме, на плотах, на лодках, конные вплавь — во тьме переправлялись через реку партизаны. Огненные языки факелов, их отблески на волнах и на стенах утесов по той стороне реки, говор толпы на берегу, звонкие голоса детей и плач женщин, крики переправляющихся партизан, ржанье коней, всплески весел, топот ног по парому и сходням сливались в одно тревожное, бодрящее и возбуждающее впечатление.

Петр, переправившись на ту сторону, лично выстраивал и проверял роты, все более недовольно поглядывая на затягивавшуюся переправу и на темное небо, предвещавшее дождь.

Алеша с чувством неловкости, которое он испытывал от того, что, с одной стороны, как бы принадлежал к начальству, а с другой — не имел в отряде никаких прав и обязанностей, некоторое время слонялся между ротами, потом взобрался на уступ утеса и сверху неодобрительно наблюдал за переправой.

Несмотря на видимость примирения, отношения между Петром и Алешей складывались все более неестественно и дурно. По молчаливому уговору они в неофициальной обстановке избегали касаться больных вопросов и разногласий. Но у обоих была привычка искренних и честных отношений, и они, оставаясь вдвоем, или угрюмо молчали, сдерживая и накапливая взаимное недовольство, или вдруг прорывались на мелочах и оскорбляли друг друга с тем большим раздражением, что они искренне любили друг друга.

— Тебе лишь бы самолюбие свое потешить: вот, дескать, я какой сильный, да грозный, да храбрый! — язвительно говорил Алеша.

— Да, да, привычка твоя вилять да замазывать нам давно известна! — гремел Петр. — Без вазелинчика ваша милость ни шагу...

На предварительном военном совещании Алеша не высказал своего отношения к плану наступления на рудник (он понимал невозможность раздвоения руководства

в боевой обстановке), но в душе он не одобрял этой операции. А Петр видел, что Алеша не одобряет ее, и злился на Алешу, и не мог заставить себя не злиться на него.

Часам к двенадцати Ильин на лодке последним переправился через реку. Петр приказал потушить факелы, прекратить разговоры. Темные колонны партизан в тишине ночного леса, в которой гулко раздавался топот полутора тысяч пар ног да слышен был шум начавшего накрапывать дождя, потекли по дороге на хутор Парамоновский.

Когда Дмитрий Игнатович со своей группой прибыл на хутор, по всему увалу — от самой его оконечности и до главного хребта — лежала цепь партизан. Она образовала в соответствии с линией увала длинную дугу, вогнутой стороной обращенную к наступающему неприятелю. Внутри этой дуги была болотистая низина — хуторские покосы. В середине дуги — хутор. Правый конец дуги упирался в неприступные скалы главного хребта, левый совпадал с окончанием увала и выходил в падь, где текла небольшая речка и где были хуторские пашни.

Чтобы парализовать возможность обхода левого фланга, Ильин с двумя ротами должен был занять позицию в лесу за падью.

Уже рассвело. Моросил мелкий дождь. Петр в шинели и в обвисшей и отяжелевшей от дождя папахе, волнуясь — успеют ли роты Ильина перейти падь, недвижимо, как каменный, стоял у одной из хат и смотрел в бинокль, как партизаны редкой цепочкой, согнувшись, один за другим пересекали падь и речку. Голова цепочки была уже в лесу по той стороне пади, а хвост только еще спускался с увала.

Рота Борисова, занимавшая позицию на хуторе, так и осталась лежать здесь, в самом центре расположения, под прикрытием хат, плетней и пеньков.

Игнат Васильевич, его сыновья — Иван и Ларион, внук Егорушка (сын Дмитрия Игнатовича) и примкнувший к ним Алеша Маленький, мокрые до костей, сидели в кустарнике волчьей ягоды, немного впереди роты. Здесь и нашли их Дмитрий Игнатович и остальные Борисовы.

Игнат Васильевич, не на шутку беспокоившийся о том, что старший сын может быть отрезан белыми, обра-

довался, увидев его, и хотел было похвалить его за хорошую службу, но потом подумал: «Ты ему палец в рот, а он всю руку отгрызет», — и отвернулся от сына. А Дмитрий Игнатович решил, что отец сердится за самовольный уход с поста, и обиделся на отца. «Они небось только-только из хат повылазили, а мы всю ночь мокли», — подумал Дмитрий Игнатович и, кликнув Егорушку, устроился с ним на краю кустов, подальше от отца.

Дождь то переставал, то снова моросил из низко висящих, ползущих по отрогам серых, рваных туч, но кое-где обозначились уже беловатые просветы.

Все части были на своих местах, всякое видимое движение прекратилось. Партизаны залегли и притихли, и — кто с выражением тревожного ожидания, кто — любопытства, кто — деланной небрежности, а кто и — недоверия к тому, что что-нибудь может случиться, смотрели на гребень отрога по ту сторону болотистой низины. По гребню ползали рваные тучи, из которых вот-вот должен был появиться враг.

И вдруг в тишине, в которой слышен был только шорох дождя и шум опадающих с деревьев капель, послышался отдаленный винтовочный выстрел. На лицах и в позах сотен партизан этот выстрел отозвался сотнями разнообразных душевных и внешних движений, среди которых преобладали движения удивления: «Так вот оно как!» — сказало большинство лиц и жестов.

В ту же секунду зазвучали новые винтовочные выстрелы, — одни чуть поближе, другие подальше.

Петр, сопровождаемый помощником командира и двумя пешими связными, вышел из-за хаты и прихрамывающей походкой, волоча на сапогах комья земли, пошел по огороду к кустам, где лежала семья Борисовых.

— Кажись, подходят? — бодро спросил он Игната Васильевича.

— Разведка, должно, — низким голосом сказал старик, смахнув с медной своей бороды капли дождя.

Выстрелы смолкли. Петр, просунувшись сквозь кусты, припав на колено, смотрел в бинокль в то место на противоположном отроге, где выходила из лесу дорога и где сидело сторожевое охранение.

— Вы бы, товарищ Чуркин, шли бы туда, за хату. И что вам тут делать, право? — слышал Петр голос помощника командира за своей спиной.

Помощник командира по просьбе Петра уговаривал Алешу перейти в более защищенное место.

— Там, за хатой, скучно, должно быть,— отшучивался Алеша. — Ежели вы от меня хотите большей пользы, лучше велите связному винтовку мне дать...

Они начали препираться — один почтительно, другой насмешливо. «Разве он уйдет!» — подумал Петр с гордостью за Алешу.

— Не слушай, не слушай его, Дементьев! — вмешался Петр. — Пускай идет за хату, а то еще скажут, что мы представителя комитета нарочно под пули подвели...

— Это тебе — как командующему — надо бы поменьше выставляться, — ядовито сказал Алеша.

— Не пойдешь, выходит? — не оборачиваясь, спросил Петр.

— И не подумаю...

— Вели дать ему винтовку, Дементьев...

Только Алеша взял винтовку, как где-то за противоположным отрогом просыпалась пулеметная очередь, и тотчас же быстро, вперебой, заговорили ружья.

— Вот когда подошли! — радостным голосом сказал Игнат Васильевич, окидывая проверяющим взглядом своих сыновей и внуков и всю роту.

Он увидел на краю кустов старшего сына. Дмитрий Игнатович в опавшей блином мокрой ополченской фуражке, в насквозь промокшей ватной куртке и в ичигах лежал, удобно расположив на земле большое тело, приснастив винтовку на развилину куста и спокойно перебирая губами какую-то былинку. В позе его и в выражении его большого хмурого лица с огромной седеющей бородой было что-то уже по-стариковски прочное.

И Игнат Васильевич вдруг подумал о том, что оба они, и отец и сын, в сущности, уже старики, и судьба у них одна, и на лице Игната Васильевича появилось мягкое и доброе выражение.

Он сделал было движение подойти к сыну, но в это время внимание его отвлекли выкатившиеся впереди из кустов фигурки партизан сторожевого охранения, поспешно отступавшего на хутор. Стрельба смолкла, стало необыкновенно тихо. Все внимание людей обратилось на то, успеет или не успеет сторожевое охранение перейти болотистую низину, пока белые выйдут на опушку леса.

Сторожевое охранение уже достигло подножия увала, когда с отрога посыпались частые и беспорядочные выстрелы и заговорил пулемет так близко и громко, что казалось, будто он стреляет где-то тут же, среди партизан.

XXIX

Теперь по всей линии противоположного отрога перекатывались винтовочные выстрелы, и вспышками то там, то здесь, смолкая и возникая вновь, строчили пулеметы.

Пули обильно свистели, визжали и пели над головами залегших по увалу партизан, чмокали в кустах и с долбящим и тарахтящим звуком били по крышам хат и стволам деревьев.

Но со стороны партизан никто не отвечал, — казалось, никого и не было здесь, на этом лесистом увале.

Все так же, просунувшись между кустов, на одном колене стоял Петр и смотрел не отрываясь в бинокль на линию отрога и видневшийся слева кусок пади, за которой сидели в лесу роты Ильина.

Все в той же позе лежал Дмитрий Игнатович, хмуро глядя перед собой и жуя былинку. Рядом с ним, полуоткрыв белозубый рот, словно оскалившись, лежал песельник Егорушка и смотрел горячими черными, с косиной, глазами на линию противника.

Рядом с Егорушкой сник за пеньком партизан, пораженный пулей в голову.

Дождь перестал... Облегченные тучи с растущими в них белыми просветами вспользали выше по сопкам, обнажая лес на склонах.

Петр заметил вдруг, как слева, впереди, в том месте, где оконечность противоположного отрога мыском выходила в падь, выкатилось из лесу на падь несколько фигурок в защитном. Фигурки эти одна за другой переходили речонку и редкой цепочкой, все более вытягивающейся и вытягивающейся из лесу, двигались вдоль по пади, в обход левого фланга партизан. Вскоре виден стал отделившийся от отрога хвост этой цепочки, — в ней было не более ста человек. Она двигалась почти по кромке леса, где сидели партизаны Ильина, но была еще далеко от них.

Через некоторое время такие же фигурки в защитном

замелькали в кустах по склону отрога — прямо против расположения роты Борисова. Вскоре они показались в низине, и тогда все партизаны увидели развернувшуюся по фронту цепь белых, низиной наступавшую на хутор.

По всей линии партизан прошло чуть заметное движение: кто принял позу более удобную для стрельбы, кто передернул затвор, кто чуть высунул голову, чтобы лучше видеть. На лицах появились выражения озабоченности, страха, суровости и ожесточенности и еще такое, как у человека, прыгающего в холодную воду: «Ну, была не была!»

— Дементьев! — обернувшись, сказал Петр. — Пройди-ка ты сам на левый фланг, проследи, чтобы не стреляли раньше времени...

Где-то за отрогом ахнула пушчонка. Снаряд тенорком пропел над головами и разорвался позади хутора.

Все время, пока двигалась по низине наступающая цепь белых, не прекращался сильный огонь из винтовок и пулеметов и размеренно била пушчонка, — вскоре ей удалось снести крышу у хаты, за которой был перевязочный пункт. В цепи партизан были уже убитые и раненые. Но партизаны по-прежнему молчали.

И вдруг с той стороны, где сидел отряд Ильина, донесся раскатистый дружный залп, за ним второй, третий, четвертый... Петр увидел в бинокль, как смешалась двигавшаяся в обход по кромке леса цепочка белых: одни упали, другие остановились, третьи бросились бежать. Из лесу показались бегущие им навстречу, вдогонку и наперерез партизаны, — донеслось отдаленное «ура».

Цепь белых, наступавшая низиной, должно быть, услышала эти залпы и это «ура» и несколько поколебалась, но не остановила своего движения.

Чем ближе подходила цепь, тем больше нервничали партизаны. Все более нетерпеливо поглядывали они на командиров, — на многих лицах появилось выражение страдания, некоторые, под видом раненых, уползали с передней линии.

Вот уже не более трехсот шагов отделяло цепь от партизан. Видно было, что идут юнкера. Уже можно было видеть их молодые лица, бляхи ремней на шинелях, погоны ведущих роту офицеров. С правого фланга наступающей цепи пулеметные номера, согнувшись и неверно ступая по кочковатой местности, волочили «гочкисы».

Петр спрятал бинокль.

— Начнем, Игнат Васильевич, — тепло и просто сказал он, доставая из-за спины японский карабин.

— Детки! — просительно обратился Игнат Васильевич к сыновьям и внукам. — Не забудьте наперво пулеметчиков посымать... Рота-а! — торжественно загудел он.

Алеша вспомнил вдруг, что он не проверил, есть ли у него в стволе патрон (он первый раз был в бою), и перебрал затвором. Несмотря на решительность этого мгновения, лежавший рядом с Алешей Костинька-детка, белесый, мокрый и язвительный, оторвался от мушки и посмотрел на Алешу с таким выражением, с каким мужик смотрит на барина, взявшегося за мужицкое дело.

Но Алеша уже не видел этого: сдерживая сердцебиение, которое было у него не от страха, а от разбиравшего все Алешино существо охотничьего азарта, Алеша целился в темные усы унтера, шагавшего в цепи.

— Пли!.. — скомандовал Игнат Васильевич.

Ударил оглушительный залп. Партизаны роты Борисова передернули затворы. Цепь юнкеров в замешательстве остановилась, — видно было, как раненые корчатся на молодой траве. И вдруг по всей линии увала — вперекат, залпами и врассыпную — загремели выстрелы, и воздух задрожал от их грохота. В несколько минут цепь была разбита и растерзана на мелкие лоскутья. Синий дымок от бердан взошел над кустами.

Отдельные группы юнкеров залегли между кочек и начали отстреливаться. Офицер с бакенбардами кричал и показывал рукой, что надо идти вперед. Оставшиеся в живых номера успели пустить в ход пулеметы, но «детки» Игната Васильевича, не торопясь, словно выполняя какую-то работу, поснимали одного за другим и этих. Юнкера, не выдерживая огня, срывались и бежали прочь. Офицер с бакенбардами пытался задержать их, потом сорвал с головы фуражку и стал яростно топтать ее ногами.

Алеша, увидев после первого залпа, как упал унтер с темными усами, и приписав это своей меткости (хотя была еще добрая сотня возможностей гибели унтера), вылез, сам того не замечая, из кустов и, в ожесточении раздувая волосатые ноздри, стрелял с колена рядом с Сурковым.

Отдельные партизаны, видя бегущего противника, не обращая внимания на то, что огонь залегших в низине

групп юнкеров стал более действительным, тоже вскакивали со своих мест и, кто с колена, кто стоя, били по бегущим. В грохоте выстрелов и в общем возбуждении боя утратилось чувство соседа, и никто не замечал, как под огнем противника то там, то здесь падали или сникали убитые и раненые.

Петр, все время не выпускавший из наблюдения левый фланг, увидел, что партизаны Ильина уже оцепляют оконечность противоположного отрога, и бо́льшая часть огня белых резервов теперь сосредоточилась на них.

— Пошли, Игнат Васильевич! — встав с колена, решительным и бодрым голосом сказал Петр.

— Пошли, Пётра, — покорно сказал Игнат Васильевич, тяжело подымаясь с земли. — Вставай, детки!..

— За мной... Ура!.. — крикнул Петр и неторопливой прихрамывающей походкой, как бегал он раньше на слободских «стенках» по склонам Орлиного гнезда, побежал с увала.

— Ура! — закричали тоненько и весело Алеша, басисто и страшно — Игнат Васильевич.

— Ура-а!.. — дружно подхватили «детки», бросаясь за ними.

Дмитрий Игнатович, бросившийся вместе со всеми, вдруг схватился левой рукой за грудь и, головой вперед, упал всем своим крупным телом.

— Тятя! — вскрикнул Егорушка, остановившись возле отца.

Рота уже пробежала вперед. Егорушка, опустившись на колени, склонился к отцу, испуганно заглядывая в его большое, привычно бородатое лицо.

— Тятя! — жалобно повторил он.

Дмитрий Игнатович, лежа на животе, удивленно поворачивал глаза на сына и не узнавал его; сквозь узловатые пальцы его руки, прижатой к груди, сочилась кровь. Он сделал движение, чтобы встать, но не смог, и только тогда понял, что́ с ним произошло, и узнал Егорушку.

— Беги, беги, сынок, — сказал он. — Беги, ну!.. — повторил он как будто даже сердито.

Егорушка, всхлипнув, перехватил винчестер и побежал вдогонку за ротой.

В воздухе, все заполняя вокруг, волнами катился крик: «А...а...а...а...»

По всему склону увала, мелькая между кустов и по низине, обгоняя друг друга, лавиной бежали партизаны.

В голубой просвет меж ползущих по небу облаков прорвались длинные лучи и заиграли в мокрой молодой листве деревьев, в миллионах капель дождя на траве и на оружии, на сапогах, на лицах бегущих живых и лежащих мертвых.

XXX

Разведывательная рота, которую Лангвой посылал накануне на Парамоновский хутор, определила силы партизан, занимавшие его, в сто — сто пятьдесят ружей.

Лангвой не мог предполагать того, что весь Сучанский отряд в течение ночи переправится на хутор, то есть рискнет оставить позади себя реку и открыть путь долиной на Скобеевку.

Отправив бо́льшую часть своего отряда в Екатериновку с задачей наступления долиной на Перятино, Лангвой с двумя ротами добровольцев и ротой юнкеров двинулся на Парамоновский хутор с тем, чтобы разгромить засевший на хуторе небольшой отряд красных и выйти к Перятинской переправе.

Свою оплошность он почувствовал в то мгновение, когда рота, посланная в обход хутора, была встречена огнем с неожиданных позиций — из леса за падью.

Остановить развившееся уже наступление юнкеров по низине Лангвой не смог по краткости времени и потому, что вчерашние сведения продолжали путать его.

И только когда партизаны открыли огонь по наступающим низиной юнкерам, Лангвой понял, что имеет дело с противником, в несколько раз превосходящим его силами, и что речь идет уже не о том, чтобы выйти к Перятину, а о спасении отряда и рудника.

С той решительностью, которая всегда была присуща ему в критические моменты выбора между требованиями необходимости и голосом самолюбия, Лангвой отдал приказ к отступлению и послал вестовых в Екатериновку, вдогонку за главными силами, с приказанием немедленно возвратиться на рудник. Одновременно он послал записку капитану Мимура о том, что под давлением превосходных сил противника отступает к руднику и рекомендует капитану приготовиться к защите рудника.

Солнце поднялось за полдень, небо почти очистилось, ползли только отдельные облачка, временами закрывая солнце, да вершина горы Чиндалазы была еще вся окутана облаками, когда главные части партизан подошли к руднику и вступили в перестрелку с белыми и японцами.

Передовая группа японцев занимала круглую сопочку на самой Перятинской дороге. В первом наступательном порыве рота Борисова и примыкающие к ней другие роты центрального направления, как волны прибоя, накатились на сопочку, и партизаны даже удивились, когда с вершины сопочки увидели бегущих от них японских солдат.

По мере подхода других частей стрельба все возрастала, и часам к трем по всему юго-восточному полукругу — от устья Екатериновской дороги, куда вышли роты Ильина, и до нависших над рудником скалистых вершин главного хребта, где находился правый фланг красных, — стоял синеватый дым от бердан и кремневок и желтовато-серый — от рвущихся снарядов, и воздух сотрясался от ружейной, пулеметной и пушечной стрельбы.

Расположенная правее Перятинской дороги длинная Золотая сопка была теперь занята неприятелем.

По мелькавшим иногда среди камней желто-зеленым околышам фуражек, по характерному округлому, плачущему звуку выстрелов, а главное — по силе и порядку пулеметного огня с Золотой сопки можно было заключить, что она занята японцами.

Окрыленные первым успехом, роты центрального направления попытались было «на ура» прорваться на рудник, минуя Золотую сопку, но были остановлены сильным фланговым огнем и отступили.

Рота Борисова залегла на горе, отделенной от Золотой сопки глубокой лощиной, той самой, где несколько дней жила группа Дмитрия Игнатовича. Рота завязала с японцами длительную перестрелку.

Как всегда, посредине и немного впереди роты лежал огромный Игнат Васильевич и стрелял только тогда, когда из-за камня возникал кусочек чего-нибудь живого.

На лице старика, знавшего уже о тяжелом ранении сына, не было прежнего величавого спокойствия, перемежаемого внезапной — то гневной, то радостной, то

хитрой игрой жизни. Лицо его было смертельно бледно, и бледность на этом могучем меднобородом морщинистом лице была так неестественна и ужасна, что партизаны боялись смотреть старику в глаза.

Петр и Алеша Маленький по-прежнему находились в роте Борисова.

С того момента, как завязался бой, все моральные и физические силы Петра и Алеши были целиком отданы самому процессу боя и делу управления им.

Как ни ново было это дело для Алеши, но, будучи человеком смелым и наблюдательным, все время находясь в курсе всех планов и распоряжений Петра и все время замечая, как десятки и сотни вновь возникающих и меняющихся обстоятельств боя грозят сломать эти планы — Алеша невольно стал помогать Петру и скоро вошел в суть и частности дела и превратился в ближайшего помощника Петра.

Ни сам Алеша, ни Петр, никто из командиров и рядовых партизан не заметили того момента, когда Алеша из человека, находящегося «не при деле», превратился в ближайшего помощника Петра. Но к тому времени, когда штаб командования расположился на горе против Золотой сопки, эта роль Алеши была принята и признана уже всеми.

И прибывавшие с флангов по тем или иным поручениям связные, и командир соседней справа роты горняков, требовавший патронов, и наезжавший из тыла завхоз, волновавшийся тем, что много тратят патронов и что стынет обед, который он сварил на Парамоновском хуторе, и фельдшер полевого лазарета, спрашивавший — свозить ли раненых в Перятино или дожидаться, пока займут рудник (фельдшер полагал, что раненых вот-вот можно будет устроить в рудничном госпитале), — все они и десятки других людей обращались теперь к Алеше, как к человеку, могущему помочь и решить.

Сам Петр все чаще обращал к Алеше багровое лицо с горящими суровыми и счастливыми от напряжения борьбы глазами и говорил:

— Алеша, подшевели-ка «Латвию», она уже вон где должна быть, а она за сопкой сидит!.. Обматери рыбаков, Алешка, — куда это они поплыли? Рыбку удить?

И Алеша решал вопрос о раненых, и подшевеливал «Латвию», и материл рыбаков.

Чем жарче разгорался бой и чем больше упорства проявлял противник, тем ожесточенней становился Петр и тем спокойней и даже как-то ласковей — Алеша.

— Не отвести ли корейскую роту в тыл, Петя? — нежно, точно речь шла о ребенке, говорил Алеша. — Она невелика, а потери у нее большие...

Или:

— Петенька! Горняки опять патронов просят, — хитрят они, по-моему...

Но несмотря на то, что все силы и Петра и Алеши были заняты боем, они все время помнили и чувствовали друг друга, беспокоились и заботились друг о друге. Это не выражалось ни во взглядах, ни в жестах, ни тем более в словах поддержки или одобрения, или благодарности; но простое знание того, что оба они не сдадут и не согнутся перед лицом опасности, это чувство доверия друг к другу перед лицом врага придавало их отношениям сейчас особенную теплоту и силу мужества.

XXXI

Конник, давно уже посланный Петром в Перятино — узнать, куда движется отряд белых, занявший вчера Екатериновку, — все еще не возвращался.

Петр знал, что, если этот отряд успеет вернуться на рудник до того, как партизаны займут рудник, партизанам придется отступить. А между тем после первых частичных успехов Ильина (Ильин занял крайние с юга шахты и подошел почти к самому рудничному поселку) дело не двигалось вперед. Белые укрепились на последнем отрожке перед казармами. Две попытки атаковать их были встречены ураганным огнем, — партизаны отступили с большими потерями.

Привыкнув к непродолжительным действиям — налетам, засадам, в крайнем случае к непродолжительной обороне, партизаны ни по организации, ни по психологической готовности не были приспособлены к упорным наступательным действиям, тем более, что сила огня противника во много раз превосходила силу огня партизан. Особенно подавляла артиллерия — не столько действенностью своего огня, сколько морально — оглушительными звуками, вспышками дыма, тяжестью ранений.

Попытка Суркова продвинуть вперед роты правого фланга привела к тому, что роты, двинувшись по сильно пересеченной местности и попав под артиллерийский обстрел, потеряли связь не только между собой, но и внутри самих рот и распались на мелкие кучки. Часть из них отступила в тыл, другая часть, проплутав по лесистым балкам, вместо того чтобы выйти вперед и правее, вышла назад и левее и наткнулась на роту горняков. В течение получаса роты перестреливались, принимая друг друга за белых.

Вскоре, к тому же, всеобщим стало требование патронов. Обычный запас патронов на бойца не превышал сорока — пятидесяти штук. Стрелять полагалось только по видимой цели и на близком расстоянии и только по команде. В небольшой стычке боец расходовал не более пяти патронов; в сражении, которое считалось крупным, — не более двадцати — тридцати патронов.

Теперь же, в условиях длительного наступательного боя, партизаны израсходовали бо́льшую часть запаса патронов.

Немало среди партизан было и таких, которые вообще не понимали, зачем после того, как противник побит и загнан на рудник, нужно еще драться с ним? Рассматривая себя не только в отряде, но и в бою на положении добровольцев, такие партизаны, притомившись и проголодавшись, отходили в тайгу поспать или пообедать.

Часам к шести вечера от Ильина прибыло двое запыхавшихся связных, сообщивших Петру о том, что главные силы белых движутся из Екатериновки к руднику и вот-вот подойдут с тыла к цепям Ильина.

Петр отправил связных обратно с приказанием Ильину немедленно отойти и очистить противнику дорогу на рудник. Опасаясь паники, он спустился в полутемный, пахнущий травой распадок, где стоял его вороной, и, сопровождаемый тремя вестовыми, поехал в расположение Ильина.

При переезде через Перятинскую дорогу, по обеим сторонам которой лес был расчищен, Сурков с вестовыми был замечен с Золотой сопки. Вдоль по всему расчищенному пространству, как ветер в трубе, засвистели пули. Вестовые, пригнувшись к седлам, пустили лошадей вскачь, чтобы скорее проскочить открытое пространство. Петр, не желая, чтобы вестовые подумали, будто он тоже

боится, по-прежнему ехал шагом, не меняя позы и не глядя в сторону противника. Он пересек уже все открытое пространство, но дорогу заграждало упавшее с вывернутыми корнями дерево. Объезжая его, Петр оказался на мгновение повернутым всем своим широким корпусом к противнику, и в это мгновение что-то ударило и обожгло его бок повыше поясного ремня.

Не смея взглянуть на это место, сразу ставшее мокрым, но чувствуя, что он по-прежнему может сидеть в седле, Петр, не понукая лошади, шагом объехал дерево и уже в тени леса, где поджидали его вестовые, не глядя, приложил ладонь к раненому месту и ощутил ладонью льющуюся на нее кровь. «Досадно-то как!» — подумал он, все еще не соображая, что означает это и для него, и для других.

В это время не так далеко, но значительно левее расположения Ильина, почти разом заговорили два пулемета, и началась ружейная стрельба. «Неужели подошли?» — побледнев, подумал Петр. Он пришпорил жеребца и во весь опор помчался по тропе к расположению Ильина.

В боку то начинало ныть, то отпускало, точно кто-то зажимал пальцами, то отпускал край внутренностей, — липкая кровь растекалась по левой ноге.

— Стой! Куда? — вдруг закричал Петр, увидев бегущие среди деревьев навстречу ему одиночные фигуры партизан.

— Казаки... Все пропало!.. — выкрикнул передний партизан, выбежав, растрепанный, без шапки, прямо на Петра. — Товарищ Сурков... — вдруг сказал он, узнав Петра, и остановился.

— Назад! — взревел Петр, наезжая на партизана.

Партизан шарахнулся, косясь на окровавленную полу шинели Суркова. Другие партизаны, набегая на переднего, останавливались и, тяжело дыша, тоже смотрели на Суркова.

— Стыдно, — сказал Петр. — Казаки! Их же не более полусотни. Сейчас же по местам! А ну, возьми их в работу, ребята, — обратился он к нагнавшим его вестовым.

Вестовые конями стали теснить партизан. Партизаны повернули обратно.

Петр понял, что к руднику подошла шедшая передней казачья сотня. Совсем забыв о ране, Петр обогнал парти-

зан и перевалил отрожек. Глазам его открылась верхняя часть пади той самой речки, что текла мимо Парамоновского хутора. По этой пади врассыпную в панике бежали группы дезертиров.

Петр выскакал на падь и, поворачивая коня то вправо, то влево, задержал человек двадцать. Они — кто со страхом, кто с удивлением, кто со стыдом — смотрели на ставшее белым как мел лицо Петра и на мокрую красную полу его шинели, с которой капала кровь.

— Чего стоите, все пропадем!.. — крикнул, набегая, партизан с выбитыми передними зубами.

— Я тебе дам пропадем! Стоять! — пригрозил Петр.

Партизан, не слушая, побежал дальше. Петр выстрелил поверх него, партизан в страхе упал, несколько человек засмеялось.

— В цепь, ну! — сквозь зубы, все больше бледнея от потери крови, тихо скомандовал Петр, но все услышали его. — Вон ты первый пойдешь, ты за ним... по одному вон туда, на кромку... всех задержать...

Партизаны рассыпались в цепь поперек пади. В это время впереди показались в порядке отступавшие из лесу цепи Ильина.

Петр почувствовал вдруг свинцовую тяжесть на темени и грузно набок сполз с лошади, — кто-то подхватил его под руки.

XXXII

После отхода рот Ильина, открывших Екатериновскую дорогу, начался постепенный отход и других частей партизан. Роты центрального направления оставались на своих позициях до захода солнца, прикрывая отступление отряда.

Когда рота Борисова прибыла на Парамоновский хутор, части, отступившие первыми, были уже у Перятинской переправы. По дороге от хутора к переправе сплошным потоком двигались отставшие партизаны, раненые, могущие идти, раненые на возах и разрозненные подводы обоза. Алеша Маленький по-прежнему шел вместе с ротой Борисова. Настроение у него было мрачное. Он боялся за жизнь Петра. Кроме того, вся операция, по его мнению, была не только неудачной, но бесповоротно доказывала всю непригодность больших партизанских армий и неправильность всего военного плана Петра.

Однако по веселым и оживленным, несмотря на усталость, лицам партизан и по разговору вокруг Алеша мог заключить, что большинство партизан расценивает бой под рудником как громадную победу.

Мнение это основывалось на том, что партизаны не только отогнали противника от Парамоновского хутора, но обложили рудник и несколько часов продержали противника в страхе; на том, что потери противника были значительно большие, чем потери партизан; на том, что отряд белых, вышедший через Екатериновку в долину, вынужден был вернуться на рудник; и, наконец, на том, что в этом бою партизаны впервые столкнулись с японцами и японцы побежали от них.

Воспоминание о всех неувязках боя, вид раненых, сознание того, что никто не понимает смысла всего происшедшего, и боязнь за жизнь Петра — все это тяжестью лежало на сердце у Алеши.

Рота прибыла в Перятино поздней ночью. Еще на Парамоновском хуторе Игнат Васильевич узнал, что старший сын его умер. Тело сына лежало у младшей сестры Игната Васильевича, жившей замужем в Перятине.

Разместив роту, Игнат Васильевич и осунувшийся от горя и усталости Егорушка в молчании направились к избе, где жила сестра Игната Васильевича. Несмотря на поздний час, во всех окнах еще горели огни, по всему селу стояли оживление и говор. Поравнявшись с избой сестры, Игнат Васильевич молча снял шапку и вошел в избу. Егорушка вошел вслед за ним.

Вся семья сгрудилась на черной половине вокруг двух взятых на постой партизан. Один из них возбужденно рассказывал о бое. Когда Игнат Васильевич вошел, рассказчик замолк, все лица повернулись к старику. Сестра, уже сама глубокая старуха, встала к нему навстречу, хотела что-то сказать, но вдруг поднесла к глазам передник и заплакала.

— Где? — спросил Игнат Васильевич.

Она, плача, кивнула на дверь в горницу.

Дмитрий Игнатович, обмытый и расчесанный, в новых полотняных штанах и рубахе, лежал в пахнущем смолой гробу на столе посреди комнаты. У изголовья его горела свеча. Лампадка в углу освещала смуглые лики образов. Игнат Васильевич, обеими руками прижав к животу

шапку, остановился в ногах у сына. Рядом, переняв позу деда, робко стал Егорушка.

Смерть не исказила знакомые черты. Лицо у Дмитрия Игнатовича было спокойное, красивое и строгое. В расчесанной бороде его явственней обозначалась седина, и от этого Дмитрий Игнатович выглядел еще старше. Со стороны можно было подумать, что это лежит в гробу ровесник Игната Васильевича, товарищ его молодости.

Сорок шесть лет назад, жарким солнечным днем косили на берегу Сучана покойный отец Борисов, девятнадцатилетний Игнат и жена его Маша, бывшая накануне родов, — сильная, высокая, чернявая молодка хорошей кости, с руками мужика и властными черными глазами. Косила она, косила, потом простонала и опустилась на рядок скошенной травы. Отец помогал сношке родить, а молодой Игнат стоял возле, опустив громадные, как сковороды, руки, и ветер играл его медной гривой. Со страхом, удивлением и жалостью смотрел молодой Игнат, как изгибается на скошенной траве могучее тело жены, — могучее и в любви и в работе.

И вот родился у Игната сын, маленький, мокрый комочек, родился и заплакал. Дед зубом перекусил пуповину.

Родился сын, — посмотрели в святцы, на какого святого родился, и назвали Митей.

И вот уже ходил маленький Митя, черноглазый, как мать его Маша, в новеньких ореховых лапоточках за бороной и учился сеять, и косить, и рубить деревья, и бить зверя. А потом пришла пора женить Митю, и начал он обрастать черной бородой, и у самого у него пошли дети, и звали его уже все Дмитрием.

Когда уходил Дмитрий на японскую войну, до самого парома провожали его — сам Игнат Васильевич с распластавшейся на груди от ветра медной бородой, и мать его Марья, и жена его Сонька с грудным на руках, и любимый сынок его Егорушка. И все плакали, даже Игнат Васильевич прослезился. Только мать с уже легшими по ее лицу первыми морщинами старости, но с глазами орлицы, не проронила слезы. Казалось, никогда не пережить того, что ушел любимый сын на войну в чужую Корею, но пережили и это. И вот в черной бороде Митрия уже пошли первые седины, и стал он сам Дмитрием Игнатовичем.

И столько труда принял он на себя в своей жизни! Трудился он над землей, над травами, деревьями, ветрами, реками, камнями, зверями, — трудился не для чего-нибудь хорошего, а для того, чтобы прожить, и был он хорошим товарищем в труде. А теперь он лежал в гробу, товарищ молодости, человек одной с Игнатом Васильевичем судьбы.

А Егорушка стоял рядом, со страхом глядел в мертвое лицо отца и думал о том, что вот он, Егорушка, был дерзким, обижал родных и товарищей, отлынивал от работы и что так жить дальше нельзя, иначе очень страшно будет умирать.

XXXIII

Раненый Сурков лежал в избе Ильина. Алеша Маленький взялся за ручку двери, и сердце его вдруг так забилось, что он не решился отворить дверь и некоторое время посидел на крыльце. Такая тишина стояла в доме, что Алеше казалось — он застанет Петра уже умершим или умирающим.

Наконец он решился и отворил дверь. В первой горнице, освещенной висячей лампой, сидел фельдшер или санитар и читал «Партизанский вестник». Возле телефона, откинувшись к стене, дремал усталый телефонист.

Когда Алеша вошел, фельдшер приложил палец к губам и кивнул на распахнутую на обе половинки дверь в соседнюю темную комнату.

— Как он? — бледнея, спросил Алеша.

— Ничего... много крови потерял, но рана неопасная...

— Ну, как хорошо-то! — с облегчением сказал Алеша.

— Кто там? — вдруг спросил Петр из соседней комнаты обычным своим голосом.

Алеша испуганно зажал рот рукой, потом, отняв руку, сказал:

— Это я, Петя... — Он на цыпочках подошел к двери и заглянул в темноту комнаты. — Где ты?

— Я здесь, — отозвался Петр, должно быть, улыбаясь.

Алеша так же на цыпочках подошел к кровати и нагнулся, пытаясь рассмотреть лицо Петра. Петр взял его за руку и потянул к себе.

— Садись, расскажи все...

— Как раз самое время рассказывать, — садясь на край кровати, сурово сказал Алеша. И вдруг, не выдержав, он склонил голову и прижался к горячему лбу Петра. — Я уж думал, что навеки потерял тебя, — сказал он тихо.

— Друг мой... — Петр крепко сдавил его руку. — Друг мой. Самое лучшее, что было в моей жизни, это ты, — сказал Петр, счастливо улыбаясь в темноте.

XXXIV

Лена поступила работать сестрой в больницу. В сущности, ей хотелось бы выполнять другую работу, в которой она могла бы полнее проявить свои силы. Но Лена не посмела просить об этом.

После всего пережитого ей казалось, что ее личная жизнь кончена. Она думала, что теперь она должна смирить все свои не только лучшие желания и мечты о жизни, стремление к личным радостям, здоровью, любви, счастью, выдвижению себя среди людей, — но что она не должна и не имеет права вообще проявить себя как личность.

Она не имела права выбирать, она обязана была делать то, что умела, и стараться делать это хорошо.

В тот день, когда шел бой под рудником, по селу производили сбор белья для госпиталя: ожидалось много раненых.

Ночью несколько женщин-доброволиц стирали белье, днем белье сохло на плетнях и веревках во дворе больницы. Перед сумерками собралось до двадцати женщин — в большинстве немолодых — гладить белье. Некоторые пришли со своими утюгами.

Коноводом среди женщин была Марья Фроловна — жена Игната Васильевича, рослая, сильная в кости старуха с орлиными глазами, грубоватыми и резкими манерами и голосом.

Белье гладили в помещении больничной кухни — небольшом беленом здании во дворе больницы.

Лена, дежурившая в этот день, в смутной тревоге и тоске, причину которых она не могла объяснить, то бродила по коридору больницы, то уходила в комнату для сестер и принималась читать, — но чтение не шло на ум.

Перед вечером она распахнула окно, положила раскрытую книгу на подоконник и, тут же забыв про книгу, задумалась. В раскрытые окна кухни ей видны были смутные силуэты женщин, гладивших белье.

Вот-вот должны были привезти раненых, женщины торопились, но в движениях их и в голосах не чувствовалось суеты и тревоги, — они работали уверенно и споро. И все-таки было в их работе что-то отличное от обыкновенной работы: не слышно было обычных, когда собирается много женщин, шуток и смеха. Изредка то один, то другой голос начинал тихо напевать что-нибудь протяжное и тут же смолкал.

Постепенно смеркалось, но в кухне, экономя керосин, не зажигали ламп. Иногда то та, то другая из гладильщиц выбегала на крылечко и, размахивая утюгом, раздувала угли, пуская по ветру красный веер искр.

Вдруг одна из женщин сипловатым, не сильным, но приятным душевным голосом начала знакомый Лене мотив. Лена сразу вспомнила такие же тихие сумерки, мужика, склонившегося перед ней и спиртом растиравшего ей ноги, звяканье кольца от люльки в соседней комнате и голос женщины, качавшей люльку и тихо напевавшей нерусскую песню:

Трансваль, Трансваль, страна моя,
Ты вся горишь в огне...

Так же тихо и задушевно пела сейчас не видная Лене женщина на кухне, и все остальные гладильщицы постепенно присоединялись к ней, и их немолодые, грубые и нежные голоса вскоре слились в общем пении.

Первые же звуки этого пения отозвались в душе Лены с неожиданной страстной силой. Сила пения была в том, что пели эту мужественную и трогательную песню пожилые деревенские женщины с лицами, преждевременно изборожденными морщинами, с руками большими и грубыми, как у мужиков, женщины — матери многих сыновей-тружеников, и пели они ее тогда, когда уже многих из сыновей не было в живых и когда белье, которое гладили женщины, вот-вот будет перепачкано сыновьей кровью.

Настал-настал тяжелый час
Для родины моей,
Молитеся вы, женщины,
За ваших сыновей, —

пели женщины, и в грубом и нежном плетении их голосов хорошо выделялся низкий, вторящий контральто Марьи Фроловны:

Мой старший сын, старик седой,
Убит был на войне...

Не было здесь никакого Трансвааля и никаких буров, но то, что́ пели женщины, это была правда, нельзя было не поверить в нее. И смутная тоска и тревога, владевшие Леной весь день, вдруг разрешились обильными, счастливыми слезами.

Женщины все пели, а Лене казалось, что есть на свете и правда, и красота, и счастье, — да, они были и в белокурой женщине на станции, и в китайцах-ломовиках, боровшихся на поясах под весенним солнцем, и в сердцах и голосах этих женщин, певших о своих убитых и борющихся сыновьях. Как никогда еще, Лена чувствовала и в своей душе возможность правды, любви и счастья, хотя и не знала, каким путем она сможет обрести их.

Уже догорала вечерняя заря, звезды зажглись на небе. Женщины давно смолкли. А Лена все еще сидела у распахнутого окна. Вдруг издалека донесся стук и скрип медленно ползущих телег.

Из кухни донеслось несколько возгласов, и вдруг все женщины, оставив глаженье, гурьбой выбежали из кухни через двор за ворота. Лена, поправив волосы и накинув на плечи платок, выбежала вслед за ними.

Женщины, сбившись, стояли у ворот и смотрели на приближавшийся к воротам обоз. Синий свет звезд лежал на лицах и контурах сидевших и лежавших на возах людей и возниц, шагавших рядом с возами.

— Ворота откройте, — низким голосом сказала Марья Фроловна, выделившись из группы женщин.

Кто-то открыл ворота, но передняя подвода, приблизившись, не свернула во двор, а остановилась возле. За ней, подъезжая, останавливались и другие.

— Бабка здесь? — робко сказал Егорушка, отделяясь от первой подводы и вдруг узнал Марью Фроловну. — Бабка... — сказал он, сделав жалобное движение рукою.

Марья Фроловна медленно подошла к возу. Длинный гроб стоял на возу. Марья Фроловна приподняла крышку гроба и, не склоняя головы, некоторое время смотрела в лицо мертвого сына. Потом, опустив крышку, подобрала

вожжи, понукнула лошадь и, ни на кого не оглянувшись, широким шагом пошла рядом с подводой. Егорушка тихо побрел за нею.

Женщины, вполголоса причитая, разбегались вдоль возов, — смотреть, кого привезли, Возчик второй подводы, взяв лошадь под уздцы, повел ее во двор, за ним тронулись остальные.

Лена послала одну из сиделок за отцом.

— Кто здесь старший по больнице? — спрашивал из темноты кто-то из сопровождавших подводы, въезжая во двор со своим возом.

— Старший сейчас придет, — сказала Лена. — Куда ранен? — спросила она, подходя к возу и вглядываясь в лежащего на возу человека.

И вдруг узнала Суркова. Он лежал на спине, — казачья папаха отвалилась от его головы. Сурков крепко спал.

— Возьмите его... Осторожнее! — взволнованно сказала Лена санитарам.

XXXV

Всю ночь большой гроб с телом Дмитрия Игнатовича стоял в красной горнице дома Борисовых, и всю ночь скобеевский псаломщик и дядя покойного Нестер Борисов — десятский, бывший на два года моложе своего племянника, по очереди читали над ним псалтырь.

Поначалу, как привезли тело Дмитрия Игнатовича, всю горницу заполонили голосящие бабы — его жена, сестры, жены братьев и просто соседки. И долго надо всей этой частью села, вдоль реки, стон стоял от складного их голошения. Потом бабы стали уставать и голосили по очереди, а потом горница незаметно опустела. Кроме читающих псалтырь, остались только жена покойного да его старшая, шестнадцатилетняя черненькая дочка Таня, лицом и повадкой вся в отца.

Все время, пока шло голошение, Таня стояла поодаль и плакала. Она плакала чистыми, сладкими девичьими слезами, не столько от того, что ей жалко было отца, а по многим и многим неясным, не связанным между собой причинам, таким же легким и чистым, как ее слезы.

Когда все ушли из горницы, мать с видимым облегчением перестала голосить и долго поправляла перед

зеркалом сбившиеся набок русые прямые волосы. И вдруг, взглянув на дочь, тихо охнула, обняла ее и заплакала тоненько-тоненько, как дитя. Она плакала оттого, что ее бабья жизнь кончилась, и она была навсегда обречена трудиться на эту большую чужую семью, и некому уже было заступиться за нее перед свекром, свекровью, сыновьями, а дочь должна была выйти замуж и навсегда уйти от нее.

И дочь поняла ее. Некоторое время они плакали вместе, упав на крашеную лавку, обнявшись, как подружки.

Потом дочь уснула, положив голову матери на колени, а мать еще долго сидела и думала о своем горьком положении.

В это же время во дворе, на старых бревнах, которые начали свозить до войны, чтобы расширить избу, на этих старых бревнах, поросших и обомшевших, сидели Егорушка и его старший женатый брат Павел, не любимый отцом, больше похожий на мать, русый.

Ввечеру, когда дом еще был полон соболезнующих, здесь, на бревнах, сидели и перекуривали мужики. И Егорушка сотню раз рассказывал, как был ранен отец, как упал лицом вперед и прижимал рукой рану и как «хлобыстала кровь», а он все хотел подняться, а потом сказал Егорушке: «Ну, беги, сынок», — и Егорушка побежал.

Теперь все уже разошлись, Егорушке некому было рассказывать, да он и устал, хотя и не рассказал чего-то самого главного. Но ему было страшно лезть на сеновал, где он спал один, и он остался сидеть на бревнах наедине с нелюбимым братом.

Ночь была светлая, бревна, облитые светом звезд, еще хранили дневное тепло. Река шумела за вербами на задах, и слышно было, как паром брунжит катком и лошади переступают на пароме.

Павел сидел, напряженно подняв светлые брови, и все вертел и курил цигарки, а в промежутках, как клещами, обкусывал железные ногти на больших пальцах. То, о чем думал Павел, было самым насущным делом его жизни, и в этом деле Егорушка, человек несерьезный, не мог быть советчиком брату. Если бы отец был жив, они вместе отделились бы от деда, а потом отец с охотой выделил бы его, Павла, и, конечно, с землей, и дал бы что-нибудь на обзаведение, потому что отец хотя и не любил его, но был человек справедливый, понимал, что Павел — стар-

ший сын, наследник. А теперь он или должен жить на положении дедова батрака, или уйти из дома голым. Но у него уже был ребенок, и жена вот-вот должна была родить.

Так и сидели они молча на бревнах, среди звездной ночи, светлый Павел и черненький Егорушка, два братца,— пока не вышел из избы просвежиться после покойника Нестер Борисов. Невысокий, широкоплечий, с курчавой, овсяного цвета бородой и ясными синими глазами, он был так ладен и крепок, — ничто не могло сломить его — ни покойник, ни псалтырь. Он подошел к братьям и сразу все понял.

— Иди, иди, спи, — сказал он Егорушке, — домовых там нет. Понял? То-то, братец ты мой, соколик...

А когда Егорушка ушел, он подсел к Павлу на бревна и, дружески обняв его и притянув к себе, сказал:

— Не грусти, мужик, не грусти! Эх!.. Отца жаль — это так: чудесный был человек, а там... ху-у!.. — Он высоко замахнулся рукой в полотняном рукаве и махнул ею от всего сердца. — Не те времена, братец ты мой, соколик, — найдется тебе путя-дорога...

— Голяком? — вдруг злобно сказал Павел.

— Ху-у... На́ тебе! — И Нестер вдруг засмеялся. — В голяках всея сила. Кто был ничем, тот станет всем, — важно сказал он. — Ты вон о ней подумай, сходи да утешь, — он указал на освещенный звездным светом амбар, где спала, взаперти, чтобы не вышла к покойнику, да не случилось с ней чего, беременная жена Павла. — Ей-то — как бабе — во как страшно! Иди, иди, братец ты мой... — Нестер Васильевич вдруг потянул носом и, выпустив Павла из-под руки, с удовольствием сказал: — Багульник зацвел, — скажи пожалуйста!..

И они разошлись. Кругом стало тихо. Только река все трудилась за вербами, да на реке трудился паром, да из дома доносилось бормотание читавших псалтырь — то очень заунывное, когда читал псаломщик, то полное жизнерадостного смысла, когда читал Нестер Васильевич.

XXXVI

Пока в доме были чужие люди, бабка Марья Фроловна так же уверенно и споро, как всегда, вела этот большой, похожий на улей дом, принимала и провожала

гостей, справила все по хозяйству; успела сходить к священнику — договориться о завтрашних похоронах — и справила все к похоронам. Могучая, сухая телом, резкая, она то появлялась у гроба, где голосили бабы, то подносила стакан самогона какому-нибудь ледащему деду — седьмой воде на киселе, то порывисто шла через двор по хозяйству, размашисто ступая в своих длинных, остроносых ичигах, вызывая во всех уважение и страх.

А когда все угомонились в доме, она вошла в красную горницу, где раздавалось теперь только чтение псалтыря, и, подставив табурет, уселась у сына в ногах, выложив на колени красивые, как у мужика, сильные руки.

Нестер Борисов, приходившийся ей деверем и очень ей нравившийся в ту пору, когда Марья Фроловна подвалила уже к сорока и готова была на все, а он еще неженатый, ловкий и веселый парень (у них ничего не вышло только потому, что Нестер до смерти боялся Игната Васильевича), — Нестер Борисов и псаломщик менялись, читая псалтырь, а Марья Фроловна так и сидела до утра, выложив руки на колени, глядя в лицо сыну. Трудно было понять, о чем она думала: никто в селе, даже Игнат Васильевич, проживший с ней всю жизнь, не знал, о чем думает Марья Фроловна.

С самого утра на просторный двор Борисовых начал собираться народ. Двери в избу и во все горницы были распахнуты, и пол посыпан пахучей травой, как в троицу, чтобы не затоптали крашеных полов.

Близкая родня и друзья Дмитрия Игнатовича и те, кто певал в церковном хоре и теперь хотел напутствовать покойника, заполнили избу. Весь двор уже пестрел разноцветными платками, рубахами. Забор был унизан ребятишками.

И вот показался в воротах старенький скобеевский попик со свертком под мышкой. Народ раздался. Попик, вобрав в плечи детскую головку, почти побежал по расчищенной перед ним дорожке, но во дворе оказалось множество старух, охочих приложиться к руке, и он, совершенно перепуганный тем, что живет в такое время, да еще этим множеством народа и вниманием, обращенным на него, стал на ходу быстро-быстро совать маленькую ручку туда и сюда. На мгновение его притиснули на крыльце, но он рванулся ввысь, как жаворонок, и исчез в избе.

Народ сомкнулся и опять расхлынул: стоящие у крыльца видели, как дальние снимали фуражки и весело здоровались. Снова до самого крыльца образовалась дорожка, и все увидели, что на панихиду пришел ревком во главе с Владимиром Григорьевичем и телеграфистом Карпенко.

Владимир Григорьевич, чуть приволакивая подбитую ревматизмом ногу, преувеличенно кланялся, по-совиному глядя на всех, никого не узнавая, а Карпенко, в форменной фуражке почтово-телеграфного ведомства, худой и длинношеий, с большими оттопыренными ушами, похожими на крылья бабочки, только козырял, но был изрядно смущен.

Мужики, верившие в бога, знали, что, если бы эти люди тоже верили в бога, они не могли бы так беззаветно, до конца идти против закона, царя, господ, чиновников. И именно таким людям можно было доверить первенство и старшинство в таком отчаянном деле, как восстание против Колчака и японского императора. Но то, что эти люди, не веря в бога, пришли на панихиду по Дмитрию Игнатовичу, то есть оказали уважение всем мужикам, это еще повышало уважение мужиков к ним, и мужики особенно приветливо здоровались с членами ревкома, смущенно проходившими по образовавшемуся перед ними коридору.

Мужики не знали, что перед тем, как прийти сюда, ревком обсуждал вопрос — идти или нет. И большинство высказалось за то, чтобы идти, а против высказалась Ванда — та самая женщина в штанах и сапогах, которая так позабавила Алешу. Ее соратник по партии левых эсеров тоже считал, что нужно бы пойти, но, не будучи Ванде ни мужем, ни подчиненным, он очень боялся ее, боялся, что она обвинит его в неморальном для революционера поведении. Поэтому он против своей совести поддержал ее. И они двое не пошли, а все остальные пошли.

Кто-то успел предупредить Марью Фроловну. Она вышла на крыльцо, увидела Владимира Григорьевича, подымавшегося по ступенькам, обняла его голову своими сильными руками, быстро прижала ее к своему плечу, потом поцеловала в лоб и сказала:

— Спасибо, голубчик... Всем рада, а тебе — ты знаешь сам...

Владимир Григорьевич, издав горлом мужественный и жалкий звук, неловким движением схватил ее большую, в темных жилах руку и поцеловал.

— Проходите, милые, — говорила Марья Фроловна, низко кланяясь членам ревкома.

Толпа нахлынула на крыльцо. Началась панихида.

Когда могучее тело Дмитрия Игнатовича несли к церкви, — за ним шло уже с полсела. День выдался ясный, и, как еще ночью угадал Нестер Васильевич, по всему отрогу, точно нарочно, чтобы проводить в последний путь Дмитрия Игнатовича, зацвел багульник — таким синим-синим цветом, что от неба да от багульника все вокруг стало голубым и синим. В обычные звуки большого села вплетался слитный шорох сотен шагов, и река все трудилась за вербами, и неутомимый паром все брунжал своим катком, как бы напоминая людям, что они живут в тревожное и трудное время.

Сразу за гробом шли женщины — родные покойного, с детьми, и не родные, а из тех женщин, что при жизни не видно, а после смерти голосят и суетятся так, точно они-то и были самые близкие и знали от покойного такое, чего никто не знал.

За ними шли члены ревкома и мужики — родственники, кумовья, товарищи. В этой группе все вспоминали, каков покойный Дмитрий Игнатов был хороший человек — спокойный, бесстрашный, один ходил на медведя, на тигра. А однажды мужики, поссорившись на покосе, почали рубить друг друга косами, а он с пустыми руками вскочил в самую середку, и все опустили косы: никто не отважился рубить Борисова первача.

Один из провожающих даже намекнул, что Дмитрий Игнатов был-де более ладный мужик, чем, скажем, его отец, но тут все так посмотрели на него, что он вдруг заперхал, спутался в шаге и залопотал что-то вроде: «Я ведь чего хотел сказать, я хотел сказать, что Игнат-то Васильев дюже горяч, а этот-то, Дмитрий-то Игнатов...» Но тут все отвернулись от него.

Эта огромная, пестрая, празднично разодетая масса народу, идущая за гробом отца, и все эти разговоры по-разному отзывались в сыновьях.

Егорушка, капризней которого на селе был разве только Семка Казанок, вдруг весь размяк, и даже черный и дерзкий, с косиной глаз его стал не тот, не Егорушкин

глаз. А Павлу все это внушало уважение к покойному отцу и вновь и вновь напоминало о том, что он все потерял с потерей отца, и обидно было, что отец при жизни не ценил его, Павла.

Когда похоронная процессия подошла к белой каменной церкви, там ждала не меньшая толпа, набравшаяся с этого края села под отрогом.

Гроб внесли в церковь и поставили в боковой притвор на время обедни, и только к отпеванию вынесли на середину церкви.

Но вот пропел и последний хор. Старый попик опустился на колени и прочел разрешительную молитву. В молитве говорилось о том, что, если человек связал себя грехами, но о всех их сердцем сокрушенным покаялся, — от всех вин и уз будет он разрешен, а если по телесной немощи что предано им забвению — и это все будет прощено ему человеколюбия ради.

Слова эти, никак не подходившие к жизни людей, очень подошли к покойному Дмитрию Игнатовичу. Женщины заплакали.

На кладбище справили еще одну панихиду, и Владимир Григорьевич сказал речь. Потом богатырский гроб с телом Дмитрия Игнатовича опустили в могилу, и долго еще вокруг могилы стояло коловращение людей: каждый хотел бросить горсть земли на гроб сына Борисова.

В тот же день, оставив весь дом на одних женщин, Павел записался в отряд на место отца. Вместе с ним записалось еще около ста мужиков и парней.

XXXVII

Отправив Петра с обозом раненых в Скобеевку, Алеша Маленький поехал по деревням заготовлять хлеб и фураж для таежных продовольственных баз.

В помощь себе он взял из Перятина Игната Васильевича. Игнат Васильевич с верными людьми рубил бараки и амбары в местах расположения баз и перевозил хлеб и фураж, заготовленный Алешей. Они то разлучались, то вновь встречались в другой деревне, где-нибудь за тридцать — сорок верст.

В той новой роли, которую Алеша принял на себя, он вынужден был принять на себя и те заботы и тяготы, за которые совсем недавно упрекал Петра.

Теперь он не только не имел возможности говорить о несвоевременности областного съезда, но должен был разъяснять все вопросы, связанные со съездом, и руководить сходами, чтобы прошли на съезд желательные кандидаты.

Во многих местах переселенцы самовольно запахали старожильские земли, и старожилы шли жаловаться к Алеше. Везде немало было семей партизан, оставшихся без рабочих рук, и надо было организовать помощь им на полях. Жители рыбацких деревень, узнав, что Алеша не может заехать к ним, прислали делегацию — человек в двадцать. Рыбаки жаловались на то, что сидят без хлеба, и просили или дать им хлеба, или разрешить вывезти рыбу морем на городской рынок. К Алеше обращались даже с бракоразводными делами.

Он понимал, что отмахнуться от всех этих дел — значит принизить и себя, и ту власть, которую он сейчас представлял. И дела эти отнимали столько сил и времени, что Алеша уже не успевал продумать, насколько то, что́ он делает, соответствует или противоречит линии областного комитета.

Наступили теплые пахучие майские ночи, долины и сопки сплошь покрылись воркующей зеленью, когда Алеша и Игнат Васильевич добрались наконец до побережья и перед ними развернулись могущественные океанские просторы — великие и тихие.

В прибрежной деревне Хмыловке им сообщили, что несколько дней назад хунхузы напали на партизанский взвод, охранявший поселок гольдов и тазов.

Никто из партизан и мужиков не ожидал этого: даже в дореволюционное время хунхузы избегали нападать на русских, тем более на русские воинские части. В бою было убито несколько туземцев — среди них одна женщина — и командир партизанского взвода.

Мужики были возбуждены не столько тем, что хунхузы напали на гольдов, сколько тем, что партизаны понесли жертвы из-за гольдов. Жители расположенного неподалеку корейского села Николаевки, занимавшиеся макосеянием и отказавшиеся в конце прошлого года выплатить хунхузам свою дань опиума, тоже со дня на день ожидали нападения хунхузов. Общий голос мужиков был: «Это дела не наши, не надо нам и ввязываться». Игнат

Васильевич помалкивал, но Алеша видел, что он сочувствует мужикам.

Хмыловские гольды и тазы жили на бросовых землях, арендованных у русских старожилов. Родной язык они давно забыли и говорили по-китайски. Убожество их жизни, безропотность перед русскими поразили даже видавшего виды Алешу.

Отыскав гольда, с грехом пополам говорящего по-русски, Алеша допросил туземного старосту — древнего старика, желтого, ноздреватого, как пемза. Старик, опустив желтые веки, загибал один за другим пальцы и говорил что-то тихим гортанным голосом. Переводчик также загибал пальцы и говорил:

— Хунхуза, цайдуна, купеза... Байта, много-много. Наша кругом говори: нет!.. Его говори: давай, давай!.. Хунхуза много-много пошел... Сама Ли-фу пошел...

Ничего нельзя было понять. Наконец с помощью Игната Васильевича удалось установить, что на подавление бунта народов перешло в область через китайскую границу несколько крупных хунхузских отрядов во главе с Ли-фу, которому подчинялись не только местные хунхузы, а и хунхузы Хейлудзянской провинции за кордоном. Новое было в том, что хунхузы выступили не только за свои интересы, а и за интересы китайских цайдунов и скупщиков. Дело выглядело серьезней, чем это мог предполагать Алеша.

XXXVIII

По совету Игната Васильевича он перенес место расположения базы поглубже в тайгу и, оставив старика рубить бараки, сам на хмыловской подводе выехал в корейскую деревню Николаевку. Помимо того, что ему хотелось лучше уяснить положение с хунхузами, он прослышал, что после недавнего поражения восстания в Корее в Николаевке сосредоточиваются группы бежавших через границу повстанцев.

Как только Алеша спустился с гор в долину, еще не доезжая до деревни, он почувствовал, точно попал в другую страну. Самый пейзаж изменился. В долине, защищенной с двух сторон горами от ветра, стоял почти летний зной. По обеим сторонам дороги перпендикулярно к ней тянулись кое-где еще черные, но больше зазеленевшие

всходами длинные унавоженные гряды, взметенные под чумизу, мак, бобы, кукурузу. Не только каждый клочок земли в долине был возделан трудолюбивыми руками, но все склоны сопок по обеим сторонам долины были раскорчеваны и обработаны под табак.

Алешу поражало то, что на полях не видно было ни одного человека. Дорогой он обогнал несколько скрипящих арб, запряженных коровами с деревянными кольцами в носу и нагруженных целыми семействами — стариками с седыми редкими бородами, в белых одеждах и высоких соломенных шляпах; маленькими, точно игрушечными женщинами с неподвижными лицами и в коротких кофтах с вырезами, из которых вываливались загорелые груди; черноголовыми ребятишками, испуганно поглядывавшими живыми темно-карими глазенками на вооруженного русского в телеге.

— Едут с участков, хунхузов боятся, — пояснил возница.

Деревня, выделявшаяся на плоскости длинными деревянными трубами и однотипными соломенными крышами скученных и лишенных зелени фанз, была почти сплошь обнесена глинобитными укреплениями с башенками и амбразурами. В иных местах укрепления были возведены заново, а кое-где еще не закончены, и возле них копошились люди.

Вооруженные корейцы у околицы пропустили Алешу, не опросив его.

Дымные фанзушки с решетчатыми дверьми, оклеенными бумагой, выпирали чуть ли не на самый тракт, в обе стороны от которого расходились узкие кривые улочки, полные полуголых, черных от загара ребятишек. Многие из ребят были в таком возрасте, что могли только ползать. Мужчины с трубками в зубах, полузакрыв глаза, покойно сидели на корточках у дверей фанз. Женщины с обнаженными грудями и длинными до пят юбками, иные с подвязанными за спиной грудными ребятами, возились у вмазанных в землю дымящихся котлов. В воздухе стояли незнакомые запахи — нерусского жилья, пищи, табака.

— Никишин! Ты как здесь? — вдруг воскликнул Алеша, заметив командира одной из сучанских рот, стоявшего у фанзы и державшего в руках растопыренный ме-

шок, в который старик-кореец набрасывал спрессованные пачки листового табаку.

— А, товарищ Чуркин!.. Да вот пригнали с хунхузами драться, — показав в улыбке желтые зубы, сказал Никишин. — Сегодня ночью ждем, — в аккурат срок ихнему ультиматуму. Ребята мои на позициях, а я им вот табачку.

— Ну-ну! — неопределенно поддакнул Алеша.

Навстречу Алеше выехал верхом сельский председатель — местный учитель-кореец, член ревкома. Он был в кепке и рыжих крагах и в выцветшем от солнца пиджаке с галстуком. Звали его Сергей Пак.

— Только что сообщили — начальство идет, я решил встретить, — льстиво сказал он. — Вот хунхузов ждем, — пояснил он, пустив лошадь шагом рядом с телегой.

— Что это у вас за укрепления? Видать, давнишние? — спросил Алеша.

— Да против хунхузов же... Старая история! Этой борьбе уже два десятка лет. В прежнее время, впрочем, больше данью откупались.

— Тьфу, дикость какая! — выругался Алеша, неодобрительно тряхнув ежовой своей головкой. — Не Россия, а Вальтер Скотт какой-то! И даже еще хуже... Царишка наш, выходит, не оборонял вас?

— Не-ет, — засмеялся председатель. — А если оборонял, еще больше страдали от постоя солдат... Повстанцев? Повстанцев человек до ста,— ответил он на вопрос Алеши о беглецах из Кореи. — С неделю назад прибыла одна наша революционерка, Мария Цой, у меня на квартире живет, — вполголоса сказал он, перегнувшись с лошади, — она вам все расскажет.

Они въехали во двор школы обычного сельского типа.

— Школа-то царская, — учите вы, стало быть, по-русски? — соскочив с телеги, спросил Алеша.

— Вернее, учил, — сказал Сергей Пак со своей льстивой улыбкой, спешиваясь, — сейчас ни на каком не учим.

«Ну посмотрим, какая у них там революционерка», — всходя на крыльцо, подумал Алеша, невольно представляя себе женщину, похожую на тех, какие попадались ему дорогой, в короткой кофте, с голыми грудями.

Сергей Пак подошел к двери в соседнюю комнату и осторожно постучал острыми костяшками пальцев. За

дворью по-корейски отозвался звучный женский голос. Пак проскользнул за дверь. До Алеши донеслось несколько фраз, которыми обменялись председатель и женщина; потом показалась рука председателя, сделавшая пригласительный жест, и в дверях появилась стройная кореянка, лет двадцати пяти, в черном длинном платье, с поразительно белым, чуть скуластым лицом аскетического склада, небывалой тонкой росписи.

— Очень рада! — сказала она, заблестев навстречу Алеше умными темно-карими глазами, и крепко пожала ему руку, тряхнув ровно подстриженной челкой черных блестящих волос.

Увидев перед собой молодую женщину, каждое движение которой полно было внутреннего изящества и простоты, Алеша так смутился, что в первое мгновение не нашелся даже, что ответить. «Хорош, батюшка!» — подумал он, представив себе, каким он выглядит перед ней — заросший щетиной, несколько дней не умывавшийся, в пропыленной одежде и грязных сапогах.

— Вы сюда надолго? — спросил он наконец, не зная, куда и девать себя.

— Подожду, пока кончится этот конфликт, — сказала она своим звучным голосом, — а потом думаю выехать... как оно называется, это селение? — обратилась она к председателю.

— В Скобеевку, — почтительно подсказал Пак.

— Да, в Скобеевку. Я списалась с товарищем Сурковым, и он согласился на мое предложение созвать съезд трудящихся корейцев. И еще немало есть общих вопросов у нас. Вы знаете Суркова? — спросила она.

— Еще бы! — обрадовался Алеша. — Он сейчас раненый лежит.

— Да, здешние крестьяне-корейцы очень волнуются о его здоровье. Что он представляет из себя?

— Что он представляет из себя? — Алеша впервые услышал такой вопрос, обращенный к нему. «Наш крупный работник... Бывший военный комиссар», — промелькнуло было в его голове. — Сурков — это расчудесный парень, — сказал Алеша. — По своему уму, характеру, по организаторской хватке своей этот человек точно нарочно создан, чтобы руководить восстанием.

— Да? — живо переспросила Цой. — Здешние крестьяне-корейцы считают его своим настоящим другом.

— И правильно считают! — не колеблясь, подтвердил Алеша.

— О, как я завидую вам! — сказала Мария Цой с внезапной грустью.

— В чем вы завидуете нам?

— Я завидую тому, что вы знаете, к чему вы стремитесь, у вас есть организация, люди, способные двигать горы, а мы... а у нас... — Голос ее дрогнул. — Простите меня... — Она отвернулась и тыльной стороной изогнутой кисти руки коснулась своих глаз. — И столько жертв, ужасных, бесполезных! — сказала она, и страстная сила горечи зазвенела в ее голосе.

Алеша в волнении взял ее руку своими обеими руками и крепко потряс.

— Надо умыться, поесть, потом будем разговаривать, — издавая горлом какие-то каркающие звуки, говорил Сергей Пак.

XXXIX

— Уже несколько недель, как я не сплю ночами и все думаю, думаю об этом. Я перебираю в уме все подробности поражения, как бы они ни были горьки, страшны, постыдны, — говорила Мария Цой, сцепив на груди тонкие пальцы и быстрыми энергичными шагами прохаживаясь по комнате.

Ночные бабочки залетали в растворенное окно и бились о ламповое стекло. Поселок лежал за окном притихший, без огней. Чуть тянуло дымком от курящегося навоза. Где-то в ближней фанзе плакал ребенок. Тихий женский голос уговаривал его, — ребенок то замолкал, то снова начинал плакать.

— Что больше всего мучает меня? — сказала Цой, остановившись против Алеши. — Кто найдет в себе силы повести народ теперь, когда он лежит в крови, в слезах, а его «вожди», — с презрением выговорила она, — ползают на коленях перед победителями и метут бородами землю? Кто мог подумать, что корейские имущие классы окажутся такими продажными! — Она в волнении снова заходила по комнате. — Мне стыдно вспомнить, что среди предателей оказались и те люди, голос которых еще так недавно звучал в моей душе как колокол... О, будь они

прокляты, трижды презренные! — хрустнув на груди пальцами, сказала Цой.

Алеша сидел на табурете, подавшись вперед всем телом и не спуская глаз с Марии Цой. С лица его сошло обычное живое, веселое выражение, суровая складка легла между бровями, и на всем лице явственней обозначились черты внутренней силы.

— «Тахан-туклип» — «Независимость Кореи!» — с горечью воскликнула Цой. — Независимость — для кого? От кого независимость? Только ли от Японии? О, этого не будет никогда, пока движение зависимо от попов и господ, — это первое, что показал опыт! Бедные крестьяне громили японские усадьбы, школы, полицию, но не сумели довести дело до конца, они не тронули даже корейских помещиков, потому что их сознание было отравлено попами, попами всех цветов и запахов. Секты, христианские общины — методистские, лютеранские, католические — все приложили свою руку к движению народа. Народ и не подозревал, как много среди этих неистовых и благостных людей японских шпионов и провокаторов!..

— А американские миссионеры? Вообще американцы? — спросил Алеша.

— Американцы! — жестко усмехнулась Цой. — Вели пропаганду против Японии, возбуждали народ вильсоновской болтовней и подло обманули, когда восставшие обратились к ним за деньгами и оружием... Вы не знаете, как мало было нас — людей, понимавших хоть что-нибудь в происходящем! Переживали ли вы когда-нибудь это мучительное чувство одиночества в борьбе, поисков хоть какой-нибудь организованной силы, хотя бы одного настоящего вождя? Нет, вы понимаете меня? — с тоскою спросила Цой.

— Еще бы! — в волнении сказал Алеша.

Да, он понимал ее. Он сам пережил это чувство в юности, когда путь борьбы уже приоткрывался ему, а организованная сила, способная возглавить борьбу, еще не была им найдена. Но эта сила существовала, и Алеша знал, что она существует, и он нашел ее, а там, где боролась Мария Цой, этой силы не было совсем. «И правда, счастливцы мы здесь!» — подумал Алеша.

— Вы сразу же спросили меня: какое участие приняли в движении рабочие? — продолжала Цой. — Но ведь никто и не заботился, чтобы привлечь их! — остановив-

шись и сжав кулачки у своих висков, воскликнула она тоном сожаления и раскаяния. — Я повторяю, нас была горсть — мой брат, я, еще несколько юношей и девушек, которые только-только подошли к пониманию того, что здесь таится та сила, которую мы ищем. Может быть, были и еще такие люди, но мы их не знали. Может быть, они так же искали нас, как мы их. Кто были мы? Неоперившиеся птенцы орлицы! Мы совсем недавно научились понимать слабость своих учителей, но все еще оглядывались на них с благоговением. На чем мы были воспитаны? На том, что Корея — страна крестьян, что ее история, ее жизнь, ее будущее не похожи на путь европейских стран. И все это сдобрено у нас религиозными предрассудками, старой мнимой «народностью». Ведь мы же страна «утренней тишины!» — с яростными слезами в голосе воскликнула Цой. — Все это еще так недавно жило в наших головах вместе с отрывками из «Коммунистического манифеста». Да, мы были слепые львята, у которых только в самом движении прорезались глаза. Оно захватило нас врасплох. Пришла пора действовать, и мы вдруг увидели, как жалки и ненадежны наши учителя, и как нас мало, и как мы ничтожны без связей в народе, без имени, без опыта, без ясной цели! Конечно, мы сразу поняли, что дело не в декларациях господ и попов, и бросили свои силы в деревню. Пошли одни мужчины, — мы знали, что крестьяне не будут слушаться женщин. В Сеуле движение прорвалось уличной демонстрацией. Это было первого марта. Наиболее революционна у нас, если не по программе, то по духу, учащаяся молодежь. У меня и моих подруг были здесь связи. И надо отдать справедливость — молодежь погибала преданно, беззаветно. Японская полиция не раз пускала в ход ружья и шашки, но колонны смыкались снова и снова. Флаги на длинных, бамбуковых шестах переходили из рук в руки. На рукавах у демонстрантов были белые повязки с корейской эмблемой «тхагыкки». Демонстранты шли, подняв руки с повязкой, и я видела девушку, не старше семнадцати лет, которой конный полицейский отрубил руку, но она подняла отрубленную руку и понесла над головой... Расправа в деревнях была еще более жестокой. Сабли, свинец, пытки! До пятнадцати тысяч убитых и раненых. Не меньше тридцати тысяч брошено в тюрьмы. Но что тяжелее всего? Весь опыт, связи, которые наши товарищи приобрели в

борьбе, пропали без следа, потому что погибли эти люди. Народ не знает даже их имен, чтобы сохранить их как символы! Брата моего долго пытали на допросе, наливали ему воды через ноздри и рот и били по животу палками, но, конечно, он не издал даже стона. Я часто вспоминаю теперь его слова ко мне, когда он уходил в деревню. Он сказал: «Ну, вот мы и дожили до того времени, о котором мечтали... Что мне сказать тебе на прощание? Будь до конца верна делу. Не жалей в борьбе своего сердца. Если надо — разбей его!» Он может быть спокоен, мой брат... — сказала Цой голосом, натянутым, как струна.

«Милая, прелесть моя!» — едва не вскрикнул Алеша с заблестевшими глазами.

— И что же вы будете делать теперь? — спросил он.

— Что я буду делать? — Она подумала. — Вернусь на родину. Буду ловить концы оборванных нитей и связывать их в узелки.

— Вам нужна настоящая революционная партия — вот что вам нужно сейчас! — в волнении сказал Алеша, встал и несколько раз прошелся по комнате. — Вот вы изволили говорить — никто не заботился, чтобы привлечь рабочих, — продолжал он, остановившись против Цой. — Это, конечно, ошибка. Но задача не была в том, чтобы попросту привлечь их к господскому делу. Задача была — организовать рабочих так, чтобы они пошли в голове народа, — вот в чем задача. И эта задача еще стоит перед вами. Вам нужна партия рабочих и бедных крестьян. Эту партию могут и должны создать люди, подобные вам. Работа эта с виду не броская, кропотливая работа...

Алеша не докончил. Из темноты за окном донеслись один за другим три отдаленных выстрела, повторенные эхом в горах. Некоторое время постояла тишина, потом выстрелы зазвучали снова — более отдаленные и ближние. Вскоре они слились в сплошной грохот, наполнивший ночь своими однообразными и грозными звуками.

— Так вот оно как! — спокойно сказал Алеша в заключение своих мыслей о партии. — Что ж, мне придется пойти... — Он взял в углу винтовку. — Вы куда? — подозрительно спросил он, заметив, что Цой снимает с вешалки пальто.

— С вами, конечно.

Алеша, опершись на винтовку, постоял немного, скосив глаза в пол.

— Объясните-ка мне, будьте любезны, — сказал он, — зачем вам, к примеру, рисковать жизнью в этом деле? Оно глупо вообще, а в жизни вашей вовсе случайно.

— Вы же рискуете?

— К великому сожалению, это входит в прямую обязанность мою.

— Как же я-то могу не находиться сейчас там, где будут умирать наши люди? — удивленная, спросила Цой. — Что они обо мне подумают?

— Так-так! Сначала прекрасные слова об обязанности перед народом своим, а потом голову под шальную пулю. Глупо-с! — с неожиданным раздражением сказал Алеша.

— Все равно я не могу послушаться вас!

— А это мы посмотрим...

Алеша выдернул из двери ключ, выскочил за дверь и, с силой захлопнув ее, замкнул с другой стороны.

XL

Ночь была так темна, что Алеша вначале ничего не мог различить. По слуху определив, где стреляют, он побежал в ту сторону, петляя по кривым улочкам, натыкаясь на плетни, какие-то колючки и ругаясь самыми страшными словами, какие только знал. Потом его нагнала группа вооруженных корейцев, бежавших в том же направлении, и Алеша примкнул к ним.

Постепенно он стал различать фанзы, огороды и понял, что стреляют под сопками, с восточной стороны деревни. Шальные пули изредка посвистывали где-то высоко. Пока Алеша с корейцами добежали до укреплений, стрельба занялась уже и с северной стороны.

От стены отделился толстый кореец с большим «смитом» в руке, видно — начальник, и, тыча «смитом» в темноту, сердитым голосом закричал на корейцев, прибежавших с Алешей. Они, пригибаясь, гуськом засеменили куда-то влево.

— А русские партизаны где? — спросил Алеша, с трудом различая копошащиеся у темных амбразур белые фигуры корейцев.

— Русики там! — недовольно сказал начальник, приняв Алешу за отставшего партизана сучанской роты, и ткнул «смитом» вправо, вдоль стены.

Алеша побежал вправо.

Стрельба была уже не сплошной, а то стихала совсем, то вновь вспыхивала со стороны сопок, и тогда в ответ гремели выстрелы по линии стены. Не обращая внимания на пули, которые, как занималась стрельба, со свистом проносились над ним, и досадуя на то, что не может принять руководящего участия во всем, что здесь происходит, Алеша миновал линию укреплений, снова попетлял где-то среди фанз и выбежал к другим укреплениям. Здесь кто-то схватил его за шиворот, закричал: «Я покажу тебе бегать тут!» — и громко обматерил его.

— Ну, слава богу! — тяжело дыша, радостно сказал Алеша.

— Фу-ты! Да это товарищ Чуркин! — смущенно сказал Никишин.

— Я как раз к вам бежал, — придерживая рукой колотящееся сердце, говорил Алеша. — Что здесь происходит?

— А ничего не происходит, патроны на г... переводим! — с досадой сказал Никишин.

— Стало быть, мне и здесь делать нечего?

— Совсем, можно сказать, нечего, — покорно согласился Никишин.

— Подумать только, на что силы и время тратим! — с яростью сказал Алеша.

— Уж верно что, — ребята и то жалуются. Главное дело, у этих корейцев пища без соли...

— Тьфу, ерунда какая! Помоги мне хоть председателя найти.

Невидимые хунхузы под сопкой снова начали стрелять. Кое-кто из партизан стал было отвечать.

— Кто там пуляет? — закричал Никишин. — Пущай они сами пуляют, ну их к чертовой матери...

Сопровождаемый связным, Алеша пошел в обратном направлении и левее того пункта, где командовал толстый кореец, нашел Сергея Пак. С ним была и Цой.

— Так-так, в окно прыгать, как девчонка... Видать, вы и у себя, в Корее, так революцию делали, — тоненько сказал Алеша.

Он был окончательно расположен к ней.

Перестрелка с хунхузами, то вспыхивая, то замолкая, длилась до утра. Как только стало светать, хунхузы ушли в неизвестном направлении, их так никто и не видел.

Алеша и Цой, эскортируемые взводом партизан, выехали в Скобеевку.

XLI

Раненый Петр лежал в доме Костенецких, в комнате, где он обычно жил вместе с Мартемьяновым.

Петр томился от вынужденного бездействия. Всякий раз Владимир Григорьевич заставал у его постели народ.

— Бо́-знать, что такое! И накурили! — сердился Владимир Григорьевич. — Все вон отсюда! Вон, вон! — кричал он, указывая длинным пальцем на дверь.

Для наблюдения над Петром была приставлена сиделка — черноглазая красавица Фрося.

Она поступила работать в больницу еще до германской войны. Фрося тогда только что вышла замуж, и муж был взят на царскую службу. На войну он пошел, не успев побывать дома, а когда после двух лет войны приехал раненый, у Фроси был ребенок, которого он не имел никаких оснований считать своим.

Выгнав Фросю из дому, мужественный солдат пропьянствовал недели три и снова уехал на фронт и был убит.

Отплакав положенный срок, Фрося стала жить еще лише прежнего и родила еще двух ребят. Черноглазые, похожие на мать ребята так и перли из нее, а она все хорошела и наливалась телом. И так легко и свободно носила она по земле вдовью свою неотразимую стать, что все скобеевские бабы, и старые и молодые, понося Фросю за глаза, в глаза льстили и завидовали ей.

Фрося выказывала Петру такие знаки расположения, какие не входили в обязанности сиделки. (Он нравился ей не больше других, да таков уж был ее норов.) Но Петр, внимание которого не было направлено в эту сторону, не замечал этого, как не замечал и той откровенной неприязни, которую Фрося выказывала Лене, часто заходившей к нему.

Фрося ненавидела Лену за то, что Лена была чистая, образованная барышня, с тонкими руками, и могла, как казалось Фросе, осуждать ее жизнь, а, как все свободно

и весело живущие женщины, Фрося считала свою жизнь очень несчастной. И ненавидела она Лену за то, что Лена нравилась Петру.

Петр и любил и стеснялся, когда Лена неумелыми детскими движениями поправляла ему перевязку, подушки, избегая смотреть на него, а когда он заговаривал с ней, вдруг бросала на него из-под длинных ресниц теплый недоверчивый звериный взгляд.

В ее сдержанности и в том, что она могла так смотреть на него, была для Петра особенная прелесть непонятности того духовного мира, которым жила эта девушка.

Ему приходилось так много иметь дела с жестокой, корыстной и грубой стороной жизни, что он испытывал чувство нравственного отдыха и какого-то озорного, радостного любопытства, когда у постели возникало это непонятное ему тонкое и нежное создание.

Он не предполагал, что с того самого вечера, когда его привезли раненого, все чувства и мысли Лены были сосредоточены на нем.

После того вечера, когда Лена слышала так взволновавшее ее своей красотой и правдой пение деревенских женщин, в ней точно раскрепостились ее жизненные силы. Огромный мир природы и людей предстал перед ней.

Яркие зеленели луга, сады. Пахло багульником, от которого сплошь посинели сопки. Только успела развернуться в лист черемуха, как брызнули за ней липкой глянцевитой листвой тополя, осокори. И вот уже лопнули тверденькие почки березы, потом дуба, распустились дикая яблоня, шиповник и боярка. Долго не верил в весну грецкий орех, но вдруг не выдержал, и его пышная сдвоенная листва на прямых длинных серо-зеленых ветках начала покрывать собою все; а его догоняло уже бархатное дерево, а там оживали плети и усики дикого винограда, и кишмиша, и лимонника.

Солнечные облака бежали в прудах и лужах. На полях и огородах пели девушки. Вооруженные, в тяжелых сапогах, люди текли по улицам. Конники, величественные, как рыцари, проплывали перед окнами, и по всему их пути фыркали кони и звенели колодезные ведра. По ночам парни ухали так, что вздрагивало сердце. Когда Лена, днем, в одном сарафане, босая, выходила на любимую с детства проточку за садом, ощущение подошвами нагре-

той солнцем влажной земли трепетом проходило через все ее тело.

Лена не знала, как, кому, на что отдать эти проснувшиеся в ней силы жизни, но она чувствовала потребность отдать их кому-то, и все силы ее жизни сосредоточились на Петре.

Правда, внешность Петра, его манера держать себя расходились с тем, как Лена могла представить себе любимого человека. Ей больше нравились высокие, стройные, а Петр был коротконог, тяжел и лицом и телом. В движениях его не чувствовалось внутренней свободы, он точно всегда помнил, что на него смотрят. Лена очень стеснялась при нем. Но все, что она знала о нем, — и ужасная смерть его отца, и героическая защита штаба крепости, и бегство из плена, и ранение в бою, и то, что он возглавлял борьбу с врагом, мощь которого Лена считала почти неодолимой, — делало Петра в глазах Лены живым олицетворением той силы, к которой она бессознательно стремилась все последнее время своей жизни.

Трогало ее то, что Петр был сейчас беспомощен. И было что-то необыкновенно привлекательное в том неожиданном мальчишеском выражении на мужественном лице, выражении, которое проскальзывало где-то в твердых полных губах и во взмахе светлых густых ресниц, когда он взглядывал на нее.

XLII

После дневного дежурства в больнице Лена отважилась зайти к Петру не по обязанности «сестры», а по желанию навестить его.

Солнце садилось за хребтом, и желтый закат стоял в окнах. Петр в белой чистой рубашке, под которой чувствовались его сильно развитые грудь и плечи, лежал, покойно выпростав поверх одеяла тяжелые руки с широкими загорелыми кистями.

По разбросанным по полу окуркам и слоям дыма под потолком Лена поняла, что у Петра весь день был народ. Его большое, в крупных порах лицо было землистого оттенка, но, как только Лена вошла, оно мгновенно осветилось мальчишеским живым выражением, так нравившимся ей.

— А вы опять принимали! — укоризненно сказала она, избегая встретиться с его взглядом. — Можно хоть окно открыть?

— Откройте...

Запахи двора и сада и дальние звуки с улицы хлынули в комнату.

— Хотите, я подмету у вас?

— А вы разве умеете? — усмехнулся Петр. — Нет, вот что: вы не заняты? Посидите со мной.

Лена быстро взглянула на него и молча села на стул у его ног.

— Вы не удивитесь, если я...— Петр запнулся.— Я часто думаю, — решительно сказал он, — что понудило вас отказаться от всего, что вы имели в жизни, и приехать к нам, сюда? — Он смущенно улыбнулся и повел рукой вокруг, словно показывая Лене все, что происходило за стенами этой комнаты.

— А от чего, вы думаете, мне трудно было отказаться? — спросила она.

— Все-таки привычки, привязанности. Ведь вы воспитывались у Гиммера?

— Разве среди вас нет людей, которые так же отказались от этого?

— Есть, конечно. Но у каждого свой путь. Или, может, я не должен спрашивать об этом? — вежливо спросил он.

— Нет, почему же, я могу ответить... Мне кажется, мне не от чего было отказываться, — спокойно сказала Лена и прямо посмотрела на Петра. — Если говорить о внешних условиях, они никогда не имели для меня цены. А все то, что могло бы доставлять радость в жизни, оказалось при ближайшем рассмотрении призрачным и ложным...

— Что, например? — с любопытством спросил Петр.

— Ну, как вам сказать? — Лена смутилась. — Я не умею рассказывать о таких вещах, — сказала она, и лицо ее сразу окаменело, приняв то особенное выражение недоступности, которое так нравилось Петру. — Я думаю, что только то, о чем человек может мечтать с детства, во что он в эту пору верит, к чему стремится — любовь, дружба, семья, готовность жертвовать собой, желание людям добра — только это может дать истинное счастье в жизни, может привязать к чему-либо... или к кому-

либо. Но... — Лена, вывернув кверху свои продолговатые ладошки, искоса взглянула на Петра, и губы ее смешливо задрожали. — Но в этом мне не повезло...

— Почему же? — спросил он с таким искренним удивлением, что даже польстил ей.

— Все это очень скоро обнаружило довольно корыстную и подлую изнанку, — сказала она.

— И разочарование во всем этом толкнуло вас... — удивленно начал Петр.

— Разочарование во всем этом может толкнуть только в могилу, — сказала Лена, бросив на него взгляд, полный лукавства и удовольствия, противоречивший серьезности ее слов. — Я просто поняла, что люди, среди которых я живу, лишены этого, чего-то самого человеческого. И сделала из этого необходимый вывод, вот и все...

«Она умна», — подумал он. Некоторое время он внимательно смотрел на нее.

— А здесь вы нашли то, что искали?

— Разве это можно искать? Я просто приехала к отцу, потому что мне больше некуда было деться.

«Умна и прячется», — вдруг весело подумал Петр.

— Но я благодарна тому, что здесь впервые почувствовала жизнь. Ведь я, действительно, не испытала еще ни ее радостей, ни ее трудностей.

— Ну, трудностей вы найдете здесь немало, — сказал он с озорным блеском в глазах.

— Вы хотите сказать, что совсем не знаете радостей? — спросила Лена невинным голосом.

— Нет, я боюсь, что они вам не подойдут, — засмеялся он. — Ведь мы люди грубые. Попаримся в бане и рады.

— Видите, даже этого удовольствия я была лишена!..

— И люди недобрые, — с усмешкой говорил Петр, — как бы вы не разочаровались в нас, грешных!

Лена искоса взглянула на него, и в горле ее вдруг тихо, нежно и весело, как выбившийся из-под снега родничок, зазвенел смех.

— Для этого надо быть сначала очарованной, — сказала она. — Или быть самой уверенной, что можешь очаровать...

— А это у вас выйдет...

— Вы думаете?

— Да. Для этого у вас есть все преимущества слабости.

— То есть?

— Я разумею такие слабости, как доброта, чувствительность. Люди очень ценят эти качества. Люди не догадываются, что два десятка злодеев не в состоянии причинить столько зла, как один добрый человек...

— Как вы сказали? Это вы... чудесно сказали! — вдруг воскликнула Лена, с удивлением и восхищением глядя на Петра.

— К тому же вы хороши собой, — продолжал Петр, — а за это вам везде всё простят.

— И вы тоже?

— Я, возможно, меньше, чем другие...

— Вы чувствуете себя имеющим право на бо́льшую строгость.

— Дело не в праве... Вот что, зажгите лампу, а то о нас невесть что подумают.

— Вы боитесь этого? — спросила она, вставая и оглядываясь на него.

— Конечно, боюсь. Я человек подневольный...

— Печально, что вы боитесь этого, — говорила Лена, стоя спиной к Петру и глядя в открытое окно, откуда тянуло вечерней прохладой и сыростью из сада. Губы ее смешливо подрагивали.

Она затворила окно и зажгла лампу на столике у изголовья Петра.

— Ну что ж, прощайте, — сказала она.

— Обождите... — Он сделал невольное движение к ней.

Из соседней комнаты донеслись торопливые шаги, дверь распахнулась, и на пороге показалась Аксинья Наумовна.

— Гости к тебе, — недовольно сказала она Петру, указав рукой через плечо.

Хрисанф Бледный, весь в грязи, и телеграфист Карпенко шумно вошли в комнату.

— Что случилось? — быстро спросил Петр и, поморщившись, сел на кровати.

— С двух концов жмут, товарищ Сурков, — со смущенной улыбкой сказал Хрисанф Бледный, — с Угольной японцы, а с Кангауза американцы! Бредюк послал...

— Знаю, зачем он послал! Бредюк послал за дозволением оставить Шкотово? — зло сказал Петр. — Не будет этого! Шкуру спущу, а...

Он спохватился и, взглянув на Лену, виновато развел руками, будто говоря: «Пока мы ведем тут с вами прекрасные разговоры, жизнь идет своим чередом, и видите, какие она несет неприятности».

Лена тихо вышла из комнаты.

XLIII

Несколько раз украдкой от Владимира Григорьевича и Фроси Петр вставал с постели и бродил по комнатам. А в тот день, когда Мартемьянов вызвал его из Ольги к прямому проводу, Петр решился выйти из дому. Только стало темнеть, он на цыпочках, с бьющимся от мальчишеского озорства сердцем вышел на улицу.

Вечер позднего мая в густых, точно настоянных за день, тенях и запахах ударил ему в голову.

Пока Петр добрел до телеграфа, он не испытывал ничего, кроме переполнявшего все его существо восторга, почти детского.

Телеграфист долго не мог связаться с Ольгой. И только здесь Петр почувствовал, что табурет плывет под ним, и сползла повязка, и рубаха прилипает к мокрой, не зажившей ране. Но чувство радостного обновления и полноты жизни вновь охватило его, когда он вышел на воздух и теплая темная ночь с журчащими, стрекочущими и скрежещущими речными и лесными звуками, стенящим комариным пеньем и запахом освеженных росою цветов и трав обступила его.

«Нет ничего невозможного, все, все возможно, когда такая ночь!» — думал он с детским чувством торжества и все прибавлял шагу, стараясь вернуть ощущение собственного тела.

В окнах Лены был свет. Только Петр стал подыматься по ступенькам крыльца, свет двинулся и исчез. За дверью чуть прозвучали шаги, и дверь отворилась. Лена в длинной украинской сорочке, с выпущенной поверх нее темной косою, держа в одной руке лампу, а другой придерживая дверь, с окаменевшим лицом всматривалась перед собой, не видя, кто это.

— Это я... Напрасно потревожились, — стараясь говорить обычным голосом, сказал Петр, охваченный внезап-

ной радостью и нежностью при виде ее в этой длинной сорочке и с этой ее милой косою.

— Боже, как вы побледнели! — сказала она одними губами. — Идите тихо, а то вам попадет от отца... Что это? — вдруг сказала она взволнованно. — У вас рубаха в крови? И рука... Идите, я сейчас же разбужу отца...

— Тсс... — Он, смеясь глазами, чуть дотронулся до ее руки. — Не подводите меня. Не волнуйтесь. Я сам все сделаю...

— Пойдемте, я помогу вам... Тихо! — Она предостерегающе подняла пальчик.

Держа перед собой лампу, Лена пошла впереди него.

— И что это вы придумали? — сказала она, когда они очутились в комнате Петра. — Как вы бледны! И как это вы ухитрились сами надеть сапоги? Давайте я вам сниму их...

— Елена Владимировна, нельзя... Я все равно не позволю...

Но она усадила его на кровать и, быстро опустившись на колени, своими тонкими руками с неожиданной ловкостью и силой стащила с него сапоги.

— Разденьтесь пока, а я принесу новый бинт. Да вымойте руку, а то на нее страшно смотреть, — говорила Лена.

Она шмыгнула за дверь.

«Хорошо, я разденусь, я вымою руку, я все сделаю, что ты мне прикажешь», — счастливо думал Петр, снимая рубаху и полощась в тазу.

— Говорите шепотом, а то на кухне свет, видно, Аксинья Наумовна не спит, — прошептала Лена, снова юркнув в комнату с бинтом и ватой в руке. — Ой, как вы себе разбередили! — сказала она, приглядываясь к ране, и он очень близко увидел ее уютную продолговатую, в мелких морщинках ладошку. — Почему вы не разделись совсем? — удивленно спросила она.

— Елена Владимировна, прошу вас... Я сам все сделаю, — вдруг густо краснея, сказал Петр. — Нет, право! После того, как я встал, я уже не чувствую себя больным. И, честное слово, я стесняюсь!..

— И как вы можете говорить такие глупости! — с досадой сказала Лена. — Раздевайтесь немедленно!

— Отвернитесь, — покорно сказал Петр.

Покрытый до пояса одеялом, он полусидел на крова-

ти, откинув свой могучий белый, с прямыми боками торс на руки, а Лена, склонившись над ним и по-зверушечьи снуя руками, туго опоясывала его бинтом, то и дело закидывая косу, которая скатывалась из-за ее движущихся под расшитой сорочкой острых плечиков.

— Дайте мне слово, что вы завтра будете лежать весь день. Ведь вы так можете погубить себя... И имейте в виду, эта перевязка не по правилам... И это очень опасно... Я как раз завтра дежурная... Я все приготовлю и перевяжу вас... Папа ничего не узнает, — беспрерывно шептала она ему, снуя вокруг своими тонкими руками.

Она то отдалялась от него, то почти обнимала, когда ее руки, пройдя ему за спину, перенимали одна из другой катушку бинта, и Петр, чувствуя на себе нежные прикосновения этих рук и запах ее волос, чуть касавшихся его щеки, слышал совсем не то, что она ему говорила, а что-то бесконечно таинственное, и сидел, как мраморный, боясь вздохнуть, сказать хоть слово...

— Ну вот, — с облегчением сказала она, широким движением раздирая конец бинта так, чтобы хватило завязать вокруг пояса. И снова обняв его и копошась пальцами где-то у него сбоку, на сильных выпуклых ребрах, обернула к нему свое улыбающееся лицо: — Даете слово?..

Он крепко и нежно обнял ее и посмотрел ей в глаза. Некоторое время она, дыша ему в лицо, словно поддерживала собой его лишившееся опоры тело. Потом руки ее ослабли, и она упала ему на грудь, и тяжелая коса ее, опрокинувшись через плечо, свесилась до полу.

Он бережно целовал ее глаза, плечи и косу возле теплого затылка. Но только Лена сделала слабое движение подняться, он сразу отпустил ее. Она села на постели и посмотрела на него своим теплым звериным взглядом. И, вдруг схватив его руку, поцеловала ее и выбежала из комнаты.

XLIV

Ночь темная-темная, напоенная влагой, окутывала сад. В двух шагах уже ничего нельзя было различить. С проточки за садом доносилась чуть слышимая весенняя возня; далеко за рекой кто-то кричал, кликая паро́м.

Лена долго сидела на скамье под яблоней, ничего не видя вокруг себя, полная неясных то ли надежд, то ли сожалений. О чем могла она жалеть, она не знала, но какой-то голос все упрекал ее, и от внезапного чувства униженной гордости ей становилось грустно до слез. Но снова и снова все только что пережитое накатывалось на нее, как могущественная волна прибоя, и новое, очень широкое и ясное чувство радостно пело в ее душе.

То она видела себя со стороны, и ей казалось, что все это было ложно, а потом она видела его глаза и чувствовала его губы и руки, и какие-то очень нежные, обращенные даже не к нему, а к кому-то, кого она представляла себе вместо него, слова любви рождались в ней.

«Я ничего не знаю и не умею, но самое лучшее, что я ношу в себе, если вы увидели это во мне, оно принадлежит вам, вы можете распоряжаться мной», — думала она с выступающими на глаза слезами.

Летучая мышь черной тенью промелькнула над яблоней. Лена вздрогнула и заторопилась домой.

Окна в комнате Суркова всё еще были освещены, — как видно, он тоже не спал. В соседнем растворенном освещенном окне кухни видны были силуэты отца и Аксиньи Наумовны. Они стояли друг против друга, и что-то странное показалось Лене в виноватой позе отца и в наклоне головы Аксиньи Наумовны, утиравшей глаза краем передника.

Не давая себе отчета, Лена подошла ближе. До нее донесся виноватый голос отца:

— Ну, что ты, Аксиньюшка, право... Да и поздно уже нам плакать, — говорил отец. — И разве я хотел тебя обидеть? Я вижу, столько новых забот, а годы наши уже не те, да и разве ты обязана? Я хотел...

— Об том ли я думала, когда ехала за вами? — не глядя на отца, всхлипывая, сказала Аксинья Наумовна. — Вы были одни для меня, как солнце на небе, я все бросила для вас. Что я без вас? Разве мне деньги нужны?.. Как я была молода, я была вам нужна, а как стара стала...

— Ты не так поняла меня. Ведь я же тебя не гоню! — взволнованно сказал отец, сделав какое-то жалкое движение плечом. — Я — одинокий, старый человек, чего я еще могу ждать от жизни? Мне не только лучше, если бы ты навсегда осталась со мной, мне было бы горько, если бы

ты покинула меня, горько и больно, — повторил он, и голос его задрожал. — Но я думал, что, может, ты устала от такой жизни, хочешь самостоятельности, покоя... Я хотел тебе сказать...

— Видать, вы меня за последнюю считали, раз я пошла на такую жизнь с вами, — не слушая его, говорила Аксинья Наумовна, — пошла на такую жизнь, да еще при светлом ангеле, Анне Михайловне, а того вы не думали, что я любила вас... — Голос ее осекся, она заплакала навзрыд.

— Как ты можешь так говорить! — с отчаянием сказал Владимир Григорьевич. — Я ведь хотел тебе добра. Ну, прости, прости меня! — Он двумя неловкими движениями погладил ее по голове и обнял ее. — Ну, все, значит, ладно! Ну, не будем, не будем об этом говорить, — повторял он, неловко прижимаясь бородой к ее седеющим волосам.

«О чем это они?» — взволнованно подумала Лена. И вдруг оскорбительная догадка все осветила перед ней. Потрясенная, Лена отошла от окна.

Но неужели мать не знала об этом или знала, но все-таки продолжала жить с отцом? А может быть, отношения между отцом и матерью были в последние годы только видимостью семейных отношений ради Лены и Сережи?

Лена не могла осуждать Аксинью Наумовну, такая сила преданности и любви к отцу, полной отрешенности от себя, была в этой женщине. И ведь она так любила Лену и Сережу — чужих детей, когда она имела право на своих! Лене трудно было осуждать и отца, таким одиноким и жалким он предстал перед ней. Но ее ужаснуло то, что прошлое ее отца и матери, бывшее как бы и ее светлым детским прошлым, тоже было осквернено ложью и нечистыми страстями.

«А *он* мог бы поступать так же и так же жить в этой лжи? — вдруг подумала Лена, вспомнив мужественную улыбку Суркова и то мальчишеское выражение в его губах и глазах, которое так нравилось ей. — Нет, он бы не мог! — сказала она себе с нахлынувшей на сердце волной любви и благодарности. — Он — орел, он — боец, отважный и благородный, и я люблю его!» — взволнованно и растроганно думала Лена, идя вокруг дома, чтобы постучаться с улицы.

XLV

Тот нравственный перелом, который совершился в Лене и пробудил в ней и скрытые физические силы, и лучшие стороны ее ума, незаметно вызвал к жизни и те ее воспитанные с детства привычки и склонности, которые были подавлены в ней последнее время под влиянием жизненных неудач.

Это не были внешние бытовые привычки. Наоборот, Лена испытывала чувство удовлетворения от того, что она избавилась от внешней показной мишуры и как бы опростилась. Это была несознаваемая ею самой привычка и склонность к признанию другими ее незаурядности, к мужскому поклонению перед ее умом и красотой, к первенству и влиянию среди сестер, подруг, поклонников.

На достижение этого она никогда не тратила сознательных усилий, — это давалось ей само собой. Но именно поэтому ощущение значительности уже того факта, что она существует на свете и все признают это необыкновенным и добиваются ее благосклонности, — стало естественным и необходимым условием ее существования. Люди, воспитавшие в ней это качество, давно уже были разоблачены и отвергнуты ею, а самые привычки и склонности остались.

Ни на следующий день, ни после Лена не пошла перевязывать Петра. И даже не могла заставить себя спросить у отца, а тем более у Фроси, — хуже ли ему, лучше ли.

Одна мысль, что он, может быть, раскаивается в том, что́ произошло, и может подумать, что она снискивает его любви, подымала в ней такую волну гордости, что какое бы то ни было проявление внимания к нему, идущее от нее, первой, было совершенно невозможно для нее.

Но чем дольше она его не видела, тем больше она хотела его видеть. Ночами она терзала себя представлениями того, что было между ними, и как он лежит теперь рядом, один, беспомощный, ждет ее. Или вдруг ей казалось, что своим пренебрежением она навсегда оттолкнула от себя этого сильного, гордого человека, и ее охватывала такая страстная любовная тоска, что она готова была сейчас же вскочить с постели и пойти к нему, и — будь что будет.

«Что же это? Люблю ли я его?» — так думала она, спустя несколько дней, проснувшись поздно утром в комнате, залитой солнцем, с приятным ощущением свободного от дежурства дня и возможности лени.

И вдруг в дверь постучались, и вошел отец.

— Прости, друг мой, — сказал он, — сделай ему перевязку! Это последняя, с завтрашнего дня он уже будет выходить. А у меня сейчас две квартальных сходки подряд...

«Вот еще не хватало! Точно нарочно!» — подумала она, охваченная радостным волнением, но еще сообразила спросить:

— Кому ему?

— Да Петру Андреевичу... Я уже распорядился, чтобы тебе все принесли.

Она тщательно, перед зеркалом, надела косынку. «Идти или нет? Сейчас или подождать?»

Но только она с эмалированной коробкой под мышкой вышла в коридорчик, как столкнулась лицом к лицу с Вандой, которая, даже не взглянув на нее, в своих штанах и сапогах, с револьвером на боку и с полевой сумкой через плечо проследовала к Петру.

«Я тоже могла бы быть красивой, нежной, любимой, но я наплевала на все это, и я презираю вас за то, что вы можете стремиться к этому», — проходя, сказала она Лене своими штанами, сапогами, волосами, свисающими вдоль ушей, как бакенбарды.

И Лена, струсив, вернулась в свою комнату.

Несколько раз Лена выходила в столовую и слышала их спорящие голоса...

— Слишком широко и беспредметно... — доносился голос Петра.

— Мне кажется, антирелигиозная пропаганда... Разве ты не знаешь, что весь ревком... — самолюбиво говорила Ванда.

— Согласен. Но кто же сможет все это проповедовать? Хрисанф Бледный, что ли?..

Через столовую, весело переговариваясь, прошли Алеша Маленький, небритый, грязный, жизнерадостный, и незнакомая Лене кореянка в черном платье, запылившемся по подолу. Послышались радостные восклицания, сбивчивые голоса какого-то вновь возникшего спора, потом дружный смех, который уже не умолкал.

Лена, измученная ожиданием, слышала этот смех. И вдруг, повинуясь закипевшей в ней недоброй силе, с выражением — «никто и ничто не может помешать мне выполнить мою *обязанность»,* она прошла в комнату к Петру.

В этот момент, когда она вошла, Петр, рассказывавший о подвигах Бредюка, только что привел слова Хрисанфа Бледного о том, как Бредюк и Шурка Лещенко вошли к спящему начальнику гарнизона и Лещенко сказал:

«Який гладкий... видать, ще николы не битый».

Лене бросилось в глаза лицо Петра, полное такого веселья, какого она еще не видела в нем, и особенное выражение лица этой незнакомой кореянки с блестящим, как вороново крыло, узлом волос на затылке, которая глядела на Петра влюбленными глазами и громко смеялась, сверкая белыми, крепкими зубами.

Лена, держа под мышкой коробку с бинтами и ватой, остановилась посреди комнаты. Смех тотчас же прекратился. Все с удивлением обернулись к Лене. На всех лицах появилось выражение недовольства, но ей ничего не оставалось, как продолжать то, что она начала.

— Я пришла сделать вам перевязку, — сказала Лена с окаменевшим лицом. — Простите, что задержалась, но я все время ждала, что придет отец.

Петр быстро взглянул на нее и отвернулся, как показалось Лене, с выражением досады и неловкости.

— Перевязку? — медленно повторил он, не глядя на Лену. — А нельзя ли подождать с перевязкой? Не можете ли вы зайти попозже? — Он прямо посмотрел на нее.

На лице Лены вдруг появилось жалкое, униженное выражение. Она еще успела увидеть торжествующую улыбку Ванды и, чувствуя на своей спине взгляды всех, находившихся в комнате, вышла неверной походкой.

Ничего не замечая перед собой и до крови кусая губы, она прошла сквозь какие-то двери и комнаты, спустилась с крыльца. Доски забора, ветви деревьев плыли мимо нее. Вдруг она увидела перед собой скамейку, яблоню и поняла, что пришла не в больницу, а в сад. Некоторое время она постояла перед скамейкой, держа в руках эмалированную коробку. И вдруг, обняв ее, упала на скамейку и разразилась рыданиями.

XLVI

— Самоуверенности у тебя, Петя, извиняюсь, на десятерых, а на что она опирается, неизвестно, — говорил Алеша поздним вечером, стягивая сапоги со своих маленьких ног, любуясь новыми полотняными портянками.

— Это тебе так кажется, — улыбнулся Петр, — и кажется тебе потому, что ты сам колеблешься по всему фронту... Да, да, да! Азарта прежнего в тебе нет. Жизнь тебя многому научила.

— А тебя ничему! — Алеша сердито задвинул сапоги ногой под кровать.

— Мы же условились не ругаться? — засмеялся Петр, исподлобья взглядывая на него. — У тебя еще есть возможность выступить на корейском съезде и сказать: «Вот, мол, что, друзья: хунхузы будут вас палить и резать, а мы будем смотреть на вас да сочувствовать, а помогать вам мы ничем не можем». То-то обретешь союзничков!..

— И демагог же ты, честное слово! — Алеша безнадежно махнул плотной своей ручкой.

— А потом, что это за линия, право, — продолжал Петр. — На словах не соглашаться, брюзжать, а на деле поступать не по-своему, а по-нашему?

— А что мне делать, коли ты морской разбойник и я на твоем корабле в плену? Другого я и делать не могу. А в общем, ну тебя к черту! И правда, ругаться не хочется. Свет-то утушить?

— Туши.

— Ишь какую старый хрен ямку пролежал, как в люльке, — говорил Алеша, с наслаждением вытягиваясь на кровати Мартемьянова в чистом после бани белье. — Что это за сиделка все вертится тут возле тебя, чернявая такая?

— Сиделка? — Петр представил себе весь ход Алешиных мыслей и улыбнулся. — Ох ты, Алешка!

— А что? — не обиделся Алеша. — Это у меня голова так повернута, а сам я — смирный, как каплун. Я думал — промеж вами что-нибудь есть.

Некоторое время они лежали молча.

— И что это за идиотство такое, что наши никак с тюрьмой не свяжутся? — вдруг воскликнул Алеша, садясь на постели. — Нет, ежели уж тебе правду

говорить, — сказал он проникновенным голосом, пытливо вглядываясь в Петра, — коли б не ваша военная тактика «одним махом всех побивахом» да не созывали бы вы этих съездов не вовремя, я бы, пожалуй, вас поддержал, — смущаясь от сознания, что отступает, говорил Алеша.

— Спасибо за щедрость души! — фыркнул Петр. — Ух, до чего занудлив стал! Иной раз хочется тебе прямо морду побить!

— Вот-вот, морду побить! Это и есть вся твоя военная тактика, — озлился Алеша. — За это тебе и наклепали под рудником.

— Что? — Петр, возмущенный, приподнялся на постели. — Ты считаешь нашу операцию...

— Спи, спи, ну тебя к черту! — торопливо сказал Алеша, ложась и натягивая на голову одеяло.

— Да если бы не наша операция под рудником, — гремел над ним Петр, — белые сейчас были бы хозяевами в долине, и мы бы с тобой не разговоры разговаривали, а оборонялись от них здесь, под Скобеевкой!

— И ладно! И оставим этот бесполезный разговор, — бубнил Алеша под одеялом.

— Всякой, знаешь ли, шутке есть предел. Когда люди погибают, этим шутить нельзя!..

Петр откинулся на подушку и замолчал.

Алеша выждал, потом высунул голову из-под одеяла. Они долго лежали в темноте, каждый чувствуя, что другой не спит.

— Как тебе кореяночка понравилась? — снова спросил Алеша.

— Хорош каплун! — усмехнулся Петр. — Придется Соне написать.

— Да я и не думал того, что́ ты думаешь! Я в общественном смысле спрашиваю.

— В общественном смысле она не из той породы, чтобы на оттеночках жить, — зло сказал Петр. — И я ее понимаю: чего сто́ит человек без металла в душе!

— Поди, того же, что и человек с металлом в голове, — ехидно сказал Алеша.

Они снова замолчали.

— А ты знаешь, что мне показалось? — зевая, сказал Алеша. — Будто дочка Костенецкого на тебя обиделась.

— Ты думаешь? — живо спросил Петр, обернувшись к нему.

— Конечно. Девочка к тебе же с перевязкой, а ты на нее как зверь.

Петр некоторое время внимательно вглядывался в Алешу, не подозревает ли тот чего-либо. Нет, Алеша не подозревал.

— Что ж поделаешь! Не всегда есть время деликатесы соблюдать, — угрюмо сказал Петр и отвернулся.

Алеша скоро уснул, а Петр долго грузно лежал, глядя в темноту перед собой. Он все вспоминал, как Лена в белой косынке стояла посреди комнаты с эмалированной коробкой под мышкой и то жалкое выражение, которое появилось на лице Лены, когда он грубо ответил ей.

Петр был недоволен собой и жалел ее.

Вопреки распространенному мнению, исходящему из того, что общественная жизнь сложнее личной, быть правдивым в личных отношениях часто труднее, чем в отношениях общественных, труднее потому, что личная жизнь есть та же общественная жизнь, но менее осмысленная.

«Почему я так поступил?» — спрашивал себя Петр. Девушка нравилась и продолжала нравиться ему. И все было естественно и просто до той ночи, когда он стал обнимать и целовать ее. А после той ночи все стало неясно и непросто, потому что он увидел свои возможные отношения с Леной глазами других людей.

Лена, бывшая сейчас «милосердной сестрой», дочерью всеми уважаемого *своего* доктора Костенецкого, сразу поворачивалась в глазах у мужиков как чистенькая городская барышня, путающаяся — да еще в такое время! — с председателем ревкома. И когда Петр видел Лену этими глазами, он сомневался в подлинности своих чувств к ней и жалел о том, что произошло между ними.

Сознание того, что обнимать и целовать женщину можно тогда, когда есть взаимное чувство, а если есть взаимное чувство, надо жениться, то есть образовать семью, а если это невозможно, то не надо и начинать, а если начал, то это нехорошо и надо отвечать перед женщиной, — правдивое и ясное сознание этого мучило Петра.

Самолюбие мешало ему теперь признаться в том, что грубость его была вызвана внезапностью появления Лены

и смущением от присутствия других людей и боязнью того, что они могут подумать. Но он чувствовал, что поступил нехорошо, и был недоволен собой.

«Нет, это надо как-то исправить», — говорил он, мрачно глядя перед собой и с нежностью представляя себе ее глаза, тяжелую косу, продолговатые детские ладошки, даже эту эмалированную коробку, но так и не представляя себе, как это можно исправить.

XLVII

Накануне открытия корейского съезда Петр и Мария Цой проводили совещание делегатов-стариков. Домой Петр попал уже поздней ночью. Ключом, который он обычно носил с собой, чтобы не тревожить Аксиньи Наумовны, он открыл наружную дверь и, стараясь тише ступать, тяжело переваливаясь на цыпочках, прошел в столовую. Приглушенная лампа на столе освещала оставленный Аксиньей Наумовной ужин, стакан молока, прикрытый блюдцем. Петр заглянул к себе в комнату. Алеша уже спал.

В это время скрипнула дверь из кабинета Владимира Григорьевича, и шаги Лены зазвучали по коридору, — она прошла на кухню.

Несколько минут Петр постоял над холодным ужином, раздумывая. Только шаги Лены зазвучали в обратном направлении, он открыл дверь и вышел в коридор. Лена в своем коричневом сарафане, с полотенцем через плечо, испуганно отпрянула и искоса, дико, взглянула на Петра.

— Простите, — сказал он, — давно вас не видел, хотел бы поговорить с вами.

Она отвела от него взгляд, и лицо ее приняло каменное выражение.

— Хорошо, пройдемте ко мне.

Петр вслед за ней вошел в кабинет и притворил за собой дверь.

В былые времена Петру приводилось работать в этом кабинете, пропахшем табаком и книгами. Ничто как будто не изменилось в обстановке, но вся комната преобразилась. Чувствовалось, что здесь живет женщина и что эта женщина — бездомная женщина.

Лена повесила полотенце на оленьи рога над диваном, опустилась на диван, на котором лежала ее постель, приготовленная к ночи, и подобрала под себя ноги. Настольная лампа, прикрытая бумажным абажуром, освещала только середину комнаты, — в углу, где сидела Лена, было полутемно.

— Садитесь... — Лена, не глядя на Петра, указала глазами на кресло.

— Я постою. Я просто хотел проведать, как вам живется, — сказал он, чувствуя, что говорит совсем не то, что́ нужно.

— Спасибо.

— Давно следовало бы сделать это, — неуверенно говорил Петр. — Но... чертовски много дел. И вы так давно не заходили...

Лена молчала.

— Как идет ваша работа? — спросил он.

— Ничего, спасибо.

— Вы удовлетворены ею?

— Ничего, спасибо.

Петр стоял у письменного стола и вертел в руках пресс-папье. Что-то еще нужно было сказать.

— Простите меня, если вам неприятно это слышать, — решительно сказал Петр, — но вы не в обиде ли на меня?

— Я в обиде на вас? — Лена удивленно подняла свои широкие темные брови. — Странно даже слышать это от вас. Ведь вы олицетворяете собой целое учреждение. Разве можно обижаться на учреждение?

— Значит, правда, обиделись, — утвердительно сказал Петр и с улыбкой взглянул на нее. — Я пришел просить у вас прощения. Я, возможно, грубовато обошелся с вами в прошлый раз... — Он просил прощения не в том, в чем был виноват. — Это вышло непроизвольно в силу большой занятости, да это и вообще в моем характере. Забудьте это.

— Так вы вот о чем! — протяжно сказала Лена.

Некоторое время она, облокотившись на подушку, молча смотрела мимо Петра.

— Уж если вы заговорили об этом, — жестко сказала она, — вы, действительно, были грубы... как-то нарочито грубы. Точно вам хотелось показаться передо мной и перед вашими товарищами более монументальным, чем вы есть на самом деле...

Петр удивленно посмотрел на нее.

— Но ведь это же неправда! — воскликнула она. — Ведь, насколько я знаю, вы учились так же, как и все мы, смертные? Насколько я помню, вы были обременены кантами и меркуриями коммерческого училища? Да, да!.. В детстве мне даже довелось быть свидетельницей, как вы унижались, чтобы сохранить их, эти канты и меркурии. Вы даже заставляли унижаться свою мать, насколько я помню! — сузив глаза и не спуская их с Петра, говорила Лена.

— Что?.. Я вас не понимаю, — сказал он.

— Нет, вы не всегда были таким монументальным, таким беспощадным, как это вы недавно продемонстрировали по отношению ко мне! — не слушая его, продолжала Лена. — Как это было мужественно с вашей стороны!.. А ведь было время, когда вы сами в передней у Гиммера вымаливали, чтобы вас не лишили вашего местечка под солнцем, даже заставляли делать это вашу старую, больную мать! — говорила она звенящим голосом.

То, что̀ она говорила, было так неожиданно и смысл того, зачем она говорит это, так не скоро дошел до Петра, что он вдруг начал оправдываться.

— Я сделал это ради матери! — хрипло сказал он. — Ей так хотелось, чтобы я был образованным, чтобы я не страдал всю жизнь от грязи, унижений, как страдала она! Это не я ее, это она меня понудила просить. Я пошел из жалости к ней.

— Приятно слышать, что вам были присущи хоть эти простейшие чувства, — усмехнулась Лена. — Теперь-то вы, вероятно, постарались освободиться от вашей матушки? И в самом деле, кому приятно вспоминать об унижениях! Теперь вы сами получили право унижать людей, а ваша мать, возможно, и сейчас сидит в чьей-нибудь передней? — голосом, в котором клокотала злая сила, говорила Лена.

Мясистое лицо Петра вдруг все покрылось бурыми пятнами. Он осторожно, обеими руками, положил пресс-папье на стол и вышел из комнаты.

Выражения испуга, горя, отчаяния мгновенно прошли по лицу Лены. Она вскочила, быстрыми шажками подбежала к двери и, остановившись на одной ноге, приложившись ухом к щелке, прислушалась.

Петр, находившийся в том редком состоянии бешенства, когда он уже ничего не мог соображать, тяжелыми шагами прошел к себе, разделся и лег.

И сразу весь разговор с Леной встал перед ним в действительном свете.

«На что замахнулась! — гневно думал он, с мучительной жалостью вспоминая мать свою, как он видел ее в последний раз за столом, пьяную, в нижней рубашке, с опухшими ногами. — Вы никогда не знали, что такое нужда, вы не сделали ни одной вещи своими руками, прекрасная барышня, и вы беретесь рассуждать о жизни! — гневно думал Петр. — Да, да, вы благородная барышня, как же. Вы обвиняете меня в бесчеловечности, в неправде. Но грош цена *вашей* правде! Даже самые дурные страсти лучше вашей правды на тонких ножках!..»

Он так терзался, что не спал всю ночь. А когда измучился вконец, Лена с ее детскими руками и с этим ее теплым звериным взглядом вдруг встала перед ним, и он ощутил такое мучительное слияние нежности и оскорбленной страсти, что уже не мог сомневаться в истинном значении своих чувств.

Он не заметил, успел ли он уснуть, но он открыл глаза оттого, что кто-то толкал его в плечо.

Уже светало. Алеша сидел на койке, свесив босые ноги и протирая кулаками глаза. У кровати Петра стояли Яков Бутов и еще какой-то шахтер с жидкими серыми волосиками смущенно теребивший в руках фуражку.

— Прости, товарищ Сурков, что рано подымаем. На руднике у нас неладно, — говорил Яков Бутов.

Так начался тот самый день, когда прибыл из-под Ольги отряд Гладких, и Лена познакомилась на проточке с младшим Казанком, и Мартемьянов и Сережа вернулись в Скобеевку.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

В политической жизни, как и в обыденной, большинство людей видит факты и явления односторонне, в свете собственного опыта и знания. Из этого не следует, однако, что в политических спорах так называемых рядовых, то есть обыкновенных людей, все они более или менее не правы. Здесь так же действителен тот непреложный закон жизни, который говорит, что при возможном обилии точек зрения спорящих сторон может быть, в сущности, две, и ближе к правде может быть только одна — именно та, которая выдвинута самой жизнью в ее развитии, ее как бы завтрашним днем.

Петр, Алеша Маленький, Сеня Кудрявый и Мартемьянов в первый же вечер, как они сошлись вместе, заперлись в той самой, с окнами во двор, комнате, где Петр почти месяц пролежал раненый, и спорили всю ночь до утренней зари и проспорили бы до вечерней, если бы Аксинья Наумовна их не разогнала.

Особенностью их спора было то, что никто из них — ни Петр, ни Алеша, ни Сеня, ни Филипп Андреевич — не знал, каково действительное положение на фронтах, окруживших Советскую Россию с севера и юга, с востока и запада, и какова судьба советских республик в Баварии и Венгрии, и какие силы сможет бросить в Сибирь Япония, и как ответит на это Америка, и как отнесутся к действиям Японии и Америки Англия и Франция, и насколько отвлекут силы мировых держав индийские, китайские, корейские дела. Обо всем этом они знали очень

мало, а если бы и знали больше, соединить вместе все эти обстоятельства и сделать из них правильные выводы было неподсильно их разуму.

Люди, которые знали эти обстоятельства и могли сделать из них правильные выводы, находились за десять тысяч километров отсюда, отделенные сибирской тайгой, Уральскими горами, барьером фронта.

Люди, которые могли хотя бы в грубых чертах разбираться в этих обстоятельствах, сидели в тюрьме, и связь с ними была утеряна.

Но хотя все четверо не знали этих обстоятельств, они понимали, что правильное решение задачи зависит от правильного понимания этих обстоятельств. И в споре они все время оперировали этими обстоятельствами, заполняя незнание дела догадками и чувствами.

Это была трагикомическая черта их спора.

Тем не менее, в их споре было глубокое жизненное содержание, от того или иного понимания которого зависела судьба десятков и сотен тысяч людей.

Опыт восстания подсказывал Петру, что, если не идти сейчас навстречу коренным мужицким интересам, мужики скоро остынут и не пойдут на длительную вооруженную борьбу.

А представление о силах интервенции подсказывало Алеше, что мужицкие интересы не могут быть сейчас осуществлены и лучшие силы тратятся бесполезно, вместо того чтобы правильно организовать вооруженную борьбу.

Это же представление говорило Алеше, что вооруженная борьба должна быть организована так, чтобы быть наименее уязвимыми. И он отстаивал тактику мелких отрядов.

А логика борьбы толкала Петра на создание крупных отрядов, потому что он не понимал, зачем нужно стремиться к мелким операциям, когда обстановка позволяет совершать крупные.

С точки зрения Петра наиболее сильным ударом по колчаковскому тылу явился бы захват Сучанского рудника, лишавший город, и порт, и железную дорогу угля и вливавший в партизанские отряды несколько тысяч рабочих.

А Алеша видел, что эти крупные отряды уже несколько месяцев безрезультатно возятся под рудником, вместо того чтобы выйти на Уссурийскую дорогу, от ко-

торой зависела материальная связь Колчака со всем внешним миром.

Мартемьянов в этом споре целиком стоял на позициях Суркова. Там, где Мартемьянов мог опереться на свой опыт, этот опыт говорил ему то же, что и Суркову; а там, где он не понимал сути дела, он поступал по сложившейся уже привычке доверия к Суркову.

Сеня же, сам того не замечая, занимал позицию примирения двух сторон, то есть Петра и Алеши, — по мягкости характера и из наивного представления, что, взяв от каждого то, что кажется хорошим, и отбросив то, что кажется плохим, он найдет как раз то, что нужно. Он никогда бы не мог предположить, что его позиция не только не может быть правильной, но вообще не может быть позицией, потому что позиция не есть отделение всего хорошего от всего плохого, а есть определение главного и решающего сейчас среди всего остального.

Таким образом, в этом споре, как и во всяком другом, были две стороны, из которых только одна могла быть ближе к правде в основном и главном. Но так как каждый из участников спора считал себя ближе к правде, то спор длился всю ночь, в течение которой они наговорили друг другу много обидных и несправедливых вещей.

Но, в отличие от житейских споров, этот спор имел ту особенность, что, впервые собравшись вместе, они поняли, что из всех окружающих людей именно они, четверо, со всеми недостатками их ума, знаний, характеров, призваны решать и направлять все это движение мужиков, за которое они отвечали и перед мужиками, и перед своей партией, и перед собственной совестью. И несмотря на обидные и несправедливые вещи, которые они наговорили друг другу, они с еще бо́льшим рвением принялись каждый за свое дело, после того как рассерженная Аксинья Наумовна, всю ночь слышавшая через стену их громкие голоса, вытолкала их из комнаты.

II

Мария Цой, жившая в помещении школы, лежала одна в этом большом пустом доме и тоже не спала всю ночь.

С заседания корейского съезда она прошла в расположение корейской роты, где должны были судить парти-

зана-корейца за то, что он, играя с ружьем, убил русского мальчика.

Не только вся семья крестьянина, потерявшая мальчика, но крестьяне и крестьянки со всего десятка, где жили и столовались корейские партизаны, пришли на собрание роты: одни — полные мщения, другие — ища справедливости.

Собрание происходило на лужке в самом конце этой части села, под отрогом.

Вместе с Марией Цой на собрание пришли телеграфист Карпенко — как представитель ревкома — и старичок с головкой-одуванчиком, Агеич. Агеичу по его должности завхоза тут делать было нечего, пошел он, по его словам, «для интересу», а на самом деле — из боязни потерять Карпенко, с которым они по вечерам тайно выпивали.

Вооруженные партизаны-корейцы, в большинстве молодые люди, в русских гимнастерках и сапогах, в кепках, стриженые, обсели лужок вокруг, поджав под себя ноги. За ними, обступив их плотной враждебной стеной, частью уже в кустах, молча вытягивая лица из-за голов передних, стояли русские мужики, бабы. Деревья вокруг были унизаны ребятами.

Несмотря на напряженность минуты, почти все корейские партизаны смотрели только на Марию Цой. Эта необычайная, в русском платье, но не русской, родной красоты девушка со своими страстными темно-карими косыми глазами, узкими кистями рук и челкой черных блестящих волос, спадавших на белый матовый лоб, — была для них не просто одной из руководительниц корейского восстания, а нежной душою, символом этого дела, казавшегося им самым великим и святым делом в мире. И они смотрели на нее с таким обожанием, что она сидела бледная, чувствуя свою власть над ними.

Подсудимый, худенький паренек лет семнадцати, стоял посреди зеленого лужка, безжизненно свесив тонкие руки, подняв бледное лицо с смотрящими куда-то вдаль длинными глазами густого темно-лилового цвета. Он чувствовал вокруг себя враждебную стену мужиков, видел, что товарищи избегают смотреть на него, но это было уже безразлично ему. Он страдал оттого, что расспросы председателя-корейца и какого-то русского старичка в картузе, рыдания матери погибшего мальчика и

подробности, рассказываемые плачущей бабкой, вновь и вновь возвращали его к виду бьющегося головкой в пыли тела мальчика во взбившейся гороховой рубашке. И страдал он еще оттого, что Мария Цой, перед которой он хотел бы быть благородным рыцарем, как покойный король Ли Гванму, что значит «Светлая воинственность», — видела его несчастье и позор.

— Зачем же ты с ружьем-то баловал? Разве ружье затем дадено? — прижмуриваясь под смятым нáкось картузиком, допытывался Агеич, окончательно влезший в разбирательство дела.

Подсудимый, глядя поверх людей, вспомнил, как он всегда мечтал иметь ружье, и как блестело оно, когда он смазал его маслом, и как гордился он, когда на него возложили охрану имущества роты, и какое азартное чувство овладело им, когда он, сидя на лавочке, нахмурив брови, щелкал затвором, и золотистый патрон выпрыгивал из ствола, как бурундучок, — подсудимый вспомнил все это и не ответил на вопрос. Он понимал, что все эти детские подробности не могут оправдать его теперь, когда он навеки обречен видеть это бьющееся головкой в пыли тело мальчика в гороховой рубашке.

— То-то вот и оно, что нельзя баловать с ружьем, — радостно сказал Агеич. — Ружье дадено супротив врагов трудового народа, ружье надо беречь, как...

— Будет тебе... — тихо сказал Карпенко, сурово и молча отгонявший комаров от своих ушей, похожих на крылья бабочки.

— Что ж будем делать теперь? — смущенно спросил председатель, обращаясь глазами к Карпенко и Цой.

— А нас чего спрашивать? Ты у собрания спроси! — сердито сказал Карпенко, снова принимаясь за свои уши.

Председатель молча обвел глазами собрание.

Приговор был уже вынесен в каждом сердце. Приговор был суров. Все смотрели в землю и молчали; молчали и мужики. Только ребята на деревьях жили своей громкой отдельной жизнью.

— Ни! Скажи собранию, какое наказание ты считаешь справедливым за свое преступление? — кротко обратился председатель к подсудимому.

Подсудимый по-детски вздохнул и тихим спокойным голосом сказал, что он заслуживает смерти.

— Правильно... правильно... — тихо, но одобрительно отозвалось несколько голосов из среды корейцев-партизан.

Мария Цой встала и подняла руку.

— Есть ли здесь хоть один человек, который думает, что Ни убил мальчика нарочно? — спросила она.

Все молчали.

— Нет таких? Я советовалась с председателем ревкома, товарищем Сурковым, — сказала Цой, — и мы вместе считаем, что Ни виноват в том, что он плохой, недисциплинированный партизан, — это привело его к несчастью. Поэтому было бы правильнее, если бы отобрали у него оружие и выгнали его из отряда...

Подсудимый медленно повернул голову и, прямо взглянув в глаза Цой своими темно-лиловыми глазами, сказал, что он не уйдет из отряда: как будет он глядеть в глаза отцу и матери и маленьким сестрам? Он просит товарищей оказать ему последнюю услугу и расстрелять его.

Отец убитого мальчика, босой мужик с седой прядью на темени, все время стоявший молча в своей длинной полотняной рубахе без пояса, сделал жалкое движение рукой, в которой он держал облезлую собачью шапку, и сказал:

— Как я есть отец его...

Взгляды всех, кроме подсудимого, повернулись к нему.

— Как я есть отец его... а вот она есть... матка его... — с трудом подыскивая слова, говорил мужик, — и его, как сказать, не вернешь... парнишку... Вот мы просим... Я и вот матка его... Я и вот она... Не губите парня и не судите его. Он сам еще, ясно, малый... Простите, Христа ради. — И он низко поклонился на четыре стороны, касаясь земли собачьей шапкой.

Подсудимый упал лицом в траву и зарыдал. Бабы в толпе завсхлипывали. Молодые корейские партизаны сидели униженные. А среди мужиков творилось невесть что:

— Да разве мыслимо за такое дело человека губить!

— А с кем того не могло случиться?

— Да он же еще мальчик! — всхлипывая, сказала молодая баба.

— Тебе бы такого... мальчика! — съязвил было ее сосед.

Но настроение мужиков уже переломилось в пользу подсудимого.

— И эти злыдни туда же! Такая беда — и вдруг расстрелять!

— Правду говорят, у них пар заместо души!..

— А ревком тоже надумал, прости господи! Чего ж его теперь с отряда гнать? Уж он теперь вот как аккуратно будет с ружём!..

— Ну, стало быть, жив будет, — с удовольствием сказал Агеич, поняв, что Карпенко теперь от него никуда не уйти.

Мария Цой, с трудом сдерживая рыдания, покинула роту.

И теперь она лежала одна в большом пустом доме, глядя во тьму мерцающими косыми глазами, — поверженная.

Цой знала, что она скоро вновь увидит родную землю, но она знала, что никто ее там не ждет и нет у нее там не только друга, но просто человека, которому она могла бы довериться, что ей все придется начинать сначала, терпеливо собирать по зерну. И сердце ее разрывалось самой страшной тоскою — тоскою одиночества и неверия в свои силы.

Она не замечала, что, чем больше она думала об этом, тем чаще ее воображение останавливалось на Суркове.

Этот человек казался ей тем, о ком могли только мечтать она и ее погибшие друзья. И все, что он делал и говорил, даже его внешность, даже его короткие ноги и то, что он хромал, все это казалось Цой неотделимым от его прекрасной сущности, — он мог быть только таким, и только таким она могла полюбить его.

Все, что она видела здесь в эти дни, казалось ей бесконечно прекрасным. И тем ужасней казалось ей все, что она оставила у себя на родине.

III

По выработавшейся во время похода привычке Сережа проснулся чуть свет, увидел спящего с подушкой на голове отца и вспомнил, что он уже дома. Что-то очень важное, обеспокоившее его, сказал ему отец во время ночного разговора. Что это было?

А было вот что: отец сказал, что быть истинным революционером — это не только всем сердцем любить народ, но и ненавидеть его врагов глубокой ненавистью.

Вчера, не желая нарушать счастливого настроения, Сережа отложил эту мысль, а сейчас он проснулся с этой мыслью и, еще полусонный, стал перебирать в уме, кого же он ненавидит глубокой ненавистью. И, к величайшему удивлению и конфузу, обнаружил, что он решительно никого не ненавидит.

Но не могло же быть, на самом деле, чтобы Сережа не был настоящим революционером! И он, тут же забыв об этом, насвистывая шепотом, чтобы не разбудить отца, оделся и вышел на кухню.

Аксинья Наумовна, залезши руками и головой в отверстие русской печи, разжигала печь, что-то мурлыча.

— Доброе утро, Наумовна! — весело сказал Сережа.

Она высунула голову и улыбнулась, блеснув крепкими еще зубами.

— А ну, поди, поди сюда! — сказала она, обтирая о передник смуглые худые руки. — Вчера я так затуркалась с народом этим — и не расцеловала тебя как следует.

— Вот еще нежности!

Сережа, морщась, вертел головой, пока она, обняв его, целовала в обе щеки.

— Ладно! Иди, мойся. Вижу — уже взрослый стал, — сказала она и легонько подтолкнула его в спину.

Сережа, надев черную сатиновую рубаху и подпоясавшись лаковым ремешком, вышел во двор. Все вокруг — строения, сад, склоны отрога, — все было в тумане раннего утра, но птицы уже посвистывали в саду. У Сережи было такое ощущение, точно он не был здесь очень давно.

Сиделка Фрося, громко зевая, доставала ведром на журавле воду из колодца, поставленного на границе дворов усадьбы и больницы. Фрося находилась по ту сторону сруба. В тот момент, когда вышел Сережа, Фрося, нагнув журавль, только что зачерпнула воды и начала подымать ведро, перебирая руками по шесту. И в это время увидела Сережу и задержала руки. Журавль остановился.

— Ах, боже мой, Сергей Владимирович! — взыграв черными глазами и бровями, воскликнула она волнующимся голосом, который, казалось, исходил не из ее гортани, а из какой-то самой дальней и таинственной глубины ее тела. — Когда же вы воротились? Мы здесь по вас, ну, прямо, соскучились!

— Здравствуйте, Фрося!

Сережа мгновенно залился краской и, потеряв всякое самообладание и ощущение окружающего, пошел на Фросю, как на огонь.

— Ой, Сереженька, какой вы совсем мужчина стали! — неожиданно смутившись, сказала она и, отведя взгляд в колодец, начала быстро перебирать руками по шесту, вытаскивая ведро.

Сережа, не находя слов, прямо глядел на ее чуть тронутое пушком, совсем еще молодое лицо счастливыми, глупыми глазами.

— Такой красивенький стали! — тихо, не глядя на него и подрагивая ресницами, говорила Фрося.

— Как ты живешь? — через силу спросил он, чувствуя, что молчать дольше невозможно.

— А какая уж наша жизнь! — сказала она со вздохом, но быстрый, лукавый взгляд ее черных глаз сказал ему другое.

Она легко подхватила обеими руками ведро за дужку и, оттягивая его на себя вместе с шестом от журавля, нечаянно сплеснула себе на подол и на босые ступни.

— Ай! — притворно взвизгнула она.

Она быстро вылила воду в ведро, стоявшее на дощатом помосте рядом с другим, уже налитым, и, отпустив ведро от журавля, сразу взвившееся кверху, стала отряхивать подол.

— Как замочилась! — приговаривала она своим идущим из глубины тела голосом.

Сережа, испытывая приятное кружение в голове, видел мелькание пестрого подола, загорелых рук и ослепительно белых выше колен, стройных сильных ног.

Фрося опустила подол, продела коромысло под дужку одного, потом другого ведра и легким, свободным движением взяла коромысло через плечо.

— Прощайте пока, Сергей Владимирович! — сказала она, улыбаясь. — Что это вы никогда не зайдете к нам?

— Я зайду, — поспешно сказал Сережа.

«К кому это — к нам? Ведь она живет одна с детьми? Ну да, она хочет, чтобы я зашел к ней и к детям!» — говорил себе Сережа, глядя, как Фрося идет по двору больницы, упершись одной рукой в бок, изгибаясь на ходу стройным и большим телом.

IV

Вдоль по гребню отрога и по верхушкам деревьев в саду, еще окутанных понизу туманом, побежало золотистое солнце восхода. Роса заискрилась в траве и на листьях.

— Да, вот при каких обстоятельствах нам довелось увидеться, — грустно говорила Лена, идя по аллее рядом с Сережей. — Ты вырос, вообще изменился, не знаю — в лучшую или в худшую сторону. Кажется, в лучшую. Но мне все-таки труднее найти с тобой общий язык. Сядем здесь, — указала она на любимую скамейку под яблоней. — Расскажи, что ли, как вы там бродили?

Сережа начал было рассказывать, но увидел, что Лена с окаменевшим лицом, не слушая его, смотрит на склоны хребта за рекой, где по жилам ключей медленно всползали вверх клочья тумана.

— Да ты не слушаешь меня!..

— Ты все не о том говоришь, — протяжно сказала она. — Мне хотелось бы больше услышать о тебе самом.

— Начинаются фокусы! — обиделся Сережа. — Я о себе и рассказываю. И вообще, я думаю, было бы лучше, если бы ты рассказывала о себе,— подчеркнуто сказал он.

— Почему?

— Согласись сама, ты проделала более необычный путь, — сказал он, не решаясь уточнить свою мысль.

— Очевидно, ты так же, как и все, расцениваешь меня, как какой-то чуждый осколок, попавший в честную пролетарскую среду, вроде тебя и папы? — Она враждебно и зло усмехнулась.

— Ленка! Что с тобой? — вдруг прежним, добрым и ласковым Сережиным голосом сказал он. — Ты какая-то нервная, злая и вчера и сегодня...

— Должно быть, от непроходимой монументальности чувств, в которой все упражняются почему-то надо мной и передо мной... Очевидно, потому, что я жизненно слабее

других, — с едва сдерживаемым раздражением говорила Лена. — Боже мой! Неужели нет на свете простых людей, людей ясных чувств, чистого взгляда! — вырвалось у нее из самого сердца.— Не люди, а какие-то памятники! Даже ты предстал передо мной в виде какого-то маленького памятничка...

— Я не понимаю, что́ ты хочешь... — начал было Сережа и не докончил.

Лицо Лены преобразилось от внезапно осветившего его любопытства, удовольствия, кокетства. Она поднялась со скамьи и быстро пошла по аллее.

Сережа увидел вышедшего из кустов навстречу Лене Семку Казанка в сдвинутой набекрень американской шапочке на белой головке.

Семка и Лена, улыбаясь и прямо глядя друг на друга, довольно продолжительное время подержались за руки. Сереже не было слышно, о чем они говорили, но он видел, как чередовались на лице Семки то задорное и нахальное, то детски наивное и даже нежное выражение, и как Лена явно кокетничала с ним и один раз громко засмеялась, и как Семка раза два машинальным движением девичьей своей руки снял с плеча Лены не то пушинку, не то ниточку.

Вот какой разговор происходил в это время между Леной и Казанком:

— Здравствуйте, Казанок!

— Здравсьтвуй! Я уже часа два жду, когда выйдесь,— нежно шепелявил он.

— Я очень рада видеть вас, Казанок!

— Рада? А я думаль, ты там все с нацяльством, — где тебе помнить маленького человечка!

— Я сама маленький человечек, Казанок. Начальству нет до меня никакого дела.

Как и в прошлую встречу, Лена испытывала необыкновенную легкость и свободу общения с Казанком. Она могла говорить с ним решительно обо всем, и молчать, не испытывая неловкости, и трогать его, и не удивилась бы, если бы он начал делать то же.

— Что — братишка твой приехаль? — спросил Семка, поведя бровью в сторону Сережи, и усмехнулся.— Он тебе про меня насказет!

— Разве у вас дурные отношения?

— У него дурные, у меня умные, — насмехался Семка.

— Если ты хочешь, чтобы я была дружна с тобой, — сказала Лена, не замечая, что стала называть его на «ты», — ты должен помнить, что я очень люблю его.

— Я тозе, — дерзко отвечал он.

— Ты все же очень нахальный парень, — просто сказала она.

— А ты — красавуська. На тебя глядеть, аж глазам больно.

— Красавушками, положим, коров зовут. — Лена улыбнулась. — Я, правда, нравлюсь тебе, Казанок?

— Очень. Я мог бы ходить за тобой, как нитка за иголькой.

Она засмеялась.

— Мне придется вынуть нитку из иголки. Мне пора в больницу. Я еще увижу тебя, Казанок?

— Захочешь, увидись.

— А как я найду тебя?

— Я сам найду тебя, махонькая.

— До свиданья, Казанок!

И Лена, как и вчера, нежной своей ладонью чуть коснулась его головы между ухом и шапочкой.

— Как ты можешь с ним так... с этой сволочью! — мрачно говорил Сережа, не будучи в силах глядеть на Лену. — Ведь это же сволочь! — повторил он.

— Почему ты так ругаешь его? — спросила Лена, пытливо глядя в глаза Сереже.

— Это же сын местного барышника, прожженный, бесстыдный парень!

— Он же партизан?

— Что из того!

— Ты завидуешь ему, — спокойно сказала Лена.

— Я завидую ему?!

Сережа смутился. Он смутился оттого, что в его отношении к Казанку, действительно, был элемент зависти. Он чувствовал, что не только этим определяется его враждебное отношение к Семке, но Лена, как обычно, нашла именно эту нездоровую и личную сторону в его поведении.

— Глупости какие! — сказал он смущенно и сердито. — Да что же, поступай, как знаешь...

— Не любишь ты правды, — усмехнулась Лена. Она вздохнула. — Пойдем, если так...

Да, отношения между Леной и Сережкой уже не были прежними дружескими, искренними отношениями.

От прекрасного утреннего настроения не осталось и следа. Как в последние дни похода, Сережей овладело чувство недовольства собой и ощущение какой-то неустроенности всего.

V

Наскоро позавтракав на кухне, Сережа в том же настроении беспокойства и недовольства собой пошел в ревком. Его официальная должность в ревкоме была — инструктор культурно-просветительного отдела. Он работал под руководством Ванды. Мысль о том, что он снова должен будет вернуться к исполнению этих скучных, немужественных обязанностей, была ему невыносима.

Сережа вошел в помещение канцелярии ревкома и, удивленный, остановился. Посреди комнаты стоял Хрисанф Бледный и, держа в руках толстую непереплетенную книгу, громко читал по ней какие-то стихи. Против него, подбоченясь, как гусар, стояла Ванда и слушала. Выражение ее красивых, недобрых глаз было восторженное. Черноголовая машинистка, упершись подбородком в спинку стула, смотрела на них обоих, ничего не понимая.

...Так идут державным шагом —
Позади — голодный пес,
Впереди — с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз,
Впереди — Исус Христос.

Хрисанф Бледный опустил книгу и, ошеломленный, посмотрел на Ванду.

— Изумительно! — с чувством сказала она. — Прекрасно!.. «В белом венчике из роз, впереди — Исус Христос...» Вот как надо писать, Хрисанф!.. Ты слышал? — обратилась она к Сереже.

— Что это такое? — мрачно спросил он.

— Новая поэма Блока! Хрисанф на офицерской квартире в Шкотове захватил несколько книг; я смотрю — пе-

тербургский журнал «Наш путь», и вдруг такая изумительная вещь!

— Ничего изумительного не нахожу, — холодно сказал Сережа, — мистика какая-то.

— Какая же это мистика? Это же символ! Ты просто ничего не понимаешь, — оскорбленная, сказала Ванда.

— Нет, главное, частушки хорошие есть, — сказал Хрисанф Бледный.

— Когда я смогу отчитаться перед тобой? — не глядя на Ванду, сухо-деловито спросил Сережа. — Предупреждаю заранее: многие твои задания не удалось выполнить...

В это время отворилась дверь, и вошел Сеня Кудрявый.

— Сеня! — радостно воскликнул Сережа.

— Застал, слава богу, — сказал Сеня, с трудом переводя дух, и, схватив Сережу за руку, улыбнулся, показав свои ровные кремовые зубы. — Пойдем со мной. Живенько...

Сережа, даже не взглянув на Ванду и Хрисанфа, вместе с Сеней вышел из ревкома.

— На рудник посылают нас с тобой, — идя по улице рядом с Сережей, вполголоса, весело говорил Сеня. — Я думал, вчера сказали тебе, да вижу, не ищешь меня, думаю — не схотел.

— Что ты, я с радостью! — воодушевился Сережа. — А что мы должны будем там сделать?— с волнением спросил он: он подумал, что, может быть, их посылают что-нибудь взорвать или кого-нибудь убить.

— Бастовать хотят они, а мы должны уговаривать, чтобы не торопились... Только ты все это в секрете держи.

— Что ты, Сеня! Я очень рад. — Сережа поймал Сенину руку и на мгновение крепко сжал ее. — Ты знаешь, мы так переволновались за вас!

— Из-за хунхузов? Пустяками обошлось, — собрав у глаз веселые морщинки, сказал Сеня. — А как добрались вы? Как сестра? — спросил он с некоторым смущением.

— Сестра? Хочешь, я вас познакомлю? — сказал Сережа, обрадовавшись возможности загладить этим размолвку с Леной.

— Не официально ли выйдет? Стоит ли? — колебался Сеня, но чувствовалось, что ему очень этого хочется.

— Глупости какие! На минутку забежим в больницу — и всё.

Они, чтобы не привлечь внимания раненых, зашли в больницу не с главного хода, с улицы, а со двора, и сразу наткнулись на Фросю.

— Ай-ай, в служебное время! Ну только для вас, Сереженька, — сказала Фрося, обдавая его светом своих веселящихся бесовских глаз.

Лена в белой косынке, озабоченная тем, от чего ее оторвали, вышла на крыльцо.

— Я хочу познакомить тебя с моим лучшим другом — Сеней Кудрявым. Вот...

Сережа указал на Сеню, который со своим обычным, спокойным, грустноватым выражением смотрел на Лену.

Она оказалась совсем не похожей на Сережу, но еще прекрасней, чем он ожидал.

— Кудрявый? Я знаю вашу фамилию из газет, — без улыбки говорила Лена, внимательно приглядываясь к нему: несомненно, она где-то видела это чуть тронутое нежным загаром бледное лицо. — Простите, не могу подать руки. Я очень рада. И особенно рада за Сережу.

Она не лгала. Лицо Сени сразу понравилось ей своим выражением — выражением душевной тонкости, ума и простоты.

Она помолчала, ожидая, что он скажет что-нибудь, но Сеня ничего не говорил, а все смотрел на нее со своей спокойной, умной, грустной улыбкой.

— Я так и знал, что вы понравитесь друг другу! — нетактично сказал Сережа.

Сеня так смутился, что на него жалко было смотреть. За ним смутилась и Лена.

— Мне надо идти, — заторопилась она. — До свиданья!

В дверях она обернулась и виновато улыбнулась Сене. «Где я его видела»? — подумала она.

VI

Они выехали на рудник верхами, а потом пошли пеше по той самой тропе, где происходило свидание Суркова с американским майором.

По этой тропе проходила вся связь между партизанским штабом и рудником, а через рудник — с городом.

Километрах в трех от рудника на тропе был установлен пост.

Когда Сеня и Сережа с проводником достигли поста, была уже ночь. Скалы и кусты вокруг и распростершаяся далеко позади долина Сучана лежали в бледном свете ущербного месяца.

На каменистой площадке перед темным входом в пещеру горел костерик. Человек десять — двенадцать невооруженных людей сидело и лежало вокруг костра. С площадки виднелись звездное небо, вершины деревьев, растущих откуда-то из темного низу, и дальние скалы, облитые светом месяца.

Эти освещенные таинственные скалы, и темные провалы распадков, и пламя костра, и сборище людей в ночи — все это сразу наполнило Сережу волнующим романтическим чувством.

Человек в одежде горнорабочего привстал на коленях и, защищаясь ладонью от костра, всматривался — кто подошел.

— На рудник, что ли? — глуховато спросил он.

— А что вас много так? — спросил Сеня.

— Свои это. Пленные красноармейцы из России, — ответил горнорабочий.

— Пленные красноармейцы?! — лицо Сени так и озарилось радостью. — Выходит, можно новости узнать у вас, про Россию-то? — взволнованно спрашивал он.

Красноармейцы зашевелились, заулыбались.

— Мы ведь уже скоро год как в плену, — сказал один. — Нас в эшелонах смерти везли.

— Вот оно что!.. — сочувственно протянул Сеня. — Где ж вы сидели?

— На Чуркином мысу.

— Давно бежали?

— Недели две.

— Кто вас направил сюда?

— Рабочий «Красный Крест». У нас письмо есть от комитета, — торопливо сказал красноармеец, забоявшись, что ему не верят, — да велено прямо в руки товарищу Суркову отдать.

— Ну, поздравляем вас от лица всех наших товарищей партизан с благополучным прибытием! Будем знакомы! — торжественно сказал Сеня.

Сеня и Сережа обошли всех красноармейцев, крепко, с чувством приветствуя их рукопожатиями.

— Здоровы все? — спрашивал Сеня. — Рады небось?

— У-у.. перву ночку, как вольно вздохнули! Даже не верится, что среди своих! — вперебой радостно заговорили красноармейцы.

— Вы, как в Скобеевку придете, в отряд Гладких проситесь. Скажите, такой договор у вас со мной...

— Так вы, значит, Кудрявый? — медленно и глуховато сказал человек в одежде горнорабочего, когда Сеня и Сережа уселись у костра перекусить. — Мне в аккурат велено на рудник вас провести, да я бы советовал денек вам обождать...

— А что? — насторожился Сеня.

— А то, что я их с трудом провел, — горняк кивнул на красноармейцев, — тревога кругом. Охрану усилили, и, где сейчас посты, даже не знаю.

— С чего тревога-то?

— Сегодня у нас забастовка началась... всеобщая, — спокойно сказал горняк.

Весь вчерашний спор с Бутовым мгновенно прошел перед Сеней.

— Как же оно получилось? — спросил он.

— Оно все копилось, копилось. А сегодня в четвертой шахте двух в гезенке насмерть задавило, вся шахта бросила работу, пошла по другим шахтам народ сымать. Часам к двум весь рудник встал.

Сеня, сильно побледнев, некоторое время молча смотрел на огонь. Сережа, взволнованный тем, что путешествие может сорваться, нерешительно спросил:

— Что же мы теперь? Домой?

— Домой? — удивился Сеня. — Нет, братец ты мой, придется нам теперь, не теряя ни минутки, на рудник идти. Теперь там самая нужда в нас. Придется тебе, товарищ, как хочешь, а доставить нас немедля, хоть по воздуху. Уж там, на руднике, закусим, — улыбнулся он Сереже.

Сережа торопливо стал укладывать суму. Двое красноармейцев бросились ему помогать. И все красноармейцы сразу засуетились вокруг Сени и Сережи.

— Хлеб, хлеб передай, не видишь? — укоризненно говорил один другому.

Сережка вдруг понял, что эти люди, год просидевшие в плену, чувствуют себя как бы виноватыми в том, что они избавились от опасности, которая угрожает Сене и Сереже.

— До свиданья, товарищи дорогие! Скоро увидимся! — Сеня прощально поднял руку.

Сережа, улыбаясь, поднял свою.

Все повставали. На лицах красноармейцев было взволнованное, теплое и мужественное выражение.

— Счастливо добраться!.. Успеха вам! — говорили они, прощально махая руками. Некоторые сняли шапки.

«Как все это прекрасно!» — растроганно думал Сережа, в последний раз взглянув на красноармейцев, на пламя костра в ночи и устремляясь в темное страшное отверстие между скалами.

VII

Чтобы повидать Суркова, Яков Бутов и товарищ его по рудничному комитету использовали воскресный день и не спали две ночи. У Бутова вот-вот должна была родить жена, а у товарища его, Фили Анчишкина, любимая дочь, Наташка, лежала больная. Но как только прогудел гудок утренней смены, оба стали на работу.

Бутов работал забойщиком в шахте № 1, расположенной почти в самом центре поселка. Филя — чернорабочим эстакады на шахте № 4, одной из самых дальних.

Незадолго до обеда на забойщика Ивана Николаева и его подручного Ваню Короткого, работавших в шахте № 4 в дальнем квартале и почти уже добравшихся до верхнего горизонта, хлынула многотонная лава угля, воды и грязи. Лава сбила их со стоек, и вместе со всей лавой, колотясь о нижние стойки, они полетели с шестидесятиметровой высоты в узкое горло гезенка, где их трупы были забиты углем и породой.

Первым о катастрофе узнал китаец-коногон: подкатив к устью гезенка с поездом вагонеток, он увидел, что из гезенка не поступает уголь и сильно сочится вода.

Рабочие нижнего горизонта, побросав работу, побежали по штрекам к месту катастрофы. Забойщики и их подручные, быстро и ловко, как обезьяны, скача по стойкам, спускались вниз и тоже бежали к месту катастрофы.

Штейгеры, десятники, боясь самосуда, кто клетью, а кто по лестнице, бросились вон из шахты.

Рабочие были в том состоянии предельного возбуждения, когда одно горячее слово могло толкнуть их на самые отчаянные поступки. И слово это было сказано.

Забойщик Максим Пужный, обладавший ужасной силы голосом и считавший себя анархистом, после того как в восемнадцатом году приезжий анархист назвал его «братом по мысли», поднял над головой лампу и крикнул:

— Бросай работу! На-гора́!..

И все подняли над головами лампы, кирки, лопаты и закричали:

— На-гора́!.. На-гора́!..

Изуродованные трупы были извлечены из гезенка. Неся их впереди, потрясая тяжелым горняцким инструментом, поблескивающим при свете ламп, рабочие хлынули по главному штреку к клети.

Филя немедленно послал человека известить обо всем Якова Бутова.

Слух о несчастье, сильно преувеличенный, мгновенно прошел по рабочим жилищам. Толпа родственников, стариков, женщин, детей, все пополнявшаяся рабочими вечерней и ночной смен, бросившими домашнюю работу или разбуженными от сна, стояла поодаль от надшахтного здания; милиция не подпускала ближе к копру.

Но как только первые рабочие утренней смены с еще не потушенными лампами на поясах, с черными руками и лицами, на которых страшно выделялись горящие глаза, вывалились из надшахтного здания, толпа прорвала редкую цепочку милиционеров и окружила погибших.

Жена Николаева упала мужу на грудь и стала биться и кричать. Старики его, держась за руки, и дети его с выражением удивления на лицах стояли возле. И все вокруг смотрели на них и ждали, чем все это кончится.

А Ваня Короткий был никому не известный бродяжка, и на него мало обращали внимания. Потом сквозь толпу пробилась девушка в голубой кофте, запыхавшаяся и раскрасневшаяся от бега. Она пробилась сквозь толпу грудью и локтями, никого не видя перед собой, и остановилась, только когда никого уже не оставалось между ней и Ваней. Она увидела кровавую грязную кашу вместо его лица и сразу присмирела. Она не отвернулась, не заплакала, а так и осталась стоять над Ваней, прижав к

груди смуглые кулачки, в одном из которых зажат был батистовый платочек.

Филя, страдая от сознания, что приказ Суркова не может быть выполнен, поднялся на эстакаду, жалобно сморщился и открыл митинг.

VIII

Яков Бутов с товарищами обедал под землей, когда ему доставили сверху две записки: о том, что поднялась четвертая шахта, и о том, что жена его начала рожать.

Сославшись на то, что жена начала рожать, Бутов побежал к стволу шахты. Платком, в котором ему принесли обед, он завязал голову, чтобы при выходе подумали, будто он поранил голову и идет в больницу.

Едва он вышел на улицу, мимо него, обдав его комьями земли, промчался полувзвод казаков.

Ближний путь к шахте № 4 проходил улицей, на которой жила в маленьком беленом домике семья Бутова. Он побоялся, что кто-нибудь из родни перехватит его и тогда трудно будет уйти от рожающей жены, и побежал другой улицей.

Он миновал поселок и тропою между шахтами, копры которых выступали над лесом, выбежал на поросший кустарником отрожек. Перед ним открылся лужок, весь покрытый оранжевыми купальницами. Из леса, по дороге через лужок, медленно шла демонстрация: рабочие утренней смены в черных от угля робах и рабочие вечерней и ночной смен в домашних одеждах. Среди демонстрантов немало было женщин и детей.

Впереди колонны на носилках несли покрытые рогожами трупы погибших. По обеим сторонам демонстрации, топча оранжевые купальницы, гарцевали казаки в фуражках с околышами под цвет купальниц.

Бутов понял, что четвертая шахта уже успела снять рабочих шахты № 6 и 5-бис и все вместе идут снимать другие шахты и что казаки растеряны и боятся затронуть демонстрацию.

Бутов был природным вожаком, которые всегда таятся в рабочей среде, как искры в кремне. Достаточно ему было увидеть эту демонстрацию с трупами вместо знамен впереди, чтобы понять, что теперь уже никак невозможно

выполнить приказ Суркова, а надо возглавить стачку и развернуть ее во всю силу.

Когда демонстрация, сопровождаемая казаками, подвалила к шахте № 5, половина рабочих была уже наверху, и Бутов, окруженный толпой, сидел на бревнах посреди двора и распределял делегации по шахтам, еще не затронутым стачкой, — чтобы шахты примыкали к бастующим.

. Толпа демонстрантов, слившись с рабочими пятой шахты, заполнила весь двор. Бутов поднялся на бревнах. Казаки, оттиснутые со двора, сдерживая приплясывающих коней, переругивались с задними рядами, не решаясь пустить в ход плети. Осмелевшие поселковые мальчишки проныривали под брюхами у коней. Стая голубей, вспугнутых толпой, кружилась над вершиной копра, где у них были гнезда. Бутов поднял свои черные руки. Наступила тишина.

— Товарищи! С чего пошли все беды наши? — спросил Яков Бутов. — А с того они пошли, беды наши, что ни на земле, ни даже под землей не дают нам жить и работать по своей воле и разуму. За что погибли товарищи наши? — Он указал пальцем на покрытые рогожами трупы Николаева и Короткого, покоившиеся на носилках у его ног. — За что пухнут с голоду дети наши? За что замучили Игната Саенко и других, несть им числа? За что гибнут в сопках партизаны, прекрасные герои наши? — спрашивал он, поводя над толпой своими могучими усами.

Толпа грозно молчала. Все смотрели на него. У Максима Пужного глаза горели, как у кошки. На лице у Фили, стоявшего у самых носилок, было выражение наивной торжественности.

— А за то, что не сами мы установили эту власть, — сказал Бутов, погрозив пальцем в пространство, — а чужие штыки посадили ее на шею нам. Дозвольте же наперво заявить этим господам, что никто из нас не станет работать, доколе хоть один солдат чужой державы останется на земле нашей!..

Только он сказал это, над толпой точно разорвалось что-то. Люди исступленно, яростно хлопали в ладоши, кричали «ура», «правильно», вздымали кулаки, фуражки.

С высоты бревен Бутову видны были серые крыши поселка и пыльная Екатериновская дорога, — она шла мимо шахты № 5. Он вдруг увидел показавшуюся вдали из поселка колчаковскую пехоту. И в это же время рядом в лесу протяжно загудел гудок: шахта № 7 извещала о том, что она присоединяется к бастующим.

Собрание приветствовало гудок новым взрывом криков и аплодисментов.

— Кто за эти требования, товарищи, подыми руки! — командовал Бутов.

Все подняли руки. Народу было уже не менее трех тысяч.

— Можно добавить? — угрожающе спросил Максим Пужный. — Два слова от анархистов! — кричал он.

— А теперь, товарищи, — не слушая его, продолжал Бутов, — рудничный комитет призывает всех к спокойствию и предлагает всем по домам разойтись. Подставлять свою грудь под пули расчету нам нет! Расходись все поодиночке, держись кустов. Каждый держи связь со своим шахтным комитетом. Шахтные комитеты — держи связь с рудничным комитетом... — Он снова поднял над толпой черные свои руки и потряс ими. — Держи дисциплину, товарищи! — крикнул он помолодевшим голосом.

Собрание, как вышедшее из берегов озеро, сначала медленно, потом все быстрей и быстрей растекалось во все стороны; отдельные его струи видны были уже далеко в кустах. Одиночные фигуры казаков то появлялись на людской волне, то исчезали, уносимые течением.

Вахмистр с усами, не хуже, чем у Якова Бутова, и еще несколько казаков пробились наконец к бревнам, где стоял Бутов, но его уже и в помине не было. Сторож рудничного двора, безбородый, сморщенный инвалид с деревянной ногой, сидел на бревнах и облизывал цигарку.

— Куда он пошел, не видел? — взняв плеть, сдерживая косящуюся на плеть лошадь, грозно спросил вахмистр.

Сторож искоса взглянул на вахмистра и выпустил два-три неопределенных старческих кашля, а может быть, и смешка: смерть давно уже не была страшна старику.

Шахта № 8 гудела в лесу о том, что она присоединяется к стачке.

IX

После поражения белых частей под Шкотовом и провала наступления на Перятино Ланговой уже не мог обманывать себя в том, что ему удастся удержать рудник без поддержки японских войск. И по мере того как беспомощность и униженность его положения становились все нагляднее для него, рушился тот моральный стержень, который поддерживал его в состоянии внутренней собранности, независимости и деятельности.

Зевая от тоски и скуки, он просиживал долгие бесплодные вечера у управляющего, с ленивой и презрительной усмешкой принимая ухаживания дам; играл в карты и много пил, заглушая всякую возможность работы мысли.

И всюду, где бы он ни появлялся, он встречал жену Маркевича, молча преследовавшую его своим голубым, пустым, порочным взглядом. Этим своим взглядом, улыбками, скрытными и в то же время какими-то по-детски и низменно откровенными, прикосновениями рук, всегда неожиданными, мягкими, кошачьими, она сразу устанавливала свои особые и очень интимные отношения не с Ланговым, а с кем-то жестоким и слабым и опустившимся внутри него.

Этому второму она как бы говорила о том, что с ней *все можно*. И Ланговой чувствовал, как между ним и этой женщиной исчезают всякие установленные жизнью преграды.

Когда поднялась четвертая шахта, Ланговой находился не на руднике, а на позициях на Перятинской дороге, где в ожидании наступления партизан рылись окопы и блиндажи.

Ланговой тотчас же выехал на рудник.

Его встретила всеобщая растерянность. Шахты одна за другой бросали работу. Управляющий поминутно звонил в штаб, взволнованным голосом просил принять меры. Маркевич, дергаясь лицом и плечами, говорил о том, что он давно предупреждал, а теперь умывает руки, и Ланговой вдруг понял, что Маркевич боится.

Ланговой послал усиленные наряды на шахты, еще не захваченные стачкой, с распоряжением никого не пропускать в шахты и не выпускать из них.

В четыре часа прогудел гудок вечерней смены, но никто не стал на работу.

Большинство шахт пустовало, работали только водоотливные насосы. Рабочие первой и второй шахт, расположенных в самом поселке, и девятой и десятой, находившихся под японской охраной, не успели подняться на-го́ра и бастовали под землей.

Шахта № 1, в которой работал Яков Бутов, была самой старой и самой крупной на руднике. В ней работало до полутора тысяч человек, из них свыше трехсот китайцев.

Председателем шахтного комитета здесь был Пров Саенко, однофамилец замученного Пташки, бесстрашный, веселый, в осенних кудрях парень, уличный вожак и озорник, любимец поселковых девушек.

О положении дел веселый Пров, работавший под землей, узнал по телефону от администрации, когда перестала работать клеть и выяснилось, что штейгеры и десятники, за исключением двух-трех, находившихся в дальних выработках, выбрались на-го́ра.

Оставшихся штейгеров хотели было тоже выпустить по лестнице, не желая, чтобы в шахте оставались хозяйские уши. Но Пров, нехорошо и весело подрожав ноздрями, сказал:

— Пущай-ка с нами посидят...

И штейгеров заперли в конюшню для слепых подземных лошадей, велев аккуратно ухаживать за ничем не виноватой скотиной.

В большом скоплении людей всегда есть немало трусов и еще больше людей неясных, поведение которых зависит от того, кто берет верх. Но старики-шахтеры, когда они не наверху, а под землей, обладают особенным чувством дисциплины и дружбы, похожие в этом отношении на старых моряков во время аврала.

Только в первые минуты возникла паника в более отдаленных выработках и постояла толчея возле подземного рудничного двора, где обосновался теперь в конторке забастовочный комитет. Но не прошло и получаса, как создалась такая обстановка, когда не только бегать зря, но даже задавать вслух относящиеся к событию вопросы было уже неудобно.

Рабочие со всех выработок были стянуты в ближние штреки. Китайцев решили не неволить и собрали их на митинг, — китайцы примкнули к стачке.

Через некоторое время по всем штрекам, как в детской игре в телефон, из уст в уста пошел опрос: у кого

есть часы. Опрос установил, что ни у одного из полутора тысяч шахтеров часов не было.

Но если ни у кого из горняков не было часов, то у многих обнаружились карты. Когда Пров пошел по штрекам проведать людей, уже во всех местах, где висели или стояли горящие лампы, образовались кружки. Молодежь группировалась больше вокруг откатчиц, веселыми шутками встречавших кудрявого Прова.

— Только смотрите у меня!.. — Пров погрозил золотисто-черным пальцем со стальным колечком.

— Это ты у нас ходо́к, Пров Алексеич, а это что ж за парад, — зелень! — бодренько сказала старуха Чувилиха, лет тридцать уже работавшая по шахтам.

— Под землей-то грех, бабушка! — отшутился Пров при общем смехе.

В чуть освещенном мокром тупичке человек до тридцати молодых шахтеров и шахтерок, наладив на расчески и гребешки папиросную бумагу, играли «Барыню», и парень и девушка, похожие на водолазов, полуприсев, чтобы не стукнуться головами о крепление, оттаптывали ее, «Барыню», тяжелыми горняцкими башмаками.

— ...И лежит она, та Атланида, на дне морском — улицы, церкви, бани, кабаки, а поверх ее вода. Соленая, — дребезжал в кромешной тьме стариковский тенорок.

— А люди? — спросил Пров, приподняв свою лампу.

— Люди! Сказано, на дне морском! — отвечал кто-то из слушателей.

— Ну, это как сказать, это никому не известно, — поправил его рассказчик, покосившись на подошедшего, — это еще никому не известно, чего оно там на дне морском, — продребезжал он своим тенорком.

— А оно без людей еще интересней, — сказал кто-то, — стоят башни, дворцы царские, замки́, — он имел в виду за́мки, — а округ них рыбы плавают. Большие... акулы, сомы... — таинственно говорил он.

— В море сомы? Сам ты сом! — сказал Пров. — Давайте лучше песню сыграем. Хорошую. Из тех, что не полагается...

Старик-рассказчик, видавший виды, с готовностью кхекнул в бородку и затянул «Замучен тяжелой неволей», но Пров нашел, что до этой песни еще не дошло. Он завел «Вставай, подымайся, рабочий народ». Соседние

группы примкнули к ним, и песня покатилась по штрекам.

Тысяча с лишним людей, рассевшихся звездообразно под землей на общем протяжении в два километра, не могла петь в лад. Песня перекатывалась из одного штрека в другой, возвращалась обратно; ее накатывавшиеся волны с грохотом сшибались с встречными, — казалось, это сама земля гудит.

Но там, на земле, не было слышно этой песни. Слушали песню только китайцы, молча сидевшие в темном штреке на корточках друг против друга.

X

Вокруг шахт, забастовавших под землей, собрались толпы женщин и детей. Женщины осыпáли солдат насмешками и бранью и чуть не плевали им в лицо. Дети, что постарше, кидались камнями, а те, что поменьше, плакали. Казаки разгоняли толпы плетьми, но толпы собирались снова, с каждым разом становясь смелее.

У шахты № 2 женщины стащили с лошади отбившегося от своих казака и сняли с него штаны и сапоги.

Часам к пяти забастовали железнодорожники, рабочие подвесной дороги, рабочие коксовой печи и электрической станции.

Ланговому сообщили из конторы управления, что пришли представители стачечного комитета и управляющий просит принять участие в переговорах.

Он поехал в сопровождении Маркевича, адъютанта и эскорта казаков.

Не слышно было ни привычного жужжания вагонеток подвесной дороги и грохота сгружаемого и нагружаемого угля и маневрирующих составов, ни пóсвиста «кукушек» на станции. С горы виден был весь поселок, дальний край которого под сопками был уже в тени, а ближняя, бóльшая, часть еще освещена солнцем. Там и здесь виднелись пестрые кучки женщин, то разбегавшиеся, то возникавшие вновь. По улицам маячили конные с желтыми околышами фуражек. В прозрачном воздухе стоял слитный гомон женских и детских голосов.

Едва Ланговой и сопровождавшие его офицеры и казаки свернули на улицу, идущую мимо шахты № 1,

дорогу им перегородила толпа женщин и детей. Казаки и солдаты, охранявшие шахту, завидев начальство, снова кинулись разгонять толпу, но она, в состоянии крайнего исступления, не обращала на них внимания. Женщины садились или ложились на землю и пронзительно визжали.

Ланговой, стиснув зубы, пришпорил жеребца и карьером помчался прямо на толпу. Маркевич, адъютант и казаки ринулись за ним. Толпа раздалась. Несколько секунд они мчались в окружавшем их сплошном визге и свисте, осыпаемые камнями, щепками, комьями земли и конским пометом. Ланговой почувствовал, как что-то вскользь задело его повыше виска, и фуражка слетела с его головы, но он не остановился, понимая, что каждая минута задержки поставит его в еще более смешное положение.

Через минуту его догнал адъютант и подал фуражку. Ланговой, боясь встретиться глазами с Маркевичем, вырвал фуражку из рук адъютанта и снова дал шпоры жеребцу.

Несколько человек рабочих сидело в приемной. При виде офицеров все они встали. Ланговой, бледный, с подрагивающими губами, прошел в кабинет управляющего.

— Наконец-то! Здравствуйте, мой дорогой! — Управляющий, тряся кадыком и задыхаясь, вышел к нему из-за стола, протянув свои отечные руки. — Вот, изволите ли видеть-с, — начал было он хрипло-певучим, как у старой цыганки, голосом.

Ланговой, не замечая его, круто обернулся к адъютанту и срывающимся на визг голосом закричал:

— О чем вы думали? Вам что было приказано? Вызовите мне командира первого батальона!.. Мерзавцы!.. — сказал он, нервными движениями снимая перчатки, и быстро зашагал по комнате.

— Тише, ради бога, тише! — говорил управляющий, косясь на двери. — Садитесь, господа. Я думаю, мы должны вначале сами обсудить положение. Вот, изволите ли видеть-с, документ...

Он двумя пальцами взял со стола лист бумаги, наполовину исписанный фиолетовыми чернилами, и протянул Ланговому.

— Командир первого батальона у телефона, — сказал адъютант.

— Я поручил вам, господин капитан, заботу о порядке в поселке, — заговорил Ланговой в трубку тонким и резким фальцетом, — но, видно, не только ваши солдаты, а и вы сами боитесь женщин! Приказываю немедленно прекратить безобразия! Неповинующихся арестовывать, кто бы они ни были. Вы поняли меня? — Ланговой со звоном повесил трубку. — Мерзавцы! — снова сказал он.

Некоторое время он походил по комнате, потом взял из рук управляющего бумагу и прочел ее при общем молчании.

Стачечный комитет извещал о том, что он не считает возможным предъявить требования и вступить в переговоры, пока рабочих четырех шахт насильно и бесчеловечно задерживают под землей.

«Если же управление и командование не внемлют голосу рассудка, — так кончалось письмо, — и подвергнут репрессиям посланцев наших, рядовых тружеников-шахтеров, то мы напоминаем, что нас, тружеников, на руднике более двенадцати тысяч и нам не останется ничего, кроме беспощадной мести».

— Что вы на это скажете? А?

Управляющий покачал головой, и его обрюзгшее, в коричневых складках, лицо со свисающим кадыком приняло обиженное дамское выражение.

Ланговой брезгливым движением отбросил письмо.

— Не вы у меня должны спрашивать, Николай Никандрович, — сказал он с холодным раздражением, — забастовка у вас, а не у меня!

— Помилуйте, Всеволод Георгиевич, это же дело государственное! Вот, изволите ли видеть-с, я послал телеграммы Михал Михалычу и господину министру в Омск, где я прошу выслать немедленно задолженность по жалованью и транспорт с продовольствием, как единственный, по моему убеждению, способ безболезненно ликвидировать все это... Если же вам угодно знать мое мнение касательно этих четырех шахт, — пониженным голосом сказал управляющий, покосившись на письмо стачечного комитета, — я думаю, их, действительно, надо выпустить и начать договариваться, в расчете на благоприятный ответ Михал Михалыча.

— Вот как! — Ланговой удивленно посмотрел на него.

— Поймите мое положение, — сказал управляющий, приложив руку повыше живота. — Народ озлоблен, два

месяца без жалованья, продовольствия нет, в бараках тиф. Я не против репрессий, но, господа, как только они бросят работу у насосов, шахты будут затоплены! Еще несколько дней стачки — и коксовая печь выйдет из строя на несколько месяцев. А в какое положение мы ставим город, дорогу? Я уж не говорю о том, что у этих людей припрятано оружие, динамит — это господину Маркевичу лучше меня известно. С отчаяния они на все пойдут.

— Ваше мнение, господин поручик? — спросил Ланговой.

Маркевич жалобно сморщился.

— Что ж мое мнение? По-моему, господин управляющий прав. Ведь сил-то у вас нет? — сказал он плачущим голосом, искоса взглянув на Лангового, и в круглых желтоватых глазах его зажглись огоньки хамского торжества и удовольствия. — Посмотрите, какой порядок у капитана Мимура! Никаких переговоров, никаких демонстраций, бабы боятся даже близко подойти. Политика сильной руки! По-моему, надо японцев вызвать, они заставят людей работать! — сказал он, с нескрываемой уже издевкой глядя на Лангового.

Кровь прихлынула к лицу Лангового, и на виске его забилась тоненькая жилка.

— Господин поручик, происхождения которого я не имею чести знать, забывает, что мы в России, а не в Японии... — холодно сказал он.

— Воля ваша, — сказал управляющий, — а этих представителей я еще попробую уломать. Будьте добры, дорогой мой, пригласите-ка их сюда, — обратился он к адъютанту.

Адъютант распахнул дверь:

— Па-жалте!..

XI

За все время пребывания на руднике Ланговой не промолвил и двух слов ни с одним из двенадцати с лишним тысяч людей, живших и работавших вокруг него, даже не пригляделся ни к кому из них.

И вот они вошли, пять человек, подталкивая друг друга, держа перед собой фуражки, видимо робея. Впереди

шел парень в синей косоворотке, черноволосый, с открытым, тронутым оспой лицом и твердыми серыми глазами. За ним — двое пожилых: один — лет уже за сорок, приземистый и, должно быть, силач; другой — помоложе него, худой, с поблескивающими на впалом лице выпуклыми глазами, — оба в тяжелых сапогах и потертых черных пиджаках. Четвертый был уже совсем старик, с черепом Сократа, с курчавой бородой и мелкими-мелкими, черными от угля, морщинками на лице. А пятый — почти мальчик. Жесткие стальные волосы торчали на его голове во все стороны, выражение лица было светлое и суровое.

При виде этого юношеского светлого и сурового выражения что-то дрогнуло в нижней части лица Ланговою, и он отвел взгляд: внутренний голос подсказывал ему, что сюда он не должен смотреть.

Рабочие вошли и остановились возле двери и во все время разговора уже не отходили от нее.

— Ну-с, так... — Управляющий своими отечными пальцами сделал неопределенное движение. — А главные ваши что ж? Боятся? Заварили кашу и послали вас расхлебывать, а сами боятся?

Рабочие молчали.

— Кто вас послал?

— Кто? Народ послал, — спокойно сказал черноволосый парень с лицом, тронутым оспой.

— Народ? Какой-такой народ? Русский народ?

— Разный, какой есть. Шахтеры.

— Большевики, что ли?

Парень промолчал.

— То-то вот, а ты говоришь — народ. Ты еще молод, да-с! А *я*-то знаю русский народ. Никогда он не пойдет на такое дело, если не натолкнут его злые люди.

Ланговой, искоса взглянув на управляющего, поморщился.

— Вот я вижу среди вас Соловьева, Анания, — продолжал управляющий своим хрипло-певучим голосом, — и диву даюсь: русский человек, старый солдат... Поди-ка сюда поближе, Соловьев!

Управляющий поманил пальцем. Старик, похожий на Сократа, протискался вперед, стал рядом с черноволосым парнем и кашлянул, прикрыв рот фуражкой.

— Скажи вот ты мне, Соловьев, ты же меня хорошо знаешь: помнишь — ты просил у меня теса на сарайчик, и ведь я тебе не отказал, и ты знаешь, что я всегда готов пойти навстречу всякой нужде и вместе с вами разделяю то тяжелое бремя, те, что ли, лишения, временные лишения... — Управляющий запутался в придаточных. — Вот, например, я послал телеграмму самому министру и скоро ожидаю денег для вас и продовольствия, и мы могли бы обо всем прекрасно договориться. Так скажи же ты мне, как же ты, старый, умный человек, поддался на уговоры этих людей, у которых нет ни бога в душе, ни дома, ни родины, ни... встал на путь преступления, государственного преступления, и во вред себе! Как все это получилось?

— Да ведь наше дело, как все, Николай Никандрович! — зачастил старик неожиданно-веселой скороговоркой, и его лицо, испещренное черными морщинками, засветилось хитростью. — Все — значит, и мы. Мы — значит, и все. Так ведь оно... А тесу, не спорю, вы мне отпустили, верно, и за это я вам вполне благодарен. Уж что верно, то верно, — сказал он и оглянулся на своих товарищей, как бы за сочувствием.

Никто из них не отозвался, только по каменному лицу приземистого пожилого рабочего пробежала мгновенная тонкая усмешечка, относившаяся скорее не к старику, а к управляющему.

— Ты хочешь сказать, что поступил по своей воле? Так, что ли? — допытывался управляющий.

— Да ведь человек по своей воле не живет, Николай Никандрович. Раз пришло — значит, так, а раз по-другому — значит, по-другому. А до смерти мне уж недолго, да мы, шахтеры, правду сказать, с издетства ее не боимся. Так ведь оно...

— А вы вот что, господин управляющий, — блестя выпуклыми глазами, сказал вдруг худой рабочий низким резким голосом, — вы нас про то, кто нас послал, да по своей ли воле пошли, вы нас про то не спрашивайте. Дело известное: послали нас рабочие, — не нас, так других...

— Правильно, — поддержал его черноволосый парень с оспинами, — и на то есть у вас письмо. А вы нам ответ скажите.

— Про что ж я и говорю! — сказал старик, хитро и бодренько оглядев сидящих перед ним господ.

— Как твоя фамилия? Твоя, твоя! — вдруг закричал Маркевич, перегнувшись через ручку кресла и ткнув пальцем в черноволосого парня.

— Городовиков, — сказал парень с достоинством.

— На какой шахте работаешь?

— На третьей.

— А твоя? — Маркевич ткнул пальцем в худого рабочего.

Тот назвал себя. Маркевич опрашивал каждого и заносил в записную книжку. Когда он дошел до паренька с непослушными стальными волосами и наивным суровым выражением лица, Ланговой не удержался и поднял голову и тотчас же опустил: этого лица он решительно не должен был видеть.

— Разрешите отлучиться, господин полковник? — многозначительно сказал Маркевич и встал.

Ланговой махнул рукой. Рабочие переглянулись, и лица их потемнели. Маркевич, усмехаясь, шел прямо на них. Рабочие, чтобы пропустить его, отодвинулись в сторону, прижавшись друг к другу.

— Так... Ну что ж, господа, — грустно сказал управляющий, — я дал вам возможность одуматься, но... — он развел руками: — Конечно, вы могли бы взять обратно эту... эту бумагу, — он полированными ногтями оттолкнул по столу письмо, — да, взять ее обратно и передать своим товарищам, что, если они станут на работу...

— Бумагу мы взять не можем, — покорно, но твердо сказал черноволосый парень с оспинами на лице, — не мы ее писали.

— Подумайте, к чему это приведет, господа!

— Довольно! — вдруг сказал Ланговой звенящим голосом и длинной белой своей ладонью тихо стукнул по столу. — Они ждут, чтобы с ними поступили, как со всеми бунтовщиками и изменниками. Так пусть пеняют на себя!

— Это будет ваш ответ? — тихо спросил парень с оспинами.

Никто не ответил ему. Рабочие, подталкивая друг друга, вышли из кабинета.

Денщик в прихожей раздувал сапогом самовар и тоненько пел какую-то заунывную песню без слов.

Ланговой, сбросив ему на руки фуражку, перчатки, прошел к себе. Как ненавидел он свою холостяцкую запущенную квартиру, пахнущую грязным бельем, ваксой, умывальником!

На столе лежала неразобранная, скопившаяся за неделю почта — газеты, письма. Все это были казенные письма из штаба, донесения, сводки. Никто не беспокоился лично о Ланговом, не спрашивал о его здоровье, настроении. Не было на свете ни одной живой души, которая помнила бы о нем. Вениамин, Дюдя, друзья детства, юности?.. Мираж, мираж!

Если бы он хотя бы изредка мог ждать письма от Лены! Хотя бы письма! С каким бы трепетным волнением он распечатывал их, чего бы только он не мог совершить на свете ради единой строки ее письма! Но...

Машинально он стал разбирать почту, привычно угадывая по конвертам и бандеролям, что надо, а что не надо читать. Он вскрыл тяжелый, с сургучными печатями пакет от командования корпусом.

«Начальникам военных отрядов, действующих в районах восстания. Приказываю неуклонно...»

Ланговой побежал глазами по строчкам, не вдумываясь вначале в смысл того, что читал.

«...При занятии селений, захваченных разбойниками, требовать выдачи их главарей и вожаков; если этого не произойдет, а достоверные сведения о наличии таковых имеются, — расстреливать десятого.

Деревни и села, население которых встретит правительственные войска с оружием, сжигать; взрослое мужское население расстреливать поголовно.

Как общее руководство, помнить: на население, явно или тайно помогающее разбойникам, должно смотреть как на врагов и расправляться беспощадно, а их имуществом возмещать убытки той части населения, которая стоит на стороне правительства...»

«Так, так!..» Брезгливыми, методическими движениями он изорвал приказ на мелкие клочки и бросил в пепельницу.

Машинально он распечатывал одну за другой газеты и быстро проглядывал их.

«Приамурские известия». 26 мая. *Хабаровск.* «...В Зею приехали семь японских инженеров для покупки приисков по реке Селемдже, принадлежащих Франжоли. По словам «Голоса тайги», японские инженеры знают округ лучше, пожалуй, чем наше министерство торговли и промышленности. Оказывается, что Н. А. Франжоли им ничего не писал о продаже приисков, и когда он им начал рассказывать о состоянии своих приисков, то они просто ему сказали: «Это нам все известно...»

«Забайкальская новь». 20 мая. *Чита. Обращение забайкальского епископа Мелетия.* «...Доблестные войска дружественно верной Японии целый год помогают возрождению нашей государственности. Они уже обильно обагрили нашу землю своею кровью и в настоящее время совместно с нашими верными воинами приступили к полному очищению нашего Забайкалья от большевистских разбойничьих банд, грабящих и убивающих мирное население...»

«Дальневосточное обозрение». 28 мая. *Обращение представителей всероссийского совета съездов торговли и промышленности к начальнику японской дипломатической миссии:* «...Японцы с таким удивительным мужеством и самоотверженностью борются с большевиками, охраняя законность и порядок на русской земле. Нам известны в высшей степени доброжелательные и корректные отношения японских войск к частным русским жителям. Наконец, нам известно ваше, вашей миссии, прекрасное и чуткое отношение к России и трогательное понимание ее теперешних нужд. Благородная политика Японии вселяет в нас уверенность, что все трудности...»

«Наше дело». Иркутск. «...16 мая в Чите происходило совещание русских и японских торгово-промышленных и финансовых организаций. В совещании этом приняли участие представители торгово-промышленной палаты, русских и японских торгово-промышленных предприятий и банков, представители атамана Семенова и военные представители Японии. На совещании было достигнуто соглашение о переходе на иену и об организации торгово-промышленного товарищества на акционерных началах. В вышеназванное акционерное предприятие вступили русские и японские торгово-промышленные круги,

некоторые русские и японские банки. Кроме того, непосредственно в качестве акционеров в этом предприятии принимают участие атаман и целый ряд видных военных чинов при штабе атамана Семенова...»

Ланговой отбросил газеты и некоторое время постоял, глядя перед собой блестящими невидящими глазами.

«И вот за это мы отдаем свою кровь, лучшие силы молодости, любовь, счастье!..» — думал он с грустью и злобой.

И снова он увидел перед собой Лену, как она стояла перед ним в гостиной тогда, в самый счастливый день его жизни.

— А чем вы можете проверить, что вы проливали свою кровь не зря? — спрашивала она своим милым протяжным голосом.

«Боже мой, боже мой! Как все это непоправимо!» — вдруг подумал он с отчаянием. В тяжелом волнении он зашагал по комнате. Да, он сделал какую-то решающую ошибку в своей жизни, но где, когда и в чем ошибка, и что он должен был делать, если не это?

Он остановился у окна. Багровый закат стоял за хребтом. На фоне заката видны были суровые темные очертания хвойного леса, ломаные линии скал, выпуклости гор, похожие на спины уснувших допотопных животных. Все это было такое холодное, древнее. Такой закат видели закованные в броню и кольчугу могучие казацкие старшины во время их непреклонного и страшного движения на Восток и дед Лангового, огибавший на утлом паруснике угрюмый остров Сахалин. Когда-то это были любимые герои его юности. Мираж, мираж!.. Позор и бесчестье, ужасная и жалкая роль палача — вот что досталось ему.

Усилием воли он сдерживал себя, но горло ему перехватывало, и что-то беспрерывно дрожало в нижней части его лица.

Красноватый сумрак разливался по комнате. Денщик за стеной все еще пел свою заунывную песню. Кто-то тихо-тихо постучал в дверь.

— Да!.. — Ланговой обернулся.

Маленькая фигурка в темной накидке скользнула из-за двери, притворила дверь за собой и остановилась.

— Вы?.. — Ланговой подался назад и уперся ладонями в подоконник.

Белое лицо в таких же белых кудрях плыло на него. Он сделал несколько шагов навстречу ей, он весь дрожал.

Она снизу вверх, доверчиво, точно они знали уже все друг о друге, смотрела на него.

— Зачем вы... — начал было он, но она быстро подняла свою маленькую гибкую, бескостную руку и приложила пальцы к его губам.

— Он сегодня всю ночь не будет дома, — сказала она с тихим смехом, — я смогу остаться с тобой долго, долго... Ой, милый мой! — И она вдруг, охватив его шею своими гибкими и неожиданно сильными руками, прижалась к нему всем телом.

Внезапная бешеная сила ударила Ланговому в голову. Одно мгновение — и он отшвырнул бы от себя это маленькое, страшное тельце и затоптал бы его ногами, но вместо того он подхватил его на руки и стал осыпать его исступленными поцелуями...

XIII

Сеню Кудрявого и Сережу поместили в избе у Фили, далеко от поселка, в лесу.

Изба была маленькая, из двух комнат и кухоньки. В одной комнатке жили Сеня, Сережа и Филя с двумя мальчиками, а в другой лежала в бреду дочка Фили, Наташка. Ее мать, некрасивая, рано постаревшая от труда и невзгод женщина, с кроткими синими глазами, безропотно обслуживала и семью и постояльцев и ухаживала за дочкой, просиживая ночи у ее постели.

Семья Фили была маленьким трудовым союзом, где каждый работал, как мог, и заботился обо всех остальных. Даже самый младший член семьи, восьмилетний мальчик Коська, застенчивый и веснушчатый, как его отец, носил воду, рубил дрова, мыл и перетирал посуду. И ни разу Сережа не слышал, чтобы кто-нибудь из них попрекнул друг друга, пожаловался на жизнь. Как ни трудна была она, эта их жизнь, особенно теперь, — во всем, что они делали и говорили, была какая-то внутренняя слаженность и теплота.

Каждое утро Сережа тихо входил в комнатку, где лежала больная Наташка, и с серьезным лицом и смеющимися глазами протягивал ей конфету или пряник.

Золотоволосая девочка с приплюснутым темечком, с тоненькими длинными руками, — она любила просовывать

их в дырки в одеяле и играть с руками, как с куклами, — ждала его, страстно поблескивая маленькими глазками, — она вся горела.

— Видал, какие злые куклы? Ух, злы-ые!.. — Она с удивлением поглядывала то на Сережу, то на свои поплясывающие в дырках бледные руки. — Уходишь?.. Умру. Не веришь? Ну, смотри... Раз! — говорила она с мрачным блеском в глазах. — Два!..

— Ой, и дурочка же ты, золотенькая ты моя! — пугалась мать, с кроткой улыбкой взглядывая на Сережу, совестясь за дочь. — Идите, идите, вам нужно...

В ту ночь под рудником, когда Сережа впервые услышал о стачке, все его существо снова опалила жажда подвига.

Люди, с которыми он соприкоснулся в первую же ночь, — Яков Бутов, двоюродный брат его Андрей Бутов, Семен Городовиков, чудом спасшийся от ареста, когда схватили на улице всю рабочую делегацию, отец его, тоже Семен, могучий сивоусый шахтер, которого, чтобы отличить от сына, звали «старый Городовиков», даже Филя — показались ему титанами. Это были люди подземного труда, который всегда казался Сереже величественным и страшным, — и не рядовые среди них, а вожаки, главари стачки. Долго он не мог избавиться от смущения, что они как-то сразу, естественно и просто, приняли его в свою среду.

И вот перед Сережей очутился гектограф, совсем такой же, как у Ванды в Скобеевке. А потом он должен был пойти туда-то, сказать: «Бабка просила ниток», — и получить сверток, который надо было отнести туда-то и сказать: «Не купите ли табачку?» Или пойти туда-то, там будет Андрюша, и прийти и рассказать, что́ он передаст. Или просто повертеться в лавках, столовках и рассказать, о чем говорят люди и как настроены.

Сережа, бродя по улицам, испытывал смешанное чувство жалости, благоговения и ужаса, когда представлял себе, что где-то у него под ногами тысячи людей сидят без пищи, в темноте и сырости.

Люди, круг которых все расширялся по мере расширения поля деятельности Сережи, уже не казались ему такими необыкновенными. Нет, люди были разные, но обыкновенные. Наиболее бросающимися в глаза качествами лучших из них были — немногословие, точность,

простота, естественность в обращении друг с другом, какая-то органическая веселость, не шумная, спокойная, и абсолютное бесстрашие. Немало он видел вокруг себя людей неумных, слабых, несдержанных и просто пьяниц, хвастунов. Но и они были сильны теперь какой-то общей связью со всеми, которой соединила их жизнь.

Первым и главным человеком на руднике, — это Сережа видел по всему, — был Сеня Кудрявый.

Никто не избирал Сеню, никто не назначал его на эту роль. Да и где была та сила, которая могла назначить человека первым и главным среди двенадцати тысяч забастовавших рабочих? Он сам стал первым и главным среди них. Может быть, он умел незаметно выпятить личные свои достоинства и подчеркнуть в других людях их слабости, выступал среди этих людей в качестве учителя жизни?

Нет, Сеня явно не стремился утвердить себя среди людей и никогда не оценивал людей по тому, насколько их личные качества совпадают с его собственными. И вообще никаких черт властности в Сене не было. Он брал людей такими, какими сложила их жизнь, в многообразии их привычек, слабостей, достоинств и всем умел найти место, и сам был среди людей всегда на виду, со всеми своими слабостями и достоинствами, никем не умел и не хотел «казаться».

В чем же был секрет того, что окружающие люди слушались его и верили ему, как собственной совести?

Такие вопросы смутно возникали в Сережиной голове, и хотя он не мог дать на них ответа, он все больше привязывался к Сене и незаметно для себя подражал ему во всем.

XIV

Под вечер четвертого дня стачки Сережа и Филя оказались в районе железнодорожной станции.

— Глянь, Серега, а ведь нам отсюда не выйти! — тревожно сказал Филя, увидев вдруг, что весь район станции оцеплен японцами.

Сережа тоже увидел японцев и обратил внимание на то, что, кроме них двоих, никого уже не было на улице.

— Пойдем-ка обратно, у свояка на чердаке пересидим. Оттуда и станцию видать, — заторопился Филя —

и вдруг, схватив Сережу за руку, потащил его за собой в ближайшую калитку.

— Ты что? Что? — испуганно спрашивал Сережа.

— Беляки едут!

Невысокий редкий заборчик отделял их от улицы, — спрятаться было уже некуда, — и оба, замерши, смотрели, как слева по улице приближается к ним группа офицеров на лошадях, сопровождаемая казаками.

Офицеры, весело переговариваясь, поравнялись с калиткой. Сережа взглянул на молча едущего впереди на мохнатом гнедом жеребце худощавого стройного офицера с холеным и сильным по выражению загорелым лицом и вдруг узнал в нем того молодого человека, которого он несколько раз видел у Лены, последний раз — в день своего отъезда к отцу. Сережа знал, что фамилия этого человека Ланговой, и несколько раз слышал эту фамилию на руднике, но никогда не связывал их в одно. А теперь он узнал его, и сердце Сережи пронзилось до боли ощущением невозможной, преступной, порочащей Лену близости ее к этому человеку, близости, мгновенно протянувшейся из прошлого в сегодняшний день.

Офицеры, казаки проехали.

— Жируют, сволочи! — сказал Филя. — Идем к свояку.

Из окна чердака видны были некрашеные деревянные строения станции, — возле одного из них стояли две пролетки и много верховых лошадей, — видны были пересекающиеся линии путей; одна из них уходила в сторону Кангауза и исчезала в лесистом распадке. Вдоль по открытому перрону вытянулись шеренги японских солдат и спешенных казаков в синих шароварах с лампасами, с шашками наголо. Перед шеренгами стояли кучками и прохаживались японские и колчаковские офицеры.

— Ждут кого-то, — чугунным голосом сказал Филин свояк, дыша махоркой из-за Сережиной спины.

Жесткая щетина его бороды проникала через Сережину рубашку, но Сережа ничего не чувствовал, всем существом устремившись к тому, что предстояло сейчас увидеть.

Над лесом в распадке закурился белый дымок; донесся протяжный свисток «кукушки». Из распадка вынырнули два паровозика, за ними зеленый служебный вагон, и потянулся длинный состав красных вагончиков, перемежаемых платформами, на которых виднелись жер-

ла и щитки орудий, снарядные ящики, японская прислуга при них.

— Японцы едут... Пропало наше дело, Серега! — надтреснутым голоском сказал Филя и, всхлипнув, закрыл лицо руками, но тут же отнял руки, не в силах оторваться от окна.

Поезд, замедляя ход, подошел к станции. Свет закатного солнца лежал на крышах вагонов и на стволах и щитках орудий. Японские офицеры и офицеры-колчаковцы, придерживая кобуры, шашки, бежали к служебному вагону, проволочившемуся дальше перрона. Из вагона, приподняв за эфес саблю, чтобы не задеть ступенек, сошел, не сгибаясь в туловище, седоголовый японский офицер; за ним выскакивали другие.

Офицер-колчаковец, в котором Сережа признал Лангового, рапортовал что-то седоголовому японцу, тот, скучая, кивал головой, другие стояли поодаль, держа руки у козырьков. Седоголовый японец, за ним Ланговой, за ним остальные пошли по перрону вдоль шеренг.

И вдруг до слуха Сережи донесся пронзительный одинокий старческий голос, похожий на крик ночной птицы; голос тотчас же был заглушен слившимися вместе стенящим теноровым «банзай» и протяжным низким «ура».

Офицеры двинулись к лошадям и пролеткам. Послышались звуки команды. Шеренги солдат очищали перрон. Почти одновременно открылись двери у вагончиков, и вдоль всего состава посыпались, как горох, японские солдаты, сразу заполнившие все расположение станции мельканием лиц, фуражек, бряцанием оружия, снованием и говором.

Сережа с побелевшими губами оторвался от окна, увидел налившееся темной силой щетинистое лицо Филиного свояка и мокрое от слез веснушчатое лицо Фили и, судорожно обняв Филю, прижался щекой к его плечу.

XV

Комитет заседал ночью в Филиной избе. Мальчишек положили на кухне. Оконца были завешены ряднами, рваными одеялами. Иногда из соседней комнатки доносились стоны больной девочки, и все невольно покашивались на дверь.

Сережа, примостившись в полутемном углу, на табуретке, серьезно и испытующе оглядывал каждого вновь входящего, точно отыскивая на его лице ответ на мучивший Сережу вопрос о судьбе стачки.

Сеня, пожелтевший, осунувшийся, — все эти дни он почти не ел и не спал, — сидел за столом, поджав под себя ногу, как портной, и вполголоса разговаривал с Яковом Бутовым.

— А сколько вооружить можно все-таки? — спрашивал Сеня, блестя на Бутова большими темно-серыми глазами.

— Трудно сказать, такие штуки скрывают. По памяти прикидываем, кто с германского фронта принес, кто с Красной гвардии, кто раньше имел, охотничал, — думаем, ружьев с двести имеется, — отвечал Бутов.

— Скажи вот что еще, — Сеня откинулся к стенке и привычным жестом, который возникал у него, когда он решал что-нибудь трудное, провел рукой по редким кольцам волос: — Народ с рудника бежит все?

— Много, — неодобрительно сказал Бутов. — А теперь, как узнали про японцев, еще больше побегут.

— Это хорошо, — неожиданно сказал Сеня. — Это очень хорошо!

Бутов удивленно посмотрел на него.

— Как твой новорожденный? — вдруг весь осветившись в улыбке, спросил Сеня.

— Да ведь я еще не видал, говорят — девочка, — сконфузился Бутов. — Через пятые уста узнаю. Говорят — такая же, как у всех людей: по правилам, — Бутов улыбнулся в усы.

Сеня снова откинулся к стенке и посидел так некоторое время, закрыв глаза. Приезд японцев понудил его принять решение о стачке, которое, он знал, не будет хорошо встречено сейчас комитетом. И он невольно оттягивал начало заседания в тайной надежде, что вот-вот будет ответ на письмо, посланное с нарочным в Скобеевку. Но нарочный не приходил.

— Начнем, товарищи, — решительно сказал Сеня, выпростав поджатую ногу, и лицо его приняло обычное — спокойное, грустноватое — выражение. Все, смолкнув, придвинулись ближе к столу; только Сережа остался в углу на табурете.

План Сени сводился к тому, чтобы немедленно начать переброску рабочих с рудника в восставшие села, переброску всех, кто способен носить оружие. И в первый момент самая возможность такого выхода показалась людям оскорбительной: им предлагалось в тяжелую минуту спасти сильных, в том числе и себя, а всю тяжесть последствий того дела, которое они начали, переложить на плечи слабых, прежде всего — детей и женщин.

Некоторое время все неловко и угрюмо молчали.

— Я вот что в толк не возьму, — сказал наконец младший Городовиков, глядя на Сеню своими твердыми глазами. — В сопки? Хорошо. Да всех в сопки не уведешь. А как же с остальными будет?

— А так же будет, как было бы с нами со всеми, — стараясь быть спокойным, но, видимо, волнуясь, отвечал Сеня. — Пока сила есть, бастовать будут. А силы не станет, сдадутся и примут на себя все муки...

— Они же завтра сдадутся, коли мы у них самый хребет вынем! — с едва сдерживаемым возмущением сказал младший Городовиков.

— А по-твоему, лучше сдаться послезавтра, да всем, да с переломанным хребтом? Неужто ж так выгоднее?

— Значит, выгоднее обмануть народ? Так я тебя понимаю? — подрагивая губами, спрашивал Городовиков.

— Обмануть? И что ты, братец ты мой, слова мне говоришь такие? — удивленно и устало сказал Сеня. — Ты мне дельное говори. Точно мы забираем людей в сады райские! Еще день промедления — и мы лучшую силу нашу истинно загубим, в руки врага безоружную предадим ее.

Городовиков замолчал, раздираемый на части противоположными доводами и чувствами, бушевавшими в его душе. И Сене было тоже так тяжело — лучше в гроб лечь.

— А как с теми, что под землей сидят? — угрюмо спросил Яков Бутов, покосившись на отца и сына Городовиковых. Все знали, что в шахте № 1 остался под землей с дядей-забойщиком самый маленький Городовиков, но ни отец, ни брат сейчас не говорили об этом.

— И с семьями как? — сочувственно и робко спросил Филя.

— Как с теми, что под землей сидят? — переспросил Сеня. — Когда выпустят их из-под земли, — а не смогут

не выпустить их, — это уж будут люди невиданной закалки: не люди, а кремни. Эти все в сопках будут, поручусь за то. А семьи — это дело тяжелое очень... — Сеня остановился и некоторое время молча и грустно глядел в стол. — Да разве у всех нас нет семей? Разве семьи партизан-мужиков не так же маются?

— А чем вы людей оружите? Тех, что в сопки пойдут? Оружия в сопках у вас нет, — вынув изо рта трубку, вмешался старый Городовиков.

Возникали все новые доводы против Сени. Доводы были так убедительны, что, когда говорил кто-нибудь против Сени, Сереже казалось, что уж во всяком случае правильно, а когда говорил Сеня, казалось, что все-таки прав Сеня.

Филя, Яков Бутов и старший Городовиков постепенно вышли из спора; не мог выйти только Семен Городовиков.

— Вот, доколе ты про эсеров и анархистов молчал, я еще думал, просто жалость да гордость говорят в тебе, — жестковато выговаривал Сеня, — а теперь я вижу, сколь у тебя в голове самой вредной дурости и от кого она в тебе. Ты сам себя раскрыл, кого ты боишься!

— Не в том дело, что я их боюсь, — с обидой в голосе говорил Городовиков, — а в том, что они на рабочем горе капитал себе наживают, а мы вроде трусов выйдем перед ними...

— А ты сумей все разъяснить рабочему человеку! Да и не поверю я, чтобы рабочий человек обвинил в трусости более смелого товарища своего, коли он в сопки пойдет биться насмерть! Рабочие последнее отдадут нам, вот это вернее!

— Правильно! — воскликнул Филя. — Ты пойми: *надо*, — обратился он к Городовикову, приложив руку к слабой своей груди. — Тебе понятно это? *Надо*. Об чем нам спорить теперь?

— Я знаю, что надо, и разве я не сделаю так, как надо? Душа болит! — вдруг сказал Городовиков.

— Душа у всех болит, да мы не душу свою ублагоустраиваем, а думаем о пользе дела, — сердито сказал Яков Бутов своим простуженным голосом.

— Уж ты сейчас не нападай на него, уж раз пришли к одному, что уж тут! — облегченно сказал Сеня. — Дело-

то ведь и впрямь трудное; дело, можно сказать, совестливое, — говорил он, радостно поблескивая глазами па младшего Городовикова.

«Какие люди! — думал Сережа, сидя в полутемном углу, забытый всеми. — И как я рад, что они пришли к общему мнению! Да, уметь забыть все личное, отдать всего себя, всю душу...»

Он не успел назвать словом, чему он хотел отдать всю душу, как кто-то осторожно постучал в окно. Все смолкли, и слышно стало, как застонала девочка в соседней комнате. Филя выскочил в сенцы и вернулся в сопровождении Андрея Бутова.

Сеня, взволнованный, поднялся из-за стола и протянул руку за письмом. Пальцы у него дрожали. Андрей Бутов полез рукой в карман пиджака. Вдруг лицо Сени покрылось бледностью, глаза закатились, и он, как мешок, осел на стол и табуретку и пополз на пол.

— А-а! — в ужасе закричал Сережа, бросаясь к Сене.

Младший Городовиков подхватил Сеню под руки.

— Ты что ж кричишь? А еще старый подпольщик, — сквозь сивые свои усы спокойно говорил старик Городовиков Сереже, опрыскивая лицо Сени водой из кувшина. — Устал человек. Легко ли за всех болеть, думать? Возьми-ка его с Семой под спинку, а ты, Яша, за ноги. Вот так, вот так... на коечку его...

Яков Бутов распечатал письмо и молча проглядел. Суровое лицо его посветлело.

— Что? Что? — спрашивали вокруг.

— Сурков и Чуркин пишут: «Выбросьте лозунг... перехода... рабочих... на сторону партизан, — читал Бутов почти по складам. — Организуйте переброску людей, динамита, оружия, какое есть. Бросайте лучшие силы. На руднике оставьте только самое необходимое для руководства. Братский привет героическим рабочим Сучана от...»

XVI

Красноармейцы, бежавшие из плена, принесли в Скобеевку письмо областного комитета и какой-то небольшой мягкий сверток, перевязанный синенькой, загрязнившейся в дороге тесемкой.

— Кто вам это передал? — расспрашивал Алеша, пока старший красноармеец выпарывал из ватника письмо, а Филипп Андреевич негнущимися шахтерскими пальцами развязывал сверток.

— Женщина передала, светленькая такая, — отвечал красноармеец, словно угадав тайный смысл вопросов Алеши. — И умненькая такая! «Письмо, говорит, и сверток дала вам одна барышня незнакомая, передать при случае в село отцу, священнику. Попомните это, говорит, ежели влопаетесь...»

— Ай-я-яй, это ж чулки, да теплые какие! — воскликнул Мартемьянов, в обеих руках протягивая Петру и Алеше пару толстых шерстяных носков.

Петр молча распечатал поданный ему красноармейцем желтый конвертик. В конверте было два небольших письма — одно обыкновенное, от Сони, другое — из одних цифр, выписанных столбиками.

Петр, пробежав глазами письмо от Сони, прочел его вслух:

Милый папа!

Не могу сказать Вам, как бесконечно волнуемся мы о Вас всех, волею Божьей осужденных жить среди этих людей, потерявших Бога и не имеющих сердца. В гимназии у нас все благополучно, я учусь хорошо, но ах, зачем это ученье, когда я разлучена со всеми Вами и с милым Алешенькой, коему я буду верной по гроб жизни моей!

Папа! Дядя Володя велел написать Вам, чтобы Вы не рвали бумаги военных займов, потому что, он говорит, скоро-скоро все повернется на старое и будут платить по всем бумагам, и велел мне списать все номера, какие еще в силе, и я Вам их все посылаю.

А еще целую я маму, дядю Андреича, брата Петеньку, а у Вас целую руку и прошу благословения. И еще прошу передать Алешеньке с его ревматизмом носки, носки американские. Американцы очень ухаживают за нами, но все подружки говорят, что они люди неверные, а больше можно верить японцам, коих, говорят, скоро прибудет очень много.

Бросаю писать, потому что большая гроза идет с запада, вон даже солдатики бегут.

Остаюсь любящая и безутешная, но не хочу роптать, ибо Христос после всех его мучений пребывает среди нас и утешает нас, грешных. Аминь.

Ваша Соня.

Все время, пока Петр с серьезным выражением лица читал это письмо, в комнате хохот стоял: смеялся Алеша, тронутый заботами Сони, смеялся и кашлял Мартемьянов, понявший, что дядя Андреич, которому Соня слала поцелуй, это есть он — Филипп Андреевич, смеялись все красноармейцы. Но только Петр и Алеша понимали неуловимый юмор и всю серьезность этого письма, в котором ни одно слово не было написано зря и которое вмещало кучу самых важных политических и личных новостей.

По письму ясно было, что всех их помнят, волнуются о них, и что все, а особенно Соня, хотят попасть сюда. В «гимназии» было все благополучно, то есть новых провалов в комитете не было, и Соня «училась хорошо», то есть не была открыта, и можно было придерживаться старого пути связи с комитетом.

Но главных новостей было три: «американцы люди неверные» и «больше можно верить японцам», которых «скоро прибудет очень много», означало, что надо ожидать — и ожидать в ближайшем времени — большого количества японских войск, переброске которых не будут препятствовать американцы. «Большая гроза идет с запада, вон даже солдатики бегут» — означало, что наступление советских войск развивается успешно, и Колчак отступает. А упоминание о «дяде Володе» — наиболее крупном работнике из сидящих в тюрьме, который «велел списать все номера бумаг, какие еще в силе», то есть которому принадлежало второе зашифрованное письмо, — и последнее утешительное замечание письма, что «Христос (кличка другого крупного работника) после всех его мучений пребывает среди нас и утешает нас, грешных», то есть бежал из тюрьмы и руководит работой, — эти места письма говорили о том, что комитет восстановил связи с тюрьмой.

В письме Сони была еще такая странная приписка:

«Папа! Если будет оказия, пришли мне свою «Ж.ж.» Бр. Здесь нигде нет, а мне надо к экзаменам».

Эту приписку Петр не огласил. Эта приписка была ответом на письмо Петра, сообщавшего Соне список книг, которыми он может располагать (он пользовался библиотекой Владимира Григорьевича). Приписка означала, что из книг, которыми он мог располагать, ключом к новому шифру взята «Жизнь животных» Брэма.

Петр и Алеша, нещадно куря, расшифровывали письмо до глубокой ночи, а Мартемьянов, в одежде и сапогах, то засыпал на своей койке, то просыпался и спрашивал — «скоро ли», а ему все говорили — «да разденься ты, ради бога», — и он опять засыпал в одежде и сапогах. Часа в три он заснул крепким детским сном, но скоро его разбудили.

Окно было распахнуто, сырой ночной воздух вползал в наполненную дымом комнату. Алеша и Петр с воспаленными, отсутствующими глазами стояли над Мартемьяновым, торжественно и благоговейно держа в руках листки.

— Готово? — испуганно вытаращив со сна синеватые простодушные глаза, вскрикнул Филипп Андреевич и снял с койки кривые, в грязных сапогах, ноги.

— Да, брат, есть над чем подумать! — то ли смущенно, то ли с некоторым удивлением и даже восхищением говорил Алеша.

Они сели на койку, против Мартемьянова, и, заглядывая в листки друг другу, по очереди, как они записывали, прочли вслух письмо работников областного комитета, сидящих в тюрьме.

Вот что было в этом письме:

Дорогие товарищи!

Трудно по неполным данным ответить на ваши вопросы. Но нам кажется, что товарищи, работающие среди восставших крестьян, с некоторыми существенными поправками, делают то, что надо.

Три наиболее серьезных обстоятельства могут определить судьбу восстания.

Первое. Японцы будут наступать, и все без изъятия державы не будут им мешать. Они уже наступают.

Второе. После годичной поддержки самых мощных стран мира и напряжения всех сил и средств наступление белой армии Сибири провалилось. Белая армия отступает за Урал, а Красная наступает.

Третье. Сибирский мужик возненавидел белых, боится двойного ярма под японским игом и дерется отчаянно.

Какое или какие из этих трех обстоятельств окажутся в конце концов решающими? Гадать не стоит. Но мы были бы последними дураками (больше — преступниками), если бы, боясь первого, не сделали все возможное для развития и победы второго и третьего.

А это значит:

всеми силами подымать вооруженную борьбу мужиков под руководством рабочих, давать ей жизненные лозунги, организовать ее — с тем, чтобы довести ее до всеобщего вооруженного восстания трудящихся Сибири, когда Красная Армия войдет в Сибирь.

всеми силами разрушать транспорт и весь аппарат белого господства, аппарат военный, промышленный и пр.

Это — главное.

Правильно поэтому поступают товарищи, работающие среди восставших крестьян, когда тут же решают вопрос о земле. Пусть-ка господа японские генералы поворачивают всё на старый лад!

Правильно поступают эти товарищи, работая среди восточных народов, провозглашая их равенство с русскими. Мужики, конечно, будут ворчать, но пойдут на соглашения, понимая, какая это для них поддержка в драке с японцами.

Тысячу раз правильно, что создали центр не только военный, а по всем мужицким делам, — это в объяснении не нуждается. И тысячу раз правильно, что созывают повстанческий съезд всех народов, с которым даже опоздали. Его надо успеть провести до того, как японцы нажмут.

Съезд должен сказать всем, всем, всем: вот за что и вот против кого мы стоим, вот что мы уже сделали и что еще сделаем, если победим. Пусть-ка господа японские генералы поворачивают потом всё назад!

Неправильно поступают товарищи, в течение нескольких месяцев топчась вокруг рудника, пытаясь захватить его. Разве вы удержите рудник? Проще и быстрее взорвать подъемники на перевалах и до конца войны прекратить доступ угля в город: эти подъемники американские, восстанавливать их придется уже нам самим.

А рабочим рудника предложите бросить работу и примкнуть к восставшим. Это будет надежная опора движения, особенно тогда, когда японцы сильно нажмут.

Крупные или мелкие отряды? Вопрос праздный. Там, где нужны и возможны крупные, там предпочтительнее крупные, а там, где нужнее мелкие, там нужны мелкие. Кажется, это и называется партизанскими действиями?

Но учтите: если японцы начнут занимать села, крупные отряды себя изживут: их трудно спрятать и прокормить. Очень советуем вам сейчас же сделать запасы продовольствия в глубокой тайге.

И еще: когда японцы нажмут, а они обязательно нажмут, мужики начнут прятаться. Это не должно вас разочаровать: мужики вернутся снова. Японские политики всегда были несколько глуповаты. По глупости их, правда, превосходил русский царь. Но теперь, когда русского царя мы с божьей помощью похоронили, глупее японских политиков уже нет. Они наверняка просчитаются. Вы это объясните мужикам. Они люди с головой, они поймут, и это придаст им бодрости.

Это письмо выражает наше общее мнение. Других мнений у нас нет. И мы думаем, что вам тоже не о чем спорить. Работаете вы все, в общем, хорошо. Мы здесь на отдыхе завидуем вам и гордимся вами.

Братский привет всем!

Некоторое время Петр, Алеша и Филипп Андреевич сидели молча, не глядя друг на друга.

Ни один король, царь, президент или какой-либо другой руководитель современного буржуазного государства и никакой папа, банкир или закон никогда не имели и не могли иметь такой власти над своими подчиненными, какую небольшая группа людей, сидящих за толстыми каменными стенами, за семью замками, за сонмом часовых и надзирателей, — имела на Петра, Алешу и Мартемьянова, а через них на десятки и сотни, а через этих на десятки и сотни тысяч восставших людей.

Власть эта была признана Петром, Алешей и теми, кто шел за ними, добровольно и была основана на силе простой разумной мысли, очищенной от всяких побочных соображений и потому совершенно бесстрашной, мысли настолько жизненно правдивой, то есть настолько соот-

ветствующей ходу самой жизни и стремлениям людей, что она приобретала характер материальной силы.

После всех жертв, трудностей, напряжения сил, сомнений, разногласий Петр, Алеша, Мартемьянов видели, благодаря этому письму, что они жили и работали не зря, и видели перед собой ясную цель и путь к ней.

Простота и ясность письма были таковы, что всем троим казалось, что каждый из них, в сущности, думал именно это. Им не хватало какого-то «чуть-чуть», чтобы это же самое выразить. И вот когда появилось это «чуть-чуть», оказалось, что все они думают одно и то же и спорить им, действительно, не о чем.

Несмотря на то, что письмо, несомненно, поправляло их всех (больше всего Алешу, но и Петра и тех, кто стоял за ним), несмотря на это, каждый находил в письме и то, что *он* предлагал. Не говоря уже о Петре, работа которого была одобрена в самом главном (и который был счастлив, но стеснялся это показать), и Алеша мог бы сказать, что он предвидел японское наступление и выдвинул мысль о создании продовольственных баз в тайге, а Мартемьянов — что он как раз ведал в ревкоме мужицкими делами и был главным организатором съезда, о важности которого говорилось в письме. А Сеня Кудрявый, мучившийся в это время вопросом о том, как быть со стачкой, не думал, что решит этот вопрос именно так, как советовало письмо.

То, что люди, сидящие в тюрьме, исходили из их общего жизненного опыта и в то же время владели этим магическим «чуть-чуть», то, что эти люди, живя сами в нечеловеческих условиях, не сердились на глупости и ошибки, а учили и ободряли и даже гордились теми, кто работает на воле, — все это вызвало в душе Петра, Алеши и Филиппа Андреевича глубокое и чистое волнение, которое они стеснялись показать друг другу.

— Н-да, ничего не возразишь, — первый прервал молчание Алеша. — И, знаешь, тут есть та-кие штуки!.. — Он смущенно и растроганно покрутил ежовой своей головой и сказал: — А ну-ка, еще раз прочтем...

И они прочли письмо еще раз, а потом еще раз. И всякий раз оно открывалось им все новыми сторонами. Даже когда они решили «соснуть часок» и легли в постель, они долго еще с необычайной откровенностью говорили и о письме, и о работе. А потом каждый еще

долго не спал и думал о своем, личном, которое вдруг тоже стало таким ясным и чистым перед их моральным взором.

Уснули они, когда было уже совсем светло.

XVII

Кто-то толкал Сережу в плечо, он сел на койке. Сеня стоял над ним:

— Одевайся, орлик мой, живенько...

Изба полна была горняцкого народа, окружившего Якова Бутова.

— Что хотите устройте — суньтесь к начальству с разговором, драку заведите промеж себя, бомбу бросьте, а Прова надо спасти, — говорил Бутов.

В несколько секунд Сережа был на ногах, готовый на все.

— А его куда? — спросил Бутов Сеню.

— К шахте номер один, — поспешно подсказал Сережа: он знал, кто такой Пров. — Сеня, пожалуйста!.. — И он умоляюще посмотрел на Сеню.

Стояла та пасмурная, туманная погода, которая в этой части страны всегда приходит в конце весны и в начале лета.

Едва они достигли поселка, как попали в беспорядочный поток народа — больше подростков и женщин, — с шумным говором катившийся в тумане куда-то в глубину поселка.

— Говорят, уже выпускают...

— Да то брехня!

— Приказ японского начальника — всех выпустить...

— Та еще, мабуть, не начали... — говорили в бегущей толпе.

Как ни взволнован был Сережа, но, пробегая мимо лавки, он вспомнил, что купил вчера заплесневшую, пережившую все войны и революции плитку шоколада «Жорж Борман» и забыл сегодня передать больной Наташке. «Ну, после, после», — подумал он, нащупав плитку в кармане штанов.

На стыке Екатерининской и Перятинской дорог поток раздвоился. Группа шахтеров, с которой бежал Се-

режа, устремилась в тот рукав потока, который катился прямо к центру поселка.

Здесь, в узкой улочке, движение стало затрудненней, образовался встречный поток, началась толчея.

— Оцепление... Японское оцепление... Нету прохода, говорят вам! — шумели в толпе.

— А ну, нажми, ребята! — сказал старший, ринувшись плечом вперед.

Работая плечами и локтями, не обращая внимания на возмущенные возгласы женщин, они немного продвинулись вперед, но попали в такое коловращение накатывавшихся и откатывавшихся людей, что мгновенно растеряли друг друга. Более юркий Сережа, однако, не отставал от старшего.

— Эй, Федя! — закричал тот, завидев сбоку затиснутого женщинами горняка из своей группы. — Зови всех обратно... Скрозь Чувилихин огород!..

— Скрозь Чувилихин огород! Чувилихин огород! — пронзительно завизжали женщины, и вся толпа ринулась назад по улице, валя встречных.

Сережа, весь потный, упал, и кто-то приятно наступил на него холодной босой ногой. Сережа выругался и, в отчаянии, что всех потерял и все будет без него, побежал в сплошном потоке женщин и ребятишек.

Двое подростков лет по тринадцати — один белесый, вертлявый, другой русый, с крупными карими глазами — оба без шапок, босые, держась за руки, ловко прошныривали меж бегущих. Сережа все время норовил не отстать от них.

Перекликаясь с другими ребятами, и то как комом обрастая ими, то снова теряя их, подростки ныряли из улицы в улицу, пока не вырвались из толпы. И вдруг, оглянувшись по сторонам, шмыгнули во двор каменного больничного здания, — группа ребят все-таки увязалась за ними.

Пробежав двором, откуда совсем близко видна была торчащая в тумане над крышами шахтная вышка, они взлезли на дощатый забор. К забору, во всю длину его, примыкал с соседнего двора громадный сарай с пологой односкатной крышей. Сережа, немного отставший от ребят, взобрался вслед за ними на забор, на крышу и, стуча сапогами, побежал по крыше прямо на вышку шахты, выросшую перед самым носом. Но белесый парнишка,

верткий, как обезьяна, обернул к нему сердитое лицо и зашипел:

— Ложись!.. — и очень умело выругался матерно.

Сережа покорно опустился в мокрую угольную пыль, покрывавшую крышу, но успел оглядеться по сторонам и слева от себя увидел улицу, в дальней части которой шумела взвихренная толпа женщин, задерживаемая линейкой японских солдат; ближняя часть улицы была пуста.

Ребята — их было шестеро — расположились на животах на краю крыши, то выглядывая из-за нее, то пряча головы. Сережа всполз в ряд с ними и тоже выглянул из-за края крыши.

Шагах в пятнадцати от них, посреди большого рудничного двора, заваленного угольными отходами, ржавыми рельсами, поломанными вагонетками, возвышалось черное надшахтное здание с примыкающими к нему двумя высокими, на черных столбах, эстакадами. В продолговатой пристройке к зданию работал локомотив, громко пыхая белым паром, сразу превращавшимся в туман; видно было, как в вершине здания крутится большое металлическое колесо.

Во дворе было много японских солдат и казаков — верховых и державших коней в поводу. Но Сережа смотрел на то, что творилось у выхода из шахты. Там гуще стояли японские солдаты. Впереди них выделялось несколько японских и русских офицеров, — Лангового среди них не было. Среди офицеров виднелись два человека в грязных горняцких комбинезонах с откинутыми капюшонами, в форменных штейгерских фуражках. Сережа удивился тому, что эти люди жадно что-то жевали.

Японские солдаты и офицеры и эти люди смотрели на выход из шахты, но выход был обращен не на Сережу, а в сторону распахнутых ворот, где тоже стояли японские солдаты, и Сережа не видел, на что они все смотрят.

Вдруг где-то внутри надшахтного здания щелкнула остановившаяся клеть, и одновременно остановилось колесо в вершине здания. Из здания вывалила большая партия мокрых и грязных женщин и подростков с бледными лицами. Колесо в вершине снова завертелось. Японские солдаты спешно разрознивали женщин и подростков, и они поодиночке, жадно заглатывая воздух, прохо-

дили мимо японских и русских офицеров и дальше, в ворота.

Две женщины, ведшие третью, начали препираться с солдатом, пытавшимся их разнять. Японский офицер сделал знак рукой, и женщины потащили свою подругу. Она не могла уже передвигать ногами, и ее облепленные грязью башмаки волочились по земле.

Щелкнула вторая клеть, и опять остановилось колесо, и опять хлынула партия подростков и женщин. Старик рабочий и женщина пронесли на руках мальчика.

— Глянь, глянь! Мишка Городовиков... Ай-я-яй!.. — волновались ребята на крыше.

Мальчик был без чувств, и его курчавая головка болталась на тонкой шее, пока его несли через двор.

Потом пошли партии взрослых шахтеров, — их еще более строго разбивали поодиночке и пускали с большими интервалами. Шахтеры шли медленно, как каторжники, с угрюмо потупленными взорами, с изнуренными, ничего не выражающими лицами.

Вдруг один из жующих людей в штейгерской фуражке быстро указал рукой на проходившего мимо сутулого шахтера, едва передвигавшего ноги.

— Б...! Шкура! — выругался белесый парнишка и плюнул между зубами. — Ну, выпустим с тебя кишки!..

Японский офицер сделал знак пальцем, двое солдат схватили шахтера под руки и поволокли в сторону.

«Может быть, это они Прова?» — испуганно подумал Сережа, глядя вслед арестованному и начиная понимать, что он, Сережа, здесь один и что из плана освобождения Прова ничего не вышло.

Чем больше проходило их, подземных людей, с измученными однообразными лицами, тем чаще один или другой штейгер или оба вместе подымали руку, и солдаты волокли кого-нибудь в сторону.

Снова щелкнула клеть, и замолчало колесо, и хлынула партия китайцев. Их так же разбили поодиночке, и один из японских офицеров со шпорами хлестал проходящих мимо китайцев плетью по лицам, головам, спинам, куда попадала плеть. Они даже не пытались увернуться от ударов, шли грузным приседающим шагом, волоча ноги.

Вот выкатилась большая, тесно сгрудившаяся партия шахтеров с накинутыми на головы мокрыми башлыками

из мешков. Ее тоже стали было разрознивать, но она не далась и, вся вместе, бегом бросилась к воротам.

Штейгер успел ткнуть пальцем в какого-то рослого парня, и солдаты накинулись на него, но он, тряхнув плечами, свалил их и побежал за товарищами. Раздался резкий свисток, и еще несколько солдат и все офицеры, русские и японские, бросились на яростно отбивавшегося парня; кто-то сорвал с него башлык, открыв его крупную кудрявую голову.

— Смотри, Петь, Пров!.. — воскликнул кто-то из ребят.

— Брательник твой, ай-я-яй!.. — сказал белесый парнишка своему русоголовому приятелю, который с бледным лицом смотрел на то, что происходило во дворе.

«Вот он, Пров... Бедный Пров», — с отчаянием подумал Сережа.

Человек этот, более четырех суток проведший под землей, бился так умело и бешено, что низкорослые японские солдаты никак не могли его скрутить и стали бить его прикладами. С лицом, залитым кровью, он, как волк, отгрызающийся от собак, проволочил на себе солдат и офицеров до самых ворот. Но тут на него набросилось еще несколько японских солдат, он сразу осел, а солдаты, слепившиеся над ним в какую-то страшную зеленую кучу, еще продолжали бить его прикладами.

Сережа, вздрагивая всем телом, беззвучно плакал скупыми, злыми слезами. То, что Сережа испытывал, было уже нечеловеческое желание — сорваться с крыши и рвать, грызть, терзать эту зеленую страшную кучу. Но кто-то тихо говорил ему: «Нельзя, терпи, смотри». Сердце его безумно колотилось, и он крепко держался вымазанными углем руками за край крыши, вздрагивая всем телом.

И вдруг со двора взревело:

— Вам здесь чего!.. — И громадный казак со шрамом через обе губы кинулся к сараю, потрясая плетью.

Русоголовый парнишка, плакавший навзрыд, поднялся на коленках и, размахнувшись, пустил в казака свинчаткой. Казак не успел увернуться, свинчатка звучно шлепнулась во что-то, но все ребята и Сережа вместе с ними уже катились с крыши.

Через некоторое время они очутились среди толпы, встречавшей выпущенных из-под земли шахтеров, черные, мокрые, медленно волочащиеся фигуры которых со

всех сторон облеплены были плачущими и радующимися детьми и женщинами.

Кто-то сзади схватил Сережу за руку, он чуть не вскрикнул. Но это был Филя, — он был бледен, одни глаза горели на его лице.

— Серега? Милый! — Он втащил его во дворик и повел за собой куда-то на зады. — Полный провал получился, квартирку-то нашу раскрыли, но, слава богу, посты успели упредить, все успели уйти... Сегодня туман, слава богу, народ валит с рудника тыщами на все четыре стороны, — рассказывал Филя тихим, отдаленным голосом.

— Ты знаешь, а Прова-то... — Сережа задохнулся.

— И Сене надо бы уж давно идти, — отдаленным голосом говорил Филя, — да он уперся; не уйду без Сереги, — у нас вся душа по тебе изболелась...

— Прова-то японцы убили, — докончил Сережа кривящимися от горя и злобы губами.

Сквозь густые кусты они пробрались в глубокий овраг, на дне которого туман лежал пластами, и долго молча шли вверх по дну оврага, пока в самой уже вершине его, в кустах, не наткнулись на большую группу шахтеров; среди них был и Сеня.

— Ах, братец ты мой!.. — только и мог сказать Сеня.

— Ну, прощайте, други... — сказал Филя, вдруг заторопившись.

— Как? Ты остаешься? — Сережа с жалостью взглянул на него.

— Остаюсь здесь за главного подпольщика, — ответил Филя с смущенной улыбкой.

Сережа, сунув руку в карман, вытащил расплывшуюся в бумажке липкую шоколадку и подал ее Филе в черной ладони.

— Передай вот это... — начал было он.

— Нет Наташки-то, умерла Наташка, — торопливо сказал Филя. — Спасибо тебе, Серега... Спасибо за все, — он не мог говорить и обнял Сережу.

Сеня отвернулся.

Так начался великий исход рабочих с Сучанского рудника в партизаны.

С одной из партий ушел и Яков Бутов, оставив на руднике жену, шестерых детей и так и не повидав девочки, родившейся в первый день стачки.

В течение нескольких дней и особенно ночей шахтеры выходили в села, окружающие рудники. Часть оседала в Сучанском отряде в Перятине, часть тянулась в отряды уссурийского побережья, часть — к Бредюку, который был выбит из Шкотова совместными действиями японских и американских частей и снова сидел в Майхе.

Но большинство шахтеров толпами валило в Скобеевку, и в течение нескольких суток весь ревком не спал, наспех сколачивая прибывающие группы в отряды, рассылая их в разные концы области: Скобеевка не в силах была прокормить такую массу людей.

Сеня Кудрявый и Сережа, душевно сблизившиеся во время стачки, тоже не спали в эти страдные дни.

Держалась все та же пасмурная погода, подмарашивал дождик, и только иногда перед сумерками чуть сквозил прощальный нежный свет.

Со слезами и обетами проводив на север последнюю крупную партию шахтеров, среди которых у них немало завелось друзей, Сеня и Сережа, осунувшиеся, мокрые, вошли в ревком к Суркову. У него сидел сумрачный Яков Бутов.

— С поклоном к тебе, — сказал Сеня, смущенно улыбнувшись Суркову, — отпусти парня в отряд к нам: просится, а мы рады б были...

— Петр Андреевич, пожалуйста!..

Сурков вскинул на Сережу усталые и злые глаза и, махнув рукой, согласился.

В больнице у отца Сережа застал Филиппа Андреевича.

Еще со времени их работы в сучанском совете Мартемьянов и Владимир Григорьевич дружили между собой. Дружба их основывалась на том, что Мартемьянов считал Владимира Григорьевича честным человеком и очень ученым человеком, но *интеллигентом*, которого надо воспитывать, а Владимир Григорьевич считал Мартемьянова самородком из народных глубин, человеком незаурядного природного ума и признавал за ним как бы *моральное право* воспитывать его, Владимира Григорьевича.

В тот момент, когда вошел Сережа, Мартемьянов как раз воспитывал Владимира Григорьевича, а Владимир Григорьевич с унылым и сердитым лицом слушал его.

— Это вашему брату, интеллигенту, все неясно да неизвестно, а нашему брату, рабочему, все ясно, все известно, — надувшись, говорил Мартемьянов. — Ежели бы мы эдак о каждом деле раздумывали, ни одного б не успели сделать!..

Сережа, которому вид отца показался противно-унизительным, сухо сказал о перемене в своей судьбе.

— Ну что ж, ну что ж!.. — заторопился Владимир Григорьевич.

Сережа обнял его и поцеловал в небритую табачную щеку. Все-таки они очень любили друг друга.

Лена была где-то в палате. «И к лучшему», — подумал Сережа, не велев отцу звать ее.

Все уже было уложено в походную сумку, а Сережа все искал что-то, лазил под кровать, в сундук, выдвигал и задвигал ящики стола, гардероба. Потный, в свалявшемся под кроватью пуху, мрачный Сережа остановился посреди комнаты.

Здесь была спальня отца и матери. Они спали всегда на разных кроватях. Теперь на материнской, с большими проржавевшими шишками по углам, спал Сережа. Старая жестяная коробка из-под монпансье, украшенная облупленным изображением малины, стояла на тумбочке у изголовья отца.

Сережа понял, что тот шаг, который он собирается сделать сейчас, это не просто поступление в отряд Гладких, а это огромная перемена во всей его жизни, а все, что было до этого, — это была игра.

С растроганным недетским чувством он обошел весь дом. На всем лежала печать войны, заброшенности. А Сережа? Лучше ли он стал, хуже?

Он не зашел проститься с Аксиньей Наумовной, боясь, что разревется.

У избы Нестера Борисова, где стоял штаб Гладких, сидел, пыхая цигаркой, зарубщик Никон Кирпичев в брезентовом плаще...

— А, Сергей... Здравствуй, Сергей! — сказал он, твердо шепелявя, так что получалось Шергей. — Ну-к что ж, очень, как говорится, приятно, зайди, зайди! — сказал он, выслушав Сережу, и кивнул головой в сторону сеней, откуда доносились женские смешки и поплевывание шелухи от семечек.

В горнице с большой русской печью было много жен-

щин, девушек, ребятишек, и все они, теснясь и хихикая, старались заглянуть в красную горницу, откуда доносились странные басовитые и теноровые вскрики.

Сережа, протиснувшись между женщин и ребятишек со своим винчестером и сумкой, заглянул в красную горницу.

Она была вся в табачном дыму. У большого стола под образами, беспорядочно заставленного бурыми бутылками, покачиваясь, стоял Гладких вполуоборот к Сереже и ревел что-то, раздувая вороные усы. По ту сторону стола, красный, сидел Нестер Васильевич, — он сидел в необыкновенно странной позиции, — охватив край стола губами и страшно вытаращив глаза. А в углу под образами Мартемьянов, с совершенно землистым, мокрым от слез лицом, со сбившимися на лбу потными редкими волосами, стучал кулаком по столу и кричал не слушавшему его Нестеру Васильевичу что-то прямо противоположное тому, что говорил Владимиру Григорьевичу.

— Уж больно ты все знаешь! — кричал Мартемьянов, весь в слезах. — Уж больно все тебе ясно!.. Не-ет, брат, не все так светло да ясно на белом свете!..

XIX

Красноармейцы, бежавшие из плена, все эти дни жили в предоставленных им двух соседних дворах, не получая назначения. Прослышав, что всех шахтеров уже распределили по отрядам, они зашли в ревком и дождались Филиппа Андреевича.

Из чистого тщеславия он стал выспрашивать имена, фамилии, года, кто откуда и заносить на бумажечку.

— А ты, значит, кто будешь? — дошел он до паренька лет двадцати трех.

— Новиков, Алексей.

— Отчество?

— Иванович.

Мартемьянов поднял голову.

— Из каких мест?

Красноармеец назвал то село Самарской губернии, родом из которого был Мартемьянов.

— Батьку твоего не Иваном Осиповичем кликали? — спросил Филипп Андреевич.

— Иваном Осиповичем. Неужто знали? — вяло оживился красноармеец.

Мартемьянов побледнел.

— А он жив еще?

— Жив был. Да уж больно стар. Вы что, не бывали у нас, случаем?

— Скажи пожалуйста! — Мартемьянов изумленно оглядывал стоящих перед ним красноармейцев. — Ваша изба на речке — туда, за кузню? — взволнованно спросил он.

— Верно... Откуда вы знаете? — начал удивляться и красноармеец.

— И ветла стоит поперед избы, на самом бережку?

— Ветлу лет десять как спилили. Да вы кто будете?

— Я, брат, поскитался по свету, — загадочно сказал Филипп Андреевич, — бывал я в вашем селе. И отца твоего я знал, когда ты, видать, еще ползал. Ну, а Андрей Новиков — не тот, что с краю, а прозвищем Буйный — тот-то еще жив? — спросил Мартемьянов о своем отце.

— Помер, и уже давно помер, и старуха его померла...

— А семья как?

— Семья что ж, — семья живет. Один-то ихний еще в голод ушел в здешни места ходоком, да сгиб. Сказывали убил кого-то.

— Пристава он убил, ирода, — за то б мы его теперь не судили, — торопливо сказал Филипп Андреевич. — Ну-ну?

— А старший ихний живет в той же избе, а младший выделился.

— А жинка того, что сгиб, она как?

— Она уж давно за другим живет, за Глотовым Евстафием, — может, знали? Он в пятом, не то в шестом овдовел и женился на ней. Ребята у них — всех кровей! Двоих они завели своих, да у него от старой штук четверо, да она своего привела — от того самого. Сказывали, как тот ушел, она в аккурат через девять месяцев и родила, — усмехнулся красноармеец.

— Та-ак... — Мартемьянов хотел свернуть цигарку, но руки его так тряслись, что он снова спрятал кисет в карман пиджака. — Что ж, девочка или сын? От того-то?

— Сын...

Он узнал, что сын его жил в своей семье плохо, а в чужой и того хуже, — все корили его отцом-убивцем.

Ходил он сызмала в пастухах, во время войны проворовался, сидел в тюрьме, в Красную Армию его не взяли (молотилкой у него оторвало три пальца на правой руке), а по разговору он вроде — контрик: над Красной Армией смеется и стоит за Антанту, а живет холостым, — никакая девка не идет за него.

И все повалилось у Мартемьянова из рук.

Гладких и Нестер Борисов в первый же день прихода отряда в Скобеевку установили, что они родственники. Мать Гладких, лет пятьдесят с лишним назад выданная отсюда замуж на Вай-Фудин, где в ту пору вовсе не было невест, приходилась троюродной сестрой бабке Марье Фроловне, а стало быть, Гладких был четвероюродным братом покойного Дмитрия Игнатовича, а стало быть, каким ни на есть племянником Нестера Васильевича.

И с того первого радушного разговора, пользуясь отсутствием Сени Кудрявого, они пошли пьянствовать у всех Борисовых по очереди, начав с бабки Марьи Фроловны и уж не пропуская ни одного двора. Этим утром они опять опохмелились у бабки Марьи Фроловны и начали новый круг, но бабка их прогнала, и они утвердились у себя дома. Здесь их и застал Мартемьянов.

Присутствие Нестера, мешавшего развернуть разговор по душам, кинуло Филиппа Андреевича в беспредельную мрачность. Выпив с горя кружечку и охмелев, он все переводил разговор на загадочное и туманное. А Нестер Васильевич, для которого мир только разворачивался своими чудесами, все подливал и подливал ему и кричал:

— Ху-у, не тужи, братец ты мой, соколик!.. Жить можно, еще вот как можно, даже очень хорошо можно, братец ты мой, соколик! А ты хвати-ка вот одну с ерцем-перцем-переверверцем!.. Ага? Понял теперь, какова Маша наша? То-то, братец ты мой, названый ты мой рассоколик!..

И вогнал Филиппа Андреевича в окончательную тоску и горькое раздражение.

Когда вошел Сережа, Нестер Васильевич, устав от Мартемьянова, показывал Гладких фокус, состоявший в том, что Нестер Васильевич одним дуновением загонял со стола медный старорежимный пятак в крынку с капустой.

А любимый герой Сережиных дум ревел во всю мощь о том, что великий этот фокус есть ничто, а вот ему, Гладких, ничего не стоит расшибить — ну, к примеру, вот

эту доску стола. И не успел напруженный вздохом Нестер Васильевич в третий уже раз загнать свой пятак в капусту, как Гладких, к ужасу хозяйки и к изумлению и веселью остальных зрителей, размахнувшись всем корпусом, грохнул лбом в крайнюю доску стола. Полувершковая дубовая доска крахнула, как щепочка, — посуда и снедь с грохотом посыпались на пол.

Хозяйка и еще несколько баб бросились убирать посуду и угомонить разгулявшихся богатырей. А Сережа, потрясенный, вышел из избы.

— Они же там пьянствуют! — сказал он Кирпичеву, держась за свой винчестер.

— Гуляют, — согласился Кирпичев, дрогнув проваленной губой. — Да что ж, — сказал он, окутав себя облаком ядовитой маньчжурки, — пьяница проспится, а дурак никогда. Не пьют только хитрые, за то им и веры нет...

Как ни неожиданны были эти рассуждения для непьющего Сережи, они почему-то успокоили его.

— Куда же мне теперь? — спросил Сережа.

— А давай к нам во взвод, — сказал Кирпичев, тяжело подымаясь со скамейки.

— Сергей Владимирович! Вы что здесь, на нашем краю? — вдруг услышал Сережа знакомый волнующийся голос, и сиделка Фрося, неся в отвисшем узле чугунок с больничным супом, подошла к ним в накинутом на голову, сложенном углом мешке, прикрывавшем ее цветной платочек от дождя. — Вот еще новости взяли! — капризно сказала она, выслушав объяснения Сережи о поступлении в отряд. — Лучше меня проводите. — И она, блестя в сумерках глазами и зубами, подхватила его под руку.

— Верно, в такую погодку самое пройтиться с красавицей, — поддержал Кирпичев. — Давай свои причиндалы. Небось, за мной не пропадет, — добродушно усмехнулся он, заметив, что Сережа заколебался, передавать ли винчестер.

XX

Фрося жила на самом краю села, там, где река разбивалась на множество узких рукавов, промеж которых лежали длинные песчаные островки, густо поросшие лозой. Сережа никогда там не бывал, даже в детстве.

Сережа, смущенный тем, что Фрося держала его под руку и их могли так встретить, молчал или вдруг говорил

что-нибудь невпопад. Но Фрося совершенно не слушала того, что́ он говорил, а только смеялась и весело и лукаво поглядывала на него из-под своего мешка.

Когда они узкой дорожкой, по которой давно уже никто не ездил, сквозь таинственно нависший над головой вербняк с осыпающимися с него свежими дождевыми каплями, вышли на один из журчащих во тьме речных рукавов, к прилепившейся к его берегу серой хатке с соломенной крышей, с маленьким огородиком возле хатки и сплетенным из вербы сарайчиком, в котором при их приближении замычал и завозился теленок, — Сережа почувствовал, что и село, и люди пропали и нет на свете ничего, кроме этого уголка и Фроси.

Подойдя вместе с Сережей к низкой загородке из жердочек, к тому месту где верхняя жердочка была выпилена, а поверх нижней проложена скамеечка, Фрося вынула свою руку из-под Сережиной и остановилась.

— Ну, что же будем делать теперь? — спросила она. Губы ее все так же лукаво улыбались, но глаза отсутствовали, точно она что-то взвешивала в уме.

Сережа понял, что, если он сейчас же не сделает чего-то, в следующее мгновение придется сказать — «прощайте, Фрося, я пошел»; и он тут же представил себе унылое возвращение по грязи и под дождем в темную неизвестность. Но в то же мгновение, когда он так думал, он сунул голову под накрывавший Фросю мешок и, чувствуя щекой и подбородком ее влажную кофточку, уткнулся губами в какой-то маленький открытый кусочек чего-то бесконечно теплого и ароматного. Что в это время происходило с его руками и что вообще происходило во всем громадном мире, он уже не сознавал, потому что ничего не существовало для него, кроме этого очень маленького теплого местечка.

— Ой, Сереженька, вы мне суп разольете!.. Зайдемте лучше в хату, — тихо смеялась Фрося.

— А дети? — сказал Сережа, прямо взглянув ей в лицо светящимися глазами.

— Так они уже спят... они ж у меня маленькие, — смутившись, сказала Фрося.

— Но кто-то смотрит за ними? — спрашивал Сережа так, точно ему важно было, чтобы кто-нибудь смотрел за Фросиными детьми, а не то, чтобы его не увидели.

— А бабка одна приблудная. Она, поди, тоже спит, а коли не спит, не насмелится зайти... Пойдемте!

Они вошли в глубокие темные сенцы, разделявшие хату на две половинки, и Фрося ввела Сережу на левую половинку. Его обдало запахом нежилой горенки. Фрося зажгла ночничок, подвешенный жестяной боковинкой на гвоздик между косяками окон. Чтобы достать до ночничка, Фрося стала коленями на лавочку, и пока она разжигала его, Сережа увидел ее сильные мокрые босые ноги с прилипшей к ступням землей. Но ничто уже не могло отвратить его от Фроси, потому что каждое ее движение, и эти мокрые ноги с землей на ступнях, и ночничок с жестяной боковинкой, и вся маленькая-маленькая, давно беленная горенка с глиняным полом, с деревянной кроватью, покрытой суровым рядном, со столиком без скатерти под образом благословляющей девы Марии, с очень стареньким, потертым, с медной затяжкой, сундучком в углу и карточками на стене, где во всех видах была она же, Фрося, то одна, то с подругами, то рядом с каким-то молодцом в черной фуражке с высокой тульей, — все это было освещено тем особенным чистым чувством уюта, любви, свободы, которое владело Сережей, и все было — прекрасно.

Теперь он не только не испытывал смущения, но испытывал необыкновенную душевную раскрытость, и его светящиеся черные глаза, не в силах оторваться от каждого движения Фроси, открыто встречали ее быстрые косые взгляды.

А в лице Фроси уже не было прежнего веселого, лукавого выражения, — ее порозовевшее лицо было озабочено. Она была теперь озабочена тем, чтобы все, что их окружало, и каждое ее движение и слово, нравилось Сереже и шло навстречу его желаниям. Но именно поэтому каждое движение Фроси — как она зажгла лампу, достала из сундучка скатертку и накинула на стол, а потом подхватила узел с чугунком и, сказав с смущенной улыбкой «обождите чуточку», выскочила из горенки, — каждое ее движение было ловким, быстрым и все были — прекрасны.

Она довольно долго не приходила. Сережа слышал, как бесшумно открывались и закрывались двери в соседнюю горенку и на улицу, босые ноги пробежали к речке, обратно, деревянный ковш плескал в ведре, что-то

постукивало, потрескивало, шуршало в горенке за сенями. Сережа побаивался, а вдруг войдет эта приблудная бабка, но он безгранично верил тому, что Фрося не допустит ничего такого, от чего бы ему стало неловко.

Фрося вошла, неся в ладонях охваченный суровым полотенцем горячий чугунок, покрытый, одна на другой, больничными эмалированными тарелками с закуской. Фрося была по-прежнему босая, но загорелые ноги ее были чисто вымыты, она была в новых, шумящих юбках, в чистой цветастой кофте, с непокрытыми черными волосами, увешанная монистами.

Пока она расставляла посуду, Сережа, склонившись к Фросе, стал ловить губами ее щеку, шею, обнаженные по локоть руки. А она, не глядя на него и не отстраняясь, расставляла тарелки, разливала суп прямо из чугунка, держа его в суровом полотенце, и все говорила:

— Ой, Сереженька, вы ж мне разольете...

Когда все было готово, она серьезно посмотрела на него и спросила:

— Сереженька! А вы пьете?

Сережа вдруг вспомнил: «Только хитрые не пьют, за то им и веры нет».

— Пью, — сказал он. И менее уверенно добавил: — Конечно...

Но Фрося уже как ветер вынеслась из горницы и вернулась с бутылкой с каким-то зеленым настоем и больничными, уже изрядно оббитыми эмалированными кружками.

— Богато настоялось, — сказала она, взглянув сквозь бутылку на свет. — Я еще самой-самой весной настояла на молоденьком смородиновом листочке. В вашем саду нарвала, — она хитро улыбнулась, — да вот еще ни с кем не привелось выпить... — Она притворно вздохнула и разлила самогон по кружкам. — Ну, выпьем, Сереженька, чтоб были вы счастливые на свете, — сказала она, сев рядом с ним и подняв кружку. И вдруг, охватив его вальяжной рукою за шею, она крепко-крепко поцеловала его в губы.

— Милая ты моя, Фрося... — только и смог сказать Сережа, задохнувшись.

Они выпили.

— Кушайте, Сереженька, кушайте, вот огурчики солененькие, то с прошлого года, а это вот сало зимнее, а больше нет ничего... Я так до смерти есть хочу!

И она с жадностью, весело принялась хлебать больничный суп.

Сережа все лез к ней целоваться, и она со смехом пересела от него напротив.

— А что я вижу, Сереженька, ой, что я вижу! — говорила она, беспрерывно смеясь, вся розовая.

— Что ты видишь?

— Вижу, вы еще в жизни не пили. Вот бы папенька увидели! — И она, прыснув супом, спрятала голову под стол.

— Ох ты, лукавая, Фроська! — сказал Сережа, удивляясь тому, что язык его сам по себе выговорил «вукавая Фоська».

— Какая ж я лукавая? Я несчастная... — Она все смеялась.

— Давай еще выпьем! — сверкая на нее глазами, сказал Сережа.

— Выпьем, все равно уж...

Они опять выпили. Сережа не запомнил, как и когда Фрося очутилась у него на коленях. Он все целовал и целовал ее.

— Ласковенький ты мой... — чуть слышно журчала она ему в ухо. — Я об тебе как мечтала!..

Вдруг в окно раздался тихий стук. Они оба обернулись, и Сережа смутно различил через стекло незнакомое женское лицо.

— Маруська, сейчас! — Фрося беспечно выгнула рукой лебедя в сторону окна и встала с Сережиных колен. — Не бойся, то соседка, подружка моя... — И она выскочила за дверь.

XXI

В горенку впереди Фроси вошла очень худая женщина в подоткнутой грязной юбке и в поношенном мокром платке, который она тут же у порога сняла, обнажив давно не чесанные, редкие, светло-русые волосы, встряхнула и снова повязала на голову.

— Здравствуйте, Сережа, — певуче сказала она, подходя к нему и протянув мокрую, с большими суставами

руку. — Вы-то меня не помните, — где уж вам всех упомнить, — а я-то вас еще сыздетства помню, сама девчонкой была... — Она вздохнула.

Ей на самом деле было не более двадцати пяти, но вся она была такая изношенная, — лицо с проступающими под тонкой кожей синими жилками, испещрено мелкими морщинками, губы потрескались, на верхней губе болячка, которую в народе зовут лихорадкой, груди под кофтой обвисли, и только ноги были еще красивые, крепкие, да голубые глаза глядели из-под светлых ресниц с молодым, завистливым и добрым выражением.

— Шла мимо, да как увидела вас в окне, как вы милуетесь, такие завидки взяли! — сказала она, с улыбкой взглянув на Фросю. — Помню, ты еще с фершалом гуляла, а я эдак-то тоже глянула — да прямо домой, да всю ночь и проревела на рундуке...

— И когда это было! — беспечно махнув рукой, смутившись, сказала Фрося. — Садись с нами, Маруська...

— И то, сяду... Ну-ка плесни на грусть-печаль! — сказала она, взяв Фросину кружку. — А вы чего ж?

— Да мы уж пили, — смущенно сказал Сережа.

— За вашу долю счастливую! — Маруся по-бабьи, мелкими глотками, выпила до дна, встряхнула кружку и, потупившись, помотала кистью руки. Потом, выбрав глазами, взяла самый маленький кусочек огурца.

— Хороша Фроська-то наша? — спросила она Сережу, когда Фрося вышла из горницы за кружкой. — Что ж, работа у нее чистая, харч хороший! А меня они вот как затаскали, ухваты да чугуны, да мужнины ласки! — И она повертела перед Сережей своими руками с изуродованными суставами. — Замуж вышла, еще шестнадцати не было, дура была, да и то сказать, не моя была воля. Ребят было пятеро, двое померли, да вот нового понесла... А еще незаметно, — просто сказала она, поймав взгляд Сережи. — Весь дом на мне одной, сам он на руднике, а деньги редко когда пришлет, все пьет да с шахтерками гуляет. И неужто ж они слаще, черные?.. А зайдет на побывку — пьет и бьет... Иной раз только у Фроськи вот и спрячешься, — сказала она, неприязненно взглянув на вошедшую подругу.

— Неужто так и не пришел со всеми? — с притворным изумлением спросила Фрося (она имела в виду выход шахтеров с рудника).

— Придет он, как же! — со злобой сказала Маруся. — Очень ему нужны эти партизаны!

— Дивлюсь я прямо на тебя! — самодовольно улыбаясь, сказала Фрося. — Ну, я б ни за что, ну, ни одной минутки с таким не жила, право слово!

— А куда я денусь с четверыми?

— И у меня трое, слава богу!

— Да еще его старики надо мной права его блюдут. Нету мне выходу!.. — Маруся в сердцах взяла кружку и подставила Фросе, чтобы та налила.

Они выпили все трое.

— Коли б дети перемерли, я б еще узнала жизнь, — с затуманенными глазами говорила Маруся. — Я уж сколько просила у бога, да больше не берет.

— Уж что вы? Неужто уж не жалко? — одними жужжащими звуками спросил Сережа, сделав страдальческое, как ему казалось, выражение лица.

— Конечно, жалко. А себя разве не жалко?

— Бо-знать что такое! — отцовскими словами сказал совершенно пьяный Сережа.

— Вы еще, Сереженька черноглазенький, жизни не видали, а я другой раз лежу и все думаю, думаю, как я своего-то убью. И так все думаю, как я его топором зарублю или пьяным спою — да камень на шею, да в Сучан его...

— Ну, как вы можете даже говорить такое, — сказал Сережа.

— Да что ж, Сереженька, каждому человеку хочется хоть маленькой радости в жизни. Иной раз подумаешь: а пропади оно все пропадом! У нас на постое финн один стоит, с залива, партизан, собою такой видный, — я уж к нему сколько раз подваливалась и так и эдак! Ну, да что с него возьмешь, не русский человек, все только «Йе? Йе?..» — И она, привстав и сделав тупое лицо, изобразила финна и то, как он будто говорил ей. — Ничего человек не понимает, — сказала она и, махнув рукой, засмеялась. — Простите, что помешала... И удачливая ж ты, Фроська, какого молоденького подцепила, да чистенького, да красивенького! Спасибо за угощение. А вам, Сереженька, послаще выспаться, дело молодое...

Фрося проводила ее во двор и что-то в сердцах выговаривала там, а Маруся оправдывалась.

— Перебила она нам с тобой... — сказала Фрося, войдя в горенку.

— Бедная женщина, — сказал Сережа.

— Бедная, — серьезно согласилась Фрося. — И все мы, женщины, бедные. Нас жалеть надо... — Она опустилась к нему на колени своим тяжелым телом и стала быстрыми мелкими поцелуями покрывать все его лицо. — Жалостливый ты мой, ласковенький ты мой, черноглазенький ты мой, такой мой ясный... — бесконечно повторяла она.

— Я люблю тебя, — сказал Сережа с выступившими на глаза слезами.

Она быстро вскочила на лавку и погасила свет.

Сережа проснулся неведомо где, от какого-то глухого рокота — не то грома, не то обвала, гул от которого прошел под землей. Фрося села рядом с Сережей, с голыми, белыми плечами, и испуганно схватилась за его руку, как слабая за сильного. И в это время раздался второй гулкий удар где-то совсем, казалось, близко, хатенка задрожала, и окна отозвались тихим жалобным звенением.

Эти странные, потрясающие гулы, страшная боль в голове и сквозь боль внезапное пронзительное ощущение счастья, голые, белые плечи Фроси и ощущение стыда и чуть брезжущий в окнах рассвет пасмурного утра — все это слилось для Сережи в одно неизгладимое на всю жизнь впечатление.

Но сейчас оно было мгновенно разрушено тем, что кто-то мелкими и твердыми толчками отворил дверь и в горенку, ступая кривыми замурзанными ножонками в один бок, точно его нес ветер, вошел крепкий, с черными, как сливы, глазами и белыми волосиками годовалый мальчик, — вошел, увидел маму, незнакомого дядю и издал вопросительный звук:

— У... у... у?..

— Куда ты, родимец! — В сенях зашаркали босые ступни, и приблудная бабка все-таки вошла в горенку.

XXII

Петр и Яков Бутов в тот момент, когда Сеня и Сережа зашли к ним, спорили о том, взрывать ли стоившие многие миллионы денег новые американские подъемники.

Их было три, подъемника, по числу перевалов. Те, что были близ рудника и близ Кангауза, взялись взорвать

сами рабочие, и там все уже было налажено. А подъемник возле станции Сицы должны были взорвать партизаны, дав этим взрывом, слышным в оба конца, сигнал и руднику и Кангаузу.

Бутову, работавшему на руднике со дня его основания и любившему его больше родной матери, было жаль подъемников. И Петр, чтобы не сорвалось дело, послал вместе с Бутовым вконец измученного Сеню.

С того момента, как Бутов и Сеня уехали с группой подрывников, что́ бы Петр ни делал, мысль его все время возвращалась к одному: «А как там?»

К ночи народ схлынул, а Петр, зная, что не уснет, пока не услышит взрывов, не уходил из ревкома, писал письма во все концы и все не мог заглушить чувства тревоги.

Ночь стояла темная, в распахнутое окно слышен был тихий шелест чуть моросящего дождя, да дневальный ходил то по крыльцу, то возле крыльца, изредка побрякивая ло́жем бердана.

«Ты мне брось заливать, будто все это нужно тебе на «оружанье горняков!» — писал Петр Бредюку. — Знаю, сколько винтовок ты вывез из Шкотова, знаю, сколько пошло к тебе горняков. Приеду, найду, буду судить страшным судом...» — яростно писал он.

Но вот и письма были написаны, шел уже третий час ночи, а все не слышно было взрывов, и Петр не мог заставить себя уйти из ревкома.

Усталость многих дней разлилась по телу, Петр все сидел и ждал, потом положил голову на руки и задремал.

Что-то забавное представлялось ему... Да, Алеша спал теперь на складных козлах, а из-под подушки выглядывали теплые шерстяные носки, и Алеша спал, положив на них руку... «Вот, черт! Ближе к сердцу! Нет того, чтобы носить!..» И вдруг что-то тихо защемило на сердце у Петра...

«Ах, как нехорошо, — говорила она, склонив голову и глядя на него своим теплым звериным взглядом. — Вы сами знаете, что поступили нехорошо, нечестно, но я люблю вас, и мы могли бы быть так счастливы!..»

Он вздрогнул и открыл глаза: ему показалось, что он услышал звук взрыва, но все было тихо вокруг, дождь тихо шелестел в темном окне, и шагал дневальный, и в душе Петра было все то же щемящее, нежное чувство.

«Но разве это уже поздно? — подумал он. — Черт! Как долго нет этого взрыва! Ну, Бутов, спущу я с тебя шкуру! А если они погибли?..»

Он встал и зашагал по комнате.

Чуть посветлело за окном, крыши и деревья едва проступали в волнах чего-то серого, медленно несущегося во тьме, видно стало, как моросит дождь.

Петр запихнул все бумаги в полевую сумку, надел в рукава толстый горняцкий брезентовый плащ, поднял башлык и вышел из ревкома, пожелав дневальному поменять свое дневальство на крынку горячего молока.

Он пошел ближним путем, задами. Скользя в сапогах и держась за разного строения заборы, выходящие к протоке, он добрался до сада Костенецких и пролез в дыру, проделанную Агеичем на подобные надобности. Рассвет только забрезжил, и выступили мокрые купы яблонь с белыми ножками.

Едва Петр свернул в аллейку, ведшую к дому, как сбоку от себя услышал шепот и тихий горловой смех, пробившийся, как родничок из-под снега. Петр узнал этот смех, и в этом состоянии тревоги и душевной размягченности смех этот проник ему в самое сердце. Он повернул голову и увидел на скамье две слившиеся фигуры, накрытые длинной шинелью. Послышался звук поцелуя, женский возглас, смысла которого Петр не разобрал, и из-под шинели выскользнула Лена с непокрытой головой, в белом, накинутом на плечи пуховом платке.

Она узнала Петра, и они встретились глазами. И в то же мгновение раскатистый гул прошел под землей, и звук его отдался от горного отрога и пролетел над садом. В глазах Петра появилось такое выражение, точно он освободился от непосильной тяжести, а в глазах Лены удивленное, прислушивающееся выражение.

XXIII

Пока подводы с подрывниками и фугасами добирались до станции Сицы, Сеня спал, а Бутов, чтобы не расхолаживать подрывников, мрачно молчал и курил.

Связной из поселка, знакомый Бутову столяр, сказал, что все свои люди предупреждены и что часового у зда-

ния подъемника убрать легко, но трудно вывести людей, живущих поблизости: во многих квартирах стоят японцы.

Было уже темно. Решили, что Бутов сначала пойдет один посмотреть.

Он отдал винтовку, снял патронташ, вынул из кобуры револьвер и сунул за пояс под пиджак. И вдруг, швырнув наземь фуражку, сел на мокрую опавшую хвою и обхватил руками голову.

— Что ты? — спросил Сеня.

— Не пойду! Никуда я не пойду и слухать ничего не хочу!.. Взрывайте сами, коли хотите...

— Хорошо, сделаем сами, — грустно сказал Сеня и начал разоружаться.

— Пойдем!.. — Бутов, не глядя на Сеню, в сердцах нахлобучил фуражку, и они со столяром ушли.

Дождь все моросил и моросил. Партизаны разведывательной роты, сутки лежавшие на сопке под дождем, дрожали от холода. В поселке то и дело подлаивали собаки, подрывники нервничали.

Так прошла бóльшая часть ночи. Бутов не возвращался. У Сени от сырости начался кашель, и он, накрывшись с головой пиджаком, откашливался, уткнувшись лицом в землю.

А в это время Бутов лежал под полом избы, хозяев которой он не знал, а в избе над ним сидели за столом японский офицер, два унтер-офицера и допрашивали арестованных, среди которых был и столяр, сопровождавший Бутова. Допрос переводил русский в потертом пальто и синей фуражке Восточного института, а выдавал всех пожилой рябой мастеровой с безумными глазами, беспрерывно обтиравший с лица пот концом рукава.

Едва Бутов и столяр вошли в поселок, как их перенял вылезший из канавы паренек. Сообщив им, что по всему поселку расставлены японские посты, ходят патрульные и идет обыск с двух концов, паренек изчез.

— Продал кто-то? — прохрипел Бутов, глядя в глаза столяру злыми глазами, не веря уже и ему.

— Не может того быть! — с отчаянием прошептал столяр.

— А кто мне теперь поверит, что я попросту не сдрефил?! — приглушенно неистовствовал Бутов. — Нет, брат, погибать так погибать. Идем!

Благополучно обойдя двух постовых задами, они углу-

бились в поселок, но — только пересекли улочку, как из-за угла вышел японский патруль. Они хотели спрятаться во дворе, но на них с лаем набросился громадный волкодав.

Патрульные — то ли заметив их, то ли на лай волкодава — тоже кинулись во двор. Волкодав с визгом покатился, вспоротый штыком. Бутов и столяр, не выбирая направления, бежали какими-то огородами, перемахивая через заборы.

Немного опередив патрульных, они перескочили в маленький дворик и выглянули из калитки. Перед ними была широкая улица, параллельная железной дороге. Справа, обходя лужу, шла группа японских военных чинов с шашками.

Бутов и столяр попятились и взглянули друг другу в глаза, поняв, что пропали. Вдруг столяр схватил Бутова за руку, втащил его на крылечко избы во дворе и, перегнувшись через перильца, постучал в окошко.

Босые ноги прошлепали к двери.

— Я... Пусти на минутку, — прошептал столяр, не дожидаясь вопроса. — Света не вздувай! — отчаянно прошипел он, когда они вместе с Бутовым вскочили в душную, пахнущую человеческими телами избу. — Спрячь вот человека! А?..

В это время патрульные, перебравшись через забор со стороны огорода, тяжело протопали мимо избы на улицу и оттуда послышались акающие звуки страстного разговора.

— Что там, Вась? — спросил с койки сонный женский голос.

— Тихо! — грозно прошипел хозяин, каким-то тяжелым предметом делая что-то на полу. — Полезай! — сказал он Бутову.

— Куда?

Шаги многих людей затопотали по крыльцу, и дверь затряслась от ударов.

Бутов, лежа под половицей, слышал все, что происходило над ним. Столяр, человек бывалый и упорный, все врал, что он шел домой, а на него набросилась собака, а когда он увидел, что гонятся патрульные, он испугался и побежал. Но какой-то мастеровой выдавал столяра, что он-де и есть главный большевик в поселке и что он-то и сказал ему, что сей ночью будут рвать подъемники.

Столяр отрицал такую глупость и утверждал, что он не только не мог иметь таких планов, но, ежели бы даже имел, не мог бы делиться с этим подлецом, которого он еще год назад поймал у себя в амбаре за воровским делом и отхлестал вожжами, за что тот и злобится на него.

По ходу допроса было ясно, что патрульные не знали, что они гнались за двумя и что тому, кто выдал все, неизвестно было, что взрыв предполагается с участием партизан.

Пока допрашивали столяра, хозяина, хозяйку, в избу стали приводить других арестованных. У всех спрашивали, где динамит, потом стали бить столяра и других.

Как ни висела над Бутовым угроза вот-вот быть обнаруженным, больше всего он страдал от мысли, что и Сеня там, на сопке, и Сурков, в Скобеевке, могут думать, что все дело провалил он, Бутов. Если бы гибель его могла снять с него это черное пятно, он, не колеблясь, вылез бы из-под пола, но он знал, что этим еще больше провалит дело и погубит других людей, а черное пятно все-таки может остаться на нем.

Страдания его были тем более мучительны, что, лежа здесь под полом, он считал, что уже давным-давно наступил день. И вдруг допрос оборвался на полуслове, постояла тишина, потом раздались револьверные выстрелы, звон стекла, крик японского офицера, топот ног, и Бутов услышал отдаленную стрельбу в поселке и крики «ура».

Сеня, сидевший на сопке с подрывниками, давно уже понял, что Бутов или подвел их, или погиб.

Близился рассвет. С сопки видны были уже не только строения, но и японские солдаты на станции, и постовые по поселку, и то, как водят по улицам арестованных, каждый из которых казался Сене Яковом Бутовым.

Положив ждать по часам еще десять минут, Сеня велел оттащить фугасы за сопку и расположить роту в цепь. Когда десять минут прошло, он скомандовал несколько залпов по станции и, покашливая в кулак, повел роту в наступление.

Японцы в станционном помещении отстреливались, пока туда не вбросили гранату. А офицер, допрашивавший столяра, и бо́льшая часть японцев, расположенная по поселку, убежали в сторону рудника. Офицер успел убить столяра и дать еще два выстрела наугад, одним из которых было разбито окно, а другим убит на

печке четырехлетний мальчик, молча наблюдавший, как допрашивают и бьют людей. Мастерового, выдавшего всю организацию, арестованные убили во дворе поленьями.

Бутов нашел Сеню в кирпичном здании подъемника под перевалом.

— Друг ты мой вечный! — Бутов, обняв Сеню, прижался к его губам своими пышными усами. — Ты понял? Ты все понял?..

Подрывники в полутьме, виновато оглядываясь, торопливо заделывали фугас под гигантской мощи подъемный механизм, пахнущий маслом, мазутом и тускло поблескивающий при пасмурном свете утра своими гигантскими металлическими частями. Другая группа подрывников тянула шнур сюда и в котельную.

Бутов побледнел и, зажав уши, побежал из поселка.

На взрыв первым отозвался Кангауз, но этот взрыв не был слышен в Скобеевке; через мгновение отозвался рудник.

Сеня застал Бутова лежащим на мокрой земле под елкой, уткнувшимся лицом в фуражку. Голова Бутова, которого Сеня только что видел, как всегда, русым, вся пошла сединой. В первое мгновение Сеня даже не понял, что это — Бутов.

XXIV

Не прошло и двух месяцев с той поры, как Лена сошла с поезда на станции Сица, направляясь в родной дом, а Лена была еще более одинока, чем прежде.

То, что она узнала об отце и Аксинье Наумовне, совсем отдалило ее от отца, и тяжело было видеть ей Аксинью Наумовну, которая в первое время, как человек, вынянчивший Лену, скрашивала ее одиночество. Обидно было и то, что Сережа, которого она так ждала, оказался ей чужим и сторонился ее.

В той же мере, в какой возросло чувство Лены к Петру, — настолько, что она теперь не могла жить без представлений о нем и мучила и терзала себя разрывом с ним, — в такой же мере она не могла снова стать близкой к нему.

Она не только не могла сделать первый шаг примирения, но, если бы Петр захотел восстановить их отношения, он должен был бы проявить столько усилий любви

для достижения этого, усилий, сопряженных с такими проявлениями раскаяния, поклонения и унижения, что это вряд ли было возможно для такой натуры, как Петр. И Лена знала это, но поступиться собственной гордостью, то есть унизить себя, ей было еще труднее, чем Петру.

Этой ночью она проснулась оттого, что кто-то тихо постучал в окно. Она была бесстрашна, как все люди, не имеющие реального представления об опасности. Не зажигая света, в одной рубашке, она подбежала к окну, по которому с той стороны ползли дождевые капли, и прильнула к нему. Под окном возле крыльца стоял Казанок в своей американской шапочке пирожком и в накинутой на плечи длинной шинели. Подняв голову, он смотрел на нее. Было что-то смешное и подкупающее в его мокром детском лице и в его дерзости. Лена распахнула окно. Послышалось тихое шуршание моросящего дождя.

— Ты что? — спросила она шепотом.

— Я без тебя пропаль, — печально сказал он, прямо глядя на нее. — Я все хозю, хозю возле твоих окон... Где ты? Где ты?

Лена вдруг смутилась, вспомнив, что у нее голые плечи;

— Обожди, я что-нибудь накину.

Она надела платье, туфли на босу ногу и накинула материнский пуховой платок — тот, в котором мать умерла.

— Ты меня сгубиля, ты знаешь это? — с детским страстным выражением говорил Казанок. — За что ты меня?

— В чем я виновата перед тобой? — удивленно спрашивала она.

— Ты прячешься от меня! Зачем? Зачем?..

— Я не прячусь от тебя, откуда ты это выдумал? Ты все, все выдумал, Казанок!

— Злая, злая... — сказал он, и слезы выступили ему на глаза.

— Что ты? Казанок? — нежно прошептала она, пронзенная жалостью. — Что я должна сделать, чтобы тебе было хорошо?

— Пойдем со мной!

— Куда?

— Куда глаза глядят...

— Но ведь дождь!

— А вот шинель! — сказал он, коснувшись щекой воротника шинели.

Лена, вцепившись в протянутые к ней руки Казанка, спрыгнула к нему. Он быстро накрыл ее полой шинели.

Мелкая морось, как во время сильного тумана, все шуршала и шуршала по невидным во тьме яблоням и по траве и оседала на волосах Лены, и на шинели, и на углах скамейки, как иней.

Обняв Лену за плечико под шинелью, Казанок сидел, притихший, как ребенок, а Лена, ссутулившись, не глядя на него, все спрашивала его шепотом:

— Ты любишь меня?

— А ты не знаесь?

— Чего ж ты хочешь?

Он молчал.

— Ты хочешь на мне жениться?

— Злая ты, — вдруг сказал он. — Я как тебя увидаль, я сразу узналь — ты злая...

— Значит, ты не хочешь на мне жениться?

— А ты б пошла за меня?

— Я бы за тебя не пошла.

— Ну вот и злая! За то и люблю тебя... — Он помолчал. — Женятся те, у кого другой жизни нет...

— Какой другой жизни?

— Вольной...

— Разве есть такая жизнь? — спрашивала она.

— Для таких, как ты, как я, — есть: кто никого не боится...

— Я всех боюсь, Казанок.

— А того, что мы сидим с тобой, — боисся?

— Этого не боюсь, — помолчав, сказала Лена.

— А если кто увидит?

— Мне это все равно...

— Я зналь, что ты такая! — воскликнул он с торжеством.

— А ты никого не боишься? — с любопытством спросила она.

— Никого...

— Ни начальства, ни отца, ни друга, ни недруга? Никого?

— Отца немного боюсь, — подумав, сказал Семка.

— Почему?

— Когда б он мне худо сделаль, не мог бы воздать, пожалел бы. Выходит, мы не ровня. За то и боюсь.

— А меня боишься?

— Тебя боюсь, — серьезно сказал он.

— Оттого, что любишь?

— Когда визю тебя, своей воли нет. Что ни прикажешь, все сделаю, а разгневаесся, хоть каблучками топчи, ножки буду целовать,— сказал он, и через все его худенькое тельце прошла мгновенная дрожь, отозвавшаяся в Лене.

Некоторое время они сидели молча, только дождь шуршал по листьям.

— А ты опасный человек, Казанок! — вдруг сказала Лена.

— Я очень опасный, — сказал он.

— Я думаю, ты еще убьешь меня...

— Тебя? — Он подумал. — Тебя не убью, ты меня не продась.

— Что это значит — не продашь?

— Не обманешь для пользы своей или кого другого.

— Я перед тобой ничем не обязана... Но ты прав, я тебя не продам, — сказала она через некоторое время и еще ниже ссутулилась.

Дождь все шуршал по листьям. Казанок молчал.

— Я лучше пойду, Казанок, — чуть слышно сказала Лена.

Он не сделал ни одного движения удержать или отпустить ее, будто знал, что она не уйдет, и она не ушла.

— У меня вся голова мокрая, — сказала она.

Семка молча приподнял шинель и накрыл с головой себя и Лену, оставив только отверстие для дыхания. Они сидели, тесно прижавшись, глядя перед собой в одну темную щель, и дыхание их смешивалось, — сидели с ощущением заброшенности и какого-то животного уюта.

— Была б воля моя, увель бы тебя на край света, — тихо прошептал Казанок. — Пошла бы?

— Пошла бы, если бы сейчас вот взять и пойти. А завтра уж не пойду, — сказала она.

— Не любишь меня?

— Не люблю.

Он помолчал, потом чуть коснулся губами ее щеки. Она не отстранилась, только сказала:

— Не надо...

Он затих. Очертания деревьев проступали в серой мгле рассвета.

— Все-таки, правда, стоило б зарезять тебя, — мрачно сказал он.

Лена тихо засмеялась.

— За что же?

— Раз не любись, уйдешь к другому. Тогда зарезю, — убежденно сказал он.

— Режь сейчас, я люблю другого! — тихо засмеялась Лена.

— Ах, злая, злая! — простонал он и, вдруг обвив ее гибкими своими руками, поцеловал ее, — хотел в губы, но она с возгласом «не смей» отпрянула от него, и он попал куда-то в пуховой платок.

Лена вынырнула из-под шинели и среди моросящего дождя увидела тяжелую, в мокром брезентовом плаще фигуру Петра, его серые усталые глаза и сильную складку губ. И в это мгновение послышался этот гул.

Петр медленно, точно ему очень не хотелось этого, перевел взгляд на Казанка, стоявшего перед скамейкой с оставшейся на ней шинелью и дерзко смотревшего на Петра. Когда Петр снова встретился глазами с Леной, она смотрела на него с каким-то низменным женским выражением.

Послышался второй удар, эхом отдавшийся в горах.

Петр вдруг низко поклонился Лене и пошел к дому, оставляя сапогами темный след по мокрой, в каплях, траве.

XXV

Уже совсем рассвело, дождь перестал, но было пасмурно, когда Сережа возвращался в отряд. Мужики, бабы, дети, выглядывавшие из окон и из-за изгородей, все, казалось, знали, откуда он идет, и все считали его до конца грязным человеком. Лучше было не вспоминать, как его при бабке и детях рвало на глиняный пол и Фрося, с лицом, полным искренней жалости, заставляла пить огуречный рассол.

Но как ни ужасно было все это, Сережа любил Фросю. Правда, кто-то внутри него все время разрушал представления о том, как он женится на ней, но он думал об этом, и мысль эта была приятна ему, когда он представлял себе их жизнь вне жизни окружающих людей. Он знал, что то, самое главное, что произошло между ними, было прекрасным, как ему ни было стыдно теперь, и что он будет вспоминать об этом с хорошим чувством и всегда будет этого желать.

Однако он готов был уйти под землю, когда, подойдя к избе Нестера Борисова, увидел сидящего на скамье, точно он не уходил всю ночь, — Кирпичева, дымящего цигаркой.

— Вот и ты, Шергей, слава богу, — зевая, сказал Кирпичев, — садись, будем сейчас новолитовцев встречать, — только что конник приезжал. Куришь? — И он протянул Сереже кисет.

Сережа все ожидал, что Кирпичев начнет подтрунивать над ним, но Кирпичев, исходя из опыта собственной юности, не подозревал, что для Сережи могло быть хоть что-нибудь новое и необыкновенное в том, чтобы переночевать у вдовы. И Кирпичев не догадался подразнить его.

— Неужто ты так и не спал всю ночь, Никон Васильевич? — почтительно спросил Сережа.

— А взвод мой эти сутки в карауле, а я дежурный по гарнизону, — спокойно сказал Кирпичев. — А ежели ты спросишь меня, почему ж я, как я есть дежурный, нахожусь не па своем посту, а здесь, — сказал он, весело посмотрев на Сережу и улыбнувшись своей проваленной губой, — так я тебе все разъясню. Главную задачу дежурства своего я ставил в том, чтоб наши отцы-командиры, — он с доброжелательным выражением кивнул на избу, — не учинили какого ни на есть скандала, да и начальству на глаза не попались. Задачу эту я сполнил с честью. Теперь они у меня все спят... Я было и сам лег, да взрывы разбудили... — Он зевнул.

Нет, жизнь шла своим чередом, и люди считали Сережу человеком, и — взрослым человеком. И он с нежным и благодарным чувством вспомнил Фросю. «Нехорошо все-таки, что она крадет больничную посуду», — подумал он.

Новолитовская рота, ходившая в тайгу искать хунхузов Ли-фу, медленно приближалась по улице. Люди шли расхлябанным строем, расползаясь по грязи.

— Ну, как? Погромили их, отец-командир? — спросил Кирпичев, не вставая со скамьи.

— Какой там, к черту, погромили! Ушли, и следу нет! — с досадой сказал пожилой командир в солдатской, с подвернутыми за ремень полами шинели. И, сделав знак роте, чтобы она его не ждала, подошел покурить. — Такая чащоба — не продохнуть! Шли туда четверо суток и, верно, нашли новый барак и вашу и ихнюю стоянку, а их след простыл. Почти неделю простоял лагерем,

послал во все концы разведку — ищи кота в лесу! Ни гугу!.. Они как ходют-то, проклятые! Наши ходют цепочкой, ясно — остается тропка. А хунхузы — вразброд, прочесом, где их найдешь? — сетовал командир, жадно затягиваясь кирпичевской крепкой маньчжуркой, позаимствованной как раз у тех самых хунхузов, на которых жаловался командир.

— Скажите, — низким голосом сказал Сережа, — а Масенду вы там не встретили?

— А кто такой Масенда? — спросил командир роты

Конец второго тома

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I

В том самом году, когда Аахенский конгресс скрепил «Священный союз» царя России и королей Англии, Австрии, Пруссии, Франции против своих народов, в году, когда студент Занд убил Коцебу и Меттерних готовил Карлсбадские постановления «против возмутителей общественного спокойствия», и в воздухе пахло манчестерской бойней и хиосской резней, и правительство Англии готовило свои «шесть актов о зажимании рта», а Шелли — «Песнь к защитникам свободы», в году, когда родился Карл Маркс, а Дарвин начал ходить в школу, а Виктор Гюго получил почетный отзыв Французской академии за юношеские стихи, — в те времена, когда английский капитал завоевывал Австралию и Индию и Канаду и проникал в Китай, а доктрина Монро о невмешательстве европейцев в дела Западного полушария только вызревала, когда самыми большими рабовладельцами в мире были графы Шереметьевы — хозяева почти ста тысяч ревизских душ, и родоначальник миллионеров Морозовых — крепостной Савва откупился от помещика Рюмина за семнадцать тысяч рублей ассигнациями, когда зачиналось декабристское движение, зарождался либерализм в Европе и кончался ампир и Наполеон еще был жив на острове Святой Елены, времена промышленного переворота, банков, английской политической экономии, утопического социализма,

гегельянства, времена Вандербильта Первого, Роберта Оуэна, Бетховена, Грибоедова, Дениса Давыдова, «Руслана и Людмилы», — в эти самые времена и в том самом году, холодной осенью, среди людей, не знавших, что всякое такое происходит на свете, родился на берегу быстрой горной реки Колумбе, в юрте из кедровой коры, мальчик Масенда, сын женщины Сале и воина Актана из рода Гялондика.

Когда он родился, он не закричал, как полагается новорожденным. Его красное, плоское, мокрое личико было слишком спокойным. И принимавшая его повивальная бабка, схватив его за ноги и опустив вниз головой, сильно встряхнула его. И он закричал так, что услышали в поселке. А бабка, обернув его в очень тонкую по выделке и очень грязную пеленку из рыбьей кожи, стала тетешкать его в сильных морщинистых руках и запела:

Кян-кян-кичив!
　　Кян-кичив!
К реке ходил
　　кян-кичив!
Рыбку поймал
　　кян-кичив!
Вот каким стал
　　кян-кичив!
Вот каким стал
　　кян-кичив!..

II

Народ кочевал по стране, могущей вместить семь с половиной таких государств, как Япония, и десять таких государств, как Англия с Шотландией и Ирландией и Нормандскими островами.

Когда-то народ был велик. В песне говорилось, что лебеди, перелетая через страну, становились черными от дыма юрт.

Племя удэге кочевало в широкой и очень длинной полосе лесов и рек, протянувшейся между хребтом Дзуб-Гынь и океаном, и по ту сторону хребта, по течениям рек Бикина, Хора, Имана, Улахэ, Даубихэ — рек, получивших эти названия много позже от китайцев. Эти реки впадали в одну большую реку, за которой жил народ маньчжуры. А эта большая река впадала в еще бо́льшую реку,

из-за которой приходили гиляки, солоны и еще десятки племен, а откуда и куда она текла, эта самая большая река, об этом никто не знал.

Где-то еще жил в ладу с таинственной силой неизвестный и неисчислимый, как песок, народ китайцы. Оружие, материи, посуда, орудия для обработки земли шли от китайцев к маньчжурам, а от маньчжуров попадали к племенам, кочевавшим по рекам за хребтом Дзуб-Гынь, а от них попадали и на эту сторону хребта, к морю. Но когда Масенда родился, удэге не знали еще фитильного ружья.

Племя удэге, как и другие племена, редко кочевало и зимовало вместе, потому что многим людям трудно кормиться в одной местности. Племя странствовало группами родов во главе с наиболее опытным из родовых старшин, а в трудные для питания годы — отдельными родами, а иногда даже семьями с разрешения старшего в роде.

Роды бродили летом, а поздней осенью собирались группами на зимовку. А все племя собиралось только тогда, когда к этому призывала военная нужда. Тогда вступал в силу вождь племени, в обычное время такой же охотник, как и все.

Род, первый увидевший опасность не только для себя, а для всего племени, разводил на сопке костер войны. Если это было ясным днем, бросали на костер полынь, дающую густой белый дым, а если пасмурным днем, — ветви сырой ясеницы, дающие черный маслянистый дым, а если ночью, — ветви сырой ясеницы и лапки ели, от которых столб искр подымался до неба. Завидев дым, или огонь войны, ближайший род разводил свой костер на сопке, а ближайший к нему разводил свой. Так по кострам на сопках узнавали об опасности и сходились в условленное место.

Каждый год приходила весна с жаркими днями и холодными ночами. Задували ветры с юга и юго-запада, несли летний туман, пасмурь, потом ливни и наводнения. Приходила долгая сухая солнечная осень и незаметно превращалась в такую же сухую солнечную зиму. А потом дули ветры с севера или северо-запада, холодные, малоснежные, земля промерзала на три четверти человеческого роста, а весной снова оттаивала.

Неуловимо для одного человеческого поколения, но заметно для многих поколений подымался к небу берег

океана. Выверченные в скалах водой и галькой шершавые котлы, в которых прапрадеды ловили руками маленьких крабов, когда еще сами были маленькими, эти котлы все выше подымались над морем и были теперь недоступны для волн.

В памяти людей оставались только те годы, когда природа отступала от своих привычек или жизнь людей была чревата особенными удачами или несчастьями: год снежной грозы или год прихода русских; год Каньгу, бога бурь, или по-китайски — тайфунов; год оспы; год засухи, он же — цинги; год желудей, он же год перехода тигров с запада на восток: урожай желудей приманивал кабанов, а по следам кабанов шли тигры. Их было так много, тигров, в тот год, что люди не охотились на кабанов, а часами пролеживали на земле, уткнувшись лицом в хвою, боясь увидеть священного Амбу.

Так проходил век Масенды, век, в котором, кроме удач и несчастий, общих для всех людей, были и его собственные удачи и несчастья. А если бы их не было, трудно было бы сказать, живет ли это сам Масенда или одно из его перевоплощений: известно, что душа, прежде чем совсем исчезнуть, переселяется во все меньших и меньших тварей. И тля, ползущая по листу, вела в прошлом жизнь зайца, а в еще более глубоком прошлом жизнь медведя, Мафа, а в совсем далеком прошлом жизнь того огромного существа с обвисшей шерстью, костяными бивнями и тяжелыми ступнями, которое известно людям только по стариковским преданиям да по остаткам, находимым в земле.

III

Впервые Масенда узнал сам себя в расшитом крашеной шерстью кожаном мешке за спиной у матери. Масенда обнимал ее просунутыми в отверстие в мешке сильными ножками и чувствовал движения ее бедер.

Это было в год белок, когда был неурожай шишек и полчища белок хлынули в долины; это было ранней весной, очень тяжелой для людей: зимние запасы кончились, рыба еще была подо льдом, ничего еще не росло, зверь уходил в глубокие дебри, шла война с ольчами, племя уходило на юг и голодало.

Но у Масенды не осталось плохой памяти об этом времени: он помнил продолговатую косую теплую грудь матери, с темным соском и желтовато-розовыми пятнышками вокруг соска, и вкус материнского молока. Возможно, он помнил эту грудь еще и раньше, а может быть, и позже, — у удэгейцев кормят грудью до семи лет. Но он помнил эту грудь и вкус материнского молока до сей поры.

И вот другое воспоминание: он ступает по траве коричневыми босыми ножками, его ведет за руку мать, а рядом идет отец: он хорошо помнит отца, от его расшитых оленьих унтов и до кончика беличьего хвоста на шапке.

Они подходят к какой-то юрте, возле нее много-много людей, и в маленькой колыске, похожей на салазки, сидит маленькая девочка в красивом, расшитом крашеным волосом и перетянутом ремешками кожаном мешочке.

Что-то делали все люди вокруг него и этой девочки, — потом он узнал, что это был обряд обручения. Но в памяти осталось только, как девочка заплакала, а незнакомая женщина стала качать ее в колыске и запела о том, что девочка будет матерью честного и сильного поколения, и девочка уснула.

После того он никогда уже не ходил к этой маленькой девочке и, когда стал юношей, не помнил, какая из девушек была этой маленькой девочкой. И женился он не на этой девочке, а на Гулунге, которая разговаривала с деревом-осокорем. Но об этом после.

IV

Мать погибла, когда он был уже взрослым. Она утонула в один из годов бога Каньгу, когда реки так разлились, что вся страна стала одной водой, и над водой возвышались только узкие спины хребтов, полные зверей и людей.

Но пока мать была жива, она имела на каждого сына и дочь ореховую палочку и осенью, когда начинал падать лист, насекала на палочках прошедший год. Так вела она счет годам детей своих.

До тринадцати лет Масенда, как и все мальчики его народа, спал в то же время, что и птицы, и там, где

придется, и не спал совсем, если нельзя было, и не знал обуви ни зимой, ни летом, и почти не знал крыши над головой.

Девочки с ранних лет проводили все свое время с женщинами. Еще не кончался возраст, когда играют с куклами, как они уже работали: собирали коренья, травы, грибы, варили пищу, мололи зерна, выделывали кожи, туески, корзинки, рогожки, вышивали шерстью и волосом и раковинками. Если многие из них умели бить острогой рыбу и стрелять из лука, то только потому, что этим в часы досуга занимались и женщины.

А мальчики жили отдельной от мужчин жизнью, но подражали ей во всем, кроме куренья табаку. Любимыми игрушками мальчишеских игр были лук, нож, острога. А лучшими товарищами в играх — собаки и лодки-оморочки.

До тринадцати лет запрещалось стрелять в зверей и птиц: мальчик так рано получал лук в руки, что он не мог знать, какой зверь или птица потребны человеку, и в какое время года можно убивать, и какие звери и птицы священны. Мальчики стреляли в бабочек, жуков, стрекоз, кузнечиков, и считалось позором промахнуться, если цель была не дальше седьмижды семи шагов.

Жизнь мальчика — это игра. Но всякая игра — испытание.

Испытывали бичом для собачьей упряжки. Мальчик становился посреди лужайки, нагнув оливковую спину и упершись руками в колено выставленной вперед ноги. А остальные мальчики становились позади полукругом на расстоянии бича и по очереди щелкали бичами по спине, стараясь попасть в одно и то же место плоским кожаным концом. Испытание кончалось, когда показывалась кровь. А случаи, когда бы испытуемый сам просил пощады, были очень редки.

Испытывали на огне. Испытывали на порез ножом на лопатке. Испытывали на морозе, — это испытание очень любили наблюдать взрослые, и это было самое веселое испытание. И очень распространенным было испытание на голод.

И в колыбельных песнях, и в песнях любовных, где девушка воспевала возлюбленного-героя, одним из самых прекрасных качеств героя была умеренность в еде. Взрослые удэге принимали пищу дважды — на восходе солнца

и вечером перед сном. А наиболее прославленные охотники и воины ели только один раз — поутру. Легендарный мужчина-герой не ел совсем.

Масенде миновало семь зим, а может быть, шесть, а может быть, восемь, когда с севера пришли солоны, и отец его, Актан, разжег костер войны. Это было в середине лета. Племя собралось в низовьях реки Такеме, где кочевали в это время род отца — род Гялондика и роды Кимунка, Амуленка и Юкамика.

Детей обезоружили и заперли в юрты. Они слышали вверху по реке крики боя и, визжа, катались по юртам — не от страха, а от желания принять участие в бою.

Удэге разбили солонов и преследовали их далеко на север за реку Нахтоху и взяли в плен много воинов. Тех из них, кто отказался вступить в удэгейские роды, убили, а остальные вошли в пленившие их роды, и через два-три года их уже нельзя было отличить от удэгейцев.

Другим памятным событием детства было появление китайских купцов. Их было двенадцать, китайцев, все в одеждах из материи. У них были ружья. У старшего было на пальце костяное кольцо.

Они перевалили хребет с верховьев речки Арму — притока Имана — и пришли из страны маньчжуров. Им нужны были шкурки соболя, молодые оленьи рога — панты и корень женьшень. И каждый охотно отдал им бо́льшую часть того, что имел: обычай велел делиться всем добытым и без того, чтобы человек просил, а если человек просит, значит, ему это очень нужно.

Китайцы были веселый народ и пили горькую воду, от которой становились еще веселее. Они угощали этой водой и удэге, и несколько охотников сделало по глотку, чтобы не обидеть гостей. Охотникам не только не стало весело, но несколько дней они были больны, и все удэге были обижены. Может быть, китайцы хотели их отравить, а может быть, посмеяться над ними. Но китайцев отпустили с миром, так как не видели от них большого зла.

Китайцы просили добыть им на следующий год побольше шкурок, корня, пантов и обещали принести взамен ружья. От ружей все отказались. «А шкурок, корня, пантов, сказали, много в лесу, приходите, мы вам дадим, сколько вам надо».

V

Самым счастливым временем в жизни людей были встречи кочующих родов поздней солнечной осенью. Это было время браков. Шли охотничьи игры и танцы перед зимней охотой. И собиралось так много детей, насмотревшихся за лето чудес и так жаждавших померяться силами, что от детского щебета, от стремительной беготни, от взвивающихся в воздух стрел, от мечущихся по реке оморочек, от дымов костров, вокруг которых, подражая взрослым, дети вели беседы, — счастливо становилось на душе у всех людей.

Масенда, голый по пояс, сидел у костра на берегу моря среди других мальчиков и слушал рассказ мальчика из рода Юкамика, как он встретил красного волка.

И подошел отец. За спиной у него был большой лук, который он мастерил все эти дни, у пояса нож и стрелы в кожаном чехле. В руке у него была рогатина.

— Пойдем, — сказал отец.

Масенда послушно встал.

Они молча пошли вверх по реке, долинкой, поросшей таволожником. Быстро темнело. Они шли в глубь гор и леса. Стало совсем темно. Отец свернул в кустарники дуба и стал взбираться по крутому отрогу. Масенда старался не отстать от него. Отец был очень быстр на ногу и очень силен. Стрела его лука проходила насквозь и козулю и изюбря, а застревала в кабане и медведе из-за их сала. Отец подвел Масенду к черному отверстию пещеры, окруженной мшистыми скалами.

— Здесь ты будешь жить семь дней и семь ночей. Выходить из пещеры нельзя. Можно петь песни, — сказал отец.

Он передал Масенде рогатину, нож, лук, стрелы и пошел вниз, в темноту, так тихо, что его не было слышно.

Масенда понял, что он должен пройти испытание, прежде чем стать охотником и воином, и вошел в пещеру. По звукам шагов он угадывал, что она глубока. Все россказни о злых духах пришли ему в голову, и он испугался. Он не решился идти далеко вглубь и пошарил босыми ногами — нет ли травы. Везде был камень и мелкая щебенка. Он чувствовал кожей тела и по запаху, что пещера сухая. Он размел щебенку ладонями и сел лицом к выходу, держа оружие близ себя.

Из рассказов взрослых он знал, что самое страшное в испытании, когда темной ночью набредет зверь. Говорят, бывали случаи, когда тигрица Амба уносила мальчиков во время испытания, как она унесла легендарного мальчика, убившего стрелой священную птицу Куа.

В отверстие пещеры, широкое у основания и узкое вверху, видны были ближние кусты, темные вершины деревьев, растущих внизу, в долине, и небо, полное крупных звезд. В их свете, таком огнистом в небе и бледном на земле, он стал различать выступы камней на стенах. И страшно было чувствовать черную глубину за своей спиной. Чтобы приучить себя к этой черной глубине, он сел спиной к выходу. Уши слышали все, что происходило за его спиной, и рассказывали ему: бормотание внизу — река; выше по реке тихое звенение — ключ; это птичка шелохнулась в кустах, а это сами листья переместились под тяжестью росы; посыпалась мелкая щебенка — просто так, от времени, а эта — от того, что пробежала ящерка.

Привыкнув к темноте, он лег на камни лицом к выходу и уснул.

Проснулся он от распространенного шума в кустарнике далеко внизу, с той стороны реки. Все было в тумане, светало, он различил в шуме листьев ступание легких копытцев, — стадо коз пришло на водопой.

Светило солнце, мир пещеры был тесен, хотелось пить и есть. Он прошел в глубину пещеры, она имела конец, и очень скучно было сидеть в ней.

В средине дня прямо на отверстие пещеры вышел пятнистый олень. Из кустов, по которым олень с шумом взбирался на гору, показались сначала его ворсистые рога, и темно-карие дикие и добрые глаза его встретились с глазами Масенды, ждавшего его, натянув тетиву. Олень, взвившись, сделал косой скачок выше своего роста и умчался, просвистав по листве. Масенда успел бы пронзить его, если бы захотел.

Так прожил он в пещере семь ночей и семь дней без пищи и воды. За это время очень много событий совершилось вокруг него. Залетали летучие мыши. Каждое утро приходили козы на водопой. Черный медведь перешел через реку. Масенда не видел его, но знал, что это черный, — по шуму, когда он шел сквозь кустарник и переваливался в воде: медведь был невелик. Белохвостый

орлан ловил рыбу в реке. Вороны гоняли сорокопута. Звезды падали с неба каждую ночь, — очень много падало звезд. И этот год так и назвали потом: год падения звезд.

Масенда спел все песни, какие знал, — военные, охотничьи, любовные и те, какие поют при камлании по всем случаям жизни, — не пел только колыбельных. Жажда так мучила его, что заглушала голод. Тело его стало невесомым, но мышцы его были тверды, и, если бы надо было, он мог бы просидеть еще столько же. А может быть, и не мог. Все-таки очень трудно было высидеть последний день.

Красный свет солнца перешел на верхушки деревьев, а понизу уже клубилась вечерняя сырая мгла, когда Масенда, надев на себя оружие так, как носил его отец, держа в руке рогатину на весу, спустился в долину. Он шел среди предсумеречного гама синичек, бесшумно, как охотник и воин. Он был счастлив.

И вот сквозь кусты проглянуло море вдали. Он подходил к поселку. Девичий голос журчал в сумерках. Девочка лет девяти, в унтах из рыбьей кожи и такой же тонкой рубахе в мелких и хрупких разноцветных раковинках, стояла, обняв ствол могучего осокоря, начавшего желтеть, и разговаривала с ним. Она быстро обернулась к Масенде, узкая, вся в блестках, как ящерка. Это была Гулунга из рода Амуленка. Род ее три года зимовал за хребтом, на реке Иман, но Масенда узнал ее: он дружил с ее братом Есси Амуленка.

Девочка спокойно смотрела на Масенду из-под своих тонких-тонких бровей.

— О чем ты говоришь с ним? — спросил Масенда.

— Это мой жених, — сказала она. — О чем можно говорить с женихом?

— Вы обручены? — пошутил он.

— Нет, он заколдован. Я обручена с Салю из рода Йоминка. Но я не буду жить ни с кем. А ты разве будешь жить со своей «давным-давно»?

Так среди молодежи назывались жених и невеста, обрученные в детстве. Теперь уже редко совершались браки по этому обручению.

— Не знаю, — ответил Масенда.

— В поселке только и говорят, что этой осенью Актан

выйдет на охоту с четырьмя сыновьями, — сказала Гулунга.

— Все, что я добуду, все ваше...

И Масенда, точно плывя над землей от слабости, прошел мимо девочки в поселок.

Он шел среди юрт, и все мужчины и юноши и старики, по обычаю, не смотрели на него. Только его вчерашние товарищи по играм украдкой подглядывали из-за кустов. Отец и братья тоже не посмотрели на него, точно ничего не случилось.

Мать, возившаяся у костра, откуда наносило такими вкусными запахами, что у Масенды помутилось в голове, вошла в юрту и вынесла Масенде новые унты, рубаху, три кафтана из изюбриной кожи и шапку с беличьим хвостом. Масенда надел все па себя и сел на корточки и так сидел до тех пор, пока мать не позвала его ужинать вместе с отцом и братьями.

Хотя он шел один близ реки, он не разрешил себе испить, зная, что это неблагородно. И только перед едой отпил несколько глотков из глиняного тулуза — по старшинству, после отца и братьев. Но когда все уснули, он сбежал к реке, лег животом на гальку и пил долго, как лось. Утром отец отдал ему свою трубку.

Так Масенда стал охотником и воином.

VI

На этом кончилось хорошее время в жизни Масенды, как и в жизни всего народа. Но сначала нужно рассказать о двух последних счастливых событиях в жизни Масенды.

Он вошел в пору юности, и стрелы его лука тоже пронзали козулю и оленя насквозь, а застревали только в кабане и медведе из-за их сала. Он и сам уже не раз бывал под кабаном и медведем, и дважды падал ниц перед тигром, и несколько раз тонул, и участвовал в трех войнах, и тело его было в бесчисленных шрамах, как тело всякого охотника и воина. За это время Масенда несколько раз встречал Гулунгу, но она была для него, как и всякая другая девочка.

Потом пришла осень, когда Гулунге уже неинтересно было разговаривать с осокорем, и Масенда встретился

с ней на реке. Она пришла за водой, а может быть, и не за водой. Но прошло еще два года, пока они стали жить вместе.

Вот как это случилось. Отец Гулунги хотел, чтобы дочь соблюла обычай и жила с Салю из рода Йоминка. Но Гулунга не хотела жить с Салю. В те времена никто не мог заставить жить с тем, с кем не хочется. Но отец Гулунги, старший в роде Амуленка, был человек умный, знал силу времени, и род стал кочевать вместе с родом Гялондика: как похитишь невесту из рода, с которым кочуешь вместе?

Так они кочевали вместе два года. На третью осень род Гялондика зазимовал на Сыдагоу, а род Амуленка на Даубихе. И этой осенью Масенда похитил Гулунгу.

Из всех прекрасных осеней в этой стране это была самая прекрасная. Солнце так долго грело, что казалось, совсем не будет зимы. Лист долго не опадал, зеленая хвоя стояла среди красной листвы. По утрам ударял морозец, деревья, сухая трава и мох были точно в розовой шерсти. Утром солнце сквозило через морозную дымку, а потом грело все сильней, сильней, — и все оттаивало и мокро сияло вокруг. А к полудню уже было так сухо, что над открытыми пригорками с поникшей белесоватой травой попархивали простенькие бабочки, бог весть где пережидавшие морозец.

Масенда шел пять дней и четыре ночи и к вечеру пятого дня увидел внизу в долине, в медленно плывущем дыму, продолговатые юрты, похожие на рыб, уснувших в воде. Людей не видно было, так это было глубоко.

Он спустился в долину перед рассветом, пока не выпал иней. Он рассчитал верно: иней заглушил его ход в траве и для людей, и для собак.

Два дня и две ночи он просидел на ели среди красных деревьев почти над самым поселком. И если бы подул ветер с той стороны, откуда он пришел, собакам нанесло бы его запах. Мужчины не вышли еще на охоту и целые дни проводили на реке, били острогами последнюю ходовую кету. В это время и секачи, и особенно самки настолько оббивают хвост, плавники и брюхо о гальку, что уже вяло плывут и плохо пахнут, но удэге любили такую кету с запахом.

Несколько раз Масенда видел Гулунгу, но всегда она была на виду у других людей. На утро третьего дня жен-

щины и девушки пришли в рощу, где сидел Масенда, собирать хворост. Гулунга была среди них.

Женщины расходились в разные стороны и сносили хворост в общую кучу. Обняв руками большую охапку хвороста, откинув головку с тоненькими черными косами, Гулунга плыла среди красной листвы прямо на Масенду. С отчаянной отвагой он соскочил с вершины дерева. Она узнала его, мгновенно сбросила хворост, чтобы облегчить ему дело, и даже успела отряхнуться. Он заткнул ей рот, схватил ременными петлями ноги и руки и, очень довольную, потащил сквозь кусты волоком за косы.

Самое удивительное во всем этом было то, что никто из женщин, кишевших в роще, их так и не увидел: все ложились среди кустов, чтобы им не помешать.

Масенда знал, что, если его нагонят братья Гулунги, ему надо будет защищать невесту и его убьют. И он сделал все, чтобы уйти. Он развязал Гулунгу, и во все время их скитаний она тоже делала все, чтобы уйти. Несколько дней и ночей подряд они бежали бегом через хребты, через хвойные зеленые леса и через леса в красной листве и часами брели по горным ледяным рекам, чтобы запутать следы. Так вышли они на реку Эрльдагоу, в сторону, противоположную той, куда им надо было идти, и в первый раз остановились на ночлег.

Они не развели огня и спали, прижавшись друг к другу, как дети, и проснулись от сотрясения воздуха над ними. Была пора изюбриного гона, и стадо голов в триста клубилось вокруг. Старые самцы и молодые ревели на разные голоса — то низко, то высоко, иногда они уже просто хрипели от страсти. Чаща стонала эхом, и иней сыпался с деревьев.

Когда Масенда и Гулунга пошевелились, самка и два самца, преследовавшие ее, дали такого дробота двенадцатью копытами, что все стадо услышало и ринулось в чащу, и иней посыпался с деревьев часто, как снег. Но где-то близко, голосом, полным тоски, раз за разом, очень однообразно, еще ревел старый самец. Видно, он ничего не услышал.

У Масенды был с собой только нож. Неслышно, как дух, он прокрался на голос. Одинокий марал-отшельник с подседевшим брюхом, с пушистыми внизу и костяными вверху рогами в развитых отростках стоял в болотце, проломив копытами тоненькую пленку льда и увязив ноги

в грязь по бабочки. Он ревел, как дьявол, выкатив карие выпуклые помутненные глаза и положив тяжелые рога на спину. Изюбри сбивались в пары и табунились, а его не принимали к себе, и он так и состарился в одиночестве.

Масенда сделал скачок в две длины человеческого тела, и старый марал рухнул под ним, пораженный в шею, и волны крови облили руки Масенды. И тут только Масенда заметил, что Гулунга стоит рядом. Она шла за ним следом, боясь остаться одна. Они стали пить кровь по очереди.

Когда солнце стало пригревать, они уже были муж и жена. За много дней и ночей скитаний они не сказали друг другу ни слова и не видели в словах никакой нужды.

Забавно было, придя с женой в свой поселок на Сыдагоу, застать братьев Гулунги — одного моложе другого — во главе со сверстником Масенды Есси Амуленка. Но посмеяться пришлось все-таки Есси, потому что он и не думал преследовать Масенду. Он прямо направился к Гялондикам, зная, что все будет по обычаю, и очень хорошо проводил здесь время.

Род Гялондика отдал за жену Масенды обычный тори — железный котел, три рубашки и три копья и за похищение еще железный котел и десять рубашек.

На обратном пути Есси не уступил дороги бурому медведю, и медведь вынул у него глаза. И Есси стал шаманом. Потом роды Амуленка и Гялондика всегда кочевали вместе.

А вторым и последним счастливым событием в жизни Масенды-воина было рождение первого сына. Потом у него были и еще сыновья и дочери, но он уже не радовался им, зная, что они рождаются на несчастье себе.



ПРИМЕЧАНИЯ

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ УДЭГЕ

Роман «Последний из удэге» публиковался в течение многих лет в периодической печати; четыре оконченных части выпускались отдельными изданиями. Роман остался незавершенным.

Главы первой и второй частей публиковались в различных журналах, начиная с 1929 года. В 1929 году — в журнале «Октябрь» (№ 1—4). В 1930 году в «Молодой гвардии» (№ 3) и «Октябре» (№ 4—6). Главы второй и третьей частей печатались в журнале «Красная новь» (1932, № 3—6, 8—10; 1933, № 1—3) и в «Литературной газете» (1932, 11 апреля и 5 декабря). Отдельным изданием первая часть впервые выпущена в 1930 году (изд. «Московский рабочий»). В 1933 году ГИХЛ издал вторую часть романа. Главы третьей и четвертой частей печатались в «Красной нови» (1935, № 9—10; 1936, № 7, 8, 12; 1940, № 9—10), в «Правде» (1935, 30 июня и 6 сентября), в журнале «На рубеже» (1935, № 6—7; 1937, № 1, 2; 1940, № 5), в «Литературной газете» (1936, 15 мая и 5 июля; 1940, 18 августа), в газетах «Рабочий» (1936, 6 марта), «Заря Востока» (1938, 9 августа) и «Советская Киргизия» (1938, 12 и 14 августа). В 1940 году четвертая часть опубликована в «Роман-газете». В 1941 году в Гослитиздате вышло двухтомное издание романа, включавшее все четыре завершенные части. Первая, третья, пятая и шестая главы пятой части «Последнего из удэге» опубликованы 29 сентября 1940 года в «Литературной газете» под названиями «Рождение Масенды», «Детство Масенды», «Испытание Масенды» и «Женидьба Масенды». В 1956 году шесть глав пятой части были напечатаны во втором сборнике «Литературной Москвы».

Роман впервые полностью в существующем виде (все пять частей) был напечатан в издательстве «Советский писатель» в 1957 году.

«Последний из удэге» был задуман автором еще в начале 20-х годов. В одном из писем 1950 года А. Фадеев сообщает: «Я начал писать «Последний из удэге» раньше, чем «Разгром».

Тогда же писалась повесть «Смерть Ченьювая», где переплетались мотивы и образы обоих романов. К 1924 году относятся первые варианты романа, называвшегося тогда «Последний из тазов». В записной книжке А. Фадеева в сентябре 1947 года есть следующая заметка: «Постараться найти варианты «Последнего из удэге» 1924 г. Тогда роман назывался «Последний из тазов». Начинался со встречи партизан с хунхузами». Как свидетельствовал сам автор, вначале в роман «Последний из удэге» должна была войти и тема «Разгрома», но в 1925 году он отказался от этого замысла, так как «понял, что роман «Последний из удэге» должен затронуть другие вопросы и другие проблемы».

В 1925—1926 годах А. Фадеев работает над «Разгромом», а с начала 1927 года — одновременно над двумя произведениями: романом «Провинция», в котором собирался изобразить новую, «советскую провинцию, выросшую из старых уездных нравов», и над романом «Последний из удэге».

Роман, посвященный гражданской войне на Дальнем Востоке, вновь строился на материале, хорошо знакомом А. Фадееву. Писателю довелось в юности принимать активное участие в событиях 1919 года, подробно описанных в «Последнем из удэге»; в образе Сережи Костенецкого несомненны автобиографические черты. Как и Сережа, А. Фадеев вместе с заместителем предревкома Мартыновым (в романе Мартемьянов) совершил летом 1919 года поход по деревням и селам освобожденного Ольгинского уезда для подготовки Первого уездного съезда Советов. Прототипами многих героев произведения послужили известные на дальнем Востоке политические деятели (в том числе С. Лазо, М. Губельман, братья Сибирцевы, командир партизанского отряда Глазков и другие). Фадееву довелось наблюдать и представителей буржуазии, вроде владельца серебро-свинцовых рудников и пароходства Бринера и других.

А. Фадеев работал над романом «Последний из удэге» почти всю свою жизнь, стремясь дать в нем эпическую картину эпохи гражданской войны, показать все слои русского общества в 1917—1920 годах, рассказать о преобразовании края при Советской власти. Сравнительно быстро были написаны первые части произведения. Уже в январе 1927 года в записных книжках А. Фадеева появляются заметки, связанные с «Последним из удэге»: это описание быта и нравственных представлений удэге. В апреле в записных книжках начинает встречаться имя Лены Костенец-

кой, в июле — Сережи, затем следуют пометки о начале второй части, об ученических годах и характере Петра Суркова и т. д. Такого рода записи некоторое время перемежаются с наметками «Провинции», но постепенно А. Фадеев сосредоточивает все внимание на «Последнем из удэге». В 1928 году он завершает работу над первой частью и тут же приступает ко второй. В августе 1932 года А. Фадеев пишет матери: «На днях кончил вторую книгу «Удэге» и принялся за третью».

Некоторые литераторы высказывали недоумение, почему А. Фадеев вновь обратился к теме гражданской войны, видели в этом даже уход от актуальных проблем современности. Автор «Последнего из удэге» не разделял столь узкого понимания актуальности искусства. Он считал нужным художественно осмыслить революционное прошлое в свете опыта, достигнутого Советским государством. Показывая гражданскую войну как начало эпохи социалистических преобразований, продолжающейся поныне, писатель находил в событиях, уже ставших историей, истоки современных социальных и нравственных проблем. А. Фадеев заметил в 1932 году: «Разве...переход к злободневной тематике означает, что «устарели» темы гражданской войны (когда пролетариату предстоят еще не менее серьезные военные битвы), что «не нужно» осмысливать в художественных образах прошлую империалистическую войну (когда воздух насыщен угрозой новой империалистической войны)...»

Это высказывание отражает ощущение надвигающейся военной грозы, первые признаки которой появились на Дальнем Востоке. В этих словах А. Фадеева — и стремление к широким обобщениям революционных перемен как содержания всего исторического развития человечества. По пути социального и морального обновления, считал художник, неизбежно пойдут все народы, в их числе и те, которых в других условиях ожидала бы трагическая участь.

Первоначальный замысел романа был связан, главным образом, с историей народа удэге, варварски истреблявшегося царизмом и возрожденного к жизни социалистической революцией. У маленького народа еще сохранился первобытнообщинный строй с его естественностью и нравственной чистотой. Такая первобытность человеческих отношений, как известно, привлекала многих писателей. А. Фадеев, испытавший заметное влияние книг Майн Рида, Фенимора Купера, Джека Лондона, признавался в одном из писем 1948 года, что «замысел «Последнего из удэге» не мог бы возникнуть... без «Последнего из могикан» Купера». Но в романе советского писателя иначе поставлен вопрос о путях развития

цивилизации, которая неизбежно должна перейти на более высокую ступень, а не возвращаться вспять. А. Фадеев, вступая в художественную полемику с зарубежными романами типа «Последнего из могикан», намеревался показать принципиально новое решение вопроса о «золотом веке» человечества. Этот «золотой век» — не в прошлом, не в первобытных нравах; народы могут завоевать свободу и счастье только на путях социалистического переустройства мира. Журнальной редакции первой части романа были предпосланы эпиграфы из сочинений Энгельса и Моргана о родовом строе.

В 1930 году А. Фадеев опубликовал в журнале «Октябрь» следующее предисловие к «Последнему из удэге»:

«Ввиду того, что роман «Последний из удэге» выходит в свет отдельными частями, я вынужден предпослать ему несколько пояснительных замечаний.

Тема романа зародилась под большим влиянием книги Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства».

Известны те восторженные и мужественные строки, которые посвятил Энгельс изображению древнего родового быта: «И какой чудный уклад — этот родовой быт, несмотря на всю его несложность и простоту! Нет ни солдат, ни жандармов, ни полицейских, нет дворянства, царей, наместников, губернаторов, нет ни судей, ни темниц, ни процессов, а все идет своим порядком... Дела решают в них заинтересованные и в большинстве случаев на основании тысячелетних обычаев. Бедных и нуждающихся нет: коммунистическое хозяйство и род исполняют свою обязанность относительно старых, больных и изувеченных на войне. Все равны и свободны, не исключая и женщин. Для рабства нет еще почвы, нет и порабощенных племен... И каких мужчин и женщин воспитывает такое общество! Белые, имевшие случай войти в сношение с еще не развращенными индейцами, восхищаются личным достоинством, правдивостью, силой характера и мужеством этих варваров... Таковы были люди и человеческое общество до разделения на классы. И, сравнив их положение с огромным большинством цивилизованных людей, найдем большую разницу между теперешним городским и сельским пролетарием и древним свободным членом рода, и не в пользу первого».

Известна далее та критика, которой Энгельс вслед за Марксом подверг древний родовой быт, впервые научно доказав всю закономерность и неизбежность *исчезновения* родового строя, замены его новым периодом общественной жизни, цивилизацией, *и*

разоблачив и высмеяв все и всяческие мелкобуржуазные иллюзии о возможности возвращения человечества к этому первобытному состоянию на прежней основе. «Необходимое условие процветания родового быта... малоразвитое производство и вследствие этого редкое население на большом пространстве и полное подчинение человека окружающей его, но чуждой ему, неразумной внешней природе, что отражается на его детских религиозных представлениях. Человек того времени не возвысился над понятием племени; племя (колено), род и их уклад были для него неприкосновенною святыней, установленной природой, высшей властью; этой власти каждый безусловно подчинялся в своих чувствах, мыслях и действиях. Люди этой эпохи, при всей своей величественной простоте, совершенно походили один на другого; они еще не отделились, как говорит Маркс, от пуповины первобытной общины. Для дальнейшего развития надлежало сперва разрушить этот первобытный коммунизм — и он был разрушен».

Известно, однако, и то, что ни Маркс, ни Энгельс не стояли на той точке зрения, что переход человечества на более высокую ступень развития сопровождался и установлением более высоких и достойных отношений между людьми. Совсем напротив. «Первобытный коммунизм был разрушен под влиянием причин, которые нам представляются греховным отступлением от нравственной высоты древнего родового быта. Самые низшие инстинкты — подлая алчность, страсть к грубым наслаждениям, отвратительная скупость, разбойническое присвоение общественного имущества — сопровождают нарождение нового периода общественной жизни, цивилизацию, общественный строй, разделенный на классы; устои старого, не разделенного на классы общества расшатывались самыми позорными средствами. Эти средства: воровство, насилие, хитрость, измена. И новое общество, в продолжение своего 2500-летнего существования, не изменило этих средств и в настоящее время более, чем когда-либо, представляет картину развития незначительного меньшинства за счет эксплуатируемой и угнетенной народной массы».

Известно, наконец, что именно Марксу и Энгельсу принадлежит та гениально развитая и претворенная Лениным и ставшая теперь ведущей для миллионов эксплуатируемого народа мысль, что *единственным* путем освобождения человечества от рабской нищенской жизни является *путь насильственного ниспровержения пролетариатом, ведущим за собой все угнетенные массы народа, строя, основанного на эксплуатации человека человеком, путь установления диктатуры пролетариата, путь построения нового коммунистического общества, когда «снова*

возродятся свобода, равенство и братство древнего родового быта, но уже в высших формах» (Морган).

Все вышеизложенное и есть в сжатом виде основная тема или идея романа «Последний из удэге».

Для осуществления этого замысла мне потребовалось, в меру моих сил и уменья, охватить в романе представителей различных слоев и классов общества — пролетариата, крестьянства, буржуазии, интеллигенции, а также представителей различных национальностей вплоть до народа *удэге,* живущего в условиях родового строя, хотя уже распадающегося. Этим объясняются большие размеры романа и то, что приходится работать над ним дольше, чем хотелось бы.

Народ *удэге* (правильнее *удэхе*) действительно существует в Уссурийском крае. Он насчитывает теперь не более 1500 человек... Об этом народе имеются прекрасные исследования В. К. Арсеньева и некоторые другие. Я считал себя вправе использовать эти труды в своем романе, помимо тех личных наблюдений над туземцами Уссурийского края, которые скопились у меня за более чем двенадцатилетнее пребывание в различных глухих местах этого края. Однако я не придерживался в романе полной этнографической точности. Как это следует из авторского замысла, мне не так важно было дать точную картину жизни именно данного народа, сколько дать художественное изображение общего строя жизни и внутреннего облика человека времен родового быта. Поэтому я счел себя вправе при изображении народа удэге использовать также материалы о жизни других народов как в пределах СССР, так и вне его, находящихся на той же или близкой к ней ступени общественного развития.

Как и в «Разгроме», я не придерживался в романе абсолютной географической точности. Используя наиболее благозвучные и оригинальные названия рек, гор и селений, я поневоле сдвигал со своих мест те и другие и третьи, стараясь сохранить только общий колорит края.

Люди и события в романе — не действительные люди и события, а вымышленные. Надеюсь, что друзья и соратники по партизанскому движению в Уссурийском крае не осудят меня за это, так как, думается, несмотря на вымысел, я нигде не погрешил против действительного духа и смысла этого движения».

А. Фадеев нарисовал в своем романе образы честных и отважных удэгейцев, не развращенных капитализмом. В то же время он показал, сколько темного и застойного в их жизни.

Только в революционной борьбе вместе с русскими рабочими и крестьянами могут эти люди отвоевать для себя достойное будущее.

О поисках дороги в будущее мучительно размышляют и герои книги, выросшие в среде интеллигенции. В первых двух частях романа большое место отведено образу Лены Костенецкой. Она воспиталась в буржуазной семье, ей нелегко дались «поиски простого и настоящего» (как сказано в одном из вариантов плана романа), переход в лагерь революции. Ее брат Сережа совершил этот переход быстро и решительно, но и ему нужно было многое переосмыслить, чтобы приобщиться к большевистской организованности, коллективизму, стойкости.

В двух первых частях романа автор, подробно воспроизводя душевные метания Лены, еще довольно бегло говорил о деятельности большевиков — Петра Суркова, Алеши Маленького и других. Избранные писателем ситуации требовали соответствующих средств изображения. В критике завязался спор не только об актуальности «Последнего из удэге», но и о правомерности тех художественных приемов, с помощью которых здесь раскрывались сложные и противоречивые душевные движения таких людей, как Лена Костенецкая.

В центре дискуссии оказался вопрос о художественном методе А. Фадеева, о характере и размерах воздействия на него Л. Н. Толстого.

Овладение опытом Л. Н. Толстого было для А. Фадеева сложным и длительным процессом. В конце 20-х — начале 30-х годов, оставаясь самобытным художником, А. Фадеев испытал большое влияние Толстого. Влияние это сказалось и в характере обрисовки внутренней жизни героев «Последнего из удэге», и в стиле романа, с классическими формулами «не потому... а потому», «несмотря ни на что», и в противопоставлении кажущегося и истинного в человеке, и т. д. При этом перед писателем стояла задача творчески переработать толстовское влияние.

В статьях тех лет речь шла чаще не о том, насколько А. Фадееву удалось решить эту задачу, а о том, является или не является он «толстовцем» в философском и эстетическом отношениях. Случалось, что его изображали правоверным «толстовцем». Овладение толстовским искусством психологического анализа иные критики считали отказом от «метода пролетарской литературы». Внимание к внутреннему миру, нравственному облику отдельного персонажа они отождествляли с игнорированием классовой сущности людей (Д. Мирский), с «толстовским биологизмом» (С. Нельс).

Тезис о «рабской зависимости» А. Фадеева от Л. Н. Толстого вызвал категорическое несогласие А. Луначарского. В 1929 году, еще раз подчеркивая важность учебы у классиков, он писал:

«Форма у Фадеева очень близка к Толстому... Форма у Шолохова — насыщенная реалистическая форма, к которой поднимались многие наши классики, выражая большие бытовые явления.

Повредило это Шолохову и Фадееву? Конечно, нет, как не повредило это направление и всей пролетарской литературе».

А. Фадеев, в свою очередь, посчитал нужным принять участие в полемике, вновь подтвердив, что у своего великого учителя он воспринимает не философию, а достижения реалистической формы. Имея в виду утверждения оппонентов, он заявил в 1929 году: «Если разум и поведение героев подчинены подсознательному началу в человеке, то есть Фадеев дает одностороннее и неправильное представление о человеческой психике, то, очевидно, нужно бить тревогу и постараться, чтобы Фадеев сошел с этого пути, потому что это — путь неправильный». Подобное предположение автор «Последнего из удэге» отверг. В заметке «Небольшое поучение», опубликованной в 1932 году, он упрекал тех критиков, которые игнорировали общественно-классовую направленность романа и строили свои выводы на одной фразе, характеризующей богача Гиммера[1]. «...В самой этой фразе, — доказывал А. Фадеев, — нет решительно ничего толстовского, противоречащего марксизму».

Защищая свой творческий метод, наши реалистические традиции, А. Фадеев отнюдь не утрачивал критического отношения к собственному труду. Его обеспокоили весьма сдержанные отзывы о «Последнем из удэге» со стороны некоторых литераторов-единомышленников и тем более отрицательная оценка Горького. Вспоминая о работе над первым томом и говоря о себе в третьем лице, А. Фадеев на собрании писателей в апреле 1937 года заявил: «Фадеев сидел на Дальнем Востоке и, прочитав в статье о том, что роман у него очень плохой, как написал Алексей Максимович про первые книги «Последнего из удэге» (причем было сказано, что автор сам знает, что роман плохой), действительно обеспокоился этим обстоятельством и старался писать лучше. И по оценке критики и читателя третья книга оказалась несколько лучше первых двух».

«Очень плохой» — явное преувеличение. Но нельзя не заметить композиционных недостатков произведения, связанных с

[1] Имеется в виду последний абзац XV главы первой части романа (см. стр. 65—66 наст. изд.).

тем, что линия Лены стала играть слишком большую роль по сравнению с линией активных революционеров. Поэтому мотивам «правдоискательства» кое-где уделялось чрезмерное внимание, в то время как образы Петра или Алеши были обрисованы слишком эскизно.

В период работы над третьей частью романа А. Фадеев совершил длительные поездки на Дальний Восток, ознакомился с изменениями, происшедшими в экономике и быте некогда дикого края, в судьбах людей. Вспоминая в 1937 году об этих поездках, писатель связывал их с новым этапом в работе над «Последним из удэге». Создание двух первых частей романа, утверждал А. Фадеев, убедило его, что «нельзя писать о прошлом, не зная хорошо настоящего», и что художнику полезно переменить обстановку, не ограничиваясь одной литературной средой. Третью часть романа автор считал ответом на горьковскую критику «Последнего из удэге».

Эта часть была написана как бы «одним дыханием» — за каких-нибудь три месяца, хотя им предшествовали годы раздумий и поисков. В мае 1935 года в письме к матери Фадеев сообщает: «...Я до осени не поеду в Москву, — постараюсь за лето кончить четвертую часть романа (третью я кончаю на днях и сразу высылаю в «Красную новь»)». Направление, намеченное этой частью, считал А. Фадеев, по-новому определит замысел всего произведения в целом. Еще до ее окончания автор делился в письме к своей сестре Т. А. Фадеевой надеждой, «что в *целом* роман получится хороший». В одном из писем А. Фадеева к матери так выражены настроения писателя в этот период:

«Третья книга моя (читали ли вы ее?) хорошо встречена среди большей части литературных кругов. В «Литературной газете» была рецензия Мариэтты Шагинян, очень приятная для меня, и хороший отзыв был в статье Эрлиха «Нам чудится делягa», посвященной другим проблемам... В романе я уверен, — он свой путь к читателю и общественному мнению, безусловно, найдет».

Свой путь к читателю роман действительно нашел, четвертая часть показала правильность взятого автором общего направления и несомненный рост его мастерства.

Изменения в структуре и художественном звучании романа связаны с философски-историческим расширением замысла.

А. Фадеев видел свою цель в том, чтобы дать как бы в вертикальном разрезе все русское общество в канун и в период революции. В третьей и четвертой частях романа на авансцене появляются люди, наиболее выразительно представляющие

революционные силы. Рядом с удэгейцами, старыми и молодыми интеллигентами, богачами и контрреволюционерами действуют, выдвигаясь в центр повествования, большевики Петр Сурков, Алеша Маленький, Мартемьянов, Сеня Кудрявый и другие. Они показаны и в практике революционного действия, и в полноте политической, интеллектуальной, нравственной жизни.

«Последний из удэге» был важным этапом в поисках автором того художественного синтеза, который он считал требованием времени. Стремясь нарисовать эпическую картину действительности, он высказывался в пользу монументальной синтетической формы. Добиваясь масштабности изображения, он сочетал точные характеристики социальных, политических сил, определяющих ход истории, с героическими и романтическими эпизодами борьбы, с проникновенным рисунком человеческой психологии. Исследователи М. Серебрянский, А. Бушмин и другие верно заметили, что многое связывает А. Фадеева не только с Л. Н. Толстым, но и с А. М. Горьким. Это подтверждается и высказываниями автора «Последнего из удэге». Он с восхищением прочитал «Жизнь Клима Самгина» и извлек из этого произведения принципиально важную для себя и всей литературы 30-х годов программу: «При наличии той исторической вышки, на которой мы стоим, при том, что нам нужно изменить мир, как бы заново его воссоздать, — мы ищем больших синтетических форм. Мало разложить на части, — нужно взять в целом».

Мечтая о большом эпическом, «синтетическом» повествовании, А. Фадеев оставался, по его заявлению, верен форме старого реалистического романа с обилием социальных типов, подробными и точными описаниями всего материального мира. Такая форма, считал писатель, благоприятствует эпохальной задаче, стоящей перед советской литературой: создать эпос философского характера, в котором значительная роль принадлежит обобщающей художественной мысли, философскому осмыслению действительности.

А. Фадеев понимал значение такой задачи. Но понимал и трудности ее реализации. Его последующая работа оказалась весьма нелегкой, и шла она с гораздо большими сложностями и значительно дольше, чем он рассчитывал. Над четвертой книгой Фадеев работал вплоть до 1940 года, написанное же прежде все время приходилось углублять и дорабатывать. А. Фадеев не раз говорил о стоявших перед ним трудностях. Недостатки романа он связывал с малым писательским опытом. Новый роман, отмечал писатель, гораздо сложнее «Разгрома» по охвату событий, материалу, композиции. Задумано большое эпическое, «синтети-

ческое» произведение, но «забивают детали, образы героев не перерастают в типические, расползаются». Стройность повествования нарушается из-за того, что «композиция романа попросту несовершенна...».

Роман создавался на протяжении многих лет, и не приходится удивляться тому, что он продолжал изменяться, уточняться, углубляться. Автор не во всем добился цельности, он все еще вынашивал планы кардинальной перестройки произведения. Не прекращалась работа над текстом «Последнего из удэге».

Эта работа преследовала и общие цели уточнения замысла всей вещи, и более конкретные задачи отработки каждого образа, каждой сцены. На произведении лежит печать строгой требовательности автора к своему труду. В архиве А. Фадеева хранятся главы, имеющие по десять — двадцать различных вариантов (например, объяснение Петра Суркова и Лены Костенецкой). Об авторской взыскательности свидетельствует и такое высказывание, относящееся к 1932 году: «Насколько (при том незначительном опыте, который у меня есть) мне трудно осуществить свои намерения, вы можете судить по тому, что я десятки раз начинал «Последний из удэге» и всякий раз неудачно. То я начинал с того, что Сережа и Боярин стоят на перевале, то с того, что они проснулись в избе Боярина (с чего я впоследствии и начал роман), то с разговора в городе Ольге по телефону, то с описания жизни Лены Костенецкой, то с момента встречи партизан с хунхузами».

Взыскательное отношение А. Фадеева к своему труду сказывается и в поисках наилучшей композиции романа, и в стремлении добиться наибольшей точности в изображении каждой ситуации, каждого образа, в подходе к любому определению, эпитету, сравнению. Одной из множества возможных иллюстраций может послужить образ мальчика-удэге, выведенный в тринадцатой главе второй части. В первоначальном тексте написано: «высокий мальчик». Потом автор пытался конкретизировать образ, зачеркнул слово «высокий» и написал «стройный». Но, как говорится в романе, на удэгейцах, живших в условиях старого строя, уже лежала печать вырождения. Поэтому в последующем варианте А. Фадеев использует другое определение: «хилый».

Большие изменения вносятся Фадеевым и в журнальную редакцию при выпуске каждой части романа отдельным изданием. Вышедший в 1933 году первый том романа (первая и вторая части) существенным образом отличался от изданий обеих частей

порознь. Автор композиционно перестроил произведение, внес много частных исправлений. В первоначальном тексте история Лены Костенецкой развивалась во второй части книги. Теперь автор вставляет ее в первую часть (сразу же после шестой главы, где описывается приход Сережи и Мартемьянова в город Ольгу). История Лены продолжается до конца первой части, а также охватывает пятнадцать глав второй. Лишь после этого вводятся главы о Бояринe, стойбище удэге и другие, которые вначале входили в первую часть. Из журнального варианта второй части в ее книжную редакцию включены опубликованные в «Октябре» в 1930 году шестнадцать глав (от встречи отряда Гладких с хунхузами до приезда Лены к партизанам).

Изменения, сделанные в тексте, служат также уточнению социальной и психологической характеристики действующих лиц. Так, например, в первом варианте протест Сережи против безобразного поступка учителя-реакционера Редлиха носил несколько случайный характер, после скандала в классе Сережу вызвали к директору и исключили из гимназии. В отдельном издании романа юноша сознательно бросает вызов Редлиху, а затем «во главе делегации» направляется к директору требовать от Редлиха извинения.

Существенные исправления делаются и в последующих частях романа. Сохранилось несколько набросков начала третьей части, где автор намеревался подробно осветить существо разногласий между обкомом партии и партизанским командованием и объяснить, почему для их ликвидации был послан именно Алеша Маленький («он был связан с Сурковым годами совместной работы и дружбы: областной комитет надеялся, что Алеша проведет директиву без излишнего обострения с Сурковым, известным своей грубостью и нетерпимостью»). На этот счет в дневнике Фадеева 15 ноября 1934 года появляется запись: «Начало 3-й части (Алеша Маленький) переделать: сейчас официально-казенно, газетно, — надо глубже показать, в чем *существо* спора и как он выглядит для обеих сторон».

Работая над сорок второй главой этой части, Фадеев много раз переписывал диалог Петра Суркова и Лены Костенецкой о человечности и революционной борьбе и, оставшись неудовлетворенным, в конце концов ограничился одной репликой.

В рукописях «Последнего из удэге» имеется несколько вариантов биографии Петра Суркова, начиная с детских лет. Жизненный путь Петра объясняет некоторые особенности его тяжелого, даже нелюдимого характера. У героя романа было очень трудное детство, пьяница-отец жестоко избивал его, и подросток стал с

озлоблением относиться к людям. Но участие в революционном движении духовно выпрямило Суркова. В одной из рукописей романа имеется характерное заключение: «Впоследствии, когда Петр стал сам зарабатывать свой хлеб и научился читать книги и начал понимать, на чем стоит мир, он наново пересмотрел свое отношение к людям. Он понял, что в детстве его было много бессмысленной жестокости, прямого зверства. Но он понял также, что многое из страшного этого опыта пригодилось ему и еще больше пригодится в дальнейшей жизни, ибо жизнь такова. И тогда он по-новому взглянул на своего отца и многое простил ему.

Подняться на эту вышку понимания и своего отца, и своей жизни, и дальнейшего своего пути помогло ему семейство Чуркиных».

В окончательном тексте романа жизнеописание Суркова дано в более сжатом виде, гораздо лаконичнее.

Работа над «Последним из удэге» была прервана после написания шести глав пятой части (детство и юность Масенды). События Великой Отечественной войны, другие творческие замыслы надолго отвлекли внимание А. Фадеева. Но роман оставался для него любимым детищем. В 1951 году на вечере, посвященном его пятидесятилетию, А. Фадеев заявил: «...Среди моих произведений назывался незаконченный роман «Последний из удэге». Я лично не удовлетворен этим романом и потому хочу этот роман переработать, в частности ввести туда образ Сергея Лазо. Но в силу того, что этот роман приобрел исторический характер, а я еще достаточно молод, чтобы работать на современном материале, то, пожалуй, я отложу эту работу к тем годам, когда А. М. Герасимов будет поздравлять меня с семидесятилетием».

Мысль о завершении «Последнего из удэге» не покидала А. Фадеева. Он просматривал прежние записи, делал новые заметки в дневниках, уточнял план последующих частей, однако никак не мог вплотную взяться за работу над романом. В октябре 1946 года в письме комсомольцам С. Иванову, В. Ищенко, М. Русевой и А. Николаевскому А. Фадеев рассказывает о своих творческих планах и, в частности, замечает: «Кроме того, у меня старый долг перед читателем: мне необходимо закончить роман о гражданской войне на Дальнем Востоке — «Последний из удэге». О намерении вернуться к роману он пишет в 1950 году Б. Губареву («Над новыми главами «Молодой гвардии» я сейчас работаю и надеюсь их скоро кончить, а потом уж придется кончать и «Последний из удэге») и в 1952 году Никифорову. В письме ученице Чугуевской школы (1956) А. Фадеев рассказывает о работе

над романом «Черная металлургия» и в этой связи снова заявляет: «...После окончания вышеназванного романа я буду заканчивать свой старый роман «Последний из удэге».

Писатель предполагал переработать опубликованные ранее четыре части романа и написать пятую и шестую заключительную части. В июле 1954 года в одном из писем он высказывал предположение, что будет изменено и название произведения. Это, видимо, объяснялось тем, что линия удэге по мере работы над романом стала утрачивать свое главенствующее значение (хотя сохраняла существенное место в сюжете).

Высказывания самого писателя дают возможность судить о предполагаемом окончании произведения. «Всего в романе «Последний из удэге», — сказал он в интервью с корреспондентом «Известий» в 1935 году, — предусмотрено 6 частей, из них последняя должна говорить о современности». А. Фадеев намеревался дать картину той же местности, где происходило действие в первых книгах, показать своих героев спустя десять — пятнадцать лет после разгрома белогвардейцев и иностранных оккупантов и отобразить, «как выросли люди за этот промежуток времени».

В одной из папок рукописей «Последнего из удэге» сохранились составленные А. Фадеевым «Наброски к плану 4—5—6 частей». Писатель предполагал закончить четвертую часть историей жизни Масенды (позднее эти главы были перенесены в пятую книгу). Первый вариант плана сформулирован следующим образом:

«Если четвертую кончить Масендой, тогда пятая: съезд, Боярин — Казанок, Сурков — Казанок младший, Кудрявый — Лена, перемена партизанской тактики, хунхузы, удэге, Сурков — Цой, Ланговой, Масенда, японцы, гибель Мартемьянова, Масенды.

Шестая: город, Алеша, гибель Хлопушкиной, Лена — Сурков — Кудрявый, зимовка, новая тактика, победа».

Вторично к плану заключительных частей романа Фадеев возвращается уже в 1947 году. В его дневнике уточняется общее развитие сюжета произведения. В пятой части намечалось разработать линию, связанную с жизнью Масенды и Сарла, с судьбой удэге. Автор собирался рассказать об освоении русскими Дальнего Востока в 60-х годах прошлого века, о наступлении цивилизации на живущие первобытной жизнью племена, о борьбе последних за свою независимость. В плане подчеркнуты следующие слова: *«Восстание. Обращение к правительству. Безрезультатно. Месть хунхузов. Гибель семьи Масенды».* Тут же сообщается об исходе борьбы и трагическом положении малых

народов Дальнего Востока: «В великом восстании в последний раз собрались все племена. И многие племена погибли целиком». После этого исторического экскурса следуют записи о красных партизанах, о тех людях, приход которых в вековую тайгу принес удэге спасение на путях революционного обновления жизни.

Записи 30-х и 40-х годов дают некоторое представление о содержании заключительных глав романа. Примирение Лены и Суркова оказалось невозможным, больше того, Лена намеревается освободить арестованного Лангового, но от этого шага ее отговорил полюбивший девушку Сеня Кудрявый; с Сеней, как упоминается в наброске эпилога, она и связала свою судьбу. К Суркову же всем своим существом тянется корейская революционерка Мария Цой. Изложив главу об истории Масенды, А. Фадеев в первом варианте плана писал: «В пятой части. Страстный идейный спор Лены и Суркова. Их разрыв. Лена любит Лангового. Она хочет повидать его в плену. Сеня объясняется Лене в любви, она хочет использовать его, чтобы повидать Лангового. Он удерживает ее от этого шага, фактически спасает ее». В записи от 7 сентября 1947 года подтвержден этот же замысел автора: «Найти место конфликта, *окончательного,* между Сурковым и Леной. Нужна ли здесь Цой? Кудрявый? Кудрявый — не после конфликта, а в связи с попыткой Лены освободить Лангового».

Ниже приводится план пятой и шестой частей романа, сложившийся у Фадеева в 1947 году.

«Итак — *пятая:*

Масенда.

Масенда — Боярин.

Боярин — старый Казанок.

Сурков — Лена — младший Казанок.

Съезд.

Хунхузы.

Гибель Боярина. Бегство обоих Казанков.

Поход отряда на хунхузов.

Масенда. Сережа. Кудрявый. Гладких.

Сурков — Цой.

Японцы.

Шестая:

Город. Алеша. Гибель Хлопушкиной. Японцы.

Ланговой — Гиммер.

Перемена тактики. Вызов отряда.

Перемирие с хунхузами.

Пленение партизанами Гиммера и Лангового.

Лена — Ланговой.

Лена — Кудрявый.

Суд над Ланговым.

Ланговой и вор.

Освобождение Гиммера.

Казнь Лангового и вора.

Японцы. Хунхузы. Удэге. Гибель Сарла.

Отряд Гладких в бою с японцами. Сережа — Кирпичев.

Гибель Масенды и Мартемьянова.

Лена — младший Казанок — Ванда — Сережа — Сеня.

Отход. Назначение Сережи.

Эпилог:

Победа. Лена — Кудрявый.

Над могилой Мартемьянова и Масенды».

Некоторые мотивы романа подробнее расшифрованы в записях, относящихся к апрелю 1948 года. Тема последнего из племени удэге раскрыта следующим образом: «Когда хунхузы истребляют последние свободолюбивые роды и Сарл гибнет в бою, жена его, притворившись мертвой и прикрыв сына своим телом, остается в живых и спасает сына. День и ночь несет она его в руках на север, к родичам по Бикину и Хору — несет последнего воина из племени удэге».

А. Фадеев излагает содержание эпилога: «Падение колчаковщины. Партизаны входят в город. Судьба всех героев. Заключительная сцена: жена Сарла у родичей на Бикине. Спасенный сын в колыске. В нем черты Сарла. Он будет расти под счастливой звездой. Мало того: он будет преобразователем жизни своего народа под сенью свободы».

К сожалению, А. Фадееву так и не удалось завершить роман, который он сам считал своею «любимой книгой».

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ УДЭГЕ

Том первый

Том второй

Александр Александрович

ФАДЕЕВ

Собрание сочинений, т. 2

Редактор *Г. Колосова*

Художественный редактор
С. Данилов

Технический редактор
Ф. Артемьева

Корректоры *Р. Пунга и А. Юрьева*

Сдано в набор 8/X 1969 г. Подписано к печати 5/III 1970 г. Бумага типограф. № 1 84×108[1]/32 18 печ. л. 30,24 усл. печ. л. 31,54 уч.-изд. л.
Тираж 100 000. Заказ 347.
Цена 1 р. 25 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 2 имени Евгении Соколовой Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР. Измайловский пр., 29.

1 р. 25 к.